Приложение к газете «День литературы»

Главный редактор:
Владимир БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина ЕРОФЕЕВА

Шеф-редактор номера:
Андрей ТИМОФЕЕВ

Редакционный совет:
Николай ИВАНОВ
Сергей КУНЯЕВ
Александр ЛЕОНИДОВ
Вячеслав ЛЮТЫЙ
Михаил К. ПОПОВ
Станислав ПАРФЁНЦЕВ
Захар ПРИЛЕПИН
Андрей ТИМОФЕЕВ

Гендиректор:
Валентина Ерофеева

Адрес редакции:
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13

Телефон:
8 916 015 80 69

E-mail:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denliteraturi.ru

АНО Газета русских писателей «День литературы». Свидетельство о госрегистрации от 23.06.2017 г. № 1177700010311

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал русских писателей

№ 3 (6), 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ
Андрей ТИМОФЕЕВ. Новые традиционалисты как будущее русской литературы.....*3*

ПРОЗА
Юрий ЛУНИН. Через кладбище. *Рассказ*.....*25*
Три века русской поэзии. *Повесть*.....*34*
Клетка. *Повесть*.....*58*
Андрей АНТИПИН. Смола. *Рассказ*.....*74*
Капли марта. *Повесть*.....*83*
Теплоход «Благовещенск». *Рассказ*.....*102*
Алёна БЕЛОУСЕНКО. Динозавры. *Рассказ*.....*123*
Куколка. *Рассказ*.....*127*
Дочки-матери. *Рассказ*.....*133*
Стакан молока. *Рассказ*.....*140*
Елена ТУЛУШЕВА. Слава. *Рассказ*.....*145*
В хорошие руки. *Рассказ*.....*152*
Первенец. *Рассказ*.....*157*
Папа. *Рассказ*.....*163*
Андрей ТИМОФЕЕВ. Навстречу. *Повесть*.....*172*
Женя ДЕКИНА. Где-то между двойкой и единицей. *Цикл рассказов*.....*214*
Ирина ИВАСЬКОВА. Норма Джин. *Рассказ*.....*236*
Звезда Сирень. *Рассказ*.....*238*
Тяжёлый человек. *Рассказ*.....*247*
Невидимки. *Рассказ*.....*253*
Бумажный саксофон. *Рассказ*.....*258*
Дмитрий ФИЛИППОВ. Капля молока. *Рассказ*.....*265*
Яблоки. *Рассказ*.....*278*
Три дня Осоргина. *Повесть*.....*281*

КРИТИКА
Роман СЕНЧИН. Время врываться.....*304*
Сергей МОРОЗОВ. Стадо волков.....*309*
Вячеслав ЛЮТЫЙ. Приметы правды. *Критик о критике*.....*312*
Елена ТУЛУШЕВА. Согласие и спор. *О «молодых традиционалистах»*.....*315*
Алексей УПШИНСКИЙ. Продолжение зеркала. *Литература в свете эсхатологии*.....*318*
Яна САФРОНОВА. Путешествие в минувшее. *О прозе Дмитрия Филиппова*. Серебряный след. *О прозе Ирины Иваськовой*.....*322*
Валентина ИВАНОВА. Обогреть улицу. *О прозе Андрея Антипина*.....*334*
Михаил ТАРКОВСКИЙ. Мать Елена. *О новых рассказах Елены Тулушевой*.....*342*
Виктор БАРАКОВ. Жить без любви невозможно. *О прозе Юрия Лунина*.....*345*

ПРИЛОЖЕНИЕ
В Союзе писателей России. Документы.....*353*

Андрей ТИМОФЕЕВ

НОВЫЕ ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК БУДУЩЕЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И тоска ещё бывает такая нестерпимая
по воображаемой, возможной литературе...
Виктор Лихоносов

1.

Новое поколение в литературе — это не всегда радость обретения значительных произведений или авторов, обладающих полноценным художественным мировоззрением, — но всегда надежда. И потому, чтобы рассуждать о новом поколении, недостаточно, на наш взгляд, просто перечислить наиболее талантливых его представителей, проанализировать их достоинства и недостатки, сделать выводы об их сходстве или различии между собой. Важно сказать, на что же мы надеемся, то есть ответить на вопрос, какой именно мы хотим видеть современную литературу, какими качествами она должна была бы обладать, какие задачи ставить, какие вопросы решать — иначе говоря, каким мы представляем себе её идеальный образ. Такой подход вообще характерен для русской критики — например, В.Белинский и Ап. Григорьев, а в последние времена — В.Кожинов, М.Лобанов, Ю.Селезнёв, не мыслили себе разговор не только о молодом поколении, но и вообще обо всей современной им литературе без проверки её на соответствие суровому идеалу, который они держали в своём уме и своём сердце.

По этому пути попробуем пойти и мы.

Но для того чтобы говорить об идеале, формировать в своём представлении не абстрактные его характеристики, а реальный, объективно существующий образ, необходимо понять, в какой точке исторического развития отечественной словесности мы находимся в настоящее время — как мы здесь оказались, куда движемся. Нельзя писать о современной литературе, не осмыслив историю её развития, не поняв внутренней логики, по которой это развитие происходит, ведь «полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого — раскрываем смысл будущего; глядя назад — шагаем вперёд»[1].

В рамках этой статьи мы, конечно же, не будем покушаться на осмысление тысячелетнего пути русской литературы — лишь укажем на то, что отечественная критика занималась этим напряжённым осмыслением и именно в нём (а не в простом разборе произведений современников) видела своё подлинное назначение. И мы теперь можем следовать по этому проторенному пути, обнаруживая основание духовно-нравственных исканий русской литературы в её древних памятниках, таких, как «Слово о Законе и Благодати» и «Повесть временных лет»; наблюдая, как русское народное самосозна-

ние впервые во всей целостности воплотилось в личности Пушкина; как напряжённо и трагически искала русская литература возможность преодолеть «пошлость пошлого человека» в произведениях Гоголя; как пыталась «при полном реализме найти в человеке человека» в романах Достоевского; как спускалась на неведомую ещё литературе глубину человеческого характера в диалектике Толстого; как приходила к потрясающей широте народного у Шолохова; как внезапно выражала то советское, что являлось частью подлинно русского, в лице Андрея Платонова и Леонида Леонова; как копила мудрости в военной прозе 60-х и выражала накопленное в «деревенской прозе». Развитие русской литературы — глубокий и сложный, но в то же время внутренне логичный процесс, и мы до сих пор находимся внутри этого процесса, хотя до конца и не отдаём себе в этом отчёта. А значит, и идеальный образ современной литературы не может не быть как бы продолжением этой магистральной линии.

Но для того чтобы продолжать, нужно от чего-то оттолкнуться. Не могло быть Гоголя без Пушкина; Достоевского без Гоголя; Шолохова без Толстого — вот и современная литература не может появиться на пустом месте, не может не быть связанной с последним мощным явлением в русской литературе — «деревенской прозой» 60-80-х годов. Конечно, здесь под «деревенской прозой» мы подразумеваем вовсе не узкотематическую литературу о деревне и крестьянстве, а те наиболее значительные художественные произведения Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Евгения Носова, которые, по словам Валентина Распутина, в первую очередь «занимались нравственным здоровьем человека — и человека настоящего, и человека будущего». У деревенского направления были и другие цели — выражение народного самосознания, развитие и обогащение языка художественной прозы, сохранение памяти об укладе народной крестьянской жизни, решение насущных общественных проблем, но поиск и утверждение нравственного идеала было целью первоочередной. И именно в этом современная литература призвана продолжать традиции своих предшественников. Однако если в 60-80-х годах авторам деревенской прозы идеал виделся ясно и явно: «добро и зло отличались, имели собственный чёткий образ»[2], и лишь угадывалось в людях то, что добро и зло вскоре перемешаются, что «добро в чистом виде превратится в слабость, зло — в силу», то современные писатели получили в наследство от морока 90-х годов не только разрушенную страну, но и повреждённый нравственный облик человека. И это, безусловно, главный вызов, с которым новому поколению придётся столкнуться.

Между «деревенской прозой» и сегодняшним молодым поколением — три десятка лет, вместивших перестроечное брожение, крушение страны, постмодернистский угар и медленное отрезвление — три десятка лет, во время которых у писателей и критиков традиционного направления почти не оставалось сил на осмысление, а хватало только на истощающую борьбу, необходимую для выживания русской литературы. Но задача нового поколения уже не бой во внешнем литературном и общественном процессе — не утверждение реализма над постмодернизмом, а патриотизма над либерализмом, задача нового поколения — поиск и осмысление внутреннего вместо внешнего, и в этом смысле — возвращение и подлинное наследование великим авторам русской литературы. Впрочем, может показаться, что мы считаем последние тридцать лет эдаким чёрным пятном, во время которого не происходило никаких особенных художественных

достижений и открытий; это, конечно же, не так. Во-первых, в это время продолжали творить признанные классики «деревенской прозы»; во-вторых, писали свои лучшие произведения те, кого можно было бы назвать «младшими деревенщиками» — Владимир Личутин, Владимир Крупин и духовно близкие им Николай Дорошенко, Пётр Краснов, Вера Галактионова; продолжали это направление в следующем поколении — Михаил Тарковский, Анна и Константин Смородины; а в следующем — ближайшие предшественники героев нашей статьи Ирина Мамаева и Дмитрий Новиков. Все эти авторы так или иначе черпали творческие силы в следовании традиции и пытались осмыслить тяжёлое для страны и народа время, в котором жили; и они так же могут служить примерами для молодых авторов, входящих сегодня в литературу.

И вот теперь, оглянувшись назад и определив в прошлом те маяки, на которые нам необходимо ориентироваться, мы можем двинуться вперёд и попытаться ответить на вопрос, какой же мы видим идеальный образ современной литературы, что ждём от нового поколения, какие надежды (может, чрезмерно смелые) на него возлагаем.

Итак, во-первых, современная литература, на наш взгляд, призвана пытаться проникнуть вглубь человека, осознавая и открывая всю сложность его душевного мира, всю бездну возможного падения и всю пронзительность раскаяния и милосердия. Ведь в центре русской литературы всегда была душа человека и тот нравственный компас, который позволял ему различать добро и зло. И речь идёт не только об исследовании вечной природы человека, но и ответе на вопрос, что нового современная эпоха может открыть внутри нас, как она изменяет нас и как мы сами можем изменяться и двигаться к извечному нравственному идеалу в новых исторических условиях.

Во-вторых, современная литература, на наш взгляд, призвана воплотить в своих произведениях народное самосознание, понять, как русский народ воспринимает современный исторический этап своего развития. Трагедии 90-х годов уже было посвящено несколько серьёзных художественных произведений, например, повесть Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» или повесть Николая Дорошенко «Запретный художник», но это был взгляд как бы изнутри, полный горечи и отчаяния, — возможно, более полное осмысление этой трагедии ещё впереди. С другой стороны, в последнее время произошли страшные события на Донбассе, которые, несомненно, ждут своего автора. И может быть, идея русского мира, о которой так много сейчас говорят, будет восприниматься нашими потомками не просто поверхностным лозунгом, а началом мощного всплеска народного самосознания.

Понять, что нового современная эпоха открывает внутри нас и как русский народ в своей целостности воспринимает текущий этап своего развития, — это значит, по большому счёту, осмыслить своё время. Зачастую современная, особенно либеральная, критика представляет отражение своего времени главной задачей литературы, однако понимает это отражение как запечатление сиюминутных тенденций, эдакий фотографический слепок с мгновенной ситуации, и не желает признавать, что тенденции эти потеряют актуальность через несколько лет — а вместе с ними почти наверняка утратят ценность и творчество писателя, который пытается эти тенденции схватить, и размышления критика о таком писателе. Подобный взгляд — поверхностен, он отражает отсутствие целостного мировоззрения. Напротив, понять, что в нравственном устройстве человека и в мироощущении

народа есть характерного именно для сегодняшнего исторического момента, — значит разрешить вопрос об отражении своего времени максимально полно и глубоко.

И задача эта даже не узколитературная, но и в полном смысле общественная. Ведь сейчас мы приходим к пониманию того, что экономика, политика, военная мощь — всё это ничто без человека, без антропологического идеала, обрести который невозможно без осознания себя частью своего народа. И задача русской цивилизации сейчас не только и не столько в том, чтобы вернуться к сильному справедливому государству, но, прежде всего, в том, чтобы показать этот идеал поступками, а в конечном счёте — всей жизнью каждого русского человека. Эту задачу невозможно решить в той модели коллективистского государства, где в духе Великого инквизитора распределяются небольшие материальные блага взамен на покорность, которую предлагают сейчас многие, даже искренне желающие России добра и процветания, люди. Воспитание целостного мировоззрения наших соотечественников, обретение в каждом из них глубокой личности — вот что могло бы дать нам шанс. А воспитание целостного мировоззрения невозможно без искусства и в частности без литературы.

И наконец, в-третьих, развал страны в начале 90-х годов прошлого века не только обернулся глубокой трагедией русского народа, не только дал нам небывалый опыт крушения и возрождения, но и высвободил тот мощный религиозный пласт, который находился у наших соотечественников в генах, воздействовал на них опосредованно, через русскую литературу и философию, но не мог быть осознан в полной мере в советское время. И теперь мы можем говорить о том, что у современной литературы есть и ещё одна задача, даже сверхзадача, — это выразить христианское мировоззрение, понять и показать человека, в душе которого властвует христианский Идеал, но сделать это не в форме нравоучительной сентенции, а в форме живой жизни, воплощённой в слове. Это означало бы следующий шаг от предельной человечности русской литературы (и «деревенской прозы» как последнего мощного его воплощения) ко второму тому «Мёртвых душ». И может быть, русской литературе и нужно было сначала заглянуть так глубоко в человека, как она смогла сделать в романах Достоевского и Толстого, а потом в полной мере осознать свою близость к народу, к его корням, в лучших произведениях XX века, чтобы, наконец, пережив очередную трагедию, развалившую страну изнутри, показать всему миру путь человека к христианскому Идеалу.

Допустим это; скажем об этом ясно, но осторожно; поймём умом, что обыкновенный грешный человек не может претендовать на то, чтобы вести кого бы то ни было к Идеалу; осознаем опасность «говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или о святости там, где надо говорить о красоте»[3]. И более не дерзнём рассуждать о том, что не можем вместить в себя, — лишь сохраним в сердце этот образ как недостижимый Идеал «воображаемой, возможной литературы», предоставив промыслительной силе определить, в какой мере этот Идеал достижим в реальном мире.

И вот на такой высокой ноте мы и приступим к рассмотрению конкретных произведений молодых прозаиков и попытаемся взглянуть на их творчество сквозь призму того представления об идеальной современной литературе, которое мы выразили выше. И пусть это новое молодое поколение ещё только формируется, пусть оно ещё сыро, пусть оно пока ещё — лишь обещание, надежда. Но, если эта надежда имеет какое-то основание, то что же может быть радостнее для вдумчивого читателя и русского человека?

2.

При упоминании имени молодого иркутского прозаика Андрея Антипина обычно говорят о его языке, наследующем Валентину Распутину. Это не лишено смысла. Действительно, именно живой народный язык — это и та среда, в которой молодой писатель чувствует себя как рыба в воде, и предмет его напряженного творческого освоения. И здесь Антипин наследует, на наш взгляд, не только и не столько Валентину Распутину, сколько «младшим деревенщикам», таким как В.Личутин и А.Байбородин.

Образность языка молодого прозаика несомненна. Вот главный герой повести «Дядька» заходит в дом, где живут братья с невестками: «Он робеет в присутствии невесток, к которым никак не может привыкнуть, и всякий раз идёт в дом, как в черёмуховый сад, где юно и пьяно качаются сарафанные ветки, а от грубых и нарочно громких замечаний братьев не знает, под какую половицу запасть. Отшучивается полным ртом и до ушей заливается банным жаром, когда невестки окликают его, как маленького: — Мишенька, тебе ещё окрошки подать?». Вот привычно ссорятся старик со старухой и не могут никак примириться в повести «Плакали чайки»: «Нет, от венца не было меж них понимания и уж, видно, до гроба не найдут одного слова на двоих, будут таскать его каждый день в свою сторону, как пилу-двуручку, к чёрту изведут совместную жизнь». Вот в ранней повести Антипина «Капли марта» мама, находящаяся в больнице на лечении, звонит своему сыну, оставшемуся с бабушкой в деревне: «Мальчик звал маму приехать и, конечно, пускал слезу. На другом конце тоже хлюпало, а потом сыпались короткие гудки: курлы! курлы! Как песня осенних журавлей. Их было так много, что если бы всех собрать в стаю и заставить разом заплакать, то мама с бабушкой ужаснулись бы: сколько мальчик перенёс из-за них горя! Но, кроме него, никто этих брошенных мамой гудочков собрать в себе не мог, и поэтому ни одна душа не ведала о приключившейся с ним беде».

Как свежи эти сравнения дома, в котором живут молодые жёны братьев, с черёмуховым садом; отношений между пожилыми супругами с двуручной пилой, которую те тянут в разные стороны; гудков в трубке после звонка мамы с курлыканьем журавлей. Язык Антипина наполнен такими примерами.

Образность его поднимается до подлинной поэзии, как, скажем, в зачине повести «Дядька»: «Когда они жили-были, небо коптили, горькую пили, а пуще робили, любили горько, пред сильным робели, но врагу не спускали, правды стыдились, над кривдой скорбели, а уж пели от сердца — гармошки рвали, а в сердцах тужили — волосы рвали; так вот и были, лихо хлебали не за полушку, не за получку пахали, на семь ртов подмогу растили; словом, не шибко жили, стариков гневили, кресты топтали, под крестик державу крепили, а себя — забывали... Однажды уходили, меркли, мёрли, мёрзли, таяли, затухали, затихали, падали в могилы, засеивались безвестными костями от Непрядвы до обглоданного рейхстага, да так, что и до сего, уже пожатые, стоят у ворога в горле и не дают хищникам покоя... Но вот вышел срок, и они почти все иссякли, измелели, испелись, испились, извелись на Руси, исчезли в клубящемся прахе и глубинной горечи земли... И, пустив шапку по кругу, изыщем ли нынче верные слова, чтобы поведать о них? что им сказать? да и услышат ли? и надо ли им?.. Молчат».

Язык Антипина, ясный и простой в ранних повестях, становится богатым до медовой густоты в более поздних, например, в «Горькой траве» или «Дядьке», так что редкий гурман сможет проглотить повести целиком в один присест. Эта усложнённость и избыточность языковой ткани — следствие того,

что основное внимание Антипин-прозаик, видимо, уделяет именно языковой сфере, а художественное развитие воспринимается им, прежде всего, как обогащение языка. И потому с одной стороны мы видим в антипинской прозе — языковое богатство, чрезвычайно ценное в наше «безъязыкое» время; а с другой стороны — сталкиваемся с неоправданным усложнением текста, вынуждающим буквально «продираться» сквозь него. Кажется, именно своеобразная прочистка языка под проточной водой, его осветление, гармонизация — и есть первоочередная задача прозаика в настоящий момент. Возможно, движение в сторону языковой чистоты и строгости другого представителя «деревенской прозы» — Виктора Лихоносова (наследующего в этом смысле Ивану Бунину) — могло бы быть для него перспективным.

В языке и в его художественной образности — корень и антипинского психологизма, так что подчас герой вырастает перед нами не столько благодаря своим мыслям, чувствам и даже делам, сколько благодаря языковой образности. Вот Дядька в своей обычной стихии, пьёт берёзовый сок после работы на пашне: «Дядька обеими руками подносит склянку ко рту. Ночь мигнула звездой, а склянка полнёхонька. Сок льётся через край, сверху барахтаются муравьи. И Дядька пьёт этот сок прямо с живыми муравьями, и те муравьи, которые чудом спасаются от раззявившейся воронки, мечутся по стеклянному ободку, но и они не уходят от гибели, и медведь смахивает их языком». Таким герой предстаёт в минуты, когда занят делом, осознаёт, зачем и для чего живёт: «Уж если что-то озарялось в нём и, шаркнув о рёбра, высекало короткую искру, то всё в Дядьке схватывалось единым стихийным порывом, трудно и гулко нарастало и, двигаясь к выходу деятельным добром, мощным зарядом ударяло в руки, как молния в дерево, и жизнь сама собой билась в пульсации некой свыше отворенной жилы, пёрла в руки, словно рыба в крупные сети, а разная мелочь и чепуха существования проплывали насквозь, не задевая Дядькиной души». А вот тот же Дядька вдруг вскипает обидой на мир и начинает бегать по селу, искать выпивку: «И была это уже не дума, а думка — поспешная, некрасивая, жалкая. В этой слабенькой думке, как в обмелевшей реке, зияли рельефно и зримо все камни, все коряги и повороты Дядькиной иссушенной души: где занять, найти, добыть, выпросить, украсть...». И когда все эти разрозненные куски собираются в одно, то и предстаёт перед нами характер Дядьки — с одной стороны, спокойный и уверенный в себе медведь, с другой — молния, ударившая в дерево, пульсирующая теперь в нём, выходящая деятельным добром; в одни минуты душа полная, как сети с крупной рыбой, а в другие — изворотливая, во время поиска выпивки, как обмелелая река.

Чтобы полнее проникнуть в художественный мир Андрея Антипина и проверить его на соответствие тому образу современной литературы, который мы нарисовали выше, нам необходимо будет несколько абстрагироваться от языковых явлений и проследить динамику развития молодого прозаика в отрыве от них [4].

Антипин начинал свой творческий путь с повестей «Капли марта» и «Соболь на счастье», в которых мир воспринимался глазами маленького мальчика. Это очень гармоничные тексты, с одной стороны — безусловно, воплощающие личный опыт молодого автора, его воспоминания об окружающей его жизни, а с другой стороны — проникнутые стремлением соответствовать классическим образцам русской прозы. Можно сказать, что мировоззрение автора этих повестей в хорошем смысле сказочно, потому что, сколь бы трагичен ни был окружающий героя мир, читатель всё равно ощу-

щает невозможность конечного торжества зла над добром. Выражаясь словами Юрия Селезнёва, «это не пресловутые «розовые очки», а сознание того, что трагедия — не последнее слово мира, но лишь одна из сторон Целого»[5]. Особенно ясно это видно на примере повести «Соболь на счастье». В ней описывается жизнь обычной российской семьи в 90-е годы. Отец и мать постоянно ссорятся, хотя и живут вместе. Отец зарабатывает больше и не разрешает матери брать вкусности, которые покупает на свои деньги. Их сын, главный герой повести, так же не берёт отцовскую еду, потому что ему обидно за мать. Мальчик мечтает когда-нибудь поймать в лесу соболя, чтобы продать его дорогую шкурку и разрешить семейные проблемы. Страна рушится, денег постоянно не хватает. Хваткая подруга-предпринимательница предлагает матери героя заняться «бизнесом» и перепродавать знакомым то жвачки, то посуду. Мать, никогда не умевшая вести коммерческие дела, не только не получает доход с сомнительного бизнеса, но и «прогорает». Теперь она должна своей якобы подруге большую сумму денег. Та требует долг и, наконец, приводит в дом бандитов, чтобы они забрали причитающееся ей силой.

Чем бы закончил такой рассказ какой-нибудь типичный современный молодой автор? Наверное, самоубийством матери или чем-то ещё более жестоким. Молодой Антипин не может сделать так. Впрочем, не может он пойти и против достоверности и искусственно выдумать благополучный конец. Рассказ заканчивается пронзительным по напряжению чувства сном мальчика, где он всё-таки ловит соболя и помогает своей матери. В свете этого заключительного эпизода трагедия семьи ощущается читателем даже острее — но в то же время в художественной плоскости происходит торжество светлого гармонизирующего начала, которое не могло победить в жестокой реальной жизни.

В повести «Капли марта» столкновение добра и зла не так очевидно, но и там в концовке мальчик, до того копивший злость на новорождённого братика, который должен лишить его апельсинок, мороженого и, конечно же, любви и внимания, увидев маму, возвращающуюся с ребёнком из роддома, «уже не долимый никакими бедами-печалями, отнимавшими у него беззаботное детство, воскресший над раздумьями и сомнениями, разом излившийся в своей чистой и неподкупной любви, как пробивший дырку журчливый ручеёк, сорвался с приставленной к стене табуретки и побежал...» навстречу матери и брату. И ведь нельзя сказать, что автор не ощущает глубокую трагичность мира (может, ещё не воспринимает её во всей полноте, но ощущает — это несомненно!), однако именно в таком благополучном конце видит выход из трагедии.

Впрочем, по-видимому, подобная гармоничность сковывала Антипина-прозаика, и постепенно он стал отказываться от неё в пользу более широкого изображения жизни. Расширение и усложнение происходит уже в повести «Солнечный Кавказ», но наиболее заметно это становится в следующих его произведениях, действующими лицами которых становятся старики и старухи, — романе «Житийная история» и повести «Плакали чайки». Но эти произведения объединяет не только возраст центральных персонажей и стремление к широкому изображению жизни, а ещё и концентрация на ключевой теме, которая по замыслу автора должна была бы сцепить текст в одно целое.

В романе «Житийная история» такой темой становится приближение смерти. К этой теме так или иначе сходятся все разговоры супругов Коломе-

евых друг с другом и с соседями и внутренние монологи каждого из них: «А жизнь она, конечно... Это тебе не коробушку спичек спалить»; «Прикрыли заслонку»; «Ничего ты, Колымеев, не сделаешь с ней, раз пришла!» и т.д. И даже сама ткань текста, кажется, пронизана предчувствием смерти: «роняет кладбищенский лист березняк»; дальний бетонный столб высоковольтной линии возносится над холмом, «как могильный крест»; и даже падает пепел с самокрутки, а Коломеев жалеет его, «потому что тот уже умер».

Смерть в романе повсюду — иногда это воплощается в пронзительных по внутренней трагичности страницах. Например, в сценах поиска бурятом своего утонувшего сына. Или в воспоминаниях старухи Августины о том, как она маленькой девочкой пришла на могилу матери, а на могиле умер червяк, и «Августина пальцем проковыряла дырочку в земле, схоронила червя и заплакала, потому что у неё теперь было две могилки — материнская и дождевого червя...». Но иногда беспрерывные упоминания о смерти (в основном в разговорах героев между собой) становятся навязчивыми, и тогда кажется, что есть во всём этом какая-то отдалённость автора от своих героев, незнание их до конца — так молодой человек видит жизнь стариков и отчего-то воображает, что они каждый день думают о скорой смерти.

Есть в романе и выходы из смертной тоски, принятие собственной судьбы: «Не, для смерти у нас должна быть лесная философия. Если, к примеру, я помру, то жалеть не надо, потому что для другого человека место освободил», — рассуждает старик Коломеев в сцене блуждания по лесу, по силе и «экзистенциальности» переживаний напоминающей сцену в лесу из беловского «Привычного дела»; в другом месте романа вдруг «удивительный покой» настаёт в душе Коломеева; да и кончается «Житийная история» пронзительным и трогательным эпизодом принятия жизни и смерти: «В будыле сыскались ржавые баки, в которых старуха настаивала для гряд адово зелье, и, будто подглядев поздний свет в заброшенном доме, старик впервые подумал, что не наступит новое лето. Он принял эту маленькую новость тихо, ни душой не дрогнув и не зашелестев раскурками. И заложил сухую траву в баки. И поджёг от одной спички. И пустил к небу не ведающий тьмы, горя и одиночества лебяжий клуб — как сигнал о своём затянувшемся существовании». Эти всплески принятия собственной судьбы ценны и художественно сильны, но они хаотично разбросаны по тексту и не объединены единым процессом развития — нет здесь той диалектики чувства, которая позволила бы воспринимать душевную жизнь пожилого человека в предчувствии смерти во всей целостности.

И наконец, обилие бытовых подробностей жизни стариков, семейных дрязг, споров с соседями, застолий — того быта, в котором не “постигается бытие”[6], быта самого для себя, иногда переходящего в мелкое хохмачество и скучное перечисление произошедшего — показывало, что автор ещё находится на пути обретения не просто широты охвата жизни, но широты, художественно оправданной и обоснованной. В повести «Плакали чайки» также есть ключевая тема, вокруг которой сосредоточен текст, — святая Победа и её опошление в наши дни, следующее из общего опошления жизни. И опять, как и в романе «Житийная история», раскрытие этой темы достигается не просто сюжетно — описанием праздничного дня фронтовика Ивана Матвеевича, последнего дня его жизни, но и характерными деталями: разбитый похмельем Иван Матвеевич «весь прошлый день пожёг в боях с «вражиной», один за одним оставив все рубежи»; а его старуха Таисия «сбила прицел и лупила куда ни попадя, а больше по своим».

Современная жизнь в рассказе подчёркнуто отвратительна — не желает поздравлять Ивана Матвеевича с праздником балбес-перевозчик Петюня; откровенно скучают на праздновании школьники; нелепо выглядит представление «с поганой слёзной интонацией, что сиди и плюйся», и даже музыка из динамиков «не умела выйти наружу широко и вольно» — и вообще, «дети пьют, внуки пьют, пенсию таскают», так что один выход — застрелиться, что и делает один из героев повести. Вот и Ивану Матвеевичу, «если кумекать внешним счётом — хорошо, а глянуть сердцем — по-га-но...». «Погано» — ключевое слово рассказа. Сгущение чёрных цветов здесь настолько сильно и нарочито, что напоминает, скорее, мир Романа Сенчина.

По идее, противостоять «современной поганой жизни» должно что-то святое и подлинное, связанное с Великой Отечественной войной и Победой, но воспоминания о «том времени» Ивана Матвеевича либо блёклы (как эпизод празднования 9 Мая в советское время), либо омрачены «невозможностью горькой правды на земле» и ссорами с женой (как первые годы послевоенной жизни). И даже в единственном по-настоящему художественно сильном эпизоде встречи с родными местами по возвращении с войны есть что-то абстрактное, очевидное — то, что можно выдумать, сидя дома за письменным столом. И потому, хоть гибель героя в конце рассказа от рук современных подонков не может не тронуть читателя, за всем этим остаётся ощущение неестественности и нарочитости, подчинённости художественного мира изначально заданной идее.

Этот второй этап творчества Андрея Антипина, связанный с романом «Житийная история» и повестью «Плакали чайки», не может быть полностью принят нами как удачный, но оставляет надежду на будущее развитие молодого прозаика. И действительно, в дальнейшем Антипин перестанет строить свои произведения на подчинении какой-то единой теме и перейдёт, на первый взгляд, к более простому способу — к рассказам об историях человеческих жизней, героев для которых он находит вокруг себя. Однако именно этот путь окажется для молодого прозаика чрезвычайно плодотворным и приведёт к открытиям гораздо более значительным, чем просто рассказы об отдельных людях, написанные ярким густым языком.

Об этих открытиях — позже. Но сперва третий этап его творчества, этап «человеческих трагедий», откроется повестью «Горькая трава» о судьбе «перекати-поля» Сани Золотарёва, бросившего родной дом и скитающегося по свету, до сорока лет так и не поняв, кто он есть, и не найдя себе занятия по душе, — слишком поздно вернувшегося назад, не успев попрощаться с умирающей матерью и не узнав при встрече родного брата.

На фоне мучительного осознания собственной неприкаянности Сани автор показывает нам и других второстепенных персонажей: пастуха Витьку, бросившего в другом городе тётку, заменившую ему мать; дурачка и пьяницу Ёлочку; матерщинника с огромными кулаками Борьку — но у всех и во всём есть какое-то общее мироощущение — «бездомное одиночество на земле, никчёмность всего... а впереди совсем ничего, только мрак, пустота да зияющее открытым сердцем кладбище». И кажется читателю, что так везде и что «всё здесь, на ветровом юру России, устаёт и изнашивается не ко времени: травы, избы, люди». Пожалуй, максимум «другого» цвета, который допускает автор в своей повести — это образ счастливого семьянина водителя: Николай с его «хрупким мотыльковым счастьем», которое ни Санька, ни, кажется, сам автор не понимает и не принимает. И тогда создаётся впе-

чатление, что нет в целом мире другой альтернативы: либо неприкаянность, либо мещанская «тихая радость».

Сгущение чёрного цвета в повести «Горькая трава» не кажется таким нарочитым, как в «Плакали чайки», потому что во всём этом действительно чувствуется какая-то горькая правда, но всё-таки то, как эта правда выражена в повести, не может удовлетворить внимательного читателя целиком. И потому в итоге получается, что для личной трагедии, неудавшейся судьбы одного конкретного человека Сани Золотарёва в «Горькой траве» слишком много однообразия, и нет никакого иного цвета, на фоне которого выделялся бы главный герой, давая возможность читателям глубоко сопереживать ему. Но в то же время общее мироощущение, царящее “в этой спетой и спитой деревенской России”, не оправдано в полной мере и не может расшириться здесь до подлинной народной трагедии.

В тот момент для дальнейшего развития прозаику нужно было решить, каким же путём ему стоит пойти — путём сосредоточения на внутреннем мире отдельного человека или путём максимального обобщения. На наш взгляд, первый — путь глубокого проникновения в личность, исследование тонкого психологизма душевного мира героя — не путь Андрея Антипина (или пока, на данном этапе развития, — не его путь). Его сильная черта как раз-таки не подмечать те разные качества и особенности характеров, которые разделяют людей между собой, а наоборот — видеть то, что сливает разных людей в одно, в единую народную стихию. В Антипине, как ни в одном другом молодом (а может, и вообще — ни в одном другом сейчас в России) авторе, есть, на наш взгляд, по-настоящему полноценное восприятие русского народа как единого целого. И это его самое сильное качество (может, после богатства языка) в полной мере воплотилось в следующей его повести — «Дядька».

В «Дядьке» очередная «человеческая трагедия» мужика Мишки, ведущего бесцельную, пьяную неприкаянную жизнь, без семьи, без детей, без смысла существования, и так же бесцельно и нелепо умирающего, вдруг прорывает границы отдельной судьбы, выливаясь в единое горькое характерное. То, что было лишь слегка намечено в «Плакали чайки» и едва ощущалось в «Горькой траве», а именно — горе народа, потерявшегося в водовороте крушения великой страны, в «Дядьке» обретает художественную силу и начинает звучать ясно и отчётливо. И оттого и повесть поднимается на невиданный ещё для молодого писателя уровень обобщения; устремляется куда-то ввысь, туда, где великие русские писатели осмысляли народное начало как основу русской жизни.

Без надрыва и без необоснованного сгущения, свойственного, например, повести «Плакали чайки», противостояние «тогда» и «сейчас» в «Дядьке» становится в фокус художественного мира текста.

«Тогда» — жили на Руси какие-то былинные, легендарные люди, которые «любили горько, перед сильным робели, но врагу не спускали, правды стыдились, над кривдой скорбели, а уж пели от сердца — гармошки рвали...». Эта былинная сила когда-то питала и жизнь главного героя Мишки, но всё-таки в полной мере «тогда» воплотилось в старшем поколении — например, в Мишкином отце: «В молодости он, например, один на своём «Натике» — первом на селе тракторе с зубатыми колёсами, — топившемся берёзовыми чурками, управлялся с колхозными пашнями по эту сторону Лены. По другую на такой же ледащей технике казаковал его друг-товарищ и однофамилец, а пуще всегдашний противник Пётр Григорьевич. Оба парни го-

рячие, до всякой работы хватучие. В полдень съедутся у разных берегов реки — обмыть лицо, крикнет один: «Ну, как, Петро?». «Да так, — ответит Пётр, если слова первого не отнесёт ветром, — мало-мало кручусь». «Я-то тебя нынешний год в запятках оставлю!» — задерётся первый. Пётр же уточнит: «Это баба с перепоя ляпнула, а ты варежку раззявил!». И оба, закипев, скорее за рычаги, от зари до зари — давать план. А это много гектаров промёрзлых земель...». И действительно, будто не люди это, а древние богатыри, только не мечи у них в ножнах, а с зубатыми колёсами трактора. А «сейчас» — эти же русские люди «иссякли, измелели, испепелились, испились, извелись на Руси, исчезли в клубящемся прахе и глубинной горечи земли...».

Вот так, в конце концов, уходит в землю и сам Дядька. Впрочем, конечно же, дело не только в историческом моменте — есть что-то в характере самого Дядьки, что предопределяет его трагедию, какая-то внутренняя неприкаянность и неустроенность. И даже когда он пытается «сцеплять зубы» и не пить, пунктуально ходить на работу, а в свободное время — перестилать полы, пилить и колоть дрова, возиться в огороде, надолго его всё равно не хватает, и в один чёрный день он вырывается, вдруг исчезает, чудит... И это личное, тот надлом, произошедший в его судьбе, «мучительно и полнокровно — побратски» совпадает с гибелью самой державы. Личное и народное сцепляются в жизни Дядьки в одно, так что и не понять, что следует из чего.

И потому неправ критик Сергей Морозов, когда утверждает, что Антипин «много говорит о непроизводящей, потерявшей свою основу России. Но ничего о личной, человеческой трагедии, которой хлестануть читателя можно основательнее». Именно личные трагедии — Сани Золотарёва, Дядьки, мужичка по кличке Пузырёк, Толи Подымахина и других — волнуют автора больше всего, так что всякий раз принимается он рассказывать нам о каждом таком несчастном, как о первом и самом главном человеке на земле. Трагедия Мишки по кличке Дядька ударяет нас, читателей, потому, что мы видим конкретного погибшего человека и сопереживаем ему лично. Но так же неправ и другой критик, Алексей Татаринов, когда видит в героях Антипина лишь «экзистенциальные переживания», «тяжелейшую встречу достойного человека с пустотой как проблему века, как один из моментов борьбы личности за выживание». Такой взгляд существенно обедняет повесть, потому что воспринимает трагедию главного героя как трагедию личности и не замечает за ней трагедию народа.

Это «братское сцепление» личного и народного определяется тем вековечным и исконно родовым, что есть в Дядьке, а именно — упрямым стремлением к высшей правде и невозможностью жить без неё. Наверно, это в той или иной мере свойственно каждому человеку, но русскому — в большей степени, потому что именно русский человек без ощущения правды сразу же впадает в разгул и не может довольствоваться простой мещанской жизнью. И не от тяжести жизни загибаются эти деревенские мужики, не просто от того, что пьют и гуляют, а от отсутствия главного, ради чего можно жить и отдать свою жизнь без остатка. И потому и «погано» наше время, что лишён русский человек своего идеала — в этом, наверно, главный вывод повести. Сможет ли автор двигаться дальше; сможет ли, вместив в свою душу всю горечь и глубину происходящего, прийти к пониманию того, что «трагедия — не последнее слово жизни»; сможет ли гармонизировать страшный мир, как он делал в своих ранних повестях «Капли марта» или «Соболь на счастье» (на том уровне восприятия трагедии, на котором он находился на тот момент)? И дело, конечно же, не просто в благополучном конце или «поис-

ке примеров каких-то успешных сельских жителей», как выразился Сергей Морозов, — речь идёт, скорее, о поиске и утверждении той высшей правды, которую так безуспешно искал Дядька и обретение которой помогло бы нашему народу выйти из кризиса, в котором он сейчас находится.

Антипин старается найти выход. В частности, в ожидании сострадания к другим, как, например, в рассказе «Чем жив человек», где рассказчик мучительно пытается ответить на вопрос «чем или кем рано или поздно пробудится русский человек?» и находит предчувствие этого пробуждения в том, что, провожая в последний путь очередного бесцельно прожившего жизнь мужика, Толю Подымахина, его земляки «научились... видеть этот уход, и жить те заповедные несколько минут, что думали об этом уходе, с открытыми глазами, и, стало быть, были почти милосердны, а значит — уже не спали». Конечно, этот перифраз концовки повести «Дядька», где земляки после смерти Мишки «не стали хоть чуточку добрее к нищим и пропащим, горьким и заблудшим, не сделались хоть самую малость зрячее к этой пьяной, гулевой, беспутной голытьбе», не претендует ещё на сколько-нибудь адекватное движение в сторону гармонизации, но всё-таки показывает направление поиска молодого автора.

Интереснее выглядит в этом смысле рассказ «Смола», где рассказчику, который до этого избегал своего односельчанина Пузырька и недолюбливал его за насмешки и враньё, вдруг с новой стороны открывается этот человек, и оказывается, что тот готов «разломить надвое своё, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросить взамен». В этом эпизоде уже видится упоительная возможность вдруг открыть отблеск нравственного идеала в человеке. И потому-то чувства рассказчика в «Смоле» так пронзительны и сильны: «стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлёбывающимся, перебирающим самого себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поёт и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней и нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди».

Пока это ещё слова, ещё надежда — полноценное воплощение нравственного идеала у молодого прозаика ещё впереди. Пойдёт Антипин по пути поиска этого идеала — обретёт силу и встанет в ряд с лучшими деревенщиками, а значит, и всей русской литературой. Уйдёт в быт, в язык, в назойливое описание простых человеческих судеб — может и расплескать свой талант. Ведь литература должна не только полно отражать мир, но и пытаться преображать его. И от того, найдёт ли каждый из нас вечный идеал, приблизит ли воплощение его, зависит не только величие современной литературы, но и то, какой будет наша реальная жизнь.

3.

В произведениях молодого прозаика из Подмосковья Юрия Лунина также можно найти примеры художественной образности. Например, в рассказе «Через кладбище» герой отмечает, что кладбище постоянно росло и его невозможно было оградить, и потому «всегда существовала подвижная полоса, где кладбищенский лес и лесное кладбище год от года не то боролись, не то сливались в одно». Но не эти образные удачи являются сильной стороной прозаика. Подобно тому, как Андрей Антипин вольготно чувствует себя в народной языковой среде, Юрий Лунин — прекрасно ориентирует-

ся в мире психологических деталей, в тонких движениях души человека. Именно они и составляют предмет его напряжённого изучения и образуют в его произведениях ту едва уловимую художественную среду, в которой собственно и разворачивается главное движение рассказа.

В центре рассказа «Через кладбище» находятся взаимоотношения между отцом и сыном. Сначала отец изображён как сильная личность, он не проявляет сочувствия, когда сын рассказывает ему о том, как его ударил грязной тряпкой самый рослый пацан во дворе: «Ты таких ещё, знаешь, сколько встретишь — у-у-у...». И сына эти слова, конечно же, не могут обрадовать или подбодрить, но всё-таки немного успокаивают, «словно разговор теперь был не о людской обиде, а о каких-то природных неприятностях: крапиве, укусе насекомого».

Последовательно воспроизводится прозаиком то, как сын во всём старается соревноваться с отцом: «Когда ходили за грибами — чуть не плакал, если находил меньше отца. Бесился, проигрывая ему в шашки, пропуская от него гол...». Но в том деле, в котором он принимает превосходство отца спокойно — в рыбалке, — ему хотелось бы, чтобы отец был самым лучшим. И когда тот упускает на рыбалке щуку, да ещё и принимает своё поражение весело, мальчику становится горько. Он начинает злиться на отца, огрызается в ответ на его доброту и даже вспоминает, что отец того хулигана, который ударил его во дворе, ездит рыбачить «куда-то на Ахтубу» и всегда возвращается с рыбалки с гигантскими сомами и сазанами, а щуку, которую не смог поймать его «неудачник» отец, там и вовсе считают сорной рыбой.

Всё это ещё не сам рассказ, скорее, то, что ему предшествует — своеобразная психологическая экспозиция.

Главная же линия начинается с образа кладбища, по которому отец и сын идут за грибами. Здесь происходит первый эпизод, который изменяет отношение сына к отцу: «Время было не позднее, но на лес наплыли ненастные, тревожно-тихие сумерки. Сыну стало вдруг очень грустно и одиноко. И первый гриб, который он нашёл — польский, — показался ему больным, напитанным смертью, и сын не стал его срезать. А отец нагнулся и с небольшим довольным кряхтеньем срезал.

— Что ж ты не берёшь? Отличный полячок. Смотри-ка, и чистенький! Они сейчас, в основном, все червивые. Что ж, неплохо, неплохо...

Сын отвернулся, чтобы скрыть надавившую на его сердце жалость к отцу. Отец так по-детски был увлечён этими грибами, что совсем не думал о смерти, которая пролегает неподалёку и следит за ним...».

И эта зародившаяся жалость к отцу и страх его будущей смерти постепенно охватывают мальчика всё сильнее. Теперь он уже раскаивается в том, что когда-то ругал отца за упущенную щуку; боится вставать ему на плечи, «сосредоточенно вникая в поведение всех его мышц — много ли в них ещё осталось силы для жизни». Он больше не хочет во всём быть лучше отца, наоборот, хочет во всём видеть «его силу, его способность жить ещё долго и быть недосягаемым для смерти».

Во всех мелочах автор воспроизводит игру, в которую раньше играл отец с сыном, специально оставляя на его пути самые крупные и ценные грибы, — а теперь вот именно сын видит на пути большой белый и радуется, что сейчас отец найдёт его. Но тот проходит мимо, и мальчик с тревогой смотрит на него: «Неужели он стал хуже видеть? Неужели стареет? Неужели сын теперь грибник лучше него?».

Кладбище, по которому идут отец и сын, становится уже не просто мес-

том действия, но — образом того неведомого, болезни ли, старения или смерти, что подстерегает отца и от чего хочет оградить его сын. И даже сама природа, кажется, участвует в этой борьбе: «В лесу темнело и темнело, как будто небо постепенно смыкало больные глаз».

Кончается рассказ внезапным катарсисом: «Как-то сразу, без прелюдии первых осторожных капель, пошёл крупный дождь; будто кто-то очень долго молчал и вдруг заговорил, спокойно и тоже надолго». После спрессованной «духоты» переживаний героя, его волнений и напряжённого самокопания этот дождь приносит свежесть и освобождение. Это сделано не нарочито, без акцента, но действует очень сильно, удивительно готовя будущее «примирение» отца и сына и победу над кладбищенской грустью. И вот отец и сын стоят под лапами ели, прячась от дождя, и сын вдруг обнимает отца обеими руками. «Такое было между ними впервые. Они знали друг друга уже десять лет, и лишь сейчас дождь привёл их в место, где можно было поступить только так — обняться и стоять. Сын чувствовал, что сейчас отец не думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; сейчас он думает о том, что у него есть сын, и что это хороший сын. А сын думал об отце и уже не хотел ни о чём важном ему говорить. В его душе ещё жила грусть, но он чувствовал, что эта грусть не кладбищенская, она пройдёт, как проходит дождь». А после ещё одно точное психологическое замечание о том, как отец принялся рассказывать сыну о своём детстве, и сын обрадовался этому «привычному рассказу, потому что минута объятий была для него слишком огромной и важной, чтобы длиться долго».

Именно подобный психологизм и характеризует Лунина-прозаика. Там, где Андрей Антипин, например, дал бы один крупный и сочный образ, раскрывающий взаимоотношения отца и сына, Лунин останавливается и отслеживает их в мельчайших подробностях.

Проработка внутренних движений героев свойственна и другим рассказам Юрия Лунина. Так, например, герой рассказа «Успение», чем-то напоминающий героя рассказа «Через кладбище», маленький мальчик пытается примирить в душе правду набожной бабушки и правду деда, который советует ему ударить в лицо хулигана, который дразнит его во дворе. И вот, с одной стороны, мальчик с удивлением замечает, что хулиган после его удара начинает относиться к нему лучше и даже зовёт на день рождения, а значит, прав дед. А с другой стороны, по совету священника в церкви, куда его приводит бабушка, пытается полюбить хулигана. Впрочем, кончается рассказ явной «победой» деда: мальчик смотрит на девочку, с которой познакомился после причастия, и ясно ощущает, что она — другая: «не уличная, не дворовая, а церковная девочка. И, кажется впервые в жизни, я ощутил одиночество, ощутил себя лишним. Мне стало стыдно, что я пробовал полюбить вредного мальчика по совету священника. Я вспомнил о дедушке и захотел поскорее к нему». Автор, видимо, не желает приводить своего маленького героя к вере, и в этом проявляется его стремление к реалистическому изображению жизни, нежелание придерживаться какого бы то ни было этического императива.

Напряжённое самокопание героя мы можем наблюдать и в рассказе «Бабочка», но здесь оно приобретает даже болезненные черты. И вообще в этом подчас назойливом психологизме Лунина местами начинает ощущаться некоторое однообразие, потому что где-то в глубине его герои похожи друг на друга. Исключение составляют, пожалуй, только герои рассказа «Прудка», молодые парень и девушка, эдакие представители современной молодёжи,

с достаточно «грубым» и примитивным внутренним миром (которые, тем не менее, выписаны молодым прозаиком с любовью и чутким вниманием к их душевным переживаниям).

Но даже у этих «грубых» ребят, у которых все разговоры зачастую не выходят из упрощённого шаблона, есть тонкие движения души, которые подмечает молодой прозаик. Так, девушка Света после первой близости со своим парнем Денисом стоит у реки, видит «его привычный худой силуэт на фоне воды» и вспоминает, как вчера днём он нагрубил ей, а с другой стороны — сейчас он обращался с ней просто, «по-родному». Девушка понимает, что, несмотря на долгое знакомство, она совсем не знает этого человека, но всё-таки делает шаг ему навстречу, «с неизвестной мольбой» глядя на него. И мольба эта — о его доброте к ней, о её желании довериться ему, о том, чтобы неизвестное, в которое она вступает, принесло бы счастье, а не боль и разочарование.

Если говорить о наследовании «деревенской прозы», то Юрий Лунин это, скорее, лихоносовская линия, линия «мягкого и тонкого психологизма». В целом, путь развития этого прозаика, связанный с обогащением своего художественно-психологического мира, приобретения способности раскрывать до такой же глубины разных героев, обладающих разными характерами, — кажется чрезвычайно перспективным.

В иной манере работает прозаик из Москвы Елена Тулушева. Её умение — несколькими резкими штрихами нарисовать психологический портрет.

Часто это делается с помощью интонационно выверенного внутреннего монолога героя. Так, пожилая Марья Васильевна из цикла рассказов «Подъезд» вспоминает свою работу в школе: «А разве можно было быть не принципиальной... История это не литература: двух мнений здесь быть не может. А история компартии в старших классах — тем более. Разве можно тут искать компромиссы? Так не патриотов вырастишь, а предателей. Их ведь, молодых, так легко запутать, так легко увести по ложному пути...». И сразу встаёт перед нами образ героини, этот образ ярок и узнаваем, хотя, конечно же, не претендует на воплощение полноты личности — это пока только характерный тип, но ещё не герой в полном смысле этого слова.

Нескольких мыслей героя в критической ситуации хватает нам, чтобы не только увидеть его, но и начать сопереживать. Например, в рассказе «Другая война» африканский подросток Джама, находясь в благотворительном лагере, где молодая белая девушка проводит с ними занятия по «творчеству» и предлагает детям разрисовать белые футболки разноцветной краской, «хорошо помнил своё изумление: зачем эта добродушная девушка портит такую замечательную вещь». А потом, когда футболки оказываются больших размеров, Джама понимает, что всё пропало, и мать никогда не разрешит ему носить эту футболку, а отдаст старшим братьям, потому что у них в семье восемь детей, и младшие всегда донашивают за старшими. Но вдруг у него появляется надежда, что если он разрисует футболку и напишет на ней своё имя, то, может, мать и оставит футболку ему. «Он оживился, стараясь успеть наклеить как можно больше картинок и блестяшек. На спине он оставил несколько разноцветных отпечатков своих ладоней и для надёжности вновь написал своё имя». Как просто и одновременно характерно! Подобные психологические замечания у Тулушевой часто внезапны, резки, и в то же время правдивы и обжигающе точны. Так, другой подросток, герой рассказа «В хорошие руки» Саша, выросший в неблагополучной семье, вспоминает, как в детстве просил у Деда Мороза полицейскую машину с сиреной, потому что «хотел запускать её на кухню, когда мать и тётка будут

ругаться, надеясь, что звук сирены заставит их замолчать». Как много такая мысль мальчика говорит нам о его жизни.

Психология героев проявляется не только в фиксации автором его мыслей и чувств и не только во внутренних монологах, но и в характерных жестах. Так, тот же Джама из «Другой войны», попавший в американскую школу, в совершенно незнакомую ему среду, старается на уроках сидеть неподвижно: «Спина и ноги его затекли, но он приучил себя не подавать вида и подолгу сохранять одну позу. Так было надёжнее: никто не придерётся, что ему не интересно, что он не хочет слушать», — и эта деталь характеризует ощущения героя в чужой обстановке гораздо больше, чем какие бы то ни было описания его мыслей или чувств. А вот Саша из рассказа «В хорошие руки», уже став сиротой, сидит на слушании, посвящённом передачи родительских прав его деду, которого он видит впервые. Дед стоит, засунув руки в карманы, и начинает раскачиваться, и мальчик вдруг пугается, «что, качнувшись в очередной раз, он пойдёт к выходу». В этом психологическом жесте сошлись воедино — и волнение мальчика, и равнодушие деда, и уже не нужно никаких поясняющих ремарок.

Тулушева очень восприимчива к разрывам шаблонов: она часто будто бы играет с читателем, заставляя поверить в одно, а потом превращая эту первую догадку в совершенно противоположное. Так, в том же рассказе «В хорошие руки» мальчик Саша смотрит на молодого психолога, сидящего в зале на слушании по его делу, и относится к нему хуже, чем ко всем остальным. «Чего ты лыбишься, — разозлился на него Саша, — как будто что смешное говорят! Лезут все не в своё дело!». А в конце рассказа оказывается, что именно психолог больше всего волнуется о судьбе мальчика, в отличие от чиновников и даже самого деда.

Что-то подобное мы видим и в рассказе «Чудес хочется»: «деревенская» здоровая женщина, ребёнка которой спасает главный герой врач Игорь Владимирович, в конце концов, отказывается от своего ребёнка; а роженица, с которой врачу изначально было «всё понятно» — «ей с трудом можно было дать шестнадцать. Удивительно, что решила выносить. Хотя Игорь был уверен, что такие просто затягивают до последнего. Сначала не понимают, что беременны, потом боятся сказать кому-то, а потом уже поздно аборт делать», — оказывается хорошей женой и, по-видимому, будет хорошей матерью. Такие вот столкновения видимого и реального, разрыв первоначально заданного шаблона, с одной стороны, показывают желание автора не идти по пути очевидности. Но, с другой стороны, смена полюсов в чёрно-белой схеме — это во многом тоже чёрно-белая схема. Думается, обретение большей тонкости и восприятия мира во всём его многообразии — это первоочередная задача молодого прозаика.

Сильными сторонами Елены Тулушевой являются также умение посмотреть с нового ракурса, подметить неожиданную и точную деталь. Например, в концовке маленького рассказа «Надо будет как-нибудь посмотреть» о жизни слепого массажиста, автор говорит нам о том, что герой каждый день ходит на работу очень рано и потому «слышит ещё спящий город» и очень скучает по «звукам стройки, нетерпеливым сигналам пробок, шелесту метлы дворника». Тонкое и неожиданное замечание, много говорящее нам о восприятии мира этим человеком.

Часто не только автор, но и его герои подмечают нечто неожиданное, не укладывающееся в рамки известных этических шаблонов. Так, Мария Васильевна из цикла рассказов «Подъезд» вспоминает о жизни в родном Гомеле:

«В подъезде всегда было чисто, никому и в голову не приходило плюнуть на лестницу или разрисовать стены. То были свои... Раньше ей казалось: свои — потому что ровесники, к труду в войну приучены, идеей одной шли, воспитанием общим жили... Но, переехав сюда, Мария Васильевна с удивлением обнаружила, что дело не в возрасте. Две старушки с первого этажа ни разу за пять лет не ответили на её «добрый день!». Притом та самая громкая молодёжь здоровалась, даже когда она просила их не курить в подъезде...».

Впрочем, всё яркое, необычное, может, даже слишком пленяет Тулушеву — так, например, родители героя другого рассказа из цикла «Подъезд» страдают специфическим психологическим заболеванием, связанным со сниженным интеллектом, что приводит к целому комплексу проблем. Конечно, это даёт прозаику широчайшие возможности для помещения таких героев и их «нормального» сына в различные сложные психологические ситуации, но в стремлении к необыкновенному есть и определённая опасность. Ведь конечная задача подлинного психологизма — не только показать конкретного человека в конкретной ситуации, но выйти к чему-то универсальному, важному не только для этого человека, но и для нас всех.

Прозаика Тулушеву характеризует также некоторая языковая скупость, но именно в этой скупости и точности её основное языковое достижение. Когда Тулушева скупа, она правдива, и правда эта — задевает читателя. Сильной стороной прозаика является также способность перевоплощаться в своих героев, говорить разными интонациями. Например, на одной только интонации держатся и рассказ «Tu me manque», и эссе «Липки».

Но и точность психологических и бытовых деталей, и интонационное разнообразие, и стремление увидеть в мире что-то новое, необычное — это пока лишь инструменты, наработкой которых занимается молодой прозаик и которые, будем надеяться, впоследствии помогут ей создать нечто большее, выразить то главное, что ещё зреет в душе.

Впрочем, у Тулушевой есть рассказ, который уже сейчас претендует на то, чтобы навсегда занять место в современной литературе. Это рассказ «Слава» о судьбе подростка-скинхеда, напавшего и лишь по случайности не убившего «нерусского» парня. В этом рассказе есть то, что можно назвать «ударом» в литературе — то есть деталью такой художественной силы, в которой бытовое содержание как бы прорывается сгустком концентрированного бытия, подобно тому, как магма вырывается из земной коры при извержении вулкана. По сути «удары» эти есть те же удачно подмеченные психологические детали, но обретающие силу обобщения, характеризующие уже не только состояние отдельно взятого героя, но и что-то важное в устройстве мироздания вообще. Подобные «удары» производят невероятно сильное впечатление.

В рассказе “Слава” есть как минимум два эпизода, которые претендуют на то, чтобы быть настоящими «ударами».

Первый связан с отношением героя к религиозности своей матери («Скоро вроде Рождество, наверняка кто-то из её церковных, кто ещё придёт в такую рань, когда у всей страны двухнедельный запой, — только эти святоши») и той ненавистью к религии, которую матери удалось в нём «воспитать» («Он возненавидел её Бога и всю её церковь. Возненавидел со всей детской беспощадной ревностью. И с каждым годом, с каждым очередным церковным праздником, с каждой новой книгой, которую она пыталась ему подсунуть, — эта ненависть только росла»). Но вот мать предлагает сыну сходить с ней на службу в церковь «в обмен» на возможность поехать в бойцовский лагерь, и он соглашается: «пара часов скуки за три недели настоя-

щей свободы — небольшая цена». В церкви ему, конечно же, некомфортно, он скучает, разглядывая прихожан: «Он с тоской разглядывал толстых тёток в платочках (если они все постятся — почему такого размера?) и странных мужиков с блаженными лицами. Неужели мать думает его таким способом изменить? Глупо. Кроме отвращения ничего».

И в этот момент с ним случается неожиданное. Конечно же, не религиозное откровение (это было бы психологической фальшью), просто Слава иначе начинает смотреть на свою мать. «А потом он увидел её... как-то по-новому увидел. Они никогда не были близки: она постоянно его куда-то сдавала, перепоручала, избегала разговоров, редко обнимала. Но в тот момент она показалась совсем чужой и далёкой, как из другого мира. В этом своём смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества». И здесь-то мы и узнаём о глубокой пропасти, отделяющей Славу и его мать друг от друга: «Раньше её слова вызывали боль и обиду. «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!» — Ну да, конечно, на втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, ударилась в религию, променяв на неё, — он с горечью повторял это, растравляя душу, — его, Славу, единственного сына». И в этом душевном, даже духовном разрыве между героем и матерью (поведение которой едва ли можно назвать по-настоящему христианским) и есть, возможно, подлинная причина Славиного скинхедства, его жестокости и, наконец, готовности убить человека.

Вот на что замахивается Елена Тулушева. Этот эпизод очень большой художественной силы открывает нам путь к настоящему углублению в характер подростка Славы, а может, и не только его одного — во что-то важное, что таится в каждом человеке.

Второй «удар» связан с осознанием героем зла, которое он совершил. До сцены с демонстрацией видеозаписи в милиции Слава ощущает свой поступок как бы сквозь внутренние впечатления: «Он помнил это ощущение — раньше не знал, как это — когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая между рёбрами», или сквозь собственные мысли: «Этот второй не мог знать ни имён, ни адресов. Он и опознать бы их вряд ли смог — темно было, все на одно лицо...». Теперь же Слава видит себя со стороны, ещё даже не осознавая до конца, что это он сам: «Несколько секунд на экране рябили чёрно-серые полоски, ничего не происходило... наконец дверь открылась, и кто-то вошёл. Точнее вбежал. Через секунду показалось застывшее от страха лицо. Вбежавший пытался захлопнуть дверь, что-то кричал. Внезапно дверь снова открылась. Толкаясь, ввалились три фигуры и начали хаотично двигаться перед лестницей. Один оторвался и стал медленно подниматься по ступенькам, потряхивая каким-то предметом в правой руке. Его походка отличалась от метаний того, первого. Он шёл твёрдо, вытянув шею и широко расставив руки... Крупным планом, почти глядя на них с экрана, он занёс свой нож и несколько раз с силой воткнул его в медленно сползающую по стене фигуру. Она сползла как тряпичная кукла. Бугай пнул ногой лежащее тело и развернулся к двум прямо перед самым объективом. С экрана на сидящих в кабинете смотрел Слава...».

И в этом внезапном узнавании себя есть что-то неожиданное, даже мистическое. При всей простоте авторских слов в подчёркнуто отстранённом описании мы ощущаем удивление самого Славы. Возможно, это удивле-

ние и может открыть ему путь к раскаянию, но об этом, безусловно, рано (да и невозможно в рамках данного рассказа без повреждения в достоверности) говорить.

Пока же, как мы видим, и Юрий Лунин, и Елена Тулушева стараются сохранить максимальную объективность и достоверность. Кажется, в этом и есть их путь к проникновению в глубину человека.

На наш взгляд, эти авторы стоят сейчас на пороге своих главных открытий. Уже видно, что они умеют, какие сильные черты отличают их от других, каков их психологизм, как они пытаются идти в глубь человека — Лунин медленно, слой за слоем вскрывая скрытое в своих героях; Тулушева — резко, одним-двумя точными характерными ударами. Теперь их задача — создать полноценный художественный мир, где столкнётся много людей, внутренний мир которых будет так же проработан и раскрыт. И это будет залогом обретения ими подлинной художественной силы.

4.

Когда в начале этой статьи мы пытались нарисовать для себя идеальный образ современной литературы, мы говорили не только о выражении народного самосознания и о проникновении вглубь человека, но и вскользь коснулись сверхзадачи «идеальной литературы», а именно — воплощения в слове христианского мировоззрения, движения в сторону христианского Идеала. Полноценно решить эту задачу не под силу, наверно, никому из существующих прозаиков (да и возможно ли её в принципе решить — мы не знаем). Но можно выделить ряд особенностей, которые характеризовали бы того или иного автора как стоящего на верном пути, например — глубина психологического переживания, глубина проникновения в бытийные законы жизни, языковое целомудрие. Но главное, на наш взгляд, — это органически заложенная в тексте возможность преображения героя (при этом обязательно оправданного художественно и психологически).

Прозаики, о которых мы будем говорить дальше, ещё только в начале пути. По большому счёту, у них есть пока только один-два рассказа, которые можно было бы рассматривать всерьёз. Но именно в их творчестве возможность преображения героя становится в центр художественного мира, является предметом напряжённого осмысления (в той или иной степени удачного).

Так, рассказ «Куколка» молодого автора из Тверской области Алёны Белоусенко начинается с того, что главный герой Сергей ждёт своего друга Костю, который серьёзно болен, но, не в силах побороть «нетерпение сердца», заставляющее его всякий раз чувствовать неловкость в присутствии больного, отменяет встречу в последний момент. В последнем же эпизоде рассказа, происходящем через несколько месяцев после первого, Сергей всё-таки дожидается друга, и мы понимаем, что это обусловлено тем, что герой стал внутренне сильнее. Впрочем, сам переход не показан прозаиком полноценно. То, что мы видим в рассказе, это, скорее, психологическая подготовка к изменению, отслеживание постепенного размягчения сердца Сергея, приводящего к первому эмоциональному порыву на пути к изменению. Но всё это происходит в таком нарастании напряжения в художественной ткани рассказа, что мы безошибочно угадываем — изменение героя обязательно произойдёт.

Нечто похожее происходит и в другом рассказе Алёны Белоусенко — «Стакан молока», герой которого взрослый тридцатилетний человек, насмехающийся над пошлостью окружающего его мира, но и сам носящий эту пошлость и духовную духоту внутри, чем-то напоминающий героев ранних рас-

сказов Романа Сенчина. Но если Сенчин специально оставляет своих героев в их состоянии «хватать, что ни попадя, запихивать в себя, смеяться, давиться и жрать» — всё равно «все передохнем», утверждая невозможность ничего идеального в мире, то молодой прозаик пытается найти в душе даже такого пропащего человека то, что может послужить его «выздоровлению». Казалось бы, незначительный эпизод из детства, незаслуженное наказание за разбитый стакан молока, превращается в единственную «луковку», за которую может зацепиться герой, и, в конце концов, оставляет нас в ощущении, что преображение возможно. И тогда, как из мрака, постепенно начинает проступать то, что ещё есть хорошего в герое, — нежность к дочери; почти сказочные три встречи с будущей женой, произошедшие в один день, которые с теплотой вспоминаются им, — и как будто начинает «просыпаться» душа героя.

Всё это сделано без какого-то ни было нравоучения, без единого намёка на этическую сентенцию — в тонкости мельчайших эмоциональных переживаний героя. Конечно, здесь перед нами опять же не изменение героя, а первый сильный эмоциональный порыв, который в дальнейшем может привести к изменению. И это, с одной стороны, свидетельствует об адекватности молодого прозаика, который ставит перед собой лишь те задачи, которые может решить, а с другой стороны, означает, что перед нами автор, находящийся лишь в начале своего творческого пути.

Определённый «выход», стремление к очищающему катарсису есть и в её рассказе «Дочки-матери». Но здесь движение «вверх» связано не с изменением героев, а с осознанием того, что все мелкие проблемы и переживания — маленькой девочки; её мамы, безуспешно пытающейся найти себе подходящего мужчину; бабушки, умиротворённо наблюдающей за всеми вокруг, как за «маленькими детьми», — не просто проблемы и переживания отдельных людей, но часть единой нити, от века связывающей матерей и дочерей в непрерывный процесс. И в этом выходе из бытового описания жизни трёх поколений женщин на уровень бытийного обобщения — главное достоинство рассказа.

Семейные портреты Алёны Белоусенко отличаются трогательным психологизмом. Вот, например, девочка из рассказа «Дочки-матери», впервые встретившаяся со смертью (у девочки из параллельного класса умер отец), прислушивается теперь к стуку материнского сердца и боится, что оно сейчас остановится. А проснувшись следующим утром, слышит, как шипит на сковородке масло, и эти звуки становятся для неё вестником самого важного: «Мама не умерла, не сейчас. И не хотелось ни засыпать, ни просыпаться, а только дремать с этой солнечной мыслью». Есть у прозаика и образные удачи, более всего, в рассказе «Куколка», например, в описании отношений между Сергеем и отчимом: «Но кто виноват, что отношения сшивались тонкими нитками? Не они выбирали пряжу, а сил мягко и сосредоточенно вышивать общую жизнь ни у одного из них не было. Каждый искренне хотел полюбить и принять другого, но если бы хоть кто-то полюбил по-настоящему, обогатилась бы пряжа, и неумелый шов не порвал бы её». А есть сцепление психологических и образных находок в одно, как, например, в воспоминаниях Сергея об отце: «Кроме фотографий и старой коробки с нетронутыми струнами у Сергея осталась теплая и ноющая память о нём. Он точно знал, что они вместе играли в прятки, и до сих пор помнил запах кожаной папиной дублёнки с искусственным мехом, за которой прятался в шкафу. Дверца этого шкафа... до сих пор скрипит, обманывая наивное сердце. Но дублёнки за ней уже давно нет...».

Кажется, что движение молодого прозаика в сторону обретения умения

показать полноценное изменение человека, сделанное в той же психологической тонкости и образности, как в упомянутых выше рассказах, должно быть чрезвычайно перспективным.

В центре рассказа Евгении Декиной «Сын Ваньки Пантелеева» — перелом, который происходит с главным героем после возвращения из тюрьмы в тот момент, когда он узнаёт, что у него есть сын. Жизнь в тюрьме, и страдания, которые вынужден претерпеть Ванька Пантелеев, описаны удивительно сдержанно. Молодой автор не впитывает в текст злобу и черноту тюремного мира (отчасти даже повредив «реалистичности», однако оставшись верным внутренней логике своего произведения). Языковая сдержанность и теплота тона необходимы ему, чтобы последующее преображение героя не оказалось неорганичным художественному миру рассказа. При этом текст Декиной начисто лишён какой бы то ни было назидательности или рассудочной нарочитости. Автор тонко замечает, что пришедшая к герою Любка «не по нему плачет, а по тому, как могла целоваться под вишнями, лежать у пруда и обнимать мягкой рукой». Да и ребёнок, которого она приводит в дом, может быть от кого угодно. Но для Ваньки это уже не так важно: «...Ванька так ясно понял вдруг, что не надо ему этого знать, что тоже заплакал. От одной мысли, что этот вот, тоненький, большеглазый, и вправду похожий на него пацан — сын, все внутри наполнялось горьким, тягучим и теплым. Наполнялось и склеивалось. И Любку целовал бесконечно, и пацана. Из благодарности больше, чем из любви. Значит, есть теперь такой человек — Ванька Пантелеев. И он не пустота, он отец».

Кажется, что Белоусенко и Декина могут пойти по пути раскрытия полноценного душевного (а может, со временем и духовного) мира своих героев. Конечно, их рассказы не претендуют на выражение какой бы то ни было полноты христианского мировоззрения, но очень важны для нас, как первые ростки того нового, с чем мы связываем главные надежды современной литературного процесса.

5.

В нынешнем литпроцессе мы часто становимся свидетелями неоправданного превозношения того или иного автора — звучат хвалебные речи, раздаются престижные премии, и практически никто не задаётся вопросом, а литература ли это вообще, можно ли рассматривать данный художественный текст всерьёз. Проходит время, и имя этого автора всё ещё помнится, к нему продолжают относиться как к знаменитому писателю. И оттого создаётся искусственное впечатление, что современная литература живёт полной жизнью и в ней беспрерывно появляются значительные художественные произведения. А в то же самое время с другой стороны раздаются прямо противоположные восклицания о том, что русская литература мертва и все её достижения остались в прошлом. Этот обессиливающий лейтмотив связан, чаще всего, с собственным пессимистическим восприятием жизни и литературы, непережитой трагедией распада страны, неумением смотреть вперёд.

Между тем подлинный русский литературный процесс движется медленно, но верно, открывая нам новые имена — без лишней истерики и хлёстких лозунгов молодое поколение «новых традиционалистов» созревает и обретает силу. И вот мы можем наблюдать, как пытается выразить народное самосознание в современную нам эпоху Андрей Антипин; как стремятся проникнуть в глубину человеческой психологии Юрий Лунин и Елена Тулушева; как стараются в

предельной достоверности и без ненужного морализаторства показать изменение и преображение человека Алёна Белоусенко и Евгения Декина.

Впрочем, авторы, о которых мы говорили сейчас, это лишь некоторые представители талантливого молодого поколения, показавшиеся нам наиболее близкими к тому представлению об идеальном образе новой отечественной литературы, с которого мы начали эту статью. Есть и другие. Это, например, лауреаты молодёжной премии «Нашего современника» 2009 и 2011 годов москвичи Анастасия Чернова и Олег Сочалин и дебютировавший в журнале в прошлом году с повестью «Темнеет рано» прозаик из города Северодвинска Антон Шушарин. Это автор пронзительной и художественно зрелой повести «Три дня Осоргина» петербуржец Дмитрий Филиппов и продолжающий шукшинские традиции дивеевский прозаик Антон Лукин. С какой-то долей условности к этому же поколению «новых традиционалистов» можно отнести прозаиков Наталью Мелёхину и Ирину Богатырёву, Евгения Москвина и Бориса Пейгина, Кирилла Яблочкина и Константина Куприянова.

Кто из этих авторов станет по-настоящему значительным русским писателем, покажет время. А сейчас мы можем лишь с замиранием сердца ждать — появится ли из куколки та прекрасная бабочка «воображаемой, возможной литературы», которую мы так жаждем и очертания которой уже сейчас находим в текстах молодых авторов. Обратимся же к их произведениям, испытаем радость открытия талантливого имени, посмотрим на мир их молодыми глазами, устремлёнными в будущее. И поймём, что надежда наша не напрасна.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Герцен А.И. Дилетанты-романтики// Собр. соч. в 8 тт. М.: Правда, 1975. Т.2. С.586.

2. Валентин Распутин. “Пожар”.

3. Митрополит Антоний Сурожский. Духовная жизнь. Духовное наследие, 2013.

4. Хоть это, может, и не очень верно с точки зрения полноты восприятия художественного текста.

5. Селезнёв Юрий. Избранное. М.: Современник, 1987.

6. Лобанов Михаил. Ценности народного характера. “Огонёк”, №30, 1970.

Юрий ЛУНИН

ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ

Рассказ

Моему отцу и моему сыну

Мальчики во дворе играли в сифу. кого осалят грязной тряпкой, тот и будет сифа, пока не осалит кого-нибудь другого.

Один из ребят имел неосторожность угодить тряпкой в плечо самому высокорослому мальчику, который считался и самым сильным. Игроки сразу отбежали на другой конец двора. Обычно сифу принимались дразнить, но рослого не дразнили; никто не хотел стать его мишенью. Впрочем, ребята знали, на кого должен обрушиться его гнев.

Рослый подобрал лоскут с земли и медленно направился к луже. Там он пропитал его грязной водой, потом, взяв за уголки, отнёс в песочницу и извалял в песке, потом опустил в середину тряпки тягучий плевок и сложил её вчетверо. Всё это он проделывал

Лунин Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске (Приморский край). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат литературного конкурса «Facultet» (2009, 2010). Лауреат российско-итальянской литературной премии для молодых авторов «Радуга» (2012). Стипендиат Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд С.А. Филатова) по итогам XIV Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза» (2014). Рассказы публиковались в сборнике «Facultet» (2007), альманахах «Пятью пять» (2009) и «Радуга» (в пер. на итал., 2012). Живет в г. Электросталь Московской области.

умышленно неторопливо и старательно, давая ребятам время хорошенько проникнуться ужасом. И действительно: каждое его действие сопровождалось их тревожным переглядыванием. Никто не завидовал тому, в кого полетит такая тряпка. Этим несчастливцем был второй по росту мальчик — лет десяти, с круглым, не по-мальчишески красивым лицом. Он стоял в гурьбе ребят, иногда встряхивая головой, чтобы убрать волосы со лба.

Наконец рослый сорвался с места и, отведя руку для броска, побежал на ребят. Один, самый маленький, оцепенел от страха, но рослый не стал его салить, только поднёс тряпку к его носу. Как и предполагалось, ему был нужен только его обидчик. И вот рослый приблизился к обидчику и швырнул в него тряпку. Бросок был такой сильный, что ребята ахнули. Но обидчик пригнулся, и сифа, пролетев над ним, с чавканьем присосалась к бетонному забору и комично сползла по нему на землю. Ребята несмело посмеялись. Это разозлило рослого, он стал бросать часто, но всё менее прицельно и сильно. А обидчик как будто поймал вдохновение: он увёртывался от «сифы» в прыжке, пропускал её между ног, увиливал от неё, танцуя. Один из его маневров так запутал рослого, что у него заплелись ноги. Он вытянулся в воздухе и упал, больно прочертив боком по песку.

Это было уже не смешно.

Рослый побагровел и с проступившими на глазах слезами, с рёвом понёсся на своего врага. Наверное, в эту минуту он жалел, что в руке его всего лишь тряпка, а не булыжник, которым можно размозжить ему голову. Но ярость ослепила его, а затем быстро лишила сил. Вскоре он уже стоял, уперев ладони в коленки, и тяжело дышал. Точно так же встал невдалеке его противник. Они поглядывали друг на друга без выражения и поплёвывали перед собой, рослый — мастерски, сквозь зубы, а обидчик — по-простому, лишь из подражания рослому.

Рослый взял себя в руки и пошёл на хитрость. Он разогнулся, прошёлся по площадке, заговорил с кем-то, будто решил забыть об игре, и вдруг пулей подлетел к противнику, швырнул в него тряпкой в упор и что было силы рванул прочь. Но противник умудрился поймать «сифу» на лету и моментально вернул её рослому в спину. После этого рослый перегорел окончательно. С деланым равнодушием бросив тряпку на землю, он вышел из игры. Теперь ему нужно было поддержать свой авторитет. Для этого он легонько побил кого-то из мелкоты, после чего деловито занял ребят новой игрой.

В это самое время из подъезда пятиэтажки вышел невысокий мужчина в кепке и старом плаще до колен. В руке он держал два ведёрка — побольше и поменьше. Среди мальчишек он отыскал глазами своего сына, негромко свистнул ему и пошагал со двора с какой-то усталой заботой на лице.

Обидчик показал ребятам ладонь.

— Пока, пацаны, — сказал он и спортивной трусцой побежал за отцом.

Рослый не растерялся. Приказав ребятам вести себя тихо, он подкрался к врагу, хлестнул его наотмашь тряпкой по затылку и отбежал.

— Вот ты и сифа! — показал он пальцем, схватился за живот и, согнувшись в коленях, выдавил из себя смех. — Ха-га-га! Фу-у, сифа! Сифак! Прямо в голову сифу получил! Сифозный! Сифанд!

Сын постоял, задумчиво глядя то на тряпку, валявшуюся на песке, то на рослого, и, кажется, слёзы начали потихоньку зреть в его глазах. Но вдруг он

махнул рукой и быстрее побежал догонять отца. «Си-фа! Си-фа!» — кричали ребята вдогонку.

Отец на ходу протянул сыну дождевую курточку и кепку. Сын оделся в лесную одежду и понёс своё ведёрко.

— Плакал, что ли? — спросил отец.

— Да не... — ответил сын, но голос у него дрогнул, и он рассказал отцу про «сифу».

Вместо сочувствия, которое проявила бы мама, отец поставил перед фактом:

— Ты таких ещё знаешь сколько встретишь — у-у-у...

Это, конечно, не обрадовало, но почему-то успокоило сына, словно разговор теперь был не о людской обиде, а о каких-то природных неприятностях: крапиве, укусе насекомого, раскушенной ягоде, в которую, как оказалось, навонял клоп.

Вскоре они, как обычно, подходили к кладбищу.

Кладбище было ровесником леса, деревьев там росло много, и были они такие же высокие, как в самом лесу. Из-за этого кладбище называли лесным. А лес, примыкавший к нему, иногда называли кладбищенским.

Шагая по главной кладбищенской дороге, сын по привычке гулял глазами по именам и лицам на памятниках. Почему-то взгляд останавливался всегда на одних и тех же: Тихонов Тихон Флегонтович, Рабик Зинаида Львовна, Татихин Леонид Фёдорович... Сын узнавал их, как старых знакомых, но потом дома не смог бы припомнить ни одного имени.

Где-то в этой гуще крестов и ржавых оград затерялась могила его дедушки по отцу, которого он видел только на фотографиях: дед умер, когда ещё отец был ребёнком. По многу раз за лето и осень отец ходил за грибами через это кладбище, но почти никогда не пользовался случаем зайти на дедову могилу. Он не считал, что кладбище — место для общения с усопшими. Он всегда говорил, что общается со своим отцом, просто когда его вспоминает. Делать это можно где угодно, но чаще всего это происходит в лесу. Переход от кладбища к лесу был нечётким. Люди ежедневно умирали, кладбище росло, росло, и не было возможности оградить его раз и навсегда. Поэтому всегда существовала подвижная полоса, где кладбищенский лес и лесное кладбище год от года не то боролись, не то сливались в одно.

Свежие, ещё не огороженные могилы торчали в глубине леса, поодаль от остальных, взрывами песка и мусорным нарядом венков. Казалось, некто, выступающий на стороне кладбища, нарочно клал некоторых покойников поглубже в лесу, чтобы образовавшийся между ними и остальными промежуток леса заранее присвоить кладбищу. На этом промежутке природа ещё оставалась собой — обильно плодоносил черничник, попадались необыкновенно крепкие моховики, а иногда и подосиновики, — но человек уже чаще всего брезговал этими дарами природы как принадлежащими смерти, а не жизни, потому что впереди, словно часовые в чёрных портупеях, зловеще торчали могильные венки.

Кладбище постоянно наступало.

Но и лес не бездействовал: он выбирал забытые людьми могилы, покрывал их малиной, крапивой, утаптывал дождями, так что от них оставались лишь маленькие бугорки, неясно кем — человеком или природой — созданные. И нельзя было быть уверенным, что сладкая ягода, которую ты сорвал на таком бугорке, не напитана хотя бы отчасти мёртвым соком человека. И каждый раз, когда сын заходил в этот лес, он начинал

думать о том, что подо всем, подо всем вокруг, в конечном счёте, лежат истлевшие человеческие тела.

Однажды, когда собирали грибы, сын заговорил об этом с отцом.

— Многая еда берётся из земли, правильно? А в земле всё больше покойников, ведь людей постоянно хоронят. Значит, получается, в еде тоже каждый год всё больше... ну, этого?..

Отца не столько испугали мысли сына, сколько обрадовала его рассудительность.

— Слушай-ка, а ты ведь интересную вещь сказал! Действительно, я даже помню, что в моём детстве у всех продуктов был другой вкус.

Потом отец неоднократно пересказывал знакомым и родным эту беседу, всегда показывая рукой высоту от пола:

— Представляете, вот такой вот — и заявляет! А ведь и действительно!..

Кладбище осталось позади, но в каждой лесной кочке сыну мерещилась забытая могила. Он всё ещё шагал по кладбищу, а не по лесу, и никак не мог почувствовать себя в лесу. В лесных ложбинах иногда встречались кучки мусора. Это был и бытовой мусор: банки, бутылки, пакеты, — и кладбищенский: полуистлевшие ленты, обломки деревянных крестов, пучки искусственной хвои, грязные пластмассовые цветы.

Время было не позднее, но на лес наплыли ненастные, тревожно-тихие сумерки. Сыну стало вдруг очень грустно и одиноко. И первый гриб, который он нашёл — польский, — показался ему больным, напитанным смертью, и сын не стал его срезать. А отец нагнулся и с небольшим довольным кряхтеньем срезал.

— Что ж ты не берёшь? Отличный полячок. Смотри-ка, и чистенький! Они сейчас, в основном, все червивые. Что ж, неплохо, неплохо.

И, замедлив шаг, отец стал внимательнее вглядываться в лес, иногда наступая на какую-нибудь грязную пластмассовую лилию и как будто не замечая этого.

Сын отвернулся, чтобы скрыть надавившую на его сердце жалость к отцу. Отец так по-детски был увлечён грибами, что совсем не думал о смерти, которая пролегает неподалёку и следит за ним.

Когда-то давно, пару лет назад, сын мечтал во всём опережать, побеждать отца. Когда ловили плотву — от души злился, что отец его облавливает. Когда ходили за грибами — чуть не плакал, если находил меньше отца. Бесился, проигрывая ему в шашки, пропуская от него гол...

Лишь в одном случае он спокойно принимал превосходство отца и даже готов был из соперников перейти в оруженосцы: это бывало, когда они вместе отправлялись по берегу местной реки за священной рыбой — щукой. Плотву и уклейку наловишь в любой день, а щука была другая: отправившись за ней, можно было вернуться домой с пустыми руками. Щука могла оторвать блесну, перекусить леску, она даже пахла не так, как остальные рыбы. Сын обожал её, но при этом побаивался и не решался ловить её сам. Поэтому на время охоты за щукой он с удовольствием отдыхал от постоянной гонки за первенством.

Однажды у отца клюнула очень крупная щука — крупнее, наверное, и не клевала ни разу. Ледяная дрожь прокатилась по коже сына, его пальцы согнулись в крючки у самого лица.

— Папа... папочка... давай... давай, миленький... ну... пожалуйста! — поднывал он, будто обращаясь к Богу.

Отец тоже страшно волновался, это было видно, но работал уверенно, сосредоточенно, и сын до слёз любил его в эту минуту.

— Папочка... миленький... хорошенький... ну давай же!..

Отец медленно вывел рыбину на мелководье, между ним и щукой оставалось расстояние в два шага, не больше. Сын видел её в воде, пятнистую, толстоспинную. Она устала от борьбы и затихла, как послушная такса. Ничто не выдавало её боли, её страха перед человеком и желания уйти в глубину.

— Иди сюда, моя хорошая... — сказал отец и потянул к ней руку, слегка отведя для натяга спиннинг.

Вот уже древний морщинистый щучий нос поднялся над водой, вот уже показались зубы в раззявленной пасти, и вдруг она мотнула жёлтым подбородком, дико обдала отца брызгами и исчезла с блесной и куском лески во рту — только тающий изогнутый след поплыл по реке... Отец проводил этот след глазами и ещё с минуту стоял неподвижно на полусогнутых ногах, увязнувших в береговом иле. Запах живой щуки — любимый запах сына — ещё какое-то время жил в воздухе, и лишь когда этот запах испарился, отец выпрямился, таинственно поглядел на сына, достал из кармана коробочку с блёснами и, слеповато глядя в неё, стал перебирать пальцем блестяшки, чтобы выбрать новую блесну.

— Н-да... неплохая была щучка, — сказал через минуту между делом.

Выражение «неплохая щучка» страшно разозлило сына. Зачем строить из себя такого спокойного, когда впору рухнуть на берегу и извиваться от горя червяком, кусать землю, выдирать с корнем пучки травы?

Сын отошёл от берега в молодой березняк и там сильно поколотил кулаками берёзу — берёзе ничего, а у него содралась кожа на костяшках и выступила сукровица. Поэтому дальше бить он не стал, а просто упал на колени и заскулил от бессильной ненависти — к берёзе и к щуке, которые были частью одной природы, посмеявшейся над ним.

Затем он вернулся на берег. Отец швырял блесну в то место, где клюнула сорвавшаяся щука. Сын понимал наивность этого приёма, но добрых полчаса пронаблюдал за отцом, так же, как и он, надеясь на чудо. Но чуда не происходило.

— Всё, хватит уже, пошли домой, — властно сказал сын. — Что, думаешь, она такая дура, что клюнет у тебя ещё раз?

Но отец продолжал швырять.

— Говорил я тебе, что надо всегда брать с собой подсачек! — Тут сын уставил руки в боки и с настоящей ненавистью, исказив лицо и голос, изобразил глупого отца, отвергающего подсачек. — «Не-е-еть, зяче-е-емь? И так достя-анемь». Ну, и чего ты достал? Ничего ты не достал! — Тут голос у сына задрожал: — Сорвалась — и всё!

Отец быстро глянул на него и снова забросил блесну.

— Пошли, говорю, домой. Хватит тут ерундой заниматься.

— А может, дальше по берегу пройдёмся? — спросил отец. От растерянности и чувства вины он согласен был поступить, как скажет сын. — Дойдём до мостика, до камышей. Не эту, так, может, другую зацепим? Или окунька хорошего, как в тот раз?

— Да какой теперь окунёк — после такого позора!

— Всё, пошли, пошли, — сказал отец и быстрым движением зацепил блесну за кольцо спиннинга. — А то так и будешь бурчать.

По дороге домой глубокий траур не сходил с лица сына. Отец шагал впереди. Его походка, штаны, куртка, его неизменная военная кепка, весело сдвинутая набок, — всё раздражало сына.

— О! Смотри: жар сидит, — вдруг остановился отец и указал концом спин-

нинга на огромную стрекозу. Её туловище было раскрашено чередованием поперечных полосок — рыжей и красно-коричневой. Бывали точно такие же стрекозы, только с бледно-голубыми и тёмно-бирюзовыми полосками. Их можно было бы назвать «холод», но почему-то их тоже называли «жар».

Жар — осторожная и быстрая стрекоза, поймать её считалось большим почётом. Эта же подпустила отца совсем близко, будто предлагая себя в утешение за щуку.

— Спит, наверное, — сказал отец негромко. — Смотри, какой красавец. Поймать тебе?

— Да пошёл он, твой жар, — буркнул сын и пошагал вперёд отца.

Через несколько минут отец поравнялся с ним и заговорил:

— Сынок, если ты считаешь, что я меньше тебя хотел поймать эту рыбу, то ты глубоко заблуждаешься. Я сделал всё что мог. Как меня учил мой отец, так я и сделал. Просто она сорвалась. Это рыбалка, понимаешь? А не рыбный магазин.

Отец положил руку на плечо сыну:

— Ты не переживай. Сегодня она нас победила — а завтра мы её!

Сын отдёрнул плечо.

— Завтра понедельник! Теперь только через неделю на эту чёртову рыбалку опять пойдём. И то я не пойду, потому что у тебя всё срывается.

— Ну тогда ладно, — сказал отец. — Я один пойду. Вырастешь — будешь сам ловить, и ничего у тебя не сорвётся.

— Ну и буду.

Тут и отец не вытерпел:

— А пока — чтоб я от тебя слова больше не слышал! Иди и сопи в две дырочки!

Отец быстрее пошёл вперёд, а сын снова с раздражением глядел на его штаны, рубашку, военную кепку. Он вспоминал рассказы рослого — того самого, который сегодня осалил его «сифой». Его папа ездил на рыбалку редко, раза два в год, и рослого с собой никогда не брал. Но он ездил куда-то на Ахтубу, где водятся гигантские сомы и сазаны, а щуку, говорят, и вовсе не считают за рыбу. На такой реке просто невозможно остаться без улова, на ней рыбак чувствует себя успешным, сильным, самодовольным. И именно таким — успешным и сильным, с трофеем в руках и с улыбкой на лице — сын видел в эту минуту папу рослого. А своего отца он жестоко обзывал про себя неудачником, ведь отец не поймал даже ту рыбу, которую считают сорной на Ахтубе...

Отец, пригнувшись, обходил сосну: смотрел, не найдётся ли ещё поблизости польских. А сын глядел на него и вспоминал о тогдашнем походе за щукой. Он часто о нём вспоминал, и всегда ругал себя за своё поведение, но сегодня готов был зарыдать от стыда и горечи. Как он мог! Надо было обнять отца, надо было сказать ему, что он прекрасно всё делал. Да он, можно считать, что поймал эту щуку, просто леска не выдержала, и это ведь действительно рыбалка, а не рыбный магазин! Ничего, пап! Не в этот, так в другой раз её достанем! Не эту, так другую возьмём. Сегодня она нас, а завтра мы её. И ведь всё равно здорово сходили. Давай попробуем жара поймать?..

Как он посмел обидеть отца! Ведь когда-нибудь отец постареет и умрёт, его положат в яму на этом вот кладбище и забросают землёй. Забросали же всех этих людей, забросали же дедушку...

Сын понял, что больше не хочет быть лучше, сильнее отца. Наоборот, во всём он хотел видеть его превосходство, его силу, его способность жить ещё долго и быть недосягаемым для смерти.

Отец нагнулся над семейкой лисичек. В это время сын увидел в шаге от него крупный белый гриб. «Вот и хорошо, — подумал сын, — сейчас он заметит гриб и обрадуется». Но отец не заметил. Он побросал свои лисички в ведёрко и, довольный ими, пошёл дальше, ударив по грибу сапогом.

— Ну что ж, для начала очень даже неплохо, — сказал отец.

Сын не стал ничего говорить про белый и стал с тревогой наблюдать за отцом. Как он мог не заметить гриб? Неужели он стал хуже видеть? Неужели стареет? Неужели сын теперь грибник лучше него? Ведь ещё пару лет назад отец казался ему настоящим хозяином леса, когда смешно, сказочно настораживался и подзывал к себе сына:

— Чую я, сынок, что совсем рядом растёт какой-то очень хороший гриб, но сам я что-то его найти не могу. Может быть, у тебя получится?

Это теперь сын понимал, что отец просто наводил его на гриб. А тогда он принимал эту игру за чистую монету и начинал ходить вокруг отца, бросая подозрительные взгляды на каждую былинку. И вдруг сердце его забивалось в припадке радости — подосиновик или белый!

— Вот это да! — дивился отец. — Вот это сынок! Я бы ни за что не заметил!

Был у отца и другой фокус. Говорит:

— С меня по дороге кепка слетела, а я забыл поднять. Принеси, пожалуйста. Она во-он там около тропинки валяется.

Уже что-то предчувствуя, сын несётся к кепке стрелой, поднимает её, а под ней — вот это да! — тоже красавец-подосиновик или белый!

— Эх ты, папа, совсем ничего не видишь! — радовался сын, показывая отцу чудесный гриб.

— Старый, наверное, становлюсь, — говорил отец, пожимая плечами, и эти слова совсем не огорчали сына. А сейчас сын подождал, пока отец скроется из виду, и подошёл к грибу. Гриб не был раздавлен, только помят. Сын взял его и побежал к отцу.

— Пап, представляешь, я сбил ногой белый, а так бы я его даже не заметил.

— Что ж ты, — спокойно сказал отец. — Надо повнимательнее.

Он с большим уважением к грибу счистил ножичком землю с ножки и вручил гриб сыну.

Сын не понимал, правильное ли это чувство — жалость к отцу. Взять, например, того же рослого. Тот, кажется, совсем не жалеет своего папу. Бывает, его папа возвращается с работы, позвякивая гаечными ключами в чёрной сумке, висящей на плече, и присаживается у подъезда на скамейку, чтоб выпить банку пива и выкурить сигарету. Рослый, как только завидит его, тут же бросает игры и бежит с ним боксировать. Метит в живот, в лицо, в пах, и ведь бьёт не понарошку, а всерьёз, хочет сделать отцу как можно больнее. Да и отец не даёт ему спуску. Нет-нет да и раззадорит тычком в ребро или в подбородок. Один раз до слёз довёл — своего же сына!

Он не любил эту игру и смотрел на неё издалека с тревогой, а остальные ребята наблюдали за ней с завистливым азартом и в конце концов не выдерживали — обступали скамейку и робко спрашивали, нельзя ли и им попробовать подраться. Папа разрешал, и ребята по очереди нападали на него. Иногда он ловил своей большущей ладонью чей-нибудь летящий в него кулачок и одним круговым движением заламывал маленькому противнику руку. Противник тут же сгибался, едва не чиркая носом по асфальту, и все ребята смеялись, а папа, туша свободной рукой сигарету, спокойно спрашивал:

— Та-ак, а сейчас — как мы выкрутимся? Никак. А всё почему? Потому что удар должен быть быстрый: хоба! — и сразу руку на место.

Потом рослый предлагал:

— Пап, а давай мы с тобой вдвоём, а они все вместе?

Но папа уже ставил на асфальт допитую банку и уходил в подъезд. Ребята обсуждали приёмы, которые он им показал, и пробовали их друг на друге. Сыну это было неприятно и неинтересно, он уходил домой.

В лесу темнело и темнело, как будто небо постепенно смыкало больные глаза. В синеватом сумраке гнездились на земле следы чьей-то забытой жизни: то попадался на пути одинокий кроссовок, поросший мхом, то окровавленные (или испачканные краской?) тряпки, то ржавый остов детской коляски, то рука пластмассовой куклы. Сын глядел на всё это с тоской, которую не мог объяснить. Ему хотелось вернуться в прошлое и просмотреть моменты, когда эти предметы были оставлены здесь. А ещё хотелось узнать, где теперь их бывшие хозяева. Живы ли они? Почему-то казалось, что нет.

— Загадили весь лес, — ругнулся меж тем отец. — Поймал бы — яйца бы поотрывал.

Сын улыбнулся: бодрым, бойцовским словом отец напомнил о жизни в этом тоскливом, говорящем о смерти лесу. И даже какая-то птица, которая прежде молчала, деловито ответила ему с вышины: «Си-тю». Сыну захотелось, чтобы отец сказал ещё что-нибудь, и вскоре его голос раздался снова.

— О! — спокойно сказал он, глядя куда-то вверх. — Кажется, это они.

Сын поднял голову. На старой берёзе, на высоте нескольких метров, громоздилось целое облако опят.

— Надо палку длинную подыскать и сбить их, — предложил сын.

— Зачем палку? Палкой мы их сильно повредим, — отвечал отец, не сводя глаз с опят, как будто без его присмотра они могли спорхнуть с берёзы. — Давай! — скомандовал он вдруг решительно и стал на четвереньки около дерева.

Сын тяжело вздохнул. Ведь это означало, что он должен встать ногами отцу на плечи. Он сейчас как никогда прежде был против этой затеи — топтать отца, который, скорее всего, уже начал стареть.

— Пап, может, не надо?

— Надо. Давай, — произнёс отец откуда-то из корней берёзы, и сын понял, что если откажется ещё раз, отец может и прикрикнуть. Дрожащими ногами он встал ему на плечи. Отец начал подниматься, а сын сосредоточенно вникал в поведение всех его мышц — много ли в них ещё осталось силы для жизни?

— Достаёшь? — спросил отец, став в полный рост.

— Нет. Сантиметров двадцать не достаю. Опускайся, пап, давай всё-таки лучше палку найдём.

— Вставай на голову мне, — не слушал отец. — Вставай, вставай.

— Пап, я не...

— Вставай, я кому говорю! — рявкнул отец, и сына это обрадовало, потому что немного отвлекло от жалости.

Сын поставил на голову отцу трясущуюся ногу, бережно перенёс на неё вес тела и принялся нервно ощипывать берёзу, отбрасывая опята куда попало.

— Не бойся... Не торопись... — говорил отец, громко дыша. — Не рассыпай далеко...

Наконец, дело было сделано. Отец, красный от напряжения, стряхнул с себя берёзовую труху, поправил кепку и стал, ползая на четвереньках вокруг берёзы, собирать опята.

Сыну вдруг захотелось подойти к нему и сказать что-то важное. Но отцу было так хорошо среди грибов, что сын боялся нарушить его радость. К тому

же, он не знал, с чего начать. На природе они с отцом никогда не говорили ни о чём важном. Точнее, важным становилось другое — грибы, ягоды, рыба.

Дома отец, как правило, маялся. Всё приходилось думать о работе, о деньгах, которых хватит ли на жизнь? Из телевизора постоянно сочилась какая-то вязкая гадость, она обволакивала отцу голову и делала его раздражительным, и отец искал пультом фильмы, в которых один простой и хороший человек объявлял войну сотне плохих и побеждал в этой войне, ненадолго разрешая все душевные противоречия зрителя. А насмотревшись этих фильмов, отец уже был доволен, что пришло время спать.

Настоящим человеком он чувствовал себя только на природе.

Он любил природу страстно и без лишней романтики. Охотник в нём преобладал над созерцателем. При хорошем клёве он забывался настолько, что держал у себя в губах нескольких извивающихся червей, чтобы, поймав очередную рыбу, не тратить время на поиск нового червяка в банке. В такие минуты бесполезно было что-нибудь спрашивать у него, о чём-то ему рассказывать. Он не слышал. Он пронизывал взглядом таинственную тёмную гладь и напряжённо кивал головой, помогая поплавку поскорее утонуть. Он говорил, что рыбак должен представлять себя рыбой, которую хочет поймать.

Но и созерцатель, несомненно, в нём жил. Ведь любовался же он тогда, после упущенной щуки, спящим жаром. А однажды, когда на кончик его удочки (видимо, приняв её за ветку) сел зимородок, отец застыл и стоял, не шелохнувшись, а поплавок всё нырял и нырял от поклёвок плотвы... Когда зимородок, наконец, спорхнул с удочки, отец медленно повернулся к сыну. В его глазах влажно дрожало счастье.

— Сынок, ты видел? Видел его?..

И сыну показалось странным и обидным, что этот человек уже сегодня вернётся в городскую квартиру, где ему так неуютно, где он будет снова считать деньги, ругать начальника, чиновников и, может быть, даже собственного сына, — а всё только потому, что его настоящая душа останется на этом берегу.

Как-то сразу, без прелюдии первых осторожных капель, пошёл крупный дождь; будто кто-то очень долго молчал и вдруг заговорил, спокойно и надолго. Отец предложил встать под ёлку, подождать — вдруг скоро пройдёт.

Лапы у ели начинали расти высоко, но были длинными и спускались почти до самой земли, так что отцу и сыну сразу стало уютно, как в шалаше. Дождь ещё не начал протекать сквозь хвою, и было приятно стоять в сухости и слушать, как он стучит по земле и растениям снаружи.

— Вообще-то, может, и надолго, — предположил отец, послушав, как уверенно, без перепадов шумит дождь. Вдруг его лицо осветилось какой-то хорошей мыслью, и он обнял сына одной рукой. — А ну и что. Грибков-то мы с тобой, сынок, уже успели набрать, правильно?

— Конечно, — ответил сын и тоже вдруг обнял отца обеими руками, и они молча стояли, обнявшись. Такое было между ними впервые. Они знали друг друга уже десять лет, и лишь сейчас дождь привёл их в место, где можно было поступить только так — обняться и стоять. Сын чувствовал, что сейчас отец не думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; сейчас он думает о том, что у него есть сын и что это хороший сын. А сын думал об отце и уже не хотел ни о чём важном ему говорить. В его душе ещё жила грусть, но он чувствовал, что эта грусть не кладбищенская, она пройдёт, как проходит дождь. Отец погладил сына по голове и легко, без горечи, вздохнул:

— Жалко, сынок, что твой дедушка так рано умер и ты его не застал. Сей-

час бы он обязательно стоял здесь с нами. Знаешь, как он тоже любил грибы собирать? У-у-у...

— И рыбу ловить?

— у-у-у-у...

И отец не в первый раз рассказал о своём детстве, о рыбалке на тогдашней, ещё такой чистой реке. Сын обрадовался этому привычному рассказу, потому что минута объятий была для него слишком огромной и важной, чтобы длиться долго. Как обычно, он просил отца показывать размеры тогдашних окуней, ельцов, плотвы, и почти что видел между указательными пальцами отца живых рыбок. Они резвились в прозрачной воде, блестящие на солнце и весёлые, как само детство. Сын любил их всем сердцем и благодарил за то, что когда-то они послужили радостью его маленькому отцу и живому дедушке.

Сидя на уроках, он ещё не раз положит свои указательные пальцы на край парты, чтобы снова отмерить ими плотву, ельцов, окуней, которых когда-то ловили отец и отец отца.

ТРИ ВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Повесть

Утро в середине лета, небо не предвещает дождя.

По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень семнадцати лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдаться инерции и дать отдых ногам, но парень, наоборот, начинает работать ими всё быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. Но едва он ощущает желаемое сопротивление, велосипед словно отказывается от его помощи и продолжает катиться сам, заставляя как бы водить ногами по воздуху и всё начинать сначала. Так они вдвоём достигают невероятной скорости, которой парень согласен уже просто насладиться.

По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, ещё не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому — синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может её разгадать. Ему не хватает кого-то рядом, и вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Он много чувствует нового, не похожего ни на что прежнее, и хочет чувствовать ещё больше, но втайне от себя просит у кого-то: «Чуть поменьше, не надо слишком много», — потому что боится не вместить всего и остаться ни с чем.

Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колёса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков.

Шумно, и жутко, и грустно, и весело — я ничего не пойму, — вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперёд, туда, где обрывается лес и начинает сиять поле...

Всю вторую половину июня он провалялся в больнице с аппендицитом: плохое заживление рубца. Потерял две недели хорошего лета. Пропустил всту-

пительные экзамены в местный строительный институт, куда пошли учиться почти все его одноклассники, да и большинство вообще выпускников города.

Испытал первую в жизни настоящую сильную боль — как телесную, так и душевную. Раньше ему казалось, что он застрахован от всего страшного, что случается с людьми; что хирургические операции и больницы придуманы для других, не для него. А вот загремел, как другие, стал одним из этих других.

В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берёз, которые призывно дрожали сверкающими листьями за окном палаты. Вместе с ветром до него доносился смех неизвестных ему детей и девушек. Ему до слёз хотелось к ним, на солнечную волю: видеть их лица, смеяться вместе с ними. Он понимал, что уже очень скоро это будет ему доступно, а стало быть, нечего так страдать, но почему-то не мог избавиться от невыносимой тоски. Ему казалось, что никогда он отсюда не выберется.

Но больничные дни принесли в его жизнь не одну эту боль.

В коридоре на третьем этаже, как раз неподалёку от его палаты, имелась библиотечка. Библиотечка — это даже громко сказано; просто прибитая к стене полка, на которую больные складывали прочитанные ими журналы и детективы, не видя смысла забирать одноразовое чтиво домой. Как только парню отменили постельный режим, он вышел погулять по коридору и набрёл на эту полку. Вообще, он не очень-то увлекался чтением, но сейчас его внимание привлекла довольно толстая книга в коричневой обложке, своей благородной простотой выделявшаяся из разноцветной груды периодики и дешевых романов. Он прочёл на корешке название: «Три века русской поэзии», достал книгу и подержал в руке, чувствуя, как его незатянувшийся рубец реагирует даже на такую невеликую тяжесть. Он взял книгу под мышку и отправился к себе в палату. Там он взбил свою дистрофическую подушку, улёгся на узкую койку, с которой так и не стряхнул колючие хлебные крошки, потому что не желал даже в такой ничтожной мере обживаться в нелюбимом месте, накрылся до пояса одеялом, как обычно запутавшись пальцем ноги в дырявом пододеяльнике, раскрыл книгу наугад и прочёл стихотворение Тютчева. Потом раскрыл на другом месте и попал на Заболоцкого, потом на Фета, на Рубцова, на Пастернака, Полонского, Державина, - Фофанова — и так далее...

Некоторые стихи были ему знакомы со школы, но тогда он читал их исключительно по долгу учёбы. Теперь же он читал сам, для себя, и это было совсем другое. Он помнил, что раньше очень многое в этих стихах было ему непонятно. Он даже задавался тогда вопросом: зачем писать так сложно и странно, если можно сказать обо всём просто? Теперь он удивлялся тому, как это раньше стихи Пастернака, Мандельштама, Цветаевой могли казаться ему сложными, странными, заумными. Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, в которую сразу ворвалось понимание этих стихов.

И он не мог оторваться от них. Он читал их, забыв самого себя, читал так жадно, как если бы находился в пожизненном заключении и одними лишь этими стихами мог напомнить себе о том мучительно радостном и просторном мире, который потерял навсегда.

Он стал читать эту книгу дни напролёт. Иногда чувствовал, как к его глазам подступают слёзы, и тогда ему приходилось понарошку чихать и тереть нос, чтобы соседи по палате не догадались, что он плачет из-за книги.

Когда в палате выключали на ночь свет, стихи продолжали звучать в его голове. Он совсем не старался заучивать их наизусть; просто, читая, он про-

живал их сердцем насквозь, и они сами вкладывались в память целыми страницами, становясь как бы его собственными. На соседних койках храпели на разные лады его случайные товарищи по неволе, время от времени звучно портя воздух; в коридоре потрескивали плафоны и изредка раздавались чьи-то скучные, равнодушные шаги, — а он лежал и видел глазами воображения мудрый, прогретый солнцем лес, видел изгиб сверкающей реки, видел сирень под тёплым дождём и задумчивую чистую девушку у вечерней калитки. И в какую-то секунду ему начинало казаться, что из того прекрасного мира, который он воображает, до него долетает настоящий ароматный ветер, и ему снова хотелось плакать, и часто он плакал. Поначалу он не вдумывался в эти слёзы и был уверен, что они текут от тоски, как вдруг однажды понял, что эти слёзы — слёзы счастья.

Днём, в обеденное время, когда по душной палате вместе с запахом пищи разливалась тупая дремотная лень, он иногда начинал стыдиться того, что испытывал ночью, и нарочно говорил себе: «Чёрт знает что творится с нервами в этой больнице. Скорей бы уже отсюда смотаться». Однако он снова, — видимо, для того, чтобы себя испытать, — взбивал свою тощую подушку, ложился на усыпанную колючими крошками койку, открывал книгу — и дремотная лень отступала, снова до него доносился ароматный ветер, ещё более прекрасный и удивительный посреди жаркого дня, чем посреди ночи.

Больницу он покидал не без сожаления. Конечно, он не забыл захватить с собой «Три века русской поэзии», но, едва переступив больничный порог, понял, что теперь ему будет трудно читать эту книгу так, как он читал её в больнице; что сейчас его захватит свободная, неплохая, но где-то более глупая жизнь.

Он единственный ребёнок в семье. Его аппендицит сильно напугал родителей. Как ни странно, раньше они тоже пребывали в уверенности, что все на свете болезни и несчастья будут обходить их сына стороной, — и вот им тоже пришлось разделить участь *других*, с чьими детьми случается всякое. Благодарные судьбе за то, что с их ребёнком случилось ещё далеко не самое страшное, в первую неделю после его возвращения они относились к нему, как к божеству, одного простого пребывания которого рядом уже достаточно для счастья: пускай оно целыми днями валяется у себя в комнате с какой-то книжкой, которая, быть может, и не имеет никакого отношения к его профессиональному будущему, — всё равно это в миллионы, в миллиарды раз лучше, чем если бы оно просто исчезло из их жизни. Но на вторую неделю они будто проснулись от дурного сна и ясно осознали, что их сыну ничто не угрожает, более того — что их тревога за его жизнь изначально была преувеличенной. И тогда, — видимо, давно разучившись жить вообще без тревоги, — они окунулись в привычное беспокойство за его дальнейшую судьбу: вступительные экзамены он пропустил, в ноябре ему стукнет восемнадцать, а он как ни в чём не бывало лежит с книжкой, на страницах которой (мама уже успела это заметить) одни столбцы и строфы. Имеет ли он какой-то жизненный план? Или ошибочно думает, что всё сложится само собой?

В пятницу вечером отец вошёл в его комнату, чтобы начать об этом разговор. Парень сразу понял, что отец зашёл не просто так; понял по тому, как, не промолвив ни слова, он пододвинул к его кровати стул и основательно уселся на нём. От неприятного предчувствия парень ощутил что-то вроде лёгкой тошноты.

Начал отец издалека: сначала спросил о физическом самочувствии, потом поинтересовался насчёт морального состояния: говорят, нередко после пере-

несённой операции человек испытывает что-то вроде депрессии. Сын отвечал, что чувствует себя хорошо, почти как до аппендицита, да и настроение вроде бы нормальное. О стихах он, конечно, говорить и не думал: во-первых, он был уверен, что разговор их не коснётся; во-вторых, он и сам ещё не до конца понимал, какое значение они приобрели в его жизни, и даже не успел ещё себе признаться в том, что все послебольничные дни только и делает, что пытается нащупать то нераздельное единство со стихами, которое ощутил в больнице и без которого жизнь казалась ему теперь неполноценной.

Придвинув стул ещё ближе к кровати (что прямо пропорционально усилило в парне ощущение тошноты), отец мягко, без нажима спросил его, почему (если, по его словам, он так хорошо себя чувствует) он уже вторую неделю проводит в горизонтальном положении. Может, всё-таки что-то не так? Сын повторил, что всё в порядке, и, понимая, что таким ответом отца не удовлетворить, всё же добавил, что просто читает интересную книгу. Он всё ещё не думал говорить о стихах, о том, что они появились в его жизни как нечто очень важное и серьёзное. Просто решил оправдаться при помощи книги. Но отец уважительно, со словами: «если ты, конечно, не возражаешь», попросил разрешения поглядеть, что это за «интересная книга», и парень не нашёл причин отказать ему.

Отец долго листал «Три века русской поэзии», часто заглядывая в содержание. Парню было непривычно смотреть на то, как отец переворачивает страницы, иногда мимолётно касаясь пальцем языка: кажется, парень никогда раньше не видел его за таким занятием.

Пока продолжалось чтение, за окном пролетел самолёт, оставив на безоблачном розовеющем небе идеально ровную черту, похожую на разрез скальпеля. Парень задумался о том, что эта черта, привнесённая в небо человеком, удивительным образом не уродует, а украшает небосвод.

«Так же и стихи, — сказал себе парень. — Они тоже идеально ровные, как эта полоска, хотя мир, про который они написаны, совсем не ровный. Стихи выравнивают мир».

Между тем черта начала медленно распухать, будто вспоротое небо выпускало из себя своё странное содержимое.

– Н-да... — сказал отец, выпрямляясь и расправляя затекшие плечи. — *Что делать нам с бессмертными стихами...*

Он вздохнул (парень не понял над чем) и вернул сыну книгу.

Летний вечер, который до этого казался продолжением дня, в одну секунду стал началом ночи. И отец, и сын сразу это почувствовали. Трудно было сказать, что именно изменилось (быть может, затих на улице какой-нибудь неумолчный детский голос, который служил до этого незаметным сердцебиением дня), но воздух комнаты, не освещённой электричеством, наполнился вдруг той тихой печалью, которую испытываешь у постели медленно угасающего человека. Эта печаль располагала к тихому откровенному разговору.

И отец рассказал, что до сих пор помнит даже запах той самиздатовской книжки со стихами Гумилёва, которая тайно ходила по рукам у студентов, когда он учился на третьем курсе института, а мама училась на первом. Это был тот же строительный институт, куда поступило нынешним летом большинство одноклассников парня и куда ещё совсем недавно собирался поступать он сам.

– Н-да... — повторил отец и процитировал снова: — *Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...*

«*Пищит наш дух*», — хотел поправить парень, но не стал. Он поглядывал на отца с осторожным удивлением. Он и не думал, что в отцовской жизни тоже

имела место поэтическая страница. В свете этого неожиданного открытия ему сразу показались странными две вещи: первая — что отец ни разу не заговаривал с ним о стихах раньше, а вторая — что сегодня это обычный инженер-строитель, день ото дня выполняющий довольно скучную работу и больше половины своего свободного времени посвящающий телевизору.

Кажется, отец отчасти угадал недоумение сына, и почему-то заговорил после этого с более откровенным назиданием, словно стряхнув с себя печаль идущего на убыль дня и, казалось, даже делая некоторый акцент на том, что эту печаль надо уметь стряхивать.

– Ты, наверное, думал, что я кроме чертежей ничего в жизни не видел и не знаю?.. Не-ет, всё было: и стихи, и романтика, и песни у ночного костра. Только мы как-то умели это с делом совмещать. Одно другому у нас почему-то никогда не мешало. Между прочим (да ты, собственно говоря, видел у меня этот шов неоднократно), мне тоже пузо вскрывали. Грыжа у меня была: на картошке вытаскивали из грязи трактор, и я переусердствовал, перед мамой твоей хорохорился... Я тогда уже не только учился, но и работал. И с мамой вовсю встречался. И знаешь — ничего. Отлежал, по-моему, даже меньше положенного, вышел, нагнал институтскую программу, на работу вернулся. И как-то это было совершенно без всякого героизма, в порядке вещей. Так что...

Отец не стал заканчивать фразу, видимо, предлагая теперь высказаться сыну. Парень даже приблизительно понимал, каких именно слов ждёт от него отец: он должен сказать, что такой подход к жизни в порядке вещей и для него, что он тоже не раздувает трагедии из своего аппендицита, что, возможно, отец прав и он действительно переживает после больницы некий моральный упадок, но ещё денёк-другой — и всё вернётся на круги своя. А ещё ему следовало сказать о стихах: что стихи — это так, ничего такого серьёзного. Не думает же отец, что он собирается стать поэтом?

Но почему-то парень ничего этого не сказал. Он молчал, чувствуя, как начинает от волнения потеть. Впервые в жизни он ощутил, что между ним и отцом что-то может вот-вот порваться, если уже не рвётся. И всё-таки он молчал.

Не услышав от сына ни слова, отец был вынужден заговорить с ним прямо, называя вещи своими именами.

– Ну, хорошо. — Стукнув ладонями по коленям, он встал и начал медленно ходить по комнате, иногда останавливаясь. — Ты же понимаешь, что ты профукал экзамены?

– Понимаю.

– Понимаешь. Это уже отрадно. Так вот, поскольку у тебя была на это уважительная причина, и поскольку я пребывал в святой уверенности, что ты сам горячо заинтересован в получении высшего образования... — На всякий случай отец и на этом месте сделал паузу, но ответом на неё снова было молчание. Тогда он заговорил с возрастающим недовольством: — В общем, пока ты там мужественно превозмогал недуг, я решил как-то поправить ситуацию с твоим поступлением в вуз. Я созвонился и встретился с Игорем Витальевичем, Оловянниковым — ты его должен помнить, он ездил с нами на Оку, это у него тогда лещ огромный леску оборвал и он неумело так матерился; мы ещё смеялись, а он на нас обижался... Так вот, этот Игорь Витальевич давно в институте работает и, в общем-то, не последний там человек. И он сказал мне: «Какие вопросы! Конечно! Поможем парню». Он вообще сказал, что готов договориться с ректором, чтобы тебя зачислили на первый курс без всяких экзаменов. Я, говорит, ни на секунду не сомневаюсь, что парень у тебя хороший, потому что прекрасно знаю *тебя*.

Парень отвёл глаза, готовясь со стыдливой благодарностью принять весть о том, что он уже студент. На самом деле, он был бы рад этой вести, и, кажется, отец это почувствовал.

– Я надеюсь, ты не думаешь, что я на это согласился? — спросил он тоном, исключающим возражение.

– Нет, конечно, — соврал парень. — Это уж как-то совсем...

– Вот именно, — немного успокоился отец. — Я сказал, что ты у меня человек серьёзный, сознательный (я действительно так думал и, в общем-то, продолжаю думать до сих пор), и сказал, что ты, мягко говоря, будешь не в восторге, если узнаешь, что «папочка за тебя похлопотал». Вы, говорю, просто придержите, если есть такая возможность, одно место на бюджете и примите у него экзамен по всем правилам, когда он к вам придёт. Пускай, говорю, как все нормальные люди, тянет билеты и демонстрирует свои знания. Поступит — прекрасно, нет — нет. — «Ладно. Хорошо. Одобряем. Пускай приходит, как поправится. Комиссию какую-никакую сколотим, экзамен примем»... И я вроде как успокоился. Я даже сообщать тебе тогда ни о чём не стал. Пускай, думаю, будет ему приятный сюрприз: вернётся, начнёт переживать, что экзамены пропустил, а я ему тут и скажу, что всё хорошо, иди и поступай. Но я ожидал с твоей стороны хоть каких-то добровольных телодвижений в этом направлении... — Отец изумлённо поднял плечи и выдвинул нижнюю губу. — День проходит. Два. Неделя. *Вторая* уже к концу подходит — сынок лежит, как Илюшенька на печи, не шевелится...

Парень молча глядел в окно. Самолётная полоса распалась в разные стороны на жидкие изогнутые лохмотья, напоминавшие волокна сахарной ваты. В этих лохмотьях сложно было угадать след человека. Это были простые облака.

Отец поглядел туда, куда смотрел парень, и, видимо, в эту самую секунду смутно догадался, что стихи во всём этом деле играют куда более серьёзную роль, чем он мог предполагать.

– Я вот одного понять не могу: почему *это*, — он указал на книгу и задвигал ладонью у себя перед глазами, как бы стирая пелену заблуждений, — никак не монтируется в твоём представлении с нормальными жизненными устремлениями? В конце концов, — если уж ты так крепко увяз в этой своей поэзии, — обучение в строительном институте не лишает тебя возможности ни читать стихи, ни даже с успехом их писать. — Подумав, отец решил добавить: — Макаревич, например, по образованию архитектор. Гребенщиков, если угодно, закончил факультет прикладной математики. Людей знает вся страна. Осмелюсь предположить, что без высшего образования они бы не достигли таких успехов, потому что высшее образование — это некая интеллектуальная планка, необходимая для совершенно любого вида профессиональной деятельности...

Отец ещё довольно долго говорил о достоинствах высшего образования, снова присев на стул, а парень наблюдал за опустевшим меркнущим небом. Где-то раз в полминуты он машинально переводил взгляд на отца, чтобы удостоверить его в своём внимании, которого на самом деле не было, и возвращался глазами и мыслями к небу. Отцовские слова казались ему всё менее значительными. Их важность умалялась по мере нарастания их количества, а так же по мере прихода ночи. В комнате синело, серело, чернело. Отца уже было жалко. Хотелось спасти его, исчезавшего, съедаемого чернотой.

– Поэтому из-за одной книжки — пускай и хорошей, не спорю! — ставить жирный крест на всём своём будущем... — завершал отец почти уже в полной тьме. — ...ну, это как минимум опрометчиво.

Он уже без особенной надежды подождал ответа и, как обычно, не дождавшись, спросил:

– Хотя бы в этом ты согласен со мной?

Что-то помешало парню сказать «да».

– Надо подумать, — произнёс он с трудом.

– Подумать? — переспросил отец, как будто не поверив своим ушам. Он нетерпеливо поднялся со стула и усмехнулся сам себе: — А я тут перед ним-, дурачок, распинаюсь! — Он опять усмехнулся и внезапно вспылил: — В таком случае, думать будешь знаешь где? В армии — два года! Понял?.. Понял меня?!

– Понял.

– Хорошо, что понял...

Хлопнув дверью, отец вышел из комнаты.

Парень остался лежать в одиночестве. Ему казалось, что тьма, наполнявшая комнату, из домашней снова превратилась в больничную, но мысль о стихах почему-то не приносила той отрады, которую приносила в больнице; от них уже почему-то не веяло нездешним ветром.

– Плен, — произнёс парень слово.

На следующее утро родители услышали, как он накачивает на балконе колёса велосипеда. Они переглянулись и подумали об одном и том же: что желание прокатиться напрямую связано со вчерашним разговором и знаменует собой что-то хорошее, правильное.

Парень вытащил велосипед на улицу, оседлал его и сразу поехал легко, быстро, радостно.

«Как это я сразу не догадался?» — подумалось ему.

И вот он вырывается из синей тени, и солнце ударят в него. По обеим сторонам дороги распахивается слепящее поле, он резко берёт вправо и скатывается на извилистую тропинку, которая вытягивается вдоль кромки леса, кое-где отрезая от него по одному, по нескольку деревьев. Велосипед дребезжит, подпрыгивая на сосновых корнях.

Парень здесь впервые; ещё дома он решил, что будет ездить только по незнакомым местам. Он щурится от солнца и думает о том, как здорово ехать и не знать, когда эта тропинка кончится и куда приведёт; скорее, он даже не думает об этом, а просто живёт этим, захвачен этим целиком, и совсем бы в этом исчез, если бы его щёки, вздрагивая при каждом наезде на корни, не напоминали ему о его лице, о том, что он — это он.

Здесь, между лесом и полем, пахнет по-другому: мёдом, сосновой смолой, тёплым песком и, кажется, маслятами.

И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета, — строчки появляются в голове не как отрывок стихотворения, а как пророчество, которое сбывается в эту самую секунду.

Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир. Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт — это человек, который может их записать для людей.

Стихи уже есть... Его ладони моментально вспотевают и начинают скользить по ручкам руля. Он чувствует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое суще-

ствование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, — надо только вслушаться и перевести на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, — но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть — но его нет.

«Снова плен», — звучит в его голове само.

Он начинает слепо, на ощупь составлять слова: «Поле. Солнце. Хвойный лес», — но чувствует, что эти слова не вызволяют его из плена, что они — совсем не то, о чём поёт на самом деле всё вокруг. Он испытывает муки бессилия, которые не мешают ему одновременно испытывать счастье.

«Это хорошо, это здорово, что не сразу», — говорит он себе и прощает себе бессилие, принимает его.

Внезапно он оказывается на берегу неширокой реки. Здесь тропинка, по которой он ехал, круто заворачивает влево и, отрываясь от кромки леса, становится полноценной грунтовой дорогой, старательно повторяющей речные изгибы.

Он слезает с велосипеда и, сделав глубокий вдох и сильный выдох, садится на берег в траву. Велосипедное движение ещё не успело прекратиться у него внутри, и кровь глухо постукивает в ушах, а в глазах от неожиданной остановки расходятся тёмные круги; наверное, сказывается больница.

«И это плен», — чувствует он, поневоле выходя из очарования.

Здесь много мошкары, от обильной травяной пыльцы чешется в носу, но никак не получается чихнуть; солнце накаляет череп навязчиво, неуклонно. На несколько долгих минут в душе парня воцаряется больничное послеобеденное бесчувствие. В эти минуты он — самый обыкновенный житель земли, которому незачем было вчера расстраивать отца из-за каких-то стихов, которому надо решать насущные проблемы, такие же душные, как эти минуты под безжалостным солнцем. Снова ему стыдно, что он настолько покорился стихам: что-то ему в этом видится детское или женское — явно не мужское.

Но кровь успокаивается, пот высыхает, дыхание становится ровным; небо милостиво проводит по самому солнцу маленькую стаю облаков, которые дают ненадолго ощутить прохладу, — и вот он опять чувствует себя в окружении живого, говорящего мира и ожидает от него новых стихов.

На другом берегу одиноко стоит, касаясь ветвями воды, густая, похожая на круглое облако ива. Кажется, исходящая от неё прохлада ощутима даже на этом берегу. Дерево как будто беседует с ним этой прохладой. За деревом поле, а на самом горизонте — белоснежное пятно колокольни.

И зеленело за рекой девичье поле пред глазами, и монастырь белел святой с горящими, как жар, крестами, — донеслось изнутри, а может, оттуда, издалека.

«Мир — это рай. Я в раю», — думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц. Он уже любит это место так преданно и доверчиво, будто прожил на нём не несколько минут, а несколько лет, и так печально, будто вот-вот должен будет встать и разлучиться с ним надолго, может быть навсегда. Он знает, что это место навсегда вложилось в его сердце, стало его милой внутренней родиной.

Щука, сказочно крупная, выплыла из-под кувшинок и обошла медленным дозором мелководье, с достоинством шевеля плавниками над светлым песком и не обращая внимания на мелких рыбок, штук пять из которых, не

опасаясь стать её добычей, проводили её до глубины в качестве свиты и торопливо вернулись в стаю.

«Что со всем этим делать?» — недоумевает парень.

Он медленно, зачарованно встаёт, поднимает с травы велосипед и не садится на него, а осторожно ведёт его по дороге вдоль реки. Движение в нём усмирилось. Настаёт покой. Он идёт как самый простой путник, ходивший по этой дороге не раз, с той лишь разницей, что идёт он не по обычной земле, а по раю.

Река (а вместе с ней и дорога) совершает крутой изгиб, и на месте изгиба вода рябит и сверкает, как во сне.

В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное... — вспоминает парень и счастливо шагает дальше, ощущая кругом вечный праздник.

Глядя по сторонам, он замечает простую, но очень важную особенность этого места: ничто не выдаёт в нём современности. Здесь не слышно машин, не торчат из-за горизонта высотки или дымящие трубы; здесь даже не валяется под ногами броского, ядовито-разноцветного мусора, который безошибочно позволил бы определить эпоху.

«Это место могло быть точно таким же и сто, и двести лет назад», — думает парень, и на короткое время ему представляется, и даже верится, что он чудесным образом прикатил на своём велосипеде в девятнадцатый век — Золотой век русской поэзии. И, может быть, прямо сейчас, и даже совсем неподалёку отсюда, Тютчев додумывает своё стихотворение:

Чудный день! Пройдут века — так же будут, в вечном строе, течь и ***и****скриться река и поля дышать на зное...*

Он услышал эти строки, увидел их вокруг и спокойно, разве что с лёгкой грустью, вернулся мыслями в своё столетие.

Из-за какого-то далёкого извива реки, заслоняемая прежде кустарником, показалась и задрожала в горячем мареве фигурка верхом на двух невесомых, как будто из тонкого хрусталя сделанных колёсиках. О том, что она движется, а не стоит на месте, поначалу свидетельствует только переменчивое сверкание колёсных спиц. Парень останавливается, заворожённый картиной, похожей на мираж.

И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...

Парень с волнением готовился к уготованной ему важной встрече. Проходит не меньше двух минут, прежде чем ему удаётся разглядеть, что фигурка — женская; он не смог уловить то мгновение, когда это стало ему понятно, поэтому уверен, что это было известно ему с самого начала.

Точно так же неуловимо и изначально известно наступают в его жизни долгие золотые секунды, в течение которых он близко видит ту, что приближалась к нему издалека.

Это девушка в белой косынке, в белой футболке и фиолетовых трико, слегка запачканных краской и дорожной пылью. Из-под косынки на лоб и плечи выбиваются тёмно-русые гладкие волосы. Велосипед её — старенький, скрипучий, кое-где заржавленный, однако кажется весьма прочным из-за того, что девушка, сидя на нём, держит прямую осанку и поднимает свои красивые колени старательно и равномерно.

Парень стоит и неотрывно смотрит на девушку, забыв о том, что это может выглядеть не совсем вежливо, может даже испугать её.

Действительно, на лице девушки отражается волнение: по-особенному розовеют щёки, и смотрит она как-то умышленно не на парня, а на

дорогу перед собой. На ровном месте руль её велосипеда неожиданно виляет в сторону, колени ударяются друг о друга, и, едва она оставляет парня позади, закреплённый на багажнике её велосипеда алюминиевый бидон соскакивает и падает в траву. Он громыхнул своей пустотой, и девушка, конечно, это услышала, однако, прежде чем остановиться, она выравнивает руль и отъезжает от парня довольно далеко; вероятно, первым, бессознательным её стремлением было поскорее покинуть это место, пожертвовав бидоном.

Парень видит, как неловко она теперь перетаптывается, пытаясь развернуться вместе с велосипедом, высокая рама которого осталась у неё между ног. На кого-то она в эту секунду очень похожа: то ли на маленькую девочку, которая пытается пройтись в огромных маминых туфлях, то ли на какое-то морское животное — из тех, что так изящны в воде и так беспомощны и неповоротливы на суше.

Он бросил свой велосипед, быстро подошёл к бидону, поднял и, подбежав к девушке, протянул ей вещь. Порозовевшая теперь всем лицом, не глядя парню в глаза, она быстро приняла бидон, суетливо и бессмысленно приставила его к багажнику, быстро придумала, что его можно просто повесить на руль, повесила — и вот, сказав парню «спасибо» настолько тихо, что, может быть, и не сказала на самом деле ничего, уже едет, не оборачиваясь, дальше. Её велосипед не позволяет быстро набрать скорость, и парень наблюдает, как девушка, то и дело наклоняясь грудью к рулю, изо всех сил преодолевает сопротивление педалей. Но вот она уже довольно далеко, а вот и совсем далеко — уже едет вдоль леса, той самой тропинкой, по которой недавно ехал он: два крохотных хрустальных колеса, уже, скорее, не хрустальных, а сделанных из тонкой паутины, белая точка косынки и стихающее дребезжание бьющегося о руль бидона... И так это дребезжание уместно, не тягостно, нужно, такое оно летнее, полевое, напоминающее о пасущихся коровах, о молоке, — что, стихнув окончательно, оно всё ещё продолжает звучать в голове памятью, пока кузнечики, наконец, не заштриховывают его полосками своего неумолчного стрекотания.

– Господи... — говорит парень и снова садится на береговую траву, чувствуя, как и это новое место у реки навеки становится его милой родиной, вкладывается в его сердце.

По воде побежала рябь, сделавшая реку как будто шире, величественнее и отчего-то печальнее.

Ты, земля, и вы, равнин пески...

Он не может чему-то поверить: то ли тому, что эта девушка здесь была, то ли тому, что теперь её здесь нет.

Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски...

Последние две строчки — о другом расставании, гораздо более печальном, чем расставание с девушкой, но парень чувствует, что они по-своему уместны и теперь.

Смягчилось, а потом и спряталось солнце, — кажется, надолго. Кузнечики примолкли. Рябь разгладилась. Воздух стал более нежный, как бы жалостливый к парню, готовый внимательно слушать его сердце. Над потемневшей водой бесшумно задвигались светлые мошки. Иногда одна из них ненадолго прилипает к реке и распускает на глади маленькие круги. Подрагивает в воде камыш — тоже бесшумно. Висит в воздухе блаженное, онемевшее летнее тепло.

– Как же я теперь без неё, — произносит парень в совершенную тишину. Он бросает в реку травинку, которая пронзает гладь с каким-то дождливым

звуком, и падает спиной на пахучую траву. Ему теперь есть, *стало* о ком сказать: «Как же я теперь без неё». И он произносит другие слова:

– Хорошая моя. Красивая. Как же я тебя люблю.

Он понимает, что это — большие, серьёзные слова; быть может, слишком большие и серьёзные, чтобы так запросто выпускать их в небо. Он ведь совсем ещё не знает жизни, он даже ни разу ещё по-настоящему не целовался. И всё же он отчётливо сознаёт, что имеет полное право на эти слова. Откуда-то ему известно, что когда они произносятся впервые, они ещё не обязаны обладать своим полным весом; их первая задача — расправить, высвободить внутри человека правильное просторное место, которому ещё предстоит наполниться живой кровью. И парень продолжает творить, устраивать в себе это место:

– Милая, — произносит он. — Светлая. Любимая.

Ему кажется, что сегодня — самый первый день его жизни, и что вся эта жизнь будет похожа на этот день. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что такого счастья, как сегодня, он уже не испытает никогда: будет искать его — и не найдёт, будет жадно ловить его отблески, отсветы, дуновения, каждый раз обманываясь надеждой снова получить целое, а при слове «счастье» будет воображать лишь этот день, больше ничего, — он, конечно, не поверил бы.

Он мысленно оглядывается в прошлое, — быть может, впервые в жизни, — и ощущает страх оттого, что он мог так и прожить до самой смерти, не испытав того, что испытывает сегодня.

Он думает: как же он жил раньше? Неужели он никогда не бывал на природе, не видел красивых девушек? Бывал, видел, отвечает он себе. Просто он воспринимал всё это, как... как маленький ребёнок воспринимает деньги. Для ребёнка деньги — это простые бумажки с рисунками. Ребёнок не понимает, что эти бумажки не просто бумажки, что в них есть какой-то другой, небумажный вес...

Сравнение с деньгами кажется ему точным. Разве что в самом сопоставлении денег и прекрасного есть какое-то несоответствие. Ведь в пренебрежительном отношении ребёнка к деньгам тоже есть что-то возвышенное, чем можно восхититься.

Парень понимает, что ему ещё только предстоит привести мир своих метафор в порядок — так, чтобы одно всегда сходилось с другим...

– Молодой человек, — долетает до него с дороги женский голос. На слове «молодой» сделано какое-то укоризненное ударение, будто голос намеревается напомнить о своих ущемлённых правах.

Парень привстаёт, оборачивается и увидел толстенькую, коротко постриженную женщину с рюкзачком за плечами. На ней джинсы в обтяжку, показывающие, что она с удовольствием принимает своё тело таким, какое оно есть. За её спиной стоит, наверное, её дочь — девочка лет пятнадцати, по-мальчишески худая, с очень миленьким, сладко красивым лицом и вьющимися распущенными волосами. На девочке голубые джинсовые шорты с бахромой и чёрная футболка с реалистичным изображением голубого единорога, который встал на дыбы в вихре звёзд. У обеих путешественниц руки на рулях одинаковых велосипедов, и смотрят они на парня одинаковыми ожидающими взглядами, как на фотоснимке.

– Молодой человек, — повторяет женщина. — У нас чепэ. Выручайте. Вот...

Она отступает на шаг, и дочь послушно выходит на передний план, а затем, после лёгкого толчка мамы, подвозит свой велосипед к парню. Парень встаёт с травы и тут же присаживается на корточки. Он видит, что с велосипедом всё в порядке, просто со звёздочки соскочила цепь.

Девочка принесла с собой запах фруктового шампуня и чистого тела. Ощутив этот запах, парень ненадолго поднимает взгляд от загорелых коленей девочки к её лицу. Девочка улыбается, — видно, что не ему и не о нём, а, наверное, просто от привычки улыбаться, оттого, что нет причин не улыбаться. В такой улыбке тоже кроется красота. И даже в том, что девочка время от времени шмыгает носом и из-за насморка её аленький рот всё время приоткрыт, — тоже кроется красота.

«Могла бы она так же ехать по полю одна, как *та*? — быстро соображает парень. — Вряд ли. Скорее всего, мама не пустила бы её. Да она бы и сама не захотела. Ей было бы скучно одной. А *той* не скучно. *Той* хорошо с полем, с рекой, с самой собой. Господи. Какая она прекрасная. Неужели я её больше не увижу? Неужели мы не поговорим, не будем вместе?».

– Доктор, не томите нас, — говорит женщина. — Скажите: пациент обречён или есть надежда?

Девочка на секунду оборачивается к маме с той же улыбкой — и с той же улыбкой поворачивается обратно к парню.

– Вскрытие покажет, — подыгрывает парень женщине, вставая с корточек, и девочка снова на секунду оборачивается к маме; ей интересно узнать мамину реакцию на слова парня. При каждом повороте головы её волосы красиво вздымаются и опадают, напоследок коротко качнувшись из стороны в сторону. Быть может, она отчасти для того и вертит головой при каждом удобном случае, чтобы непрестанно рождалась от неё эта нехитрая, но действенная красота.

Парень приподнимает заднее колесо её велосипеда, зацепляет пару звеньев за звёздочку и, крутанув рукой педаль, моментально ставит цепь на место.

– Вот, в принципе, и всё. Жить будет, — выносит он заключение, быть может, лишь для того, чтобы ещё раз увидеть движение прекрасных волос, которое незамедлительно и видит.

– Ой, ну что бы мы без вас делали! — восклицает женщина с такой преувеличенной благодарностью, что сразу не верится в её серьёзность. — Такие люди, можно сказать, на дороге валяются! А чем вы, если не секрет, занимаетесь? Ну, то есть вообще, по жизни?

– Я художник, — отвечает парень, почему-то не чувствуя в своём ответе никакой лжи.

Снова стремительный взмах девочкиных волос.

– Худо-о-ожник? — женщина вытягивает своё круглое лицо, и опять невозможно поверить, что она действительно удивлена. — И можете починить велосипед? Ну вы просто уникум! Вы кто по знаку зодиака?

– Стрелец, — отвечает парень не сразу, стыдясь немного, что знает о себе такие вещи.

– Стрелец! Так я и знала! Всё! Вы обязаны прийти к нам сегодня в гости. Правда, заяц?

Девочка снова совершает своё движение, на этот раз показавшееся парню уже немного навязчивым, и мелко кивает, как бы говоря: «Да, да, да, ты правильно поняла. Он классный».

Внезапно женщина скривляет гадливую гримасу, удивительным образом сжимая все части своего лица в такую маленькую кучку, что и не разберёшь сразу, где у неё теперь нос, где рот, а где глаза.

– Ой, ну я ведь уже умоляла тебя слёзно, кошечка моя, не шлындать носом! Что подумает художник? Что ты девочка-даун. У тебя же не написано на майке, что ты у меня свободно говоришь на английском и французском, занимаешься танцами и пишешь стихи.

Парень чувствует себя обязанным отдать дань удивления разнообразным способностям девочки. Выпятив нижнюю губу, он качает головой, как бы признавая: «Да. Ничего не скажешь — хороша».

– Да, мы такие, — приближается женщина к дочери и, запуская пятерню в волосы на её затылке, чешет её сильно, как зверька. — Умные, красивые. Только у дас дасборк и бы дебдожечко двигаеб дособ. Да, зайчон?

Теперь девочка смотрит с обворожительной, чуть наглой даже улыбкой прямо в глаза парню. Такое впечатление, что через руку матери ей передалась недостающая для этого смелость.

Мать рассказывает спокойно, мирно, именно так, как рассказывают что-нибудь, гладя маленького домашнего питомца, который гнездится на коленях:

– У нас коттедж в СНТ «Черёмуха». После церкви сразу налево и до шлагбаума. Четырнадцатый участок на первой линии. Вы не перепутаете: там кругом одни сараи, единственный приличный дом — это наш. — Она смотрит на работу своей руки в волосах дочери, сильнее увлекается этой работой и начинает мощно массировать девочке шею. — Вот только съездим в город по делам... купим то-ортик... шампа-а-анского бутылочку... Правда, рыба?.. — она уже говорит с лёгкой одышкой. — А у нас хорошо... Малина... смородина... клубника ремонтантная... прудик свой... всё очень даже... часиков в пять приезжайте... всё увидите...

Вдруг она, как бы несколько раздражившись на дочь за тот лирический гипноз, в который невольно погрузилась, гладя её и массируя, толкнула легонько девочку в шею.

– Так, всё, давай целуй художника — и поехали.

Тонкими пальцами девочка медленно убирает волосы за уши и, чуть вытянув голову вперёд, смотрит на парня с озорным стыдом.

– Давай, давай, не ломайся, — подбадривает мама. — Одной клубникой нормального мужика в дом не заманишь. Мужчине нужно другое — сама знаешь что.

Девочка протягивает к парню руки над рамой своего починенного велосипеда, берёт его ладонями под подбородок, словно собирается осторожно снять с него голову, притягивает его лицо к своему и прикасается губами к его губам. Парню начинает казаться, что она и вправду сняла с него голову.

– Так, не увлекаться, — словно приклеивает мама голову на место, и девочка медленно («по-взрослому», подумал парень) отрывает от него свои губы и отдаляет от него лицо. Глаза её как будто пьяны. Она снова проводит пальцами за ушами, хотя с волосами её ничего плохого не успело сделаться, и парню нравится бесполезность этого её движения.

– Вот если приедет в гости, тогда оставлю вас вдвоём — будете целоваться сколько хотите. А сейчас поехали. В женщине должна быть недоговорённость.

Мать и дочь синхронно седлают велосипеды.

– По крайней мере, насморком мы его уже наградили, — балагурит напоследок мама, и, заливисто смеясь, обе женщины, большая и маленькая, трогаются с места.

Когда они набирают ход и отъезжают достаточно далеко, девочка стремительно оборачивается и смотрит на парня с победной улыбкой, будто он — смешной снеговик, которого она только что слепила. Ей, несомненно, доставляет удовольствие, что парень всё ещё стоит как вкопанный, глядя ей вслед, и она ещё раза два оборачивается, чтобы снова получить это удовольствие, — а заодно и взмахнуть лишний раз волосами.

Потеряв их фигуры из виду, парень поднимает с земли свой велосипед и

медленно продолжает пеший путь вдоль реки. На губах его будто осталась вмятина от губ красивой девочки, как если бы его губы были из воска, а её — из горячего металла.

«...Будете целоваться сколько хотите»... При воспоминании об этих словах по телу его пробегает дрожь.

«Одни, без всех, — произносит он про себя совершенно безвольно, — где-нибудь в листьях, на качелях, долго, сколько хотим».

Он с опасением вглядывается в себя и проверяет, что теперь стало с *той* — милой, любимой, светлой, — и с облегчением видит, что она никуда не исчезла.

И снова в окружающем мире чувствуется присутствие ещё никем не написанных стихов. Это стихи о *ней*. О ней теперь стало гораздо легче говорить, потому что появилась *другая*, а вместе с ней и все *другие*, которые ещё будут.

— *В чужих объятьях забывал...* — бормочет парень, не понимая, что говорит вслух. — *Но ты... ты и тогда была со мною... Как будто на меня смотрели твои печальные глаза... Всё испытав и разуверясь... Я снова на исходе дня... ересь... вереск... надеясь... Не знаю, примешь ли меня...*

«Нет, слишком много всего, — понимает парень. — Чуть поменьше. Сегодня надо просто... прожить. Это только начало».

Он внимательно смотрит вокруг. Странное освещение настало в природе. Там, наверху, наверное, сильный ветер: облака стремительно пролетают мимо солнца, то и дело скрывая его, и по тёплому полю прокатываются их могучие тени. Кажется, что это не тени облаков, а самостоятельные облака земли.

Ивы и кустарники показывают бледную изнанку листвы, и не то с неба, не то с реки обрызгивают парня холодные капли. Сухой травяной клубок катится за ним вдогонку и, едва поравнявшись с человеком, смиренно распадается на отдельные стебли. Парень садится на велосипед и едет.

Едет он долго, неотступно следуя за прихотливыми изгибами реки и наблюдая за тем, как храм, бывший вначале далёким белым пятном, вырастает, обретает всё более подробные очертания. Парень начинает видеть протянувшееся от храма село, потом видит деревянные леса, которыми обстроена колокольня. А вон пёстрое, густо заставленное крестами кладбище. А вот деревянная хозяйственная постройка, чернеющая дверным проёмом и окружённая россыпью опилок и колотых дров.

Оказывается, храм стоит на другом берегу реки. С этого берега к нему перекинут ветхий дощатый мост. Парень идёт по мосту и останавливается над рекой. К опорам прибились водоросли, и можно очень долго смотреть на то, как их треплет течение.

Снова воцарилась тишина. Приходит сонное, самое жаркое время дня. Редкие облака двигаются по небу медленно, лениво, не пересекая солнце. Всё стало настолько горячим и ярким, что потеряло цвет и кажется обморочно-тёмным.

Высокий священник в чёрном подряснике бодро выходит из храма и останавливается возле человека в тёмной, совсем не летней одежде, опершегося на черенок какого-то хозяйственного инструмента. Человек, видимо, ждал священника. Оба оживлённо жестикулируют, о чём-то спорят, как вдруг священник движением руки зовёт к себе парня. Парень вопросительно показывает пальцем себе на грудь, священник кивает — «да, ты» — и уверенно повторяет зовущее движение.

Парень подкатывает велосипед к беседующим.

Священник — черноволосый и чернобородый — осеняет парня крестом, кладёт большую тяжёлую ладонь на его голову.

– Вот тебе будет помощник, Матвейка. До всенощной стожок соберёте. Как ты, брат? Не возражаешь потрудиться во славу Божию? — обращается он к парню, только сейчас убрав руку с его головы.

Парень медленно пожимает плечами.

– Или есть дела поважнее? — без осуждения спрашивает священник.

– Да в принципе, нет.

– Ну и спаси тебя Христос. Сейчас Матвейка тебя снабдит инструментом — и за дело. С Богом, ребята.

Он уже направляется к хозблоку, по дороге снимая с себя подрясник и становясь крепким широкоплечим мужчиной с красивой узкой талией, в майке, заправленной в коричневые шерстяные брюки, в ременные петли которых почему-то продета верёвка. Парень остаётся наедине с Матвейкой.

Матвейка — человек неопределённого возраста с изувеченным лицом. Одну его глазницу, в которой то ли есть, то ли нет глаза, целиком закрывает набухшая оттянутая бровь. Нос как будто вбит в лицо двумя ударами топора и выдаётся на конце одной-единственной, да и то набок скошенной, кнопкой. Нижняя губа тоже скошена, причём в противоположную от кнопки сторону, и налезает на верхнюю, выворачиваясь глянцевой розовой изнанкой. Кожа у Матвейки коричневая, как подгнившая груша, и в складках её местами что-то белеет. Только волосы у него на удивление здоровые, густые, разве что серые от седины и растрёпанные, как перья старой птицы.

Он всё ещё опирается на грабли и еле заметно мотает головой, глядя на то, как священник копается в темноте хозблока с бензопилой. Единственный его видимый глаз напоминает одинокое крохотное оконце в стене уродливой башни, по скупому свету которого только и можно судить, что внутри этой башни ещё теплится какая-то жизнь.

– Да-а... лихо-ой поп Андрюшка, — шамкает он слова с бульканьем на многих звуках, сплёвывает в сторону паперти и, опершись на грабли сильнее, по-деловому ставит ногу на ногу. — Хочет всё — и сразу.

– Там сказали про какой-то инструмент, — тихо напоминает парень, почему-то боясь огорчить священника затянувшимся бездействием.

– Да погоди ты, не убежит, — Матвейка напряжённо сплёвывает ещё раз, не переставая наблюдать своим глазком-окошком за действиями священника. Он медленно закрывает и открывает этот глазок, и тогда парень замечает на его верхнем веке полустёртую татуировку, неизвестно что изображающую.

Наконец, священник отвлекается от починки бензопилы и с удивлением обнаруживает, что его рабочие не сдвинулись с места.

– Вы чего? — спрашивает он без злобы, распрямляясь в дверном проёме.

– Как же я ему грабли дам, батюшка, если вы их сами после службы Серафиме отдали?

Когда Матвейка пытается говорить громко, его бульканье заметно усиливается и почти бесследно растворяет в себе слова. Но отец Андрей понимает его мысль.

– Серафима... Серафима... Милая моя... — приговаривает он задумчиво, то хватая, то отпуская свою угольную бороду. — Забрала ты, бабушка, грабли у меня...

Посреди размышления он одаривает Матвейку коротким проницательным взглядом, как бы удивляясь уважительно его таланту оттягивать начало работы так, что не придерёшься. Но и парню, и Матвейке ясно, что без работы они не останутся, что священник найдёт выход из положения.

– Хорошо...

Он скрывается в хозблоке, чем-то довольно долго там гремит и наконец выходит на улицу с новенькими граблями в руке. Грабли эти — необычные, крашенные, сделанные в виде веера из тонких полосок стали.

– Вот. Матушкины. Прошу не ломать — ибо убьёт. Причём не вас, а меня.

Новые грабли вручаются Матвейке, а Матвейкины переходят к парню. Почесав голову и не найдя, что ещё сказать, батюшка возвращается к бензопиле. Матвейка, не говоря парню ни слова, отправляется к месту работы. Парень оставляет велосипед и идёт за ним.

Они идут сквозь кладбище. Матвейка спокойно продолжает сплёвывать по сторонам, иногда попадая на чью-нибудь могилу. Парень начинает думать, что только безысходность, только животная жажда выжить могли прибить этого человека к храму. Парень оборачивается к храму: здание видится ему таким же угрюмым и тесным, как жизнь Матвейки.

«Плен», — вспоминает парень, однако продолжает покорно следовать за сутулой Матвейкиной спиной.

Кончается кладбище, за которым — поле. Одно от другого отделяют растущие в ряд ивы, высокие, посаженные, видимо, очень давно. Под одну из них Матвейка тут же садится, положив грабли на кучку кладбищенского мусора. По хорошо примятой траве видно, что место это насиженное. Матвейка долго рассматривает свой инструмент, а затем изрекает со своим бульканьем:

– Это разве грабли? Спиночёска какая-то.

Парень улыбается.

– Есть чё покурить? — забывает о граблях Матвейка.

– Не курю, — разводит руками парень.

Матвейка достаёт из внутреннего кармана рабочей куртки мятую пачку и достаёт из неё последнюю сигарету. Кидает скомканную пачку в поле, закуривает.

– В такую жару разве можно работать? — спрашивает он кого-то и, выпустив дым разом из кривого носа и кривого рта, сам отвечает: — Если только на зоне.

Заводится за кладбищем бензопила и начинает нудно реветь. Матвейка затягивается часто, чтобы как можно меньше дыма ушло в воздух, миновав его лёгкие.

– Я б такой, чтобы дёрнуть отсюда.

– Куда? — спрашивает парень.

– Куда... — передразнивает Матвейка. Сигарета уже выкурена, он отвратительно выдавливает на уголёк слюну и кидает окурок туда же, куда кинул пачку. — Есть места...

– А что удерживает?

Парень думает, что Матвейка передразнит и этот его вопрос, но Матвейка не так предсказуем.

– Кормёжка удерживает, койка удерживает, — отвечает он обстоятельно и серьёзно, видимо высказывая парню то, что высказывает сам себе по многу раз на дню. — И лавэ на билет Андрюшка обещал.

Вдруг Матвейка воровато оглядывается по сторонам, похожий на маленького хищного зверя, в каждом движении которого сказываются одновременно две заботы — поймать добычу и самому ею не стать. Убедившись, что всё тихо, он запускает руку в кладбищенский мусор и извлекает оттуда полуторалитровую пластиковую бутылку, заполненную на треть чем-то прозрачным и бесцветным, как вода. Встряхивает жидкость, отвинчивает крышку и делает глоток. После глотка надувает щёки, отчего кривая нижняя губа выворачивается ещё сильнее. В завершение уютно причмокивает.

– На, — предлагает он бутылку парню, не протягивая руку слишком далеко; видимо, одолжение и без того не по чести большое.

Отчего-то парень чувствует, что отказ невозможен, и, нагнувшись к Матвейке, принимает бутылку. Он боится оскорбить этого человека, протерев горлышко бутылки майкой, и, чтобы победить брезгливое чувство, бездумно, не разбирая вкуса, делает несколько больших глотков.

– Э, э... — останавливает его Матвейка.

Парень отрывается от бутылки и лишь теперь понимает, что он только что впервые в жизни выпил крепкого, горючего алкоголя. Он чувствует во рту обильный приток слюны, сдерживает рвотный спазм, а затем с моментальным облегчением ощущает, что тело приняло напиток. Жара, царящая в природе, теперь воцарилась и внутри. Глаза парня, которые как-то сразу расслабились и затуманились, ищут прохлады и находят её рядом с Матвейкой, с самого начала мудро избравшим место под деревом. Парень хочет подсесть к нему, хочет, быть может, даже пооткровенничать с ним, положить ему руку на плечо, доказав, что ничуть не брезгует им, но, как ни странно, именно в этот момент Матвейка поднимается, чтобы приняться за работу.

– Надо побатрачить, — говорит он, презрительно потряхивая своей «спиночёской». — А то без курева тоскливо совсем.

Он удаляется в поле и сразу, будто не начал, а продолжил давно начатое дело, принимается за работу. Трудится он не очень складно, не так, что залюбуешься, и всё же движения его полны уверенности. Видно, что жизнь приучила его браться без раздумий за самые разные виды работ, хоть ни в одном из них, наверное, не позволила ему по-настоящему преуспеть.

Парень оглядывает прямоугольный участок поля со скошенной травой, которую предстоит убрать, и понимает, насколько нестрогий человек отец Андрей и насколько смешной человек Матвейка: участок совсем маленький, двадцать на двадцать метров, не больше.

Чтоб не мешать Матвейке, парень удаляется в дальний от него угол участка и тоже начинает возить граблями по полю. По примеру Матвейки он собирает траву в кучки, кучки сгребает в охапки, а охапки сносит в середину участка, пополняя таким образом стог.

Вскоре хороший трудовой пот покрывает его тело, как смазка, необходимая для полноценной работы механизма, и парень трудится с блаженным отсутствием мыслей, не задумываясь о том, что делает, но делая всё правильно. С каким-то замороженным интересом он слушает своё дыхание, то попадающее в такт его движениям, то выпадающее из такта. Погружаясь в работу ещё безоглядднее, он замечает, что при выдохе слегка округляет губы, тем самым достигая глухого, не до конца прорезанного свиста, при помощи которого исполняет себе какую-то глупую, случайно привязавшуюся мелодию.

Он мимоходом оглядывается на Матвейку и не может сдержать улыбку, видя, как тот со смешной яростью обрушивает свою «спиночёску» на поле и, видимо, подыскивает про себя новые язвительные имена для этого инструмента.

Через несколько минут, оглянувшись на Матвейку ещё раз, парень видит его неподвижно стоящим в поле. Руки Матвейки осторожно сложены на верхушке черенка — хорошенько опереться на грабли ему не даёт предупреждение отца Андрея.

Неожиданно парень чувствует к Матвейке то же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, где ему сегодня приходилось останавливаться: этот че-

ловек уже не чужой ему и никогда не будет чужим, он навсегда отпечатался в его сердце и тоже стал его милой родиной. Парень снова ощущает рядом присутствие стихов — каких-то новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, просто о человеке, — но он уже не пытается услышать слова этих стихов. Ему достаточно знать, что стихи есть, что они снова рядом.

– Не гони, — говорит Матвейка, скупым движением убирая пот с набухшей уродливой брови. — Работа не волк. Раньше сделаем — Андрюшка ещё что-нибудь придумает.

Парень неосознанно перенимает Матвейкину позу. Видимо, Матвейка с удовольствием присел бы сейчас под деревом и закурил, но поскольку сигарет нет, он решает ещё поговорить.

– Так-то нормальный мужик Андрюшка. Я его *так* называю про себя. Какой он мне *отец*? Это я ему в отцы гожусь. Никогда не крикнет. На сигареты даёт. Что, говорит, с тобой сделаешь, Матвей Семёныч, с курякой. Только, говорит, если узнаю, что вино покупаешь, больше давать не буду. — Матвейкино лицо преображается в нечто, что означает улыбку. — А я и не покупаю. Мне Серафима самогон приносит. Я у ней на огороде тоже помогаю, вот она и даёт. Она вдова, давно муж помер. Оставайся, говорит, у меня. Я уж не женщина, да и ты не мужчина. Так, говорит, — будем друг друга подпирать.

– А ты что?

Парень думал обращаться к Матвейке на «вы», а почему-то сказал «ты» и понял, что сказал правильно.

– А я что... — не передразнивает, а просто подхватывает Матвейка. — Спасибо, говорю, Серафима. Только это в тебе что-то не твоё говорит. Не верю я, чтобы тебе такое чучело в доме понадобилось. Что-то здесь, говорю, не так. Хочешь Боженьке услужить, наверное. Грешки замолить. Не-ет, говорю, не пойдёт, извини. Какой я ни есть, а я не пёс, чтоб меня с дороги подбирать. Мне свой, собственный угол нужен.

На словах «свой, собственный» Матвейка два раза тихонько бьёт себя в грудь, и лицо его моментально холодеет от достоинства, причём происходит это за счёт какой-то неуловимой перемены в его одиноком глазке.

Он берётся за грабли и потихоньку пробует ими землю, вроде бы возвращаясь к работе. Парень поступает так же, однако Матвейка снова отставляет грабли, и парень снова невольно повторяет за ним.

– Знать бы только, жив он или нет, в тюряге или на свободе, — задумчиво булькает Матвейка.

– Кто *он*?

– Сын мой. Такой же вот, как ты. Только старше лет на пятнадцать. Может, он и говорить со мной не станет. Плюнет мне в рожу — тьфу, скажет, не отец ты мне — и весь базар.

Бензопила за кладбищем умолкает. Парень чувствует, как день начинает медленный поворот к вечеру. Он чувствует это по слабому рыжеватому оттенку, который вкрался в белизну колокольни, несмотря на то, что небо всё ещё полуденноголубое, без единой вечерней краски, а ещё по особому необъяснимому умиротворению, вдруг разлившемуся в воздухе. Всё вокруг как будто перевело дух, вытерло пот со лба и сказало: «Ещё не конец, но самое трудное уже позади».

Не сговариваясь, собеседники разбредаются по своим углам и начинают заново входить в работу. Это даётся сложнее, чем в первый раз: пот уже как будто весь вышел и движения выходят сухие, одиночные, несмазанные, но в

целом работается приятнее, потому что пламя жары отошло и б*о*льшая часть работы уже сделана.

Наконец заброшены на стог последние охапки. Стог — парню по грудь, Матвейке по шею. Оба любуются результатом работы — горой сена и убранным, гладким участком поля.

Неожиданно возникает из недр кладбища отец Андрей. Брюки у него жёлтые от опилок, в руках — два белых пластиковых стаканчика с чем-то тёмным внутри.

– Сдюжили? Вот молодцы! Спаси Христос! — благодарит он работников и вручает каждому по стаканчику. — Витамины за труд.

Парень смотрит в стаканчик — там черника, крупная, как бы покрытая инеем.

– Изжога у меня от неё, — капризно объясняет Матвейка, будто уже не в первый раз.

– Изжога у тебя от другого, — говорит священник. — Ешь.

Он ухватывает из Матвейкиного стаканчика щепотку ягод и, задрав голову, закидывает их разом в свой белозубый красивый рот.

– Черники в этом году... — сообщает он, жуя. — Стрекоза Андревна — целый жбан за полтора часа набрала. И ещё поехала...

Чему-то вздохнув, он направляется в сторону храма и договаривает, уже как бы себе самому:

– Прогульщица. Опять одним старухам всенощную петь...

Парень забрасывает чернику по одной ягодке в рот, смотрит священнику вслед и как будто продолжает слышать его голос. Этот голос хочется слышать ещё. Так приятно, что священник говорил с парнем и Матвейкой, как с близкими, важными людьми. Эта его неуместная доверительность, то ли женская, то ли детская, никак не сходится с его мужественным обликом.

Парню нравится отец Андрей.

– Давай, — говорит Матвейка и протягивает руку, чтобы забрать у парня грабли. — Сейчас отнесу — пойду в село сигареты стрелять. Без курева повеситься можно.

Он уходит дорогой отца Андрея, скрываясь среди крестов и оград.

Парень не знает, что ему теперь делать. Подумав, он решает вернуться к своему велосипеду, но не кратчайшим кладбищенским, а другим путём — обогнув храм полем.

Он поднимает голову, смотрит на храм и испытывает одновременно два непохожих ощущения. Одно — что перед ним довольно жалкое здание: штукатурка, облупившаяся местами до кирпича, леса, похожие на аппарат Елизарова (он видел такой аппарат на ноге у одного человека в больнице). А другое — что перед ним инопланетный космический корабль, в котором всё, что кажется созданным просто так, для красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо более важное, таинственное назначение.

По пути он видит усыпанную щебнем дорогу, в конце которой виднеется красно-белый шлагбаум, и видит за этим шлагбаумом солидную черепичную крышу дома «на первой линии», выдающуюся из ряда низких и заржавленных дачных крыш. Почему-то при мысли, что он может сегодня оказаться в этом доме, ему становится не по себе. Он поскорее уходит от этой дороги и через минуту оказывается у раскрытых дверей храма, невдалеке от которых лежит его велосипед. И что-то заставляет его войти в храм.

В храме прохладно, пусто, сумеречно. Стены без росписи, и икон на них совсем немного. Несколько старушек стоят в разных концах у подсвечников, что-то непрестанно и бесшумно делая со свечками и лампадками. Па-

рень выбирает место поближе к дневному свету, неподалёку от маленького вытянутого окна, прямоугольного внизу и полукруглого сверху.

Из алтаря раздаётся голос священника, и, словно проснувшись, ему откуда-то сверху отвечают вразнобой дрожащие старушечьи голоса:

– А-минь...

Не сразу и понятно, что это было пение.

Священник снова что-то произносит (или поёт?) и просто, как из дома, выходит из далёкого алтаря, звеня дымящимся кадилом и сверкая облачением.

Старушки-прихожанки сходятся к центру храма. Парень считает их — их всего восемь. Одна подманивает его рукой, призывая стать девятым в их кучке. Он повинуется.

Внезапно начинается довольно стройное пение. Оно будто не церковное, а простое народное. До парня доносятся слова:

– Благослови, душе моя, Господа... Благословен еси, Господи... На горах станут воды... Дивна дела Твоя, Господи...

Эти «горы» и «воды», о которых поётся в тихом неподвижном сумраке, создают в душе парня какой-то особый, неизвестный ему прежде уют. Он как будто видит весь мир изображённым на детском рисунке.

Отец Андрей обходит храм, наполняя его ароматным густым дымом. Парню кажется, что Господь, создавая мир, тоже мог пользоваться таким дымом: вот совершенная чернота, нет ничего; вдруг появляется этот дым — и когда он рассеивается, уже видны земля, небо, деревья, звери.

– Посреде гор пройдут воды... Дивна дела Твоя, Господи... Вся премудростию сотворил еси... Слава Ти, Господи, сотворившему вся...

Парень крестится вместе со старушками. Священник возвращается в алтарь, старушки расходятся на свои посты у подсвечников, парень отправляется к своему месту у окна.

Вскоре он слышит новое песнопение, почему-то уже совсем не такое уютное, как первое.

– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... — скорбно затягивают старушки, дрожа голосами, как треснутые скрипки. — Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...

На словах «погибнет» и «со страхом» старушки у подсвечников крестятся и кланяются с особым усердием.

Парень пытается связать это песнопение с первым — и не может. Ему непонятно, почему Бога, который с такой любовью создал мир, надо бояться и почему чей-то путь должен погибнуть.

– Свете тихий... — слышит он новое и сосредоточенно затихает, надеясь именно в этом песнопении найти связь между двумя предыдущими. Не все слова ему удаётся расслышать, а из тех, что удаётся расслышать, — не все ему понятны. Но вдруг одна фраза выстреливает из пения и сразу застревает у него в сердце:

– Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний...

Он взглядывает в окошко, у которого стоит, и видит за ним мир, ограниченный оконным проёмом, как картина — рамой. В округлом верху этой картины пухлые неподвижные облака, уже успевшие порозоветь, внизу — вечернее поле со множеством розовых тропинок, с пушистыми деревьями, сверкающей мошкарой, — и где-то совсем вдалеке пасутся пятнистые коровы.

Знаю я, что в той стране не будет этих нив, златящихся во мгле...

Внезапно до парня доходит какой-то горький, похоронный смысл всего существующего, а вместе с ним и знание, что без этого смысла невозможны и стихи.

Он сразу начинает беззвучно рыдать. Плечи его прыгают, как не принадлежащие ему. «Что со мной?» — спрашивает он себя, не в силах остановиться. Никогда раньше рыдание не действовало в нём настолько самостоятельно, независимо от него.

Не понимая толком, что делает, он выходит, почти выбегает из храма. Тёплый уличный воздух сразу успокаивает его, и тогда он догадывается, что, быть может, следовало остаться. Но вернуться уже очень сложно, почти невозможно.

Из пелены слёз выплывает сидящий на корточках темнолицый Матвейка. Глаза парня начинают высыхать.

– Ты чего? — спрашивает Матвейка.

Парень стыдливо пожимает плечами.

– А-а... — понимает Матвейка — Прошибло? — Он сплёвывает, и парень видит, что перед ним наплёвана уже целая лужа. — Меня вот только никак не прошибёт...

Матвейка закуривает.

Парень вглядывается в день, смотрит на небо. На небе не видно ни облака — и всё же оно не ясное, не голубое. В тёплом воздухе застыло ожидание.

– Что-то будет... — понимающе говорит Матвейка и кивает на пиленные и колотые дрова. — Придётся всё в сарайку сносить.

Видимо, Матвейка уверен, что и это дело они будут делать вместе, но парень уже не слышит его: взгляд его направлен в сторону мест, которые предстали перед ним в окне храма. Шапки ив заслоняют обзор, ему хочется пойти и отыскать то окно со стороны улицы, чтобы повернуться к нему спиной и снова взглянуть на эти места. Но он не идёт, потому что боится не увидеть того, что видел. Он почти уверен, что не увидит этого.

Он поднимает с земли велосипед и медленно, придавленно движется к мосту.

– Уходишь? — спрашивает Матвейка и сразу одобряет: — Правильно. Я тоже дёрну, как смогу.

Парень переходит мост, садится на велосипед и едет.

Отъехав достаточно далеко, он оглядывается и видит храм таким, каким уже видел его, подъезжая. Храм стоит молчаливо, как и тогда, но теперь парень знает: там, внутри, продолжается сумеречное и терпеливое общение людей с непостижимым, странным, божественным. Ему становится на мгновение горько, что он не с ними; может быть, сразу после его ухода под сводами храма зазвучали те слова, которые могли бы утешить его, многое ему объяснить.

А ещё теперь ему известно, что где-то там, возле большого, вросшего в землю белого тела храма, вращается малая точка Матвейки — отдельного человека, с которым он сегодня был рядом.

Он снова глядит перед собой. Тёмно-серое выдвигается ему навстречу из-за горизонта и быстро растекается по бледному небу. В то же время поле занимается сказочным оранжевым светом. Парень оглядывается и видит в небе невероятную золотую трещину, из которой льётся этот свет.

Он едет чуть быстрее и замечает, как отдельные полевые растения пошевеливаются тут и там в первой предгрозовой тревоге. Река почернела, перестала отражать небо. Кажется, что она загустела и застыла, как кисель.

Ослепительно ярко загораются впереди два медальона лиц и два велосипедных руля. Так красиво... Можно подумать, что это степные кочевники едут верхом на буйволах. Но парень догадывается: «Это они».

Расстояние быстро сокращается. Так и есть, они. Он замечает, что волосы у обеих мокрые.

Они притормаживают, он вынужден остановиться тоже. На лицах женщин один и тот же след только что полученного и ещё не утихшего удовольствия.

– Эх, художник, — говорит мама, взбивая ладонями свои короткие, обвисшие от влаги волосы, — на такую ты картину чуть-чуть не успел! Мы сейчас там с Алисой около леса купались... — она перегибается через руль и добавляет шёпотом, как бы по секрету: — Голенькие!..

Алиса смотрит на парня бесстыдными смеющимися глазами. Лицо её светится, горит от заката.

– Ну, то, что *я* была голенькая, — продолжает женщина, беря под ладони свою маленькую, как у толстого мужчины, грудь и как бы взвешивая её под футболкой, — это мы опустим. Это зрелище не для слабонервных. Но это... — она целует пальцы, собранные щепоткой, и расщепляет их в небо. — Водяная лилия! Русалка! Сирена! Вы художник — вы просто обязаны нарисовать её обнажённый портрет! А знаете, как она по вас скучала? Мммм! Аж дрожала вся!..

Женщина смешно изображает дрожь, а парень начинает дрожать всерьёз.

– Ну — поехали уже, — переводит женщина сама себя на деловой лад и подвигается с велосипедом вперёд. — А то щас ливанёт — а я, вообще-то, больше мокнуть не планировала. — Вдруг она пристально, но снова видно, что несерьёзно заглядывает парню в глаза: — Я надеюсь, вы сообщили, кому надо, что останетесь ночевать в гостях?

Парень понимает, что сейчас должно будет произойти что-то неудобное. Он принуждённо улыбается и бормочет:

– Да вот... Оказалось, что надо мне ехать срочно. Извините, я...

Он резко надавливает всем весом своего тела на педаль, буксует задним колесом и, протиснувшись между Алисой и её мамой, начинает работать ногами страшно, до боли в икрах, чтобы не видеть, не слышать, забыть.

– Художник! — всё-таки слышит он за спиной. — Вы куда?!. Что с вами, художник?!. Художник, а вы случайно не голубой?!. Или художники все голубы-ы-ые?!.

Она неестественно хохочет и выкрикивает что-то ещё, но парень уже не может разобрать слов. Ему кажется, что эти слова раздаются не позади, а откуда-то снизу, как будто он обрубил канат воздушного шара и стремительно уносится ввысь от бессильных преследователей.

– Какой ужас... простите... до свиданья... — продолжает он бормотать и крутит, крутит педали...

Несколько минут спустя он, наконец, сбавляет ход и оглядывается — никого не видно.

Впереди уже виднеется родной лес. А вот то место, где он лежал сегодня после встречи с *ней*. Это место не узнать: оно золотое, а за ним совершенно чёрная река.

«Сфотографировать — никто не поверит», — думает парень.

Вдруг золотой свет гаснет, завораживающая, но изнурительная борьба света и тьмы прекращается, и в целом становится как будто яснее, светлее, хоть и темно, конечно, перед грозой. Парень чувствует себя простой частью природы, которая ожидает дождя. Он прольётся уже очень скоро.

Тёплый дорожный песок издаёт свой сгущённый запах. На несколько секунд в воздухе устанавливается такая духота, которую, как потом кажется, и нельзя было бы вынести секундой дольше, если бы не сверкнула молния и не ударил гром.

Поле вспыхивает белым светом, река на миг становится ртутной и пропадает в черноте, гром ударяет так сильно, что его слышно не столько ушами, сколько грудью, — и дождь принимается за работу сразу, без разгона.

Сухой дорожный песок моментально мешается с уже промокшим, подорожники трясутся под ударами воды и блестят, как кишащие лягушки. Кажется, что за счёт влаги, которую они жадно впитывают, они стремятся поскорее стать чем-то б***о***льшим, чем растения: лягушками, потом зверями, потом, может быть, людьми.

Майка облепляет парню спину — и неприятно, и хорошо, и холодно, и тепло; не поймёшь. Вода давит на тело ощутимой тяжестью, её в воздухе немногим меньше, чем самого воздуха. Уже почти невозможно ехать, колёса вязнут в грязи, да и не видно ничего, как на испорченной видеоплёнке, изображающей только переменчивые рисунки царапин.

Наконец-то, лес. Почему он не увидел в первый раз это маленькое сооружение из бетонных блоков, от которого отходит в сторону реки ржавая толстая труба? Наверное, потому, что оно немного в глубине, а ещё потому, что он вообще мало что видел тогда.

Он оставляет велосипед под бетонным козырьком и заходит внутрь. Здесь повсюду следы человека: жестяные банки, бутылки, тряпки, испражнения, неприличные надписи на стенах. Парень расчищает ногой место на бетонном полу, садится туда и смотрит в проём на улицу. Он видит благородные сосновые стволы в ливневом дыму. Он примеряет к тому, что видит, тютчевское стихотворение про майскую грозу, и с радостью понимает, что здесь совсем не то, — и вовсе не из-за того, что сейчас июль, а из-за того, что каждая гроза для каждого места и каждого человека имеет своё стихотворение.

– *Я в бетонной будке...* — сразу ухватывается парень за уникальное, особенное, и окончание строки прилетает само: — *среди рая.*

Он совмещает:

– *Я в бетонной будке среди рая...*

Ему очень нравится. Он чувствует, что ещё должен позаниматься обстановкой будки.

– *Сидя на загаженном полу...*

«Если это рай, то почему пол загаженный?» — находит он противоречие, но чувствует, что это противоречие хорошее, что оно должно остаться.

– *Райский дождь сижу пережидаю...*

Он торжествует, впервые ощутив себя настоящим поэтом, но его торжество тут же обрывается, когда он находит запрятавшуюся в строчках ошибку: «сидя, сижу» — масло масленое. Ему надо идти дальше, а приходится застревать на месте.

Внезапно в проёме появляется она — *та* девушка. Она взглядывает на него — и не заходит внутрь, остаётся с велосипедом под козырьком. Парень сразу отодвигает стихотворение вглубь себя — отодвигает осторожно, как отодвигают свечу, боясь, что она погаснет, — и смотрит на девушку. Он видит только одну её ногу в тряпичном голубеньком кеде, руку, плечо и профиль. Он понимает, что не заговорит с нею; мало что на свете так же невозможно, как это. Но уже одно то, что она увидела его и приняла решение остаться рядом, даёт ему нечто гораздо большее, чем разговор и даже чем поцелуй.

Девушка снимает с головы косынку (это не платок, а обычный обрывок какой-нибудь простыни с отделившимися от краёв нитками), выжимает её и куда-то откладывает. Потом она красиво, просто выжимает волосы и убирает их в хвост. Сделав эти два дела, она, кажется, ищет, чем бы заняться ещё, и быстро находит себе новое занятие. Она исчезает из виду, до парня доносится знакомый, хоть и чуть более глухой, чем тогда, на поле, стук бидона о велосипед, и вот он снова видит её: она задумчиво, но вместе с тем очень ловко забрасывает в рот ягоды. Она смотрит на дождь, но видно, что ягоды занимают её куда больше.

«Любит ягоды...» — любуется парень, улыбаясь.

Дождь стихает. За стволами проясняется поле. Девушка снова исчезает, на этот раз довольно надолго. В проёме виднеется краешек колеса её велосипеда: это говорит о том, что она ещё здесь, рядом.

Но вот исчезает и колесо: теперь ни велосипеда, ни девушки. Только какая-то белая тряпочка выглядывает внизу.

«Если это её косынка — значит, она ещё, наверное, не уехала, — рассуждает парень. — Или забыла?..».

Он тихо встаёт и медленно подходит к проёму. Никого нет. На бетонном пороге лежит аккуратно расправленная косынка, на которой рассыпана черника, много черники.

Парень медленно, как бы боясь потерять сознание, опускается, садится на порог и осторожно кладёт в рот первую ягоду...

Съев чернику, он сидит на пороге ещё долго, время от времени бросая взгляд на белый обрывок ткани, порозовевший местами от сока ягод. Лишь ощутив скорое приближение темноты, он бережно складывает косынку в несколько раз, кладёт её в карман и уезжает в направлении дома.

Трудная, непривычно пустая дорога назад.

Потом привычный город, привычный район, но всё, конечно, уже другое, совсем не родное.

Так уже было однажды, лет восемь назад. Мама повела его на спектакль, и он настолько проникся представлением, что когда вышел из театра на улицу, долго не мог поверить, что окружающие его здания и люди — настоящие. Настоящим казалось то, что происходило на сцене.

А сегодня солнце и дождь, небо и облака, поле и река, храм и бетонная будка, Алиса и её мама, отец Андрей и Матвейка, богомольные старушки и, конечно, *она*, — всё как будто договорилось выступить перед ним, обыкновенным парнем, единым согласным хором, в котором каждая партия была исполнена великого, хоть и не всегда понятного значения. Как ему теперь поверить в этот город? в свою квартиру? в строительный институт?..

Утешают его только огромные лужи, говорящие о том, что *тот* ливень прошёл и здесь.

Уже поднявшись с велосипедом на площадку своего этажа, он долго смотрит застывшим взглядом в подъездное окно пролётом ниже. За окном не видно ничего.

Он думает о родителях. Ему очень их жалко. Сейчас они будут осторожно присматриваться к нему в надежде обнаружить желаемое — что проведённый на свежем воздухе день укрепил его в намерении созидать нормальную человеческую жизнь. Он же чувствует, что готов лишь к одному: к бестолковой и великой судьбе поэта.

КЛЕТКА

Повесть

1.

Накануне отпуска происходит такой разговор.

— Может, конечно, это просто оттого, что я устала за год, — говорит жена, — но знаешь, мне так надоели эти бесцветные занавески, эти наши серые дурацкие обои. Так это всё угнетает. Хочется вырваться из этого, хоть на неделю. Я очень устала.

Меня раздражает её жалоба. Как будто ищет она моего сочувствия, а на самом деле жалуется мне на меня же самого.

И я вкратце напоминаю ей, как однажды, когда в квартире были ещё голые стены, она несколько дней подряд говорила о таких прекрасных “попугаистых” занавесках. Говорила о них, как о каком-то спасении, и я разорился и купил их на последние деньги.

Что осталось после покупки занавесок, я пропил. Я посчитал, что с занавесками я имею на это если не полное право, то хоть какую-то часть права. Я пришёл домой, и пока её внимание не сосредоточилось на том, что я пьян, молча принялся вешать гардины. Никакой радости жена не показала, словно это не она так мечтала об этих тряпках. Моя работа проходила в гнетущей тишине. А крючки всё время вылетали из рук и сыпались на пол, я матюгался себе под нос, ребёнок ползал по полу, собирал крючки и совал себе в рот, а я прикрикивал на него, потому что и так ничего не получалось, да ещё и добавлялось беспокойство, что Миша подавится крючком. Когда первая занавеска была почти на весу, жена сказала:

— Ну, а на что мы теперь, интересно, будем жить?

Имелись в виду, конечно, не те деньги, что я потратил на занавески, а те пятьсот рублей, что я пропил. И всё-таки я показываю на занавески:

— Ты же хотела такие?

Моей жене недолго вспылить:

— Да нужны мне эти занавески, и вообще вся эта красота в доме, если отец моего ребёнка пьёт!

Она вспоминает, что я пил вчера, пил позавчера и четыре дня назад тоже пил. И неделю назад, и девять дней назад, и тогда, и с тем, и с другим. И действительно, выходит, что я сильно выпиваю. Она права. Но я уже зол. Если считать по деньгам, то я положил десять дней своего постылого труда на эти висячие тряпки. В коротком приступе бешенства я хладнокровно сдираю только что повешенную занавеску, а потом беру и остальные, ещё не распакованные пачки и иду с ними на помойку. Прихожу я оттуда домой с радостной победой зла в своём сердце и мгновенно засыпаю. Утром, проходя мимо помойки, я уже не вижу «попугаистых» занавесок, а ведь я не побрезговал бы достать их из мусора, если б увидел. Ничего, я усмехаюсь и смачно плюю в сторону ржавых урн.

Через три дня мы миримся, деваться некуда. А получив жалкий аванс, я сразу иду в занавесочный магазин. Гляжу на товар. Опять тратить кучу денег на те же самые занавески? Нет, решаю я. Надо создавать что-то новое и двигаться вперёд, а не растрачиваться на исправление старых ошибок. Не пошли первые занавески — так тому и быть. И я воображаю, как станция под названием «хорошие занавески» пронеслась мимо нашего семейного поезда навсегда. Я беру какую-то бесцветную кружевную дешёвку, из тех, что бывают в домах у стариков, и в тот же вечер легко обвешиваю все окна квартиры,

потому что я трезвый. Мы с женой не в ссоре, и благодаря этому даже хвалим занавески. Но глядеть на них каждый раз обидно, даже больно. То же и с обоями, дорогими, сделанными под холстину с элементами бамбука. Я прихожу с работы и начинаю их клеить. Я от природы ленивый, да ещё и устал, да ещё и на работе научился у мужиков ругаться матом. Поэтому я то и дело матерюсь. Я бью кулаком по пузырям воздуха, которые скопились под обоями в верхнем углу комнаты, и с каждым ударом повторяю слово на букву «б», всё громче от боли. Через час такой моей работы жена не выдерживает и кричит с кухни:

— Да может, хватит уже материться?! Тебя в последнее время не узнать! Как зэк какой-то! Ты посмотри: рядом с тобой ребёнок ходит! Что он от тебя слышит?!

Я вижу, что Миша и впрямь смотрит на меня. Но правота жены злит меня ещё больше, я ведь ещё и немного пьян. Я иду на кухню, говорю: «А знаешь, что? — и посылаю её матом, и ещё добавляю: — Сейчас сама всё пойдёшь клеить».

В конце концов, я этих слов нахватался на работе, на которую хожу, чтобы прокормить её и ребёнка, и которую ненавижу. Клеить обои я тоже ненавижу, но как могу, так и клею. Больно мне самому нравится такая жизнь. Могла бы и промолчать.

Она даёт мне пощёчину, идёт в комнату и торжественно сдирает все куски, что я успел наклеить, а потом ложится на пол и бьётся в истерике. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Не нужны мне твои обои! И ты мне не нужен!».

Я, в свою очередь, собираю все оставшиеся рулоны, молча отношу их на помойку, возвращаюсь домой и спокойно засыпаю. Дня через три к стене кое-как прилипают новые обои, серенькие, дешёвые, которые в условиях мира кажутся не такими уж плохими.

— Ну, и зачем ты мне обо всём этом напоминаешь? — спрашивает теперь жена.

На самом деле, я понимаю зачем. Я давно хочу сказать ей, что мы вот уже пять лет подряд сами выбрасываем всё хорошее, что напрашивается в нашу жизнь, и оставшиеся пустоты тут же заполняются чем-то второсортным, серым, что уже невозможно выгнать из жизни. Потому-то нам и плохо вдвоём. Мы ведь хотели счастья.

Но я этого не говорю. Страшно это вот так сказать.

Тем не менее, ссора происходит, и довольно крупная. Я всё делаю не так, она всё делает не так.

Я вдруг понимаю, что мне, — может быть, впервые, — не важно, кто прав, кто виноват. Я просто устал от всего этого, и я говорю жене, что поеду отдыхать один, потому что вдвоём у нас ничего не выходит.

— Ну, и езжай, куда хочешь. Так и знала, что опять никуда не поедем, — говорит жена и тихо плачет.

Действительно, за эти пять лет мы никуда не ездили. Каждый год собирались, строили планы, даже составляли список, что с собой брать: консервы, спальники, удочки; смеялись, придумывая, чем будем заниматься, и ни разу никуда не выехали. В самый последний момент все надежды почему-то улетали в помойку. В результате пару раз за лето ходили в наш пыльный лес за сыроежками да купались на искусственном городском водоёме, который в народе носит презрительное название «прудка».

Серенькие обои вместо прекрасной холстины с бамбуком. Мы не жалуемся. Когда мы не в ссоре, мы довольны и этим.

Короче, я оставляю ей денег и еду на вокзал, чтобы отправиться куда-

нибудь на море. Из всех южных билетов, свободных на сегодняшний вечер, удаётся достать только на Таганрог, я машу на всё рукой и еду в Таганрог, на мелкое Азовское море.

2.

Я сажусь на своё место в поезде и думаю о жене. Мне жалко жену. Мне жалко себя. Ничего не склеивается. И вот я впервые еду получать собственное удовольствие в стороне от семьи.

Поезд трогается. Ещё не пуская в ход свои механизмы, он пошевеливается тяжёлым телом и молча проходит с десяток метров. Люди словно просыпаются, они перестают чего-то бояться и уже чувствуют себя уютней, задумчиво смотрят, как Москва начинает уплывать от них. Вообще, это всё очень приятно, я люблю поезда, но сейчас я не получаю радости, потому что думаю о семье. Я отправляюсь в грешное путешествие, я предал семью. Впрочем, я очень устал. Это даёт мне хоть какую-то часть права.

Мне досталась нижняя полка в плацкарте. Но верхняя досталась какой-то старой женщине, и, чтобы ей не страдать, я предлагаю поменяться местами. «Ой, ну вот и хорошо, спасибо», — вздыхает она так, как будто путь уже закончен. А он только начинается, и мы с ней сидим вдвоём на нижней полке, упершись руками в бордовый дерматин. Я у окна, а она рядышком, седая, интеллигентная женщина с правильной русской речью. У неё две огромных клетчатых сумки, набитых чем-то. Чем? Что такое она может везти в Таганрог или в его сторону? Мне неохота об этом спрашивать. Зачем? Я просто забросил эти сумки в багажное отделение.

Я оглядываю других соседей. Это мальчик лет четырнадцати в дешёвой майке и спортивных штанах, который с самого начала лёг на свою верхнюю полку и всё жмёт на кнопки мобильного телефона. Кажется, это от него исходит такой запах, молодёжный. Не мудрено: в вагоне духота. И ещё замкнутый дедушка (может, замкнутый до поры до времени). Я видел, как его провожала дочь. Дедушка едет грустно. Почему грустно? Может, он давно не был в тех краях, куда едет, и теперь тревога ожидания растянется для него на весь путь. А может, он не слишком хочет туда ехать, а просто молодёжь отсылает его подальше от себя, чтоб не мешал их жизни. Наверное, рано или поздно он не выдержит и сам расскажет о себе. А укомплектован дедушка очень качественно: самый дорогой сок (в стеклянной бутылке, стопроцентный), богатейший запас душистой еды в прекрасных пластиковых контейнерах (уверен, специально купленных дочерью в дорогу), новенькая спортивная сумка. Что это? Искренняя забота дочери? Или её последний долг, последнее благодеяние перед тем, как навсегда отделаться от старика?

Я понимаю, что каждый плацкарт в этом поезде просто нашпигован такими загадками. Пытаться их разгадать — всё равно что пытаться побывать во всех уголках земли. Или ещё что-то в этом духе. Поэтому я не волнуюсь. Не гонюсь за невозможным. Не хватает мне, что ли, собственной жизни? Я просто еду в Таганрог.

Может быть, женщина хотела бы лечь, поэтому я отправляюсь на свою верхнюю полку. Действительно, она вскоре ложится.

Я сразу отказываюсь наблюдать за дорогой, а лежу и какое-то время просто отщёлкиваю и прищёлкиваю к стенке сетку для полотенца. На одной высоте со мной лежит этот мальчик с мобильным телефоном. Мне почему-то кажется (может, потому, что от него такой запах), что он переписывается с какой-то взрослой женщиной, с которой у него что-то было в Москве. Впро-

чем, иногда он включает незамысловатую музыку на своём телефоне и слушает её, уставившись в экран. Видимо, ему просто неинтересен путь, и телефон помогает скоротать время.

Если б сейчас со мной были жена и Миша, я бы, скорее всего, не думал обо всём этом. Я вёл бы себя по-другому. Не знаю, как именно, мы ведь никуда не ездили вместе. Но мне чем-то нравится, что их со мной нет, что я один, хоть мне и не очень хорошо. И я не знаю, что было бы лучше: с ними или без.

На душе всё-таки тяжело. Мне лень думать о чём-либо. Но и заснуть так сразу я не могу. Что же мне остаётся делать? Никакого третьего варианта я не вижу. На секунду мне становится тошно от себя самого, будто я в клетке. Не могу спать, не могу думать. А что же тогда делать? Взорваться?

Кстати о клетках. У нас дома живёт канарейка. Я не особенно сентиментален, но эта птичка трогает меня — своим голоском, своей хрупкостью. Я назвал её Чивиком. Сначала мы держали Чивика в клетке, но потом прочитали в книжке, что этих птиц нужно иногда выпускать для полёта по квартире, не то они заплывут жиром, и жир помешает им петь. Мы обрадовались и стали выпускать Чивика из клетки, хотя что нам, казалось бы, мешало делать это и без книжки, из простой жалости к убогому существованию птички? Чивик повёл себя, на первый взгляд, странно. Конечно, он пользуется свободой, но очень скромно. Я бы сказал, не творчески. Он выпархивает из клетки, описывает в воздухе ничтожный кружок и снова возвращается в свой домик. Видимо, то, что сначала было для него тюрьмой, теперь стало казаться надёжным убежищем, местом безопасности. Мне жалко нашу птичку, хоть она и не страдает. Собственно, поэтому и жалко. Я ведь мог бы, да и готов, сделать всё для того, чтобы Чивик стал настоящей вольной птицей. Но сам он уже на это не способен.

Проносят пиво, я спрыгиваю со своей полки и иду за человеком.

— А покрепче что-нибудь есть?

— Вагон-ресторан только.

Хорошо, схожу в ресторан. Туда идти с десяток вагонов. Чем-нибудь заполню время, как мальчик своим телефоном.

Поезд начинает уже ритмично качаться боками, это приятно. Между вагонов пахнет какой-то нечистой свежестью. Как будто всю жизнь любил этот запах. Кто-то широкоплечий в тельняшке медленно спускается на сильных руках с боковой верхней полки. Кто-то на украинском ругает плачущего ребёнка. Все едут в сторону Таганрога.

Вагон-ресторан. Я заказываю 200 грамм коньяка и яичницу с колбасой. Я сижу за столиком один. У противоположного окна сидит девушка, перед ней бутылка мартини, выпитая на треть. У неё волосы цвета льна, хоть я и не представляю, как выглядит лён, нахватался где-то таких выражений. Я думаю, лён — это что-то очень светлое, белёсое, созданное для того, чтобы его ласкало солнце. И вечернее солнце, действительно, украшает голову этой девушки. Дорожный ветерок из приоткрытого окна развевает отдельные волосы, и они у неё прямо светятся, как маленький золотой нимб. Я отворачиваюсь к своему окну, потому что снова начинаю гадать: а что у этой девушки на душе? А почему это она пьёт в одиночестве? Мне ведь совсем не нужно это знать.

Тут мне как раз подносят коньяк в каплевидной колбочке, яичница будет чуть позже. К коньяку дают рюмку, но она мне кажется больно маленькой, и я отхлёбываю грамм семьдесят сразу из колбочки. Вижу, что девушка этому улыбается. Впрочем, сразу прячет улыбку, и мне это нравится в ней. И вот выходит, что нас уже что-то объединяет. И коньяк окутал мой живот своим

теплом. Я опять отворачиваюсь к окну, а потом резко встаю и ухожу. Слишком я задумался об этой девушке. Это не годится. В тамбуре вспоминаю, что забыл расплатиться. Возвращаюсь, но тогда уже снова сажусь на место. Наверное, девушка как-то по-своему это поняла. Я не хочу на неё смотреть, но я уже от неё завишу и живу перед её глазами. И даже если пообещаю себе, что ни разу не взгляну на неё, всё равно буду думать о ней. Я снова не знаю, что мне делать. Не хочу на неё глядеть, но не могу не думать. Должен быть какой-то третий вариант, но я не вижу его. Тогда я забираю свою колбочку, иду к её столику и сажусь напротив девушки.

Ничего ей не говорю. Хотелось бы что-то сказать, но я не знаю, какие слова были бы правильными. По крайней мере, она не ушла и не попросила меня уйти.

Мне принесли яичницу. Я смотрю на девушку, но не в упор, чтобы не смущать её. Грудь у неё не упругая и твёрдая, а мягкая, немного вздрагивающая от движений поезда. Широкие тёмные брови. Вот-вот она может допить очередной стакан и уйти. Но она отвечает мне взглядом и говорит такую бессмысленную фразу:

— Москва-Таганрог...

Я улыбаюсь, как дурак, и смотрю в потолок, как будто она украла у меня единственное, что можно было сказать. Теперь я должен что-то ответить, но каждое моё слово будет ложью... Но я должен что-то ответить! И я говорю:

— Волосы красивые. Цвета льна.

— Да, — она улыбается и понимающе качает головой. Я тоже сказал единственное, что можно было сказать.

Я понимаю, что именно это и называют «влюбился с первого взгляда». И не потому, что передо мной какая-то уникальная девушка, девушка, предначертанная судьбой. Нет никакой судьбы. Тысячи таких девушек, тысячи таких, как я. Тысячи поездов. Но я уже держу её руку в своей и вижу воротник её белой рубашки, под которой вздрагивает её мягкая грудь. В этот момент я понимаю: теперь надо забыть о семье. Словно кто-то меня этому учил, или сам я втайне от себя к этому готовился. Я замечаю своё кольцо и вспоминаю о нём; девушка, конечно, тоже его давно заметила. Я прикладываю её руку к своему лбу, к щеке, к губам, к другой щеке. Это другая рука, не та, что у моей жены, и я с этим свыкаюсь, приноравливаюсь к новой руке. Пальцы, ногти, тоненькое запястье — я гляжу на них, целую, и в глазах моих появляются слёзы. Может, это коньяк. Меня сейчас разорвёт. Может быть, вырвет. В общем, что-то должно случиться.

Я беру её мартини, доверху наполняю им свою колбу с остатками коньяка и присасываюсь к колбе. Выпиваю почти половину и вдыхаю носом. В вагоне можно курить, я закуриваю. Мне вдруг кажется, что мы ещё не сказали друг другу ни единого слова, но я вспоминаю, что уже влюбился в эту девушку. И внутри у меня вырастает какое-то подобие верности. Я быстро пьянею и хочу, чтобы она тоже напилась. Она берёт мою колбу, выпивает, сколько может, поневоле морщится. Тогда мы целуемся в губы, и я вижу боковым зрением, что какой-то мужик, забыв о своём эскалопе, смотрит на нас. Наверняка он злится. Завидует, и поэтому злится. Ну, и ладно. Полезет драться — подерусь я с этим мужиком. Главное, что я уже купаюсь в её губах, и мужик понял, что я готов постоять за свой поцелуй. И я ни о чём больше не думаю. Разве что о муках ада. О них я не могу не думать.

У меня был верующий отец, он частенько водил меня в церковь, когда я был маленьким. И сейчас у меня в голове две вещи: этот поцелуй — и муки ада.

Надо напиться. Я снова пью из колбы. Она пьёт из колбы. Берёт у меня из

пальцев дотлевающую сигарету и неумело курит. Нет, думаю я, она не грешит против моей жены и против моего ребёнка. Наоборот, это она прощает мне, что я отец и муж. Пей, пей ещё. И она, смеясь, пьёт, а выпив, улыбается и утирает слёзы. Вокруг головы у неё этот золотой солнечный нимб.

— Я тебя люблю, — говорю я ей, чтобы больше не колебаться ни в чём.

— Я тебя люблю, — говорит она.

Я чувствую неожиданность этих слов и их ужас. До этого мы сидели друг напротив друга, теперь она подсаживается ко мне. Она стройная, в коротких бежевых шортах. Я кладу руку ей на плечо, не как возлюбленной, а как сестре или старой подруге.

Через полчаса мы выходим из ресторана. В вагонах негде обрести себе место, у обоих верхние полки. В тамбурах скучно, негде сесть. Всё же мы около часа стоим в тамбуре и глядим в окно, провожаем солнце. Я совсем её не знаю, и не знаю, что я теперь должен делать. Мы расстаёмся. Наверное, до Таганрога.

— Увидимся, — говорю я.

— Да, — отвечает она преданно.

Откуда только эта преданность?

Я дохожу до своего вагона и залезаю на полку. Мальчик уже спит, держа на груди телефон. Дедушка тоже спит. Я так и не услышал от него никакой истории. Наверное, история досталась интеллигентной женщине. Да и женщина, вероятно, объяснила деду, что у неё в сумках и зачем. Если, конечно, дед позволил ей не только слушать, но и говорить самой.

Я лежу и чувствую, как ко мне подбираются муки ада. Чтобы забыть о них, мне надо прижаться к ней, к той, что несётся в этом поезде в шести вагонах от меня. Я ложусь на живот и гляжу на пролетающие мимо деревни. В домиках горят огни. Там, внутри, живут люди, которых я никогда не узнаю и не увижу. Мысль самая банальная, почти на грани пошлости. Но мне чудится, что в одном из домиков остались моя жена и мой Миша. Я только что пронёсся мимо этого домика и навсегда удаляюсь от него. И стук колёс забивает мою память о них. Я вспоминаю наши убогие обои и занавески, свадьбу, через шесть месяцев после которой родился Миша. Мы улыбались на свадьбе, мы надеялись на хорошее, на лучшее.

Я лежу больше часа, не двигаясь и не понимая, что мне ещё придётся предпринять. Наконец, медленно погружаюсь в сон.

3.

Просыпаюсь я светлым утром под стук колёс. Поезд всю ночь трудился, чтоб картина за окном к утру сильно изменилась. И теперь я вижу необычные пирамидальные деревья. Они стоят правильным рядком, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, а за ними медленно движется поле. Зелень выбелена солнцем и кажется не очень сочной. Потом проезжаем лес. Чего-то в нём недостаёт. Да, ёлки и сосны совсем исчезли.

Женщина внизу стучит ложкой, размешивая сахар в чае. Мальчик с верхней полки прислоняет свой телефон к окну и, не глядя, несколько раз фотографирует вид. Неужели так и пролежит всю дорогу на полке, неужели ему не хочется хотя бы пройтись вдоль плацкартов?

— Что, небось, размыто получилось? — спрашивает дедушка. — Поезд-то вон как бежит.

— Та разрешенье фиговое, пикселей мало, — быстро говорит мальчик с малороссийским выговором и просматривает сделанную только что фотографию.

— Это я, когда был на Сахалине, — обращается дедушка к женщине. — У нас один коллекционировал фотоаппараты. Каких у него только не было! И эта машина, где под тряпкой нужно прятаться, у него была. Огромная, на треноге. И всё, главное, работало! И он каждый аппарат мог разобрать и снова собрать.

— Да, увлечённый человек — это хорошо, — говорит женщина. — Такому и жить интереснее.

— А ему больше ничего и не надо было. Сидит со своими фотоаппаратами, копается в них. Мы его зовём: Андрюш, давай, пойдём с нами на ручей — выходной, получка, порыбачим, посидим. Нет. Он уже отправил письмо на материк, и ему потом оттуда какая-нибудь новая модель приходит. Говорим: давай хоть сфотографируй нас. Столько фотоаппаратов, хоть весь Сахалин общёлкай. А он, — тут дедушка усмехнулся, — глядит на нас, как на дураков. Я, говорит, их не для того собираю. А для чего? Просто, говорит. Нравится мне. Люблю общаться с техникой...

Я теряю нить разговора, который мне не интересен, думаю о вчерашнем. Потом думаю о море. Говорят, что Азовское море не совсем и море. Что глубина там в среднем три с половиной метра или что-то около того. Наверное, публика, которая едет куда-нибудь в Крым или в Сочи, на черноморское побережье, совсем другая. Те люди моложе, веселее, их жесты шире, свободнее. Настолько же свободнее, насколько Чёрное море больше Азовского. Но со мной произошло такое именно в таганрогском поезде.

Я снова думаю о ней. Не связалась ли она уже с другим мужчиной? Вдруг для неё это обычное дело, и преданность в её глазах была дежурным театральным приёмом?

И я иду к ней.

Она стоит спиной к туалету и смотрит в окно, положив локти на оконную перекладину. На ней белая майка с оранжевым узором в виде улиток. Под майкой, вижу, нет лифчика. Солнце создаёт из её волос такой же нимб, как вчера. Я провожу ладонью по её голой руке. Она оборачивается и говорит:

— Я боялась, мы больше не увидимся. Думала, ты не захочешь.

Мы не обнимаемся. Я просто становлюсь рядом, и мы вместе смотрим в окно. Стоим, как порядочная пара, муж и жена. Я глажу её волосы, шею без особенной ласки, скорее из чувства долга, и ухожу к себе.

4.

Около девяти вечера я в Таганроге. Интеллигентную женщину встречают сестра и муж сестры, помогают с её клетчатыми сумками. Дедушку встречает какой-то молодой человек. Он спрашивает:

— Анатолий Петрович?

— Да, — говорит дедушка, и молодой человек берёт его спортивную сумку. Они идут вместе, видимо, в сторону ожидающей их машины. Я так ничего и не понял. А мальчик идёт в город один.

Я стою у вагона и в пустом коридоре, который образовался между поездом и отчаливающей от него толпой, вижу девушку. Она стоит и смотрит в мою сторону, а рядом на перроне лежит её сумка. Я иду к ней, уже не по вагонам, а по земле. Она скрестила руки на груди и несмело, пытаясь удержать достоинство, смотрит на меня. Видимо, она очень волновалась после нашего последнего свидания: не посчитал ли я её шлюхой? Мне жалко её.

— Сначала к морю? — спрашиваю я.

— Да, — кивает она точно так же, как вчера, когда я говорил про лён, и смотрит на меня с восхищением.

Я беру её сумку, мы покидаем перрон, находим такси и садимся вдвоём на заднее сиденье. Она описывает водителю какую-то лестницу, и он везёт нас к этой лестнице. Всю дорогу я глажу рукой её живот и смотрю на её профиль. Живот приподнимается и опускается, девушка не отстраняет мою руку, она словно не замечает её, а с радостным ожиданием смотрит в лобовое окно, на старенькие уютные улицы, богато украшенные зеленью.

Мы выходим из машины и оказываемся на вершине высокой лестницы. Сквозь листья каштанов видно, как море вдали поднимается вверх и сливается с небом. Я увидел его так просто и неожиданно, что у меня не появляется никаких мыслей по поводу него. Воздух влажный, тёплый, сладко пахнущий. И голоса людей разносятся в нём по-особенному, тихо, отдохновенно. Я пробую вдохнуть этот воздух и насладиться им, как человек, получивший возможность отвлечься от всех своих проблем. Но получается это наигранно: в душе ничего такого нет.

Она рассказывает мне об этой лестнице. У богатого греческого купца была хромая дочь. Чтобы она могла спускаться к морю, он и велел соорудить такую лестницу. Я воображаю черноволосую страдающую девочку, которая в роскошном белом платье ковыляет по этим ступеням.

Значит, она не впервые здесь, если знает про лестницу. Может, имеются знакомые в городе. Или родственники.

— Я была здесь несколько раз, — говорит она, как будто поняла мои мысли. — Обожаю этот город.

Может, у неё здесь уже была любовь.

— А у меня просто с билетом так получилось, — говорю я. — Мне всё равно было, куда ехать.

Внизу — ряд уличных ресторанов и кафе, пахнет жареным мясом и немного морем, когда подует ветер. До моря ещё, наверное, около сотни шагов. Хочется и мяса, и моря. Мне кажется, Миша бы с удовольствием съел сейчас кусочек мяса. Жена бы вцепилась мне в локоть от счастья, а я шёл бы спокойный и думал о них с Мишей и о том, что вот я стал зарабатывать деньги, которых даже хватает на хороший отдых.

Вот и оно — Азовское море. Кто-то, может, и называет его лужей, а всё-таки оно большое. Берегов, по крайней мере, я не вижу, — чего ещё требовать? Волны не бесятся и не обрушиваются на берег, а мягко шлёпают по песку и камням. Она снимает босоножки, заходит в воду и идёт по краю моря. Я иду позади по линии влажного песка, одна волна наполняет мои глубокие следы водой, а вторая уже слизывает их до конца. Рестораны с их музыкой и посетителями кажутся уже очень далёкими, не имеющими отношения к морю, и на берегу, кроме нас, никого, это не пляжное место. На небе нарисовалось несколько полупрозрачных звёзд, и её белая рубашка, завязанная уголками на животе, едва мерцает на сером полотне моря. Она не побоялась преступить законы, о которых ей твердило моё обручальное кольцо. В то же время она не выглядит опытной циничной разлучницей. Она кажется совершенно наивной. И это придаёт ей первобытности, и на какое-то мгновение она предстаёт в моих глазах чистым ребёнком природы, который идёт себе за неведомым зовом, не размышляя о добре и зле. А море — это её колыбель.

Словно послушная моим мыслям, она слегка подпрыгивает, а потом наклоняется, берёт в ладони воды и подбрасывает в воздух брызги моря. Эта короткая вспышка восторга довольно убога, она не находит во мне ответа. А девушка и не требует его. Она задумчиво идёт дальше.

Я тоже не требую от неё ничего. Да и чего требовать? Ярких воспомина-

ний? Всё равно их некому будет передать, никому от них не будет ни пользы, ни радости. Это всего лишь моя жизнь, которая пройдёт и канет куда-то. Требовать её тела? Мне не нужна и её душа: нам не быть вместе всю жизнь, не растить детей. Я даже не напишу ей, когда вернусь домой. В общем, я тоже от неё ничего не требую, ничего не хочу получить. Тогда зачем мы вместе?

Может, если б я понял, что буду счастлив с нею всю жизнь, то согласился бы бросить ради неё жену. Но это сказки. Нет женщины, с которой мне через пять лет совместной жизни будет лучше, чем сегодня с женой. Я это знаю точно. И дело не в жене, на её месте могла бы быть и другая. Дело в пяти годах.

Темнеет. Я кладу на песок свой рюкзак и её сумку, снимаю с себя всю одежду и захожу в море. Море, прохладное, встречает меня мягким сопротивлением волн. Девушка тоже раздевается и преданно идёт за мной. Я не оборачиваюсь. Мы отходим далеко от берега, но глубина только по грудь, иногда по шею. Мелкие рыбки тычутся носами в мои ноги. Она догоняет меня, и мы теперь идём рядом. Я обнимаю её, а сам смотрю на бликующую даль моря. Девушка обхватывает меня ногами, чтобы волны не могли нас разъединить. Я не чувствую радости и нежности, но моё тело откликается на прикосновение девушки, и мы соединяемся.

Потом я ложусь на море, раскидываю руки и смотрю вверх, на множество звёзд. Вода задумчиво молчит у меня в ушах, а тело колеблется на волнах. Я бы, наверное, согласился, чтоб ночь продолжалась вечно, а я бы плыл себе и всегда видел эти звёзды, больше ничего. Но под рукой обязательно должен быть неисчерпаемый запас какого-нибудь наркотика. Когда я начну скучать, я приму этот наркотик, и однообразная жизнь звёзд снова займёт меня. Мне всегда будет интересно. И через пять лет, и через сто. Я плыл бы и плыл.

Но в мире почему-то такого не бывает. Мне без малого три десятка лет, а я чувствую себя исходившим все земные дороги: будто я исходил их и увидел, что все они одинаковы. Ни одна не удивила меня.

Мы выходим из моря. Я снова иду позади девушки и смотрю на неё, обнажённую. Думаю о том, что эти бёдра, ягодицы, плечи, талия обречены одрябнуть, состариться и умереть. Но вот они бодро вздрагивают, принимая своё короткое счастье. Они надеются, что, отдавшись мне, могут перевернуть мою жизнь, привязать, сделать счастливым, другим. Какое маленькое и убогое богатство. Они ничего не могут. Только утолить на время чью-то жажду.

Она присаживается на корточки и, собирая свою одежду, иногда взглядывает на меня. Когда встречает мой взгляд, стыдливо улыбается и убирает мокрую прядь со лба.

Мы продолжаем идти по берегу. Темно, я уже не вижу её белой рубашки. Наконец, почти все городские огни и звуки остаются вдали, мы обнаруживаем на берегу несколько лодок. Надо переночевать в одной из них, что мы и делаем. Я чувствую большую усталость, поэтому засыпаю быстро, без всяких мыслей. Она лежит рядом, не ложиться же в разные лодки?

5.

Нас будит солнце, и мы начинаем новый день.

Найти жильё оказывается нетрудно. Мы теперь временные хозяева небольшого дома на улице, по которой не ездят машины, а ходят одни трамваи. Море в пятнадцати минутах ходьбы. Я сразу расплачиваюсь с хозяином за десять дней вперёд.

Дом двухэтажный, с тенистым садиком из груш и абрикосов. Плоды чуть не каждую минуту падают на тёмную прохладную землю. Между деревьев

натянут гамак, по стене дома ползёт виноградная лоза. Она оплетает каркас беседки и даёт тень и прохладу. Всё, кроме помидоров и огурцов на грядке, разрешено есть. В доме имеется телевизор, но я не представляю, как это будет выглядеть, если мы усядемся его смотреть вместе с нею.

Теперь я могу с уверенностью причислить себя к полчищу презираемых мной мужиков, которые заводят романы “на югах”. Конечно, мне кажется, что моя девушка — не какая-нибудь дешёвка, не любовница в гадком смысле слова. Но, может, и все эти мужики так же думали о своих блудницах?..

Вручив мне ключи и уходя, хозяин подмигивает мне и показывает большой палец. Он имеет в виду: «Неплохую ты себе нашёл штучку. Желаю тебе хорошо порезвиться». Наверняка догадывается, что мы не муж и жена.

Мерзко. Человечество во все времена так жизнерадостно облизывалось перед темой измены, смеялось над рогатыми мужьями, над обманутыми жёнами, да и над муками ада. Рассказы и сказки, анекдоты и тосты — всё говорит о том, что, изменяя, люди не чувствовали себя виноватыми. Они считали, что сам Господь Бог на их стороне, что жизнь, прекрасная и удивительная, продолжается. А те, кто не изменяет, — те тоже, как жалкие карлики, обделённые природой, смеются над этими анекдотами и ехидно краснеют. И, таким образом, вся земля весело крутится во зле. И я, выходит, часть этого зла.

Мы лежим в гамаке, ходим по садику, пробуем груши и виноград. Груши пресноватые, вязкие, виноград недозрелый. Я покупаю на соседней улице семилитровую канистру красного сухого вина и пью его весь день вместо воды, утоляя жажду.

За всё это время мы сказали друг другу очень мало слов. Нас это не расстраивает. Спасибо ей, что не требует от меня постоянно тратить деньги, ехать ещё на какое-нибудь море. Денег мне не жалко. Просто спасибо ей, что она не такая. Уверен, что она согласилась бы жить со мной прямо на улице и каждый день засыпать в лодке, как в первую ночь. Странная девушка. Я спрашиваю её, когда мы спускаемся к морю:

— Чем я тебе так понравился?

— Понравился? Мы вообще-то сказали, что любим друг друга.

Я не спорю. Мы действительно это сказали. Наверное, все женщины придают словам очень большое значение. Я беру её за руку, и она начинает с улыбкой вглядываться в пирамидальные деревья. Кажется, у неё плохое зрение. На ней майка с оранжевым узором в виде улиток.

Я почти не хочу на море. Кажется, вчерашнего купания мне уже хватило. Но когда вижу море, уже не прочь искупаться.

— Покатай меня, как дельфин, — просит она во время купания, и я катаю. Волны затрудняют моё дыханье, то и дело ударяя в лицо, да ещё и она лежит сверху, и я фыркаю, а её это смешит.

Я понимаю, что так и пройдут эти дни. Вино, занятия любовью, купание, занятия любовью, вино, купание. Что нам ещё может предложить это место, да и любое другое; что могут предложить наши руки, ноги, наши головы? Ничего, только это. Ради неё я хотел бы сделать эти дни интереснее. Но мне не хватает фантазии. Да и желания не хватает: что я сам получу от этого? И поэтому я остаюсь самим собой.

Мы выходим из моря, ложимся животами на песок и смотрим друг на друга. Она закрывает и открывает глаза.

Мимо нас проходят несколько крепких загорелых парней. Один из них оборачивается, чтобы разглядеть мою девушку получше. Я поднимаю голо-

ву, спокойно ловлю его взгляд, а потом мне кажется, что он что-то говорит про нас остальным. Воображаю, что между нами происходит драка. Допустим, они оскорбляют её. И ведь я должен буду защищать её честь, которая с самого начала потеряна в нашем прелюбодеянии. И буду биться под этим солнцем неизвестно за что неизвестно с кем. И если меня убьют эти ребята — хорошенькое известие получит моя жена: «Вашего мужа убили, когда он защищал свою любовницу». Такая вот глупая смерть вдали от дома.

Наверное, кто-то уже так умирал.

Во второй половине дня мы идём назад. По дороге я покупаю раков, но пива не беру, хоть и хочу. Пиво кажется чем-то неуважительным по отношению к ней, слишком уж обыденным, вроде телевизора в нашем доме.

Надо бы спросить, как её зовут, но мы чересчур затянули с этим вопросом. Теперь уже не хочется ничего менять. Я — «он», а она — «она».

Так и останемся.

Вечером лучше, чем днём. Мы сидим на каменных ступеньках нашего дома рядом с виноградной лозой и ожидаем ночи. Я пью вино бокал за бокалом, чтобы ночь показалась мне ещё более прекрасной. Пьянею и чувствую, что должен о чём-то с ней поговорить.

— Что ты о нас вообще думаешь? — спрашиваю я и с полминуты жду ответа.

— Ничего. Мне просто хорошо. Как никогда и ни с кем.

— Правда?

— Правда.

— Ты, может, думаешь, это навсегда?

— Нет.

Падают на землю груши, так же одиноко, как роняются в тишину наши слова.

6.

Так проходит три, четыре или пять дней. Море, вино, дом, любовь, вино, море. Наше постоянное молчание для нас теперь так же привычно, как наша безымянность.

Однажды она предлагает отправиться в рыбацкий посёлок под названием Богудония. Я нахожу в доме старую удочку и беру с собой, накопав в саду несколько червяков.

В Богудонию ведёт с высокого склона узкая извилистая тропинка, выложенная камнями. Многие дома буквально вделаны в этот склон. Часть дома, которая ближе к морю, висит в воздухе на сваях, а другая врастает в каменную породу. На крыши некоторых домов можно прыгнуть прямо с тропинки. Вдруг улочка обрывается, дома и деревья остаются позади, и перед нами распахивается море. Мы стоим на раскалённой ржавой лестнице, спускающейся в песок, и глядим на море.

Берег здесь не такой, как везде. Он усеян древними камнями, обломками бетонных плит, разным сверкающим мусором. Попадаются белые с синим орнаментом осколки фарфоровой посуды. Я поднимаю их и складываю в карман. На одном даже стоит печать царских времён — двуглавый орёл. Лет сто назад этим осколком можно было порезаться, но море облизало его приливами и отливами и сделало гладким. Потом я вижу, что таких диковин тут можно набрать ведро за полчаса, и поэтому оставляю всё, что собрал, на песке.

Эти фрагменты фарфора, куски арматуры, торчащие из бетонных плит, сильно напоминают о человеке, и в то же время Богудония кажется самым диким местом в Таганроге. Невозможно представить, что жители прибреж-

ных домов, похожих на древние скворечники, вдолбленные в скалы, утром отправляются на работу на центральные улицы города, да и вообще, что эти дома можно купить или продать за деньги. Они как будто являются имуществом моря. Ещё в Богудонии я понимаю, что Азовское море тоже может быть сильным и властным, несмотря на свои небольшие размеры. Кое-где оно обрушилось на ветхие хибары и нанесло им страшный ущерб, хоть они и вознесены сваями на высоту.

Мне приятно смотреть, как немолодая костлявая женщина развешивает бельё, выйдя из своей лачуги на сомнительное подобие балкона. Под глазами у женщины мешки. А бельё блестит на солнце и говорит о домашнем уюте. Может быть, она и всё её семейство сильно выпивают, общаются матом, да и дом их наполовину разрушен, но в их жизни есть забота о чистоте. Это дарит покой и надежду. Не так уж всё и плохо, раз есть желание заняться простыми делами по дому в жаркий день. Глядя на бельё, на то, как ветер треплет его в прибрежной тишине, я завидую всем, кто здесь живёт. Затем гляжу на свою девушку, которая идёт впереди меня. Это всё показала мне она. У неё красивые широкие бёдра и узенькие пятки. Она прекрасно загорела. Её походку я назвал бы «южной». Всё в ней словно создано для того, чтобы ловко ходить по острым камням и жаркому песку. На секунду мне становится очень жаль, что всё это кончится. Жаль, что кто-то ещё будет обладать этими бёдрами.

Потом мы видим костёр. Он разведён среди бетонных плит, которые встали на дыбы и образовали архитектурное сооружение наподобие древних ритуальных построек. В тени одной из плит на песке лежит человек в шерстяном свитере на голое тело и в синих брюках, похожих на брюки советского школьника. Он спит на боку, спина оголена, и ясно, что в свитере и штанах полным-полно песка. У костра сидит мой ровесник, белокурый парень в семейных трусах и расстёгнутой байковой рубашке. Дрова, которые он подкладывает в костёр, — тоже дары моря. Это доски, отшлифованные волнами: бывшие части домов или лодок. Рядом с ровесником полупустая бутылка портвейна, в тени стоит ещё одна, полная. Ясно, что пьют не торопясь; портвейн надо растягивать, нового ещё долго не предвидится.

Между плит, как в античной арке, появляется женщина. Волосы её — не длиннее сантиметра. Наверное, недавно она была совсем лысой. Сверху на ней остатки короткого халата, из которых выбиваются голые груди. А на бёдрах длинная толстая юбка, надетая разрезом вперед. Женщина присаживается на корточки у костра и что-то тихо говорит моему ровеснику, показывая на спящего в школьных штанах. Ровесник кладёт спящему на голову газету, испачканную остатками какой-то еды, и они с женщиной хрипло смеются.

Дальше начинается мол, уходящий довольно далеко в море. Мы доходим до конца мола, там я сажусь и начинаю рыбачить. Попадаются одни бычки, самый крупный — с ладонь. Бычки игриво теребят червя и дрожат, когда их тянешь из воды, не умея оказать большего сопротивления. Выражения их глаз разные, как у людей, хоть ничего и не значат; один бычок кажется возмущённым, другой — удивлённым, третий — смиренным или задумчивым. Я ожидаю какой-то крупной рыбы и поэтому рыбачу довольно долго. Девушка не торопит меня. Иногда подходит сзади и обнимает за плечи. Тогда я кладу голову на её руку. Делаю это сурово и мужественно, как подобает серьёзному охотнику, а вокруг меня — всего лишь мелкие мёртвые бычки, дары Азовского моря.

Я собираю удочку и хочу уже уходить, оставив трупики рыб на съедение чайкам, но она говорит:

— Давай возьмём бычков, я их приготовлю дома. Не зря же они умирали.

Я не смотрю ей в глаза. Это не оттого, что я и впрямь небрежно отнёсся к улову и мне теперь стыдно. Просто я услышал тёплую, родную мысль. От неё повеяло чем-то человеческим, очень правильным и добрым, что никак не совместимо с нашим грехом. Я чувствую, что привязываюсь к девушке не только телом, и мне горько от этого. Я собираю мёртвые тельца с теми же разнообразными выражениями глаз навыкате, складываю их в пакетик. Мне жалко этих рыбок. Я чувствую себя одной из них.

— Как улов? — спрашивает меня мой ровесник, когда мы снова проходим мимо их древней постройки из плит. Женщина сидит к нам спиной. Спящий всё спит. Женщина толкает его и протягивает остаток дымящейся сигареты.

— Да так, бычки, — поднимаю я пакетик, — мелочь.

— А что «мелочь»? — упрекает ровесник дружелюбно. — Вы так не говорите. Азовский бычок — самая прекрасная рыба.

Он картавит. Я думаю, что, может быть, они голодны и именно поэтому парень спрашивает о рыбе. Я говорю:

— Хотите? Вот, — и предлагаю им свой улов.

— Не-ет, — смеётся парень и даже позволяет себе по такому случаю налить немного портвейна, всё из той же початой бутылки. — Сами приготовите. Потом скажете: «Ххаа, ещё хотели кому-то отдать азовского бычка! Во дураки-то были!».

Женщина смеётся тому, что парень, хоть и не прямо, назвал нас дураками, но смеётся она без злобы. Поворачивается к нам и ласково, с восхищением даже, смотрит на мою спутницу. У женщины нет переднего зуба.

Я думал, что эти люди обязательно попросят у нас денег на выпивку или хотя бы сигарет. Но, к моему удивлению, ничего такого не происходит, хотя и выпивки, и сигарет у них явно немного. И всё же для них важнее остаться в нашей памяти такими вот беззаботными, не испытывающими никакой нужды обитателями побережья, чем заиметь ещё пару бутылок портвейна.

Когда мы снова поднимаемся на вершину склона, а затем выходим на людную улицу, мне кажется, что маленькая дверь в Богудонию — единственная, через которую можно туда попасть, — навсегда закрылась за нами и исчезла с лица Земли. Я даже оборачиваюсь.

Дома она чистит бычков и жарит их. Я ем, очень вкусно. Бычки умерли не зря.

Первая ночь, в которую мы не занимаемся любовью. Сейчас в этом почему-то нет необходимости. Мы просто лежим рядом и медленно засыпаем, даже не прикасаемся друг к другу. Тогда я вспоминаю жену, а потом гляжу во тьме на человека, который лежит рядом со мной. Волосы на подушке, нос, ресницы, грудь под одеялом. Мне не по себе. Я встаю и выхожу в наш садик. Весь этот дом и вся эта красота — пристанище двух преступников. Я прислоняюсь к дереву и плачу. Плачу оттого, что я оказался на это способен.

7.

Мы идём под деревьями и едим мороженое. Под нами, справа, море.

Прошло уже больше десяти дней, как мы поселились в нашем доме с садиком. Я заплатил хозяину еще за одну неделю, но у меня уже куплен обратный билет. Она догадывается об этом, хоть мы и молчим целыми днями. День не солнечный, может быть, сегодня-завтра будет дождь.

Мы садимся на скамейку спиной к морю. Мне хочется, наконец, заговорить. Я это делаю:

— Знаешь, я понимаю, что это может всё разрушить. Что ты сразу разочаруешься во мне. Но я не думаю, что это страшно. Может быть, даже лучше, если ты разочаруешься. Нам ведь надо расставаться. Видишь, мы всё время молчали. Наверное, это было для того, чтобы оставалась какая-то тайна. Или чтобы ни о чём не думать. Ведь если бы мы говорили, то о чём? О том, как мы поступим дальше, о том, как мне быть с женой, да и у тебя, наверное, кто-то есть; о том, как всё это грешно, чем это должно кончиться и так далее. Зачем нам были эти разговоры? Может, ты теперь считаешь, что я слабак, раз мне не хватило сил молчать до конца. Тем лучше. Скажешь себе просто: “Ну что ж, я в очередной раз ошиблась, была со слабаком”. Понимаешь, мне с тобой лучше, чем с ней, с женой, но я не смогу с тобой быть всю жизнь. Будет то же самое. Я не буду менять то же на то же. Там у меня уже есть ребёнок. Видишь, какой я обычный. Мне кажется, ты уже слышала что-то такое от мужчин. И ты думала, что я другой, а я оказался, как все. Ты, наверное, хотела, чтоб я молчал до самого конца? Или чтобы остался с тобой навсегда?

Я удивляюсь, насколько неповоротлива и некрасива моя речь. Как будто я напрочь разучился мыслить за эти десять дней. Мне неудобно от всего, что я сказал.

У неё в руке тает мороженое, она не ела его, пока меня слушала. Только слизывает с губ остатки сладости. Лицо у неё печальное, задумчивое. Из-за этого она снова кажется мне чистой, даже целомудренной девушкой, которую я обманул.

Вместо ответа она медленно кладет голову мне на плечо. И мы сидим так с мороженым в руках. Над нами уже давно сгустились серые тучи, ветер по-осеннему треплет ещё зелёные листья. Я чувствую плечом её голову, и тяжёлую, и лёгкую, и на меня обрушиваются тысячи догадок и смыслов.

Может, ей просто нужен кто-то, неважно кто, и она готова была влюбиться в кого угодно. То есть, если б тогда к ней подошёл не я, а мужик с эскалопом, она бы так же легко досталась ему. К чему ей теперь разговоры? Просто ей нужен кто-то, нужен я, она хотела и получила. Болтовня только всё испортит, потому что никакими разумными доводами не оправдать нашей связи. А может, она и впрямь увидела во мне что-то, о чём мечтала? Только что это? Ни замечательной внешностью, ни оригинальными суждениями, ни богатством я не отличаюсь, это точно. Может, она просто увидела, что я не знаю, куда мне деться. Ей понравилось, что я недоволен своей жизнью и пью коньяк, а не жру эскалоп, только и всего. Что бы там ни было, теперь мы связаны и сидим под этим ветром вдвоём, чем-то похожие на двух пожилых людей. На ней даже длинная кремовая юбка, скрывающая стройность её молодого тела. И ни о чём не можем говорить.

— Завтра я уеду, — говорю я. — Сегодня последний день.

— Подожди меня тут, — говорит она и куда-то уходит. Оказывается, в магазин.

Она возвращается оттуда с пакетом, в пакете гремят бутылки. Я заглядываю внутрь — там мартини, коньяк, сыр и виноград. Она купила всё на собственные деньги. Раскрыла сумочку и заплатила. Хочет поблагодарить меня, устроить прощальный праздник.

Куда нам теперь идти? Надо бы придумать что-то особенное, а мы, кажется, уже почти везде были. Разве что не ходили в домик Чехова. То, что между нами было, не вязалось ни с какой культурной программой. Хотя дама с собачкой и её возлюбленный, если верно помню, тоже изменяли своим супругам.

В конце концов, мы снова, как в первый раз, идём по береговой полосе. У

больших камней мы останавливаемся, чтобы выпить. Начинается дождь, волны становятся выше, люди исчезли с берега, а мы идём, чем дальше, тем пьянее. И дождь всё сильнее. Когда-то давно, подростком, я был на море и видел таких людей: в приличной, но испачканной в песке одежде, они шли по берегу. Мужчина шатался, как и я сейчас начинаю шататься, рубашка была расстёгнута, а в руке болталась бутылка дорогого, видимо, ресторанного коньяка. Впереди шла пьяная женщина с распущенными волосами и плакала. Я тогда посчитал, что они либо поссорились, либо ищут место, где можно совокупиться. Мы, наверное, выглядим так же. Она пьяная, я пьяный. Она красивая, я не такой красивый, но она меня любит.

Я уже почти допил коньяк, ноль-семь литра, мы ушли очень далеко, где ни разу ещё не бывали. Я пробую стянуть с себя одежду, но это трудно, да и не имеет смысла, я и так уже промок. Я захожу в воду в одежде, с бутылкой, она тоже. Волны бьют прямо в нас, и дождь бьёт по нашим головам. Я уже плохо соображаю, я понимаю только, что рядом со мной такой же, как я, несчастный человек, которого надо обнять и пожалеть. И я делаю это.

— Я люблю тебя, — снова говорю я, не понимая, правда это или нет.

— Я люблю тебя, — говорит она, и мы пьём. У меня сильная изжога от коньяка. Я выхожу из воды, сажусь на песок и достаю из пакета сыр с виноградом. Она садится рядом, мы едим. Мне так нравится еда, что я ложусь на спину и ем лёжа. Я успеваю только повернуть голову набок, чтоб не подавиться, и засыпаю.

8.

Я просыпаюсь от холода. Уже ночь. Дождь прошёл. Она лежит рядом, она похожа на утопленницу, выброшенную морем. Волна достаёт до её пяток.

— Вставай, пойдём домой, — говорю я и подаю ей руку.

Мы идём по берегу назад — она впереди, я чуть позади, — грязные, опустошённые, нас шатает из стороны в сторону. Постепенно вдали начинает просвечивать город. Зачем она надела сегодня эту старческую юбку?

Мы не смогли придумать ничего возвышенного, ничего сумасшедшего даже в последний день. Мы сделали, что могли. Напились и снова сказали, что любим друг друга. Как мало могут сделать два человека. Им было предоставлено море, время, дом с садом, целый город. А ничего особенного не вышло.

Нам с женой тоже была предоставлена целая жизнь, с сотнями морей, городов, с сотнями вещей, которым можно было бы научиться. Так казалось. Но вышло, что и в жизни всего очень мало. Меньше, чем казалось.

Мы открываем калитку и заходим в сад. С деревьев падают капли. Какая-то птица поёт голосом, похожим на окарину. Я срываю с ветки грушу, откусываю один раз и бросаю плод под дерево. Я устал. Мы можем сейчас лечь в постель и заняться любовью. А можем не заниматься. А больше мы ничего не можем. И я не в силах придумать что-либо другое.

Утром я собираю вещи и выношу их из дома. Говорю ей:

— Давай не будем проводить время до поезда вместе. Как-то обидно. Лучше я уйду прямо сейчас, а ты останешься в доме, хотя бы до вечера. Хорошо?

Она сидит в прохладе на деревянных ступеньках крыльца:

— Хорошо.

Я хлопаю по карманам, проверяю документы, деньги.

— Скажи, тебе хоть будет, на что вернуться? У меня есть немного денег.

— У меня есть, — говорит она.

Я не знаю, как проститься. Поэтому спрашиваю:

— Как проститься-то лучше?

Она смотрит мне в глаза, потом подходит, становится на колени, обхватывает меня руками и прислоняется ухом к моему животу. Я гляжу на неё сверху: кажется, она хочет запомнить меня навечно, удержать в сердце и в памяти. Над её головой давно уже нет того свечения, какое было в первый день. Волосы какие-то простые, жидковатые даже, я вижу пористую кожу головы.

Она быстро встаёт и отворачивается от меня:

— Всё, иди...

Я тут же разворачиваюсь и выхожу из сада через калитку. Мне хочется как можно скорее оказаться в несущемся поезде, а лучше — уже в Москве, а ещё лучше — у подъезда своего дома.

Время до отъезда я провожу у яхт-клуба. Какой-то загорелый дед в белоснежной морской фуражке одного за другим таскает из моря бычков. Я смотрю на него и думаю лишь о времени: дед важен для меня ровно настолько, насколько наблюдение за ним помогает убить время. Я вспоминаю и того, другого деда, из поезда. Тоже для времени. Нашёл ли он себе место в Таганроге? И что это за место?

Часто возникает мысль о ней. Словно я вижу её лицо в эту минуту. Она сейчас одна, в нашем доме, в саду, не находит себе места, думает, что ей дальше делать в этом городе, в этом мире, и никак не может придумать. Груши, виноградник, гамак — всё напоминает обо мне, о вчерашнем дожде и о словах: «Я люблю тебя». Не сказать, что со мной она была, как в раю. Но без меня теперь одиноко. Найдётся ещё кто-нибудь, ей этого не избежать. Со мной у неё не было ничего такого, чего не мог бы дать другой.

Господи, куда девать оставшиеся четыре часа? И почему я сейчас не смогу заснуть прямо на этой маленькой пристани? Чёртов город Таганрог, в котором человеку нечего делать.

9.

Я захожу в свою квартиру. Слышу неизменную, преданную трель моего Чивика. Потом в дверном проёме комнаты появляется удивлённый Миша. Он смотрит на меня, но не хочет мне ничего говорить раньше, чем меня увидит мама. А сам я страшно боюсь её увидеть, потому что не знаю, что со мной тогда произойдёт. На обратной дороге, в поезде, муки ада сгустились, я лежал, отвернувшись к стенке, и шёпотом говорил слово “нет”, чтобы оно убивало и совесть, и время, и вообще все мои мысли.

Жена выглядывает из комнаты, в руках у неё ножницы. Она вырезает солнышко для Мишиной аппликации. И лучи из жёлтой бумаги качаются в её руке. Я отворачиваюсь к стене, прислоняюсь к ней и начинаю вздрагивать. Мне хочется выкрикнуть: «Чтоб я сдох, тоскливая, бестолковая скотина!». Но я уже думаю о том, как объясню эти слёзы жене. Наверное, так: мне просто стало стыдно, что я отдохнул, а они — нет.

Андрей АНТИПИН

СМОЛА

Рассказ

1.

В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой преломится как-нибудь так исключительно, что отпотеет и прожжёт мёрзлый слежалый снег небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом сером щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг вспыхнет, вдруг заиграет, вдруг загорится морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной лиственничной смолой. И такая она сделается янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через неё — всё равно что приблизить к глазам луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесёт ветром, снегом, рваным печным дымом — и снова ветхий забор, шершавые пыльные доски, сплошной мёртвый хлам. Но ты-то знаешь, что это не так.

Об этой доске со смолой я думаю, когда вижу на реке Пузырька.

Пузырёк — мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими и чужими удами ленские крестьяне, промышляя зимой налимов, и из года в год эти речные пределы строжайше соблюдали, а когда оставляли своё ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим владель-

---

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность, «Сибирь» и др. Лауреат журнала «Наш современник» (2010). Живет в Иркутской области.

цем или на правах наследования получали реку в виде своеобразных угодий, размежёванных незримо, но зато и незыблемо. Из числа местных мужиков таких властителей сопредельных рыбацких территорий теперь несколько.

О Пузырьке следует сказать особо.

Сперва, конечно, о его прозвищах, которых три. Основное потому, что занимает на водку одной и той же фразой: «Выручай на пузырёк!». Суслик: это смалу и порядком забылось, а пошло, скорее всего, от физических признаков. Но самое комичное — Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя Милентий, колючий на язык рыбак, да к тому же выдвинул гипотезу, что в детстве Черномырдин ел дерьмо — отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прёт с реки рюкзак, будто напиханный мягкими поленьями, поневоле взмолишься: «Да хоть бы ты загулял!». Чтобы понять, почему от Пузырька ждут, что он запьёт и заморозит крючки, надо вспомнить его жизнь.

После армии, как почти все деревенские, работал в совхозе, и даже была напечатана в районке фотография, на которой молодой Пузырёк и другой наш мужик, Валентин Михайлович (которому под этот Новый год откромсали ногу), вздымают в честь конкурса пахарей Трудовое Знамя с профилем Ленина на остром от ветра треугольнике. Хорош ли, плох ли был Пузырёк как пахарь — теперь неважно. Худо ли, бедно ли, но — корпел за общее дело, скорее всего, и не подозревая об этом, а всё-таки — жил и трудился! Да — деталью в основном, безжалостном к деталям, механизме, но, верую, лучшей деталью. Одной из тех, которые ни сами не сбоили, ни других не подначивали, а, наоборот, изо всей мощёнки крепили весь механизм и не давали ему сокрушиться, и было это незаметное, но великое и мучительное подвижничество, каким от роду родов стоит русская земля.

Из тех лет, когда Пузырёк был ей нужен, на памяти только то, что этот маленький невзрачный дядька с тонкой шеей, похожий на беспутного подростка, которого вышибли из школы, едва ли не всегда ходил с оплывшим, как раздавленная сливовая мякоть, синяком под глазом, потому что кто-то неведомый раз за разом стрелял в него с плеча. Стали, что ли, зерно в сеялку насыпать, да Пузырёк выронил мешок, или кого-то перепил в честь красной даты, кого перепивать нельзя, и этот, кого перепили, оскорбился, полез бодаться. И мужики, черти, не мешали, обступили и глазели, а кто-то, наверное, запрыгнул на ГАЗ-53 и комментировал. И Пузырёк, чтоб не упасть в грязь лицом, тоже стрелял, но кулаки были круглые и ватные, парусили по ветру.

Так они жили-были: то пашут не за награду, то пьют до упаду, а то пластаются за комбайнами. Стоят на общем снимке в обнимку. Потом сама Москва выстрелила залпом, и мужиков разбросало. Один мёртвым остался, второй в город смотался, а третий залёг на дне воронки и время от времени высовывает на палке шапку: не перестали ли по своим?! Шапку сбивает ветром.

2.

Нынче жизнь Пузырька такова: всё он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, о чём, как водится в деревне, — многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он не шатается по посёлку, а проворно обегает из конца в конец, иногда не по разу за день, и всё равно что-нибудь да смышкует. Клепаешь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, встал через миг, а тут, глядь-поглядь, — Пузырёк! Навалился на штакетник — как только подошёл. На самом деле он уже давно наблюдает. Сейчас спросит пятьдесят рублей! Он всегда просит на

«Боярышник» — ни больше, ни меньше. Глаза мутные; рот накось; ворот свитера распялся и видно бледно-красное, как у ощипанного гуся, горло, всё в пупырышках и морщинах. Жалко его, и зло берёт, и надоел хуже горькой редьки. Но и отказать нельзя, сославшись на отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли всё, чем они жили, а жить по-другому они не умеют...

Тебе легче! Ты сподобился, как паршивый пёс у булочной, который сунул нос в приотворённую дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит!

Этим людям так нельзя: они гордые. Они и просят от безысходности, а то бы век тебя не знали. И вынесешь, и сам вложишь в руку. «Чтоб отвязался!» — сужаешь область боли. И скорее выпроводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырёк всё-всё поймёт, сожмёт в кулаке и, ничего не сказав, на всех пар*а*х к магазину, но, зайдя за угол, с тревогой пересчитает. Всё точно, шире шаг! Но это недоверие к тому, кто выносит, эта нелюбовь к дающему — не из-за чёрной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги, несмотря ни на что, есть, кто призывал рабочего к станку, крестьянина — к сохе, а сам, курва, жил несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он поправил очки и преспокойно вынул из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, он, конечно, пропьёт, но не в этом дело.

Оттёртый на обочину, Пузырёк спасается, как может. Сын с дочкой в городе, жена — на пенсии, а ему не вышел срок. Скот он, как и большинство в посёлке, зарезал: на всё рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же комбикорма — тридцать, в район — тридцать, в районную деревню — ещё тридцать... В копеечку! Из прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырёк нанимается на пилораму. Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрёстке возле сельсовета, ждёт вахтовку. И уезжает на весь день. Вечером — отжатых, молчаливых — их высаживают тут же, до следующего утра. Но дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делянами, а когда производство застаивается, командирует народ по домам, чтоб не платить дарма. И надолго Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет — так он отвяжется! Или лучше на реке будет, а то в лесу.

В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, пережидает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была обнаружена недоимка. Собачонка при нём на вооружении, тоже пропитая и прокуренная, всю дорогу выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берёт на себя. Топнешь — показывает Пузырьку, куда убегать. Пузырёк не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землёй в отливающих синевой раковинах и с налипшими хвоинками. Весел по случаю. Козырёк оползшей на уши бейсболки задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой подвёрнуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленами — во всём Пузырёк мал. С удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую дужку пустого ведра.

О том, о сём:

— Рябчиков-то видал?

— Не-а.

— А я спугнул выводок! Надо завтра с пулемётиком прошвырнуться...

Вечером едет на мотоцикле «Иж-Планета» с дощатым коробом вместо коляски, упразднённой за ненадобностью. Кончик титанового советского

спиннинга раскачивает огромная тяжёлая блесна, подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них нечего. Всё равно что сжинать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный — механизированный, с социалистической размашкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдёрнет с короба брезент, а под ним сморщенная надувная лодка и китайские сети...

На рассвете, жёлто горя фарой, спешит проверять, на всякий случай — тоже для понта, да и за тем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, которого на два пальца в баке — везёт в коробе пару алюминиевых фляг под воду. Перед спуском под угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк — фляги... Иногда случаются проколы: завоет в тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, щетину тальников, мерцающую от капель сеть и пересравшегося мужичка в резиновой одноместке. И вот уже, бросив концы в воду, Пузырёк шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребающих реку маленьких пластмассовых вёсел, а за ним тем энергичнее — катер государственной рыбинспекции.

3.

С замерзанием Лены Пузырёк переключается на уды. У него два участка — по оба берега. Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые наследовали эти берега ещё от отцов, а те — от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому что это время срыло всех: и сильных, и слабых. И Пузырёк колотится один, как исчисляющий последнее исконное метроном.

Сообщить, что он выходит на лёд первым, мало. Он и живцов запасает прежде всех, ещё по открытой воде, зачастив сквозь облетевший ольшаник на речку Казариху. Там в тихих заводях, выстланных жёлтыми листьями, караулит корчажкой гольянов — небольших рыбок из сорных пород, с краплёной синевой на боках, с чёрной или светло-коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на угор и ждёт, когда сплывутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни две-три, учитывая потери, неизбежные при хранении. И всё равно в феврале или марте снова на Казарихе, дырявит лёд промёрзших ям.

Но до этого ещё далеко, а пока шуга дёрнулась раз-другой... и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырёк скорей на лёд!

Из-за спины, словно огромные стрелы из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки. Назавтра с утра — на реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловятся, а «идут». Пузырёк, проверив крючки и сменив одежду — шубенки на варежки, ушанку на пидорку, драные бахилы на парадные суконные боты системы «Прощай, молодость!» — ходит с авоськой и продаёт. Из уцелевших учреждений самый надёжный прибыток дают клуб и сельсовет, да Пузырёк ещё и скостит десятку в сравнении с городским рынком. Сто тридцать за кило! Домой только через магазин...

Шпана, бывает, скучкуется к ночи, пройдёт с саночками сверху вниз — и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые следует утеплять снегом. Пузырёк на другой день патрулирует по посёлку, гоняется за воришками:

— Да я же вас вычислил по следам!

4.

Зимой Пузырёк не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает капканы на соболя — штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на её конце площадку под капкан, который привязывает к наклонённому перевесу — гибкой деревинке, укреплённой выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании зверька капкан соскальзывает со стопора и деревинка, перевесясь тяжёлым комлем, другим концом, а именно лёгкой вершиной, вздёргивает добычу, делая её недоступной для мышей и лис. В качестве приманки Пузырёк, не мудрствуя лукаво, гвоздём на сто пятьдесят пришпандоривает к жерди обрывок дохлой курицы.

И, по всему, ничего не ловит, но виду не подаёт.

Так, возвращаешься из леса — румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша бахил точится, как жучок под корой валёжины, — Пузырёк, если он в это время на реке, обязательно подождёт! Тщательно осмотрит с ног до головы, сосредоточась на брезентовом рюкзаке с заскорузлыми от смёрзшегося пота лямками, объём которого может послужить Пузырьку при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит:

— Ну, откуда идёшь?! Чё несёшь?!

И подробно: сколько капканов, скольких соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей и, вообще, резонно ли ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который опёрся на черенок пешни и курит, скашливая на снег, всё закипит в тебе, забурлит, объяв голову полымем. И в сердцах выругаешь себя за то, что не перешёл Лену в другом месте, а Пузырька — за то, что стоит, ископытив лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно снял с крючка и заныкал. Рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы ничто не выпирало и выглядел совершенно пустым. Все улики уничтожил — кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и лезвие складного ножа вытер о мешковину...

И вот то, что подготовился, а тебе свернуть нельзя, изозлит в край!

И уже зарядишь ядрёный крупный мат, чтобы с честью ответствовать дотошному Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело туже и выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина: сейчас его убьёт наповал, а он и не знает! Но лишь только Пузырёк заговорит — и всё в тебе словно ветром задует, и хотя ничего особенного в его речи нет, а однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанному, то, о чём тебя никто не спрашивал.

Пузырёк, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и не моргнув глазом соврёт:

— Я-то тоже задавил в ельнике трёх! Сра-а-азу!

Намекает, что в трёх из шести поставленных с грехом пополам капканов при первом же обходе оказались соболя.

Или начнёт вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Собаки у него, конечно, были — твоим голявшинам не чета... Ну, шёл так один раз, добыл два десятка белок и соболя (каких теперь нету), а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да здоровенного, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло. Тут же освежевал. Шею, грудинку и

сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворённый на скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. Назавтра вернулся с саночками — ни кровинки, ни шерстинки...

— Сука у меня текла, а за ней по следу шли от посёлка девять кобелей! Каак я не знал?! Только потом вычислил... — Пузырёк отсекает рукой: — Всё-ё подобр-р-рали! Даже снег до земли слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил...

Вежливо — чтоб не оскорбить взаимной симпатии — просветишь потёмки Пузырьковой души наводящими вопросами, ещё раз убедишься, что врёт, — и сам сменишь пластинку. Посетуешь, например, что нынче капканы-то запретили, аж из самой столицы бумага пришла, — так он пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька — две небрежно обструганные доски с едва задранными носками. И Пузырёк, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, дикие и лохматые:

— Из чего сделал?

— Из ёлки.

— Кла-а-асные!

Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырёк и о своих скороходах, и когда ему напомнишь, что раньше он прятал лыжи возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырёк позволит себе необходимое уточнение:

— Дак это старые были, чуть ли не мои погодки! Ещё батя ходил! А эти-то?! — И тогда догадывайся, что зарой Пузырёк новые лыжи в снег — всю округу вдоль и поперёк проскребут граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте — никто не тронет, разве что какой-нибудь полоротый, проезжая на «Белорусе», зачекерует и утащит на дрова...

5.

Но лес лесом, а Пузырёк, прежде всего, жив рекой.

Во всём, что касается рыбалки, в особенности подлёдного лова налимов, он придерживается неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти старики мало кому памятны. Пузырёк не преминет, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь свою уду слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же дыхании, с каким минутой ранее снял шубенки и развернул на морозе карамельку:

— Чё-то границу не соблюдашь! Соблюдай-ка!

Или повадится ловиться мелюзга — жалко на такую изводить живцов, все ходят от уды к уде, как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чём причина, и только Пузырёк в курсе:

— Такая ерунда раз в семь или шесть лет случатся! Я уж давно замечаю. Она, мелочовка-то, или спускатся сверху, или, наборот, подыматся, большие налимы ни хрена не успевают! Большой только-только подойдёт, а этот артист уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то всё равно надо, чё поделашь...

Пузырёк, атакующий Лену со дня первых заберегов и убирающий крючки незадолго до ледохода — все давным-давно закруглились, и вдоль берега синеют отволгшие старые лунки с чернеющими штрихами вешек поперёк, — только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с реки под вечер 31 декабря и образуясь на ней снова и также порывисто, но уже после рождественских колядок, когда всё пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, вдобавок и «про.бёно». Но это уже не тот Пузырёк, что был до Ново-

го года, а результат его кустарной реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выцарапала мужа из-под стола, отряхнула, раз и другой хлобыстнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы — и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведённой, катился прямо и беспечально до самой матушки Лены.

И вот уже, не прошло и полгода, Пузырёк опять на реке!

Бродит от лунки к лунке, худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с пешнёй и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной (чем-то заляпанной в связи с последними событиями) аляске со светящейся в темноте нашивкой «ВЧНГ», что есть «Верхнечонское нефтегазорождение». Сию справу Пузырёк приобрёл у вахтовых мужиков, когда шуровал им налимов.

За полмесяца, что медведь был в рабочем отпуске, лунки промёрзли насквозь, и пешня уже коротк*а*. Пузырёк, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырёк неистово молится. Пока выстеклит одну лунку — не раз размажет по лицу горсть шершавого снега! Но уж когда пешня прорвётся в пустоту, потянув всего, а в лунку брызнет вода и вешка отколется с ледяной перемычкой, то Пузырёк, обливаясь потом, с похмельным причетом: «Ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох!» — отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адового возвращения, медленно возденет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет на лёд размытого, как банное мыло, налима с белым брюхом: налим, вопреки известному мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тугого от икры и печени.

Вызволять из протухших рыб крючки Пузырёк считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо отшвырнуть налима лопатой, с затаённым дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь облеваться.

Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплён гольян, и в ушке, к которому привязана нитка, и для повторного пользования не годится. И хотя ни крючок, ни тем более дохлый налим ни к чему, замороженную снасть Пузырёк ни за что не бросит, будет клевать до победного, пока не восстановит все свои уды — словно колья, которыми сам себя подпирает. Вешек же у Пузырька — только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!

6.

И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырёк сидит на лыжне, сдвинув шапку на затылок, и, по своему обыкновению, курит — только уже не сигареты, которым вышел расход, а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, ещё больше зачерневшее лицо. Глаза — голубы. Но голубизна эта такая — не сплошь, а мазками, вроде сливок с раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит — весь...

То да сё.

Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми словами воздух. До самых пальцев сосёт самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не дослушав твоё, тут же — поперёк! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или блудил в пургу по тайге, ломая за собой веточки, а там — глядь! — чья-то

лыжня, собачий лай и дымный вихрь за деревьями. Откровение души — вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: сверху ночной ледок, а под ним — а ну-ка! Нырнёшь с макушкой и дна не проскребёшь. Одна ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь...

— В сеть-то чё попадат, нет?! — раскуривая новую самокрутку, заливистым криком допытывается Пузырёк, и весь он сейчас — в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда ломается голос, и вдруг то пискнешь, то забасишь. — Чё-ё-ё молчишь?!

Сети начинают ставить по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну — основную большую прорубь, через которую потом выматывают сеть, дальше с заданным отступом ноздрят лунки поменьше, так что последняя будет там, куда придётся конец сети. Затем в майну просовывают длинную гибкую жердинку с верёвкой на конце, равной длине сети плюс необходимый запас. И, будто стёжки ведут, время от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают крайней, поддевают жердинку за кончик и вынимают. Всё, верёвка пронизана от майны до противоположной проруби! Потом, потягивая за верёвку в обратном порядке, стравливают сеть...

Работа нехитрая, руки помнят её с детства, так что закрой глаза перед сотней других работ — руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же припозднился, вышел на промёрзший лёд. Да ещё, как назло, скрала напасть: то лёд двойной, то блуждающие обломки торосов, а то в спешке упустишь вместе с мотовильцем уже продетую верёвочку. В довершение — вероятно, чтоб совсем доконать — хрястнул черенок пешни!

Тут ещё Пузырёк, копошась возле очередной проруби, то и дело выглядывал из-за ледяной горки, словно из-за нарытой рядом с норкой земли. Застыв любопытным сусликом, с беспокойством контролировал мои перемещения, душевно желая, чтоб наступила какая-нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то ещё принесло с другого берега Лены самую суть совершающихся там событий. Спросить об этом открыто, рявкнув, например: «Ты чё там опять выдумываешь?!» — он, видимо, не решался ввиду чрезмерности расстояния. А я всё время молчал, стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, знать которые обидчивому Пузырьку было ни к чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому — и, разумеется, разрушительному — влиянию соседа.

Ну, с грехом пополам управился. Однако с того дня на всякий случай решил обходить Пузырька за километр. Пузырёк, напротив, искал встречи, но найти не мог.

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть если не верная и не мгновенная удача, то её бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемалывает всё: и пот, и мороз, и незадачи, и само долгое и часто напрасное ожидание! Однако удача удачей, а пойманная рыба для северной деревни значит всё ещё много. Поэтому иные, такие, как Пузырёк, наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но как не из жадности, а единственно из-за боязни сглаза сторожат своё ремесло (буквально, например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумеет ленок), так и выслеживают других вовсе не за тем, чтобы позавидовать и вспугнуть фортуну, а, опять же, с одной лишь надеждой — пополнить собственный ларец ещё одним бесценным знанием, отложив его в голове поверх других, как в несколько слоёв солят рыбу.

И вот Пузырёк дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочёвка, из которой рыба — только двухсотграммовый хариус.

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную.

— Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельцовку — и тоже ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток — на 60 или 70, я уж забыл! — сра-а-зу смотали кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят...

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:

— Поставь-поставь, дело тебе говорю!

И, глядя прямо в глаза, дразняще смеётся, только отомкнутый рот и видать, а в нём — белый с похмелья шмат языка:

— Я-то как ты не выёживался, одна прорубь — и всё!

— Как это?! — всё поднимается торчком, и главным образом — прозвища Пузырька.

— А вот так! Кинул бутылку — и готово!

7.

Вымотать душу из северянина — что из проруби сеть: то же нарастание кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят незримой рыбиной.

Но когда вымотаешь — что же?

Оказывается, этот некорыстный русский мужичок, мимо которого пройдёшь и только что не плюнешь, исповедует вот какую политику: выдолбит майну на умеренном течении, таком, чтоб не «ложило» снасть, запузырит в прорубь налитую пластиковую бутылку, а уж та, продвигаясь подо льдом, как поплавок, сама повлечёт и расправит привязанную сеть!

— Не забудь второй конец зароч*и*ть! — хрипит, не может ни проглотить, ни отхаркнуть. — А то у меня так одну сеть утартало!

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.

— Как ракета полетит! — отметает Пузырёк.

И, внезапно осекшись, переводит взгляд на едва початый ряд замороженных лунок. Глаза, между тем, всё ещё сверкают, но уже так, как бывает на кончиках мартовских сосулек, когда весь день текло, а под вечер, вместе с приморозом, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо над тобой дрожат живые капли.

— Видишь, какая у тебя удача?! — качает головой, словно хочет смахнуть эти капли на снег, убедить всех и сам убедиться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. — Наверное, и спать не будешь!

— Уд-то у тебя ещё много? — спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от этой «удачи», избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя всю лживость моего якобы «сострадания» к чужой судьбе.

— Ой, и не говори! — вздыхает мученически. — Да я выдолблю все, мне один хрен делать нечего... — И, поковыряв носками бахил, суёт ноги в стоптанные стропяные ремни, подхватывает пешню и лопату и идёт, оступаясь на своих косолапых лыжах и тихо матерясь...

И ты, словно расщеплённый молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой отныне и до конца больно за всё, что творится под этим небом, — внезапно очухиваешься этой первой половиной и, сращивая её со второй, даже не вспоминаешь (потому что никогда не помнил этого), а как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разря-

дом, что это никакой не Пузырёк был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а — дядя Витя, бывший совхозный механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто «тыкаешь». Нынче ему на пенсию — и слава Богу, потому что последние лет пятнадцать-двадцать сводит концы с концами, ходит в старом и заплатанном, частенько распоясывается и, окликая в дороге, унизительно клянчит: «Займи на пузырёк!» — а когда отказывают или даже прогоняют, отстаёт и плетётся позади с таким видом, как будто не дали со стола красное яблочко.

Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоём мнимом добре разных примесей, нужных в первую очередь тебе. Да и даёшь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, выстроив на этом некую народолюбивую философию, благоприятствующую, опять же, только тебе, между тем как самому народу от неё ни холодно, ни жарко. А если совсем по совести, то и не сделал ты ничего для этого народа, кроме того что скрепя сердце потряс копилку и выручил одного-единственного страждущего, и когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое своё, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от тебя, не спросясь, не нагрузил свой поступок каким-то выгодным только ему образом мыслей и поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своём роде и цельное, как монолит, своё отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, братцы, «чисто случайно» отыскалось, чем помочь.

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, захлёбываясь от восторга, который обжигает сердце и зыкает льдинкой на зубах. Нет, не будет завершения этому народу, который поёт и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди.

И когда ты обо всём этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слёз не видно, ты вдруг, ещё сам не зная за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, назавтра дядя Витя раскается в излишнем откровении и опять надолго заткнёт душу в шубенку, но этот миг расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке.

КАПЛИ МАРТА

Повесть

1.

Мама легла в больницу в начале марта, и бабушка забрала мальчика в деревню. Иногда мама звонила. Голос её прилетал издалека, словно с конца длинной-предлинной трубы. Бабушка первое время, пока не разругались в пух и в прах, отвечала сама:

— Кто он хоть, доча? Вахтовый? Адрес? Опеть?! Ты же обязана была проверить его документы, когда он поступил к вам в отде... Ну и вертолобая ты!

— и, пихнув трубку в руку мальчика, скорей к жёлтому шифоньеру за капельками в бутылёчке из тёмного стекла.

И всегда мамины звонки заканчивались одним. Мальчик звал её приехать и, конечно, пускал слезу. На том конце тоже хлюпало, а потом сыпались короткие гудки: курлы! курлы! Как песня осенних журавлей. Их было так много, что если бы все собрать в стаю и заставить разом заплакать, то мама с бабушкой ужаснулись бы: сколько мальчик перенёс из-за них горя! Но, кроме него, никто этих брошенных мамой гудочков не слышал, и поэтому ни одна душа не ведала о приключившейся с ним беде. И мальчик, брякнув трубкой о телефон, выворачивал красный мокрый рот:

— К маме хочу-у-у! Пусть меня заберё-о-от!

Набрав из пузырёчка в рот, бабушка обыкновенно сидела в прихожей. За окошком ронялись с крыши первые сосульки и, звенькнув о бельевую проволоку, разбивались о тротуар. Старуха смуро смотрела на белый свет, как будто и видеть не хотела, и только капельки, собранные под губой, не давали ей выпустить гнев.

— К маме хочешь своей?! С баушкой тебе плохо, которая исть-пить даёт?! А-а, шуруй на все четыре стороны! — сглотнув капельки, жалила Клавдия Еремеевна.

Но и она была не из жести:

— Приедет твоя мамка, привезёт тебе о-от такого коняку! Тогда и скачите с ней на пару, моэть, головёнку свернёте...

Не найдя мамы, мальчик забирался к старухе на колени. И Клавдия Еремеевна замолкала, сцепив потрескавшиеся грубые руки у мальчика на животе. На голову мальчику то и дело падали капельки, которые катились по старухиным щекам и свисали с дрожащего подбородка. Но если мальчик заливался во всё горло, то бабушкина печаль была неслышна. Губами, будто жующими зёрна, тоненьким шипящим свистом изо рта да вот этими капельками иссякала бабушка...

Накануне мама позвонила рано-рано, ещё дремали на печке бабушкины чепарухи. Соскочив с кровати, мальчик попробовал отвоевать телефонную трубку и даже лягнул старуху, но Клавдия Еремеевна быстро укротила подзатыльником. Добавила бы ещё, если бы мальчик не зауросил и не убежал в кухню, чтобы пялиться в окно и ковырять ногтем утреннюю сизую скорлупу, обметавшую стёкла.

Как уж он учуял, но только в шкафу обнаружились скрытые от него яблоки — три штуки в газетном кульке! Вот тогда-то и сгрыз одно, а семечки посадил в цветочном горшке, чтобы разрослись и задавили бабкину херань. К осени у него будут свои яблоки, из которых он, так и быть, вернёт этой жадной старухе одно. А может, и два! Только он вытер испачканные руки о бабушкин передник, висевший на гвоздке, как приковыляла, заваливаясь на бок, больше не любимая им старуха. На удивление, после разговора с мамой бабушка была радостная и просветлённая, точно умытая снегом, с ещё не просохшим лицом. Она не дала ему взбучку за съеденное яблоко, о пропаже которого догадалась по обвёртке у печки.

— Слупил уже?! Хоть куды прячь! Ну да ничё-ё, ешь на здоровье! Скоро и хлебной корочки не увидишь... — Она даже погладила мальчика, шумным носом понюхала его волосы. И он снова полюбил бабушку.

— А почему, баба, я даже корочки не увижу? — когда бабушкины руки отдохновенно легли у него на голове, спросил мальчик.

Но бабушка промолчала. Оставшийся день Клавдия Еремеевна напевала

старинное и тягучее. Там был и «красный сарафан», не шить который умоляла распоясавшаяся старуха свою матушку, и «камаринский мужик», что напился, наверное, с подымахинскими мужиками на угоре, и «берёзка во поле», где столовались деревенские трактористы, и «сени мои, сени»... (О сенях-то чего петь! Вон они — толкни дверь плечом — сумрачные, в белых куржаках по углам, несмотря на весну... Вмиг окочуришься!)

А потом пошло-поехало — как на майские праздники лёд в Лене — совсем печальное. Не только у бабушки, но и у мальчика, крутившегося под ногами, глаза были на мокром месте. А когда они в последний раз там были без хорошей-то выволочки?! Такая песня велась тяжело, словно несла её бабушка на закорках, с расстановкой — когда «в горку», а “под горку” — с широким вольным заламыванием руки, которую Клавдия Еремеевна откидывала на сторону, точно занесённое для гребка весло, а потом росчерком ласточкиного крыла стремительно возносила над головой:

И никто-о-о-о не узна-а-а-ет,
Где моги-и-и-и-и-лка-а мо-о-я-я-я-я-я-я...

Хорошие были песни! Только грустные. Ну, да за бабушкой повелось, как умер дедушка: радуется — прикладывает к глазам платок, плачет — рот в песнях дерёт...

За песнями да вздохами бабушка почти не отпускала подзатыльников, хотя мальчик вёл себя куда как самонадеянно и даже втихаря посолил картошку в кастрюльке, выставленной Клавдией Еремеевной на горячую печь.

Назавтра она разбудила его чуть свет, одела — только гляделки видать — и, полусонного, повела за ворота, покатила на трясучем автобусе с фанеркой вместо бокового стекла. Потом они скреблись по обледенелой лестнице в гору, мимо серебряных от изморози сосен. Было холодно, у них в деревне теплее, потому что там все топили печки и обогревали улицы. А в городе кирпич да бетон, дым только из высоченной трубы кочегарки, да и тот чёрный, вонючий, как если сунуть в топку дырявый резиновый сапог. Пока-а доскребёшься доверху, до самых облачков над крышами красных трёхэтажек... Вот и взялся инеем шарф на лице! Изо рта бабушки, по-рыбьи хватавшего воздух, тоже не бог весть что, то хрип, то кашель, а то и вовсе плевок. Запахнутая в сто одёжек, похожая на шерстяной колобок, старуха едва семенила, на последнем издыхании ища нужный больничный корпус среди тех нескольких, что встали в лесу на горе. Но мальчик, вцепившись в её руку, всё равно не поспевал, шаркал валкими валенками.

В свободной от мальчика руке бабушка несла сумку. Уж чего только они не поклали в неё! И толстые пузатые картошки в лопнутых мундирах, и пупырчатые солёные огурцы, и отваренное в луковой шелухе мягкое, как пластилин, сало, и даже два румяных с мороза яблока! Несла, конечно, одна бабушка. Но и от мальчика помощь: если бы не он, старуха и не заикнулась бы об этих яблоках! Ведь это он добрался до них в шкафу и съел одно — красное, с хрустящей корочкой! — а бабушке только и оставалось, что раскошелиться. Это он, а не кто-нибудь, пожалел для себя другие — уж какие сладкие, слаще съеденного! — и отложил самые-самые... для мамы.

В больнице было чисто и светло-зелёно. Пахло овсяной кашей, рыбными котлетами и компотом. Там оказалось много комнат, больше, чем у них в садике, а ещё больше — детского крика. Ну как в этих закоулках не заплутать? Как среди похожих, словно капли воды, каморок найти одну, где мама?

Как во множестве голосов услышать её?! И зачем бабушка посадила его у двери на кожаный диван с пуговицами и приказала не уходить, а сама убрела по коридору — и как в подполье шандарахнулась... Допустим, ещё дома она выделила ему шоколадную конфету из того запаса, что скурковала и затарила в старом лопнувшем запарнике. Так мальчик не клянчил её! Он бы лучше сам пошагал искать маму. А конфету бабушка всё равно скормила бы ему, потому что у неё “деабед” и она может «уйти вперёд ногами», если сглотнёт лишнюю ложку сахара.

На крашеных стенах висели фотокартинки с бледными тётками и ихними кривоногими детками. Однако, задирая на лоб спадавшую ушанку, мальчик ни грамма не заинтересовался чужими мамами, поскольку своей он давно не видел, а от вида других ему хотелось чертить гвоздём по стеклу. Он бы, пожалуй, не отказался теперь от манной каши и компота (только, чур, косточки он разбивает дедушкиным молоточком сам!). Тем более конфета нагрелась в кармане, и он слизал с шуршащего фантика влажный шоколад, а бумажку случайно уронил на пол.

Тут к нему подвалил человек со скользкими руками и в смешном чепчике на голове. Спросил строго:

— Что ты здесь делаешь?

— Я? Я ничего не делаю! — ответил мальчик. И не соврал. Ведь, не дождавшись каши и компота, он только потрогал стоявший в углу, в деревянной тумбе, огромный, выше него, кактус, а ни одной тычки, сколько ни колол пальцев, не отломил, чтобы подложить на бабушкину табуретку, когда они уедут в деревню и мама снова позвонит...

— А это кто бросил?! — Чепчик кивнул на фантик под ногой. — Ты что, не знаешь, как себя нужно вести?

— Знаю. Нужно опустить бумажку в ведро.

— Правильно! А ты почему так не сделал, ведь есть же урна?

— Я хотел, но у вас ведро полное, и мой фантик вывалился обратно, — это была самая чистая правда. Он хотел отнести бумажку в урну...

Чепчик неожиданно засмеялся, сдирая с рук резиновые перчатки. И руки сразу стали большими и волосатыми, как у дяди Фёдора, который к ним с мамой иногда приходил.

— Это здоровая критика! — согласился Чепчик.

Едва он ушёл, как его требовательный голос загремел за стеной. Из коридора пришуршали рассерженные Веник и на длинной палке жестяная Коробочка с откидной крышкой. Крышка откинулась рядом с мальчиком, точно готовясь его сглотнуть, веник метнул. И бумажка от бабушкиной конфеты исчезла в Коробочке, которая напоследок клацнула крышкой:

— Воспитанные дети не будут бросать мусор где попало, даже если нет мусорной корзины! А этот расселся!.. Из-за тебя, обмылок сопливый, наш Главный испортил мне настроение перед Восьмым мартом!

А-а! Так этот Чепчик, оказывается, самый главный у них. То-то он разорялся, то-то много брал на себя!

— А разве март бывает восьмым? — осторожно спросил мальчик, следя, как бы крышечка снова не откинулась, а Веник не смахнул бы его в Коробочку. — Он, по-моему, один на свете...

— Чего?! — у Коробочки крышка поползла вниз, должно быть, от изумления, а мальчик быстро сел на диван и поджал ноги. Но Коробочка не успела его съесть: на выручку ему подоспела бабушка, уже без сумки.

— Чё он тут опеть натворил?! — Клавдия Еремеевна, как на вражину, прищурилась на Коробочку, потом — на мальчика. — На минуту остаить нельзя!

Вид у бабушки был решительный. И Веник с Коробочкой, под которой обнаружились Коричневые Тапочки, убрались столоваться у переполненной корзины. Они с бабушкой разделись, в окошечке у Бабы С Чёрной Родинкой На Щеке обменяли свои вещи на медные жетончики (о, неравный обмен, у него только в левом кармане полушубка — четыре скелетона!) и отправились по коридору, откуда бабушка так вовремя явилась и спасла его от участи конфетных фантиков и мандариновых шкурок.

— Баба, а ты нашла маму? Нашла или нет?! — заныл мальчик. Бабушка, потыкавшись в одну, в другую дверь, в досаде застыла посреди коридора. Так было однажды, когда мама с дядей Фёдором повели мальчика в “Мир игрушек”. Там он впервые зараз увидел на витрине и оранжевого льва из поролона, и “БелАЗ” на моторчике, и ружьё с резиновой пробкой, и много чего. Дядя Фёдор не успел всего этого купить, потому что мама, цыкнув, поманила дядю Фёдора из магазина, а мальчик не уходил...

— Чего ты не говоришь со мной, баба?! Нашла маму или нет?..

Да, бабушка была сдержаннее. Она не подавала вида, что они заблудились, а когда мальчик потянул её за рукав, не упала на пол и не заколотилась в истерике.

— Тут она где-то. Мне просто одной женщине... тоже из нашей деревни... передать кое-что нужно...

— Какой женщине?

— Какой-какой! — рассердилась бабушка, отворяя очередную дверь. — Какой надо! Пристал, как сера липучая, и ничем от тебя... Здрасьте вам, дехчонки! Я сюды давеча не заглядывала? Нет? А куды я заглядывала? А-а!

Клавдия Еремеевна, насильно улыбаясь, поискала мальчика глазами.

— Пошли. Эта толстомясая велела к сестре обратиться...

И Сестры, как назло, нигде не было, потому что пришёл Восьмой Март и увёл всех женщин в парикмахерские, где их «начешут-начепурят, чтоб вашего брата дурить» (бабушка хмыкнула). Бродили по опустевшей больнице, вертели головой. Глядь: возле пустой корзины, насытившись, отдыхают Веник с Коробочкой. Как раз бабушка где-то снова запропала, и мальчику сделалось скучно жить. Он брякнул крышкой Коробочки, а из неё кубарем — разный мусор. Тут как тут Коричневые Тапочки.

— Ах, вот оно что! — обрадовались Тапочки. Теперь они не были закрыты Коробочкой, и мальчик разглядел, что Коричневые Тапочки — это маленькая круглая Тётка с обиженным лицом, жгучими глазами и надкушенной сосиской в руке. От Тётки пахло вином и винегретом. — Мало того, что этот обмылок капает на меня Главному в Международный Женский день, дак он ещё мусор разбрасывает! А ну-ка, пойдём!

Тётка, схватив мальчика за шиворот, поволокла его по коридору, куда давеча ушёл Чепчик, хоть мальчик и упирался валенком в пол.

— Я на вас не капал, мне нечем на вас покапать! — От потуги осадить Тётку одежонка завернулась у него на спине, обнажив узкие позвонки.

— Капал, капал! — мстительно приговаривала Тётка. — Ты ещё сам не понял, как ты мерзко на меня накапал! Ну ничего-о, ни-че-го-о! Щас я тоже на тебя покапаю, если этот долговязый хрен не убежал к своей дистрофине!

Тащить мальчика вредной Тётке было несподручно, так как он цеплялся за что ни попадя и «работал на публику», как выразилась Тётка, а затем и вовсе изноровился, пнул обидчицу в зад, чуть валенок не застрял. Тётка ойкнула и расцепила клешни. Мальчик драпанул по коридору, громко зовя:

— Бабушка-а! А Тётка хочет на меня пока-апать!

Благо, бабушка оказалась рядом. Всполошённой курицей на крик цып-

лёнка выскочила из-за двери — глаза горят, посошок в руке, только что пол не скребёт...

«Сейчас насует Тётке в душу и в дышло».

— Здесь я, Тёмка! — горласто, будто в поле, рявкнула Клавдия Еремеевна. — Ты куда подевался-то, я весь атаж оббегала?!

И, так и не нанеся Тётке урона, снова скрылась за дверью. Оттуда запричитала:

— Потерял баушку! Бежит щас, плачет: “Куда ты, говрит, баушка, подевалася от меня, я весь атаж оббегал, а тебя нигде нету...”. Чё ж, как мать родная ему, ничё никогда не жалела, не обижала, не бросала ни на кого... Вот он и не отстаёт ни на шаг, так и хватается за подол, если иду из избы... Ну, где ты там? Лом поперёк сглотнул, чё ли, пройти не можешь?!

...Если бы кто-нибудь объяснил, что мама может быть такой — с животом провалившимся, стыдливо прикрытым руками, с глазами усталыми, тоже как будто провалившимися, но и — сияющими, глубокими, со счастьем на дне, какое не спрятать, только если зарыться лицом в подушку... Если бы хоть через стекло бабушкиной избы, да высмотрел прежде тряпичный кулёк, этакий стрекозиный кокон в маминых руках, а в нём этого маленького, розового, вцепившегося в намятый губёнками оттопыренный сосок. Да и сам влажный, потянутый, с молочной пенкой вокруг, выглянувший из кофточки, как земляничка из травы, — о, если бы видел, пусть даже на картинке. И когда бы старуха не шпыняла, не висела, как туча, готовая поразить молнией за малейшую оплошность, — то мальчик не сплоховал бы, не захлопал бы глазами и, конечно, легко узнал маму!

Но он не видел, не ведал, а потому не знал, что так бывает, тем более с его личной мамой.

И он не сразу вошёл в просторную комнату, где на окнах по-домашнему цвели занавески, а в склянке с водой у одной из кроватей пахли всамделишные цветы, подвязанные золотистой кудрявой ленточкой. Там, за порогом оставленного мира, куда ушёл Чепчик и где в поисках мальчика рыскала злая Тётка, он, наверное, повёл бы себя иначе. А здесь мальчик чего-то сдрейфил и не разведал маму ни в одной из женщин, улыбнувшихся ему. Он уже хотел заплакать, как вдруг та, что держала Розового, назвала мальчика по имени, словно катая во рту нежный хрустальный шарик:

— Тё-ёмка-а! Тё-ё-ёмочка-а! Ты меня забыл? Ну иди, поцелуемся!

Конечно, он тут же вспомнил и этот голос, и этот шарик! Но бабушкина ладонь нащупала его зад ещё раньше.

— Это он — с холода, — отрапортовала Клавдия Еремеевна. — Вот и не может признать, кто тут настоящий, а кто — на синтепоне...

— Ну, Тёмка, чего ты?! — снова заговорила мама, зажимая пальцами мокрые ноздри. — Обними, сколько не виделись-то!

— Поручкайся с братиком, ты его ишо не знашь, — подбадривала и бабушка. — Вишь, какой фанфарон! Будешь на Новый год апельсинки шелушить: себе — корки, ему — самый цимус!

— Ма-ам! Чего ты так?!

— А чё?

— Говоришь-то... Как будто я нищая, не смогу детям апельсинов купить! Изначально вносишь в их отношения дисбаланс.

— Чё-ё?! — бабушка тоже хлюпнула носом, но, как ни пыжилась, из глаз не выцедилось ни граммульки. — Ничего я не вношу! Просто говрю, мол, иди поздоровайся...

— Нет, вносишь! Извини меня, мама, но это так.

— А-а, тебе хоть ничё не говри!

Бабушка сцепила губы и замолкла, уставясь в стену мимо всех.

— Чё ж, так и будешь стоять, как чурка с глазами?! Вишь, я вношу... Дак ты-то хоть подойди, она тебя щас обсопливит всего! — процедила она сквозь зубы.

— Тё-ёмка, помнишь: «Ехали-ехали в лес за орехами, на кочку попали...».

— ...Башку сломали...

— «...на гудок нажали!» — не слушая старухи, продолжала мама. — Ну, подойди же! Смотри, какого тебе братишку дядя Доктор принёс...

Кроме его, мальчика, мамы в комнате находились ещё четыре чужих. У трёх под грудью — по такому же розовому. И только одна, Китиха, на скрипучей койке у окна лежала ни с чем, подобрав руками одеяло на огромном животе. Эти три румяные, как яблоки, мамы сразу понравились ему. Да и он им, видно, тоже. И лишь лохматая Китиха, как та коридорная Тётка, была недовольна уже тем, что мальчик есть на свете:

— Пришли, разорались... И в праздник нет покоя!

А тут ещё розовый завошкался в своём коконе, выплюнул сморщенный поблекший сосок и захныкал, как собачоныш, у которого отобрали вкусный мякиш. Мама заулюлюкала, зацокала языком, кривляясь, как дурочка с закоулочка:

— Ай-лю-лю! Ай-лю-лю!

Забыв обиду, бабушка на плач Розового тоже заворковала, но на свой манер:

— Гляди: разошёлся, как политикан по телевизеру! Так и чешет, так и кладёт на все лопатки! Слушай-ка лучче — баушка споёт.

И Клавдия Еремеевна, откашлянув посуху, быстрым дроботом — словно картошку из мешка — высыпала свою весёлую песенку (а когда-то, да и сейчас иногда, пела её для мальчика!):

Как у нашего царя —
Топай! Топай!

Смеясь, мама держала Розового за локотки, а бабушка поочерёдно «топала» его кривыми ножонками, взяв их руками.

Родила богатыря
Кверьху жо... Тьфу! — попой!

— Вот дак учудила! — закончила бабушка, и все засмеялись.

Кроме мальчика. Он отвернулся к окну, за которым в голубом небе расшкурилась жёлтая долька, а загадочный Восьмой Март позолотил снег на берёзах... Всё равно мама больше не обращала на мальчика внимания и даже не взглянула на яблоки, которые бабушка со стуком выложила на тумбочку, подоткнув скомканной газетой, чтоб не раскатились. Да и бабушка стала чужой — болтливой и льстивой, как лиса. И все кругом веселились! Даже Китиха, которая и смеяться-то не могла — глыбой вздулся её живот, — а всё равно колыхалась, как шаткий студень...

И когда бабушка с улыбающимся человечком подошла к мальчику, шёпотом предупредив: «Смотри не урони!» — он чесанул из комнаты, видя перед собой лишь свои сырые от слёз ресницы, словно лес после дождя. Кто-то уже на улице цапнул его за руку...

А потом присеменила бабушка с раскисшими красными глазами. Они сдали жетончики в окошко Бабе С Чёрной Родинкой На Щеке, грустной без цветов Восьмого Марта, и уехали обратно в деревню.

2.

Вечером, усталого после дороги, Клавдия Еремеевна не стала наказывать его за побег, а наутро завела в угол — носом в стену. Сама засобиралась на почту: «Выбивать из его, паразита, алименты!». Кто этот паразит и что такое «алименты», мальчик не знал, хотя имел шесть годков от роду. Это был солидный возраст, когда кругом всё сам: носки надеть — сам, борщ хлебать — сам, валенок швырнуть через переборку, где спит старуха, — и то сам! И всё ж таки он хныкнул для порядка, однако бабушка давно изучила каждый его выверт. Она стояла у раздевалки (самодельной деревянной вешалки с гвоздями вместо крючков) и, прислонясь к дверной колоде, обувала валенки, втыкая одну, потом вторую ногу.

— Чего ты там?!

— Ничего-о!

— Слышу, чего-о! Распустил губерни: пожалейте его, бедного!

Уже одетая, бабушка заглянула в зал, отдёрнув дверную занавеску.

— Стоишь? — полюбопытствовала вполне миролюбиво. — Охота, наверное, на ушах походить?

— И ничего мне не охота!

— Врёшь! — Подумала. — Сказал бы, что охота, — я, моэть, и отпустила бы тебя во двор... Охота?

— Не-ет!

— Ну и стой тогда, не выламывайся! — и прошагала к чёрно-белому телевизору, постучала ногтем в выпуклый экран. — Не вздумай включа-ать!

— Нужен мне твой старый ящик! У нас ваще телевизор баще твоёго в сто раз. И с пультом!

— Старый я-ящик! Ты заведи для начала такой «ящик», а потом обзывайся...

— А ты меня, бабка, к маме отправь, а то я сам сбегу!

— Чё ж ты вчера не шёл к своей маме?! Да и сдался ты ей сто лет. У ней теперь другая забота...

Клавдия Еремеевна осеклась, зачастила веками, будто смаргивая посёкшуюся ресницу.

— Ты давай-ка, товарищ, обдумай своё положение! — отворив дверь и вынеся ногу за порог, старуха ещё ожидала, что он запросит прощения. — А то посмотрите: ка-ко-ой!

Соскочил и форкнул в дверь, только его и видали! А что у баушки сердце больное?! Что в етим городе скаженный на скаженном, так и лётают на машинёшках?! На это ему наплева-а-ать!

Ушла, хлобыстнув дверью. Нарочно прокандыбала мимо окон, заглянула в одно: строго, соблюдают — нет ли, её приказ?

Но мальчик тоже был не дурак, тоже постиг все старухины приёмы и стоял смиренно. Он даже скуксился и безутешно подрожал плечами, чтобы бабушка подумала, будто он на правильном пути. Наверное, она так и решила, удовлетворённо кивнула и убрела переулком. Что чёрт её унёс не по угору, мальчик узнал из кухонного окна. К нему он прибегал всякий раз, когда требовалось определить удалённость старухи от избы и вероятность её скорого прихода, а отсюда возможность совершения какой-нибудь проказы. Но нынче никакая проказа, даже самая маленькая, не могла набрести на его ум, большой не по годам.

Он пошёл слоняться по избе (выйти за дверь мешала плашка, накинутая на проушину с уличной стороны). От скуки выкопал из горшка яблочные семечки: много ли подросли за день его отсутствия? Полистал книжку со

слипшимися страницами, которую бабушка использовала вместо подставки для сковороды, а то и как разделочную доску. Притомясь от трудов, съел из кастрюли тёплую сваренную картошку, обсыпав солью. Зажевал мякишем, бросив к печке жжёную корку. И запил прямо из бочки, чего бабушка под страхом смерти не позволяла, говоря, что «город проклятой, чтоб ему отрыгнулось на том свете, засял всю нашу матушку Лену!».

Стрелка в настенных часах полезла в самую гору. А во дворе, задутом снегом, всё заволновалось, словно весь этот белый мир был отлит из олова, но вот его нагрели, поднеся на спичке яркий огонь, и олово задрожало, оплывая, смещая углы, контуры, меняя очертания. И когда мальчик придвинул табуретку к окну, от железной печной трубы просочилась по крыше бесцветная капля. Долго, переливаясь, висела на выступе, как бы размышляя, упасть ли ей теперь или лучше дождаться примороза, застыть, а то, полнясь другими каплями, вызмеиться в длинную ребристую сосулю и обломиться от попадания снежка, запузыренного смеющимся мальчишкой.

Вот, точно всю свою силу собрав на собственном конце, капля перевесила сама себя, перетёкши из точки опоры в точку движения, и быстро, как выплеск иглы в бабушкиной швейной машинке, промелькнула в пространстве между крышей и сугробом...

Ка-ап!

Ничто не изменилось в природе, да и никто, кроме мальчика, не подглядел, как неприметно завершилась судьба мартовской капли. Вслед за первой навернулись другие; зацокали в пустой цинковой ванне, подставленной бабушкой под жёлоб...

Изба, не прикрытая ни одной тучкой, смотрела стеклянными глазами за реку, на дикую заречную тайгу, сошедшую с хребтов к мёрзлым берегам. Шифоньер вдруг засверкал, как вода в проруби в ясный январский день, и мальчик зажмурился, а затем пристроил руку козырьком ко лбу и стал смотреть. Это солнце нашло незанавешенное окно, юркнуло в него, но тут же и назад, умноженное в зеркале шифоньера! Однако убежать не смогло, растеклось по встречной стене и всё-всё, предназначенное небом гореть во всю ивановскую, прожигать снега и гнать ручейки, осталось в малюсенькой горнице.

За окном потемнело, капельки остекленели на кончиках сосулек. Легла тень на тайгу и стала дышать, как живая. Воробьи, чистившие клювы на куче парного навоза, набросанного на задах соседнего двора, снялись и полетели под крышу...

Мальчику стало жаль пропавшее солнце. Он зашторил окно, в которое солнышко протекло в избу, а на других, наоборот, развёл занавески. И солнце, благодарно вспыхнув, выпорхнуло сквозь стекло. Снова праздник пришёл на улицу. Забрызгали капельки, отряхнула снег тайга, а воробьи загоношились, теребя травинки из навоза.

...Давно солнце ушуровало на другой конец деревни, расшиперилось над низовскими избами — веселить тамошнюю ребятню. Без него на сердце посерело, а без бабушки сделалось скучно, потому что с кем же препираться? А зеркало, вправленное в шифоньер, и вправду — большое! В таком не только солнце, но и мальчик угнездится с ног до головы, если, скажем, отойти к окну.

Ну, разве что тапочек не будет видно!

Он так и сделал — отошёл и принялся рассматривать себя, точно мальчишку с соседней улицы, с которой ни при какой погоде не может быть замирения. Нет, что и говорить, — он не красавец! В самом деле, разве это красиво — птичий рост, худые плечики, большая косматая голова и эта косо

остриженная русая чёлка, притемнившая и без того невесёлые глаза? А обломанные ногти, под которыми свинья ночевала? А рёбрышки наперечёт? А грязные уши?!..

Впрочем, уши-то ещё в субботу бабушка надраила в бане вехоткой — аж заалелись. Ну, да и с чистыми ушами — разве он красавец?! Мама потому и завела себе Розового, что мальчик — эдакое чучело... Тьфу!

О, если бы в кармане у него оказался болт, он обязательно пульнул бы им в зеркало — и бабушка ему не начальница! Подумаешь — бабушка! Пусть она проваливает к этому Розовому, строит ему смешные рожицы, а мальчику на это наплевать! Если на то пошло, он даже может ослушаться старуху и выйдет на двор, вот только ножиком сковырнёт заложку... Не надо было запирать, как преступника!

На этот раз бабушка оказалась хитрее: мало того, что накинула плашку на петлю, так ещё и застопорила щепкой. Ну, да и это не проблема! Надо приотворить дверь (благо, щеколда позволяет), а в щель просунуть лезвие ножа и поддеть плашку, одновременно стукнув по двери, — щепка и вывалится. Раз... и всё!

А во дворе хорошо! Скрипят — как из пенопласта — снежки; пахнет тёплым деревом и проталиной; влажны прутья берёзовой метлы, уткнутой черенком в сугроб у крыльца! С крыши сорятся серебряные семечки, тюкают клювиками рыхлый снег у завалинки, где глубокие норки, будто неизвестные птицы искали чего-то себе на поживу. От тротуара, от поленницы, от избы отслаивается сизый воздух. Поля за огородом, сосняк за деревней, крыша свинарника — в прозрачном газе; смазываются, словно картинки в калейдоскопе. Далеко в поле, меж бурых ковылей и репейников, спешит на свою мышиную охоту лиса, а снег за её хвостом-помелом искрится огненной пылью. Да что лиса! Весна бежит по дворам, по деревенским улицам, машет голубым хвостом, и всё вокруг мерцает кусочками разбитого зеркала...

Это же что, всё время торчать на крыльце?

Можно и пройтись по двору. Это не по городу. Тут греха нет, и бабушка, вернувшись с почты, простит ему самовольный уход. Значит, не стоит мандражиться и драпать со всех ног от кашля за воротами. К тому же Лётчик гопил во дворе, скакал на забор, и мальчик вышел посмотреть, не воры ли залезли в амбар, чтобы спереть дедовскую бензопилку. А так-то мальчик, конечно, никогда бы не ослушался! «Лётчик, полай! Не будешь лаять? А почему? Когда я не дал тебе косточку?! Ах, та-ак! Тогда я возьму вот эту палку и кэ-эк тресну тебя по башке! Ага, сразу забрехал, пустолайка, только я взял палку! Будешь знать, как не ла... Чего? Чего ты вцепился в мои штаны?! Пусти, ты порвёшь, а бабушка скажет, что это я... Ну вот, не пустил! Теперь бабушка даст тебе взбучки и поставит в угол. А мне как гулять с порванными штанами?! Ворота всё равно ничем не откроешь, не сиганёшь через забор и не убежишь к маме!..». Встать, разве, под крышу и попить капелек, а потом умереть, чтобы бабушка не ругала? Всё равно мама завела себе Розового, и ей не будет печально, если мальчик больше никогда к ней не придёт. А у бабушки есть капельки в аптечном пузырьке, она наберёт их в рот и переживёт его отсутствие...

Отбросив палку в снег, мальчик на всякий случай ещё раз примерился к забору. Он был серый от старости, но не хотел расти вниз, как бабушка, и хотя давно накренился, но по-прежнему оставался высоким — даже тайгу за ним не видно, облака лежат сверху белым снегом... Ни за что не преодолеть, разве только на ходулях! А раз так, что тут думать? Штаны-то в любом случае не зашьёшь...

И он встал под крышу, под синие, как глаза весны, окна зала, потому что с этой стороны струилось звонче и чаще, как будто в каждый из желобков шифера положили по пузырёчку, капроновой пробкой, проткнутой гвоздём, вниз.

Лётчик, беспутный глуховатый кобель, только жрать да спать гораздый, вынул нос из будки, зевнул и стал ждать, когда мальчик напьётся капель марта и умрёт. И мальчик, видя такое радение о своей жизни, задрал головёнку к небу, раззявил рот пошире. Кап! Кап! Кап! — студёные. Кап! Кап! Кап! — жгучие. Кап! Кап! Кап! — прямо на язык... Он не сглатывал их сразу, а накапливал за нижней губой и медленно посасывал, как делала бабушка.

Из сосулек мигали маленькие солнца, слепили глаза. Мальчик закрыл влажные веки, на которые плакало с крыши, и весь превратился в ожидание, когда же капли пересилят его и свалят в снег. Но капли всё не пересиливали. Только было щекотно во рту, а зубам — стыло, как будто прикусил лезвие ножа. Вот сейчас! Ещё пять! шесть! семь капелек! — и он будет полон, упадёт сосулькой, а пока мама хватится и приедет, он уже растает и утечёт в землю, прорастёт зелёной травкой. И ни одна живая душа не найдёт его. Бабка обтопчет галошами или ссечёт тяпкой и швырнёт курам на потеху. Признает его только Лётчик. Но и он, отогнув лапу, окропит жёлтым дождичком, и только за то, что мальчик однажды пожалел ему косточку...

Но что это прошуршало и шлёпнулось в снег?

А-а, это капли одолели сосульку, и она вонзилась в снег. Тяжёлая, глубоко вошла... Ну да, легко гурьбой столкнуть несчастную сосульку! Пусть они его попробуют забороть! Вон, однако, ещё одна упала, и ещё... Последняя срикошетила от бельевой проволоки и раскололась о тротуар, а её ледяные осколки вдарили по будке, в которой дремал Лётчик. Ха-ха! Так ему и надо, не будет капать на мальчика, как говорила та вредная Тётка в больнице...

...Солнце покренилось к лесу, но уже с этой стороны Лены. Задрожал жестяной винт фанерного самолётика, на длинной спице взмывшего над крышей. Это ветерок подул, навёл облаков. И сразу стало сумеречно, особенно за избой. Кто-то прошагал за забором, высекая острым посохом скрипучие ямки, тут же наполняющиеся тёмной водой. Так и бабка скоро вернётся, даром что опять, поди, наведала по пути и Настасью Филипповну, и сестриц Сентябрину с Октябриной, и бабушку Степаниду с дедушкой Анантием, которому сто лет в обед и белая борода вросла в рот, в нос, в фиолетовые уши...

Идти, что ли, домой? Не то и убить может сосулькой, как одну городскую старуху прошлой весной.

3.

К вечеру обдало жаром, как из печки.

— Бересту поднести — вспыхнет! — только и сказала бабушка, потрогав его лоб. — Ну-ка, брысь в постель, чтоб носу не видно!

Она укутала его дедушкиной душистой шубой, ради такого случая принесённой из амбара. Четырёхногой каракатицей сползала в подпол за редькой, разрезала на половинки.

В одной выковыряла ямку, капнула в неё ложку мёда и, надвинув вторую половинку, посадила на блюдце в протопленную русскую печь.

— Завтре даст сок, будешь пить по три раза в день — вся хворь из тебя вон! — суетилась подле, подносила в стеклянном стакане ярко-красный брусничный морс да подтыкала шубу. — И в какую пору успел остыть? Я, главно дело, уходила, дак ничем ничего, а пришла — ка-хы! ка-хы! Как старичонка

курящий! То и Катеринку, внучку Настасьи Филипповны, прохватило. Цырлы на таких вот кублочках оденет, одежонку какую-нито набросит — и ну-у прыгат, ну-у скочет по снегу, как сохатый! Ты-то ладно, от горшка два вершка. Но та-то — большенькая уже, школу нынче кончает, должна понимать! Да хотя чё с них взять? Мать твою привести в пример...

Он слушал да мотал на ус, но ни одному слову не чинил нынче запрета, даже если бабушка костерила маму. И не то чтобы боялся схлопотать за капли марта, день напролёт дробившиеся с крыши. Как было объяснить, что забор слишком велик и мальчик, чтобы прийти к маме синим небом, встал под капельницу и попил?! Ведь он всего лишь хотел помочь, если маме дороже розовый человечек, а мальчик ей теперь — как собаке пятая нога (так в запале обронила бабушка, а мальчик подобрал). К тому же горло у него разгорелось и зудит, как будто продрали колючим ёршиком, каким бабушка скребёт сковородки. Теперь не то что говорить, а тем более спорить со старухой, — сплюнуть лишний раз, и то больно...

— И штаны, почти что новые, два раза стиранные, разорвал — как по шиповник сходил! — разорялась на другой день Клавдия Еремеевна, на широкой доске, обшитой простынёй, утюжа бельё. — Всё-то он может: и баушке прекословить, и простуды цопать, и штаны рвать! Праильно старики говрели: в поле ветер, в заднем месте — дым...

Одним хорошим боком неожиданно повернулась болезнь: бабушка сделалась уступчивей на его просьбы, как молодая, летала с котомкой в магазин, всяко пичкала и баловала. Не успевала она вонзить мальчику под мышку холодный, словно рыбка, градусник, как уже прытью в кухню — то пошурудить в печи, то сдёрнуть с огня плюющуюся салом сковородку с жареными картохами, а то отчерпнуть заварки в запарник, ворчливо стукающий крышкой. Да ещё умудрялась вступить с запарником в перепалку: “Ну, понёс свою политику! Одного его слышно: квух-квух своёй крышкой! Только я полешко подкинула, а он уж закашлял-заплевал, как Мотька чахотошный...”

Вымыв и построив в шкафу вечернюю посуду — от мала до велика, от блюдца до суповой тарелки, Клавдия Еремеевна сидела, сдвинув опрокинутые вёдра, на углу лавки в одну доску. В долгожданном покое пила синичьими глотками последнюю в этот день кружку горячего чая. Порожнюю ополаскивала над тазиком и тоже подбирала ей место в ряду. Озиралась: всё ли ладно? Нет, не всё! Обвязывала тряпочкой крышку электрического самовара. «Чтобы тараканы не залезли по дырочкам», — догадывался мальчик, который не спал и всё-всё видел.

Наконец, расправившись с хозяйством, она подсаживалась к нему. И тогда начиналось! Тут тебе и про бабку Домну, «кругом себя вертавшуюся, в телка, в собаку ли превращавшуюся»; и про возвращавшегося с царской службы солдата, что летал за ведьмой в печную трубу; и про «баушку Петровну», которая иссушила Лену-матушку — «одне брустьвера, как кости баушки Петровны, лежат»; а то про чёрта, виденного «дехчонкой» на речке Королихе — «сам волосатый весь, как дяшка Андриян, а в зубах — цигарка...».

— А Маруська — где? — на шорох подсевшей бабушки, на скрип панцирной сетки откликался мальчик, не поворачивая головы.

...Клавдия Еремеевна молчит, смотрит на месяц за окном. Но у неё своя тяжесть на сердце: «Месяц сентяберь, по всему, сырым будет. Надо картошку пораньше выкопать, а то потом колупаться в грязе, сушить под перенбаркой...». Эти неотступные от всего бабушкиного существования думы не мешают ей заботливо паковать мальчика, подбивая со всех сторон одеяло.

— Маруська-то? А в подполе, воюет с мышами да крысами.

— И с крысами — тоже? — дивится мальчик.

— Но-о!

— Дак они её поборят...

— Это Маруську-то?! Ну, парень, сказал, как в лужу бизнул! Насмешил баушку — и только... — И старуха притворно смеётся, обнажая под бледными синеватыми губами жёлтые, как застывшая смолка, но ещё крепкие зубы. — Да она сама накрутит имя хвоста! Сграбастат одную за шкварник да ка-а-ак шваркнет о сусеки — все другие-то и разбегутся, кто куды...

Мальчик тоже смеётся: рад, что Маруська верховодит.

— А Лётчик сильнее?

— Ну, сильнее не сильнее, но спуску не даст. А случись заварушка покрупнее — скажем, полезет Лёччик к Маруськиным котяткам, — дак, пожалуй, ишо наведёт ему причесона.

— А ворона? Что ей Маруська сделает?!

Тут Клавдия Еремеевна задумывается, горкой сложив руки на коленях.

— С етой, пожалуй, не сладит. Злющая птица — кто с ней свяжется? Ведьма в перьях. Мы дехчонками шарахались от них, как от оглашенных. Орут-то! Как на похоронах. От неё и Лёччик, поди, спрячется от греха...

— Ворону я не боюсь! — воинственно сжав кулачки, говорит мальчик. — Если она меня клюнет, я возьму дедушкин посошок и ка-а-ак трахну её по башке!

— А она ещё раньше каркнет на тебя — ты и стрелишь в штаны, как с горохового супу! — подзуживает бабушка, и от глаз ветвятся морщинки, как лучики от закатного солнышка.

Ну, зачем бабушка насмешничает над ним? Для чего роняет горькие, как полынь за огородом, слова?

— Не-ка, не стрелю! — возмущается мальчик, и у него даже спирает дух от обиды. — Я тот раз дрался с ними! Они прилетели клювать свиные хвосты на заборе, а я их прогнал... Ты, бабка, не видала, а трёкаешь своим поганым языком!

— Дак я чем знала, парень?! Я бы знала, дак не говрела, а ты же молчишь — и я ничем ничего...

На ночь Клавдия Еремеевна напихивала прожорливую буржуйку трескучими сырыми поленьями, аж алел разрезанной свёклой железный бочок. В животе мальчика, как в печи, было сытно и тепло — тарелку драников со сметаной умял за ужином! И было темным-темно. Лишь в кухне горела жёлтая луковка, освещая мальчику путь до ночного ведра...

И в этом-то луковом свету, под разговор поленьев в печи и бабушкино посапывание, к мальчику стала приходить мама. Она становилась посреди комнаты, там, где отпечаталась на половице зелёная звезда, — простоволосая и босая, с охапкой огненно-красных цветов, опоясанных золотистой ленточкой, — и в её небесно-голубом платье серебрились, словно волшебные, большие и малые булавки. И он, как на свет, тянулся к маме, не боясь обжечься о цветы, вздымался на постели, а ожившая дедушкина шуба хохотала и душила его в объятьях пустых рукавов. «Мама, приди!» — просил и плакал, и задыхался, и пинался, отгоняя от себя смерть. Но мама, чей тонкий лик пламенел в цветах, стояла, не шелохнувшись, как травинка в тихую летнюю ночь.

— Спи, Тёмка, спи! Спи, голубь... — ворожила над ним бабушка, сев рядышком и приняв к себе на колени его растрепавшуюся головку; прикладывала целлофановый кулёк со снегом...

На четвёртый день болезнь пошла на излёт, выморенная редькой и малиной, а вместе с ней исчезло и видение. В носу обсохло, всякую гадость из горла вымел отвар чистотела. Только пятки “ради профлактики” жёг горчичный порошок, насыпанный в шерстяные носки, которые бабушка на ночь смачивала в тёплой воде, а мальчик сдирал под одеялом и блаженно шевелил пальцами, чесавшимися из-за налипшей шерсти. Не видя мамы, он теперь всё чаще думал об отце. О нём помнилось: чёрные задиристые усы, аккуратно сведённые в округлую скобку на подбородке, фанерные петухи, которых вырезал лобзиком, обтачивал шкуркой и красил, да любимая песенка: «Уеду в деревню, заведу непременно корову...». Он и уехал, но не в деревню, а к себе на Украину, где в одиночестве несобранных вишен доживала своё горькое житьё старушка-мать.

...Как слюдяные, однажды заблестели глаза. Мальчик тайком от бабушки отвернул шубу и поднялся напиться. Глотал отмякшим горлом живые комки. «Ну и пусть уехал, скатертью дорога!» — кап-кап с ковшика на жестяную крышку бочки. А вот сухой выстрел — в печке лопнул еловый сучок.

Сидя под лампочкой в прихожей, бабушка с очками на носу читала какие-то бумажки и что-то помечала карандашом. «Надо завтре тащиться на почту, уплатить за анергию. И откуда столь киловатт набежало?!» — вела сама с собой беседу.

— Баб, а почему папка от нас ушёл? — голос у мальчика окреп, и он сам испугался этой доселе неизвестной ему крепости.

Раньше он думал: на его вопросы не отвечают потому, что он ещё мал. Но вот недавно померился — на два пальца подрос, судя по прошлогоднему отчерку на дверном косяке! А бабушка супит брови, сцарапывает зубами наветренные шкурки на губах.

— Чё молчишь-то?!

— А я почём знаю, чё ему, долговязому, надо было! — буркнула, аккуратно складывая бумажки в специальную папочку. — Галя в собесе работала, на шее не сидела, не лаялась хуже собаки... Кто его, Тёмка, знает, по чё твой папка укатил в город этот... Как он называется? Не наш-то теперь?

— Дне-про-пе-тровск! — подсказал по складам, хотя раньше думал, что нипочём не выговорит. Но, видно, горе было настолько велико, что сдалось страшное слово, за которым, точно за забором, он прятался, едва спрашивали об отце.

— Вот он самый и есть. Должно, спутался с какой-нить... прости, Господи! — и укатился — только шубёнка заворачивалась.

Вешая ковш, мальчик не сразу нащупал гвоздок на стене. И снова — кап-кап на крышку! И не поймёшь — откуда...

— А мать... Она не виноватая. Ты вот тот раз убежал из родилки — мать все глаза проплакала. А разве ей можно, в её-то положении?

— А чё она смеётся, как дура?

— Это о матери-то?! — старуха даже подпрыгнула, как будто подвели ток. Нависла, замахнулась, чтобы клюнуть. — Ка-а-ак шалбану!

— Я же сказал — «как», я же не сказал — «дура»! — вовремя сообразив, что отступать — себе дороже, из-под руки закричал и мальчик, давая поправку бабушкиным словам.

— Ты бы ишо! — властно, но уже примирительно хмыкнула Клавдия Еремеевна и вся сдулась, опала, как проткнутое тесто. — Ты должен сочувствие иметь. Она тебя породила, исть-пить даёт, книжки покупает. А откуда у ней в кошельке лишняя копейчонка?

Конечно, бабушка права. Мама лезет из кожи вон, горбатится на него, а он... только кровь пить!

— Ладно, баба, — и вот тут-то голос дрогнул и сломался, а трещинка наполнилась слезой. — Я... не буду обзываться!

— Вот и ладно! Вот и добро!

4.

Весна показала норов: в середине марта припекло, будто из сотен банных совков высыпали жаркие угли. Задымились поленницы и тротуары, а в ограду юркнули от дороги первые ручейки. Сговорившись у ворот, окружили домик Лётчика и, сколько мальчик ни сверлил палкой под заплотом, не утекали из вольготной низины в соседний двор. Лётчик забрался на будку и, засыпая на солнце, лениво поглядывал за тем, как его фатеру обступает вода, а в ней отражаются звенья до блеска нашлифованной цепи.

Солнце, казалось, не сходило с вышки. На что мальчик просыпался наперёд света, даже раньше бабушкиных чепарушек, а всё равно солнце было уже во-он где, над крышей дальнего сеновала. А укладывался спать — оно только-только покидало свой пост, передавая его недолгой луне, чтобы рано утром снова заступить на службу. Случалось, они встречались в небе, прочерченном зыбями облаков, — исчезающая бледная луна на западе и заревое солнце над заречной тайгой, — будто две собаки на пограничье улиц. Шмыгнув из кровати к окну и прошкрябав ногтем наледь на стекле, мальчик гадал: если солнце, нагуляв жиру, забьёт слабенькую луну, — станет ли оно вместо неё светить по ночам?

Он даже спросил об этом у бабушки, спозаранку ворочавшей кочергой в печи. Но Клавдия Еремеевна, как теперь часто за ней велось, уже с утра была не в духе.

— Выдумал тоже! Вот печь прогорела — это да, уголёк не могу найти, чтоб распалил бересту... Наверное, то и в мире будет, если луна затухнет. Кто же будет по ночам держать в небе жар?! Солнце большое, дак оно одно в запасе. Пыхнет и сгорит, как спичка. Или, вон, как лампочка — заколебалась покупать!..

Но, слушая просьбы мальчика, солнце не забарывало луну. Каждый в срок вершил свою работу: луна по ночам держала в небе жар, а солнце утром воспалялось от уголька. Снег при согласной работе двух светил чавкал под сапогами, разбрасывался грязными комочками под колёсами автомобилей, выкипал вязкой кашей, которую мальчик, балуясь, хлебал совковой лопатой и даже наполнил ею бабушкины галоши, с осени забытые под сараем. Кое-где высунулась старая снулая трава. Воробьи и синицы, сидя в траве, чистили перья и клювы да мудрёно переговаривались, налаживая боевую связь. Контролировали, не крадётся ли из-за угла этот худущий городской мальчишка, не подцепляет ли, бандюган, на своей страшной орудье резину, которая уже не стынет и, сглотнув кожаным зобком дорожный камешек, аж за избу старухи Аксёнихи тянется, суля всему сущему погибель и урон...

Дни держались тихие, безветренные. Редко за огородом прошелестит всклоченной верхушкой серый стог, дымясь на солнце сенной лысиной, потной от стаявшего снега, который сошёл не весь и ещё висит по бокам. Но ветки берёзы под окном качались день-деньской и роняли серёжки не от ветра, а от того, что капли бойко пуляли в них с крыши, одевая на ночь в серебряные, до ошкуренной земли, рукава. Крыша почти очистилась, только над кухней, с необветренной стороны, остались надутые за долгую зиму, хмуро сведённые у трубы снежные извивы.

Капать начинало часам к десяти, а замолкало в сумерках. В особенно пого-

жие дни, когда тепла к вечеру накапливалось с гаком и долго ещё в солнце не гасла красная пружинка, проблескивало и ближе к полночи. И мальчик считал дни от капельки до капельки, от первого до последнего выплеска иглы. Ох и много бы этих капелек набралось, если бы под каждую — пузырёк! Но тара была только рядом с крыльцом, под обомшелым жёлобом из осиновой колоды. К обеду из него шумело и кипело, как из раскупоренной бутылки шампанского. От быстрой капели в жёлобе надувались пузыри и с клёкотом, как в воробьиной драке, катились к обрыву, каждый стараясь наперёд других поспеть в бочку, наполненную с лихвой. Прозрачной ледяной водой заняли с бабушкой все тары в бане, а чтобы посудины не раздавило, если ночью вдарит мороз, окунули в воду поленья и сверху прижали подручным грузом.

С пробуждением берёз и тополей, с перезвонами весёлых капель и журчанием ручейков заурчало, оживлённо застучало и за забором, в переулке. Это небритые хмурые мужики пилили и кололи дрова, и когда пилили — пахло бензином, а взялись колоть — раскрытым деревом. По временам они глушили обшарпанные тарахтелки, зацепив зубастые стартёры резиновыми ручками за бензобаки. Садились на поставленные чурки, подложив под себя верхонки. Закуривали, передавая по кругу полыхавшую спичку, и если та гасла на полпути, то новую не расходовали, а, склонясь головами и часто причмокивая, подкуривались от единственной зажжённой папиросы. Кашляли из больших корявых ртов белыми душистыми облаками.

Иногда мальчик залезал на забор и, по бабушкиному наущенью, следил за тем, чтобы мужики «не жучили водяру». Они со смехом предлагали ему то пилу, то колун, то — тройной одеколон. Но пилу мальчик не мог завести, не умея провернуть стартёр, а тяжёлый, сваренный из двух топоров колун не вознёс бы над головой, имей он хоть ещё одну пару рук. И мужики огорчались: «А мы-то с тобой — как с ровней!». Его работа начиналась, когда мужики, чинно разделав хлысты и расколов чурки, возводили длинные двурядные поленницы вдоль забора, от угла до угла. Они делались вдруг неторопливыми, отряхивались у крыльца и, сгрудив стежонки, шапки и валенки у порога, в одних носках шли в избу “покалякать со старухой об одном деле”. Вот тут-то и годился мальчик! Он брал метлу и с удовольствием мёл, набирал в лопату корины, щепки и жёлтые опилки и засыпал ямки на дороге, пробуравленные весной.

Навоевавшись за день, к вечеру едва волочил ноги, вяло жевал за столом, а сев на разобранную бабушкой кровать, засыпал с чулком в руке, сдёрнутым с одной ноги. Сны ему никакие не показывали; крепким и сладким был его трудовой сон, так что маму он видел только днём, в своём воображении. Подумать только: уже вечность прошла с той поры, как они с бабушкой навестили маму в больнице! Теперь он даже не знал, как там розовый человечек, подрос ли он и сучит ли ножонками, думая куда-то удрать. А мама — любит ли она мальчика, как прежде, или даже не думает о нём, потратив свою нежность и карамельки на того, другого?..

Но и мама не знала, что он из-за неё напился едких капель и бабушка, хватаясь за сердце, лазила в подпол за спасительной редькой, вызволяя его чуть не с того света. А Лётчик, варначина, порвал на мальчике штаны. И что вообще весна у них в деревне и скоро, если будет по-прежнему ясно и солнечно, синим пузырём вздуется Лена, лопнет и хлынет на луга, в поля и огороды, зальёт старухин подвал и бывшую силосную яму возле электроподстанции, и мальчик будет плавать на плотах с местными ребятишками, — конечно, если прежде бабушка за какой-нибудь грех не спустит с него шкуру

или Лётчик совсем не загрызёт! Так что коли мама столь сильно, что спасу нет, хочет приехать и привезти ему земляничного мороженого в вафельных стаканчиках, какого не найти в здешних магазинах, ей стоит поторопиться. Не то половодье захлестнёт мост через Казариху, не то мальчик оборвётся со склизкого плота в яму, не то много чего ещё может стрястись без неё...

Особенно ярко вырисовывалась мама в его памяти, если бабушка куда-нибудь отлучалась — спускалась ли она с фонариком в тёмный подвал перепроверять соленья, ковыляла ли к соседке по молоко или ковыряла в огороде чёрную землю под рассаду. И на час-другой, но мальчик оставался один — в избе, в осиротевшей ограде, в пустынном и безжалостном к нему огромном мире. Бывало, что и плакал, а зеркало однообразно отражало его подрагивающие плечи, спинку стула, окно и настенные часы, отмерявшие дни его невесёлой жизни. От их тиканья было ещё горше, ведь рождались и умирали минута за минутой, а мамы всё не было. Она жила где-то там — за горой, за рекой. Да не ему навстречу раскрывались её руки, не над его нечёсаной маковкой тихим месяцем склонялись её губы.

Работы на подворье прибавлялось. Клавдия Еремеевна с ног сбилась, со смертью дедушки тянула и мужицкую лямку, где вжикая ножовкой, где тюкая топором, а где подпирая колом. В её отсутствие мальчик выучился разговаривать с книжкой, с часами, с кастрюлями, с горшком на окне... Однажды он невзначай выдумал, что и мама — с ним, с утра до ночи, с ночи до утра следит за своим брошенным сынишкой. Уж эта-то мама жила-была только для него, и украсть её не могла ни одна душа, живая или мёртвая, даже бабушка, на ночь затворявшая ставни посохом! Выглянет ли мальчик спросонья в окно — мама лучится в щёлку рассветным солнышком. Выбежит ли на двор — мама в палисаднике белой берёзой, машет серебряным рукавом. Засмотрится ли, ложась спать, в вечернее небо — мама мигает звездой, которая больше и ярче других, ближе к земле, к их с бабушкой избе, к окну, из которого днём ли, вечером ли, гремела ли старуха кастрюлями в кухне или уже спала в спаленке, явственно слышалось: «Горюшко ты моё луковое! Чего выдумал, будто я поменяю тебя на кого-то другого! Да за сто тысяч лучших не отдам!».

5.

Но пролетали дни, набухало весенней акварелью небо и пахли бензином масленые подтёки на дороге, где мужики дёргали свои бензопилы. Шумно хлюпали ручейки, а сумрачные старики в облезлых шапках и валенках с галошами грузили в жестяные корыта и вывозили из дворов снег, мягкий, как сливочное масло. На середине реки пролизалась и стремительно ширилась изумрудная полоса, а под ней ворочалась яркая тёмная вода. Улицы залились велосипедным перезвоном, и на зальной тумбочке всё чаще дребезжала трубка телефона. Это звонила мама, уже из дома. Бабушка беседовала с ней чинно-мирно и почти не обзывалась, однако мальчику не было до этого дела. Неохотно рассказав о своём житье-бытье и до зевоты насытясь бормотанием розового человечка, которого мама нарочно тормошила и щекотала на том конце провода, он скорее прощался и первым нажимал сброс.

— Чё ж ты, парень, с матерью ладом не поговрел? — гадая, как ей так подступиться к нему, чтоб и на путь наставить, и душу не замкнуть, осторожно подкрадывалась бабушка. — Поди, вся в слезах...

Сдружившись с деревенскими ребятами, мальчик вскоре славно освоился и без мамы. Он лепил снеговиков, через час-другой ронявших оранжевые морковины носов, разжигал на проталинах костры, трескуче рвавшие ле-

тошнюю траву, плавил в консервных банках свинец, мастерил деревянные кораблики и жевал чёрный вар... К вечеру не то что писк-визг в трубке — самого себя забывал, так что иной раз и бабушке было не докричаться. В сумерках, замотавшись шерстяными платками — один на голове, другой на пояснице, — она объявлялась на улице с неизменным посошком в руке. Нашарив мальчика глазами, выудив его за руку из прочего разного народа, драпавшего от старухиной палки кто куда горазд, влекла за собой, как на буксире.

— Ну, ба-а-ба! — канючил мальчик, плетясь за Клавдией Еремеевной — усталый, голодный, с шапкой на затылке, с вымазанным сажей лицом.

Старуха, сухо покашливая, виляя в смертельную дугу согнутым телом, была непреклонна:

— Никаких «нубабов» не будет больше! Завёл манеру: встал, поел, ноги в руки — и бежать! Вертись баушка, как на угольях, с больным-то сердцем. Переживай: жив он или, моэть, под лёд ушёл...

И мальчик снова сидел взаперти, под надзором старухи, не спускавшей с него глаз, а если бабушка засыпала, за ним следили её раскрытые очки, положенные на тумбочку: дужками — к стене, стёклышками — к двери.

Впрочем, таких заточений, как три недели назад, когда он чесанул из родилки, не было. Иногда ему разрешалось погулять не только по дому, но и по двору. Правда, за ворота не сунься, а не то агромадные собаки измячкают, и Лётчик не сорвётся с цепи, не придёт на выручку, хотя мальчик и подкармливал его корочками и косточками. Но в то же время и забор стал как будто ниже — или это мальчик подрос ещё на палец? — а Клавдия Еремеевна частенько чаевала у Зинаиды Петровны, к которой уходила то наскрести известь на побелку, то — отлить мурашиного спирта на какие-то свои процедуры. И не было ничего плохого в том, что мальчик приставлял к воротам доску, взлезал и, разоружив с помощью проволочного крючка хитроумную задвижку, конечно же, не к ребятам на угор, а к старухе на выручку мчал, дабы оградить от собак, и если всё-таки оказывался на угоре, то чисто случайно.

Не скоро прощала Клавдия Еремеевна, не одно «бабуля», «любимая» и «хорошая моя» надо было истранжирить на впечатлительную старуху. А за воротами жизнь кипела куда бойчее, чем день назад, и уже карусели лебедями парили над угором, увлекая воображение чёрт-те куда, а душу — в пятки! За этими событиями, проносился ли он на карусели или пробовал обуздать егозливый велосипедишко, приезд мамы, сама мама, их прошлая совместная жизнь в городе и дядя Фёдор с коробкой конфет — всё понемногу откатывалось за высоченную гору, так что не сегодня-завтра могло и вовсе пропасть из виду. Между ними, вчерашними, между ним самим, который был когда-то, и им теперешним пролегла незримая канавка, как та трещина во льду, отделив одну жизнь от другой. Вскоре даже мечтать о маме, о будущем свидании с ней, о хорошей жизни втроём (раз уж дядя Фёдор исчез, а розовый человечек появился) стало невыносимо. И лишь иногда он вспоминал себя в вихре буден и ребяческих забот. И тогда печаль от разлуки с мамой нападала с новой силой, и мальчик всерьёз — насколько это было возможно в его возрасте — задумывался: «Всё-таки он забавный, этот Розовый! Ножонками кривыми шевелит... Бежать ему, видишь, надо... Нет, если мама хочет, тогда, пожалуй...».

Но думы эти были редкими и всё равно что чужими, как будто мальчик думал их не своей, а посторонней головой. И это изжилось — с помощью бабушки. Её исправные добрые слова, словно капли с крыши, проели, наконец, и его загрубевшее, обросшее коркой сердце, и в нём задышала проталинка.

— Бабушка, а мама сюда его привезёт? — как-то за ужином, без всякого зачина к этому разговору огорошил он старуху.

Клавдия Еремеевна, отложив ложку, боялась поверить. На всякий случай уточнила:

— Ты про кого?

— Да про этого... В родилке-то.

— Фонбарона? На лето, моэть, и сюды... А почему спрашиваешь?

— Та-ак...

— Это, Тёмка, братик твой. Ты теперь за старшего будешь. Так уж ты приветь, не вороти морду...

Да что же это?! Старуха, наверное, издевается над ним! Ведь не он, мальчик, а этот «братик» пришёл в его жизнь и всё-всё у него отнял! Отныне розовый человечек всегда впереди: в получении апельсинок и мороженого, в поедании бабушкиных шанег и — можно не сомневаться! — в клянченье маминого внимания и любви... Как же «не вороти морду»?!

...В один из дней бабушка с утра навострилась в магазин — кончилось банное мыло. Большей прорухи в жизни Клавдии Еремеевны и быть не могло. Чего-чего, а порошки стиральные в картонных коробках и тяжёлые бруски серого проштампованного мыла не выводились в амбаре.

— Это потому, что на тебе ни одне штаны в чистоте не держатся! То смолу с чурки соберёт, то сажей вымажется, а то в мазуте извозёкается! А баушка, мало что только отстиралась, опеть грей воду, готовь шайки! Вот он и вышел — расход, — рассудила Клавдия Еремеевна, совсем запамятовав: амбарное, «сэсээровское» мыло — ещё из дедушкиного запаса, и ничего не было удивительного в том, что он иссяк. — Поешь, чай попьёшь и можешь погулять по ограде. За ворота не ходи — снова лешак потащит на лёд. Ручьи Сергей Фёдырычу в ограду не пускай, я уж осипла с его бабчей ругаться. С дверьми аккуратно, не зажми средних конечностей, а то снова твоя мама проведёт мне головомойку...

— А мама должна приехать?

— Прива-а-алит, не беспокойся! Сра-азу забудешь баушку, всю её ласку-заботу. Форкнешь в город — только твой хвост и видать!

— У меня нет хвоста! — засмеялся мальчик, недоумевая, почему бабушка разговаривает с ним, как с маленьким.

Бабушка даже бровью не повела. Наоборот, внезапно омрачилась, погружённая в какую-то неизвестную мальчику тревогу.

— Да, гвоздей в розетку не суй, мало тебя тогда шандарахнуло — пол-избы облетел, пока стенку не встретил... Всё, я исчезла.

Только бабушка отчалила, а мальчик, слупив яичницу с салом, горбушкой подскрёб донце сковородки и стал думать, смыться ли на карусели или, например, залезть на избу и закрыть трубу фанерой, — как у ворот побибикала машина с жёлтой коробочкой на крыше. Во дворе дёрнулся Лётчик — и забрехал, понёс свою политику, но почти сразу угомонился и приветливо заскулил. Наверное, бабушка забыла деньги и вернулась на попутке...

Но под окошками, набросив капюшон, быстро прошла с тряпичным свёртком под грудью небольшого росточка женщина в пуховой куртке цвета молочной пенки. Над свёртком, который несла бережно, как воду в ведре, поднимался лёгкий парок — всё-таки было хоть и весеннее, но сибирское утро. Следом, стараясь поспеть наперёд и открыть дверь в сенцы, чикиляла бабушка с болтавшейся у ноги пустой сумкой. О, и без этого чуткого дыхания над свёртком, без пушистой варежки у бабушкиных заблестевших глаз обо

всё догадался мальчик! Лязгнув кулачком в стекло, уже не томимый никакими печалями, отнявшими у него столько счастливых дней его детства, он скакнул с придвинутой к окну табуретки и побежал, не помня потом, как миновал прихожку и сенцы, бабочкой воспарив над избяным, над сенным порогами, радостно распахнув двери и руки...

Через день они уезжали. Бабушка прислонилась к окну и тихо плакала, и слёзы вперемешку с капельками из пузырька текли в её дряблый посеченный рот.

Шли по солнечной улице, навстречу такси, хлюпая раскисшим снегом и слушая птичью трескотню. И деревенские друзья мальчика ехали следом на велосипедах, прощаясь с ним звонками, чинно обруливая лужи, и форсили своим умением перед его мамой, которая запрокинула капюшон и была красивой, вешней и ещё совсем молодой. Маленький Серёжка, начмокивая соску, спал на бабушкиных руках, как на двух перевёрнутых радугах, и ничего не видел и не слышал. И со всех стоявших в тени сараев, навесов, дровяников, куда только-только пришёл праздник, со всех крыш всё сорились, всё бежали, подпрыгивая на шляпках гвоздей, всё торопились прожечь снег целебные капли марта — последние у ранней весны, самые светлые, проморгавшиеся для счастья и любви в природе. Их теперь не замалчивали ни радость, ни горе, ни день, ни ночь.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»

Рассказ

1.

Жара...

В голубой полуденной одыми видится: сжатые упругими, ветром и дождём до костной белизны вымытыми пряслами, уронили зелёные языки перестоялых трав удавленники-луга. Земля выжжена и обезвожена так, что, мнится, кузнечик, прыгнув с травинки на поле, способен поднять облако пыли. Лена усохла, укатилась, стала болезненно мелкой, выставив к небу ожоги опечков и рёбра брустверов. На дворе первая неделя августа, а лиственница в лесу уже наливается осенним воском, вянут листы на берёзе и осине, ртутными столбиками горят ветки краснотала в скособоченных поймах высохших ключей и задыхающихся родников. В огородах поникла осыпавшимися розами цвета картофельная ботва, пожухла капуста, закручинились морковь и свёкла в бетонной корке земли, которую то и дело протыкают острой лучинкой деревенские бабы, чтоб овощ в конец не загинул. Всё жаждет дождя! Давно все грабли обращены зубьями к синему небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Повсюду пылают лесные пожары, и деревню затягивают удушливо сладкие запахи дыма, кипящей смольём хвои и пыхающего в огненной полыми берёзового листа. Раза по три на дню пролетает низко над землёй оранжевый вертолёт, осыпая Подымахино белыми бумажными агитками «Берегите лес!». Листовки тут же уходят по назначению: ребятня делает из них самолётики, старухи собирают для всякой хозяйственной нужды, а чёрные подымахинские старики, рассевшись по тенётам, мастрячат из них злые самокрутки. Когда же земному терпению приходит конец и усталый, с сведёнными в скобку на подбородке чёрными

усами директор, пыля на своём «бобике», объявляет об очередных неутешительных сводках из района, старухи, словно по тайному сговору, выволакиваются из своих изб. Торжественно, точно это сверху ниспослана им особая миссия, семенят к реке, отирая на ходу запылившиеся по амбарам иконки Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

— Я как полы в избе помою, у меня иной раз порожек отсыревает, — для проформы беседуют о пустяках старухи, возбуждённые предстоящим таинством. — Вода закатится под порог, и другой раз высохнет, а когда стоит болотом. Я на доску-то ступлю, и если брызнет с-под порога — быть дождю! Вот сколько раз так было, — божится рассказчица. — А нынче уж два раз брызгало — и ничего.

— А у меня если коска заболит на руке, вот в етим месте, — старуха показывает на изгиб кисти, — то дождь пойдёт. — И кивает, убеждая, седой головой.

Скинув под угором яркие, узлом завязанные на лбу тонкие платки, старенькие платья в зелёных пятнах от свежескошенной травы, лёгкие, уже почти исчезнувшие из употребления чирки, старухи лезут с иконами в воду.

— Баба сеяла горох и сказала деду: «Ох!» — пробормотав детскую считалочку, старухи разом уходят по горло в воду. Они смеются, охают, кряхтят, толкают друг дружку на глубину. Тут как тут и ребятня: стоят поодаль, удивленно свистят в мокрые ноздри, ни как не решатся подойти поближе к старым бабам, которые ещё полчаса назад гоняли их крапивою от малинника, а сейчас барахтаются в реке, бесстыдно выставив на обозрение всему свету жёлтые животы и квёлые, словно брусника в ноябре, старушечьи груди.

С угора глядят на старух любопытные старики — они, ребятишки да ещё старухи остались в августе в деревне, — срамят для потехи, отвлекают от священнодействия.

— Итак, зональные состязания в гребле и .бле считаются открытыми! — подначивает старик Иванов, далеко раньше времени записавшийся в ряды подымахинских старожил. — Первым номером — бабка Аня, неоднократная победительница поселковых соревнований по бегу за катанкой...

Иванов хохочет во всё ещё нестарое горло, по-гусиному вытягивая грязного загара шею и корча в гримасе такого же цвета лицо.

— Но, сморшился, как кобыльля срака! — хлюпая под мышками, мелко сеет контуженой головой бабка Варя.

— Загребай ловчей, Варька, шер-руди лопошайкой, шер-руди! — не унимается Иванов. — Во! Отгребись от берега подальше и заводись. Да шпонку не сорви... эх! Куда тебя кренит-то?!

— А ты пошто оробел нынче? — не выдержав ивановских укусов, в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, подымахинская ворожея, инициатор купания с иконами. — Пошёл да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Настасья, отчаянная матершинница и единственная среди старух курильщица, чёрная, как баргузин:

— Ты за чего печалишься, девка?! — Бабка Настасья на время застывает недвижно в воде, долго, тая лукавую улыбку, смотрит то на Иванова, то на Анну. — Он имана своего в руках не удёржит, не только што...

— Шмеля тебе под подол, старая, за твой говенный язык! — обиженно откликается Иванов, лезет в карман за куревом, откусывается от насмешек других стариков.

— Ныряй, Настасья, топориком, да Миколу не потопи: бог враз пензии лишит! — чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

— Сам не потони, а то сидишь, в штаны насьсял!

На то старик Шишкин степенно отвечает:

— Тебе-то што? Легла на грудя — и плыви хоть в Якутска...

Откупавшись, омыв иконы да сотворив с перебивами подзабытую молитву, собранную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи тащатся домой, устало, хлюпая мокрыми ногами в кожаной обувке. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками с зажатыми между жёстких пальцев цигарками.

А дождя всё нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

2.

Спину и плечи жжёт так, что слёзы выступают на глаза от боли. Я то надеваю рубашку, то снимаю её. В рубахе жарко, а без неё туго: оводы-плевки осаждают открытое тело, красными волдырями вспучиваются укушенные места, в чуть кровоточащие ранки попадают пыль и пот, волдыри огнём горят и предательски чешутся. А тут ещё мошка не даёт жизни. У меня все глаза красные — мошка то и дело забивается под воспалённые веки, и я тру глаза кончиком рубахи или наслюнявленным пальцем. Да только это всё бесполезно. Едва вытащишь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже сидят все три. До чего ж много мошки на Лене! Чуть поднимешь граблями сохнущее сено, как тут же кипучей тучею взвивается в воздух гнус, и глазам делается темно. Тогда хочется упасть лицом в мураву, зарыться с головой в рубаху и лежать, не шевелиться. Но лежать нельзя: после обеда будем метать сено. Его много навалили за последние два дня в три литовки дед, отец и мой старший брат. Сейчас косы лежат в кустах, их работа покамест окончена. С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, добили оставшиеся полянки, полные густой, высокой травы, спутавшейся и завалившейся на бок. Теперь осталось только высушить да скопнить скошенное и, в общем, с косьбой на Дресвяновом Лугу покончено. Но уже завтра-послезавтра мы уйдём ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждёт не дождётся осока и длинные будылья белого осота, который мы косим скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От неё тупеют косы, точно они сделаны из жести, а руки, ворочающие тяжёлую, всегда как будто мокрую осоку, вспухают жилами и «вытягиваются». От одной этой мысли у меня темнеет в голове.

«Хоть бы дождь пошёл!» — думаю я в отчаянье. Но на чистом, безветренном небе нет ни единой тучки. Небо прозрачно-голубое, и только полосками золотой фольги блестят в нём солнечные лучи. Вот высоко над лесом возникает ясный, точно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба; птица некоторое время скользит по небосклону, но попадает в солнечную клетку и, ослеплённая, застывает в воздухе...

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули ливневые дожди, вспучили Лену, по-весеннему захлестнувшую паберегу и поля. Разбушевавшимся потоком подмыло и унесло копны и зароды, что стояли под угором у реки. Несомое сено застревало на затопленных брустверах, цеплялось за бакены, разматывалось по прибрежному ольховнику, упругие ветки которого стальной щёткой торчали над глинистым срезом воды. Плевались в рваные тучи старики, когда, словно чёрные трупы неведомых огромных животных, проносило мимо Подымахино добротные копны сена, а угрюмое вороньё, рассевшееся по выковырянным рекой остроинам, замогильным карком тревожило синюю даль берегов. Нежданная мокреть, как наказание небесное,

многие семьи заставило взяться за нож и порезать оставшуюся без прокорма скотину. Многие дворы и по сей день не очухались от прошлогодней беды, тут и там стоят нынче некошеными зелёные луга. Наше сено стояло ближе к лесу, языки воды едва-едва приблизились к зародам, когда небо разъяснело и пенистая бурлина послушно утекла обратно в русло. Однако дождями, лившими почти две недели, прохлестало всё ж таки наши копны, как бы ладно они не были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать и сушить порченое сено, а потом замётывать его вновь. Всех чертей обругали, когда с тяжёлыми навильниками на плечах, оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали копны на угор в опаске повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что удалось спасти, не имело былой свежести и завлекательности. У меня до сих пор на памяти запах гнили и прелости, но я ничего не могу с собой поделать: гляжу и гляжу на небо и жду хоть какой-нибудь весточки о предстоящей непогоде.

Рядом орудует граблями мой дед. Ему уже под семьдесят. Колючая, с отчётливыми проблесками седины щетина покрыла чёрные от солнца и старости щёки. Голова не то чтобы лысая, а жидковолосая: как овцу, остригла его тётка огромными железными ножницами, какие в старину ковали в кузнецах на долгие века. «Тут иман, там иман!» — встретила стариковскую стрижку бабка. Вот дед останавливается, кладёт грабли на землю и достаёт из кармана кусок наволочки. По-старушечьи обмотав им голову, продолжает работу. Гребёт не спеша, степенно и с величайшим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет тени и солнце жарче, и всё строго в линию, вдоль Лены. Такие валки удобно потом собирать: зайдёшь с одного конца, уткнёшь вилы в сухую, лопающуюся от лёгкого нажима траву, и толкаешь в кучу, пока, как говорит дед, «из заду не подастся». Временами старик с отчаяньем трёт глаза и почему-то материт правительство. Мне это забавно, хотя и непонятно. И вот уже рот мой открыт в смехе, но тут же, как ленок, ловлю пригоршню не робеющей мошки, кашляю, плююсь и замолкаю. Я таки поглядываю на старика в надежде, что мошка заест его до полусмерти, и он объявит привал (командует на сенокосе дед), но старик, как железный, шерудит и шерудит граблями, чуть слышно бормочет что-то, и мои упования умирают.

— Дед, а дед?!

— Ну-у?!

— А почему Луг называется «Дресвяный»?

— Потому что деревня тут стояла раньше, — после продолжительного молчания негромко отвечает дед, запамятовав, что и вчера и позавчера я уже спрашивал его об этом. — Деревня-то и называлась Дресвяная... — Дальше этого понимания мысли старика не распространяются, и он замолкает.

— А деревня — почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так назвали, потому что Луг — Дресвяный?!

— Ладом валы переворачивай, — диктаторски говорит старик.

Вот уже несколько дней кряду я умышленно пытаю его подобными расспросами, как будто это он виноват, что жарко и на лугу много мошки. О том, что здесь когда-то стояла ни разу мною не виданная старинная деревня, памятуют камни, ни с того ни с сего, как из-под земли рождаясь, возникающие в траве, хотя мы, кажется, тщательно вычистили косьбище. Помнит и берестяная кружка на ольховой ветке у ручья, тоже Дресвяного, и чёрное столетнее брёвно, обглоданным позвонком древнего загадочного животного торчащее из зарослей крапивы и конопляника возле Сенькиной Ямы.

— А почему Яма называется «Сенькина»?

— Потому что Сенька возле этой Ямы сено всю жизнь косил, — не переставая работать говорит старик, и сказанное им так же мне хорошо известно. Только для меня уже не важно, что какой-то Сенька косил там зелёные хлопья пырея. Сенькина Яма для меня — это яма возле бревна, достопамятного только потому, что два года назад я убил на нём спящую гадюку. Но именно поэтому и через двадцать, и через тридцать и даже спустя сорок и больше лет я буду помнить и всеми позабытого трудягу-косаря, и полусказочную деревню, и своего дедушку, который поведал мне о ней наперёд всего и всех. История окружающего мира начинается для меня с гадюки.

Подальше, у кустов, гребёт отец. Он раздет до пояса; спина, мокрая от пота, блестит на солнце, точно натёртая свиным салом. Ремешок, подпоясав штаны, засох и скоробился от пота, брюки в белых пятнах — то сохнет на солнце человеческая соль. Вчера я насчитал на спине у отца семь плевков. И хотя до него далеко, я не вижу, но думаю, что и сейчас не меньше. Только он, кажется, и не замечает их, гребёт и гребёт, лишь по временам прекращая свою работу, чтобы протереть залитые влагой очки. У отца получаются самые большие валки. Он ценит всё прочное и державное. Он видит в этом залог счастья и благополучия. Дед же видит в этом халтуру и, брызжа слюной, объясняет нерадивому, что толстые валки не просохнут. На мгновение закипает перепалка, но тут же заканчивается: жарко. У отца в руках грабли — только медведю работать с такими. Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворённые под высохшую стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

— С дуру знашь чё можно сломать? — вручая эти граблищи, спросил дед глубокомысленно.

Хрясь! Сухой треск! Отец зацепил грабли за ветку смородинника и сломал деревянный зуб. Дед громко матерится и одну за другой высмаркивает ноздри.

— Ми-и-ша-а! — зовёт моего старшего брата. — Наладь этой чуме грабли, у меня уж сил нет глядеть на всё это!

Вот и появилась минутка для отдыха. Можно посидеть, посмотреть, как Мишка выстрагивает ножом из сухой щепки зуб и забивает его на место сломанного.

— Потянет! — Мишка подаёт отцу «вылеченные» грабли. — Ты это, папаня... это ж тебе не борона!

Мишка старше меня на десять лет. Он только минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил сено, наскучал этим нехитрым крестьянским занятием и теперь работает в охотку. Глядя внимательно на него, впервые с удивлением замечаю, что мы с ним совсем непохожи: он светлорусый и кудрявый, а я почти чёрный и волосы у меня прямые. У Мишки кожа белая круглогодично, а я зимой смуглый, а уж летом, как негр. Он в бабку по отцу, я в бабку по матери. Но я во всём хочу походить на брата, поскольку считаю, что всё у него лучше: и коса, и грабли, и самодельный нож в кожаных ножнах на правом боку. И косит, и гребёт он лучше всех. И я тоже мечтаю научиться косить так, чтобы трава, как по заказу, падала в один аккуратный ряд, и грести, ни одной сырой травинки не оставляя снизу вала. А нож на боку у меня и самого есть: чехол из голенища старого кирзача, а рукояткой исправно служит резиновая велосипедная «газулька».

Мишка самостоятельный человек, что хочет, то и делает и даже дед ему не преграда. Захотел высморкаться — пожалуйста, бросил грабли и трещит по переменке из каждой ноздри.

— После картошек пойдём с тобой на Талую...

Забыв и о жаре, и о гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. Какое лето мы собираемся пойти рыбачить в верховье речки Королихи, которая не замерзает даже зимой и зовётся стариками «Талая», да только дело всякий раз заканчивается разговором. Одно время я был слишком мал, чтобы осилить с лишком тридцать километров таёжного бурелома, но вот я подрос (глядите, как я подрос!), а Мишку как раз и забрали в армию на полтора года. В последнее время нам мешает ни одно, так другое. Иногда я вижу во сне: чёрный ломовой хариус сыграл на самолично мною вязанную из оранжевой шерстяной нитки крохотную, с чёрными усами из ондатрового волоса, мушку, которую у нас рыбаки называют «морковкой».

— Хариус с ленком в конце сентября скатывается в Лену, — говорит дивное Мишка и берётся за грабли. — Покараулим на ямах с удочками...

— А из ружья дашь стрельнуть?!

Я замираю от собственной наглости, затаив дыхание до того, что, кажется, даже мошка отступается от меня в удивлении. Осторожно, страшась своего ожидания, выманиваю взглядом у брата, чтобы поперёд слов он ответил мне глазами. Облегчённо выдыхаю спёрший грудь волнительный ком, когда Мишка утвердительно кивает головой. Даст стрельнуть из настоящего ружья! Я стискиваю челюсти, чтобы не зареветь на весь Луг в первобытном восторге и, не дай бог, не попасть под гребёнку деда.

3.

...В жаркий летний день банным теплом дышат в лицо мёртвые чабрец и волосенец. Пахнет смородиновым дымом и утиными гнёздами. Будто рой мельчайшей мошки, витает в поражённом солнцем воздухе затхлая пыль вздымаемого граблями травного праха. Громко, на весь луг, поминутно чихает дед — как медведь ревёт.

Красные комочки кровопойки растут у дороги и кажутся примостившимися на тычинки большими комарами, раздутыми от выпитой крови. Для блезира замахиваюсь на них граблями, но комары не улетают.

Огненная циркулярка натужно вращается в небе, влекомая приводными ремнями лучей. Через минуту-другую, разрезав небо, она затянет и луг, и меня под свои раскалённые зубья. Цежу сквозь стиснутые — чтоб не проерышилась мошкара — зубы:

— У, паскудное! Чтоб тебя разорвало!

Солнце с удивлением смотрит на меня.

На ногах обмякли от жары резиновые сапоги с высоким голенищем, сенная труха набилась вовнутрь и колет ноги. Совсем никакая для сенокоса обувка — резина. На что уж тяжёлы и душны кирзовые сапоги , а и в тех намного способнее ногам. Но кирзовых у меня нет. Всё лето хожу в резиновых, которые с утра обороняют от росы, а к полдню съедают ноги жаром и потом. Плюнув на всё, сажусь на землю и попеременно вытряхиваю из сапог насыпавшуюся труху, с соболезнованием разглядывая красные, словно разваренные пальцы.

— Так в резинках и помру, — бросаю камешек в отцов огород, но послабления для себя, однако, не жду. — Другие ребятишки, посмотришь...

— Сдадим осенью картошку... — в который раз безучастно отмахивается отец.

Неуверенно ступаю по лугу босыми ногами, но тычинки срезанного будылья торчат из земли, как гвозди. Чуть не плачу: «Неженка!».

— Чего ты?! — остановив пляс граблей, кричит дед.

— Что?

— Чего встал-то?!

Выругав про себя старика, снова напяливаю сапоги, которые немного остыли в тени под кустом — или это мне только так кажется.

4.

От ручья идёт-прихрамывает по дороге дядька Николай — средний дедов сын. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь сметать сено. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро на землю, а сам садится в тенёк под кусты. Замираем с граблями в руках. Молчим. Ведро у дяди Коли крепко-накрепко обмотано куском старой простыни, который он всякий раз берёт с собой по ягоды. Однажды, возвращаясь домой с дальнего черничника, дядя Коля поленился привязать тесёмочкой крышку горбовика, а на спуске с хребта оступился, полетел вниз по тропе и рассыпал в заломах почти всю четырёхведёрную торбу. Теперь дядька осторожничает, и даже когда идёт по грибы, прихватывает тряпицу, чтоб обвязать ею ведёрко. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась кверху простынка, можно догадаться, что ведро полное. Выдержав торжественную паузу, дядя Коля, наконец, снимает с ведра тряпку, словно занавес открывает. Полным-полно ведро красной крупной смородины, а ведь и двух часов, наверное, не ходил! Дядя Коля умеет брать ягоду. Даже удивительно, как с такими огромными, как у него, руками можно так быстро работать. Сколько я не пробовал, не мог обогнать: у дядьки уже почти полведра, а у меня едва закрывает донце.

— Па-а-рит се-го-дня, — разморено протягивает дядя Коля, вытирая кепкой пот со лба.

— Сорок два в тени, — заявляет осведомлённый отец. — Что ты хочешь? Сводка пришла — сорок пять ожидается.

— Сколь? — переспрашивает дед.

— Сорок пять!

Дядя Коля сокрушённо качает головой.

— Чокнешься! — Я упал под раняще пахнущий куст черёмухи и оттуда равнодушно слежу за разговором.

— Да не в том дело, что чокнёшься, — сердито поучает дед. — Картохе наливаться надо, а земля — пыхун. Что мы исти зимой будем? Вот кака потеха!..

— Так вот в чём и дело, — вздыхает дядя Коля. — Хлеб на корню осыпается — Сергей Петрович говорил... — Внезапно он оживляется: — Городские накатили! Мужик с бабой и ребятишки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кустику... Помнишь, Миш, мы там брали ягоду с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! — Дядя Коля загодя смеётся. — Смотрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уж почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услыхала, тянет мать за рукав: ну, мол, пойдём назад... — Дядя Коля высморкался. — А эта нет, прёт! Я пуще трещу ветками и носом — швырк! — швыркаю громко. Они: медведь, медведь! Па-ле-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади неё! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля довольно смеётся, скалит белозубый рот.

— Уехали? — спрашивает дед.

— Кто?

— Городские-то. Про кого говрим?!

— Уехали.

— А машинёшка какая у них?

— «Нива». Красная...

Дед иронично сплёвывает себе под ноги.

— И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода?! — Дед никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. — Или брали бы тогда где-нибудь поближе, не уж-то нельзя? А то за сорок километров едут. А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

— Так вот в чём и дело, — соглашается неохотно дядя Николай, и громко зевает. Дед с недоверием смотрит на него.

— А как оне на этой стороне реки оказались-то?

— На вертолёте перелетели! — подначивает любопытного старика Мишка. — Привязали машину стропою...

— Да брось ты, Миша! — обижается дед. — Я же ладом спрашиваю...

— Ну, по мосту переехали! «Как?» — главно... — сердится дядя Коля. — В Усть-Куте мост есть через реку!

Грузно — как с мешком картошки на плече — поднимается, чтоб только отвязаться от старика.

— Пойду чаю пока сварю. Сено-то почти сухое, — пинает валок кирзухой. — Через час совсем дойдёт. Только у ручья сыро...

— А мы его на верхушки заметаем, — небрежно сплёвывает Мишка.

5.

...Грабли то и дело валятся из рук: занемевшие и ставшие как будто мёртвыми, пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко.

«В сущности, в чём дело? Кто я такой тут есть?! Взять и уйти...»

Сначала меня брали на сенокос убирать из травы нанесённое половодьем хламьё, потом — чтобы стерёг лодку, когда уходили косить далеко от реки, в тот же Култук или к ручью, затем вручили вилы — «Раскидывай валки, чтобы просохли!»; прошлым летом я дослужился до граблей... Нынче весной я воровски заглянул под высокую крышу амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают с поветей, как деревянные сосульки. Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я стал искать пути для его раскулачивания. И вот на вечер перед сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьём и неустанными просьбами бабки, извлёк из амбара маленькую литовку и под пристальным вниманием двух завороженных глаз насадил её на косовище.

— Где у тебя пуп?

— Там же, где и у тебя! — со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы жаль ему стало для меня косы.

— Я ладом спрашиваю! — сурово сказал старик, отводя в сторону глухариные брови. — Так же и отвечай мине... А ну-ка!

Давясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, аккуратный старик подогнал берёзовую рукоятку точно с моим пупком вровень и застопорил бечевой.

— Учись, Андрюха, пока дедушка жив. Отец-то у тебя... только с перфельчиком по деревне и бегать... — Дед незлобно выругался.

— А не надо писать?! — насупившись на необразованного старика, я решительно вступился за отца. Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит на кухне, опустив кудрявую, первым снегом припорошенную голову, и что-то царапает на листке бумаги, наутро через знакомого шофёра передавая написанное в городскую редакцию.

— Не знаю... Поможет это деревне, што ли?! Когда — всё... — Старик взглянул на меня, как на взрослого, и я волей-неволей съёжился под этим тяжёлым проливным взглядом, гулко заколотилось в рёбра испуганное сердце. Не дождавшись ответа, дед неуверенно замолк и опустился на корточки отбивать литовку...

— Ну, косарь, косарь, ети вашу мать! — смеялась бабка, когда на другой день со сверкающими, точно камешки слюды, глазами я пошёл на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, в пришёпоток наставляла напоследок старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее подзатыльников наваляют: — С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя — и пошёл, пошёл! Главно, не торопися. Литохка — она сама косить научит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего бруска мне не доверили («Лапы обрежешь!»), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне выделили несложные загончики: обкосить у кустов, потом вдоль дороги, — и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Только недолго длилось моё счастье. Пару раз засадил косу в землю, а дед уж на попятную:

— Добрую литовку угробишь! Никого в дедушку нет... — И отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как добрые люди делают, и оттого лезвие вязала прошлогодняя поздняя трава, затаившаяся в новой грудой свалявшейся проволоки?! Отец, вон, сколько кос переломал, пока косить выучился... Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к надоевшим граблям, время от времени получая разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу.

«Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет тогда?! Дед, наверное, так заорёт, что в деревне повесятся собаки...».

6.

В обед старик прислоняет грабли к берёзе: всё, шабаш. Швырком бросаю своих деревянных мучителей на землю и лечу к реке, на ходу скидывая с себя одёжку и проклятые сапоги.

Лёгкой, долгожданной прохладой объемлет вода моё тело, когда, как в голубой сугроб, ныряю с разбега в прохладную Лену. Ухожу в воду с головой, чтобы сразу сбить с себя течением пыль и пот. До чего ж хорошо! Чтобы понять мои чувства, нужно полдня простоять на лугу под раскалённым солнцем, обгореть до малиновой красноты, пропотеть, забить глаза, нос и уши сенной пылью, до крови расцарапать всё тело, которое жалят пауты, — иначе не поймёшь.

— Кто без штанов бежал в кусты? — кричу восторженным горлом соседнему берегу, и берег отвечает длинным «Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!..». Я хочу крикнуть «Кому не спится в ночь глухую?», но к реке так некстати приходит отец.

Первым делом отец полощет рубаху и носки, потом только лезет в воду. Стоя по пояс в реке, тщательно моет лицо, шею и живот, на котором в густой поросли волос застряла сенная труха. Смыв первую грязь, отец тяжело оседает и плывёт, размеренно, как лось.

За отцом ковыляет к реке дед. Старик становится на корточки, черпает ладошкой воду и, как котёнок лапой, моет голову и лицо.

— Хорошо, бляха! — блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплёвывает в реку. — Ты, Андрюшка, далеко не заплывай! Ишо захлебнёшься...

— Ну, закаркала ворона! — раздражённо отзывается отец, поворачивая к берегу.

— Я не каркаю, я знаю, што говрю! — осекает старик. — Воронка или мало ли чё? Мне девять лет было — засосала, родимая! Спасибо, ребята постарше на берегу были — вытащили. С тех пор...

Заплываю так далеко, что не слышу голоса старика. Только по отчаянной жестикуляции с берега догадываюсь, о чём кричат. Отвернувшись, плыву дальше, обмирая от страха и восторга перед голубой манящей пропастью под ногами. Выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на камнях, точно на угольях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у костра.

7.

После купания особо ощутимым становится голод. Кажется, что стрескаешь целого поросёнка — и не заметишь.

На угоре, под раскидистым кустом ольхи, сколочен из досок стол и лавка к нему. Второй лавкой служит здоровенный лиственничный болван, несколько лет назад приплывший с большой водой, да так и оставшийся тут, завязший навеки в упругих кустах корявой вершиной. Этот болван во всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков, за одно славливая всякое другое хламьё, которое мы потом употребляем на дрова. С одного конца в бревно вбита стальная бабка, на которой отбиваются косы, а другой весь в расщепе — здесь рубятся на растопку словленные доски. После сытного обеда на листвяке можно даже полежать — уж так он могуч и широк.

Прихожу к костру, когда все уже в сборе. Тучные, дед, отец и дядька сидят на бревне, мы же с Мишкой устраиваемся на лавочке. На столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, отваренные яйца; стоят баночка с творогом, кастрюля с тушёной картошкой — всё, что дают нам двор и огород. На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени, всё это приготовлено и собрано добрыми руками моей бабушки. По старой привычке, может быть, известной человеку с момента его появления на свете, сперва разглядываем яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть. Старшие едят быстро, особенно дядя Коля. Только и брызжет с уголков его рта зелёный сок сочного ботуна. Но уж в чём в чём, а в этом я преуспеваю не хуже дядьки и быстро, едва прожёвывая, орудую ложкой и руками — иначе ничего не достанется. Дед меня всячески поддерживает:

— Ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!

Как животы набиваются донельзя, на столе, как чумазый хан Батый, появляется закопчённое ведро чая. Мы разливаем чёрный напиток по кружкам, от кружек ударяет душистым запахом смородины: дядя Коля постарался, набросал листьев. Вслед хлебу-салу приходят пряники и конфеты. Отец довольно потирает вспухший сытостью живот:

— Как раз осталось немного места для сладостей! «Орехо-со-е-вы-е...»

После обеда с полчаса можно заниматься мог весть чем: отдых. Лучше бы, конечно, поспать, но вот удивительная вещь: ещё час назад я и думать об этом не смел, а сейчас сон и силком не заманишь. Дядя Коля сидит за столом, отец с босыми ногами — на земле, дед, треща ветками, исчезает по нужде в кустах. Все молчат, думая о чём-то своём, каждый, наверное, радуясь короткой передышке в этой жизни. Только Мишке не сидится, и он принимается загодя отбивать литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье молотка кажется чем-то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!

Солнце, как жёлтый бакен, мигает в небе, призывая всех подивиться его

яркости и безудержности. Но, сидящим под кустом, оно уже не страшно нам, и я смотрю на светило с лёгкой иронией. На таган села красная бабочка, за ней другая... и вот уже вся ольховая жердинка увешена разноцветными прищепками. Внезапно они срываются с насиженного места и разлетаются: это я, дурачась, кинул палку в прогоревший костёр и поднял на бабочек облако золы. Никто, кажется, не заметил этого, но я пожалел о содеянном и настроение моё испортилось.

Тюк! Тюк! Тюк!

Отбив литовку, Мишка ловко правит её бруском. Дядька, равнодушно наблюдавший за ним, словно просыпается.

— Это (забыл, в каком году? в семьдесят восьмом, кажись?) приехала из города бригада студентов помочь колхозу сено косить. По пабереги тоже; ну, кусты, вымоины — тракторами-то не скосишь... Я на «сто тридцатом» работал тогда, ага. Привёз одну партию — несколько парней — сюды вот, на Дресвяный. Тут тогда дяшка Никанор был за главного у них, ага. Но, отбил он им литовки, спрашивает: лопатить-то, мол, умеете? Все покачали головой, а один дурачок выскочил: чё там, мол, не уметь?!

Дядя Коля сплюнул в сторону.

— Но, дяшка Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать. Тот взял. Косу, правильно, косовищем в землю воткнул, да надо было аккуратно, а он — р-р-ра-аз! со всего маха! – и два пальца на руке срезал до самых костяшек! Заорал, правильно, кровища полилась... Ну, чума чумой!

Возбуждённый воспоминанием, дядька ещё раз сплёвывает и с осуждением качает головой. У меня же от его рассказа что-то как будто отрывается внутри, я в страхе смотрю на Мишкину литовку и тут же прячу руки в карманах брюк.

— Ягода-то ещё есть по ручью?— приковылял из кустов дед. — Не всею ещё вырвали?

— У, есть! Полно! Хоть каждый день бери.

— «Каждый день»! – вспыхивает дед.— И брали бы, дак сахар-то сколь рублёв стоит?! Варенье жрать не захочешь, не только што... И почему это за ценами никто не следит? — тоном прокурора вопрошает старик и строго смотрит на нас. Я трушу его грозного взгляда. — Это куда дело годится? Каждый вертит, как хочет, а об стариках никакой думы нет...

— Кто на сёднишний день смотреть за этим будет? — вступает в разговор отец. — Частное предпринимательство! Рынок! — заканчивает раздражённо, ударив ребром руки по железной кружке.

— Это раньше другое дело было — всё государственное! – зевая, поддерживает дядя Коля. — А щас!

Деда эти доводы не устраивают. Он наливает из ведра чаю, но отставляет кружку в сторону.

— А вы по какой тогда нужны? Зачем мы вас с баушкой кормили-ростили?! За-а-чем?! — срывается на дряблый крик. — Скажите мине?!

— Ну, политикан, ну, завёлся! — нервничает отец. — Не хочешь жить — ложись и помирай! Так на сёднишний день.

— Во-во! — машет дед костлявым кулаком. — Такие вот дуролобы и загонят Россию в гроб!

— Кто загонит?!

— Да хватит вам! — осаждает спорщиков Мишка. — Заорали! На той стороне слыхать...

— Ты, Миша, только послушай, что она говрит?! — Дед, чтоб уязвить сына,

сознательно отзывается о нём в женском роде. — Ложись, говрит, дедушка, и подыхай! А что я жизнь в поле проработал, в холоде, в пыли, катаракту нажил, геморрой заработал?! Это им наплевать!

Отец, не найдя, что ответить, хмыкает, а дядя Коля тихо дремлет, по сусличьи пузыря полные щёки. Деда это молчание только раззадоривает.

— Вы посмотрите, сколь мука стоить стала! Как раз половина моей пенсии куль! Да кажный торгаш по-своему цену гнёт, всё выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих из котомки воровать! Это куда дело годится?! А я этот хлеб своими руками ростил! Не уж-то мне теперь и слова сказать не можно в свою же защиту?!

— Ты лучше спроси, как мы сено нынче вывозить с этой стороны будем. Машину найми, бензином заправь, в совхоз за путёвку на паром уплати, да капитану литру поставь, плюс на стол собери... — Отец ещё и ещё загибает пальцы. И объявляет: — Золотое молоко получается!

— Скоро ничего не будет! — зло восклицает старик. – Большемудый доведёт страну до окончательного развала! Горбачёв начал, а этот прикончит. Помянете потом меня: скажете, правильно нам говрел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

— Ну, завёл панихиду!

— Я знаю, что говрю. Троха пол-СЭ-СЭ-ЭРА прошёл, Троху шиш обведёшь!

Сражённый стариковыми доводами, отец опускает голову, глядит под ноги:

— Да... Конец деревне приходит! Поставили крестьян на вымирание. Щас ещё введут земельный налог — и всё...

— Взорвать! Швырнуть бомбу в эту Думу, чтоб не изгалялись над народом!

— Какой смысл? Большевики уничтожили царизм — и что? На смену одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Ещё одну революцию устроить хочешь? Мы от первой ещё не оклемались...

— Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну бомбу – и всё....

— И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к ответу призовут.

— Пускай призовут, пускай! — старик поспешно поднимается на ноги, как будто готовясь прямо сейчас держать ответ. — Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, таку комедию устроил? А я им отвечу!.. Ты бы, Саня, об этом мог написать, знаешь ведь...

— А что толку писать? Что толку взрывать? Придут другие и вовсе потом всех задавят. Только терпеть — а как больше? Нужно переждать, пока само собой не рассосётся. А орать и взрывать ничего не даст. Кто тебя послушает?

— Ну, сидите-сидите! – иронично поддакивает дед. — Я посмотрю, што вы завтра жрать станете. Камни собирать пойдёте! До каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок вырвать норовит?

— Долго ещё будет! Пока каждый депутат себе особняков не понастроит да в зарубежные банки денег не напрячет, из нас кишки тянуть будут.

— Во-во, правильно ты говришь, Саня! – радостно соглашается старик. — И я говрю: скинуть бомбу с самолёта — и всё, всех-то делов!

Не встречая сопротивления, дед вскорости и сам замолкает и только по обыкновению, в такт своим тайным размышлениям, качает головой.

8.

...Босым ногам горячо стоять на раскалённых камнях, я забредаю в воду. Вокруг меня скапливается стайка всевозможных мальков: бледнобокие ельчики, пронырливые гольяшки, пеструшки-скромницы, задиристый окушок... Запускаю блесну в самую гущу – и рыбки в панике рассеиваются кто куда...

Спиннинг у меня особый — выстраданный. Через мои горячие слёзы мать купила его в городе у толстого армянина, который значительно убавил цену и даже подарил моток лески и набор блёсен. Удилище у моего спиннинга из жёлтого пластика, а ручка деревянная, резная, зелёного цвета. Спиннинг в три раза длиннее меня! Я уж владею им почти в совершенстве. Нет у меня вещи дороже! Вот только не везёт мне пока с рыбалкой. Одну-единственную щуку поймал за всю жизнь. И случилось это нынешним летом, здесь, на Дресвяном Лугу. Старшие косили у ручья, а я без устали сёк и сёк реку прозрачной жилкой, но в лучшем случае ловил пучки зелёных водорослей. Когда же от поминутной неудачи я совсем перестал думать о рыбе, на леске повисло что-то тяжёлое. «Опять трава! — уныло подумал я. — Вытащу и пойду к костру». Каково же было моё изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска «ходила ходуном», я увидел огромную светло-золотистую щуку. Хищница всплыла на поверхность воды и покорно следовала за металлической обманкой, золотистым языком торчавшей из клыкастого изумрудно-блестящего рта. Ближе к берегу рыба заволновалась и стала выкидывать «свечки». Обезумев от радости, я на буксир вытащил её из реки и, опасаясь, что драгоценный трофей уйдёт, пристукнул рыбину камнем по голове, как это делал дядя Коля. Забыв о брошенном спиннинге, прижав мёртвый улов к груди, я бегом кинулся к табору, с восторгом думая о том, как в обед сражу всех своей рыбацкой удачей...

Сегодня мне не везёт. Жалкая травянка кинулась из-за камня за блесной, но, проследовав за ней почти до самого берега, в последний момент вильнула хвостом и уплыла.

Бреду вверх по реке, к ручью, и вот уже чувствую ногами его обжигающие воды.

Душно, затхло пахнет киснущими по отмелям водорослями. Река «цветёт», зелёными островками стоят над водой облепленные улитками продолговатые листья. Но уже крутит по течению жёлтые, умершие пучки речной травы, которые на Лене называют няшей, и это верный признак того, что лето идёт к завершению и исподволь подкрадывается осень. Но августовский день высок и светел, порхают в кустах трясогузки и в траве точат свой кремень-песню кузнечики, а в густом голубом воздухе бесшумно скользят разноцветные бабочки — и жалкие обрывки отживших водорослей не оттеняют радужной картины. Из прибрежных кустов, из заросшего осокой кочкарника, выплывает на середину затончика гоголиха с утятами. Вот мать, вытянув изящную шейку, исчезает под водой, а когда всплывает, то находится уже на другой стороне затончика, у длинной каменной гряды. Тегая, шлепают за ней по воде неотлучные утята. Сделав несколько кругов, птицы утыкаются в каменную полоску. Отведи глаза на миг — и уже невозможно будет отыскать их на сером фоне бруствера.

Осторожно, стараясь не потревожить утиное семейство, сматываю леску на бобину и иду на стан. И вдруг за моей спиной, словно в насмешку, ударяет по воде крупная щука. Река отвечает ей полосатыми от ряби кольцами...

9.

Ещё не дойдя до костра, слышу, как взревает мотор, и лодка с Мишкой и дедом бегло скользит к противоположному берегу.

«За остроинами поплыли» — догадываюсь я.

Остроина — это длинная жердь, что-то вроде оси, которую вкапывают в землю. Вокруг этой оси кладётся-наматывается сено, как пряжа наматывается на веретено. Каждое лето мы ставим новые остроины, потому что каж-

дую весну ленивые рыбачки рубят и жгут прежние. А плавать за жердями нужно на соседний берег реки, где лес. На этом тоже лес, но идти к нему необходимо через широкое, не меньше километра, совхозное поле, засеянное овсом. А тут через пару минут после того, как лодка ткнулась в левый берег, доносится стук топора, и вот уже «Казанка» жужжит обратно. Словно стволы пулемётов, нацелены в нашу сторону вершинки сосновых жердей. Помогаем вытащить из лодки пять длинных тяжёлых жердей, уносим с берега на угор, где лежит давно высохло сено — море светло-жёлтой умершей травы.

Страх берёт от мысли, что всё это нужно собрать. Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на куст рубаху – белым бакеном будет она для нас, когда, измученные, поплетёмся вечером от ручья к костру. Дядя Коля, подмигнув, подтягивает на штанах ремень, убирая крупный живот, а Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как всегда, ставят неподалёку от ольхового куста, в низинке. От неё, как по ниточке, потянутся вдоль дороги к самому ручью наши копны.

— Забивай, Миша, покрепче колья, а то как бы не сковырнулась остроина... — говорит по установившемуся порядку старик, боязливо поглядывая на проткнувшую небо жердь, другим концом уткнутую в лунку в земле.

— А я говорил: легче нужно было вырубать, тоньше. И куда торопимся?

— Тоньше, так она трохи жидковата будет, Миша. Поведёт копну, завалится.

— А эта шибанёт по башке: ума нет, считай — калека!

— Так ты осторожней! — старик налегает на берёзовый кол, по-жабьи надувая щёки и с одышкой отпыхиваясь, в намеченном месте чуть-чуть загоняет отточенное жало в землю. — С дуру можно не только што... Забивай!

Вот и остроины поставлены. Сейчас начнётся ломовая работа. Отец вынимает из кустов вилы с толстенным черенком, за ним берётся за вилы Мишка. Мы с дядей Колей должны сгребать маленькие валочки в один большой вал, который станут таскать в копну Мишка с отцом. А у остроины поставлен дед. Он руководит мёткой копен. Грузный старик топчет сено долго, основательно, копна расползается в лепёшку, как тесто, и трудно поверить, что из неё что-нибудь выйдет. Работа из-за дедовской основательности приостанавливается, стоят с навильниками в руках отец с Мишкой, ждут, когда дед крикнет им: «Подавай!» Но старик, кажется, забыл заветное словцо. На четвереньках, как медведь, он крутится вокруг жерди по часовой стрелке, припрыгивает, стараясь лучше умять сено. На деда прикрикивают, торопят. Старик сверху отвечает такой тирадой, что, наверное, в области слышно. Наконец машет рукой: подавай! Мишка берёт сено аккуратно и не очень много, чтоб не надсадиться. Отец ворочает, как трактор. Сначала стаскивает сено в одну копенку, залезает на неё, топчет, затем пронзает вилами. Чуть приподняв ношу от земли, отец упирает черенок в землю и медленно взваливает на себя многопудовый навильнище. Гнётся, как коромысло, берёзовый черен, у отца подкашиваются ноги, дрожат руки. Сгорбившись, он доносит сено до растущей копны и почти с головой закидывает деда. Старик визжит, брызжет слюной, насылает на сына грыжу, а тот, покачиваясь, идёт за новой ношей. Но рассудительней всех дядя Коля. Он прихватил с собой стропу — длинную, метров двадцать, капроновую ленту. Он сворачивает её вдвое и кладёт на землю. Сверху набрасываем кипищу сена, стягиваем стропой и, взявшись за концы, волочем, словно ломовые. Сзади, упёршись вилами в наш с дядей Колей воз, помогают Мишка с отцом. За один раз сена притаранено столько, что минут пять, пока метается эта ноша, можно отдохнуть. Но как же коротки эти пять минут!

Копна медленно, но уверенно растёт. Вот уже и вилами трудно доставать до верхушки, неудобно подавать сено. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится на сено, закрывает глаза и с обречённым выражением лица начинает сползать вниз по копне.

— Держите! — кричит надрывно.

Мишка с дядей Колей подхватывают старика и со смехом опускают на землю. Дед, жалуясь, медленно поднимается на ноги.

— И куда тебя, дедушка, гонит? — говорит сам себе, не ища ничьего сострадания. — Попивал бы сейчас чаи с мармаладом или прогуливался по угору в ботиночках, как студентик...

Я стараюсь поймать глазами взгляд отца: можно?

— Ну, давай, — отец втыкает в середину копны вилы. Я цепляюсь за черенок, под зад меня толкает Мишка, и вот уже я, как белка, вскарабкиваюсь на самую верхотуру. Встаю, и у меня начинает кружиться голова: высоко! Снизу подают вилы с коротким черенком. Плюю на ладошки.

— Серёдку больше набивай, — советует снизу отец. — Да за остроину держись, а то упадёшь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой. Я смеюсь; в рот и в нос попадает пыль; чихаю и поначалу не очень споро выполняю свою работу. Снизу, как раньше деда, торопят. В тон старику, ору с копны благим матом:

— А не утопчешь ладом, прольёт копёшку дождями — опять перемётывать?! – И уже категорично заявляю: — У меня времени не-ет!

Наконец дело совсем подвигается к завершению. Оставаться на копне дальше — только верхушку ломать. Сбрасываю вилы на землю и с криком «Разойдись!» скатываюсь следом. С видом победителя взираю на наше творение. Но что за уродство?! Вместо прямой стройной копны, какой она казалась сверху, передо мной словно чучело Зимы, созданное ребятнёй на Масленицу. Незамедлительно делюсь переживаниями с дедом.

— Сейчас, — успокаивает старик. — Не всё сразу – оскребём.

И дед граблями начинает аккуратно оскребать копну с середины донизу. Выгребленное сено Мишка забрасывает наверх вилами на длинном черенке. Копна на глазах превращается из неопрятного уродца в стройный церковный купол. Даже солнцу приятно передохнуть на таком — огненным петухом примостилось оно на самом кончике остроины.

— Ну вот, одна есть! – оглашает Мишка завершение работы. — Можно и перекурить.

Садимся на пригорке, у кустов. Только дед ещё возится: чтоб крепче копна стояла и не завалилась, подправляет с боков граблями, черенком забивает под копну оставшиеся клочки сена.

— Всё-то он оглаживает, всё-то он прихлопывает! — заливисто смеётся дядя Коля. – Как по ней ладошками!

Дед сердито, с матерком, сплёвывает, но тоже не может удержаться: хихикает.

— Потеха!

Отец недоволен. Покусывая соломинку, скептически рассматривает сотворённое.

— Ты с Перевеса готов всё сено стаскать в одну копну! — без обиды, скорее с тайным восхищением, замечает Мишка.

— Я бы вообще зародами метал!

— Раньше так и делали, — с хрустом в износившихся суставах опускается

на землю дед, подгибает под себя правую ногу, чтоб удобней было сидеть. — Замётывали сено на деревянные сани, потом зимой — по снегу — вывозили. Сани с лета на чурки ставили...

— Зачем?

— А чтобы полозья к земле не примёрзли. Не сдёрнешь, если пристынут. Несколько тонн-то! Попробуй-ка. — Громко, с подвывом, зевает, обнажая ряд серых, но ещё крепких зубов. — Или на волокушах вывозили. Свалят две-три берёзы вершинами вместе, в комлях циндровкой просверлят, трос стальной проденут... — Это дед уже для меня, чтобы знал, как да чего было. — Наметают зарод, потом вывозят — по снегу ли, по земле ли. Всё больше зимой, конечно, занимались. По чёрной земле тартать — до самого-самого изотрётся. Хотя её, волокушу, всё равно на дрова потом пилили. Второй раз не поедешь с ей...

— Почему?

— В лес кто дерево повезёт?! — снисходительно, как несмышленому, разъясняет Мишка. — Думать надо!

— Вымирает народ, — непонятно для чего сказал отец. — Всё уходит в прошлое. Написать бы об этом книгу — сколько у меня материала собрано! — да грамотёшки не хватает...

Отец по-старинке наивно верит, что «грамотёшка» даётся в городе, в университетах, что тамошние учёные мужи о происходящем в деревне знают не хуже его и тягаться с ними деревенскому пеньку нечего, так, черкнуть когда статью в газету...

10.

Близится вечер. На западе по окаёмку горизонта проползает медная змея заката. И уже шуршит слева от нас, на скошенной поляне.

— Змея!

Одним махом Мишка оказывается рядом, прижимает гадюку к земле кирзовым сапогом.

— Найди бутылку!

Момент – и я на берегу, а уже через минуту лечу назад с пластиковой тарой.

— Крышку открой!

— Наденьте ей горлышко на голову – она дальше сама заползёт...

Змея упирается, грозит вырваться из плена, но как только голова оказывается в бутылочной горловине, сама покорно залезает в тару. Мишка заворачивает крышку и бросает мне бутылку.

— Растопим на солнце, а зимой капканы на соболей ставить будем.

Свернувшись клубком, змея дерзко смотрит на своих врагов, бросается и пытается укусить четырёхзубой пастью стенку бутыли, когда я стучу в неё пальцем.

— Тоже жить хочет, — между прочим говорит дед.

— Ну дак, — хмыкает дядя Коля. — Тебя бы так!

— А што, мине лучше?..

Ставлю бутылку на солнце.

— Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?

— Но, укусила, — подтверждает дядька. — Тоже, по ягоду ходил. А змей было в том году! Високосный год был, как щас помню. Всюду змеи кишмя кишели – пропасть! Я «болотники» расправил и хожу вдоль валов, смородину собираю. Как она меня не заметила? Я ей на хвост наступил, а она меня в «болотник» – раз! – куды там, не прокусила! Только белые капельки остались...

— Чё это? — интересуется дед.

— А яд.

Некоторое время молчим. Тишину нарушает старик:

— А вот у меня случай был со змеёй (я ещё мальчишкой был). Нас много, ребятишек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного, лет девяносто было ему, а он всё косил. Вот взялся он вечером литовки отбивать, а я пособлял ему, косовища держал, — другие-то ребятишки спали уж... – Дед чешет переносицу, потом большую, заросшую волосом, чёрную родинку на крупном носу. — А тут змея! Как из-под земли, честно слово. Я то её вижу, а дед – забыл, как зовут?— не видит. И словно онемел я, слова сказать не могу, предостеречь, значит, старика. А она залезла деду в ичиг – тогда круглый год в ичигах ходили – и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает и, достав платок, начинает громоподобно сморкаться.

— А со стариком что стало?

— Умер, што стало. На лодке мы его сплавляли в деревню... – Дед тяжело, бочком, упираясь локтем в землю и кряхтя, поднимается на ноги. – Пойдем, однако, времени у нас мало, а работы непочатый край...

11.

К закату ставим три больших копны.

Когда завершаем последнюю копёшку — как сбитое с ветки пчелиное гнездо, валюсь под кусты смородинника. «Будем сегодня метать ещё или уж завтра? Хорошо бы, если завтра, а сейчас — домой! Сегодня суббота, банный день. Приятно после бани поваляться на диванчике, посмотреть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и ихние доньчата, занятые каким-то смешным трудом. Дома прохладно, квас в холодильнике, окрошку, наверное, приготовила мама к бане...». Но все мои надежды рушатся, когда раздаётся голос деда:

— Время есть, сметаем ещё одну вон у той берёзы...

Канючу:

— Ну дед!

— Что дед?! — гнёт подковы-брови старик.

— За-автра!

— Тихо! — говорит Мишка, настораживаясь. Объявляет: — Восемь часов — «Благовещенск» идёт.

Да, это он! Каждый день он проходит мимо Дресвяного Луга, маня и волнуя моё детское воображение. Его ещё не видно, но уже отчётливо слышно, как он идёт-гудит за поворотом реки, летит-доносится его весёлая музыка. И тем волнительней она здесь, где только и слышно, что шуршание сена да тяжёлое, учащённое дыхание работающих на износ людей. Вот он медленно, величаво является нашим взорам, большой и ослепительно белый. Уже можно прочесть его гордое имя, написанное на боку большими чёрными буквами: БЛАГОВЕЩЕНСК

Он вещает благую весть. В чём заключена его благая весть? Я не знаю, в чём, но всякий раз, как его вижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я желал плыть на этом теплоходе! Я с завистью гляжу на него, на счастливых, непонятных мне в своей беспечности людей, вышагивающих по палубе, а в голове толчками взволнованной крови стучится мысль о какой-то иной, неизвестной мне жизни. Что видел я в свои двенадцать лет? Каким одиноким я чувствую себя в этот момент на душной и затравленной,

поставленной — как говорит отец — на вымирание крестьянской земле. Как мелки и незначительны, как бессмысленны дни моей серой деревенской жизни, когда плывёт нарядный теплоход и люди на нём пьют из сверкающей посуды дорогие напитки. А «Благовещенск», словно нарочно красуясь передо мной, так и скользит по голубой ленте реки. Шлёпают о воду «лапти», является, как птенец из гнезда, красный свисток над тонкой трубой и реку и луга оглашает громкое приветственное «Гу-гу-у-у»...

— Бла-го-ве-щенск! - как заклинание, повторяю запёкшимися от волнения и жажды губами.

Возле Дресвяного Луга река Лена, стянутая корсетом брустверов, тончает в талии. Теплоход помалу загребает в сторону нашего берега, где глубже, и через некоторое время становится настолько близким, что кажется: ещё немного — и черканет железным брюхом о каменную кромку. Вот уже и люди на палубе видны так ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Я бессмысленно скольжу взглядом по незнакомым лицам: вот большие, смешно опущенные к подбородку усы, вот туго обтянутая платьем грудь дородного вида женщины, а там, в отстранении от остальных, в светлых одеждах пожилая пара рука об руку, совсем не похожая на моих бабку с дедом... Тут жадный взор мой натыкается на мальчишку в жёлтой панамке на голове, с мороженым в руках, которое, конечно же, закупили ещё в городе, потому что у нас в деревне мороженого нет. Его, наверное, хранили для него в какой-нибудь специальной морозильной камере, установленной на теплоходе, а иначе, конечно, оно бы растаяло... Нет, вот он не так ест, как надо бы, лизнёт раз-другой и пялится на нас три часа. Я бы, конечно, не стал размузыкивать! Я не вижу, но догадываюсь, что мороженное, подточенное солнцем, капает на корму. От этого мне становится не по себе, как будто самоё сердце моё иссякает по капле. На ногах у мальчишки пижонские сандалики — и я с вызовом ложного превосходства и обиды смотрю на него, сквозь зубы сцеживая на раскалённую резину сапог тягучую липкую слюну. Мне хочется крикнуть жёлтой панамке что-нибудь обидное, но я не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Завороженные, мы смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, судно с другой планеты. Отец козырьком приложил ладонь ко лбу, защищая очки от солнечного света. Временами он впечатлено хмыкает и с досадой рассекает рукой воздух. Дед опёрся о черенок воткнутых в землю вил и подслеповато щурится на «Благовещенск».

— Интересуюсь, сколь билет стоит на эту хреновину? — требовательно оглядывается на нас, устремивших любопытные взоры на теплоход, но ответа не дожидается. — Тыщи две-три — не меньше, — говорит убеждённо и снисходительно смеётся. — Как раз наши с баушкой две пенсии!

Мы не обращаем внимания на старика, потому что женщина в старомодном голубом платье, каких давно нет даже у наших деревенских дев (наверное, мать этого глупого мальчишки), помахала нам с палубы. Дядя Коля снял с головы засаленную кепку и со смехом машет ею в ответ.

— Приезжай к нам! — кричит, сверкая белками озорных глаз. — На рыбалку пойдём с ночевой!

Женщина тоже что-то кричит и весело смеётся. Речной ветерок до колена обнажил белую ногу, вынутую из туфли и поставленную на металлическую решётку бортов. Как занавес, расходятся голубые полы и властно приковывают к себе мой смущённый взор. Мне кажется, будто я отчётливо вижу нежные лодыжки, там, где остался розовый след от ремешка туфли, едва-

едва тронутые загаром. А в голове моей возникают литые, оплывающие густым солёным потом, словно бы обуглившиеся плечи отца...

— Лаптёжник! — презрительно говорит Мишка. — И смотри, дядя Коля, бегает ещё!

— Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место — тоже побежишь!

— Такие уже не делают теперь... — роняет отец.

Дед поправляет на голове платок из куска наволочки, не без гордости вспоминает, должно быть, самое яркое событие своей жизни:

— Я тоже плавал! Молодым ишо. Поплыли с Михаилом Шишкиным в Якутска — учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал нам справки... В Осетровском порту грузились баржи, мы воровски пробрались на пароход «Полина Осипенко», — денег-то на билет не было, откуда они — деньги? — спрятались за ящиками и поплыли! — Дед тоненько, с матерком, смеётся и покачивает головой, порицая себя за молодецкую непутёвость. — Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, упросили мы капитана, дозволил нам плыть. А пароходы-то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми днями-ночами и пихали лесины в топку... Двадцать два дня плыли! А через полгода возвращались в рубашке да в кальсонах. Доскреблись до Киренска — снег пошёл. Мать перемать, думаю, понесёт шугу и станем посреди реки! Но, доплыли кое-как. Я в Казарках вылез, а Шишкин до Осетровой проплыл — стыдно ему было в деревне в таком виде появиться, а в городе у него тётка жила. Пришёл я огородами к дому родителев... Худой, обовшивевший, в руках — фанерный чемоданчик... — Иронично сплюнув, громким, весело-нравоучительным голосом старик заканчивает: — И сапожниками не стали, но свет повида-али!

Я не слышу старика. Я жадно смотрю на теплоход, который уже далеко от нас. Вскоре он пропадает за поворотом реки, но ещё долго доносится до Дресвяного Луга его крылатая музыка. Туда, где растаял «Благовещенск», забредает по самые бока уставшее солнце, роняет в воду жёлтые капли пота... Мы молчим. Молчит луг. Только в траве строчит свою песню-стёжку саранча да в реке, гоняясь за мальком, бухает хвостом о воду жирующая щука. И вдруг до нас долетает «Гу-гу-у-у...», но уже грустное, прощальное.

Я срываюсь с места, бегу, падаю, запнувшись за толстые стебли свиного борща, расцарапываю голое тело о ветки шиповника. Но нет теплохода, нет счастливых беспечных людей, нет женщины в голубом платье...

С луга доносятся взволнованные голоса, из которых выделяется истерический крик деда:

— Ну, куда этот пошеленец побежал? В Пушшино?!

— Я его завтра дома оставлю! — заверяет отец, но я знаю, что не оставит, потому что уже не раз обещался — и не оставлял.

Старик взвывает:

— Каки-их только полоротая не нарожает!

— Да успокойтесь вы! Привыкли, чуть чего — орать! — вступается Мишка. — Пойду, схожу за ним...

— Ты сам-то не кричи только там! — советует отец, когда Мишка спускается под угор. — Действительно: хватит, батя, доорались уже...

Мишка находит меня сидящим на бруствере. Пристраивается рядом на камень и — молчит. Пуская блинчики по воде, заинтересованно считает касания. Долго смотрит на течение...

— Светлеет вода... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник. Белая блесна уже не пойдёт — красную надо. Или жёлтую, из латуни. А тебя есть латуневая?

— Нету, — хмуро буркаю в ответ.

— Подгоню тебе. Я до армии занимался — делал такие. Есть там одна уловистая — сколько щук перетаскал на неё! Мне-то она...

Пристыженный наивной слабостью, возвращаюсь с берега на угор. Следом Мишка стучит сапогами по камням, задумчиво щурится. «Подожгу всё их сено!» — рождается во мне злая мысль, но уже через миг я стыжусь её. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля. Стараюсь не глядеть им в глаза, а они, словно обо всём ведая наперёд, ни о чём не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идём к ручью, где предстоит сегодня сметать ещё одну копну. Остановившись у последней остроины, иголкой воткнутой в зелёное сердце земли, дед вполголоса бормочет:

— Живут же люди...

И снова — молчание. Каждый думает о своём, сокровенном...

И только — шорох усохших трав, глухое покашливание старика да симфонический стрекот кузнецов, прыгающих над черенками граблей, словно через упавшие на луг деревянные радуги... Теперь уже никто не может нас отвлечь, ничто не потревожит и прервёт нашу работу: так втянуты мы в этот кропотливый труд! Поминутные мысли об этом заклёвывают все прочие, благородные, но абсолютно непригодные для нас чувства, которыми тешит себя самолюбивое человечество. Из-под поднятого вала поскакала большая жёлтая лягушка. Я посадил её в пенопластовую чашку, прикрепил бумажный парус и пустил по ручью. Мой самодельный кораблик скоро заскользил по голубым волнам, ловко увёртываясь от коряг и зелёных, покрытых тиной камней.

— Плыви в Тикси! – сказал дядя Коля.

12.

Этот мир устроен неправильно — уж во всяком случае, он создан не для меня, и всё больше я в этом убеждаюсь. Только ближе к ночи проклятая мошкара, изготовившись спать, начинает нерешительно оседать на стеблях травы. Когда в ушах наконец смолкает надоевшее за день гудение и становится возможным смотреть вокруг без прищура, мы отчаливаем домой. Лодка бежит-скользит по вечерней реке, встречным ветерком ласкает пыльные, испепелённые солнцем лица. Вот она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось; в горниле распадков дошаивают последние алые головёшки. И вот уже лёгкие синие сумерки марают стволы деревьев и кромки остающихся позади берегов. Взлетают потревоженные моторкой красноголовые крохали, но тут же пропадают в тиши и блёклой неясности подкрадывающейся ночи. Высвечивает на далёком небосклоне одинокая звезда... Дед лёг на дно лодки, укрылся телогрейкой и тихо дремлет. Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом...

И снится мне белый теплоход. Он плывёт по утренней реке, полный дерзких помыслов и надежд. По палубе теплохода чинно гуляет нарядное общество людей, избранных, отмеченных честью плыть на этом судне. Они смеются, пьют из хрустальных бокалов и наслаждаются музыкой, неторопливо льющейся из репродуктора. На носу теплохода стоит обворожительная женщина в голубом платье. Прохладный речной ветерок пенит её лёгкие вьющиеся волосы. Хрупкий, смущённый мальчик прижался к ней и боязливо смотрит за корму. Весело играет вода за бортом, проносятся мимо редкие осенние листья. Со всех сторон высятся горы и жёлто-красные леса;

изредка мелькнёт и исчезнет за поворотом одинокая деревушка... Вот начинают попадаться луга и серые от прошедших дождей копны, лёгкий парок взвивается над ними. Один из этих лугов мальчику до боли знаком. Несколько человек стоят на скошенной поляне и машут мальчику руками, но так машут, словно навек прощаются с ним. До рези в глазах вглядываясь в лица этих людей, — он вдруг узнаёт их! Сам не замечает, как поднимает руку и тоже машет им на прощание. Играет музыка, теплоход шлёпает «лаптями» по воде, но сквозь шум долетают с берега слова: «Будь счастлив, милый, в той далёкой стране!»

Тут я просыпаюсь и тихо плачу. Мне очень жаль этого мальчика. Дед расценивает мои слёзы по-своему:

— Замёрз? – приподнимает край телогрейки. – Лезь под стяжёнку...

Забираюсь к старику, успокаиваюсь и снова засыпаю.

В темноте лодка упирается в берег, где ещё днём купали в реке иконы отчаявшиеся старухи, а сейчас только синяя темь воды. Дед корячится, кряхтит, не может спросонья вылезти из лодки, то одну, то другую ногу неуверенно перекинет за борт, но тут же боязливо одёргивает назад.

— Ты так скоро на старуху ногу закинуть не сможешь! — крупно содрогается животом дядя Коля.

На лавочке, как обычно, сидит в одиночестве бабушка: ждёт. С нашим появлением встаёт — вспухшие веретьями жил руки скрещены на животе, связка ключей оттягивает карман выцветшего платьишка. Подсобляет — берёт у старика грабли.

— Чё, баушка... как картоха? — уморено переставляя кирзовые сапоги, спрашивает с тяжёлой одышкой дед.

Старуха вздыхает:

— Несколько кустов подкопала — две-три балаболки...

— Худо. Картоха — продукт!

Я иду позади всех. У ворот останавливаюсь и смотрю туда, куда скрылось солнце. Темно. В небе лежат крупные звёзды. За рекой, на опушке леса, загорается длинноногая створа. Красный огонёк призывно мигает уставшему миру...

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни, и что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.

Алёна БЕЛОУСЕНКО

ДИНОЗАВРЫ

Рассказ

Юре было девять лет, но он мало что понимал про себя. Разве что носил внутри чужие, брошенные в него фразы, осторожно, слово в слово. И потому знал, что противным нравом пошёл в отца, хотя ни разу его не видел. А ещё то, что в садике п*и*сался во время тихого часа, мама с воспитательницей его за это ругали, а он от обиды плакал. Знал ещё, что глупее других детей и что шутки у него несмешные. И достаточно было этих скудных штрихов, чтобы мнение о себе Юра имел весьма жалкое.

Из того малого, что он понимал про себя, было его очарование Катей. Оно возникло не вчера, но Юра, сидя на уроке математики, только-только поймал его, когда солнечный луч, игравший бликами с Катиной партой и рукой, невольно увлёк его взгляд. Её пушистые волосы, почему-то не в хвосте как обычно, а распущенные, лежали на спине, а сквозь их путаницу едва мелькала кофта нежно-розового цвета. И своё чувство Юра скрывал, как скрывал и всё другое, что его волновало.

Жили Юра с мамой в трёхэтажном панельном доме, на самой окраине

Белоусенко Алёна Анатольевна родилась в городе Удомля Тверской области в 1992 году. В 2013 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет). Студентка Литературного института им. А.М. Горького (семинар М.П. Лобанова) с 2012 года. Лауреат фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (2015), ежегодной премии сайта «Российский писатель» в номинации «Новое имя» (2015), победитель конкурса фестиваля «Во славу Бориса и Глеба» (2016). Публиковалась в журналах «Наш современник», «Волга 21 век», «Полымя» и др. Живёт в Москве.

крошечного города, где через дорогу уже начиналась деревня. В этой деревне у них было огорожено четыре сотки земли под грядки и железный сарай с курами и недавно купленной коровой, — без избы, без сторожки. Мама называла деревню второй работой, и Юру туда брала редко — чтобы не мешал. Вечера он проводил на улице с другом Артуром или в одиночестве на скамейке у подъезда. Ему разрешали играть и на детской площадке во дворе, но без Артура он не шёл — дичился незнакомых ребят.

И в этот майский вечер Юра сидел на скамейке и наблюдал закат. Иной раз ему было приятнее находиться здесь, в тишине, одному, чем с кем-то общаться. Небо притягивало его, словно пытаясь шепнуть что-то важное. И его яркие, нежные волны подсказывали Катино имя. Они — закат и Катя — были одного рода-племени и берегли одну тайну на двоих. Её розовая кофточка была сшита из лоскутков заката, а солнце родилось из её волос. Вместе они были далёкими-далёкими и прекрасными-прекрасными. И ему никогда запросто не дотронуться было ни до Кати, ни до заката.

— Юрка, домой иди! — прокричали из окна. И Юра пошёл.

Мама встретила его на пороге.

– Завтра корову загонишь, я не смогу. Я работницу заменяю, — сказала она, как обычно сурово. — Слышишь?

Мама была в шершавой длинной юбке и тёплой кофте болотного цвета. В это время года она два раза за день ходила на дачу: в шесть утра доила и выгоняла корову, а в семь вечера забирала её у пастуха и доила повторно. Одевшись утром перед дачей, в той же одежде шла на работу. А вернувшись с завода, надевала тапки и принималась готовить обед. К вечеру — снова на дачу, с дачи — на точку продавать молоко.

Юра слышал, но не понимал, что конкретно ему нужно будет сделать. Он смотрел на мамину короткую, будто мальчишескую, стрижку — волосы жидкие, кое-где седые. Особенно из-за этой стрижки он стыдился её. И из-за молока, которое мама продавала в изношенных пластмассовых бутылках по вечерам около центрального магазина. И ещё потому, что на школьных праздниках она стеснялась учительницу и стройных женщин с тонкими браслетами на руках и оттого болтала без умолку и громко смеялась. А дома, с Юрой, снова становилась прежней — важной и молчаливой.

Утром мама зашла в Юрину комнату и, положив на стол большой ключ от сарая, напомнила, что в семь вечера на пустыре у дачи будет ждать стадо. Юра, разлепляя глаза и понимая, что больше возможности не будет, всё же осмелился спросить напоследок:

– А как загонять-то?

– Как-как? — удивилась мама. — Что, не видел, как я два месяца корову загоняла что ли?

Юра не раз видел, как мама загоняла корову, но в деле не участвовал, да и не интересовался им, а только ошивался поблизости.

– Видел, — сказал Юра, опустив взгляд.

– И что тебе непонятно?

– Всё понятно.

– Ничего, взрослый уже, с собаками грязными не боишься вошкаться, а с коровой и подавно справишься, она сама за тобой пойдёт.

После школы они с Артуром пошли на пруд, забежав по дороге домой за стеклянной банкой для тритонов. Юра надеялся, что друг согласится пойти с ним и на дачу, но Артур сказал, что бабушка просила вернуться пораньше. Юра понимал, что это неправда, но решил об этом не думать.

Тритонов к Артуру домой приносить было нельзя, и сразу от пруда Юра с банкой направился к пустырю. Он спросил у прохожего время, тот ответил: «Полседьмого». И хмуро стало на душе, что успевает, что, позабыв о времени, не загулял с Артуром допоздна. Нарочно не исполнить поручение Юра не мог, а случайно забыть о нём ему бы хотелось.

На пустыре уже стояло небольшое стадо, коров десять, и сновали повсюду мошки. Коровы походили на динозавров: сильных, древних и непредсказуемых. Они не смотрели на Юру, но ему казалось, сделай он лишний шаг — побегут на него и потопчут, будто в танце. Он поставил банку на траву, огляделся — пастуха не было видно. Его бросило в пот — никто ему теперь не поможет. Даже если найдёт Звёздочку, то не сможет отвести её в сарай. Не может быть, чтобы динозавр слушался мальчика. Как не может быть, чтобы его, Юрина, мать слышала его.

Но даже найти её было невозможно: все коровы кроме одной, бурой, походили друг на друга. Все — белые с чёрными пятнами. Правда, знал Юра, что у Звёздочки на лбу треугольное пятно было. Но коровы все лбами к нему не поворачивались, а подходить и обглядывать каждую было страшно. Он кругом обошёл стадо. И, удача! — на противоположной стороне, с краю, стоит корова с пятном. Правда, пятно не совсем и треугольное.

– Звёздочка, — позвал он вполголоса, смотря корове прямо в глаза. И, удерживая на ней взгляд, словно зовя за собой, отошёл на три шага, ожидая, что та пойдет вслед. Корова не двигалась, только судорожно вздрагивали её бока, и метался хвост влево-вправо. Юра стоял, ожидая непонятно чего. Вдруг взгляд его ухватился за мелькнувшее в центре стада пятно — там, наклонив голову к земле, стояла ещё одна Звёздочка. Слышно было, как от натуги трава под её толстыми губами разрывалась и потом вымешивалась крупными челюстями. Подойти к ней означало обречь себя на смерть от первобытного танца природы. Юра замер. Он всерьёз выбирал между смертью и маминым недовольством. Через пару минут он решился идти домой.

Было около восьми, когда послышались движения ключа в замочной скважине. Юра притих в своей комнате. Дверь открылась, на пол поставили пакет с продуктами.

– Юрка-а, ты дома?

– Да, — сказал Юра негромко и, поняв, что мама не услышала, протянул: — Ту-ут.

– Корову загнал? — спросила мама, зайдя в комнату.

– Да, — он старался смотреть ей прямо в глаза.

– Молодец. Я тебе апельсинов купила. Сейчас картошку пожарю и пойду доить.

Юра и боялся, что она ещё спросит: «Не забыл закрыть сарай?» или «Не потоптала корова цветы у калитки?», — и хотел этого всей своей трепещущей душой. Тогда неизбежное наказание придёт сейчас, и его не нужно будет ждать, как дикого зверя из леса, чьи шаги уже слышны. Но мама больше ничего не спросила. Она закрыла за собой дверь и пошла на кухню. Юра прислушивался к тому, как шипело и трещало масло на сковородке, и этот привычный ласковый звук сейчас утяжелял его тоску.

Он покинул комнату, только когда все звуки затихли. На кухне, в тарелке для супа, лежали четыре дольки апельсина. Юра вздохнул. Он ощущал себя

самозванцем, который заполучил сладость, принадлежащую другому, правильному мальчику. И эта сладость не радовала. Съест дольку и шепчет: «Господи, хоть бы корова не ушла никуда с пустыря, а ещё лучше — подошла к сараю, тогда точно ругать не будут».

Но всё же он готовился к наказанию — память сама подкидывала ему сцены.

– Врёшь, паразит? — сказал он сам себе тихо, повторяя знакомую фразу. Юра втянул голову в плечи, представляя, как в очередной раз получит поварёшкой по голове.

«Весь в отца!» — отозвалось где-то рядом маминым голосом.

А в прошлом триместре, когда Юра исправил двойку по математике в дневнике на четвёрку, мама сказала: «Отдам тебя отцу, чтобы он сам свою подлую породу выращивал». Юра обрадовался тогда. Воображал, как незнакомый ему ещё папа будет играть с ним в футбол и покупать мороженое. Может, именно сегодня мама соберёт его вещи, и папа впервые приедет за ним.

Вскоре Юру захватила игра с апельсиновыми шкурками-лодками, плывущими по столу через моря к отцу, как захватывает сон плачущего ребёнка. И когда заскрежетала замочная скважина, он еле успел перебежать в свою комнату незамеченным. Мама поставила ведро с молоком на пол, разулась, снова взялась за скрипящую ручку, зашла на кухню. Звуки прекратились.

Юра раскрыл перед собой учебник русского языка и сел, весь превратившись в слух. Шорохи, стуки, голоса рождались в его голове, как призраки в тёмной комнате.

Так прошло около получаса. Юра бесшумно вышел в туалет. В квартире стояла полная тишина. На кухню он направился уже уверенный, что мамы дома нет, и вздрогнул, увидев её прямо перед собой, сидящую на табуретке. Правый локоть лежал на столе, глаза закрыты ладонью. Будто статуя.

– Ну что, погонял меня по деревне? — сказала она, вытягивая каждое слово, и медленно подняла козырьком ладонь. Глаза её были измученные.

Юрины губы улыбались. Он старался их сдерживать, но они вновь расплывались как у полоумного. В ответ на его улыбку мамины глаза щелкнули злостью. Она встала, подошла к раковине, включила воду и принялась мыть посуду, не глядя на Юру. Он уже не улыбался. Он дрожал. Мама повернулась к шкафу с посудой, и взгляд её голубых глаз проскользнул по сыну так же, как по рядом стоящей плите. Она расставила тарелки и вышла из кухни.

Он знал, что поступил плохо. Особенно эти купленные мамой апельсины никак не могли выйти у него из головы. Как будто из-за них он был прежде всего виноват. Но хуже было то, что даже наутро мама с ним так и не заговорила. Не заговорила и днём, хотя у неё был выходной. И не нарушая молчания, вечером ушла на точку продавать молоко. Оставшись один на один с маминым домом, таким же враждебным, как и она, Юра затосковал. Дом молча выгонял его, и он послушался. Но дальше скамейки не ушёл. И только там он вспомнил про оставленных на пустыре тритонов — теперь их точно собаки съели. Хоть и не корова, но всё-таки что-то пропало, утерялось.

По тротуару тем временем проходили женщина с девочкой.

– Кать, смотри, это Юра что ли? — женщина в белых брюках дотронулась до плеча девочки и вопросительно посмотрела на Юру.

Юра на секунду подумал, что они пришли к нему в гости.

– Привет, — сказала Катя.

– Ты чего здесь так поздно один сидишь? Не замерзнешь? — не дав ему поздороваться в ответ, спросила Катина мама.

– Не-ет, я тут, около дома, — Юра показал на свой балкон.

– А, ну хорошо тогда. Доча, поделись конфетами.

Катина мама смотрела на Юрины литые шлепанцы, надетые поверх носков, ворот футболки, вытянутый треугольником, и мягкие спортивные брючки с катышками по бокам. Она предугадывала по его глазам, что достаточно двух тёплых слов, и этот детёныш, не раздумывая, схватит крепко-крепко твои пальцы и, быстро-быстро перебирая ножками, пойдёт с тобой.

Этого всего Юра не знал о себе. Он разглядывал конфеты, которые насыпала ему Катя: мишки на деревьях, белка с орехом в лапках и другие, ему ещё незнакомые обёртки. И только сейчас он понял, что это Катина мама берегла с небом одну тайну на двоих, а после просто поделилась ею с дочерью. Юра сидел, почти не двигаясь, — закатное небо спустилось к нему и укутало его в своих объятиях. Катя с мамой превратились в две маленькие отдаляющиеся фигурки.

КУКОЛКА

Рассказ

Вдоль аллеи горели фонари. Повсюду чувствовалась тихая, но непрекращающаяся борьба, то состояние природы, которое никогда не покидает её насовсем. Лужи вместе с опавшей листвой за неделю успевали замерзнуть и снова наполниться, а потом и вовсе иссохнуть.

Сергей остановился возле одного из фонарей, не дойдя сотни метров до назначенного места. Лицо его было серьёзно и спокойно, но будто что-то противное несправедливо заползало в его чистую весёлую жизнь и вызывало жалость к себе. «Как же это глупо вернуться теперь обратно, — думал он. — И как же фальшиво сейчас остаться». Ему нечего сказать своему другу Косте, который был серьёзно болен, и нечем его поддержать. И потому Серёжу тянуло обратно домой, и не было ни единой горсточки силы внутри, чтобы заставить себя стоять твёрдо. Сил хватило только на то, чтобы выйти из ненавистного дома, где уже неделю они живут с отчимом вдвоём. «А если Костя умрёт?» — подумал Сергей, и ему стало страшно. Не за Костю, не за себя, а просто страшно от той жестокой и неуправляемой силы, которая выхватывает людей одного за другим без разбора из этой жизни. Он почувствовал себя везучим, ведь такие страшные случайности, происходившие со знакомыми, обходили его.

Вокруг плафона, надетого на жёлтую лампу, кружилась бабочка, всё не осмеливалась сесть на него. Её крылья напоминали павлиний хвост, хотя были не такими яркими. Сергей вдруг подумал, что красота бабочки не в раскраске крыльев, а в тонком и хрупком изяществе, с которым она их носит. На несколько мгновений бабочка зависла в воздухе. Серёжа присмотрелся и был удивлён, что её туловище вблизи выглядело неприятно. Подлетев совсем близко к лампе, бабочка упала на мокрую каменную плитку. Несколько секунд она то вздрагивала, то замирала, а вскоре совсем затихла. «Вот как эта бабочка, обжёгшись о плафон, может умереть и Костя, раньше времени, просто так и ни за что», — подумал он.

На горизонте появилась мужская фигура. Сергей весь вытянулся. Чело-

век свернул в соседний двор. Значит, не Костя. Тонкая нить внутри оборвалась, и обрушилось все, что она держала.

— Алло, Кость, извини, что поздно, не могу подойти сегодня вообще никак. В универе увидимся. Давай, до завтра, — Сергей с силой сжал мобильный телефон.

«Что за ерунда со мной происходит? — подумал он с отвращением к себе. — Не могу и всё тут», — добавил шёпотом. Но явившаяся лёгкость уже несла его в сторону дома, подгоняя, пока он не успел опомниться.

В комнате у Сергея всегда было тепло, даже сейчас, ранней осенью, когда уже наступили холода, но отопления еще не дали. Отчим поменял окна, как только появился, ещё семь лет назад. Неровная белая краска на тёмном дереве сменилась гладким европейским пластиком. Но холод начал пробиваться не с улицы, а из стен собственного дома.

Отчим поселился у них сразу, без лишних притираний и вопросов, если не считать две субботы, проведённые в торговом центре втроём. Настольный футбол, чизбургер, мороженое и кино. А ещё он оплатил покупку ботинок для Сергея, и мальчик не мог понять, почему мать приняла помощь охотно и слишком ласково от малознакомого дяди. Понял всё потом, в следующую субботу, на третью неделю их знакомства, когда отчим заехал в квартиру. Именно в те выходные он купил новые окна и наказал звать папой. А вскоре за этими окнами впервые свили гнездо ласточки. Мама обрадовалась и сказала, что их прилёт к счастью. Как будто без отчима не было счастья...

Спроси сейчас у Сергея, что он запомнил особенно хорошего или особенно плохого за эти годы. Выйдет-то по паре эпизодов туда и сюда, и те не сразу вспомнит. Он не мог честно про себя назвать Антона плохим — как человека он признавал его хорошим, особенно если немного отойти в сторону, зажмурить глаза на пару секунд, открыть и ещё раз взглянуть на него. Но кто виноват, что отношения сшивались тонкими нитками? Не они выбирали пряжу, а сил мягко и сосредоточенно вышивать общую жизнь ни у одного из них не было. Каждый искренне хотел полюбить и принять другого, но если бы хоть кто-то полюбил по-настоящему, обогатилась бы пряжа, и неумелый шов не порвал бы её.

Лязгнула входная дверь. Появился отчим.

— Быстро как. Что, продинамила тебя баба? — приветствовал он Сергея басом.

Сергей никогда не понимал его шуток и почитал невинные хохмы за желание унизить и оскорбить. Он ничего не ответил. У отчима же, наоборот, сегодня было хорошее расположение духа — врачи, наконец, дали положительный прогноз на беременность мамы Сергея, которая сейчас лежала в больнице на сохранении.

Сергей аккуратно снял пальто, отряхнул его от чего-то невидимого сильными и неторопливыми движениями рук и так же размеренно, не спеша, повесил в шкаф. Под ногами Сергея мешалась Ласка, старая мамина овчарка. От радости ей хотелось лаять, но каждый раз она заглушала порывистый «рыывк», зная, что так «нельзя».

Отчим, отхаркиваясь, пошел на кухню.

— Суп сварил, ешь, — сказал он, включая чайник.

Сергей не хотел есть еду, приготовленную отчимом, но выбора у него не было, и он старался хотя бы не показывать свой голодный энтузиазм. И потому перед тем, как сесть за стол, переоделся в своей комнате в домашнее, помыл руки и уже после этого направился на кухню.

«Да нормально, что с ним будет, взрослый парень уже», — услышал он голос Антона. Прихлебывая чай, тот разговаривал с мамой по телефону. Сергей остановился в дверях и прислушался. Просит закупить что-то в магазине, ещё, видимо, спрашивает, как у сына дела.

— Ты в больницу идти собираешься? — спросил Антон, как только повесил трубку.

Сергей хотел навестить мать, но обида и гордость, вызванная этой обидой, мешали ему. «Случайно проговорились про беременность, посвящать меня не хотели, нафиг я там нужен», — думал он.

Антон с минуту помолчал, Сергей молчал тоже.

— Ты понимаешь или нет, ей родить надо, нервничать нельзя, а ты как бык на всех смотришь, — сказал отчим прямо и чётко и хотел ещё что-то добавить, но передумал. — Жизнь жестоко по нам бьёт, — продолжил он спокойнее. — Но это хорошо. По тебе ещё толком она не попадала, поэтому ты такой взъерошенный мальчишка.

Не произнеся ни слова в ответ, Сергей ушёл в комнату.

Антон всегда осознавал, что в пасынке есть какая-то эмоциональная недоразвитость, мелочность, и не удивлялся этому. Не удивлялся и тому, что Сергей всегда был закрытым, как бы себе на уме. Но вёл себя почему-то так, будто все эти «недостатки» у Сергея было необходимо тотчас же исправить. Будто эталон мужчины один, и других вариантов быть не может.

Десять лет тому назад, ещё до встречи с мамой Сергея, Антон потерял жену и маленького сына в автомобильной катастрофе. Они ехали где-то под Питером на дачу к друзьям, и на проезжую часть выбежал лось. Животное встало прямо посреди дороги. Его мокрые, будто коровьи, глаза были спокойны. Не шевелясь, оно смотрело на приближавшуюся машину. После катастрофы Антон сильно пил, но новая возможность жить выходила его, поставила на ноги. А одну занозу вытащить не сумела — недоверчивую оглядку на свою проклятую судьбу, которая небрежно, но тихо-тихо, животными своими клыками может унести его семейное счастье к себе в потайное логово.

Но ребёнка родить не получалось — отчим поначалу приходил в отчаяние, а затем и вовсе ожесточился. Участились ссоры с новой женой, которая ко всему прочему чувствовала себя виноватой. Антон не был против Сергея, он и не представлял себе второй брак без ребенка жены. Не видел рядом с собой женщины, которая не была бы закалена заботой о детях. Однако роль должника почему-то выбрал не для себя, а для пасынка. Поучал, наставлял, требовал уважения, словно с самого рождения заботился о нём.

А Сергей помнил своего отца. И узнал бы его даже без фотографий, хранящихся в старом альбоме. Родители разошлись, когда ему исполнилось шесть лет — отец был неудавшимся музыкантом и сильно пил. Сейчас никто не мог сказать, где он, и мать боялась случайно узнать что-то страшное, надеясь, что он всё же уехал к свекрови в Магнитогорск и оклемался от своей болезни. Кроме фотографий и старой коробки с нетронутыми струнами у Сергея осталась тёплая и ноющая память о нём. Он точно знал, что они вместе играли в прятки, и до сих пор помнил запах кожаной папиной дубленки с искусственным мехом, за которой прятался в шкафу. Дверца этого шкафа, не желая затягивать детские раны, до сих пор скрипит, обманывая наивное сердце. Но дублёнки за ней уже давно нет...

Утром земля с тусклой и вялой травой кое-где ещё удерживала нежный иней. Тонкие деревья будто подтянулись за ночь и, зажатые серой изморозью, застыли в новом виде. Запахло зимой.

Сергей как обычно выгуливал Ласку, высиживая на лавочке у подъезда положенное на прогулку время. Собака скрылась за кустами. Сергей присмотрелся — Ласка гонялась за хромым голубем, но не стал вмешиваться.

«Собака — единственное существо, кроме матери, которое способно принять человека таким, какой он есть, — думал Сергей, разглядывая лужи под ногами, — а может, Ласка любит инстинктивно и, конечно, полюбила бы любого другого хозяина. И мать. Она ведь тоже, получается, любит инстинктивно, потому что в ребёнке часть её самой. И любила бы другого своего сына точно так же, как и меня. И полюбит. Но почему так сложно принять и полюбить человека неродного, чужого?».

Сейчас, когда мама так поздно забеременела, Сергей останавливал себя на мысли, что где-то в самой глубине своего сердца ненавидит ещё не родившегося ребенка за то, что тот может погубить мать. Ненавидит и за то, что если не погубит, то заберёт всю маму навсегда. И он останется один. Правда, Сергей уже давно съел себя мыслью, что никому не нужен и что его держат из жалости. Что он, как напоминание о ненавистном прошлом, о ненавистном отце, остаётся больным местом новой маминой семьи. Но почти так же давно он оброс твёрдой плотью и выработал иммунитет к этой заразе. И сейчас было не время снова страдать из-за неё.

— Ласка, домой! — закричал Сергей.

Собака лишь гавкнула в ответ, давая понять, что она слышит, но от голубя не отступилась. Наконец, извернувшись и подпрыгнув, она зажала добычу клыками и побежала к хозяину. Глаза собаки не выражали ничего — ни радости, ни удивления от впервые пойманной добычи.

— Фу, фу, выплюнь эту гадость! — скомандовал Сергей. Она опустила голубя на землю и, виляя хвостом, радостно залаяла.

На пары Сергей шел медленно, всё размышляя про мать, отчима и ребёнка. Да, мама его любит, и да, им с отчимом нужен общий ребёнок. Пытались давно, а вышло только сейчас. Зато сколько разговоров было первые года два! Сначала радостно спрашивали, хочет ли он братика или сестрёнку, потом с тоской в голосе говорили, что братик задерживается, а затем и вовсе перестали упоминать об этом, но тяжело нависшая в доме безысходность выдавала их. Вот так оно и случается — нежданно-негаданно. Выросло дерево и никого не задело, а пока по земле ходили, готовились, разговорами всю почву перетоптали.

Когда Сергей зашёл в аудиторию, лекция уже подходила к концу. Профессор исписал формулами половину доски. Говорили, что ему всего лишь семьдесят, хотя выглядел он лет на девяносто, мало что слышал и держал мел дрожащей рукой. А был когда-то кандидатом в мастера спорта.

Сергей подсел к Косте, потому что чувствовал свою вину перед ним. Костя, худенький темноволосый парень, как всегда сдержанным, мягким жестом пожал руку Сергею. И снова увлёкся лекцией, продолжая аккуратно записывать формулы в тетрадь.

Кто-то из аудитории задал вопрос. Профессор никак не отреагировал — послышались смешки.

— Глухой пень! — сказал другой голос басом. Смешки повторились.

«Почему он не уходит из института, зачем мучает себя и других?» — подумал Серёжа.

— Время! — закричал бас теперь очень громко.

Профессор посмотрел на часы, разглядывая минутную стрелку.

— Еще двадцать минут, — сказал он, повернувшись к студентам, — но

если хотите, отпущу на десять раньше, — так наивно и беззащитно улыбнулся, что Сергею стало стыдно за него.

Когда профессор уже заканчивал, Костя принялся искать киносеансы на смартфоне. Сергей понял, что тот хочет позвать его в кино, и в нём тут же проснулось знакомое чувство жалости к себе. Не готов он был смотреть в ту же открывшуюся глубину, что и Костя. И хотя друг не требовал какого-то особенного сострадания, Сергей всё-таки трусил взять его за руку и пойти с ним дальше, туда, где Костя путешествовал в одиночестве.

— Пошли сегодня на вторую часть? — спросил Костя, показывая трейлер. Сергей замялся и не смог сказать “да”. Как не смог сказать что-то важное в тот день, когда узнал о болезни друга, а отгородился общими фразами: «Еще ничего неизвестно», «Выкарабкаемся», «Для того и нужны трудности, чтобы их преодолевать», — которые и поставили в тот день между ними стену.

Он сказал, что идёт сегодня к матери в больницу. Костя чуть улыбнулся в ответ.

Больница, ещё советской постройки, стояла недалеко от университета. Серая, тусклая, как и большинство больниц. Сергей давно уже не бывал там, презрительно относясь к врачам и ко всей медицине в целом. Он был уверен, что все таблетки вредны, и, как ни странно, почти всегда обходился без них.

— Молодой человек, вы куда? — окликнула Сергея женщина из регистратуры.

— Я к маме, — ответил он недоуменно.

Женщина взглянула на него.

— Отделение какое?

— Второе.

— Без халатов не пускаем, — отрезала женщина и уткнулась в свои бумаги. Сергей всегда имел свое мнение по поводу того, кто прав, а кто виноват, и никогда не скрывал его. И сейчас он чувствовал, что эта женщина виновата, обращаясь к нему так высокомерно и не пуская в отделение, и уже готовился начать спор с ней, но услышал, что его зовут.

— Молодой человек, идите сюда, — полноватый, но подтянутый аптекарь, протянув свой белый халат, ласково и лукаво улыбнулся. — У меня перерыв сейчас. Как вернётесь, ко мне в окошко его положите.

Сергей сказал «спасибо», но не чувствовал благодарности, будто отдать свой халат было именно то, что аптекарь должен был сделать, как человек хороший и честный.

В палате лежало пять беременных женщин — все молодые, кроме мамы. Было душно, и от того ещё крепче пахло хлоркой. Палата была почти вся белая, но это белое казалось грязным. Все женщины, кроме мамы и еще одной, совсем юной девушки, спали. Сергей внимательно посмотрел на мать. Ему показалось, что за эту неделю живот её сильно вырос, а лицо похудело и постарело. Будто плод внутри неё забрал её жизненные соки. «Надеюсь, он родится раньше, чем высосет всё до конца», — подумал он.

— Сына! — воскликнула мама удивленно, увидев Сергея.

Она как всегда улыбалась ему, но в этот раз улыбка её была горькой.

— Что врачи говорят? — спросил Сергей, подсев к матери и поправляя скомканное одеяло.

— Что говорят? Старая уже, — недовольно прошептала она, чуть пододвинувшись.

— Не так, как молодой таскать.

— Что ты такой мрачный? — обратилась она к сыну, как бы шутя. — Говорят, самый расцвет женской красоты приходит во время её беременности.

Сергей поморщился и тут же заметил на себе пристальный взгляд с другой стороны палаты. Он повернул голову направо и встретился глазами с молодой девушкой. С русыми, крепко прибранными волосами и с полноватой фигурой. Все это время она умилительно наблюдала за тем, как разговаривают Сергей с мамой, и думала о чём-то своём, глубоком, — у неё были уже поздние сроки.

— Как осень красива своим собранным урожаем, так мать красива своей отданной силой, — продолжала мама. — Вот так и говорят, — задумчиво повторила она, как бы сама желала понять, правда это или кто-то придумал для поднятия уверенности молодым мамочкам.

Казалось, ей тяжело было сидеть, хотелось наконец лечь — то и дело она поправляла за спиной подушку.

— Поскорей бы домой, — вздохнула. — Мне в последнее время снятся ящерицы, не кусают, а просто вьются возле меня по комнате, — по-особенному значительно рассказывала мама сон. — Как бы раньше сроков не вышел братик твой.

О чём она думала, Сергей не знал. Но чувствовал, что думала она не о том, о чём говорила. Или скорее думала не так, как выражала. Улыбаясь ему, взгляд задерживала где-то далеко и будто по принуждению отводила его обратно к сыну.

— Хватит, мам, не нервничай, а то точно выйдет.

Мама примиряюще кивнула, сказав:

— Ночью одна роженица умерла. Не справилась, — добавила, кивая в сторону кровати, на которой лежала новенькая молодая девушка.

Сергей опять взглянул направо — девушка серьезно смотрела на него. Потом он стоял в коридоре у окна, мысленно видел этих рожениц и отчётливее всех ту, молодую. Он удивился, почему раньше не ощущал громадной беззащитности беременных женщин, которую почувствовал сейчас. Но как мирно было лицо той девушки. Он знал почему-то, что она одна, без отца ребенка. И ему стало страшно перед её спокойной силой и в то же время жалко её, а потому и ещё более страшно. Чужие жизни катились мимо снежным комом в самый низ по горке, а его не задели, оставили на верхушке. И неправда то, что, зацепляя всё больше, они быстрее приближались к земле. Правда в том, что, зацепляя всё больше, они не превращались в слякоть.

Вдруг захотелось позвонить Косте. Прошло не более пары часов с их расставания, но Сергей понимал, что на самом деле их разделяло намного больше времени. Он почувствовал тоску, какую чувствуют родители по оставленному ребенку. Захотелось раскрыться и раскрыть его, дать ему выкричаться, выплакаться, высказаться.

Через окно на лестничном проходе он заметил идущего в больницу отчима, и боясь, что тот застанет его здесь, у окна, зашагал вниз по лестнице. А уже насчитав девятнадцать пролётов, неожиданно понял, что просто так поменять себя он не может. Есть жизнь, а есть он, который слаб для неё. Есть бабочка с не миловидной, а жестокой внешностью, потому что не искусственная, а жизнь — это не кукольный домик. Живёт она всего несколько дней, да и умирает ещё раньше сроков нелепо, обжёгшись о плафон. И ни на минуту она не предаёт себя, каждое мгновение неся на себе свой бабочкин крест. А есть люди, такие, как он, которые не признают свой крест, распиливают его и раскидывают по чужим головам. Один скажет, что так справедливо, а другой будет требовать понимания. И встанут оба, перекидываясь щепками, и не сдвинутся с места.

Какое-то детское воспоминание всё резалось ему в голову, но никак не могло прорваться. Что-то такое, что, как ему казалось, роднило его с Костей. И вот наконец вспомнил. В детском саду он часто оставался вечером последним, кого ещё не забрали родители. Отец должен был приходить за ним, но в итоге прибегала с работы мать, заплаканная и растрёпанная. А тот заявлялся домой только под утро, пьяный...

Спустившись, Сергей подождал с минуту в холле. Прикрыв за собой входную железную дверь, Антон прошел к гардеробу, не заметив пасынка. Сергею показалось, что Антон сейчас больше напоминал побитого и загнанного в клетку тигра, чем самого себя. Он подошёл сзади и, почти не касаясь, накинул белый халат ему на плечи.

На сугробы и теплый асфальт падал, может быть, уже последний за эту зиму снег. Земля, как покойница, лежала под белым одеялом, мёртвая, бесплодная. Но красив был её покой и светел. И не траур лежал на нём, а великолепие.

В коляске, посапывая, спал ребёнок. Блеснув первой молнией, жизнь в нём ещё не разгорелась. И не торопясь, зная свое дело, наливалась она свежими соками, румянилась и будто мячиком поигрывала молодыми своими силами, не щадя их и не жалея. Позади бежала Ласка, оставляя на белом снегу тёмные следы.

Брат родился на два месяца раньше сроков — врачи вытащили кесаревым. Мама показывала его из окна больницы — заходить не разрешали. Отчим был счастлив, к больнице приехал с огромным букетом разноцветных роз, так как от радости не мог определиться, какие лучше для такого случая.

Когда увидел улыбающуюся жену и белый сверток на её руках, то бросил охапку цветов высоко вверх так, что розы пёстрыми мазками широко легли на серую мокрую землю.

Сергей с коляской остановился у фонаря, где осенью видел бабочку. Сегодня он снова ждал Костю. Он посмотрел на плафон — до бабочек ещё было далеко. Только тающие на нём хлопья снега. Впереди он узнал силуэт друга. Тёмная фигурка, будто подтаивающая от снегопада. Сергею вдруг врезалась в память утренняя сцена в университете. У раздевалки стоял ящик для сбора средств, на ящике Костина ещё школьная фотография, номер курса и диагноз. Рядом остановился старый профессор. Сначала долго вчитывался, затем медленно перекрестил фотографию на ящике и направился дальше. Но вскоре, будто что-то припомнив, вернулся обратно и положил в ящик несколько купюр из бумажника. Покачал головой и пошёл, уже больше не останавливаясь.

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Рассказ

Глухо стучит мамино сердце под сорочкой. Олеся приникла головой: тук…тук…тук….

У девочки Саши из параллельного класса умер папа. Учительница сказала, что остановилось сердце...

Олесе не было жалко Сашу, с которой она и раньше мало разговаривала и которую с тех пор стала совсем избегать. Она чувствовала только жуткое удивление.

Тук.тук. стучит, но будто медленнее. А если остановится? От этой мысли Олеся приподняла голову и через мгновение плотнее зарылась под мамино крылышко. Мама так называла свою руку и, когда Олеся плакала, приглашала «под крылышко», а потом ласково убирала с лица спутанные волосы. В голове всё сдавило от подступающих слёз.

Мама молодая, даже бабушка у них ещё жива. Мысль, что бабушка жива, немного обрадовала Олесю, ведь мама не может умереть раньше неё.

Саша появилась в школе через две недели. Деньги, которые собрали её маме, она взяла. Олеся не знала, сколько было денег, но ей немного захотелось, чтобы у неё тоже умер папа. Ей бы этих денег на многое хватило. На летающую фею из рекламы. И ещё на что-нибудь.

Олесин папа давно ушёл от них. От неё не скрывали, что он живёт с другой тётей и покупает игрушки другим деткам. Олеся понимала, когда по телефону мама разговаривала именно с ним, — тогда мама ругалась и говорила, что Олесю кормить нечем. Олесе от этих слов становилось до горечи обидно, и она сразу же начинала кричать из комнаты: «Мама-а, не-ет!» Мама строго цыкала на неё, прислоняя трубку к груди: «Олеся, тихо ты!» Олеся тут же прибегала на кухню и, стуча кулаками по маминым бёдрам, отчаянно требовала: “Скажи, что я не голодная, мамочка, нет!” Мама ещё больше злилась на папу и вскоре бросала трубку...

«Олеся, перестань вертеться, завтра не встанешь», — вдруг пробурчала мама.

От строгого маминого голоса все страхи вмиг исчезли. Притихнув и закрыв глаза, Олеся заснула.

Мама проснулась в семь. Олеся слышала будильник, но знала, что её разбудят позже. На кухне загудел чайник, потом зашипело на сковороде масло. Эти звуки теплом растеклись по телу. Они были вестником самого важного — мама не умерла, не сейчас. И не хотелось ни засыпать, ни просыпаться, а только дремать с этой солнечной мыслью.

У соседей через стенку заиграла иностранная песня. Олеся смогла понять только «love» и «my». Увлекаясь танцевальным ритмом, она застучала пальцами по матрасу, будто по клавишам фортепиано, но легче и небрежнее. Песня предвещала ещё неизведанное веселье и вела в будущее, была самим будущим — загадочным и счастливым.

Готовя на кухне, мама тоже услышала эту песню сквозь звуки шипящего масла и утреннего цапанья метлы по асфальту, доносившегося из окна. И ненадолго вспомнила школьное время, когда эта песня только вышла в эфир. «Почему сейчас всё не так, как представлялось?» — подумала она вскользь. Но попытка ответить на этот вопрос вызвала только прилив тоски, и мама в очередной раз сделала вывод: молодость просто обманула её.

Мама взяла из косметички зеркальце, чтобы успеть накраситься. К тридцати годам она выглядела старше своего возраста, и её это огорчало. Разве только упругую и высокую грудь по-прежнему не покидали молодые силы. И внутри самой мамы до сих пор жила молодая искорка. Она разжигала огонь, когда мама нравилась мужчинам, когда ей дарили подарки и подвозили из клуба домой. Эта искорка родилась в девичестве и всё ещё не перегорела.

— Олесь, вставай, — поцеловала она дочку в лоб.

Олеся сделала вид, что спит, мама начала злиться.

— Если не проснёшься, оставлю тебя здесь! Всё, — мама встала с кровати и, не колеблясь, направилась к двери.

Прикидываться спящей Олесе уже не хотелось, ведь в школу всё равно бы пришлось собираться или ещё хуже — оставаться дома одной. Но и про-

сто так встать она не могла. Олеся надеялась, что мама ещё раз ласково подойдёт к ней, погладит по лбу и вкрадчиво и нежно попросит встать. Уже сожалея о своей игре, она будто чувствовала на себе мамину нежную руку и тёплый поцелуй.

— Ты портфель собрала? — крикнула мама из кухни.

Олеся нечаянно ответила: «Да!» — и обрадовалась, что нехотя обнаружила себя.

— Проснулась, наконец, — мама зашла в комнату. — Одевайся быстрее и блины кушать.

На обеденном столе осталась лежать мамина косметичка. Прозрачный мешочек, заляпанный кое-где фиолетовыми тенями и чёрточками туши. Силуэты волшебных тюбиков с английскими буквами приковали Олесин взгляд. Хорошо бы сегодня после школы попробовать всё это до маминого прихода. Когда-то давно Олеся уже пробовала накраситься помадой, но на ней она смотрелась совсем не так, как на маме. Сейчас же она почувствовала в себе больше умения и сноровки.

— Посмотрим сегодня, что у тебя по русскому будет за четверть, — сказала мама будто по привычке, и вспомнила, что вечером нужно пораньше уйти с работы и отвезти ребёнка к бабушке. Ещё успеть собраться — в семь подъедет Паша.

У Олеси опустилось сердце... Она знала, что у неё будет «три». Свёрнутый в трубочку блин стал каким-то чужим, словно это не её вовсе блин, а другой девочки, а она, Олеся, не имеет права макать его в сгущёнку и есть.

Закончился последний учебный день. По русскому поставили «три». Олеся на другое и не надеялась, разве только самую малость. Вернувшись домой и сбросив грузный портфель в коридоре, она начала, торопясь, искать место, куда можно было бы спрятать дневник. Но в маленькой однушке не находилось ни одного шкафчика, который мама не могла бы случайно открыть.

Взывая к летней неге и беспечности, сквозь оконное стекло проникли толстые весенние лучи. Олеся присела. На обеденном столе продолжала лежать мамина косметичка. На мгновение стало даже легко и весело, словно тройки и не было. Олеся давно хотела попробовать намазаться тушью. Взяв мамино зеркальце, она провела толстой чернявой кисточкой по ресницам, но тут же задела глаз и закрутила тушь обратно. Ещё рано. Настоящая жизнь ещё впереди. Когда она станет старшеклассницей, а мама начнёт покупать ей лифчики и туфли на каблуках, а в школу разрешит ходить с распущенными волосами.

В коридоре послышались шаги. Олеся быстро положила косметичку на место.

— Олесь, сейчас кушать и к бабушке, — сказала мама с порога.

У бабушки всегда полный вкусностей холодильник и свободный компьютер, на котором можно сколько угодно смотреть мультики. От радостной новости Олеся забыла про дневник.

Посмотрев на дочкины туфли, мама вспомнила, что забыла купить Олесе сандалии. Бабушка начнёт ворчать. Мама недовольно вздохнула.

Бабушке шёл уже седьмой десяток, и сказать, что она выглядела моложе своих лет, нельзя было. Она продолжала работать в кассе на вокзале, хоть и брала уже только половину смены. От долгого сидения поясница ныла так, что её потом невозможно было размять, да и пошатывало иногда от усталости по дороге домой.

Когда пришли Олеся с мамой, бабушка хозяйничала на кухне.

— Это мы, — сказала мама, заходя в квартиру.

— Ага, проходите, — сказала бабушка, переворачивая котлеты. — Надолго ли теперь? — спросила она бессильным голосом.

— До завтра. Я пораньше зайду, — ответила мама, торопясь уйти и уже целуя Олесю на прощание.

Бабушка слегка покачала головой, мол, знаю я, как ты пораньше зайдёшь, прогуляешь до утра, проспишь до обеда и придёшь к вечеру, если не на следующий день. Ребёнок каждые выходные у бабки, матери не видит и домой идти не хочет. Да разве такое возможно, чтобы ребёнок к матери родной не хотел домой идти?

— Покормила хоть?

— Она ничего не съела почти, пару ложек супа только.

Олеся, нахмурившись, замычала на “неё”, но больше для вида, так как кушать уже хотелось.

— Пошла я.

— Давай, давай, — уже в закрытую дверь сказала бабушка. — А мы с тобой обедать будем, — обратилась она к внучке.

Олеся долго стояла в ванной и намыливала руки новым, только что развёрнутым бабушкой хозяйственным мылом, смотря на себя в не заляпанное, как у них, засохшими каплями зеркало.

Бабушка намазала на котлету сметану. То ли от голода, то ли сметана действительно делала мясо вкуснее, но Олеся подумала, что теперь будет просить маму готовить именно так.

— Как в школе дела?

У Олеси всё опустилось. У неё же тройка по русскому! Где она оставила дневник?! Она же его не успела спрятать... Он остался на столе — мама его найдёт.

— Нормально, — попыталась непринуждённо ответить Олеся.

«Несчастный ребёнок, — подумала бабушка, — с утра встаёт, учится. Так ещё дома мать не кормит и по мужикам чужим бегает. Неужто мы так раньше жили, дед? — переведя взгляд на портрет умершего мужа, стоявший рядом с иконами, подумала бабушка. — За что мне одной на Настькины несчастья смотреть?»

Олеся привыкла, что бабушка часто молча разговаривала с портретом, и в такие моменты старалась не смотреть в её сторону, как будто бабушка делала это тайком от неё.

«Подрастёт немного Олеська, и мне к тебе уж можно будет на покой», — обдумав ещё что-то, прошептала бабушка.

Мама едва успела собраться. Приготовила мясо, приняла душ, ещё раз накрасилась и сменила постельное бельё. Обвела взглядом давно немытый пол: «Много чести будет!» — и не стала убирать. На столе в прихожей лежал Олесин дневник. «Ну-ка, ну-ка, неужели ей четыре всё-таки поставили, раз она на виду его оставила», — подумала мама, открывая его. Но там стояла тройка. «Значит, оставила, чтобы я узнала в её отсутствие. Но так, может, даже умнее. Я в детстве обычно прятала».

Паша приехал с пустыми руками. Мама встретила его с едва скрываемым недоумением. Он это заметил, но сам продолжал широко улыбаться.

— Привет, сладкая, — притянул он её за талию.

«Да ты, я смотрю, уверен в себе», — подумала мама, слегка отстраняясь. Возле порога лежали тапки, оставшиеся от мужа. Она специально достала их для Паши, но сейчас обуть не предложила и прошла в комнату. Сев в крес-

ло, начала рассматривать себя в зеркало, висевшее на стене напротив. Она была в однотонном синем платье без лишних деталей, которое, несмотря на это, очень выигрышно подчёркивало её фигуру. Закинув ногу на ногу, она села так, чтобы побольше оголить ногу из-под платья.

«Посмотрим, что ты будешь делать», — злорадно подумала она.

— Девчонка-то не придёт? — разуваясь, спросил Паша.

Мама сначала не поняла, про какую девчонку он говорит. Но заметив, что он смотрит на Олесин портфель, оставленный в коридоре, догадалась. Она и так чувствовала себя униженной из-за того, что постаралась, приготовила мясо, купила дорогой торт, а он пришёл с ней переспать, даже не удосужившись купить цветы или бутылку вина. А теперь ещё позволяет себе её дочь называть «девчонкой»!

— Мою дочку зовут Олеся. Это её дом, когда захочет, тогда и придёт.

— Как бы не в тот момент-то не пришла, — сказал Паша, смеясь совсем простодушно и без злобы. — Я в туалет зайду?

— Вон там, — показала мама.

Да что же он вздумал про себя такого! Неужели он считает, что раз у меня ребёнок, я кинусь на любого, лишь бы взял?

Выйдя из туалета, Паша не знал, что говорить, и продолжал улыбаться.

— Суп будешь?

Паша помялся.

— Может, что-нибудь выпьем? — спросил он, подсмеиваясь.

— А ты что-нибудь принёс? — ликуя про себя, ответила мама.

— Не-ет, но я могу сбегать, — сказал он, оставаясь довольным собой.

— Давай, беги.

Мама поспешно выпроводила его. Защёлкнулась дверь, и она поняла, что ни за что не впустит его больше. В углу коридора лежал Олесин портфель.

«Возвращайся к себе домой», — написала она Паше СМС. Он несколько раз позвонил — она не взяла трубку.

Зайдя на кухню, мама первым делом достала сковородку с мясом и, не перекладывая в тарелку, начала есть.

Ну, а что делать? Первый сорт уже давно разобран. Но на хороших она раньше не смотрела, да и сейчас бы, положа руку на сердце, не взглянула, как бы здравый рассудок ни подсказывал. Так она в школе послала страшного одноклассника. А он единственный, кто ей за всю жизнь подарил украшение, не считая мужниного обручального кольца. Серебряный кулон сердечком ... Так, как он, никто не ухаживал и так долго её не добивался. Не побоялся, на выпускном признался, стих рассказал даже. Наверно, сам сочинил. А сейчас в Москве, хорошо зарабатывает. И симпатичным стал. Обычно воспоминания об упущенных мужчинах не вызывали большого сожаления, но не сейчас.

За просмотром очередной серии мелодрамы по кухонному телевизору, бабушка не торопясь состряпала ещё одну сковородку котлет. Олеся бегала то в зал за компьютер, то к бабушке на кухню.

— Баб, а ты во сколько лет замуж вышла? — спросила вдруг Олеся.

— За деда-то? — переспросила бабушка, будто вспоминая. — За деда, Царствие ему Небесное, я вышла, когда мне двадцать семь было, — облокотившись на подоконник, с нежностью начала рассказывать она. — Засиделась я тогда в девках. Мать моя, покойница, Царствие ей Небесное, не хотела меня отдавать, не молод ведь был он уже, да ещё разведённый. В то время это ого-го! — погрозила бабушка пальцем, подумав, что сказала лишнего. — Не то что сейчас, творят, что хотят.

— Ты его любила, баб? — заинтересовалась Олеся.

— Любила, не любила, дом уже свой хотелось, очаг, — строго сказала бабушка, думая, что рано Олесе ещё про любовь-то спрашивать. — А он, конечно, ухаживал хорошо, ни на шаг не отходил. Я тогда девка добротная больно была, круглолицая, и не думала, что глаз на меня кто положит. А он положил, в душу смотрел... Не на внешность смотреть надо, вот так вот.

— Жили-жили, не тужили, — вздохнула бабушка после недолгого молчания, — и прибрал его Бог, сердечко слабенькое было. Упокой душу раба Божьего, — бабушка перекрестилась и поклонилась иконе Божьей Матери, стоявшей на подоконнике.

— Жизнь-то она штука тяжёлая, хоть и простая, проще некуда, Олесенька. Господа почитай, да мать свою люби и слушайся, — бабушка погладила её по голове.

Надеясь ещё что-нибудь интересное услышать, Олеся не торопилась идти в зал. Но казалось, заговорив о Боге, бабушка уже не вернётся к прежнему разговору, не расскажет, как же именно дед её любил. Олеся хотела ещё спросить, как же слушаться мать, если бабушкина мать не хотела её выдавать замуж, но было неудобно — бабушка уже занялась вдруг обнаружившейся пылью на иконе.

Стукнула входная дверь.

— Это я, — торопливо и громко назвала себя мама.

— Мама-а! — подбежала к ней Олеся.

— Ух ты, как рано! Даже не позвонила! Нагулялась уже? — вышла из кухни радостная бабушка.

— Собирайся, Олесь, — мягко скомандовала мама.

— Да посиди немного-то, поешь, котлет ещё нажарила. А то только бегаешь туда-сюда.

— Мама, да, давай посидим! — подумала Олеся о том, что как раз не досмотрела мультик, и побежала в зал за компьютер.

Мама с бабушкой сели ужинать.

Накладывая котлеты, бабушка предложила добавить сметаны, но мама торопливо отказалась. «Со сметаной-то вкуснее», — пыталась её уговорить бабушка. «Нет уж, спасибо», — усмехнулась мама. Бабушка, вспомнив, с каким аппетитом кушала Олеся эти котлеты, с болью подумала, что поздно уже что-то говорить. Дочь её больше не слышит. Но чувство кровной и никем не отменяемой власти матерей над своими детьми было сильнее всяких мыслей.

— Нормального тебе мужика надо... У Надьки Топтырёвой сын ведь давно уж развёлся. Работящий, здоровый мужик, матери слова лишнего не скажет.

— Мама-а-а, — басом протянула мама.

— Ну, это по её вине он развёлся-то, она шалавила от него. А что «мама»? Ребёнку отец нужен, а не твои ушёл-пришёл.

— Уж лучше ушёл-пришёл, чем как вы с папой жили, — отрезала мама.

Бабушка молча взяла со стола соль и, не торопясь, посыпала котлеты на своей тарелке. Мама искоса наблюдала за ней. Бабушка принялась за свою котлету. Прошло несколько минут. Дожевав последний кусочек, она прервала молчание.

— А кто сказал, что жизнь лёгкая-то будет? Всякое было, что уж греха таить. И гулял дед, и пил. Но терпеть ведь вместе надо, а не к другим мужикам в отместку убегать.

— Терпее-ть? — удивилась мама. — А ребёнка тебе своего не жалко было?

Когда папа меня ремнём хлестал? Когда он ко мне в школу пьяный ввалился? Нет, тебе не было меня жалко, ты и не спрашивала, как я себя чувствую!

Бабушка осторожно прикрыла дверь из кухни. Так у двери и осталась, не садясь.

— Только его жалела и около него бегала: Коленька, Коленька... — уже тише закончила мама.

Мама замолчала, остановив взгляд на старых часах с кукушкой, чтобы на чем-нибудь его остановить. Из её распахнутых глаз катились слёзы. Позади стояла бабушка.

— Всех было жалко. Такова судьба у нас, значит. И ведь вытащили деда-то... — бабушка положила руки на мамины плечи.

Мама нервными глотками стала пить чай.

— Как оттикают, так и умру я. Остановятся. значит, зовёт меня к себе. А ты же на кого с Олесенькой останешься? Что же я деду-то нашему горемычному скажу? Не сберегла, не пристроила? — спокойно и равномерно приговаривала бабушка.

Мама знала, что эти старые часы давным-давно были подарены бабушке как приданое. Но никогда раньше бабушка не говорила о них так — с полной верой в свои глупые и страшные мысли.

— Хоть какой, да один должен быть, постоянный, — как точку поставила бабушка.

Мама, ничего не ответив, продолжала смотреть на часы: стрелка слабо отмечала: тик...тик...тик...

На кухню заглянула Олеся.

— Ты чего прибежала-то? — не давая пройти к маме, нависла над ней бабушка.

Олеся сказала, что досмотрела мультик, но, заметив заплаканную маму, остолбенела: «Мам, ты чего?»

Мама, услышав про мультики, вдруг вспомнила про оставленный на столе дневник: «Уроки лучше бы учила, мультики она смотрит», — сказала она и на последних словах, сама, не ожидая того, рассмеялась. Бабушка тоже начала улыбаться.

— Тройку схлопотала, да? — стараясь быть серьёзной, спросила мама.

Олеся опустила голову — вот он, настал этот момент. Но настал он совсем не так, как она того ожидала. И мама говорила совсем не так. Олеся даже почувствовала, что она вовсе ни в чём не виновата.

— Ладно, иди. В следующем году шкуру с тебя сдеру, только попробуй у меня трояки получать, поняла?

Олеся, кивнув, убежала в комнату. Впервые она почувствовала такое облегчение, вдруг явившееся после стольких переживаний. Но отчего же плакала мама. Этот вопрос зародил в ней новый страх.

— Ишь, троечница! А я же спрашивала, как в школе, нормально, говорит. — продолжала ласково смеяться бабушка.

Они смеялись, глядя друг другу в глаза.

Бабушка провожала маму и Олесю взглядом, стоя у окна. Вот уже подошли к автобусной остановке и в ту же минуту затерялись в толпе ожидающих людей.

«Видимо, опять автобус сломался», — подумала бабушка.

Она вспомнила, как с утра садилась на этой остановке, чтобы до рынка доехать. И тоже полным-полно людей было в автобусе. Кто сидел, кто стоял. Место уступил молодой совсем паренёк. И как-то робко так, даже стыд-

ливо предложил: «Бабушка, садитесь». Что он, интересно, думает, когда старых видит? Наверно, уже как на мёртвых смотрит. А все-то мы и живы, и мертвы одинаково. Все в шажочке друг от друга. Как в этом автобусе все вместе по жизни и едем.

Этот паренёк ещё не видит, а я всех вижу, каждого чувствую, каждый внутри меня есть. Потому как каждый из нас ребёночек чей-то. И у старух, и у мужиков больших мать есть.

Бабушка вспомнила свою матушку и, как сейчас, увидела её. Заходят они с Колей в дом, а матушка сидит на полу, чернику перебирает. Коля-то сразу: «Собирай, матка, приданое». А матушка как встала, так и стоит, смотрит на них, будто ребёнок испуганный. То на одного посмотрит, то на другого. «Людка-а-а, — заголосила матушка, — дура ты, девка!..» — и заохала, хватаясь руками за голову. А сама двумя ногами-то на чернике стоит, придавила ягодки и не замечает.

«И все-то мы детки малые и детками останемся», — прошептала бабушка.

СТАКАН МОЛОКА

Рассказ

Однажды мне представилось, что будет, если я умру. Вокруг меня точно появятся бесы.

Самое ужасное, что они никуда и не уходили, а всегда присутствовали рядом и нападали на наши души: в новогоднее застолье, в компании с друзьями, в транспорте и на улицах. Их невидимая армия, выстроенная плечом к плечу, с начала веков выступает из-под земли своими бесплотными тенями, хватает волосатыми лапами людей и тянет их под мокрую землю. И идут люди, а души их наполовину под землей. Ложатся спать, а присосавшиеся бесы пробуют бессмертность на вкус своими клыками. Как об камень точат, как глину отрезают, как песок зачерпывают. А душа под землей задыхается, и швыряют ее, бездыханную, в раскаленное ядро Земли. Погибла, пропала душа.

Пока что я жив, здоров и примериваю красную рубашку, выглаженную женой к Новому году. Мне тридцать два года, а я раз в десять хуже себя самого в детстве. Засыпал вчера и не мог понять, почему я так обмельчал. Разве с такой же тяжестью я ложился спать мальчиком, когда мать мне читала сказки про Ивана-дурака или когда под одеялом подписывал любовную открытку однокласснице? Смотрю на остальных: есть люди и хуже, и очень много таких же. А я думал, что вырасту, как они: сильными, умными, загадочными царями этой земли. А их надо было уличать. Они не послушали бы друг друга, а ребенка послушали бы. Но ребенок по своей наивности уверен, что все знают что-то, чего не знает он. Поэтому он не уличит, а если и уличит, будет чувствовать себя виноватым. Дети всегда и во всем чувствуют себя виноватыми.

Помню, мне было столько же, сколько сейчас Юле, моей дочке, то есть около пяти лет. К нам приехала погостить бабушка – папина мать. Мы остались дома вдвоем, так как я болел, а родители были на работе. Она поднесла к моей кровати стакан молока. Я привстал, протянул руку, и в то же мгновение горячий стакан выскользнул из рук и серой лужей разбился на ковре. Бабушка выругалась и молча, с хмурым видом, начала убираться. Мне было стыдно, я никак не мог заговорить с ней в тот день, да и она ко мне не ласка-

лась. Но я не подумал о том, что она вообще никогда ко мне не ласкалась. И искал причину только в себе. Даже после того, как пришли родители, я ни разу за вечер не привстал с дивана пошалить или поиграть с новой игрушкой – человеком-пауком, хотя и чувствовал себя уже здоровым. И все думал, что если позволю себе расслабиться, бабушка в ответ на мое незаслуженное веселье нашепчет маме про мою рассеянность, и та придет меня ругать.

Сейчас я знаю, отчего она была постоянно хмурая. Моя мать всю жизнь злилась на нее, а та отвечала ей тем же. Когда я еще не родился, папина сестра заставила бабушку переписать квартиру на себя. Она напирала на то, что живёт вместе с мужем и детьми в «двушке», что им мало места, к тому же приврала, что беременна третьим – так мать моя говорила. А бабку отправили в захолустную деревню. Для своих детей вроде бы тётка постаралась, а разве детям это нужно? Квартиры нужны взрослым. Детям нужны родители в небесных коронах.

Мать же с отцом всегда отличались острым чувством справедливости. Только, у отца это означало: «Главное, чтобы я вам ничего не должен был, а если вы должны, Бог вас рассудит», а у матери: «Все, что по справедливости мне и моей семье причитается, я заберу». И потому мать моя, одной ногой уже в гробу, до сих пор в душе своей вынашивает камень, бабке причитающийся, а камень этот вниз ее тянет. А бабушки и в живых-то уже нет.

Но отец мой тоже не святой. Однажды мать нашла в его куртке помаду. Они долго ругались, и он начал собирать вещи, а в один чемодан все не помещалось. Для того, чтобы в доме «ни одной тряпки его не осталось», мать пошла в магазин за пакетами. От злости она принесла целую коробку пакетов. А когда я начал плакать, велела мне закрыться в комнате и не выходить. На улице была зима. Я открыл балкон, чтобы успеть окликнуть отца, когда он выйдет из подъезда. Я не знал, что буду говорить. Вероятно, я бы просто пропищал «папа» и захлебнулся рыданиями. Но когда он сложил вещи в пакеты, мать порезала их ножницами вместе с одеждой. Отец остался дома.

И сложно, и больно ребенку представить, что в его семье кто-то друг друга не любит, что его семья не царская, а бесовская. И берет ребенок-царь все грехи на себя...

Когда настал тот момент, что я перестал винить себя и начал винить всех? Когда вышел из детства. Просто попал в ситуацию, в которую попадают все люди на земле. Вырос и женился. И жена тоже попала в такую же – вышла за меня замуж. И с тещей, которая живет с нами, у нас плохие отношение, а у жены со свекровью – они тоже просто попали в такую ситуацию. А душу свою так просто не расширишь, и ситуация ее заглотит, как заглатывала моих родителей, моих бабок и дедов, и прадедов.

Катя докрашивает ресницы, с важным видом открывая рот. Юлю уже одели, и ей жарко – мы вдвоем спускаемся на улицу. Она меня за руку держит, еле ножками передвигает в болоньевых штанах и спрашивает: «Папаа, а ты маму лювишь»? Я даже не успел подумать и говорю: «Люблю, все родители друг друга любят». А она поднимает ко мне голову: «Когда лювят, дарят цветы. А ты не далишь». Не знаю, о чем там в садике дети разговаривают, видимо, вчера кто-то хвастался, а моей нечего было рассказать. Только Катя у меня цветы терпеть не может – говорит, потрудиться не хочу, придумать что-нибудь оригинальное, и для галочки покупаю «с довольной миной».

Я любил жену, точнее я любил девушку, невесту. Но не прошло и полгода, как она начала на меня ворчать, брюзжать, пилить и прочее. Мы давно уже

не разговариваем, а перекрикиваемся и обмениваемся колкостями. Нас это устраивает, так как семейная жизнь – это определенная ситуация, и никто не в силах эту ситуацию переопределить. Есть наверняка люди, которые стараются, но я не встречал тех, у кого бы это получилось.

С тещей мы не ругаемся, а только молчим. Помню, в первую неделю нашего знакомства она рассказывала, как в девяностые ее муж открыл офис в соседнем городе и через наемного работника продавал акции МММ. Заработал себе процент, которого в то время хватило на иномарку. Потом этого самого работника зарезал в подворотне обманутый вкладчик, а мужа ее так никто и не вычислил. Тёща рассказывала об этом мягко и будто виновато, но с нескрываемой гордостью, при этом показывая свое колье из чешского серебра с рубинами – подарок мужа. Ни один праздник, как я помню, без рубинов на ее шее не прошел.

Потоп или засуха, или война. Те, кто продавал акции МММ и чудесные средства для похудения, первыми побегут и затопчут тех, кто стоял и робко оглядывался. Уже сейчас, в комфортных условиях, они в цепких лапах бесовской армии, и души их уже дышат смрадом. Если сейчас эти люди отвечают: «А как еще выжить в этом мире? Кушать-то надо», убедительно кивая головой, выходя из салона своего авто, то с какой убедительностью они будут грабить квартиры людей во время дефолта и резать на пропитание соседей во время засухи? До бездны у них останется только один шаг, и они сделают его, и упадут...

И я его сделаю. Моя жизнь ничто, игра, в которую меня с рождения поселили, и я вроде бы знал правила, мне давали Библию, показывали церковь, но я не то чтобы проиграл, а даже не дошло до меня, что душа моя проигрывается без борьбы. И миллионы людей, живущие на Земле, виновны в том, что засыпали сладким сном, когда мою душу забирали без их сопротивления. А я виноват в том, что не кричал, не говорил, не шептал, а засыпал, закрывая тяжелыми ладонями два миллиона глаз.

Что во мне главным образом плохого? А то, что главным образом ничего хорошего и нет. Я никогда не изменял своей жене. Но уверен, что при возможности сделаю это. Искать в сетях каких-то женщин или заказывать проституток я, конечно, не буду. Но я готов к случайности, хоть и не жажду ее с нетерпением, так как знаю, что буду всю жизнь ходить с этим камнем на совести. Моя профессия недалеко ушла от продажи МММ, я риелтор – ненужный посредник и паразит экономической системы, не в поте лица своего зашибающий деньги. Помимо этого у меня в достатке других бесят и бесов. По списку смертных грехов я попадаю по каждому. Все они не в делах, а в мыслях и словах, но тем оно и страшнее.

Хотя и мало кто верит в возмездие так, как верю в него я. Я боюсь темноты, и бывают дни, когда даже с включенным светом, я засыпаю только к пяти утра. Нападает страх. Сегодня была именно такая ночь. Жена с дочкой спали в детской. Мы уже давно спим отдельно – Юля капризничает и тоже чего-то боится. Провертелся всю ночь с одного бока на другой, все какие-то тени мерещились за спиной. Я знаю, что нужно молиться. Я верю в бесов, а бесы во мне знают, что Бог есть. Но мысль, что ты не достоин прийти к Богу, что уже поздно, отводит меня от молитв.

Новый год — пьянка перед Рождеством. А ведь пост, хоть и не Великий, а на улицах дебош, разврат и чертова гулянка. И кресты на шеях. Если мужчины о них забывают, то женщины помнят. Помнят, что вместе с бусами крест на цепочке не смотрится, и сменяют его. Сменяют крест на бусы.

И на нашей улице праздник: мать, отец, теща, мы с женой и Юля у моих в квартире.

Дзинь-дон. Открыла теща, улыбается. Вышла из дома пораньше, чтобы помочь моим родителям со столом. В молоднявом платье и с толстым колье. Не к годам ей. При мертвом муже тем более.

На длинном столе накрыта белая скатерть с напечатанными еловыми веточками и красными бубенчиками. Вилки и ножи слева от тарелки, ложки – справа. Соки, шампанское, вино и сельдь под фиолетовой шубой. И стакан молока для Юли, который так нелепо смотрится за этим столом. Мать поспешно бегает из кухни в зал и обратно – переносит оставшуюся еду. Отец сутуло сидит на диване, смотрит советский фильм.

Катя уже отчитывает Юлю за желтое пятно на платье, и ей, видно, неловко перед свекровью, что дочь у нее такая шабутная. Юля же под мамины упреки бежит к сваленным в кучу подаркам под ёлку: «Бабуля, угадай, что мы с мамой тебе подарим? Это вкусно пахнет, и ты на волосы это делаешь», — и показывает, как бабуля духами прыскает на волосы. Моя мать угадала, но тут же нахмурилась, так как на прошлый Новый год Катя подарила ей набор дешёвых кухонных полотенец.

Марина Станиславовна разливает сок, кажется, что вот-вот ее тонкая рука не выдержит, и тяжелая коробка ударится об стол.

— Петь, а как с квартирами-то, подорожают ли с Нового года? — спрашивает она, улыбаясь мне. Денег у нее ни на какие квартиры нет, спрашивает, чтобы перед моей матерью выказать уважение к моему риэлтерскому профессионализму. И дернуло меня сказать: «А Вы-таки собрались переезжать от нас, мама?» Подбородок у нее задрожал, она резким движением встала и вышла из зала. Катя сверкнула на меня: «Ты что, больной?» Мать уткнулась взглядом в дверной проход, будто увидела привидение. Отец выпрямился и нахмурился. Юля тут же выбежала из комнаты, прокричав: «Бабушка плачет!»

Я хотел пойти за ней, сказать, что я молод и жесток, а главное, не могу сопереживать ей, оказавшейся в ситуации мне незнакомой. Но бесы, уже давно вцепившиеся каленой челюстью, потянули меня вниз – я не мог сделать ни шагу. Раздирали своими когтями мне рот – я не мог ничего сказать. Они помчали мою душу в коридор, пока она еще не успела опомниться. Волосатыми пальцами застегнули пальто и уже ухватились за дверную ручку.

«Папочка, не уходи!» — обняла мои ноги прибежавшая вдруг от Марины Станиславовны Юля. И они разбежались.

Я гладил Юлины волосы, не зная, что делать дальше. Катя со страхом смотрела на нас. Я удивился ее взгляду. «Не уйдет», — мягко поцеловала меня в губы и начала расстегивать пальто. Ее завитые волосы спадали мне на плечи. Тогда, в первый раз, у нее были точно такие же волосы.

Мы познакомились семь лет назад. Как ни странно, это было чудом, единственным чудом за всю мою жизнь. Чудом в буквальном смысле этого слова, означающем любовь. Мы случайно с ней встретились ровно три раза, как в сказках про Иванов. Сначала я увидел ее в вагоне метро, было утро. Кудрявые волосы, лежащие на меховом воротнике, и черные сапоги – все в коричневых пятнах от слякоти. И запомнил ее из-за сапог этих почему-то. Возвращался домой я уже под вечер. Подхожу к платформе и вижу девушку с такими же грязными до колен сапогами, стоящую рядом с милиционером, который вытаскивает длинным железным крюком ее сумку. Потом я узнал, что в суматохе её толкнул какой-то пацан. Волосы у девушки уже все выпрямились и сосульками лежали на воротнике. Мне отчего-то стало весело, и я

подошел к ней в вагоне. Она еще сильнее прижала к себе сумку. Я спросил, все ли нормально, ничего не пропало? «Нормально, спасибо», — испуганно пролепетала она. «Хорошо», — сказал я и пошел к выходу, встав спиной к ней, хотя мне не нужно было выходить на этой остановке. И вдруг ужасно удивился, зачем подошел. Было и смешно, и стыдно. Я стоял, наверно, красный, как рак, в позе солдатика и почему-то боялся пошевелиться. Наконец, третий раз мы столкнулись на улице. Она спросила, где Бабушкинская, дом 17, я только начал отвечать, как она хихикнула, узнав меня. Волосы у нее уже были прибраны в хвост, и те же самые сапоги в пятнах.

Марина Станиславовна нам после рассказывала, что она в том месяце ходила в церковь и молилась, чтобы Катя нашла мужа, так как Кате было тогда уже двадцать шесть, и сидела она в девках без надежд и просветов. И мы поженились. Через несколько месяцев после знакомства, сразу как Катя забеременела, ни в чем не сомневаясь и ничего не просчитывая.

И теперь, опять как в первый раз, я стоял в коридоре в позе солдатика и не мог пошевелиться...

Мы снова сели за стол. Марина Станиславовна пытается накормить Юлю. В углу у окна стоит свежая ель, а на ней старые игрушки, еще с моего детства. Гирлянда моргает мягко, как Катя у порога поцеловала. У отца зазвонил телефон.

— Даа, ага, и вас, и вас и племяшек тоже поздравь от меня, ага, давайте.

Это была тетя. Каждый Новый год звонит ему и поздравляет, будто истории с квартирой и не было. Я взглянул на мать – она медленно поднялась, отошла куда-то и принесла шерстяной жакет отцу – врачи прописали носить для больной поясницы.

— Сестра? – встряхнула жакет, будто от пыли.

— Ага, — вздохнул он и мягко улыбнулся.

— Надевай давай.

Я уткнулся в фотоаппарат. На дисплее отец совсем стар, а я и не замечал. Когда у него усы успели поседеть? Худой совсем стал, опять сидит сутуло на диване, улыбается только, на всех смотрит. А до скул слезинка дошла. Раньше только в мороз у него такое бывало, а теперь даже в тепле, дома.

Поднялись с бокалами шампанского.

«Выпьем за то, чтобы все плохое осталось в прошлом году», — начал я и хотел сказать что-то важное и больное, но Марина Станиславовна торжественно воскликнула: «Да!» и поторопилась первой чокнуться со мной.

Юля, поводив вилкой по салату и так ничего кроме конфет за целый час не съев, запросилась на руки, посмотреть «бабины катинки». Новогодние картинки, которые моя мать приклеила на стекла. На левой стороне окна баран с пачками долларов, перевязанных красной лентой на горбе, а на правой — снегири в заснеженных еловых ветках.

Я вожу пальцем по нарисованным деньгам:

— Одну пачку тебе на конфеты, другую нам с мамой и третью деду с бабушками — чтобы каждому по пачке было в следующем году. Тебе кто больше нравится? Барашик или снегири?

— Птички, — сказала Юля.

Птичками этими она и спасется. А я чем? А я разбитым стаканом молока.

Елена ТУЛУШЕВА

СЛАВА

Рассказ

Звонок в дверь. Вот уроды, к матери что ли? Скоро вроде Рождество, наверняка кто-то из ее церковных, кто еще придет в такую рань, когда у страны двухнедельный запой — только эти, святоши. Башка раскалывается. Надо Филу набрать, сегодня хоть выйти освежиться. Что ж так долго не открывает?! Убил бы, весь мозг прозвонили!

Не вынимая головы из-под одеяла, он нащупал на полу липкий мобильник. Дрянь какая, опять залили. На раздражающем глаз дисплее высветилось 7:30. — Что за... Ну это уж слишком! К матери в такую рань никогда не приходили. Совесть-то у них должна быть... Или не к матери?.. — неприятный холодок пробежал по хребту до самой макушки. — Спокойно, что дергаться, уже три дня прошло. Черт, в голове застучало, как молотком. «Славик, тебе же врачи говорили, нельзя пить столько — у тебя давление!» — скривя лицо, он спародировал мамину интонацию. — Забавно. Он начал вспоминать лысого Игоря Владимировича, который через тройные бифокалы внимательно разглядывал волны его ЭКГ: «Ну и куда ж вы, молодой человек такими темпами приедете? Сначала алкоголь, потом пьяные выходки, незащищенные половые связи, наркотики... а с вашим сердцем,

---

Тулушева Елена Сергеевна родилась и живет в Москве. Окончила Институт Психотерапии и Клинической Психологии, ВЛК Литературного Института им. Горького. Работала во Франции и США. Публикуется в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Московский вестник», «Юность» и др. Рассказы переведены на китайский, арабский, болгарский, белорусский, сербский языки. Лауреат стипендии Министерства культуры РФ, лауреат премии им. А.Г. Кузьмина, серебряная статуэтка конкурса «Золотой Витязь».

не дай Бог!» — Да уж, мужик, тебе-то Бог явно всего этого не дал, так что не завидуй.

Воспоминания оборвал повторившийся звонок. Неожиданно для себя он съежился и вжался в спинку дивана. — Да что это я? Сейчас мать откроет или спровадит, кого там принесло. — В коридоре послышались спешные шаги, а из спальни — недовольное ворчание отчима. Секунды превратились в тягучую смолу. — Почему не открывает? — Поддавшись какому-то животному страху, он вытащил голову из душного тепла и начал прислушиваться. Мать явно была растеряна, открывала медленно, осторожно. Мужские голоса. — Неужели все-таки к нему?! — Забыв о тяжести похмелья, он в одном скачке дотянулся до двери и задвинул щеколду. Глупый детский каприз, когда он потребовал от матери замок на дверь, кажется, впервые в жизни помог ему почувствовать себя в безопасности. Тогда, в двенадцать лет, его раздражало ее вторжение в самый разгар игры в «приставку» с ребятами с ее стандартными «мальчики-не-хотите-покушать». Он нахмурился — сейчас не время для детских воспоминаний, надо срочно прийти в себя.

— Вот, пожалуйста, ордер на обыск, — послышалось размеренно из коридора. — Да вы не переживайте, вы же знаете — Слава у нас на учете давно. Разговор, конечно, серьезный. Думаю, он сам сейчас все расскажет.

— А обыск зачем? — голос матери звучал встревоженно.

На него накатила паника. Он замер, зацепившись взглядом за книжную полку. — Черт, книги! — Две полки готовых улик, все вперемешку. — Скорей, думай же!

Стук в дверь. И следом бешеный стук — сердце.

— Слава, к тебе пришли. Из милиции. — Мать всеми силами старалась придать голосу твердость и спокойствие. Получалось плохо.

Задрожав, как в детстве после холодной речки, он с трудом нарочито безразлично выдавил:

— Ща, мам, я голый. Сейчас штаны натяну.

— Может, вам пока чаю? Давайте я документы заодно поищу. У него выписки есть, характеристика из колледжа хорошая. Мы тогда для комиссии брали, после их собраний на Манежной площади, помните?

— Да уж как не вспомнить, Татьяна Борисовна. Собраньице вышло у них на славу. Это уже какой — третий его привод был? Давайте, несите бумажки, они ему пригодятся.

Думай, думай же! Ты же умный! Среди всех этих тупых баранов ты из тех единиц, которые реально понимают суть движения. Вот они — доказательства твоего интеллекта — черные обложки, затертые страницы... Это же могила — точно зона!.. Окно... Еще темно, холод, все спят, никто не услышит! Он подбежал к подоконнику — от рамы потягивало зябкой промозглостью, на улице медленно падали редкие снежинки. — Плохо, не заметет — вдруг найдут? Хотя как докажут? Тогда, на Манежке, у них даже на камерах мелькала его фигура — и то не сумели, не пойман на месте — не вор. Пришлось отпустить за неимением доказательств. Скорей, в запасе минуты две, не больше.

Старые расшатанные стеклопакеты открылись бесшумно. Он сгреб с полки полную охапку, свалил на подоконник и неловкими движениями начал выкидывать книги как можно дальше в окно, чтобы не ударились о балконы или карнизы нижних этажей. Внутри все кипело. Казалось, он теряет драгоценное время, не в силах поворачиваться быстрей. В любой

момент они могут ворваться. Вторая полка, самое дорогое, его любимое. Книги будто цепляются за шкаф, возмущаются. Их совсем немного — но этого достаточно, чтобы все сломать. Последняя партия почти растаяла в окне. Осталась только она — его гордость, святыня, книга «великого тирана». Он в ярости крутился по комнате, пытаясь пристроить ее куда-нибудь, где не найдут.

— Идиот, раньше надо было думать, никаких секретных мест или лазеек. Все на виду. Эта привычка с кадетского корпуса — там быстро «объясняли» новичкам, что такое «прятать»: твои вещи никогда не могли быть только твоими, если ты не из сильнейших. Три года кадетства — три года тоски, унижения, бесконечной борьбы за выживание. Он так и не смог простить матери все эти скитания — пятидневки в саду, лагеря на все три смены и, наконец, — подобие армии для сотни брошенных мальчишек. Первое время он тайком плакал, каждые выходные жаловался ей, просил забрать, обещая прекратить школьные драки и прогулы. Она только разводила руками: у нее работа, надо на что-то жить, тянуть его в одиночку; совсем не остается времени за ним следить. Он кивал, старался понять, вытирал слезы и снова возвращался туда каждое воскресенье. Он старался, но так и не смог простить. Там было совсем не так, как показывали в старых военных фильмах. Чтобы выжить, нужно было драться. Постоянно, за все: за очередь в душ, за вторую котлету, за свою койку у окна. Он дрался с яростью, мысленно представляя в каждом обидчике пьяного отца, которого так и не запомнил. Он с недетской жестокостью бил в лицо, под дых, представляя, как отец корчится от боли. Сначала он дрался, чтобы выжить, защитить себя, затем, завоевывая все больший авторитет, он дрался уже просто, чтобы удержать позицию. Ему нравились восхищенные взгляды ребят, когда он входил в «качалку», нравилось чувствовать бешеный стук сердца, привкус крови во рту.

Стук сердца... Сейчас оно билось так быстро, будто боялось, что скоро замолкнет. Прятать некуда — последняя книжка полетела в окно. Он глубоко вздохнул, вытер потные ладони о простыню, натянул домашние треники и направился к двери.

— Здрасьте, а вы ко мне? — он не пытался сделать вид, что удивлен.

— Ну привет, Слава. К тебе, давно не виделись, — лицо лейтенанта изображало пародию на улыбку. Второй с раздраженно скучающим видом мешал сахар, мерзко позвякивая ложкой. Звук отдавался в голове долгим эхом.

— Да вроде не так уж и давно, — просиял как можно более беззаботно Слава. — С прошедшими вас!

— Ну что, сам расскажешь или освежить твою память? — поздравление с праздниками не добавило лицам гостей доброжелательности.

— А что, случилось что-то?

— Значит, освежить...

— Мм, да вы начните, а я, может, вспомню. Сами понимаете — Новый год, каникулы. — Желудок начал ныть и выкручиваться, к горлу подступила тошнота, во рту пересохло.

— Где ты был в ночь с первого на второе января?

Конец. Время остановилось, стук внутри тоже замер. Они знают. Откуда?! Это точно конец. Сколько раз все проходило гладко, неужели Фил? Да нет, не мог он. Хотя если взяли с чем-то, надавили, мог и сдать... Сами идиоты, без масок вышли. Но ведь смотрели по сторонам — никого вокруг. Этот второй не мог знать ни имен, ни адресов. Он и опознать бы их вряд ли смог —

темно было, все на одно лицо. Сколько таких ходит по району в праздники. Не доглядели. Да что там — в пьяном угаре можно и не такое проглядеть.

Главное — не молчать слишком долго, а то точно уцепятся. Так, пришли в 7:30. Значит, боялись не застать. Значит, дело еще не завели — выслали бы повестку, наверное. Возможно, ничего у них и нет, пришли так, просто подозревают. Районная база состоящих на учете не такая уж большая, вот и ходят, выискивают, может, кто сам дрогнет — сознается. От этих мыслей стало легче: вывернусь. Презумпция невиновности, всё такое.

— Ну, с первого на второе... я как все! — так же безмятежно улыбнулся он.

— Как кто — все? — Тот, что пониже ростом — Павел Сергеевич — начал заметно раздражаться. Он лично вел дела Славы, был его «куратором». Нормальный в принципе мужик, сколько раз болтали вне стен отделения, бывало, смеялись вместе. Но сейчас... сейчас он смотрел совсем по-другому, как будто у себя в кабинете, полном других ментов. Может, дело во втором, что пришел? А зачем они пришли вдвоем, раньше такого не было... Спокойно, надо прекращать улыбаться, лучше прощупать, что у них реально есть.

— Как все — пил с ребятами. Потом еще с девчонками из колледжа. Вы скажите время, чтоб я припомнил.

— Время, Слава, с 23:00 до полуночи. Ну и, собственно, после полуночи тоже.

Знают. Пропал. Всё сходится. Лицо начало гореть, на лбу выступили капли пота. Теперь бы понять, как много они уже знают, да не сказать лишнего.

— Думаю, мы гуляли. Вроде... Да, гуляли по району, петарды пускали. Ничего особенного.

— Ну да, действительно. А что было потом?

Просто давят, разводят. До последнего надо отпираться.

— Да всю ночь и гуляли. Потом... под утро домой. Вроде.

— Да, он пришел около пяти. Ключ не взял, мне пришлось открывать, — все это время мать молчала, боясь пошевелиться.

— Татьяна Борисовна, ваши показания нам понадобятся позже! — мать невольно замолчала, оборванная на полуслове, и начала бесцельно переставлять предметы.

Они и правда начинали злиться. Пятое января, 7:30, выезд с обыском. За смену заплатят по праздничному тарифу, но все же они надеялись провести ее в теплом кабинете, по очереди отсыпаясь и просматривая повторения новогодних “Огоньков”. Но на них повесили эпизод с нанесением тяжких телесных повреждений, да, возможно, еще и по 282-й статье. А с нынешним мэром вся верхушка готова выслуживаться по этой линии, целые блоки профилактической работы разработали. На бумаге, конечно, но трудились же. И вот тебе — малолетние придурки не рассчитали силы. А по шапке получит весь отдел.

— Слава, мы тут до ночи сидеть не будем. Или сам расскажешь, или посидишь у нас сутки, поумнеешь.

— У вас? Да что он сделал? Он мой сын, я имею право знать, с какой целью вы его допрашиваете! Он несовершеннолетний! — голос матери звучал истерически.

— Татьяна Борисовна, — уже на повышенных тонах продолжал Павел, — ваш сын, Слава, подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений в виде ножевых ранений. Радуйтесь, что еще не с летальным исходом. Но это — уже возможно реальные сроки, а не условка. А это, соответственно, значит — и вам, и Славе стоит с нами сотрудничать. Вы меня хорошо понимаете?

«Радуйтесь, что не с летальным»?! — Идиоты, не добили, не проверили. Баран, надо ж было так, ведь нож был, столько ударов — все мимо что ли?!

Голова закружилась. Перед глазами замелькали едва сохранившиеся в памяти картинки. Он выходит из дома с ножом. Просто так, весь день пил, и адреналин зашкаливает. Фил и Лось ждут у подъезда. Пьяные. От холода, наверное, их понесло. Им весело и хочется беситься, как в детстве, тупо громко ржать и бегать. Провал. Сколько прошло времени — час, два? Потом картинка: убегающий мужик под их громкие улюлюкивания... Жалкий трус — сбежал, бросив дружка на расправу. Его уже повалили и дубасят ногами, прыгают, довольно скалятся. Это вкус власти над чьей-то жизнью, с каждым разом он всё сильнее и сильнее. А потом — нож. Он не мог вспомнить, в какой момент достал его, и как решился... Да вряд ли он вообще мог тогда думать. Картинки сменяли друг друга, как за окном поезда. Он ударил его ножом, он помнил это ощущение — раньше не знал, как это — когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая меж ребрами. Раньше он дрался только руками и кастетом. Было холодно, от удара рука начала заливаться теплой кровью этого урода. Это было чем-то новым, и он вспомнил, как замер, разглядывая стекающие по рукоятке капли. Что произошло дальше — никто не понял. За эти дни они еще не успели протрезветь настолько, чтобы все это обсудить. Только картинка в голове, как этот бежит к ближайшему подъезду, бормоча что-то на своем языке. Как он мог бежать? Может, показалось? Пьяный угар? Нет, он помнил пик своего бешенства — это было уже в подъезде. Он не орал, он хотел просто убить. — Убить, убить эту тварь — снова застучало в голове, как в ту ночь.

— А почему я? — он уже не мог прятаться за маской беззаботной улыбки.

— А тебе доказательства что ли нужны? Ордер на обыск ни о чем не говорит? — в ухмылке Павла читалось раздражение вместе с досадой. Он как будто и не хотел особо заморачиваться, да работа такая.

— Насколько я знаю, мне адвокат полагается. Я ведь могу без него ничего не говорить?

Выражение досады сменилось безразличием.

— Можешь, конечно. Насмотрелись американских боевиков, адвоката ему. Раньше чем думал?

— Только в отделение все равно с нами придется пройти, — впервые подал голос второй, который был крупнее и, видимо, тупее Павла, — бумаги подписать должен, что мы приходили, протокол оформить нужно.

— Да и полезно тебе будет кое-что увидеть. Может, и адвокат не понадобится. Ну, а обыск мы сейчас должны провести. Понятых бы надо, Татьяна Борисовна. Видимо, соседей ваших придется будить.

Взглянув на мать, он заметил, что она будто постарела за эти несколько минут. Она не поднимала глаз на Славу. Она стояла, как тогда, когда он видел ее на воскресной службе в церкви. Она затащила его в тот раз только потому, что ему нужно было получить ее согласие на бойцовский лагерь. Взамен Слава согласился отстоять службу: пара часов скуки за три недели настоящей свободы — небольшая цена. Он с тоской разглядывал толстых теток в платочках (если они все постятся — почему такого размера?) и странных мужиков с блаженными лицами. Неужели мать думает его таким способом изменить? Глупо. Кроме отвращения ничего. Ну и смех иногда берет, глядя, как они чуть ли не лбы расшибают в поклонах. А потом он увидел ее... как-то по-новому увидел. Они никогда не были близки: она постоянно его куда-то сдавала, перепоручала, избегала разговоров, редко обнимала. Но в тот момент она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В

этом своем смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества. Он возненавидел ее Бога и всю его церковь. Возненавидел со всей детской беспощадной ревностью. И с каждым годом, с каждым очередным церковным праздником, с каждой новой книгой, которую она пыталась ему подсунуть, — эта ненависть только росла.

И сейчас она стояла перед ними, как тогда, в этой смиренной позе. Ему стало тошно и гадко, она была ему отвратительна, она всегда пыталась вызвать у него чувство вины, это бесило. Где же ее дорогой Бог? Что ж не поможет? Ах, ну да, ей-то он поможет, но не Славе. Ведь это же она любит Его. Раньше ее слова вызывали боль и обиду: «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!» — Ну да, конечно. На втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, вдарилась в религию, променяв на нее, — он с горечью повторял это, растравляя душу, — его, Славу, единственного сына.

На зону не хочется. Хотя малолетка ему уже не светит, можно не бояться этого зверья, а по законам взрослой за его статью будут только уважать. Для некоторых, особо ценных в сообществе, специально есть фонд — из него на зону шлют деньги, технику. Он сам переписывался с одним таким: шесть только доказанных убийств в Воронеже, уже вторая судимость. За это свои его не забыли: ноутбук с круглосуточным интернетом — выкладывает фотки каждый день! Ну и ничего так — живет там, не напрягаясь вроде. Не все так страшно... Да и вообще пока рано еще волноваться, пока кроме учета у него даже условки нет, всё только грозятся.

Пришли соседи, он проводил их всех в свою комнату и вышел. Не хотелось всё это видеть. Книги выкинул, нож еще в ту же ночь спустили в канализационный сток, одежда, выстиранная на балконе — следов крови там не было. Пусть сами шарят. Сначала он подумал остаться — насмотрелся сериалов, где менты что-то подбрасывают по ходу обыска, но поразмыслив, решил, что это не его случай. Его же не в распространении подозревают. Да и Павел вроде нормальный мужик. Голова гудела, каждый шаг был в тягость, хотелось сигарет и пива. Он вышел на балкон в гостиной. Уже светало, редкие снежинки исчезли, оголив грязные тротуары. Там снаружи было также паршиво, как внутри: грязно и холодно. Паника сменилась какой-то обреченностью. Он просто ждал. Сил не было спорить, что-то доказывать, отмазываться. Он долго стоял, прищурившись в поисках решения, как вести себя дальше. Бороться сил не было, да и глупо, обыск есть — значит зацепок достаточно. Но просто сдаться ментам с чистосердечным и молча вздыхать — это не для него... После нескольких затяжек немного отпустило. Руки перестали дрожать, морозный воздух остудил голову. Выходил с балкона он уже с твердой стратегией. Он не будет опровергать того, что они уже доказали. Но и ничего нового им не сообщит. Только не с повинной, не со страхом перед этим волками!

В отделении было тепло и мрачно. Обыск ничего не дал, по пути в ОВД все трое молчали. Слава списал это уныние ментов на отсутствие у них прямых доказательств. Скорее всего, привод сведётся к подписанию бумажек. Вроде и порадоваться можно, но день уже был испорчен. Хотелось поскорее уйти отсюда, отоспаться и хорошенько напиться вечером с пацанами, поржать над ментовским проколом с книжками.

— Вадик, принеси там из сейфа конверт желтый, — Павел проводил напарника взглядом, бросил на стул куртку и внимательно посмотрел на Славу.

Вадик вышел, и Славе стало как-то некомфортно от этого пристального взгляда. Отшучиваться настроения не было, скорее, хотелось нагрубить. Он начал рассматривать уже давно изученные щели в полу, свои кеды, запачканные джинсы.

— На, держи, — желтый объемный конверт глухо стукнулся о стол.

— Ну что ж, тогда приступим.

Последующие манипуляции не вызывали у Славы интереса, поскольку ни один, ни другой не обращали на него никакого внимания, и Слава решил, что конверт к нему отношения не имеет, а его подержат здесь подольше просто для профилактики. К этому он был уже привычный и постепенно начал задремывать в мягком старом кресле.

Но когда его окликнули и подозвали к монитору, что-то неприятно кольнуло внутри.

— Ты с креслом двигайся, полюбуйся с комфортом.

Несколько секунд на экране рябили черно-серые полоски, ничего не происходило. Потом появилось какое-то размытое изображение. Постепенно картинка выровнялась и выдала обзор лестничной клетки и, по-видимому, входной двери. Вид сверху, как будто через лупу, немного искаженный. Несколько секунд картинка просто висела, наконец дверь открылась и кто-то вошел. Точнее, вбежал. Через секунду показалось застывшее от страха лицо. Вбежавший пытался захлопнуть дверь, что-то кричал. Внезапно дверь снова открылась. Толкаясь, ввалились три фигуры и начали хаотично двигаться перед лестницей. Один оторвался и стал медленно подниматься по ступенькам, потряхивая каким-то предметом в правой руке. Его походка отличалась от метаний того, первого. Он шел твердо, вытянув шею и широко расставив руки. Пленка периодически чуть-чуть зависала, и картинка шла как будто в замедленном темпе. Двое других так и замерли почти у самого входа. Звука не было, но Слава уже знал, что кричит этот здоровенный бритый бугай. Крупным планом, почти глядя на них с экрана, он занес свой нож и несколько раз с силой воткнул его в медленно сползающую по стене фигуру. Она сползла, как тряпичная кукла. Бугай пнул ногой лежащее тело и развернулся к другим двум прямо перед самым объективом. С экрана на сидящих в кабинете смотрел Слава.

* * *

Оглашается приговор... согласно Уголовному кодексу Российской Федерации... дело номер... два года колонии общего режима... условно.

Из зала заседания начали медленно выходить присутствовавшие на слушании. Слава шел, растерянно слушая причитания матери. За последние месяцы он слышал это сотни раз: как она ездила с сумками еды к раненому в больницу, как отчим переводил ему деньги сразу на родину, потому что Сулейман боялся, что сам не выживет, а раз деньги предлагают — надо все переслать семье. Она столько раз пыталась потащить с собой Славу в больницу, чтобы он извинился, но после его резких слов, что он не сожалеет ни о чем, мать решила не рисковать и уладить все самостоятельно.

— Ну что, доволен своей «Минутой Славы»? — отчим ухмыльнулся собственной находчивости, но, встретив каменный взгляд, быстро отвел глаза.

В ХОРОШИЕ РУКИ

Рассказ

— Уважаемые члены комиссии! Начнём, наконец!

Гомон собравшихся в большой комнате начал стихать. В раскрытые окна ни ветерка, только крики детворы со спортплощадки.

— Рыжик, давай же, съезжай! — веснушчатый мальчишка, упираясь в перила, пытался столкнуть растерянного пса с горки.

— Сам ты — Рыжик! А он — Мустанг! Муста-а-а-анг, иди ко мне, ну давай, ну скатись, тебе понравится! — девчушка лет восьми приманивала собаку у подножия горки, изображая, что в руках у неё есть что-то вкусное.

— Такого имени вообще нет, не выдумывай! Ну давай, я сразу за тобой съеду, это не страшно! — мальчишка погладил пса по холке.

— Если хочешь знать — есть такое имя! И он на него отзывается! Давай, толкни сильнее! — она застучала по горке, отвлекая собаку. Мальчик выпрямился, пёс воспользовался моментом и, проскочив под его рукой, неуклюже заскакал вниз по ступенькам лестницы.

— Не удалось причинить добро! — засмеялся молодой парень, повернувшись от окна к стоящей рядом девушке. Его рубашка прилипла к спине от пота. Девушка коснулась его плеча и улыбнулась в ответ.

— Аня, хватит кокетничать! Работать надо! — нарочито громко объявила председательница, тётка лет пятидесяти с бородавкой на брови.

Девушка смущённо порскнула за столик секретаря.

— И вы, Игорь Алексеевич, присядьте тоже, — довольная эффектом, продолжила чиновница. — Мы подбирали время, в том числе и под вас, поэтому затягивать не будем. Что у нас сегодня?

— У нас Саша Савельев... — на столике суетливо зашуршали листы. — Саше десять. На право опеки подал дед, Виктор Анатольевич Савельев. Его старшая дочь, мать мальчика, покончила с собой в пьяной горячке. Там история такая: не рассчитала — хотела напугать, но оступилась и выпала с двенадцатого этажа. То есть, это как бы не суицид, а несчастный случай. После чего над мальчиком взяла опеку тётка, младшая сестра погибшей, тоже пьющая. Через три года она умерла...

— Это всё мы уже знаем, что там по факту: отдавать — не отдавать, давайте порасторопней. Что с документами?

— Да-да, Татьяна Михайловна, я просто подумала... у нас же тут приглашённые специалисты, чтобы они тоже были в курсе дела.

— Специалистам все эти детали ни к чему. Игорь Алексеевич — психолог, а не следователь.

«Психолог? А это ещё зачем? — Саша с тревогой поднял глаза. — Ребята в приюте говорили, что эти психологи всегда что-нибудь навыспрашивают, а потом в психушку сдадут!».

— А Александра Ильинична из детской комнаты полиции, — с раздражением продолжала тётка, — нужна нам, чтобы подтвердить положительную характеристику на подростка. Чтобы дедушка знал, что мальчика мы отдаём вполне нормального, на учёте не состоящего, и ответственность опекуна перед государством — сохранить такой статус ребёнка, — на этой фразе тётка перевела недовольный взгляд с тощей девушки на Сашу с дедом.

«Взгляд у неё неприятный. Раньше ласково говорила, обещала, что в обиду не даст, что у него всё в жизни будет хорошо. А теперь пугает. Психо-

лог, полиция... Сандалии дурацкие, ступни от пота скользят, теперь мозоль натрут».

— Так, значит, вы, Виктор Анатольевич, решили забрать Сашу к себе? — тётка выразительно посмотрела на деда поверх очков.

— Ну да, вон документы, — дед кивнул головой в сторону шуршащей бумажками секретарши.

— Да-да, мы уже ознакомились. А почему?

— Чего «почему»? — нахмурился дед.

«Зачем она вопросы задаёт? Раз решил, так чего тянуть. Вдруг он передумает и уйдёт!» — Саша сидел, скрестив пальцы. Он загадал, что если так просидит до самого конца, то его обязательно отдадут деду, а если не сможет, всё пропало. Так уже было в шесть лет. Он попросил у Деда Мороза полицейскую машину с сиреной. Он хотел запускать её на кухню, когда мать и тётка будут ругаться, надеясь, что звук сирены заставит их замолчать. Тогда он загадал, что, если по дороге домой наступит на все чёрточки между плитками тротуара, то желание точно сбудется.

На пути дворник расчищал снег. Саша хотел переждать, но мать была не в духе и, резко дёрнув его за руку, потащила к подъезду. Машины он так и не получил. В тот Новый год он вообще ничего не получил. Утром 1 января мать сказала, что он плохой мальчик, и Дед Мороз ничего ему не принёс. До самого вечера он ещё надеялся на подарок. А вечером, протрезвев, мать подошла к нему и, погладив по голове, сказала, что Деда Мороза нет. «Ты теперь взрослый, Сашенька. А это сказки для детей. Просто родители покупают деткам подарки и кладут под ёлочку. И я тебе так клала. А в этом году у мамочки денежек нет, ты же знаешь. Мамочка тебя любит. Но теперь давай без подарков». Следующей зимой за неделю до Нового года мать умерла. Подарков он больше не получал.

— Почему вы решили взять Сашу к себе именно сейчас? Почему не раньше?

— Так мать у него была и тётка, — дед достал из кармана вибрирующий телефон и посмотрел на экран.

— Ну, у матери были проблемы с употреблением алкоголя. Мальчик рос в некомфортной обстановке, почему раньше не забрали? — с напором продолжала председательница.

— А я с ними не общался.

— Из-за того, что они пили?

Он нажал клавишу и убрал телефон в карман. Тётка замолчала, дед стоял спокойно. Саша решил, что надо обязательно сказать что-то хорошее о нём. Но ничего кроме давно подаренного самосвала вспомнить не мог.

— Он мне подарки давал, дедушка мой! — зачастил Саша высоким ломким голосом. — Самосвал! Кузов поднимался.

— Ну вот видишь, — председательница мельком глянула на Сашу, попытавшись изобразить улыбку. И уже обращаясь к деду, жёстко спросила: — Вы не могли бы уточнить, по какой причине перестали общаться? Мы должны представлять, какова ситуация. Поймите правильно, родственников больше у Саши нет. Вас-то разыскали с трудом только через месяц после смерти Сашиной тёти.

— Если отдавать не хотите, — проворчал дед, — так и скажите...

— Нет-нет, вы не поняли. Ребёнок государственный. Есть определённые нормативы ведения дел. Никто же не хочет, чтобы потом Сашу у вас забрали, решив, что вы не подходите.

— А чего забирать-то? Ну если им надо, пускай делают, как знают, — дед

засунул руки в карманы и начал раскачиваться. Саша испугался, что, качнувшись в очередной раз, он пойдёт к выходу.

— Виктор Анатольевич, вы не раздражайтесь. Это формальные требования. Мы обязаны собрать информацию. Собственно, даже если соврёте — мы и проверить-то не сможем! — примирительно продолжила тётка. — Спросить больше не у кого.

— А чего мне врать? — снова насупился дед. — Я и не врал никогда. Как забрюхатела она, так и ушёл.

— Кто, простите?

— Да Маша, кто ж ещё, старшая. Забеременела она в шестнадцать. Я ей: «Иди избавляйся, дура!». А она: «Рожать буду!». Ну я и рявкнул, мол, не позволю. Сам к врачу отвезу, позорище такое! А тут мать её нашла повод заступаться: грех это, грех!

— То есть вы были против того, чтобы дочь родила?

— А вы бы дали своей родить в шестнадцать? Школу даже не закончила! Впереди экзамены, институт, или техникум хотя бы. «Всю жизнь изломаешь!» — говорю.

Дед сильно покраснел. Саше стало его жаль. Он не знал про эту историю.

— Конечно, вы переживали за дочь...

— Говорил жене: я с таким срамом жить не стану! Да и кому он нужен будет — ребёнок этот безродный?! Но нет, кто ж меня послушал! А результат? — дед вытянул руку и начал загибать пальцы. — Я из семьи ушёл, жена через три года померла, дочь сама спилась, да ещё и сестру споила! И вот, — дед ткнул пальцем в сторону внука, — сидит: кому он теперь нужен?

Слова деда не сразу дошли до сознания Саши. Так, значит, он ушёл... из-за него?!

— Ну что вы, нам каждый ребёнок нужен! — приторный голос председательницы вывел Сашу из забытья.

— Да не придирайтесь к словам! — раздражённо махнул рукой дед. — Вы же понимаете, о чём я. Что у него теперь — ни дома, ни родителей, ни жизни нормальной.

— Ну, у него есть вы, раз решили забрать...

Психолог при этих словах выразительно хмыкнул.

«Чего ты лыбишься, — разозлился на него Саша, — как будто что смешное говорят! Лезут все не в своё дело».

— Да, чего он по приютам мотаться будет, — уже спокойнее произнёс дед.

— Ну, почему мотаться, — приосанилась председательница. — Государство устраивает сирот, предоставляет хорошие условия. Но вы родной человек, будете заботиться с душой.

— Вырастим как-нибудь.

— Трудностей не боитесь? Подростковый возраст всё-таки, нелёгкие времена мальчик пережил.

«Нелёгкие. Тебе спасибо! — ехидно подумал Саша. — Сразу ты мне не понравилась, ещё тогда, когда решали про приют. Наобещала всякого: ты там всего на пару неделек, там будет хорошо, друзья появятся, в цирк сводят, в театр, на экскурсии...».

В первую ночь, в туалете, его обступили мальчишки. Он попытался спрятаться в кабинке, но все щеколды были давно выбиты, и ребята с гоготом начали его лупить. Так происходило со всеми новичками. Саша тогда не знал, что первая драка — это как проверка, после неё всем станет ясно, чего ты стоишь... На весь следующий месяц — самый ужасный месяц в его жизни —

за ним закрепилась репутация лузера. Он пытался жаловаться, но становилось хуже. Правда, уже не били. Мстили по-другому: наливали воду в кровать, могли и помочиться. Саша терпел, надеясь только на то, что скоро заберут. А теперь... Детский дом? Да он ничем от приюта не отличается: народ там такой же, и лупят так же...

При воспоминании о драках всё внутри съёжилось. Обрывки беседы с трудом доходили до него.

— У меня всё есть, вон список документов: квартира двухкомнатная, машина наша, зарплата нормальная, можете проверить, на еду хватит.

— Да-да, вы молодец, все документы в порядке. Вы же опеку захотели оформлять, а не усыновление, — значит, государство будет выплачивать на Сашу пособие, льготы предоставит...

— Пособие сейчас оформлять будем, или отдельно приходить?

— Ну вы погодите, — улыбка неловкости скользнула по лицу. — Мы сначала должны решить, остаётся ли Саша у вас или нет.

— А что, в детский дом его что ли решили?

Саша вздрогнул. Если в детдом — сбежит, он уже решил. Ему Костик рассказывал, как потом устроиться. В приюте Костик появлялся раз в три месяца. Он был вроде как сам по себе, пацаны его не трогали, потому что знали, что у Костика в друзьях воры Казанского вокзала. А в тюрьме его батя — выйдет, всем отомстит. Костик приходил в приют сам, получал полный комплект одежды, обуви, немного отъедался и отдыхал от своей воровской жизни и через месяц уходил снова. Он именно уходил, неспешно, обдуманно, загодя аккуратно сложив всё положенное государством добро. Вещи он тут же продавал, спуская получку на игровые автоматы. А потом жил и «работал» на вокзале, пока снова не тянуло в тепло.

— Да нет, нам бы не хотелось, естественно.

Саша испугался, что из-за своих воспоминаний пропустил что-то важное, и не мог понять, чего именно тётке «не хотелось бы». В какой-то момент он перестал понимать, чего теперь бояться. В детский дом? Нет, туда точно нет... Дед?..

«Да отвяжитесь, наконец, от меня! Все, все! — Незнакомая прежде ярость ударила ему в голову. — Тётка, ишь, заботу изображает: «Нам каждый ребёнок нужен», а ведь ей на него плевать, Саша это сразу понял. И дед не лучше! За столько лет даже не поинтересовался, как там внучек. Другим подарки к каждому празднику. А ему — за всё это время — самосвал: дверки не открываются, огонёчки не зажигаются... Один проживу! с Костиком на вокзале!».

Саша будто заглянул в бездомовную пугающую неизвестность. Ему стало так жалко себя. Ожесточение схлынуло. Он растерянно прислушивался к разговору взрослых.

— Мы здесь за тем и собрались, чтобы решить вопрос об опеке, — председательница напряжённо оглядела присутствующих. — Уважаемые члены комиссии, есть ли у вас вопросы?

Судя по скучающим лицам, вопросов не было.

— Ну, вы тогда подождите в коридоре, а мы обсудим и вам скажем.

— Сейчас скажете? А то мне ещё на работу сегодня надо заехать.

— Да-да, мы сегодня примем решение. Вы пока можете пойти передохнуть.

Как только дверь прикрыли, дед начал отзваниваться на работу, что-то раздражённо объясняя. Саша проводил его взглядом до лестницы и прильнул к щели, оставленной для сквозняка.

— Ну что, я так понимаю, будем отдавать? — после выхода деда с внуком все зашевелились, кто-то снимал пиджак, кто-то жадно пил уже нагревшуюся воду. — Проблем с документами, я так понимаю, нет, Ольга Анатольевна?

— Нет, он всё принёс. По доходу всё нормально, квартира на него оформлена, никто больше не прописан. Мальчику по исполнении восемнадцати лет предоставлять жильё не нужно, за ним будет числиться эта жилплощадь.

— Хорошо, меньше инстанций, меньше бумаг. А остальные — что скажете? Вроде дед нормальный?

— Да вообще-то по нему не поймёшь, — откашлялся окончательно взмокший Игорь Алексеевич. — Может, нам надо побольше о нём узнать, пригласить их на наши тренинги или консультации, а там и решать?

— Вот вы, психологи, молодцы какие! — взъелась председательница. — И куда ж мы его должны деть, пока они к вам ходить будут? Сейчас конец мая, если не отдать деду, то нужно Сашу в приют или детский дом пристраивать. А они все с июня разъезжаются по лагерям. Ему нужно будет срочно путёвку с кем-то оформлять. Вы представляете себе, как на государственного ребёнка оформить путёвку за неделю? Это гонка невозможная: ходить, выпрашивать, выбивать — списки-то все оформляются чуть ли не с зимы. А если не возьмут — тогда в инфекционную больницу придётся, сидеть мальчику как минимум месяц, если на июль смогут пристроить! Вы считаете, это лучше будет?

— Да не то что бы... — уже с меньшей уверенностью продолжил психолог. — Может, обязать их походить к нам в ближайшие месяцы. Не понятно, где раньше-то дед был, почему вдруг объявился? Восемь лет с семьёй не общался, не интересовался никем, а теперь вдруг решил мальчика взять. Опека подразумевает приличное финансирование от государства, тоже настораживает. Всё-таки не котёнка отдаём...

— При чём тут котята? Вы один тут озабочены судьбой ребёнка? Мы все ищем наилучший вариант для мальчика. Мало ли какие споры в семьях могут быть. Дочери алкоголички, вот и не хотел общаться, что тут непонятного! Вам нужны консультации, чтобы это узнать? Человек в будни работает, вот лично вы готовы по выходным с ними заниматься?

— По выходным не хотелось бы... Ну, давайте хотя бы предложим?

— Конечно, предложим, посоветуем, проконсультируем. Всё как обычно, приложим максимум усилий!

— Да, как обычно... — ухмыльнулся психолог.

— Вы хотите что-то конкретное предложить, Игорь Алексеевич? — голос зазвучал озлобленно.

— Нет, конкретного пока ничего, надо подумать...

— У нас нет времени думать! — оборвала председательница. — Мы должны принять решение сейчас. Пригласите их, пожалуйста!

...Вошли. Мысли в голове у Саши кружились, он не знал, за какую ухватиться.

— Виктор Анатольевич, на сегодняшний момент комиссия решила передать вам право опеки. Поздравляю! — она активно изображала улыбку. — Вы вполне подходите по всем параметрам. Мы надеемся, что у вас всё получится. Документы будут оформлять некоторое время, так что вам ещё придётся к нам приехать, но уж такова система.

— Долго ещё надо-то будет? — дед методично укладывал в папку бумаги. — Чтоб с работы отпускали, нужно договариваться.

— Да-да, мы понимаем. Вся процедура займёт около месяца. Но забрать Сашу вы можете уже сейчас!

— Месяц, ладно. Понял, забираю.

— Мы бы хотели вам рекомендовать занятия у психолога.

— Это зачем? Он же нормальный вроде, — буркнул дед, постукивая листами по столу, чтобы стопка была ровнее.

— Это для вас обоих, чтобы лучше привыкнуть друг к другу, всё-таки давно не общались, могут быть конфликты...

— А без этого никак? — он перестал складывать бумаги и удивлённо посмотрел на председательницу. — Работа у меня.

— Ну, не то, чтобы никак! — заторопилась та, как будто тоже переживая, что дед передумает. — Это наши рекомендации. Может, позже, в июле.

— Нет, в июле у меня отпуск. Мы на дачу поедем к моему другу, — бумаги отправились в портфель.

— А, ну на дачу — это замечательно. Отдохнёте на свежем воздухе. Ну что, Саш, я же говорила тебе: всё будет хорошо! Ты-то рад?

Саша молча глядел в пол — в приюте это вошло у него в привычку. Он хотел было взглянуть на тётку, но никак не мог поднять глаза. Почувствовав, что на него смотрят и ждут ответа, он едва заметно кивнул.

— Что ж, тогда всего вам хорошего. Остальные бумаги вам сейчас передадут в 102-м кабинете. Удачи!

Когда они вышли на улицу, начинало темнеть. Собиравшиеся всю неделю тучи, казалось, готовы были вот-вот затушить раскалённый асфальт. Мамочки спешили увести детей с площадки и собирали разбросанные игрушки, пока разгорячённая детвора пыталась наиграться впрок.

Рыжий пёс бродил по площадке, провожая взглядом убегающих ребят.

— Рыжик, Рыжик, на, чё дам! — закричал ему Саша. Пёс подбежал к незнакомому мальчишке, как будто знал его целую вечность. Саше вдруг захотелось уткнуться в эту длинную пушистую шерсть, почувствовать тёплое прикосновение, мокрый нос... Пёс улыбнулся открытой пастью, обнюхал протянутую руку.

— Нечего дразнить собаку, если у тебя ничего нет, — нахмурился дед.

— Да я просто погладить хотел! — Саша присел было на корточки, чтобы потрепать пса, но остановился и перевёл глаза на деда, боясь его неодобрения. Только теперь он понял, что совсем не знает этого человека. Не знает, что можно делать, а что нет. А ещё не знает, любит ли дед футбол, умеет ли жарить картошку, и как его нужно называть: дед, дедушка или по имени-отчеству.

— Бездомная собака — чего её гладить, только подцепишь что-нибудь! — Дед посмотрел на часы. — На работу не успел! — Он ещё раз открыл портфель, проверил бумаги, и, махнув Саше головой, пошёл к машине. Саша выпрямился и поплёлся за ним. Под ногами замелькали бледные от засухи чёрточки тротуарной плитки.

ПЕРВЕНЕЦ

Рассказ

Лида в который раз пыталась сложить ноги поудобнее. Никак не получалось найти нужную позу. Разозлилась, резко встала, но голова закружилась. Снова села на край кровати, начала раздраженно постукивать по холодному металлическому изголовью. Решетки... Везде решетки: на окнах, на крова-

тях, еще бы шкафы решетчатые сделали... Ходить от окна до двери надоело. Стала расковыривать трещину в штукатурке на стене. Потом вдруг почувствовала очередные толчки. Подняла футболку и уставилась на свой живот, на котором то появлялись, то исчезали бугорки.

Там что-то происходило. Что-то, что раньше не касалось Лиды. А последние два дня ее лишили всего остального мира, и вот она осталась наедине с этими толчками.

Накануне тощая медсестра ставила Лиде капельницу и, видно, от скуки спросила, мол, как зовут. Лида не сразу поняла, про кого она. Та кивнула на живот: «Назовешь как?». Лида удивленно разглядывала мужеподобную тетку: сухая, с одутловатым алкогольным лицом и короткой стрижкой под ежик. Алкоголиков Лида определяла легко, даже тех, кто работал и выглядел прилично. Тетка смотрела безразлично, двигалась, как робот. А потом сказала, что надо разговаривать с ребенком, чтобы слышал голос. Лида только и смогла промямлить: «А о чем?». Медсестра уставилась на Лиду стеклянными глазами: «О погоде».

И вот ребенок снова шевелился. Кто его знает, просит что-то или просто переворачивается. У него уже есть руки и ноги, наверное... А волосы? Они с волосами рождаются или лысые? Да какая разница. Лида старалась отгонять эти мысли. Они приводили все к новым и новым вопросам. А в конце — в конце вообще непонятно. Несколько месяцев получалось об этом не думать. Лида жила с ощущением, что можно будет задуматься потом, что еще есть время. И вот это «потом» настало. А думать совсем не хотелось. От мыслей в голове начало пульсировать, захотелось бежать отсюда скорее... Лида снова уперлась взглядом в решетку на окне.

Через три дня она неспешно поднималась по лестнице женской консультации, поторапливаемая Алевтиной — тучной социальной работницей, которая резво семенила, хоть и краснела все гуще с каждым пролетом. Они опаздывали. Лида тянула время при выходе из центра и здесь, в холле поликлиники.

Врачиха приняла вне очереди, хотя и была недовольна. Лида разглядывала непонятные картинки на стенах: развитие плода по месяцам. Фотография девушки на плакате была дополнена рисунками наподобие иллюстраций школьных учебников. Лицо девушки на плакатах не менялось, а живот на каждом следующем листе становился всё больше, эмбрион увеличивался и менял положение. Лиду затошнило. Ей казалось он какой-то уродливый, скрюченный. Такие кривые ноги наверняка не смогут ходить. Похоже, он был слепым. Лида взглянула на лицо девушки: та выглядела счастливой. С чего бы?

– Так... значит постановка на учет, — услышала Лида голос врачихи. — Ты бы еще на сороковой неделе пришла...

– Да вот как ее привезли, так мы сразу к вам, — вступилась еще не отдышавшаяся Алевтина.

Доктор смерила социального работника недовольным взглядом.

– Где до этого была? Где наблюдалась?

– Да так... — Лида ощутила подкатывающую тошноту, ладони вспотели. Хоть бы отвлечься. Мерзко. Тяга пошла. Сбежать бы скорее, да куда тут. Живот разросся. Жирная утка. Надо хитростью. Как из больницы. Думай. А чем думать, мозг не варит. Сейчас бы хоть один укол, хоть маленький. Просто, чтоб в себя прийти.

– Доктор, там выписка из детдома. Она как из больнички-то сбежала зимой, так ее всё искали.

– Я вообще-то не пряталась! — огрызнулась Лида. В детдоме знали, где я была. Им лень приезжать было.

– Сиди уж! — шикнула Алевтина.

– Ну и где же ты была все это время? — доктор смотрела мягче, как будто озадаченно. Переводила взгляд с Лидиного живота на теребящие край футболки пальцы.

– У молодого человека... своего.

– Молодой! — фыркнула Алевтина. — Сорок шесть лет — юнец просто! Уж ты, Лида, давай тут дуру-то не валяй! Некогда доктору твои сказки слушать! Наркоманила, так и говори, теперь вот и расхлебываешь свое! А этого твоего упечь бы пожизненно за такие дела, так ведь никто не займется! Сам наркоман паршивый, и девку за собой уволок!

Медсестра оторвалась от талончиков и нерешительно взглянула на врача. Та, опустив взгляд, чуть хрипло сказала:

– Алина, сходи-ка... К-хм, сходите, пожалуйста, с социальным работником к заведующей, надо оформить документы на государственного ребенка и рецепты на витамины и молоко.

Медсестра поднялась:

– Идемте, я вас провожу. Девочка несовершеннолетняя, нужно ваше согласие, как представителя опекуна.

– Да, — окликнула врач. — Потом ждите в коридоре, осмотр буду проводить без посторонних.

– Да я что, я с радостью! Вот только за ней, доктор, глаз да глаз нужен! Вы учтите, из наркологички сбежала, из приюта сбежала, а нам вот теперь отвечай!

– Я поняла, идите.

Врач замолчала. Уставилась куда-то, так и замерла. Потом как будто заметила Лиду и немного нахмурилась.

– Значит срок беременности не точный?

– Ну да.

– А почему до этого никуда не обратилась? Или обращалась?

– Да как-то не до этого. Виталик сказал, рожай.

– Виталик — это тот мужчина, который старше тебя?

– Да. Наркоман.

– Ты... тоже употребляешь?

– Да, — Лида отвечала быстро, на выдохе, не дослушав вопрос. За последнюю неделю посещения всех этих детских комнат, приютов, инстанций, она повторяла свою историю не раз.

– Значит, и во время беременности?

– Ну да.

– Внутривенно? Как часто?

– Раза три-четыре в неделю, — все также быстро, пока не передумала говорить, как есть.

– Как насчет стерильности?

– Плохо. Там в карте написано.

Только сейчас врач посмотрела на кипу бумажек, разложенных у нее на столе. В анамнезе значился ВИЧ положительный, впервые выявленный два года назад.

– Это он тебя наградил или кто-то еще?

– Не, наверное, кто-то еще. Виталик говорит, он чистый.

– В смысле: говорит? Ты анализы его видела?

– Не-а. А зачем ему врать. Это ж он хотел ребенка.

– Если ты от него забеременела, то теперь он тоже инфицирован.

– Да?

Врачиха внимательно взглянула, помолчала.

– Так, а что ты думаешь с родами? Тебя вообще кто-то консультировал за это время? Хоть один врач?

– Нет. Я у Виталика жила. Я же сказала. Он говорит, рожай, деньги будут.

– Он говорит, рожай... — эхом повторила врач. — Так, ладно. Нам надо с тобой многое успеть обсудить. Давай попробуем поговорить честно.

– Да я и не вру. Че теперь врать-то. Только пить очень хочется.

– Сейчас мы обсудим, и попьешь в коридоре. Лида, твой ребенок может заразиться от тебя ВИЧ-инфекцией. Но если приложить усилия, он может родиться относительно здоровым.

– Да какой он здоровый, он же уже наркоман там, да? Как я.

– Сейчас речь не об этом. Если сделать кесарево сечение, то риск заражения во время родов значительно снижается. То есть если мы проведем операцию, то он может родиться без ВИЧ, понимаешь?

– А это больно?

– Нет, операция проводится под наркозом и быстрее обычных родов. Потом чуть дольше восстанавливаться, но нам важно сейчас думать не об этом.

– Ну да, я согласна. Только вон соцработники, они же вроде все теперь решают, мне нет восемнадцати.

– Решать будем мы с тобой. Но здесь есть одно «но». Операцию нужно успеть сделать до начала схваток. Обычно на тридцать восьмой неделе. Пока мы не знаем, какой у тебя срок. Но учитывая твои побеги...

– Что?

– Ты сможешь дотерпеть до тридцать восьмой или опять убежишь?

Лиде не хотелось врать. Врачиха первая за эту неделю, кто хотя бы не пилил, не давил на вину. Хотя у Лиды уже выработался иммунитет к таким разговорам, но чего она только не наслушалась и в полиции, и в детском доме.

– Да куда тут сбежишь, я вон едва хожу.

– Человек *зависимый* может убежать и при более сложных обстоятельствах... — она недолго помолчала, и продолжила как будто сама с собой. — Я знала мальчика, который из реабилитационного центра сбежал, сломав ногу, когда выпрыгнул из окна. Это не помешало ему бежать дальше и еще две недели лежать в притоне с распухшей посиневшей ногой, пока не нашли.

– Ни фига себе! — Лида было ухмыльнулась, но доктор посмотрела на нее как-то странно, скривившись, как от боли.

– Лида... А ты сама-то хотела рожать?

Лида постаралась отвечать также на выдохе, быстро и по делу. Но с каждым разом говорить становилось сложнее. Почему-то с соцработниками и их нотациями было проще. Они обвиняли, Лида огрызалась. Злиться было проще. А сейчас, когда врачиха говорит «мы» и «нам»... Как бы не разреветься.

– Сейчас конечно ничего уже не изменишь. Надо будет рожать. Судя по размеру, тебе осталось немного. Как я понимаю, до этого родов у тебя не было. А аборты или выкидыши?

– Ну... чтобы у гинеколога делали — нет.

– В смысле?

– Был один. Мать таблетки купила.

– Ты имеешь в виду не операционный, а медикаментозный аборт? Давно?

– В одиннадцать. Только я не знаю, это беременность была или просто.

– А зачем тогда таблетки, если не точная беременность?

– А мамкин сожитель меня изнасиловал со своим другом. Она тогда отрубилась от героина. А они того. Она проснулась, ну и поняла. Наорала на него. И в аптеку со мной потащилась. Мать сказала, что на всякий случай, а то мало ли: забеременеть от таких...

– Господи, в одиннадцать...

– Да это давно уже было, не переживайте. Мать его выгнала, но он нам денег дал тогда много. Правда мамка наверное их спустила, я не помню. Потом меня бабка к себе забрала. А этот мужик снова к матери переехал.

– И в милицию не заявляли?

– Не-а. Мамка сказала никому не рассказывать. Еще меня обругала: вечно я дома ошиваюсь, вот и неприятности. Я только года два назад рассказала психологу в приюте. Она говорит, наверное, потому я к мужикам старым и бегаю, что у меня вроде как травма.

В дверь заглянула Алевтина:

– Доктор, я все оформила. Мне чего с ней, на УЗИ еще? Это сейчас талон взять или нам приехать в другой день? Нам бы лучше сегодня, а то сбежит опять, она ведь беглая, даже не думает, что беременная! А у нас машина одна. Таких как она еще пятнадцать девок. Только поумнее.

Доктор раздраженно подняла глаза.

– Ждите в коридоре. — Потом посмотрела на Лиду. — Тебе получается больше некуда пойти, только к ним? Они ж тебя съедят своими нравоучениями. И здоровым самостоятельным женщинам иногда беременность дается нелегко, особенно когда некому пожаловаться. Здесь у меня часто ноют. А тебе... Их упреки могут тебя окончательно измотать, не выдержишь — уйдешь ведь...

Зря она сказала про упреки. Копившееся за последнюю неделю напряжение, наконец, прорвалось слезами. Рыдать или подвывать Лида разучилась давно: через год, как забрали от матери. Видимо, прорыдала все там, в первом еще приюте. Но сейчас так жалко себя стало, оттого что идти некуда, и даже единственную радость — героин — отобрали. А там, на свободе, Виталик гуляет, и ему хорошо...

– Да они мне всю неделю мозг пилят, какая я бесстыжая. И запугивают, что ребенок будет больной, оттого мне придется труднее, чем другим девочкам — с инвалидом на руках. А я сама виновата, потому что бессовестная, убивать ребенка наркотиками. Еще все время водят на беседу с какой-то настоятельницей. Мозги промывает: Бог дал мне ребенка, чтобы я жизнь поменяла, и если даст больного, то чтобы грехи мои искупать мучениями... А мне и так жить тошно! Сил нет, ходить тяжело. Я не хочу никого растить, я плохая мать буду, у нас в роду не было хороших!

Врач встала. Налила в стакан воды из-под крана.

– На, попей. — Она подошла так близко, как будто вот-вот обнимет. Лида невольно отстранилась, но доктор только отдала стакан и отошла к окну. — Поплачь, Лида. Тебе можно.

Потом они долго молчали. Врачиха о чем-то своем у окна. А Лида все никак не могла унять слезы: только вытрет, а они снова.

Врачиха вернулась за стол, когда Лида перестала всхлипывать.

– Давай мы с тобой договоримся. Я знаю... ждать обещаний от наркомана — дело глупое. Я и не прошу. Давай мы просто договоримся, что ты попробуешь дотянуть до кесарева. Ведь если ты убежишь, Лида, ты не вернешься. Мы же обе понимаем, где ты будешь. И будешь прятаться до самых схваток.

А там поздно будет оперировать. Да и роды для тебя будут тяжелым испытанием. Это физически тяжело.

– Да я понимаю. Я не сбегу.

– Ты просто постарайся поставить себе одну цель. Ничего большего. Очень прошу, не думай, оставишь малыша себе или нет. Ты уже дала этому ребенку, что могла. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать — попробовать помочь ему родиться без ВИЧ-инфекции. А уж будут силы или нет, захочешь ли воспитывать — это ты станешь решать сама, в любой момент. Поняла меня? В лю-бой!

– Да вроде. Но они говорят: потом — привязанность... Сама не откажусь. Правда я совсем не понимаю, что надо будет делать... Как это... Там конечно в центре помогают, но они запугивают, что ночи бессонные, и что никто за меня ничего делать не будет, притворщицам-наркоманкам не верят... — Лида снова почувствовала, что ревет. Это было так непривычно. Наверное, первый раз за последние полтора года. И как будто легче от этого становилось. Хотелось плакать и плакать.

– Так, Лида, соберись. Ты забыла, о чем мы договорились. Наша цель — просто дотянуть. И все. Дальше — даже не думай ни о чем. Болтают эти соцработники, а ты не слушай, кивай просто. Поняла меня? Твой финиш — кесарево, всё.

– Угу, — прошмыгала Лида.

То ли от слез, то ли от тона доктора, но ей как будто стало легче. Начал рассеиваться жуткий страх от слов «будущая мама». Эти навязчивые картинки больного скрюченного младенца. Если только до кесарева — можно попробовать. Тем более, если под наркозом. А то эта монашка как затянет свое про муки роженицы, аж до дурноты. Половину слов не понять, что-то про грехи... Стоп, не думать... Надо не думать. Как врачиха сказала: просто кивать и все. Надо попробовать.

– Ну что, сейчас сходим с тобой на УЗИ, и поедешь отдыхать. Тебе нужно сейчас побольше отдыхать и научиться играть в глухую.

– А это... а осмотр?

– Да какой осмотр на твоем сроке. Только УЗИ теперь и померить живот. Это я так, чтобы выпроводить твою надзирательницу.

Они прощались после выхода из кабинета УЗИ. Тридцать три недели, девочка. По УЗИ пока без явных патологий.

– Спасибо, — Лида не знала, как завершить разговор. — Мне еще к вам прийти... можно? То есть... это... надо еще?

– Да, Лида. Тебя должны привезти через десять дней, тогда будут готовы анализы, и мы все обсудим. Береги себя, отдыхай. Жду тебя через десять дней, постарайся приехать.

– Спасибо... что поговорили...

Доктор кивнула и двинулась дальше по тусклому коридору. Сначала хотела было отвести в сторону соцработника на пару слов: попытаться объяснить ей, что давить на Лиду сейчас нельзя. Иначе точно сбежит. Да и что за бред: оставить новорожденного Лиде. Девочка ведь малыша к себе в притон потащит... Но потом поймала себя на мысли, что снова начинает играть в спасателя. Где она — грань бессилия и безразличия... Где грань чужой и своей истории...

Она открыла дверь в туалет. Никого. Подошла к наполовину закрашенно-

му окну и открыла тугую форточку. Задышалось легче. Достала телефон, пролистала недавние вызовы... Не нашла. Набрала вручную цифры. Телефон высветил «Лёшенька»... Никто не отвечал. Она начала набирать сообщение, но, после слова «сынок» не смогла ничего написать... Где ты... как нога... приезжай... возвращайся... Все это было не то. Ответа она не получит.

Она родила своего первенца в тридцать четыре года... «старородящая»... Родила здоровенького, красивого мальчишку... В детском саду он заболел гломерулонефритом, стал инвалидом, набрал огромный вес, почти не мог ходить... Пять лет она практически носила его на руках, лежала с ним по больницам, не давала посадить на гормоны. И все-таки вытащила его каким-то чудом... К началу шестого класса по его инициативе, они отказались от инвалидности, всех полагающихся льгот и пособий... Хотя с деньгами тогда было очень туго... Леша стал ходить в школу, записался на фехтование... До девятого класса был идеальным сыном и учеником.

И вдруг в пятнадцать лет попытка суицида. Вроде из-за несчастной любви. А потом депрессия, таблетки и через полгода наркотики... И этот последний его глупый побег из реабилитационного центра, когда он сломал ногу... последняя попытка поговорить с ним, после которой он перестал отвечать на звонки... За что? Ну, ладно эта девчонка Лида, из неблагополучной семьи, дочь наркоманки... А ведь у Лёшеньки было всё...

Она посмотрела на продолжающий светиться экран мобильного телефона... Где он сейчас? Ей хотелось надеяться, что и ему, быть может, встретится кто-нибудь, кто, как она сегодня, найдет несколько лишних минут, чтобы выслушать и поговорить.

ПАПА

Рассказ

– Так, смотри, доча. Это называется противопехотная мина! Щас мы ее будем о-без-вре-живать, — отец кряхтит и что-то отворачивает. Ей не видно. — Главное тут быть предельно аккуратным, а то все нахрен поляжем! — он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда видела его трезвым. Когда она его вообще последний раз видела... Варя всегда зовет ее, когда он звонит. Варя хочет быть хорошей дочерью. Может ждет, что папа вернется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках какая-то коробка, как из-под печенья, только грязно-зелёного цвета. Ксюша не знает, как выглядит мина. Она не верит отцу. Он хочет покрасоваться, произвести впечатление на дочь. Когда-то такие попытки вызывали у неё раздражение и жалость. Теперь — только раздражение.

* * *

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван один на троих. Спят двойным валетом: в середине мама, по бокам Ксюша с Варькой. На раздельные кровати места нет. Мама говорит, почитай Солженицына, поймешь, что люди в бараках и не так спали. Ксюша не знает, кто это. Она не хочет знать про бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не спрячешь, не укроешь.

Мама говорит почитай Ремарка, поймешь, что беженцы и не так жили... Ксюша не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать про беженцев. У нее есть дом. Он целый, он стоит там, где даже не стреляют. Она не просила забирать ее сюда.

Мама говорит, почитай Шаламова... почитай Газданова... почитай-почитай-почитай, поймешь-поймешь-поймешь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь как будто. Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно.

Мама с переездом стала разговаривать тихо и ходит она, будто пригибаясь всё время. Вместо школьных сочинений у неё школьные туалеты, коридоры, швабры, тряпки. Учителем никто не взял. Похоже, это её сломило, Ксюша не знает. Ей не хочется видеть такую маму. Маме и самой себя, наверное, видеть не хочется.

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся на окраине у родственников. Папа перевез их после того, как ночью к ним приходили... Дед иногда звонит маме или Ксюше: «Смотрели новости? Вон как мы их покрошили, скоро совсем разбегутся! Твари, в школу попали, там дети невинные, а этим плевать». Ксюша сочувственно мычит. Если бы она была там, ей бы тоже наверное сочувствовали. А она здесь. В «лучшей жизни». Здешним не сочувствуют. У них же все должно быть хорошо.

– Страшно было? — спрашивали ее одноклассники

Страшно? Если они про войну, то Ксюша не помнит: они уехали загодя, с первыми выстрелами. Страшно было еще за пару лет до того, как весь мир обернулся на их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксюша высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь ванной, орет. Мама там, внутри. Варька выбегает заспанная, она всегда спит крепче Ксюши, бежит к отцу, плачет, тянет его. Он продолжает дергать дверь, та будто вот-вот оторвется, как в мультиках, и отпружинит вместе с отцом аж до самой комнаты. Варя обвивает отца руками, рыдает. Уходят на кухню. Он дергает ящики, звенят столовые приборы, что-то ищет. Потом снова кричит в сторону ванной. Уходит, хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. Темно, высматривают отчаянно. От дыхания окна запотевают, приходится тереть. Вон, вон внизу отделилась тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачиваясь. Через дорогу гаражи. Ксюша слышит, как Варька начинает шептать: молится, чтобы машина не завелась. Ксюша слезает с подоконника и оглядывает кухню. На стене вмятина: дверца шкафчика ударяется, ее ручка оставляет след — раз за разом, ссора за ссорой. На этот раз посуда на месте, отец только солонку смахнул и корзину с яблоками. Вместе с клеенчатой скатертью свалил. Ксюша поднимает клеенку, на ней виноградные листы и коричневая кладка кирпичной стены. У них такие же обои в коридоре. У половины ее подружек такие обои, тоже как будто клеенчатые. Маме легко их мыть, если отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и приговаривает: «Хоть обои менять не нужно».

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрачная. Прозрачные самые плохие. После них всегда жди ссоры. Еще бывают коричневые и зеленые. Их обычно больше, но после них отец веселый, и мама тоже.

Ксюша идет к ванной, стучит тихонько: «Выходи, он ушел». Мама включает воду, какое-то время еще сидит. Потом выходит. Запирает входную дверь на ключ и цепочку: «Идите спать». Варька берет Ксюшу за руку и тянет в комнату. Они ложатся, но Ксюша еще долго слышит, как мама всхлипывает на кухне.

Наутро Ксюша идет в школу с красными опухшими глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так Варька велела. Варька взрослая, она лучше знает, у нее даже сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала на хранение. На вопросы учителей Ксюша врет: прищемила палец с утра или кошка убежала, не нашли.

Отец не всегда был таким. Ксюша помнит: он работает водителем в каком-то управлении. На праздники ему всегда выдают для детей подарки. Вечерами он укладывает Ксюшу с Варькой спать. Папа рассказывает про деда, про его ранения в Афгане. Сам папа мальчишкой гордился своим отцом, таскал в школу его медали. Ксюша не рассказывает про своего папу в школе. У него тоже есть медали из другого места с коротким, резким названием. Чечня. Ему до сих пор платят деньги за то, что он там воевал. Гордо говорит «пенсия», но ведь он совсем не старый: Ксюша не хочет, чтобы в школе думали, что ее папа уже пенсионер, как дедушка.

Потом — скандал. Она помнит урывками. Отец подрался, сломал кому-то челюсть. С работы выгнали. На новую не берут. В городе всё про всех знают. Он перестал провожать их в школу, лежал допоздна. А когда Ксюша с Варькой возвращались после школы, его не было: уходил допоздна с шумными приятелями.

* * *

Толстая тетка-соцработник проводила ее в комнату. «Вот, располагайся, это твоя кровать».

Первый раз в приюте. Мать решила ее проучить: раньше грозила, а на этот раз исполнила — сказала в ментовке, что забирать не будет, они и переслали Ксюху через опеку в приют на перевоспитание. Мать, конечно, долго терпела, ее понять можно, приводов в детскую комнату уже никто не считал, опека вызванивала каждый месяц, мозг прокапывали, что «надо последствия дать». Но все же Ксюха до последнего наделась, прокатит. Обидно, что в этот раз ее забрали просто по дурости. Она даже не пила, просто подошла к парням сигаретку стрельнуть, заболталась, а тут эти нарисовались, с мигалками. И главное — весна на подходе, можно по свободным дачам мотаться, а ее вот закрыть хотят...

Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут осмотреться. В принципе с виду нормальное место. Типа летнего лагеря. У нее даже отдельная кровать. Ого, да тут на три койки в палате отдельный душ и туалет. И тумбочка у каждой своя. По ходу лучше, чем у бабки.

В комнату влетела толстая девица с рыжими длинными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, вся в веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик «Летучий корабль». Такую девицу наряди в сарафан, и прям боярыня, или кто там была эта поднывала «по-любви-хочу».

– Привет, ты че, новенькая? Как звать?

– Ксюха...

– Ты к нам откуда? Из дурки?

– Не...

– Жаль, а то думала вдруг ты кого из наших видела, — рыжая окинула взглядом Ксюху, ее кровать, заглянула ей за спину. — А вещи твои где?

– Нету, меня из ментовки сразу сюда.

– Че, и телефона нет? — рыжая недоверчиво прищурилась.

– Не, потеряла на днях.

– Ой, трынди больше! Загнала небось. Без телефона здесь никуда! Но я

тебе подскажу, как добыть! — рыжая хитро улыбалась. Ее огромные навыкате глаза превратились в две щелочки. — Я тут всё знаю. Это тебе не дурка, это приют. Здесь все можно, только уметь надо. На, глянь! — рыжая не без усилий выудила из кармана обтягивающих джинсов айфон. Ксюха не знала, какой он модели, она таких и в руках не держала. Но точно знала — айфон.

– Крутяк? А, забыла сказать, я — Ирка! — Ирка протянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. — Кучу бабла стоит!

– Да я представляю. Богатая ты...

– Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. — Рыжая стянула резинку и начала наскоро заплетать волосы в косу. Косища выходила огромная.

Ксюха пожалуй в тот момент завидовала больше Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове росла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого торчащая в разные стороны. Про «красивая» Ирка, конечно, загнула — за жиром не поймешь, а вот волосы... Волосы и здоровенные сиськи... — Ксюха вздохнула. Ни того ни другого у нее не имелось.

– Так что держись меня, я тебя с нужными ребятами познакомлю, тебе тоже чё-нить перепадет.

– Это здесь, в приюте?

– Ага! Щаз. В приюте одни мелкие. Нашего возраста. Откуда у них айфон. Это там, снаружи! — Ксюха подмигнула. — Арик — мой парень. Он строитель, в общаге живет. А айфон где-то отжал и мне подарил! — Ирка выхватила мобильник и начала в него тыкать. — На, глянь, это Арик.

– Так он взрослый...— на заставке какой-то усатый мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

– Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол впаяют ему за меня — «совращение малолетки»! — Ирка громко по-лошадиному рассмеялась. — Зато мужик нормальный, а не эти, хлюпики местные. Сейчас в приюте из парней только Димка да Леха нормальные. Но Димка — мой, токо подойди, я те так вставлю! — Ирка сложила свои пухлые пальцы в кулак, по ее лицу было непонятно, шутит она или правда двинет для убедительности. Кулак выглядел основательным, костяшки в мелких шрамиках, видать боевая.

– Да у меня есть там парень, снаружи, — Ксюха прикинула, как бы Мишка отреагировал на статус *ее* парня... — А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:

– Ну, Арик это снаружи, а здесь Димон. Тупо так называть, скажи? А этот придурок говорит, зовите меня «Димон». Я ж сказала, в приюте все парни того, долбанутые. — Ирка картинно постучала себе по голове. — Ну пошли, короче. Че стоишь?

* * *

– Сейчас Клоун съест Бога...

– Что?

– Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Видишь вот эту тучу? — пальцы у Мишки длинные и обветренные. — Вот это нос, ниже улыбка такая кривая, как в ужастиках, а вон — как колпак, видишь?

– Вроде того. А чё глаз нет?

– Злу не нужны глаза, оно и так всех нас найдет... — Мишка сказал это с интонацией старой гнусавой озвучки фильмов.

– А где Бог?

– Вон справа медленно подплывает. Видишь: длинные волосы и рука одна вперед тянется: «Покайся, грешник!»...

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, иссыхающие травинки кололи через подстеленную толстовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, если увидит испачканную. Проще выкинуть, сказать, что на вписке увели. Вот так лежать с Мишкой приятно. Только холодно уже. Мать говорит, придатки застудишь, потом детей не родишь. Ну и норм, нафиг еще дети. Растить кого-то, чтобы он также мучился?

– Барабанная дробь... Нет, надо музыку как во Властелине Колец, жутковатую такую, когда орки торжествуют! Урррк-мэг-тэрррэ-пыд-тэ! Сожрал.

– Ну, вообще-то не понятно, кто кого. Они просто слились.

– Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда побеждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка «философствовал». Он и так старше ее на два года, а в такие моменты прям взрослый. Худющий, правда, и прыщи эти... Зато высокий и умный. Хоть поговорить можно.

– ...Богу не победить зло: мы же его дети, но распустились очень. У твоей мамки вас двое, и то на тебе уже выдохлась. А Бог наплодил нас шесть миллиардов, как тут уследить? Наши развлечения Ему не по душе, но что Он может сделать. Жить нам скучно. Ищем удовольствий. Кто помладше — наркотики или там зацепинг, драки. Мужикам вроде как уже не подходит, им пожестче надо, чтобы адреналин получить. Они и придумали войны. Давно придумали. И ведь сколько веков работает, отвлекает от скуки. Помнишь у БИ-2? «Революция — она похожа на женщину, которая даст тебе самое большое счастье на свете, но на утро убьёт тебя. Именно поэтому не будет в мире больше революций, потому что не осталось у этой женщины женихов».

– Так это про революцию.

– Да война по сути то же самое, только с продолжением. Война соблазняет мужчин, забирает себе, и они идут за ней, не видя других женщин.

...Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, что-то еле слышно напевающие. В профиль он больше тянул на свой возраст. Она все не решалась спросить: они вроде как встречаются или так, друзья? Боялась, рассмеется или вообще подумает, что она того. Они часто бывали вместе. Можно было в любой момент набрать Мишке и пойти шататься куда-то вместе, это грело. А вот определенности все же не хватало. Вообще за последний год ей все больше хотелось внятности, чего-то спокойного, своего, но образ девочки-дурашки, что-то все время невпопад говорящей, был настолько привычен и забавен для знакомых, что менять его было страшновато, да и на что менять — неясно.

– У меня последняя сига осталась. Надо пойти стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвернулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы не думал, что она тупая.

– Бабка говорит: «Бог — это совесть». Типа всем нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, там эти сектанты анонимные говорили, типа Бог — это любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натворили, главное завязывайте, и Бог все простит, потому что любит.

– Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог любит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

– Он же бессмертный?

– А толку-то что? Бессмертный — не критерий. Камни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, тысячи лет там лежат и еще столько же будут. Но это не значит, что от них что-то хорошее в мире происходит, и надо начать в них верить... Хотя, кстати, было бы неплохо. А что, давай создадим свою веру в вечные камни или океан? Секту слепим, деньги собирать будем.

– Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.

– Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в тебе меркантильность берет верх!

– Деньги не пахнут.

– Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, бесстыжих. Хотя ей-то тоже туда билетик выпишут, мощная она у вас ведьма!

– Не говори.

– Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтинник есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.

– Опять я?

– Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настреляет. Вот ты кому б дала: тебе или мне?

– Я б тебе дала, конечно!

– Я учту, — расплылся в улыбке.

* * *

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бежал, без броника. Не поверишь, первое время думал, пусть хоть подстрелят, все равно жить тошно. Может хоть поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. Каждый день деньги, да деньги. Потом — алкаш, да алкаш. Я мужик, мне выпить нельзя? На ее что ли деньги пил? Я военный, мне дело нужно, а не по базарам ходить, да домашку у младшей проверять. Она сама училка, вот и занималась бы девчонками.

А я мужик. Воин. Мы дохнем от скуки. Виноваты что ли, что так устроены? Они дохнут без своих журналов да сплетен, а мы без войны мрем. Но ничего, жизнь она всё на свои места вернула, напомнила, где я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинится. Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удобствами, школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! Денег на дорогу дал, проводил. А она каждый звонок как заведенная: деньги пришли, деньги. Я тут, бл.., под пулями хожу, а ей только деньги! Что там у них, работы нет, что ли? Сидит, ж...пу свою поднять не может! Девки взрослые: Варька в институте, Ксюха школу дотягивает. Времени у жены дохрена, пойди да заработай! Так задолбала, сил нет! Прислал ей бумаги на развод. Пусть думает. А ей хоть бы что, сказала, подпишет! Тварь. А я тоже человек. Я два года ждал! Пока она перед фактом не поставила, что к мужику переезжает. Невозможно, видите ли, с матерью однушку делить! Конечно, две змеи в одном гнезде.

К мужику, так к мужику. Я даже, знаешь, в тот момент не разозлился. Отпустило, как будто. Два года ее не видел, уже ничего к ней и нет. Ну и мне чего одному скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не нужно. Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. А здесь одинокой бабе тяжко.

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через год снова вернулась. Да только я больше не позову. У меня теперь Маруся. Молодая.

Бесит, что младшую настраивает против меня. Что ни звонок, так мычит просто. Ни тебе «папа», я уж молчу про что ласковое. Видать мозг ей пропесочивают, что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, Ксюха, сама поймешь, что отец таких вот, как ты, здесь спасает, чтобы жизнь у них нормальная была, чтобы, как ты там, могли они здесь засыпать со своим плеером, а не под артобстрелы.

* * *

– Ну чего, док? — Яныч шагнул навстречу. В пустом коридоре отданной под МПП сельской школы его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее затишье, все отсыпаются.

– Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить принес.

– Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж тебя расцелую!

– Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не баба. Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на ногах.

– Да это я мигом, сейчас ребят кликну!

Окунь глянул вслед подпрыгивающей походке Яныча. Радуется. Пусть радуется. Ребенка из-под обстрела вынес. О том, что мальчику скорее всего придется отрезать ногу, он скажет Янычу завтра. А может вообще не скажет. Главное, живой. Перевозка едет, через час-другой пацана переправят в город в нормальную больницу, там разберутся. Отрежут конечно, тут выбора нет. Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколько ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. А скольких не успеют... А все из-за глупости. Людской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопросах, не любил делить на добро и зло. Но его бесили родители, оставлявшие детей под огнём.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. Дал мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спасать жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы дети попадали к нему на стол. Не уехать все равно, что ждать смерти. Ладно — мужики: они пришли сюда воевать. Это их выбор, их работа, если угодно. Войны были всегда. Работа военных — воевать. Но дети?! Окружения нет, почему ж вы их держите тут? В блокаду детей переправляли в тыл, зная, что может потом не найдут никогда, сколько их растерялось по стране. А теперь — в чем проблема? Да здесь даже на передовой каждый второй солдат выкладывает в сети свои фото, у всех телефоны, скайп, позвонить родным хоть во Владивосток можно. Отправь ты подальше детей — каждый шаг отследить сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее будет. Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ проверенный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в стену, но сразу кто-нибудь заметит, уставится, обернется или наоборот отойдет в сторону. Здесь нервным не место. Война.

Только поговорить не с кем. За его мысли любой пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: у него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он получает за это медали местного отлива и непризнанные там, в реальной армии должности. Потому и сидят здесь такие майоры и подполковники... Не первый год уже. Не вернуться им назад. Здесь они мужики. Герои. А кого из них сейчас в Москву перекинь, да заставь крутиться, чтобы и жилье снять, и семью накормить. Да ладно семью — себя да кошку. И нет их силы, исчезнет вся. И уважения там не сыщешь, хоть обвешайся медалями. Там другая разменная монета. Другие герои. Эта война ценится только теми, кто в ней.

Окунь не такой. Мужики дразнят его терминатором. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь держится. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их породы. Догадывается по тому, как Окунь тихо выпьет свое, пока остальные обмывают шумно новый успех, как отмолчится во время тостов. Он профессионал *своего* дела. Он ехал сюда, чтобы отточить мастерство. Московский хирург. Там дома конкуренция лютая. Либо в частной шарашке сиди зевай, либо в больнице аппендициты режь. А в каком-нибудь Склифе или Боткинской таких, как он, одаренных, толпы. Не прорваться. Зачем себе

врать — пробиться там не смог. А тут думал раз война, то в местных больницах точно пригодится, ценным будет, «столичный врач», дослужится если не до главного, то хотя бы до завотделением. А через несколько лет обратно с записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, персонала в избытке: все региональные врачи, кто не уехал, от огня перебрались поближе к крупным центрам. Что ж, логично.

Осталась только военка. Ничего, он не из трусливых. Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока там дома хирурги-пенсионеры уступят наконец место. А здесь он не просто врач на все руки, он параллельно управляет бесконечным организационным процессом. Он и голова, и шея, и весь организм этого госпиталя. Да и травмы такие, что в Москве раз в пять лет увидишь. Опыт конечно бесценный. И сам ощущаешь, как мастерство с каждым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, не на детях же...

Окунь выдохнул, порылся в кармане. Вторую ручку он сломал еще после полудня: палили бесперебойно, солдат привозили пачками, в основном осколочные. Одного не доглядел. Просто не успел. Внутренне кровотечение.

* * *

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. Поют. Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда на полную громкость звучало «Любэ». Она точно знает, чей это голос. Сначала замедляется, прислушивается, едва ступая, подходит ближе. Люди без зонтов нерешительно выглядывают наверх. Там снаружи дождь. Август выдался мокрым и серым.

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем несколько помятых купюр. Еще двое по бокам чуть сзади с гитарами. Они молоды, погрузневший с годами отец выглядит на их фоне нелепо. Руки его заканчиваются в районе локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтягивали то место, где прошелся нож хирурга. Так прохожие точно поверят, что ампутированы. Все трое в камуфляже. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с поезда пьяный, поддерживаемый таким же поддатым дружком, Ксюши дома не было. Ей потом бабка рассказывала. Мама после этого неделю ходила потерянная, но Ксюша разговоров с ней избегала. А бабка все причитала, мол, куда же он пошел, как ему теперь жить. Повторяла, что отец передал матери деньги. Десять тысяч. Первый раз за столько лет. Ксюху злило непонятно откуда появившееся бабкино сочувствие. Нахрена он припёрся! На жалость надавить? Повоевал, а как инвалидом стал, вспомнил, что семья есть? И гордый такой — не остался, вроде как благородный, пришел помочь, а самому ничего от них не надо. Ксюха нарочно старалась растравить обиду.

Уставилась на отца.

Как много я говорила о тебе. Психологи, врачи, приют, наркологички, реабилитационный центр... Все наши разговоры упирались в детство. В последнем центре я даже врала, что ты умер! Думала, так больше шансов, что не будут спрашивать. Что не придется снова тебя обвинять, ненавидеть. Как много неотправленных писем написала я тебе... Они говорили, что так станет легче, что так выйдет вся боль...

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За маминого нового мужика, который оказался таким же пьющим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не трогал, зато наливал мне от доброты своей. А знаешь, я ведь тогда и начала все пробовать. Сидела с ним на кухне и настойку эту мерзостную пила. И о тебе думала: вот

папочка, я твоя дочь, доволен? Отомстить тебе так хотела. Ты ведь первое время все убеждал меня, мол, ты за нас воюешь, чтобы у нас с Варькой было все хорошо. Мне так хотелось, чтобы ты понял, что у нас все плохо. Варька в отличницу играла. В институт перевелась, подрабатывать начала, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, решила по-другому. Захотела до дна дойти. До-о-олго вроде спускалась. Да только потом поняла, что ты ведь раньше меня туда пошел, и оттуда снизу не замечаешь никого, кто еще не так глубоко спустился. Я сама постепенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытаскивать. Заметили и давай звать. Люди стали в жизни появляться нормальные. И снова вниз — не захотелось.

А ты — вот. Стоишь в двух шагах. Но почему-то все это тебе говорить уже как будто незачем... И сердце сжимается от боли.

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак выцепил ее взгляд... Петь перестал. Смотрит. Ей сдавило все так, что вдохнуть больно. Ни сказать, ни крикнуть, ни отвернуться.

— Папа, не надо. Пошли домой.

Андрей ТИМОФЕЕВ

НАВСТРЕЧУ

Повесть

Часть первая. САША

1.

Саша была для меня ярким солнышком, самой светлой и чудесной девушкой, которую я знал. Когда я стоял посреди школьного коридора, нарочно оказываясь именно там, где она должна была пройти с одного урока на другой, то ещё издали различал её звонкий переливистый смех. Я никогда не заговаривал с ней сам, я был на три года старше и никому не признался бы, что мне нравится восьмиклассница, а особенно ей самой. Но она отчего-то чувствовала мою робость и, приблизившись, изо всех сил ударяла меня по плечу. А я всякий раз удивлялся, как она смеет, но мог только сдержано и неодобрительно покачать головой в ответ или строго выговорить: «Осторожно, Саша...». А после уроков подолгу гулял по городу, думая о ней, предчувствуя что-то радостное и томительное. Как-то, найдя в учительской школьный журнал их класса, я узнал номер её домашнего телефона, но так и не решился позвонить... А потом в конце февраля Саша попала в реанима-

---

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году в городе Салавате республики Башкирия. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М.П. Лобанова). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Роман-газета» и др. Лауреат премии им. Гончарова в номинации «Ученики Гончарова» (2013 г.), премии «В поисках правды и справедливости» (2015 г.), премии им. А.Г. Кузьмина журнала «Наш современник» (2016 г.). Член Правления Союза писателей России. Живёт в Москве.

цию. Ходили слухи, что она сама выпрыгнула из окна девятого этажа, но я не мог в это поверить. Мне казалось, если бы кто-то при мне сказал об этом вслух, я набросился бы на него в ту же секунду.

Помню тёмные холодные коридоры с деревянными лавками вдоль стен. Был выходной день, и я пытался найти кого-нибудь из врачей, блуждая по отделению, стучась, открывая какие-то двери. Сильно пахло хлоркой. За стеной плакали, и оттого мне становилось жутко. Наконец я оказался в крошечной проходной комнате с медицинскими шкафами и услышал тонкие сигналы человеческого пульса. Я осторожно шагнул вперёд и замер от неожиданности.

Просторную палату заполняли лучи зимнего солнца из огромного окна, отражаясь на белых стенах, на белом столе, белой простыне на кровати, закрывающей неподвижное тело Сашеньки. Сначала я даже не узнал её. Переливалась радужными цветами трубочка капельницы над её головой, бегали озорные блики по прозрачной дыхательной маске. Я хотел было подойти к кровати, но не решился, и лишь немного наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть лицо, светлые волосы на подушке — такие длинные и густые, что их не смогли даже как следует собрать в пучок чужие руки врачей. Саша не видела и не слышала меня, и только в воображении мне показалось, что звуки сердца едва участились, когда я тихо позвал её по имени.

В тот момент чьи-то сильные пальцы схватили меня и поволокли прочь. И лишь в коридоре я разглядел перед собой женщину в белом халате с полными багровыми щеками, сердито говорившую мне о том, что это реанимация и сюда никому нельзя.

– Может, передать ей что-нибудь от тебя? — спросила она в конце неожиданно мягким голосом.

И тогда у меня всё смешалось — и страх за Сашу, и гора сочных красных яблок, которые я зачем-то должен ей передать. А как же она будет их есть, подумал я. Только несколько дней спустя я понял, что та медсестра имела в виду передать на словах — что Саша мне дорога, что я её люблю...

Отпевали Сашу в старой городской церкви. В детстве бабушка несколько раз водила меня сюда, и я помнил, как из-за тесноты люди постоянно задевали друг друга локтями, когда крестились. Теперь же меня удивило, что внутри было пусто и холодно. На похороны пришли одноклассники Саши и учителя. Всем раздали по свечке, а пожилая учительница математики каждому предлагала маленький клочок бумаги, чтобы не обжечься. Гроб стоял поодаль, между крестом и купелью. Саша была одета в белоснежное платье, а вдоль тела лежали ярко-красные розы.

Долго стояли в темноте, но никто не подходил к нам, будто мы были здесь чужие. Я слышал надтреснутый старушечий голос, недовольно повторяющий, что самоубийц не отпевают, и другой, пронзительный и нервный, убеждающий, что это всё неправда и что девочка умерла в больнице. Но вот у входа началось движение, постепенно передаваемое всем. К вошедшему в притвор священнику заспешила худенькая женщина в больших очках и принялась отчаянно шептать что-то на ухо. Священник слушал, нахмурившись, и я видел, как отблески свечей едва колеблются в чёрной блестящей бороде. Рядом стояла суровая старушка из свечной лавки и глядела на всех исподлобья. Я понял, что решается что-то важное, но не мог понять, что именно. Все были напряжены, ожидая окончательного приговора.

Наконец священник разобрал, что хотела сказать худенькая женщина, и резко взмахнул рукой, заставляя её молчать. «Всё знаю», — выговорил он,

ненадолго подошёл к родителям Саши и, не глядя ни на кого больше, скрылся в алтаре. А вскоре церковь наполнилась успокаивающим запахом ладана, и я, обессиленный, едва держался на ногах, чувствуя, как кто-то мучительно плачет внутри меня.

Плохо помню сами похороны, и только вспыхивает в памяти, как мы медленно идём по извилистым улочкам мимо могил, а под ногами замёрзшие следы грузовых машин. Несколько человек пытаются запеть, но их голоса постепенно хрипнут и замолкают. Ещё помню, как падает мой комок мёрзлой земли на крышку гроба и как та же худенькая женщина в очках начинает что-то долго говорить о Саше. Мне холодно, холод ледяной водой стоит в ботинках, трогает лицо и пальцы. Я закрываю глаза и вдруг ощущаю своё полное безразличие...

Вернувшись в тот день в свою комнату, я сел на кровать и долго ещё смотрел вокруг. На столе лежали школьные тетради, в шкафу висела одежда. Мне хотелось сейчас же вскочить, что-то ещё сделать, опять бежать в церковь или на кладбище, но ничего уже не надо было. Тогда я лёг, обхватив себя руками, и почувствовал, как тянутся секунды. Помню, бабушка, приехавшая на неделю из деревни, в тот момент вошла ко мне в комнату и вдруг так сурово сказала: «лежит и лежит, будто у него бабка родная умерла». И по прошествии многих лет останется в моей душе обида на неё, закалённую жизнью до такой стальной твёрдости, через которую уже никакое чувство не может проникнуть внутрь.

Следующей ночью мне приснился сон, как я иду по мутным, заполненным дымом коридорам. Полная медсестра с багровыми щеками не пускает меня, что-то говорит, хватает за плечи, но я, наконец, прорываюсь в палату. И там, среди ровных рядов кроватей с неподвижными больными, сидит Саша, наклонив голову вперёд, и мечется, как сумасшедшая, накручивая распущенные волосы на пальцы, крича громко, пронзительно, страшно. Я проснулся от сильной тоски и сначала не мог понять, где нахожусь. Машинально я поднялся с кровати, взял в руки трубку телефона и позвонил по Сашиному номеру, а потом долго сидел на корточках перед телефоном, представляя, как в её пустой квартире раздаются одинокие звонки. Но когда услышал заспанный женский голос на том конце, испуганно бросил трубку. Я не мог поверить, что её родители по-прежнему живут у себя дома, что они не умерли от горя.

В нашей квартире на кухне в углу висела выцветшая икона в деревянной рамке, а под ней — большая полка, в которой пылились бабушкины старые церковные книги, которые она почему-то никогда не брала к себе в деревню, а хранила у нас. Эта полка всегда была чем-то инородным среди других предметов, кажется, я даже никогда раньше не прикасался к ней. Но в ту ночь я достал оттуда потрёпанную книжицу с чёрным крестом на обложке, раскрыл её наобум и принялся читать. Мне казалось, что если сейчас изо всех сил начать молиться, то можно перенестись назад в то время, когда Саша ещё была жива, и всё исправить. Я отчаянно верил в чудодейственность древних слов, и мне вдруг показалось, что это произойдёт вот именно сейчас, нужно только как-то особенно произнести «и ныне и присно и во веки веков», ещё и ещё раз — но ничего не происходило. Тогда я опять лёг в кровать, но всё ещё настороженно вслушивался, не позвонит ли телефон. Я точно знал, что если это произойдёт, то на другом конце я услышу её голос.

На девятый день после Сашиной смерти мы с бабушкой пошли в церковь. Было по-обычному людно, будто ничего не случилось, будто никогда и не

было здесь Сашиного гроба, а по-прежнему шла всё та же утомительная служба, что и всегда, те же люди приходили со своими проблемами и желаниями. Церковь показалась мне чужой. А когда подавали записку за усопших, я вдруг увидел в свечной лавке ту самую суровую старушку, которая спорила с кем-то из Сашиных родственников в день похорон. Не глядя на нас, она монотонно ударяла красным карандашом по каждому имени в записке, а потом недовольно произносила себе под нос — все крещёные, нет самоубийц? Бабушка грубо ответила — нет, и в тот момент я был так благодарен ей за этот обычный суровый тон. Но в то же время неясная тревога защемила мне сердце. Я почувствовал какую-то странную отделённость Саши от других умерших людей, которую всякий раз надо было с таким трудом преодолевать, а вместе с тем отчего-то и свою отделённость от остальных живых.

Через неделю бабушка уехала к себе в деревню, а мы с мамой справляли мой день рождения вдвоём. Это был самый странный праздник в моей жизни. Мы сидели в какой-то непонятной проникновенной тишине и почти не говорили друг с другом. Мама смотрела на меня с жалостью и боялась произнести что-то не то, лишь как-то неуверенно и ласково гладила меня по руке. В тёмном окне, не завешанном тюлем, отражались мелкие точки зажжённых свечей на торте, так что казалось, их в два раза больше, чем на самом деле. Я смотрел на эти точки, и мне было грустно, что я так повзрослел за эти дни и что больше никогда не стать мне таким, как раньше.

Я почти перестал общаться с друзьями, на переменах сидел за партой один, не глядя на других и не слушая, о чём они говорят. Меня не интересовали прежние увлечения. Иногда по ночам я опять вставал перед иконой. Мне отчего-то казалось, что так я могу загладить свою вину перед Сашей. Но от этих молитв мне становилось только тоскливее. Я уже не верил в то, что Бог сделает для меня чудо, потому что был какой-то твёрдый закон, по которому что-то было можно, а что-то нельзя. Но чем яснее я понимал это, тем настойчивее продолжал молиться с какой-то странной детской ожесточённостью. Мне будто хотелось победить этот злой закон, доказать, что я сильнее его.

Моё пробуждение случилось в конце мая на выпускной школьной линейке. Как всегда, я стоял поодаль от своих одноклассников и о чём-то думал. Поднимались вверх воздушные шары, пущенные в честь праздника, и один из них застрял в листве. Жмурясь от солнца, я смотрел на этот шар и вдруг так ясно почувствовал, что мне всего семнадцать лет, что впереди целая жизнь, и мысль об этом поразила меня. Весь день потом я ходил, как влюблённый, опьянённый этой неожиданной мыслью.

После той линейки наш класс сидел в кабинете, ожидая учителей. Отовсюду доносился девичий смех, воздух был пропитан этим весёлым щебетанием. А поодаль, на последних партах, ожесточённо спорили ребята. «Ну, вы и мужики! Конечно, если не поступишь в институт, нужно идти в армию!» — напористо возражал остальным Гоша Шаманов, высокий парень со шрамом во всю щёку. Я будто только что вынырнул из воды, мне казалось таким нелепым, что где-то есть армия, другие города, институты. Но я жадно ловил каждое слово, мне хотелось вмешаться в разговор, также начать изо всех сил доказывать что-то.

В тот день мы с Шамановым по случайности одновременно вышли из школы, и нам пришлось идти вместе. Мы почти ничего не знали друг о друге, хотя и учились вместе, и нам не о чем было говорить. Чувствуя возникшую неловкость, Шаманов принялся расспрашивать меня, где я собираюсь

учиться дальше и ещё о чём-то. Но после трёх месяцев своего ожесточённого одиночества я не мог разом заговорить о чём-то простом.

– Знаешь, Гоша, вокруг нас идёт война, — начал я серьёзно. — Не подумай, это не фантазия. В мире постоянно происходят зло и несправедливость, и мы даже не замечаем их. А нужно бороться, нельзя расслабляться ни на секунду. Ты спрашиваешь меня, чем я собираюсь заниматься в жизни, так вот — я хочу участвовать в этой войне изо всех сил!

Наверное, мне казалось, что он будет озадачен моими словами, но вдруг я заметил, что Шаманов совсем не удивлён, а наблюдает за мной с лукавыми огоньками в глазах. Секунду мы внимательно смотрели друг на друга, а потом оба неожиданно рассмеялись.

Трудно сказать, что мы с Шамановым нашли друг в друге. Он был главным заводилой в классе, любимцем девушек и завсегдатаем дискотек и уличных драк. Я — замкнутым молчаливым подростком, сосредоточенным на своих мыслях. Но с того дня мы несколько раз вместе шли из школы домой, а однажды даже ездили куда-то на реку ловить рыбу. Наверно, я казался Шаманову загадочным человеком и потому он всеми силами старался меня разговорить. А когда не получалось, особо не расстраивался и продолжал о чём-то рассказывать удивительным дружеским тоном, которого, как мне казалось, я совсем не заслуживал.

– Слушай, Алёшка, как думаешь, какими мы с тобой будем лет через десять? — рассуждал он, глядя на играющие на поверхности воды солнечные блики. — Я так представляю: у меня будет свой дом, я хочу из дерева сделать, никаких кирпичей. Внизу цокольный этаж, там баня и камин. Мы будем с тобой сидеть после парилки и смотреть, как горит огонь, и будем чувствовать, что жизнь удалась! — и тогда мне тоже начинало казаться, что моя жизнь когда-нибудь на самом деле может удаться, и я был благодарен Шаманову за это ощущение...

Наступившее лето стало для меня временем вдохновенной радости и жажды жить. По ночам я больше не стоял на коленях перед иконой, а всё больше лежал в кровати, мечтая о каком-то большом счастье, которое должно было ждать меня впереди. Но иногда смутное чувство грусти вдруг находило на меня, и тогда я с удивлением вспоминал свои недавние восторги. Я никогда не рассказывал Шаманову о Саше, боясь повредить беззаботной простоте, которая сложилась между нами с первого дня. А он каждый раз простодушно не мог понять, почему я отказываюсь от предложений поехать с ним на турбазу или на дискотеку.

Последнее воспоминание о родном городе. Конец августа, я иду на кладбище, чтобы попрощаться с Сашей перед отъездом в Москву. От города ходит рейсовый автобус, но сегодня я добираюсь пешком. Нужно перейти железнодорожные пути, углубиться в безлюдные улочки садовых участков, и, выйдя на объездную дорогу, подняться в гору до конечной остановки. Я хорошо знаю этот путь, но, миновав последний поворот, невольно останавливаюсь. Передо мной открывается огромное пространство, заполненное белыми точками памятников, так что издали кажется, что это южный город с белыми крышами маленьких домов.

Я подхожу к могиле. С фотографии смотрит на меня девочка, в которой только по озорным точкам в глазах можно узнать мою Сашу. На ограде лежит гроздь спелых ягод калины. Никого нет, и только слышны тревожные порывы холодного кладбищенского ветра.

2.

Институт, где я должен был учиться, находился на окраине подмосковного городка. Мир, в который я попал, напоминал средневековый монастырь. На асфальте перед входом в главный корпус было выведено «Оставь надежду всяк сюда входящий», как перед дверями ада, но восхищённые первокурсники с решительным восторгом новоначальных переступали эту таинственную надпись, гордо поднимая голову. Поначалу все воображали себя будущими учёными, а потом постепенно разочаровывались в своих мечтах.

В общежитии меня поселили в маленькую угловую комнату, в которой должны были жить ещё трое студентов. Когда я оказался там первый раз, никого из них не было. Вразнобой лежали на кроватях вещи, но чувствовалось, что живут здесь совсем недавно. Один угол был завален грязной посудой, исписанными листами, одеждой, а прямо на полу неровными стопками были нагромождены книги. Прислушиваясь, чтобы никто не застал меня за этим занятием, я осторожно подошёл и оглядел корешки. А когда появились соседи и ещё толкались в узкой прихожей, отгороженной от остальной комнаты платяным шкафом, мне стало так неуютно оттого, что теперь уже нельзя будет остаться наедине с самим собой, что рядом всегда будут эти чужие люди.

Я почти не помню дневных часов, потому что проводил их на занятиях или задерживаясь в аудиториях после занятий, и лишь после закрытия института возвращался в общежитие. А если удавалось занять место в ночной читалке, то подолгу сидел в пахнувшей деревом маленькой комнате, где то здесь, то там моргали одинаковые тусклые лампочки на столах. Наконец в ясном предрассветном воздухе раздавался гулкий перестук первой электрички, и надо было идти спать.

Постепенно я стал привыкать к своим соседям. Одного на курсе называли по имени-отчеству Святославом Александровичем за густую рыжую бороду и мощные скулы, придававшие ему сходство то ли с монахом, то ли с учёным. Святослав Александрович вёл аскетический образ жизни, питался на двадцать рублей в день, почти не спал и собирался в конце учебного года сдавать теоретический минимум Ландау.

Другой мой сосед, долговязый паренёк с пунцовыми щеками по имени Сеня Садовский, был малоразговорчив и первое время часами напролёт слушал старый кассетный плеер, иногда с треском начиная перематывать плёнку, раскручивая её на огрызке карандаша. Сеня был совершенно не приспособлен к бытовой жизни, питался заварной лапшой и варёными сосисками. Занимался он, сидя на кровати, подкладывая под тетрадь толстый справочник по физике и поминутно ерзая, чтобы размять затекающие ноги. Выполняя домашние задания, он мог вдруг отложить учебник и начать рисовать или записывать короткие строчки стихов на случайных листах бумаги. По ночам Сеня уходил из комнаты гулять по институтскому стадиону, а потом возвращался продрогшим и, кашляя, виновато улыбался. Как-то я спросил его, зачем же он поступил в этот институт, если его интересует литература, но он только пожал плечами и неожиданно фыркнул от смеха — он не знал ответа на этот вопрос и меньше всего хотел бы задумываться над этим...

По вечерам наша комната пахла горячим травяным чаем. Окна открывали редко, потому что Святослав Александрович боялся, что его продует, запах чая не рассеивался, и тем уютнее было в комнате. Я нарочно возвращался с занятий заранее и к их приходу уже готовил пузатый заварник и печенье. Сеня весело сметал со своего широкого письменного стола листы бумаги, я

шёл на кухню набирать ещё воды. А Святослав Александрович, сидя на кровати, каждый раз настойчиво убеждал нас, что для быстроты можно заливать в чайник и горячую воду из крана, потому что она соответствует ГОСТу, а, следовательно, пригодна для питья.

Святослав Александрович никогда не пил чай молча. Наступал момент, когда он начинал хмуриться, грозная сила приливала к его лицу, а скулы напрягались. Он ещё минуту сдерживался, будто копил в себе злость, а потом со всей силы ударял кулаком по столу и произносил с напором:

– Процесс обучения в нашем заведении сходен с браконьерским отловом рыбы! Переглушили шашкой полреки, часть выловили, а остальную, мёртвую, пустили по течению. Их даже не интересует, что будет с теми, кто не станет учёными. А таким просто не устроиться в жизни, потому что у них атрофированный от учёбы мозг — раз, и никаких прикладных знаний — два!

Сеня любил эти яростные рассуждения, но не спешил соглашаться с ними.

– Конечно, ты прав, — говорил он Святославу Александровичу. — Но ты не о том думаешь! Есть одна главная мысль — человек человека понять не может.

– Может, в том и интерес, что все разные, — пытался возразить ему тот.

– Понимания нет, тут уж не до интереса, — добавлял Сеня, вдруг на самом деле огорчаясь...

Во время этих разговоров я обычно молчал. Мне нравилось слушать их, ощущая радостное спокойствие, какое можно испытывать только в кругу близких и хороших людей. В то же время именно в такие моменты я с необыкновенной силой ощущал и своё одиночество. Несмотря на то, что с соседями у меня было больше общего, чем а одноклассниками и знакомыми из родного города, я всё равно не мог открыть им свои настоящие мысли, не мог быть полностью искренним с ними.

Помню, как-то раз Сеня пригласил меня погулять по стадиону вдвоём. Был поздний вечер, вокруг никого не осталось, кроме нас. Несколько настойчивых фонарей то здесь, то там освещали спортивные дорожки, но на дальней стороне, у забора, было совсем темно, так что, проходя там, мы невольно ускоряли шаг и замолкали. Сеня читал мне свои стихи про старого фонарщика, который бродит по улицам, догоняя промокшие ночные тени. Этот фонарщик был слишком пьян, чтобы помнить себя, но слишком трезв, чтобы забыть образ умершей любимой девушки. А я слушал, прикрыв глаза, шагая на ощупь, и чувствовал, как в одно мгновенье воздух будто пропитался воспоминаниями, а сердце сжалось от этого нечаянного сходства. Пахло сырой листвой, недобро шелестел в траве ветер. И странно было осознавать, что прошло столько времени и что воспоминание, раньше прожигающее меня насквозь, теперь равномерным грузом лежит на моих плечах, придавая каждому движению души грустную значительность пережитого горя.

В ту ночь я долго не мог заснуть.

3.

Я познакомился с Женей в середине ноября. У Сени был день рождения, к нему должны были приехать мать и сестра. С вечера он пытался убраться, но потом бросил. Святослав Александрович отлучился на выходные домой, так что мы были вдвоём и до утра проговорили о чём-то, лёжа в темноте.

Проснулся я оттого, что распахнулась входная дверь. За платяным шкафом раздались звуки шуршащей одежды и осторожное перешёптывание.

– Арсений, — услышал я тихий напряжённый голос совсем рядом. К со-

седней кровати наклонилась маленькая женщина и ласково гладила Сеню по волосам. — У тебя всё хорошо? Ты не болен?

– Да всё в порядке, мам, я спать хочу, — отмахивался тот, лениво перекатывая голову по подушке.

– А почему у вас такой беспорядок? Вы праздновали твой день рождения, да? — жалобно спрашивала женщина, оглядывая комнату. Но потом вдруг быстро подошла к столу и решительно принялась собирать грязные тарелки в стопку.

Я повернулся набок, чтобы рассмотреть Сениных родственников. В это время из-за шкафа появилась девочка лет шестнадцати и неуверенно шагнула вперёд. Помню, как меня обожгли две яркие точки её глаз, но я даже не сразу осознал, кого же они мне так пронзительно напоминают. Я зажмурился, делая вид, что ещё сплю, но боялся, как бы моё неровное дыхание не выдало меня. Когда же я потом осторожно поднялся с кровати, она всё ещё стояла у входа.

Это была светловолосая девушка с розовыми щеками. Она остановилась прямо на том месте, где большой солнечный блик падал на стену, и, часто моргая, силилась распахнуть глаза. Я сказал ей: «Привет», она порывисто обернулась и, ещё даже не разглядев меня, сказала то же самое.

– Ты, Алексей, да? — обратилась ко мне её мать. — Арсений писал нам о тебе.

Я смутился и обрадовался этому.

Мы убрали со стола всё лишнее, и сели пить чай. Я резал торт и разливал кипяток по чашкам, поглядывая в сторону Жени. А когда пододвинул ей тарелку с куском торта, она тепло сказала мне: «Спасибо». Я угадал, что она находится в особенном эмоциональном напряжении и так поглощена своими чувствами, что почти не замечает ничего вокруг. Мне нравилось наблюдать за этим её состоянием.

Позже я узнал, что Женя учится в одиннадцатом классе, и мечтает после окончания школы поступить в институт в Москве или Петербурге. Наверное, общежитие, где мы жили, представлялось ей особенным миром, и ей жадно хотелось узнать этот мир. Она порывисто наклонялась к уху Сени и начинала что-то шептать, но тот махал на неё рукой и выразительно крутил пальцем у виска. Как раз в такой момент я возвращался из кухни с полным чайником. Вдруг я догадался, что Женя просит показать ей институт. Не знаю, что на меня нашло тогда, но я с весёлой настойчивостью вручил Сене чайник и сказал ей: «Пойдём». Женя подпрыгнула с места и чуть не стукнулась головой о верхнюю кровать.

Мама разрешила нам погулять, и, пока она не передумала, мы торопливо выскочили в коридор.

– Вот так мы и живём, — начал я, когда мы спускались по замусоренной лестнице, мимо прожженных окурками стен, а Женя радостно кивала. Кажется, она думала, что нет ничего прекраснее, чем жить здесь, вдали от маминой опеки и скучного маленького городка, где она провела детство.

Я почти не помню, о чём мы говорили, скорее всего, я рассказывал о студенческой жизни, а ей хотелось слушать ещё и ещё. Мы ходили от одного учебного корпуса до другого. На улице шёл то ли снег, то ли дождь, и в лицо нам настойчиво летели промокшие листья, так что нас шатало из стороны в сторону, а нам было от этого только веселее.

Чтобы спрятаться от ветра мы забежали в маленький магазин у платформы, и встали перед витриной, выбирая, что бы нам купить. Женя откинула капюшон, и я удивился, как сильно она похожа на мою Сашу. Лицо её рас-

краснелось ещё сильнее, а чёлка лезла в глаза, но Женя всякий раз небрежно смахивала её в сторону. Пока мы ждали своей очереди, я как зачарованный смотрел на неё.

– Может, по мороженому? — предложила она, с дерзкой решительностью взглянув на меня.

Мне вдруг так сильно захотелось, чтобы она сейчас изо всех сил ударила меня по плечу, и я только растеряно кивнул. А потом мы вышли на улицу под дождь — от мороженого сводило зубы, но оба делали вид, что оно нам очень нравится.

Когда мы вернулись в общежитие, Ольга Сергеевна стояла посреди комнаты, разбирая сваленное в кучу постельное бельё. Сеня топтался рядом со скучающим видом.

– Женя, почему вы так долго? — недовольно обернулась к дочери Ольга Сергеевна. — Ты забыла шарф, я же тебе говорила, что шарф надо обязательно надевать!

Женя весело махнула рукой, но вдруг сильно раскашлялась. Мама подскочила к ней, принимаясь горячими руками трогать её щёки и лоб. Жене же неловко было, что с ней возятся, как с маленькой, и она пыталась освободиться от настойчивой маминой заботы. Не снимая куртки, она прошла в комнату и деловито стала разглядывать наши с Сеней учебники на столе.

— Заболеешь, вот будет дело! — бессильно ходила вокруг неё Ольга Сергеевна...

Этот день пролетел, как порыв ветра, и вот они уже собрались уезжать. Мне казалось, мы с Женей должны как-то по-особенному проститься, но всё вышло сумбурно и просто. Сеня ехал провожать их до вокзала. Они втроём толкались между дверью и шкафом, пока мама строго не сказала Жене:

– Ты уже оделась? Выходи в коридор.

Женя коротко кивнула мне и проскользнула в едва открывающуюся из-за нагромождения дорожных сумок дверь.

Когда они ушли, в комнате стало тихо. На столе лежал недоеденный кусок торта. Я зачем-то поставил чайник и сел на кровать, но волнение никак не могло утихнуть, и тогда я вскочил, распахнул дверь и бросился к коридорному окну, выходившему на железную дорогу. Там, на улице, три крошечные фигурки шли сквозь отчаянный листопад. Я зажмурился, пытаясь удержать их в памяти, и так и стоял с закрытыми глазами. Наконец откуда-то сбоку послышался привычный грохот электрички, скрип тормозов, несколько секунд тишины, а потом с новой силой зашумели колёса, но теперь всё тише и тише. Пока не остался только шелест сталкивающихся на ветру листьев.

4.

Начались тяжёлые дни. Мы почти не спали. Мне казалось, даже когда я иду по улице, ем, разговариваю — у меня в голове шевелятся живые частицы и уже сами по себе двигают мои мысли. В читалке теперь сидели по три человека за партой, мешая друг другу, поэтому чаще всего по ночам я занимался прямо в комнате на кровати. Но от сильной усталости часто впадал в сонное оцепенение, а когда пробуждался, понимал, что уже давно сижу так, глядя в учебник, но не думаю ни о чём.

В один из таких дней Сеня пригласил меня к себе домой на Новый год, а я даже не смог обрадоваться. И лишь в конце декабря, в последний день зачётной сессии выскочил из душной аудитории на морозный воздух и вдруг

удивился, как радостно стало, едва я только вспомнил о предстоящей встрече с Женей.

В город, где жили Садовские, мы приехали ночным поездом. Я спустился на перрон и увидел будто нарисованными на картине крошечное здание вокзала, похожее на дворянскую усадьбу, и расходившиеся в темноту двухэтажные деревянные домики. Мы медленно двинулись по безлюдным улицам, слушая, как хрустит под ногами свежий снег. Мне нравилось воображать, что это заколдованный сказочный город. Изредка мою мечтательность нарушали то проезжающая машина, то гудок отходящего поезда.

Когда мы подходили к дому Садовских, Сеня показал их окна на первом этаже, и мне почудилось, что там мелькнул робкий огонёк. Но когда вошли, в квартире было тихо. Стараясь не шуметь, на ощупь шагнули в тёмный коридор.

– А это чья комната? — спросил я Сеню, пытаясь разгадать, где спит Женя.

– У нас тут все комнаты общие, — пожал он плечами, не понимая моего романтического настроения. — Мы будем спать вот здесь, это зал...

Наутро я проснулся от звонкого смеха за стеной и ещё долго лежал, прислушиваясь, как этот смех перекатывается по квартире, иногда приближаясь прямо к нашей двери, иногда отдаляясь куда-то вглубь. Пока мы спали, кто-то включил гирлянду на ёлке, стоявшей в углу, и теперь она беспорядочно мерцала бледными огоньками. На полу между диваном и креслами собрались мягкие игрушки.

Сеня медленно повернулся в мою сторону.

– Выспался? — спросил он шёпотом. — Но всё равно лежи тихо, а то сразу заставят что-нибудь мыть или готовить... — даже в этом была особая таинственность, и я послушно застыл, боясь шевельнуться.

Вошла Ольга Сергеевна, решительно распахнула занавески и открыла балконную дверь.

– А, проснулись уже! — заметила она, с рабочей весёлостью вытаскивая с балкона банки, мешки, алюминиевые тазы с овощами. — Поднимайтесь, хватит лентяйничать!

Я понял, что она специально говорит так строго, а на самом деле всю работу по дому делает сама. И уже не чувствуя опасности, вскочил с дивана и принялся одеваться.

Мы с Сеней ещё долго сидели в зале, рассматривая его старые рисунки коллекции вкладышей и наклеек — всё, чем Сеня гордился ещё со школы и что приятно напоминало нам обоим о ребячествах детства. Женя не заходила к нам. Мне легко было делать вид, что я увлечён Сениной коллекцией, но внутри я сильно волновался перед встречей с ней.

Наконец Женя появилась в дверном проёме. Оказывается, за два месяца я уже забыл, как она выглядит, и удивился, что она уже совсем взрослая девушка. Женя сдержано сказала: «Здравствуй, Лёша», а потом оживилась, увидев, чем мы занимаемся.

– Эти мои любимые! — показала она на одну из коллекций.

– Ну, Женя, Женя, — покачал головой Арсений. — Ты разве не понимаешь, что это поздние серии, они гораздо хуже сделаны.

– Просто я помню, как их копили, поэтому, наверно... — оговорилась она, поглядывая на меня, но потом, вдруг вспомнив о чём-то, продолжала серьёзным маминым голосом: — Чистите зубы и приходите. Мы позавтракали, теперь ваша очередь!

Весь первый день прошёл в приготовлениях и кухонной суете. Мы с Се-

ней лениво нарезали овощи для салатов, Женя выпекала маленькие коржики для своих любимых пирожных. Ольга Сергеевна же успевала следить за всем — в её руках всё двигалось, мылось, жарилось.

Около полуночи сели за стол. Я вызвался открыть шампанское, но провозился прямо до боя курантов, так что по бокалам его разливали второпях, брызгая на руки и на белоснежную скатерть. Я загадал, чтобы у нас с Женей всё было хорошо, и, допив свой бокал, долго стоял с закрытыми глазами.

Когда все улеглись, я никак не мог заснуть. Прямо в окно светил яркий фонарь, так что пол в зале до середины заливало белым светом. Я смотрел, как качается занавеска и как из тёмного угла торчат мохнатые еловые лапы. Мне казалось, что если из-под елки сейчас выползет косматый домовёнок и осторожно перебежит по светлому прямоугольнику, я не удивлюсь нисколько. Но в тишине я различал только беспечное сопение Сени, лежащего рядом. Я поднялся, подошёл к окну, осторожно приоткрывая занавеску. Сквозь матовое колдовское стекло почти ничего не было видно. Кажется, где-то вдалеке ещё пускали фейерверки. Я недолго постоял так и опять лёг.

На следующий день к завтраку никто не проснулся, а обедали только салатами. У Сени оставался несданным зачёт по английскому, и поэтому сразу после обеда он закрылся на кухне, чтобы заниматься. Мы же сидели в зале втроём и, рассеянные, опустошённые после вчерашнего праздника, машинально глядели на экран телевизора. Вдруг Ольга Сергеевна предложила нам с Женей сходить куда-нибудь. Мы сразу же оживились, стали смотреть расписание сеансов в кинотеатре, обсуждать, на какой фильм лучше пойти. И удивительно было, что всё это так естественно происходит, будто не было ничего особенного в том, что мы пойдём в кино вдвоём.

Выйдя с Женей из подъезда, минуту мы шли молча, и только было слышно, как скрипит снег под нашими ногами. Чтобы что-то сказать, я деловито спросил сколько времени. Женя так же серьёзно посмотрела на часы, и вдруг совершенно по-детски вскрикнула. Оказалось, мы опаздывали на сеанс. И тут же всё сделалось простым и весёлым, мы бросились бежать до автобусной остановки. А потом, запрыгнув в автобус, долго ещё старались отдышаться, иногда значительно переглядываясь друг с другом — успеваем. Но, конечно же, не успели и, войдя в зал, искали свои места в темноте, натыкаясь на других людей. Нам обоим было смешно, и мы беззаботно извинялись в ответ на чьё-то ворчание...

А вечером, когда мы вернулись из кино и поужинали, Женя внезапно расплакалась и ушла в свою комнату. Я поспешил за ней, пытался успокоить, но она только махала рукой и повторяла, что с ней это бывает. «Просто мне стало жалко, что всё интересное закончилось — и Новый год, и фильм, и впереди ничего больше не будет», — потом объяснила она. Но тогда мне казалось, что происходит что-то ужасное, и это я чем-то обидел её. Меня удивило, что Сеня не обратил никакого внимания на эти слёзы. А Ольга Сергеевна мягко вывела меня из Жениной комнаты и о чём-то говорила там с ней тихим строгим голосом. Зато потом Женя смеялась весь вечер и звала всех на улицу играть в снежки. Её едва уговорили лечь спать. Хрупкая маленькая девочка, у неё внутри было сжато столько сильных чувств, что она никак не могла совладать с ними...

Мы с Сеней уезжали на следующий день, Ольга Сергеевна и Женя пошли провожать нас до вокзала. Перед отъездом нажарили целую сковороду семечек и грызли их всю дорогу. Вокзал встречал печальным запахом поездов.

Сеня не любил долгих прощаний и потому сразу поднялся в вагон, а Оль-

га Сергеевна шла вместе с ним вдоль состава, чтобы через окно жестами показать что-то напоследок. Мы с Женей остались вдвоём.

– Я буду скучать по тебе, — зачем-то сказал я, чувствуя, как нелепо и стыдно всё это выходит, а потом быстро поцеловал её в щёку. Женя испуганно распахнула глаза и торопливо закивала мне.

А потом поезд тронулся, и по белому окну побежали монотонные отблески, а мне оставалось только ждать, пока утихнет волнение внутри. Я отсчитывал время вперёд, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, её день рождения весной, если меня пригласят к ним опять, её возможное поступление в Москву, но всё это были лишь слабые звуки в пустоте, окружающей меня. Я лёг на спину и принялся бессмысленным взглядом смотреть на жёлтые потёки на потолке. Постепенно всё затихло в душе, и остался лишь монотонный перестук железных колёс.

5.

Почти не помню, как я жил следующие полгода. Кажется, много учился, постоянно был занят чем-то. Иногда, особенно весной, меня томили смутные мечтания, но, как-то поверхностно удивившись им, я опять погружался в монотонные заботы. С Женей мы несколько раз переписывались сообщениями на телефон, но она отвечала редко и коротко, и оттого было немного грустно. Понемногу свежесть последней встречи стала забываться, и я уже больше ничего не ожидал и ни на что не надеялся.

В конце июня я возвращался в родной город, чтобы провести там каникулы. Больше суток прошло после сдачи последнего экзамена, но я никак не мог избавиться от тревоги, сопровождавшей меня всю сессию, и не мог заснуть, ворочаясь на твёрдой вагонной полке.

Показались первые садовые участки, окружённые мрачными елями, а потом опять утонули в лесном сумраке. Ещё минуту ехали в напряжённом ожидании. Наконец лес распахнулся, и земля ушла вниз, туда, где за железнодорожными балками и ангарами лежала река. Поезд останавливался медленно, глухо скрипя колёсами. Когда же я вышел на перрон, то от свежего воздуха у меня мгновенно закружилась голова. Нас высадили на дальней от вокзала платформе, и сразу не понять было, где город, где вокзал и куда идти — впереди было непроницаемое небо, а вниз, сколько видели глаза, уходили чёрные волны леса. Мне казалось, вокруг дремлет загадочная лесная сила, и все родные запахи и звуки пропитаны ею, как густой еловой смолой.

На перроне меня встречал Шаманов. Он заметил меня издалека и замахал руками.

– Ну, что, москвич, соскучился по нашим местам? — заговорил он, весело похлопывая меня по плечу. А потом быстро подхватил мои сумки.

Мы прошли в конец платформы и поднялись по крутой деревянной лестнице на мост, чтобы выйти в город. Под нами тронулся состав, так что сквозь дрожавшие ступени чувствовалось его нарастающее движение. А когда я поднял глаза, то увидел сотни мерцающих огней, очертания домов, чёрный проём городского парка — эта картина причудливым образом сложилось у меня воедино, и я удивился, как же она была мне знакома.

Когда мы с Шамановым сели к нему в машину, то сначала долго молчали. Мне казалось, мы так сильно изменились за этот год, что оба не знали, с чего начать.

– Эх, Алёшка, помнишь наши школьные времена, — вдруг нарочито громко заговорил Шаманов, — сколько у нас было тогда задушевных бесед... Мне, знаешь, не хватает сейчас всего этого!

Я довольно покачал головой, хотя и подумал, что он, как обычно, преувеличивает.

– Мне тоже не хватает. Там, в Москве, я ни с кем так не говорил, — признался я, чувствуя радость оттого, что могу сказать ему что-то приятное.

– Конечно, кто б тебя, дурака, слушал, кроме меня! — по-дружески нагрубил он мне, и мы, наконец, оба засмеялись.

Шаманов сказал, что он сейчас живёт на турбазе рядом с городом и предложил сразу двинуться к нему. Я секунду колебался, потому что обещал домашним приехать сегодня, но так заманчиво было оказаться где-нибудь на природе и отдаться приятным впечатлениям.

Турбаза находилась у реки, туда вела широкая просёлочная дорога. Мы лихо вскочили на понтонный мост, гулко ударившись колёсами. А дальше то с одной, то с другой стороны замелькали деревянные домики, спрятанные между деревьями, ни в одном из которых не горел свет. Шаманов нарочно нажимал на газ, чтобы промчаться по широкой аллее мимо скамеек, на которых сидели весёлые компании, и на скорости выехать прямо к ярким огням дискотеки. Мы остановились, и я выскочил из машины, машинально прижимая руки к ушам от пульсирующего грохота музыки. Мне казалось, всё вокруг разбилось на осколки, а в глазах зарябило от разноцветных девичьих платьев на танцплощадке.

– Вот здесь я и провожу время, — прокричал мне в ухо Шаманов.

Я торопливо кивнул.

На одной из скамеек неподалёку мы нашли его друзей. Те пили коньяк из пластиковых стаканчиков. Шаманов сразу же оказался в центре компании, размашисто хлопая по ладоням вместо рукопожатий, а я присел с краю. Пока все забыли обо мне, я откинулся на спинку скамейки. Мне было спокойно, и я ритмично стучал ногой по асфальту в такт музыке. И только боялся случайно взглянуть в сторону дискотеки, чтобы не нарушить своё умиротворение.

Наконец Шаманов обратился ко мне и представил своим друзьям. Я не запомнил никого, кроме юркого Толика, которого Шаманов толкал в плечо и обещал послать за пивом. Толик улыбался, но был тревожен, и я видел это. Толику нравилась одна из девушек, и он старался сесть к ней ближе, чтобы обнять, но та каждый раз сердито отталкивала его руку.

– Загар, больно!

Это была черноволосая татарка с резкими чертами лица. Она поворачивалась к каждому, кто начинал говорить, и обрывала, если становилось скучно. Я вспомнил, что знаю её, мы раньше жили в соседних подъездах, и что её зовут Алиса.

– Мы с одного двора, — вдруг узнала она меня. — Да, помню, помню, ты такой смешной был, всегда в костюмчике ходил... Ладно, не обижайся!

Ей не нравилось, что я сижу отдельно от всей компании, и тогда она стала часто обращаться ко мне, чтобы вовлечь в общий разговор. Сначала мне казалось, что она влюблена в Шаманова, потому что они часто приближались друг к другу, о чём-то переговариваясь. А когда она потащила меня на медленный танец, сильно смутился, но послушно пошёл за ней.

На танцплощадке не было ничего особенного, только ровный тёплый свет, в котором тонули и сидевшие по скамейкам, и пары, постепенно наполняющие пространство вокруг. От волос Алисы пахло миндалём, и мне неожиданно приятно стало и от этого танца, и от возможного разговора.

– Расскажи о себе, — попросила она, едва мы начали танцевать. — Гоша говорит, ты умный и учишься в лучшем институте в Москве, это правда?

Я сразу же раскашлялся, желая показать, что Шаманов преувеличивает, и постарался ответить как можно беспечнее:

– Трудно оценить... Но вообще, учиться тяжело, это да. Иногда даже кажется, что сходишь с ума...

Мне показалось, это получилось несколько странными, но Алиса слушала с интересом.

– Ты хороший мальчик, — вдруг сказала она, когда музыка стала затихать, и, довольная собой, громко рассмеялась мне в ухо.

Когда мы вернулись, Шаманов произносил очередной тост. Мне налили полную рюмку коньяка, но я только осторожно пригубил, потому что мало ел в поезде и боялся быстро опьянеть. Алисе это не понравилось, она выхватила из рук Толика бутылку и принялась силой поить меня прямо из горла. Сначала я испуганно отшатнулся, но чтобы не показаться слабаком, стал глотать горький коньяк, пока не захлебнулся. Меня обожгло изнутри, но я держался и не взял даже крошечную дольку лимона, чтобы перебить противный привкус во рту.

Шаманов горячо хлопал меня по плечу, кто-то кричал, и тогда я видел искажённые рты перед собой. Но из всех звуков я различал только смех Алисы, резкий, звонкий, так что казалось, это разбиваются стеклянные бутылки одна за другой. В этой каше из голосов, криков, грохота дискотеки её дыхание почему-то то и дело оказывалось рядом. Вдруг я понял, что сижу на корточках перед скамейкой, а она перебирает пальцами мои волосы.

А когда Алиса тихо сказала мне: «Давай убежим от всех», меня удивила внезапная мысль, в которую я никак не мог поверить. Мне и тогда ещё казалось, что ей просто интересно поговорить со мной и что это даже вполне естественно. Она, видимо, поняла, что я сомневаюсь, и коротко сказала:

– Пойдём, не будь занудой!

Мы незаметно отделились от компании и пошли по аллее, уводящей в глубь леса. Алиса несколько раз обернулась, и я почему-то подумал, что она проверяет, нет ли за нами погони. Чем дальше мы отдалялись от дискотеки, тем меньше людей встречали по дороге, и наконец, на скамейках стали попадаться только сдвоенные тени обнимающихся парочек. Свернули куда-то в лес, вокруг потемнело. Музыка с дискотеки слилась в отдалённый гул.

– У меня мать швеёй работает, и мне на дом приносит шить, — рассказывала Алиса, пробираясь через попадающиеся кусты шиповника. — Говорит, не можешь устроиться на работу, хоть так батрачь. А мне эти платья и рубашечки уже поперёк горла стоят! А где у нас найдёшь работу, так и придётся всю жизнь пальцы колоть! Мать бесится на меня, говорит, столько мужиков рядом, давно бы замуж вышла, а я не хочу.

Она лукаво посмотрела на меня и, красуясь, отбросила назад длинные чёрные волосы. Неужели она тоже этого хочет, удивился я. Но, если так, то как же именно всё произойдёт, неужели она прямо скажет об этом. А я, неужели так просто соглашусь?

Лес стал чёрным, как ночное небо. Со всех сторон подступили звуки шелеста, ночного цоканья, трепетания.

Мы остановились друг напротив друга. Из-за тени мне не было видно её лица, и потому я, не отрываясь, смотрел на маленький шрам на её шее, похожий на укус. Она потянулась ко мне, чтобы поцеловать, а я на всякий случай сказал:

– Завтра я уже ничего не вспомню.

– И я не вспомню, — ответила она насмешливо.

У неё была с собой недопитая бутылку коньяка, и мы опустошили её за несколько глотков, а потом опять двинулись по тропинке, чтобы сократить путь к её домику. Нам обоим хотелось добраться туда скорее, и мы ещё и ещё ускоряли шаг, откидывая в сторону мешавшие ветки, как будто боялись, что через мгновение выветрится весь наш пьяный угар. Наконец тропинка вывела на асфальтовую площадку, где стоял ночной магазин, а дальше уже виднелись очертания треугольных крыш.

Но вдруг что-то случилось. У магазина стояла группа парней, кажется, Алиса знала кого-то, мы подошли. Один из них подал мне руку для приветствия, нисколько не сжимая влажную ладонь.

– Как дела? Гуляете? — спросил он.

Алиса засмеялась:

– Гуляем!

– У меня лошадка только из ремонта, может, прокатимся?

Я понял, что это конец, будто сверху упала тяжёлая плита, и мне уже было не выбраться. Я не понимал, сколько человек стоит передо мной, не мог сосредоточиться ни на одном лице, и только слышал её режущий смех, такой близкий, но уже страшно далёкий. Она сказала мне, что у нас нет ничего спиртного, и спросила, не хочу ли я купить что-нибудь. Я бросился в магазин, и мне показалось, что сзади все смеются надо мной.

Внутри горел яркий свет, на длинных прилавках стояли рядами вина, коньяки, водка, и я никак не мог понять, что же взять. Мне казалось, что это сейчас самое важное, и от того, что я выберу, зависит, как всё пойдёт дальше. Тогда я показал на самую большую бутылку вина с огромной пробкой в виде печати. Но пока неловко засовывал обратно в карман кошелёк, она выскользнула у меня из рук, и разлетелась вдребезги. Я вздрогнул и удивлённо смотрел, как расползается по полу огромная красная лужа. Кто-то ругался, кричал, но я не слышал ничего, и только дрожащими руками распахнул кошелёк и, пытаясь пересчитать, хватит ли оставшихся денег, высыпал мелочь на прилавок. Мне протянули другую бутылку, и, сжимая её сильнее, я метнулся к двери.

Алиса стояла перед магазином одна. Я сначала не поверил этому, а она недовольно повернулась ко мне.

– Почему так долго-то? Я из-за тебя с ребятами не поехала...

А когда мы уже шли в темноте между деревянных домиков, я ощущал будоражащую дикую радость, что мы уходим от ненавистного магазина вдвоём.

Помню ещё, как входил в её домик. На кровати чёрной кошкой лежало смятое платье. Алиса быстро собрала вещи в один комок и бросила на стул. А когда я уже жадно обнимал её, она неожиданно оттолкнула меня и презрительно сощурилась.

– Значит, у тебя нет ко мне чувств? И со мной можно не церемониться, да?

Но это была только игра, и я даже не успел опомниться.

– Ничего, это даже интересно, — опять потянула она меня к себе. И тут же пригрозила: — Не морщись...

Ночью я часто просыпался. Сквозь дремоту мне мерещились стук в дверь и зловещее дуновение ветра из щелей. Окончательно я пришёл в себя от холода. Было раннее утро. Хотелось вскочить и бежать, но я нарочно не двигался, заставляя себя мёрзнуть. Алиса спала рядом, я боялся смотреть на неё, и только помню её руки, покрытые гусиной кожей до плеч.

Я поднялся, собирая с пола одежду. У кровати лежало скинутое одеяло. Как же всё нелепо, подумал я.

Но вдруг мне стало жаль и её, и тогда я подобрал одеяло и укрыл Алису до плеч. На заспанное лицо сбились запутанные волосы.

– Уже уходишь? — выговорила она сквозь сон, и я испуганно отошёл, чтобы не встретиться с ней взглядами. Потом быстро оделся и выскочил на улицу.

Утро было обычное. Из-за леса виднелось только что поднявшееся солнце. Река текла рядом, и я чувствовал кислый запах травы, какой бывает прямо у берега. Было удивительно, что за ночь в мире ничего не изменилось.

Шаманова я нашёл случайно. Дверь одного из домиков была открыта настежь. Войдя, я увидел друга, лежавшего поперёк кровати прямо в одежде, а вокруг него на полу валялись пустые бутылки. Услышав мои шаги, он проснулся и мгновенно сел, будто специально поджидал меня.

– А вот и наш Ромео, — заговорил он хриплым, ещё хмельным после вчерашнего голосом, — вспомнил, что бросил старого друга ради какой-то девчонки и, наверно, пришёл раскаиваться! Да, ладно, ладно, я ж всё понимаю, — добавил он примирительно.

Мне захотелось сейчас же уехать, и я сказал об этом Шаманову. Тот ответил, что довезёт меня до города. Тогда я отвернулся к маленькому, покрытому паутиной оконцу и стал смотреть сквозь запылённое стекло, ожидая, когда тот соберётся.

Шаманов поднялся и подошёл сзади.

– Да не расстраивайся ты, с кем не бывает, — пытался подбодрить он. — Я тоже обычно встану на утро и думаю, какой же я дурак...

Но я не поддержал его шутливый тон.

– Нет, так не должно быть! — поворачиваясь, выговорил с такой злостью, что Шаманов удивлённо поморщился.

– Хорошо, хорошо, я разве спорю, — сказал он, пожимая плечами. — Поехали тогда...

6.

Когда мы въехали в город, я попросил Шаманова не довозить меня до дома, а высадить на улице рядом с парком. Мне не хотелось сразу же оказываться у себя в квартире, окунаться в радостные объятия и причитания мамы и бабушки — лучше было погулять где-нибудь рядом по знакомым местам. Шаманов неодобрительно покачал головой на мою прихоть, но ничего не сказал, и мы коротко попрощались.

Я медленно двинулся вперёд. Улицы были пусты, лишь иногда встречались одинокие люди да бессмысленно меняли свой цвет светофоры на перекрёстках. Я рад был бы почувствовать что-то родное, погрузиться в приятные воспоминания, но город напоминал полую каменную коробку. Я шёл по ней в гулкой тишине, странный чужой человек, среди неподвижных домов, застывших машин на обочинах. Свернул в городской парк, но даже его длинные аллеи, вымощенные белыми плитками, показались мне ненастоящими. По краям лежали высохшие кучи давно скошенной травы.

Когда я вышел из парка, то машинально зашагал вверх по улице. Вскоре с двух сторон показался подступающий к городу лес, и только впереди ещё виднелся последний жилой квартал, вклинившийся в зелёную преграду. Я вспомнил, что часто бродил здесь, когда учился в школе, но не успел ещё понять почему, как передо мной возник огромный девятиэтажный дом. Я подошёл к нему вплотную, растеряно оглядывая его крупное каменное тело. Но даже показная новизна крашеного фасада не могла обмануть меня — это

был тот самый дом, где жила когда-то Саша, где нашли её тело, упавшее из окна. Тот самый, к которому я столько раз приходил после Сашиной смерти и подолгу стоял, глядя в окна их квартиры, содрогаясь от каждого случайного отблеска, попавшего туда.

И вдруг что-то ожило, будто я разом стал школьником и не было всех этих месяцев. И вот рядом уже толпились молчаливые дети, а я медленно шагал, подчиняясь общему движению. Кто-то спереди бросал на снег еловые ветви, кто-то без жалости наступал на них. Спереди четверо незнакомых людей несли чёрно-красный гроб... «Никуда не уйти мне от тебя, маленькая Сашенька», — подумал я с нежностью, ещё раз вглядываясь в милые окна, как бы желая запомнить их навсегда, и медленно двинулся назад.

Но всё уже изменилось вокруг. Город зазвенел, сначала тихо, исподволь, будто едва задрожали троллейбусные провода. Но потом, едва только я попал на свободное пространство за домом, дунул ветер, нарастая, злясь, хлеща ветвями деревьев по натянутому воздуху. Загремел проходящий за гаражами поезд, напряжённо заработала газонокосилка, и каждый такой звук врывался внутрь меня. Я остановился и хотел было повернуть назад, но не мог объяснить себе, зачем же мне возвращаться, и так и стоял, разрываемый смутными порывами, задыхаясь от необходимости что-то сделать, как-то заглушить нарастающее чувство внутри, и лишь через минуту опять двинулся вперёд.

Постепенно то здесь, то там стали появляться люди. Они шагали в ту же сторону, что и я, соединяясь в тоненькие вереницы, их постепенно становилось всё больше и больше. Наконец я понял, что все они идут к церкви, и удивился, что и я ведь иду сейчас туда же. Но это открытие не было приятно мне, наоборот, только мучило сильнее. При виде церкви разом вспомнились мне все мои страдания и молитвы после Сашиной смерти, все надежды и призывы, и странным казалось, как же я смог забыть о них, как мог жить столько времени в беспечности, будто бы не было у меня в жизни тех страшных дней — как же мог сделать то, что сделал вчера.

Церковь ничуть не изменилась за это время: те же посеревшие от времени стены и ветхий деревянный забор. Приблизившись, я встал на пороге и, запрокинув голову, долго вглядывался в изображение над входом. Внутри было темно, люди стояли в ожидании. То здесь, то там шептали, передавали что-то, проталкивались между рядами. Всё здесь осталось таким же, как полтора года назад, холодным февральским днём, и повсюду, на стенах, иконах, в густом запахе ладана, разлито было ощущение недавней смерти. Я хотел вдохнуть его изо всех сил, но дыхание моё срывалось. Мне показалось теперь, что я виноват не только в происшествии на турбазе, но и в том, что умерла Саша, и вообще во всём на свете виноват. Хотелось убежать куда-нибудь, спрятаться от этого наваждения, но оно уже было разлито повсюду. Я не знал, как же мне теперь жить с этой виной, но точно знал со всей горячей юношеской уверенностью, что прежней жизни уже не будет...

Я ещё только поднимался по лестнице, как услышал наверху знакомый звук открывающейся двери, и угадал, что мама или бабушка заметили меня из окна и теперь торопятся встретить на пороге. А когда вошёл в квартиру, то мгновенно оказался в центре доносившегося отовсюду шума воды, звона тарелок, тёплого вкусного пара, наполнявшего прихожую.

– А мы тебя ещё с вечера ждали, — заторопилась ко мне мама, чтобы обнять, но не знала, куда же деть мокрое кухонное полотенце в руках. — Ты на другом поезде решил ехать, да?

– Не мешай ему раздеваться, пусть проходит, — отстранила маму бабушка. — Обувь поставишь под тумбу, а вещи к себе в комнату.

Я огляделся — все предметы стояли на своих местах, а на трюмо, как и год назад, высилась стопка пожелтевших газет. Я шагнул вперёд по коридору, туда, где была моя спальня, положил на кровать дорожную сумку, провёл рукой по шершавой поверхности письменного стола. Но зыбкое очарование родного места не умиротворяло меня — наоборот, хотелось что-то делать, исправить, изменить. Мне казалось, что вот я когда-то был настоящим здесь, в этой комнате, а теперь потерял всё это. Я стоял, слушал доносившиеся откуда-то монотонные приглушённые звуки и голоса, но никак не мог прийти в себя. Потом медленно прошёл на кухню.

Кухонный стол был заставлен пирогами, чашками с куриным бульоном, жареной картошкой, домашними соленьями и приправами, так что некуда было поставить тарелку. За столом сидели мама и бабушка и молчали о чём-то своём и важном. Мама взглянула на меня ласково, а бабушка сказала:

– Садись, студент.

Я опустился на табуретку. Бабушка решительным движением сдвинула посуду, освобождая мне место с краю стола, и тогда я неожиданно почувствовал, что сильно проголодался.

– Как будто в Москве совсем не кормили, — с удовольствием заметила она, видя, как я начинаю есть холодный кусок пирога, только что вытащенный из холодильника. — Давай погрею лучше.

Мама поднялась к плите, чтобы помешать что-то в сковородке, а потом бережно спросила:

– Устал с дороги?

– Устал, устал, — отвечала за меня бабушка. — Пусть поест сначала.

Мы говорили о чём-то обычном — о городских новостях, о наших родственниках в деревне, но я почти не слушал слов, и только иногда сжимал губы от подступающей к сердцу тоски. Мама рассказывала мне, как они живут в последнее время, что сильно не хватает денег и поэтому они решили продать старый деревенский дом.

– Хотелось бы переехать к тебе в Москву, — обмолвилась она о своей тайной надежде, — там ведь больше получают, а у нас на заводе почти ничего не платят.

А бабушка недовольно перебила её:

– Не из-за денег продали дом! Просто стара я уже стала для хозяйства... Но о старухах нечего говорить. Давай теперь про себя!

И я говорил что-то, но думал о вчерашнем.

А вечером от Жени пришло сообщение на телефон. Она писала, что хочет что-то сказать мне и просила позвонить им на домашний, если получится. Сообщение оказалось длинным, а одно слово было написано с ошибкой. Мне показалось, вместе с этой ошибкой пришла ко мне как бы частица самой Жени, и я долго сидел на кровати, обхватив голову руками. Наконец решился и подошёл к телефону.

Помню, как обжёг меня её голос, мягкий, с маминими серьёзными нотками. Женя хотела сообщить мне, что они с мамой ездили в Москву и подали документы в Университет, и теперь она очень волнуется, сможет ли поступить.

– А Сеня, представляешь, говорит мне — нечего тебе в Москве делать! Представляешь? — возмущённо переспрашивала она опять, ожидая от меня поддержки.

Я слушал её и задыхался. А положив трубку, ещё некоторое время стоял, зажмурившись, ощущая, как кровь растекается по телу. Потом закрыл дверь, лёг на кровать и вдруг расплакался, как ребёнок. Мне стучали в запертую дверь, кажется, звали ужинать, но я не открывал. Наконец наступил момент, когда я очнулся и услышал, как тихо стало в квартире. Только моё сиплое дыхание, а в промежутках ничего. Тогда я медленно поднялся и вышел в прихожую.

7.

Через несколько дней мы сидели с Шамановым на берегу, а за рекой неровной линией тянулась граница лесной темноты и пепельного неба. Берег был весь белый от отцветших цветов чертополоха. Я рассказывал ему о Саше, о том, как приходил к ней в больницу и как после её смерти молился и отчаянно верил, что случится чудо.

– Ничего себе, Алёшка, у тебя такие проблемы были, — удивлялся Шаманов и с лёгкой обидой качал головой, — а я даже не знал...

Но я был так поглощён своими мыслями, что не обращал внимания на его слова.

– Понимаешь, — торопился высказаться я. — Ведь всё, о чём я просил тогда, исполнилось. Я встретил девушку, похожую на Сашу, как будто её саму. И всё могло бы быть хорошо, если бы я это не разрушил своими руками... И теперь мне нужно измениться. Мне нужно начать жить правильно, тогда, может быть, ещё можно что-то исправить.

Шаманов слушал напряжённо, стараясь подбодрить меня, но всё никак не находя нужные слова.

– Тогда, конечно, если так, — оживился он, зацепившись за мою последнюю мысль. — Давай, Лёшка, мне всегда казалось, что у тебя всё будет хорошо. И вот ты понял, что это твой человек, твоя любимая девушка, борись, добивайся её, ты прав!

В этот момент на короткое мгновение я вдруг почувствовал прежнюю общность, какая была между нами год назад, когда мы заканчивали школу. Но в то же время мне стало грустно оттого, что Шаманов не может понять меня до конца, что ему нельзя передать всех моих мыслей и чувств. Я не знал, что ответить, и тогда медленно двинулся сквозь густую траву туда, где должна была быть река. На ощупь я добрался до самого берега и остановился, вдыхая запах сырости. Впереди земля уходила вниз, к воде, и дальше нельзя было ступить ни шагу.

– Я знаю, что очень виноват, что я самый худший человек на свете, — заговорил я опять, чувствуя, что Шаманов уже стоит рядом и по-прежнему слушает меня. — Но, может, есть какая-то надежда, может, я смогу измениться ради неё... взять себя в руки, стать таким, каким должен быть...

Потом я ещё много и ожесточённо говорил о чём-то, обвинял себя, давал какие-то обещания, а тем временем туман ровными полосами спускался на реку, и было видно, как прозрачные белые волны растворяются на поверхности воды. Мне казалось, от этих моих слов какая-то невидимая связь устанавливается между нами с Женей. И то, что я сказал об этом Шаманову, и он услышал меня, это уже никогда не исчезнет из мира, а навсегда останется в той напряжённой цокающей тишине ночной реки, которая окружала нас сейчас.

Вернувшись в тот вечер домой, я осторожно проскользнул на кухню. Мама с бабушкой уже спали — во всей квартире было тихо, и это зыбкое ночное

спокойствие так легко было разрушить одним неловким движением. Я налил себе некрепкого тёплого чая и сидел, почти не двигаясь, время от времени делая несколько глотков, а потом осторожно опуская чашку обратно на стол. Прямо надо мной висела старая бабушкина икона. Она опять напомнила мне о Саше и моих ночных молитвах, но только теперь я уже не чувствовал той горькой вины, как ещё несколько дней назад. Наоборот, мне как будто приятно было теперь прикоснуться к старым воспоминаниям, пережить их опять.

Я поднялся, отыскал на полке под иконой книжицу с чёрным крестом на обложке, которую часто читал после смерти Саши, и поднёс к лицу, вдыхая запах старых страниц. Но не стал открывать её — мне не хотелось молиться, а просто стоять так, ощущая тёплую тишину на душе. Выцветшее лицо на иконе казалось незыблемым, неизменным с самого моего детства, а может, даже с того времени, которое было задолго до моего рождения. Но я не боялся этой строгой древности, наоборот, мне хотелось как-то отблагодарить её за своё неожиданное умиротворение. И тогда несерьёзно, как бы для пробы, я опустился на колени, как делал это в школьные годы, всё ещё держа бабушкину книгу в руках. Было по-прежнему тихо, только где-то за стеной мерно капало из крана. Я недолго постоял так, ощущая неловкость, будто в этот момент кто-то обязательно должен был войти на кухню, а потом торопливо перекрестился и поднялся на ноги.

В следующие несколько дней я каждый раз поднимался засветло и шёл на кухню, чтобы постоять немного перед бабушкиной иконой, а после сразу же принимался за физические упражнения, испытывая отчаянное удовольствие от наказания своего молодого тела. Иногда ещё я ходил в церковь, а когда возвращался домой, то иногда замечал, как выразительно переглядывались между собой мама и бабушка. Они почти ни о чём не расспрашивали меня и относились к моей неожиданной религиозности как к делу полезному, но странному. Бабушка изредка подсмеивалась: «Какие у тебя грехи, ты жизнь ещё не прожил...», но махала рукой — ладно, мол, давай, молись.

Позавтракав, мы с мамой и бабушкой обычно шли в сад. Работы было мало, но я всякий раз радовался, если меня просили сделать что-нибудь тяжёлое. Помню, как носил толстые золотые косицы лука на просушку, и как нарочно брал по две, держа каждую онемевшей вытянутой рукой. В такие моменты мне было особенно весело, и тогда я старался развеселить и бабушку, добродушно ворчавшую в ответ на все мои попытки. Мама же как будто понимала моё состояние и только улыбалась, глядя на меня. А когда они уходили в другую часть сада, я ложился на тёплую землю, с наслаждением погружая в неё пальцы, ощущая, как она сыпется сквозь них. А потом поспешно вставал, смеясь своей беззаботности, и принимался читать что-нибудь или учить молитвы из книжицы с чёрным крестом как стихи, прохаживаясь вдоль пышных зелёных грядок.

Вечером я ещё иногда звонил Жене на домашний, и мы недолго разговаривали. Кажется, сначала она ещё удивлялась этим моим звонкам, но вскоре привыкла и даже совсем перестала стесняться, взахлёб рассказывая о том, сколько набрала баллов за экзамены и как она рада, что смогла поступить в Москву. А я только слушал её голос и улыбался. И хотя она ни разу за это лето не сказала, как относится ко мне, не сказала даже, что рада моему звонку, но когда трубку брала Ольга Сергеевна и громко объявляла моё имя, я слышал, как Женя торопливо выбегает откуда-то из глубины квартиры — и мне казалось, что эта торопливость значит гораздо больше каких бы то ни было при-

знаний. После таких звонков я чувствовал прилив сил и торопился опять выйти на улицу. Мне как будто мало было замкнутого пространства моей комнаты.

Я гулял по городу, наслаждаясь вечерней свежестью. Тем летом шли сильные дожди, и потому город часто был залит водой, и ночные огни мерцали прямо из-под ног. Я шёл медленно, ощущая переполняющий меня восторг от того неведомого и важного, что надвигалось на меня. Мне хотелось молиться от переживания, что Женя есть на свете, что она сейчас, возможно, думает обо мне.

Так я провёл целое лето. Я почти никуда больше не ходил, несколько раз мы ещё встречались с Шамановым, но я будто бы стеснялся той своей искренности в разговоре у реки и не мог рассказать ему о своих восторгах и походах в церковь. Мне отчего-то казалось, что он всё равно не поймёт меня и что между нами теперь целая пропасть. А когда в конце августа Шаманов пришёл провожать меня на вокзал и ненароком сказал: «Эх, Алёшка, жалко, что мы с тобой всё-таки мало общались в это лето», я вдруг почувствовал, как мне стыдно за те мои мысли о пропасти, и что своей скрытностью я как будто повредил нашей дружбе. Но было уже поздно, и я мог только горячо обнять его на прощание.

Тронулся поезд, исчез за окном вокзал, замелькали деревья, и в вагон ворвался густой смолистый запах леса, отчего-то похожий на запах ладана. И тогда мне показалось вдруг, что там, в Москве, ждёт меня что-то необыкновенное и важное, а всё прошлое было лишь подготовкой к нему.

Часть вторая. НОВАЯ ЖИЗНЬ

1.

Женя приезжала в Москву в конце августа. На вокзале её должен был встретить Сеня, но у него, кажется, как раз в тот день были какие-то дела, и я уговорил его, что поеду сам, а он легко согласился.

Было раннее утро. Прохладный воздух ходил сквозь меня мелкой дрожью. Я стоял у нужной платформы, вглядываясь вдаль, будто не веря, что оттуда на самом деле приедет поезд с Женей. Мне казалось, происходит что-то невероятное, что какой-то неведомой силой я выброшен на этот вокзал. Господи, думал я, неужели же всё это правда, и мы сейчас увидимся, и будем встречаться каждый день, может, даже жить вместе, а потом пройдут года, и я чувствовал — это правильно, и в этом есть какое-то высшее предназначение. Но если так, перебивал я себя, то почему же я сейчас так волнуюсь. И если мы должны быть вместе и на это есть высшая воля, то разве что-то может помешать этой воле исполниться... Повсюду, прямо на асфальте, прислоняясь к вокзальным стенам, сидели полусонные люди, куда-то решительно шагала женщина-цыганка, а за ней спешила пёстрая толпа детей. И удивительно было, что у кого-то могут быть сейчас другие заботы, другая жизнь.

Наконец лёгкая дымка затуманила фигурки столбов и пересекающиеся линии рельсов, а через секунду вдали показался состав с длинным хвостом, тянувшимся из-за поворота. Объявили, что вагон Жени будет последним, и тогда я торопливо двинулся по платформе, глядя в укрупняющиеся черты поезда. И вот загрохотало рядом, замелькали квадраты окон. Я шёл всё быстрее, а навстречу мне двигались люди, сначала по одному, потом рваными цепочками, постепенно уплотняясь, превращаясь в единый поток.

Женя стояла в самом конце платформы, маленькая, испуганная, в белой курточке. Она так напряжённо глядела по сторонам, что не заметила, как я подошёл. Я заранее придумал, что скажу ей, но теперь остановился, не решаясь нарушить неловкое оцепенение.

– Устала? — спросил я нежно, и собственный голос показался мне хриплым и глухим.

– Да, не могла заснуть в поезде... А Сеня не придёт?

– Нет, он не смог, дела... Но завтра вы обязательно встретитесь, — добавил торопливо, видя, как сильно она расстроилась.

У Жени была пузатая спортивная сумка на колёсиках, я торопливо подхватил её за ручку, и мы двинулись по платформе. Я смотрел вперёд, чтобы не налететь на шагающих впереди, и только изредка поглядывал на Женю. Сумка громко стучала колёсами, попадая в трещины на асфальте, гудел поезд на соседнем пути. Откуда-то издали монотонно объявляли прибытие и отправление. И было странно, что всё так просто и буднично, словно мы обычные люди, одни из сотен приезжих и встречающих на этом вокзале, словно не происходило сейчас ничего необыкновенного.

Помню, как спускались по эскалатору в метро. Стояли на соседних ступеньках, но ещё как-то отдельно друг от друга. Женя наклонила голову, и я мог видеть только краешек её лица. Кажется, в метро было даже холоднее, чем на улице, потому что иногда она подносила ладонь к щеке и начинала сильно тереть её. А мне так радостно было, что её сумка в моих руках, и оттого мы уже будто бы не совсем чужие, и я даже не пытался о чём-нибудь заговорить.

Я рассмотрел Женино лицо, только когда мы уже оказались в вагоне. Женя была бледна, и её тонкие губы стали совсем белыми. Я не мог наглядеться на неё, а она ненадолго встречалась со мной взглядом, а потом отводила. Кажется, ей было неуютно, что я смотрю так пристально.

– Что, что? — спрашивала она, торопливо поправляя волосы, думая, что с ними что-то не так.

Мы вышли из метро и сразу же потерялись в сплетении улиц, жужжании машин, потоке людей. Я никак не мог понять, в какую сторону идти к Жениному общежитию, и потому мы двинулись наугад. По пути нам попалась шумная компания парней, у одного вокруг шеи был обмотан длинный оранжевый шарф, он что-то рассказывал, а остальные смеялись. И у меня вдруг сжалось сердце от неожиданной ревности, будто я уже знал, что Женя скоро будет среди них, такая же весёлая и беззаботная.

Общежитие мы увидел издали. Это было высотное здание в два крыла, разделённое переходом с тяжёлыми дверями посередине. Над переходом навис широкий козырёк, а с обеих сторон от дверей, будто лапы, поднимались две бетонные лестницы в несколько пролётов. Сквозь огромные стёкла было видно множество студентов, толпившихся в переходе — это была очередь на заселение, которую нам предстояло отстоять...

Так долго тянулся этот длинный и тяжёлый день — сначала нужно было дожидаться коменданта, потом кастеляншу, которая раздавала ключи и бельё. Я старался участвовать во всём, что нужно было сделать, как будто от того, как я сейчас во всём разберусь, какую комнату выберем, как Женя заселится, зависело всё наше будущее счастье.

Мы ещё стояли с ней в одной из этих очередей в коридорах общежития, когда Женя вдруг отошла к окну, словно увидев там что-то особенное. Я приблизился — за окном виднелись дома, а за ними шпиль здания Уни-

верситета и небо, постепенно превращающееся из дымчато-белого в голубое, и чем выше поднимался взгляд, тем яснее и чище была эта пронзительная голубизна.

– Я так счастлива, — проговорила Женя, не оборачиваясь ко мне. — Мама последнее время много рассказывала, как она жила в общежитии, когда была молодая, как они ходили на занятия, как весело было. Знаешь, я до сих пор не могу поверить в то, что буду учиться здесь, — продолжала она порывисто. — Иногда я просыпаюсь ночью, и мне кажется, что не хватило баллов и я не поступила, и что теперь всю жизнь проживу у себя в городе, и мне становится так грустно.

Мне показалось, что её мысли очень созвучны моим, и оттого я вдруг испугался, что скажу сейчас что-то не то, и ещё минуту стоял молча, но слова так и не приходили.

– Кажется, нам скоро заходить, — заметил наконец, чтобы перевести тему разговора, и мы поторопились вернуться в очередь.

А вечером, когда хлопоты были окончены, Женя вышла вместе со мной на улицу, чтобы проводить, и мы медленно зашагали по узкой дорожке, ведущей от общежития к оживлённому проспекту. Вдалеке мелькали машины, нервно мерцали яркие вывески магазинов, а из-за нагромождения домов на другой стороне поднималось огромное, как Колизей, здание торгового центра. И чем ближе мы подходили к проспекту, тем сильнее наваливался на нас шум машин, так что невозможно было ничего сказать. «Ох, Лёшка, я так устала, эти длиннющие очереди, поселение... Я даже не представляла, что будет так тяжело», — жалобно сказала Женя, и это неожиданное «Лёшка» зазвучало как-то слишком близко, а оттого так неестественно. Я рассеянно ответил что-то. А на прощание она неожиданно повернулась и порывисто прижалась щекой к моему плечу. У меня что-то дрогнуло внутри, и я стоял неподвижно, не зная, обнимать ли мне её в ответ или же сдержаться, чтобы не нарушить неожиданное счастье.

Теперь-то я понимаю, что это была просто благодарность за то, что я был рядом в этот тяжёлый для неё день, и наверняка понимал это и тогда, но всё равно не мог справиться с нахлынувшим чувством. Женя ушла, а я остался, удивлённо оглядываясь по сторонам. Рядом стояли люди, в луже отражался свет фонаря, наклонившегося прямо надо мной. Мне казалось, что время остановилось и с той пронзительной секунды, как она прижалась ко мне, до сих пор тянется одно только мгновение, которое я почему-то переживаю полнее и глубже, чем обычно.

Наконец я сделал шаг, ощущая, как двинулась на меня сырая стена воздуха. И тогда наступило следующее мгновение, а за ним ещё и ещё, будто бы тронулся неведомый механизм. Дома раздвинулись, и я шёл вперёд, не замечая, что наступаю прямо в огромные лужи на асфальте. Счастье было таким явным, как вспышка, я ощущал его отсветы везде — на ветках, в машинах, в огромных зданиях этого чужого, но уже отчего-то красивого города.

Я спустился в метро, и грохот поездов оглушил меня.

2.

С того дня началась моя новая жизнь. В первые недели этой удивительной осени меня ни на минуту не покидало ощущение бесконечного счастья. Мы встречались после Жениных занятий в Университете, втискивались в наполненный людьми трамвай, замирали у дверей, а потом спрыгивали с подножки и изо всех сил неслись к её общежитию. И каждый раз я чувство-

вал, как воздух вокруг натягивается, рвётся, и как отовсюду захлёстывает меня что-то старое и родное, будто я вернулся на три года назад, и всё ещё бегаю по школьным коридорам в поисках Саши.

Я видел, как Женя постепенно привыкает ко мне, как я становлюсь важен для неё, но мы по-прежнему ни разу не заговорили о наших отношениях, а я никак не решался ни поцеловать её, ни приобнять. Мне всё казалось, что это должно случиться само собой, и гораздо важнее то, что нам хорошо вдвоём.

Жене постоянно переживала, что мы что-то не успеваем — готовиться к её занятиям, гулять, разговаривать, не успеваем вдыхать нашу весёлую жизнь. Она могла вдруг повести меня в парк, на птичий рынок, на занятие танцами, а тем же вечером позвонить и в отчаянии сказать: «Какая же я глупая, у меня завтра контрольная, а я...». «Давай не будем больше ходить туда, хорошо?» — просила она потом, как будто это я уговаривал её ещё несколько часов назад. А я не понимал этой торопливости, этого желания вместить в себя всю вселенную, способности загораться до безудержной страсти. Но бывали моменты, когда Женя радовала меня до отчаянного восторга в душе. Как-то раз она рассказывала о своих новых подругах и о том, что они ходят на дискотеки и в ночные клубы, а потом неожиданно заметила: «А мне всё это неинтересно, там нет воздуха, это всё ненастоящее». И я удивлённо вздрогнул тогда — так важны были для меня эти слова, они звенели во мне целый день, отражаясь, усиливаясь многократно.

По вечерам мы сидели у Жени в общежитии и занимались то математикой, то экономикой, и я с лёгкостью объяснял ей любое задание, потому что мы уже всё это проходили год назад. За огромным окном прямо перед нами лежал весь город, горевший тысячью огней, а сзади ходили туда-сюда Женины соседки по комнате и иногда хихикали, с интересом поглядывая на нас. Мне нравилось, что для них я Женин парень и от их многозначительных взглядов в мою сторону каждый раз становилось приятно и спокойно. Женя же как будто не замечала этого. В перерывах между занятиями мы даже не стеснялись, что кто-то есть рядом, а беззаботно болтали обо всём подряд.

В те недели я постоянно не высыпался, но всё равно каждый раз задерживался у Жени и возвращался из Москвы на последней электричке. Смертельно клонило в сон, но я шёл от станции до общежития, машинально делая каждый шаг. Мне представлялось, что я должен всё перетерпеть ради Жени и что чем больше я страдаю сейчас, тем сильнее становится наша любовь. И даже вернувшись в общежитие, не сразу ложился спать, а уходил в укромное место под чёрной лестницей и молился или просто сидел, вспоминая сегодняшний день. А на следующее утро вскакивал с кровати от пронзительного звона будильника и лихорадочно бежал умываться. Меня ждал долгий день: сонные лекции, торопливые занятия в читалке, электричка, метро, и опять на юг Москвы, навстречу своей отчаянной радости.

Но знал ли я на самом деле, какой была Женя, настоящая, со всеми желаниями и недостатками, со всеми чертами такого сложного и горячего характера? Что было в действительности, а что я выдумал, упоённый своей любовью, будто пытающийся рассмотреть солнце, слепящее глаза...

В конце сентября у нас в институте должен был проходить большой праздник в честь посвящения в первокурсники, и я пригласил на него Женю. Она приехала сразу после лекций, я встречал её с электрички. В студгородке повсюду развевались флаги, у стадиона высилась огромная деревянная сце-

на, но студентов почти не было. Мы шагали по пустым дорожкам между корпусами, и оттого казалось, что праздник нарочно задерживает дыхание, прежде чем дунуть изо всех сил. Помню, по дороге к общежитию Женя почему-то сильно волновалась, а я пытался убедить её, что всё пройдёт хорошо.

Когда мы вошли в комнату, Сеня и Святослав Александрович сидели за столами, готовясь к предстоящим на следующей неделе зачётам, но, кажется, оба были рады возможности отложить учёбу. Мы со Святославом Александровичем поставили чай и принялись делать бутерброды, чтобы Женя немного перекусила, а Сеня насмешливо расспрашивал сестру об учёбе.

Женя некоторое время ещё была в своих мыслях и, кажется, чего-то смущалась, но потом вдруг вспыхнула, увлечённо заговорила о своём университете, о лекциях и тяжёлых заданиях, стала ругать Сеню, что он так редко к ней приезжает. А через минуту с весёлой беззаботностью подскочила к столу, чтобы помочь нарезать хлеб, а когда закончила, стала вытирать скатерть. Святослав Александрович тоже оживился и принялся с увлечением спорить с ней о том, какое образование лучше, наше или их. А я стоял молча, удивлённый этой внезапной открытостью Жени и радостной смелостью, с которой она теперь вела себя в нашей комнате.

Тем временем за окном постепенно нарастали звуки музыки, криков и громкого смеха. Женя зашла за шкаф, чтобы переодеться, а потом вышла в ярко-красном платье с открытыми плечами. Я взглянул на неё и поразился этой неожиданной, но уже такой взрослой женской красоте.

Вчетвером мы вышли на улицу и сразу же попали в необыкновенный водоворот: то здесь, то там бегали разгорячённые праздником студенты, кричали, зажигали огни, как на новогоднюю ночь, по дороге с безумными гудками проносились машины, так что, казалось, могли разбудить весь город. Женя с наслаждением закрыла глаза и сказала, что всё это похоже на сказку.

Мы долго не могли пройти вперёд, потому что толпа студентов перекрыла улицу перед общежитием. Один из них держал огромный флаг института и, выйдя прямо на дорогу, отчаянно размахивал им, другие столпились вокруг, останавливая проезжавшие машины. Женя была опьянена происходящим, и, когда мы пробирались сквозь толпу, я несколько раз оборачивался и ловил белый блеск в её глазах.

Я терялся в этом шуме, в этом беспорядочном веселье, в этой всё усиливающейся музыке, прожигающей насквозь. Мне казалось, все вокруг смотрят только на Женю, на её огненное красное платье. А когда мы уже стояли прямо перед сценой, на которой проходил концерт, и кто-то из толпы случайно касался её, во мне вскипала горячая волна ожесточения. Один из незнакомых парней протянул в нашу сторону бутылку пива, так что я было подумал, что она предназначена Жене, и вырвал эту бутылку у него из рук. А он только удивился моему дикому взгляду, и отшатнулся от нас.

Потом мы медленно шли в сторону общежития, и я торопливо вдыхал ночной воздух, радуясь, что всё это закончилось. Кажется, никто не заметил моего болезненного волнения, все были спокойны и умиротворённо молчаливы. Сеня весело поёживался от вечерней прохлады, Святослав Александрович широко улыбался. В отсветах фонарей я видел, как едва колышутся Женины растрёпанные волосы.

– Знаете, раньше, когда я жила у нас в городе, мне казалось, что здесь, в Москве, какие-то особенные люди, — мечтательно заговорила Женя. — Сильные духом, такие, которые знают, что они хотят. Но оказалось, их здесь

почти нет, и теперь я понимаю, что таких людей вообще очень мало... А мне самой, наверно, не хватает этих качеств, и поэтому я всё время ищу их. Я хочу, чтобы рядом были люди с сильной позицией...

Я слушал её, и мне было грустно, что она не говорит явно, что хочет, чтобы рядом с ней был я, и что на самом деле я слабый и подверженный эмоциям человек, то загорюсь, то погасну, и у меня самого нет никакой позиции. Я убеждал себя, что всё хорошо, что она идёт рядом со мной, а на ней моя ветровка, которой я укрыл её открытые плечи от холода, но всё равно ощущал себя будто закованным в тяжёлые цепи.

– А что такое эта сильная позиция? — только и смог выговорить я глухим голосом.

– Не знаю, — пожала плечами Женя, — может, внутренняя опора, на которой всё держится... Но всегда видно, когда это есть!

– Главное, чтобы позиция была взвешена и подтверждена доказательно, — вмешался Святослав Александрович, а Женя приветливо кивнула ему, хотя он ничего и не понял из того, о чём она говорила.

Я видел, что Женя чувствует необыкновенное вдохновение, что вся эта обстановка — праздник, гудевший где-то вдалеке, спокойствие опустевшей улицы, интересные люди рядом — всё и волнует, и радует её одновременно. Я понимал её состояние, но мне было больно оттого, что эти её теперешние волнение и радость не связаны напрямую со мной. Я удивлялся её мыслям, их неожиданной глубине, но мне обидно было, что она высказывает их не мне одному, а ребятам — как бы перед ребятами хочет показаться умной и глубокой, хотя именно я и только я мог бы по-настоящему понять её.

– Мне так хорошо здесь у вас, я чувствую настоящую жизнь, — произносила она порывисто, но задумчиво, и мне становилось ещё тоскливее...

Вернулись мы за полночь, я дождался, пока Женя заснёт, и лёг сам. Из окна доносились запоздалые звуки, то чей-то крик, то пьяная песня, а потом всё смолкало, и только у меня внутри отчаянно билось сердце, будто злополучный праздник всё ещё продолжался там. В темноте резал глаза свет от настольной лампы на столе Святослава Александровича, который тоже отчего-то не спал. Вдруг я вспомнил слова Жени о сильной позиции и неожиданно подумал, что у меня ведь есть моя вера и что, несмотря на всю мою мягкость и впечатлительность, я на самом деле гораздо сильнее всех этих людей за окном. Я вскочил, взволнованный этой мыслью, и увидел, что Святослав Александрович поднял глаза от учебника и почему-то внимательно смотрит на меня.

– Всё хорошо, — убеждённо сказал я ему, а он как-то чересчур торопливо кивнул.

3.

С того вечера жизнь моя натянулась, как струна, так что теперь в стремительном потоке недель память почти не различает событий. Хорошо помню только день в конце января, когда мы первый раз пошли с Женей в церковь. С начала учебного года я всё хотел предложить ей это, но никак не находилось удобного момента. Потом ещё несколько раз мы откладывали из-за того, что Жене нужно было готовиться к экзаменам в Университете. И только после сессии, как раз накануне Жениного отъезда домой на зимние каникулы, собрались на утреннюю службу.

Я вышел в тот день из общежития, и было ещё темно. И каким же неподвижным показался мне вдруг зимний утренний воздух вокруг, как безмятеж-

но лежали впереди железнодорожные рельсы, не ждущие электрички. Но отчего-то я не мог до конца успокоиться и поверить этой невозможной безмятежности.

Я вспоминал последние месяцы, и мне казалось, что мы так много потратили времени зря, постоянно ездили к нам в общежитии, проводили время с ребятами — Жене нравилось у нас, она говорила, что выходные с нами это единственная капля радости для неё в душном мире Москвы. Но для меня всё это время было каким-то сумбурным и даже напрасным, я так и не рассказал ей главного — и про то, как со дня нашей первой встречи я думаю только о ней, и про то, как я благодарен Богу, что он дал мне её, и про Сашу, и про всю мою жизнь... Но теперь мне отчего-то казалось, что вот впереди у нас целый день перед её отъездом, и это целиком наш день, и мы столько можем сегодня успеть, о стольком поговорить.

Храм находился рядом с Жениным общежитием. Это был старинный собор, огромной глыбой высившийся рядом с другими высотными зданиями. Мы опоздали, но я подумал, что это даже к лучшему, потому что Жене тяжело было бы простоять всю службу целиком. Внутри было темно и пахло сырой штукатуркой, а откуда-то из глубины надтреснутым голосом вычитывали псалмы. Мы вошли, и мне вдруг стало страшно.

Людей оказалось мало, мы стояли вдвоём прямо напротив того места, на которое выходил священник. Сначала я решил было наклоняться к Жене и шёпотом объяснять что-то, но не знал, правильно ли это, и просто замер на одном месте, боясь пошевелиться. В напряжённом ожидании я предчувствовал каждое следующее движение службы, будто пытаясь ускорить её мерное течение. Я хотел дотянуть до причастия, чтобы сказать Жене, что это самое главное действие, и что после него уже можно уходить, но минуты тянулись медленно.

Краем взгляда я видел, как Женя переступает с одной ноги на другую. В какой-то момент мне вдруг показалось, что она слишком сильно качнулась назад, и тогда я торопливо отступил, чтобы подхватить её, если бы она вдруг упала. Женя обернулась на моё движение, и я спросил: «Пойдём?». Она, кажется, обрадовалась и устало кивнула в ответ.

На улице пахло дымом, ветра не чувствовалось совсем. Всё вокруг испуганно замерло, как бывает перед внезапным, совершенно не ко времени, наступлением весны, и только осторожно падали на руки то ли тяжёлые снежинки, то ли капли дождя. Я боялся спросить Женю, что она чувствовала в церкви, но она сама вдруг произнесла тихо:

– Да, хорошо... Надо будет ещё раз сходить потом...

Я ничего не ответил, чтобы не нарушить это неуловимое хрупкое согласие, установившееся между нами. В этот момент она неожиданно раскашлялась и коротко улыбнулась:

– Болею немного.

– Пошли тогда, буду тебя лечить, — сказал я весело, кивая на высившееся рядом здание общежития.

Женя кивнула, но как-то неуверенно.

– Знаешь, у меня в комнате так грустно, — заговорила после недолгого молчания, — и эти экзамены, так хочется отдохнуть после них... Давай, может, к тебе в общежитие? И Сеня ведь там, да?

Меня кольнула мгновенная досада оттого, что она не хочет быть вдвоём, даже в этот последний день перед отъездом на каникулы, а хочет к ребятам.

– Ты же болеешь? — переспросил я чужим голосом.

– Ну да, — взволнованно заговорила она. — Вот как раз у вас и полечусь, у меня всё равно поезд только вечером...

Кажется, она и сама понимала, что что-то не так и что она в чём-то виновата, и это ещё сильнее задело меня. Мы помолчали, будто пережидая напряжённый момент.

– Поедем, — сказал я ожесточённо и решительно.

Наверно, этот день был похож на остальные, которые мы проводили у меня в общежитии, и только я отчего-то воспринимал всё острее. Сеня и Святослав Александрович сели за стол, чтобы пить чай с пирожными, которые мы принесли, а Женя принялась что-то оживлённо рассказывать им. Я же стоял у окна и напряжённо смотрел на маленькую льдинку, притаившуюся у нижней кромки стекла. Прямо на глазах она становилась всё меньше, кутаясь, уходя в себя, но не могла уже спастись и должна была растаять.

Я оглядывался назад и видел Женю совсем не такой, какой она бывала со мной по вечерам в её комнате. Там её весёлость казалось тихой и проникновенной, а здесь Женя всё время оказывалась в центре общего внимания, шутила и дурачилась, глаза её блестели. И я неотвратимо чувствовал, будто с каждой секундой этого странного веселья из меня уходит что-то важное.

Как раз в тот момент Женя игриво, как бы немного свысока, спрашивала у Сени и Святослава Александровича, почему у них до сих пор нет девушек. Сеня хмурился и молчал, а Святослав Александрович принимался убеждённо доказывать, что он замкнутый и нелюдимый человек и что для него это естественно.

– Я уже давно проанализировал свой характер, посмотрел несколько статей, — горячился он. — У меня синдром Аспергера, из этого вытекают сложности в общении. Нужно применять специальные тренинги, и тогда ситуацию можно исправить...

– Да неправда, — возражал ему с усмешкой Сеня, всегда любивший провоцировать соседей, особенно при сестре, — с нами же у тебя не возникает сложностей в общении.

– Потому что вы существа того же пола, — эмоционально настаивал тот. — Не спорьте, я ведь изучал этот вопрос, просто психология мужчин и женщин различна, и вы ничего не понимаете!

– Причём тут синдром, когда есть настоящие чувства? — вдохновенно возражала ему Женя.

Святослав Александрович сердито пожимал плечами, потому что это якобы был неконструктивный вопрос, а Женя смеялась над этим так заразительно, что через минуту он и сам уже начинал невольно улыбаться над собой.

Я же всё стоял у окна и не мог понять, почему же она не спрашивает ничего у меня — то ли потому что считает себя моей девушкой, то ли потому что её совсем не интересует то, что я отвечу. Мне отчего-то хотелось сказать что-нибудь резкое, чтобы разрушить это глупое веселье, но я только окончательно замкнулся и почти всё время до вечера молчал. Иногда Женя подходила ко мне и, глядя на моё подавленное настроение, взволновано спрашивала:

– Ну ты чего?

Я бессильно улыбался — всё хорошо, и ей опять становилось весело...

Помню, как вечером шли по перрону, когда я провожал Женю на поезд. Ещё не начало темнеть, но уже стало холодно, и мне казалось, что теперь никогда уже не быть нам такими счастливыми, как раньше. Но внутри ещё

теплилась отчаянная надежда, что я чего-то не понимаю, что вот сейчас случится что-нибудь, что всё перевернёт и чудесным образом исправит и сегодняшний день, и эти последние несколько месяцев, но ничего не происходило.

Проводница не хотела пускать меня в вагон, потому что оставалось совсем немного времени до отправления, но я всё-таки втиснулся в узкий проём. Мы встали друг напротив друга, ощущая напряжённую важность момента. Тогда я неожиданно решился поцеловать её, но Женя неловко и както испуганно отстранилась.

– Я же болею, — сказала виновато, а я залился краской от того, как же нелепо и стыдно всё это вышло.

– Прости меня, — сказал самое главное, что было на душе.

Ещё несколько секунд мы стояли так. Я боялся взглянуть ей в лицо и видел только сжатые в замок руки. А потом шёл по перрону назад, а рядом неотвратимо тянулись окна отходящего поезда, а за ними мелькали равнодушные чужие лица...

Пока я ехал в метро, в воздухе потемнело окончательно. Вокруг выхода к пригородным поездам скучились киоски, мигая тусклыми огоньками. Я на минуту остановился у кассы, чтобы купить билет, и вышел на платформу. То здесь, то там стояли редкие люди. Шёл холодный зимний дождь, на коже мгновенно превращаясь в мелкие назойливые льдинки. Пока Женя ещё была рядом, я как-то не осознавал до конца, что произошло, как будто одно её присутствие питало меня силами, а теперь совсем растерялся. Впереди высились три огромных здания, горевшие сотнями окон. Я вглядывался в эти окна и чувствовал себя таким одиноким, будто не знаю ни одного человека на свете. Неожиданно из-за поворота вылетела электричка, опоясанная гребнем вырывающейся из-под колёс мёрзлой воды. А я только растерянно смотрел, как она со скрежетом останавливается передо мной...

Когда я вернулся в общежитие, уже стемнело, но ребят не было дома. Я вошёл в комнату и вдруг увидел, что на бледном квадрате окна чёрным пятнышком виднеется сушившееся на форточке полотенце. Я понял, что это Женино, и сердце моё сжалось. Мне показалось, что это какой-то знак, что, может быть, она нарочно забыла его здесь.

Я лёг на кровать и обхватил голову руками. Стучали по жестяному карнизу редкие, но настойчивые капли дождя, так что я никак не мог успокоиться, ощущая этот твёрдый стук телом, как дрожание больного нерва. Темнота надвинулась со всех сторон. Я оглядывался, пытаясь рассмотреть хоть что-то, но отовсюду виднелись только очертания неподвижных предметов. Тогда осторожно, содрогаясь от какого-то благоговейного страха, я прошептал: «Господи...», и звук моего голоса замер в пустоте. Я помедлил несколько мгновений, дожидаясь, пока он растворится совсем, и тогда стал произносить следующие слова. «Помоги мне, Господи... дай нам быть вместе... дай мне понять, что делать, как себя вести... — повторял я ещё и ещё, как заклинание, ощущая, как постепенно очаровывает меня эта мрачная ожесточённая молитва. — Она будет со мной... я всё сделаю для этого... только помоги мне...».

Я нарочно повышал голос, произнося эти слова яростнее, с напором — они показались мне вдруг такими сильными, что и сам я как будто стал сильнее вместе с ними. И оттого какое-то странное спокойствие неожиданно опустилось на дно моей души. Тело стало тяжелее, будто пропиталось горячим оловом, глаза сомкнулись, и я провалился в сон.

4.

В конце февраля начался пост, а с ним — особенно странное для меня время. Я почти ничего не ел, только порцию картошки в студенческой столовой на обед и варёные овощи на ужин. Не разрешал себе слушать музыку, думать о чём-нибудь приятном. Но и этого казалось мне мало, и тогда я решил читать Часы, как делали подвижники в монастырях, и каждые три часа спускался под чёрную лестницу, чтобы проговорить нужные молитвы. Я не мог пропустить ни одного раза, мне казалось, так я на последнем волоске удерживаю нашу с Женей любовь и, если я остановлюсь, то всё мгновенно разрушится. Мы по-прежнему не брались за руки, когда шли вместе, и ни разу больше я не пытался поцеловать её и даже не заговорил о том, что случилось на вокзале, так что с каждым днём этот откровенный разговор становился всё более нелепым.

Но чем сложнее становились наши отношения, тем острее я ощущал жажду быть с ней. Самым радостным для меня оказывалось предвкушение встречи, когда я ещё ехал в метро и мог мечтать, что уже через полчаса мы увидимся. По дороге к её общежитию я почти бежал, ощущая какое-то неистовое волнение внутри. А потом замечал маленькую фигурку у входа, делал последние шаги навстречу.

– Давай сегодня на каток, я уже договорилась с Сеней и Славой, — говорила Женя, и что-то падало у меня внутри...

На каток мы ходили в огромный парк с множеством ледяных дорожек. На главной аллее было столько людей, что рябило в глазах от разноцветных курток, проносившихся то в одну, то в другую сторону. Иногда я отставал от всех и терялся, и тогда в мельтешащей толпе мне странным образом представлялось, что я вижу Женю, которая едет, держась за руку со Святославом Александровичем. Я устремлялся за ними, сворачивая на какие-то потайные тропинки, пытаясь догнать их, и только через несколько минут натыкался на всю компанию — втроём они стояли, сгрудившись у края главной аллеи, и оживлённо что-то обсуждали.

– Ты где был? Мы тебя искали, — взволнованно говорила Женя, но мне казалось, что она нарочно отводит глаза.

Я говорил ей, что больше не пойду на каток, что идёт пост и нужно быть сосредоточенным. Она обижалась и, задыхаясь, отвечала, что каток очень важен для неё, что это спорт, а ей обязательно нужно заниматься спортом.

– Но мы постоянно веселимся там, — спорил я.

– Да, — соглашалась она, не сдаваясь, — но веселье — это такое приятное дополнение к спорту!

И во время любого такого разговора, любой нашей ссоры, я думал — это Бог, это опять Он ведёт меня. Я пытался понять, что же я на этот раз сделал не так, чтобы потом собраться с силами и исправить это. Но в то же время сквозь эти нарочито прямые и твёрдые мысли я ощущал неясную ноющую боль внутри. Особенно часто это случалось, когда, возвращаясь от Жени, на тёмных улицах я встречал пьяных людей или весёлые молодёжные компании, а среди них бесстыдно смеющихся девушек. В такие моменты мне казалось, что злобный и порочный мир окружает меня, смеётся надо мной, а я не могу противостоять ему один.

В один из таких дней мне вдруг стало так горько, что, вернувшись в общежитие, я прямо с порога стал рассказывать Сене и Святославу Александровичу об Алисе, отрывисто, безобразно, выговорил это пошлое «был с женщиной». Кажется, Святослав Александрович качал головой, ему было стыд-

но за мои глупые откровенные слова, а Сеня смотрел в пол, и я никак не мог понять, о чём же он думает. Меня же переполняло ощущение вины, мне хотелось покаяться именно перед ним, потому что он был братом Жени.

После моего рассказа в комнате повисло неловкое молчание, но не от самого случая, а оттого, как именно я говорил о нём. Потом я долго ещё не мог забыть этот вечер, стыдясь своей нелепой и неуместной торопливости, но в то же время мне казалось, что я всё сделал правильно.

В конце марта, когда я уже совсем ослаб, в Москву приезжал Шаманов. Был тусклый холодный день, ветер обжигал лицо и руки, так что хотелось вжаться в себя и не высовываться наружу. Мы торопливо и неуклюже обнялись, почти не глядя друг на друга, и зашагали наугад. На почерневшем снегу, на каменных стенах, на виднеющемся сквозь дымку шпиле Казанского вокзала, лежал какой-то мутный пепельный налёт, а под ногами скрипело битое стекло замёрзших и уже перетоптанных луж.

Минут через пять мы попали в маленькое привокзальное кафе, где было страшно жарко от кухонного пара и толкающихся повсюду людей, и заняли маленький столик в углу. Нас мгновенно разморило, мысли и чувства сделались мягкими.

– Ты как, пост-то держишь? — спросил Шаманов, едва только мы разместились.

– Да, — растеряно ответил я.

– И я вот что-то тоже решил... Ну, что, тогда пить не будем что ли? — лукаво усмехнулся он через мгновение.

– Не будем, — радостно согласился я.

– Эх, жаль... — и этот его непритворный вздох, кажется, ещё сильнее сблизил нас.

Мы оба ощущали необыкновенную жадность общаться, будто встретились где-то в чужом краю, среди говорящих на другом языке людей, не понимающих ничего из того, что дорого нам обоим. Я ещё некоторое время молчал, переживая радость встречи. Шаманов же не мог да и не хотел сдерживаться.

– Слушай, а я тоже христианской темой как-то заинтересовался, вот пост этот, — увлечённо принялся рассказывать он мне. — Но тут такое дело, надо раз и навсегда для себя решить! Вот, например, захочу я тоже начать праведную жизнь, приду в церковь к священнику, а он меня спросит, развратничаю ли я, что я ему скажу? Скажу, да, а он меня спросит, а ещё будешь, а я ведь знаю, что буду, — и рассмеялся во весь голос. — Так что пока не знаю...

Я удивился этим его словам о христианстве, потому что никогда раньше не слышал от него ничего подобного. Но в то же время чувствовал в них наивность, которая отчего-то задевала меня сильнее, чем должна была бы. Я вспоминал наш летний разговор у реки и невольно думал не о Шаманове, а о себе. Мне казалось, столько было во мне тогда поверхностного и безрассудного, как сейчас в Шаманове. Я и не знал тогда, что духовная жизнь это дикая боль в душе, страдание каждый день, преодоление этого жгучего страдания...

Я хотел рассказать ему, каким невыносимым стало моё существование, как тяжело даётся мне этот пост, как я читаю Часы под чёрной лестницей, но даже это не помогает мне удержать Женю рядом. Я хотел рассказать о том, как страшно разочаровываться во всех этих прописных истинах, и одновременно о том, сколько мужества нужно, чтобы, утратив все иллюзии,

продолжать тащить себя каждый день под чёрную лестницу на молитву... Но не мог объяснить ему всё это, я знал, что он не поймёт меня, как не понял бы я себя сам полгода назад.

– А помнишь, Гоша, я тебе говорил в школе про тот бой, в котором нельзя победить, но нужно сражаться до конца, — сказал я вдруг. — Так вот, я понял, что совсем не умею бороться и что я самый слабый человек на свете...

Шаманов слушал, довольно кивая, а потом изо всех сил ударял по плечу, так что качались пластиковые стаканчики на столе.

– Я тебя так ждал, Алёшка, так скучал по нашим таким вот серьёзным разговорам, ты бы только знал... Но расслабление, это ты брось! Нельзя расслабляться, ты же сам понимаешь, чьи это происки!

Постепенно я попал под его напор. Мне приятно было отдаться этим прямым и яростным словам, так напоминающим мне мои собственные полгода назад, почувствовать их опять в себе. Необыкновенное, почти хмельное веселье овладело нами обоими, так что мы уже не видели ни чёрных от гари стен, ни круглых жирных пятен под руками. Нам принесли кофе и пирожки, и мы с удовольствием принялись за еду.

– Иногда вот слышу от кого-нибудь — мне плохо, мне тяжело, и не могу этого понять, — в сердцах доказывал мне Шаманов, решительно наклоняясь над столом. — Вся жизнь в твоих руках! Чувствуешь, что это твои убеждения, что это правильно, давай, действуй! Хватит ныть... Борись, сделай всё, что от тебя зависит. Куда уж проще!

Мы так разгорячились, что, когда вышли на мороз, то стояли, не застёгиваясь, и шумно дышали густым паром. На оживлённой площади перед вокзалом было темно, повсюду мелькали огни, что-то шумело, звенело, но звуков почти нельзя было различить — всё смешалось в один монотонный гул. Шаманов курил, а я стоял рядом, чувствуя прежнюю умиротворённую твёрдость, и мне казалось, что мы вместе смотрим в уродливую темноту большого города и не боимся её. А потом опять начинали говорить, перебивая друг друга, останавливая на полуслове, но во всём соглашаясь с первого же предложения.

– А как там с Женей? — спросил Шаманов, когда мы уже расставались.

– Да всё хорошо... — смешался я.

Вернувшись в общежитие, я не стал подниматься в комнату, а сразу прошёл под чёрную лестницу — читать нужный Час. Я ещё ощущал в себе то родное ожесточение, которым заразил меня Шаманов. Я вытащил из щели в полу тоненький молитвослов, в угол на выступ бетонной плиты поставил иконку, стараясь приблизиться к ней вплотную, чтобы меня не было заметно с пролёта второго этажа. Помню, косая тень проходила по стене и по полу, пересекая мои руки, тело, страницу молитвослова, который я держал в руках. Иногда кто-то спускался надо мной, и тогда я замирал, пережидая эти гулкие шаги, наполняющие моё тайное укрытие.

Я шептал слова молитв торопливо и никак не мог сосредоточиться. Невольно я принимался вспоминать последние месяцы, такие сумбурные и тяжёлые. В отчаянье я упрекал себя, что позволил нам с Женей вести праздную жизнь, что она ни разу за это время не захотела сходить в церковь, а я не смог проявить настойчивость. Мне казалось, с этого дня опять всё будет иначе, что я смогу всё исправить и вернуться к тому счастью, которое испытывал когда-то...

Но в то же время где-то в глубине сердца я ощущал, что моё теперешнее

желание уже не так надрывно, что оно больше не поглощает меня целиком. Я пытался нагнетать, с яростью взглянул на лик иконы и ещё отчётливее постарался произнести каждое слово. Но чем сильнее я разжигал себя, тем холоднее становилось внутри. Вдруг я подумал, что до конца жизни придётся мне вот так вот вставать на молитву, каждый день, без единого послабления, потому что даже если вдруг у нас с Женей всё мгновенно станет хорошо, всё равно никогда мне уже не забыть этого страха потерять её, этой беспрерывной тревоги, и уже нельзя будет остановиться, отдохнуть — и тогда мне стало так тоскливо и одиноко.

Я не поддался этой проклятой тоске и продолжал читать изо всех сил, только уже не вникая в смысл, скользя глазами по чёрным буквам. Потом закончил, захлопнул книгу и постоял так немного, ожидая. Но ничего не чувствовалось в спёртом подвальном воздухе, хотелось просто упасть на кровать и больше не думать ни о чём. Я положил молитвослов и иконку обратно в потайное место в полу и медленно зашагал вверх по лестнице.

Ещё в коридоре я услышал пронзительный Женин смех сквозь дверь нашей комнаты и на секунду остановился, будто собираясь с силами.

Они были вдвоём со Святославом Александровичем.

– Привет! — торопливо вскочила Женя, увидев меня. — Ты почему так долго? А я пораньше приехала, думала ты тоже...

Я опустился на кровать и не глядел ни на неё, ни на Святослава Александровича. Женя села рядом, думая, что я просто устал, и начала рассказывать о чём-то, но я слышал только тот самый монотонный гул у себя в голове. Я попытался взять себя в руки, даже ещё раз прочитать какую-нибудь коротенькую молитву, но всё это было так искусственно. «Нам надо расстаться», — неожиданно подумал я и вдруг испугался не столько этой мысли, сколько о том, что я так просто подумал об этом. Не сдаваться, биться, биться, убеждал я сам себя, я не отдам её, она будет только моей, но постепенно странное холодное оцепенение охватило меня целиком.

5.

Всё оборвалось между нами в начале июня. Помню, у Жени подходила к концу вторая сессия, и в один из тех дней она попросила меня приехать. Я уже так привык к тому, что это я постоянно ищу встречи и потому удивился, что она зовёт меня сама. Последнее время мы почти не бывали вдвоём — в будни Жене нужно было готовиться к занятиям в Университете, а каждые выходные она приезжала к нам в общежитие, но я уже смирился с этим, и иногда даже надолго уходил из комнаты гулять по студгородку или по берёзовой роще, когда она была там. Как машина, постепенно вязнущая в колее, но продолжающая ещё ехать, длились наши странные отношения...

Погода в тот вечер стояла тёплая, повсюду летал тополиный пух, что-то шуршало в густой листве — и всё это было так легко, так настойчиво беззаботно, будто пыталось убедить меня начать жить с чистого листа, не спрашивая, хочу я этого или нет. Женя встречала меня у метро. Мы пошли рядом.

– Знаешь, таким сложным был этот год, — произнесла Женя порывисто, — мне так тяжело, особенно в последнее время...

Я слушал эти чистосердечные слова, смотрел в её взволнованное лицо, и мне хотелось думать, что это не всё, что есть ещё какая-то надежда. В то же время я уже так хорошо знал её, что не мог не понимать, что её что-то тревожит, и потому она позвала меня. Мы больше не разговаривали о

мелочах, как бы отдыхая от этой её внезапной искренности, и просто шли в тишине, но эта тревога и предчувствие будущего серьёзного разговора ощущались во всём.

Миновали охрану. Поднимались в наполненном лифте, а вокруг как замороженные стояли другие люди и молчали, и мы молчали вместе с ними, но оба чувствовали, что впереди ещё будет что-то важное.

Когда мы вошли в Женину комнату, там было темно, и только мягким светом горела лампа над её кроватью, которую она отчего-то не выключила, уходя встречать меня. За краем светлого полукруга я различал её вещи на столе и на полках: расчёску, тюбик с кремом, аккуратно сложенное полотенце, листы, исписанные мелкими буковками, несколько книг.

– Проходи, соседки будут только вечером, — сказала Женя, и я поспешно шагнул вперёд.

Я помнил, как мы часто сидели здесь в начале учебного года, готовясь к её занятиям в Университете, как засиживались допоздна, и уже пора было уходить, а нам всё не хотелось расставаться. И только когда настойчиво стучались в дверь охранники, обходящие комнаты с задержавшимися гостями, я торопливо выходил в коридор, и мы коротко и нежно прощались.

Всё было почти так же, как тогда. А на покрывале, где у изголовья притаился бугорок от подушки, ровная поверхность была чуть примята, и я глядел на эту вмятину, представляя, как Женя случайно положила туда голову, ненароком оставив этот живой след для меня.

– Знаешь, я решила исповедоваться, — вдруг сказала Женя, — но я ведь никогда этого не делала и не знаю, что именно нужно говорить... А ты делал? Ты же иногда ходишь в церковь?

Её слова мгновенно обожгли меня, мне показалось странным, что она хочет в чём-то исповедоваться. Я подумал, что это связано с какими-нибудь отношениями, о которых я ничего не знаю, и от этой мысли жгучая ревность мгновенно поднялась во мне.

– А почему ты решила? Есть какие-то причины? — как-то поспешно и резко выговорил я. — Ведь если это мучает тебя, значит, это нельзя держать в себе, — продолжал уже мягче, но даже одной первой фразы, кажется, хватило Жене, чтобы понять, что для меня этот её разговор об исповеди — только повод выспросить что-то. Она отстранилась, лицо её замерло, брови сдвинулись, будто о чём-то задумалась.

– Ну, в общем, нужно прийти в церковь и рассказать священнику всё, что тебя тяготит. Сам я делал это только один раз, поэтому не могу посоветовать ничего конкретного, — всё ещё пытался исправиться я, но было уже поздно.

Женя кивнула, но по-прежнему сосредоточенно молчала. Я замолчал тоже.

Каким-то подсознательным чутьём я даже понимал, что ещё можно спросить обо всём прямо, объяснить ей, что для меня это важно, что я могу знать, в конце концов, потому что люблю её, но боялся произносить эти честные слова. Мне нужно было понять всё как-то невзначай, чтобы она ничего не заподозрила. И теперь, когда это уже не удалось, никак нельзя было подступиться к ней...

Не знаю, сколько продолжалось это наше молчание, но вдруг в дверь постучали. Женя поспешно пошла открывать. Это была подруга, они разговаривали на пороге, и, кажется, та куда-то звала. Я знал, что Женя не может просто так уйти и оставить меня здесь одного, но в то же время чувствовал, что ей хочется уйти, чтобы не находиться в тягостной обстановке недосказанности, которая установилась теперь между нами.

– Я минут на десять, — виновато и вопросительно сказала она. — Побудешь здесь, ладно?

А я даже слишком горячо ответил, что всё хорошо, конечно, побуду...

Когда она ушла, я сел в кресло, откинувшись на спинку. По-прежнему мягко горела лампа над её кроватью, оставляя короткие густые тени от тарелок, чашек, чайника на столе. Я пытался успокоиться, сжал руки в кулаки, чтобы, когда войдёт Женя, ни одним движением не показать ей, что что-то не так, но у меня не получалось. Тогда я встал, распахнул окно и долго стоял, вдыхая тяжёлый предгрозовой воздух. Где-то там внизу, под окном, был виден неестественно огромный и круглый купол того холодного собора, в который мы ходили с Женей зимой, после её первой сессии.

И вдруг мне так противно стало находиться в этой комнате, ждать её, переживать, как всё сложится, так что захотелось просто уйти, не встречаясь, и закончить это безумие. Но тогда мне надо было до конца проникнуть во все её тайны, довести свою ревность до предела, выжечь себя изнутри.

В этот момент я вдруг вспомнил, что она говорила мне, что ведёт дневник, и подумал, что он должен быть где-то здесь. Я понимал, что десять минут уже почти прошли, но всё-таки бросился к двери, закрыл её на ключ и принялся рыться в тумбочке, в книжных полках, встал на кровать, чтобы дотянуться до самой верхней, и никак не мог найти. Но уже через минуту остановился и вдруг как бы увидел себя со стороны, взмыленного, ожесточённого, посреди этой маленькой комнаты. Ну что за чушь, ради чего всё это, подумал я тотчас же, мне просто нравится распалять себя, воображать, а на самом деле я ведь уже ничего не чувствую. И мне вдруг так захотелось какого-то настоящего осязаемого чувства, бешеной любви, которая опрокинула бы меня, подчинила, такой, как у Алисы с турбазы, — захотелось живого страстного человека.

И теперь я уже не хотел бежать, наоборот, мне нужно было видеть Женю немедленно. Я чувствовал, как внутри меня забилась огромная оса и принялась зудеть изо всех сил. И тогда вся эта возвышенность, высшее предназначение, моя безумная любовь — всё показалось мне жалким. Да, решил я, стереть все эти розовые сопли, здесь, сейчас, и тогда вы все можете сколько угодно смеяться вместе с ней, кататься на коньках, веселиться, но я всё равно уже буду бесконечно ближе...

Мгновенно я успокоился, стал собранным, жестоким. Для начала нужно было подготовить обстановку: я старательно зашторил окна и вновь поставил греться остывший чайник. Я стал воображать, как всё произойдёт, стал придумывать те слова, которые скажу, чтобы усыпить её бдительность, с какой настойчивостью буду повторять их нарочито ласковым голосом. Свечи были бы кстати здесь, но свечей не было, впрочем, мягкий свет лампы вполне подходил.

Вдруг я подумал, что Женя может захотеть включить верхний свет, и тогда дотянулся до плафона под потолком и начал быстро выкручивать лампочку, а потом, поняв, что это будет слишком заметно, несколько раз резко тряхнул её, чтобы порвалась внутренняя нить, и вкрутил обратно. Сел, ещё раз оглядел комнату.

Недовольно заворчал чайник на столе — теперь всё было готово, но Женя по-прежнему не приходила. Я опять сел в большое мягкое кресло у окна и, закрыв глаза, пытался хоть на несколько минут успокоиться, чтобы набраться сил. Но ничего не получалось, скорее, наоборот, волнение моё как бы ушло вглубь, изнуряя меня непрерывной тягостной дрожью. Медленно тянулись

минуты, и я со страхом замечал, как вместе с ними, также медленно, но неизбежно исчезает весь мой пыл.

Помню ещё, что буквально за минуту до её прихода, когда я в очередной раз пробудился от своего ожидания и подскочил с кресла, я вдруг заметил, что на покрывале на кровати, старательно поправленном мною, не хватает трогательной вмятины, которая так нравилась мне полчаса назад. Я испуганно подбежал к кровати и ткнул рукой в подушку. Мой след показался мне грубым, совсем не таким, как Женин, и это окончательно лишило меня всей моей жажды.

В этот момент раздался настойчивый стук, от неожиданности я подпрыгнул и бросился к двери. Как же я мог забыть, что так и не открыл её после того, как искал дневник... Женя вошла, и в маленькой комнате так неестественно прозвучал её удивлённый голос. Я же поразился, насколько чужой она стала для меня за эти полчаса. Я торопливо сказал что-то несуразное, соврал, что мне пора, и выскочил в коридор.

– Я провожу тебя, — поспешно сказала она, выходя вслед за мной.

Вокруг было тихо, только недовольно скрипела длинная лампа под потолком, а в оконных рамах между стёкол гудел ветер. На полу замерли чьи-то мокрые следы, на подоконнике у лифта лежали два крошечных окурка. За окном шёл дождь, ударяя по тонким макушкам деревьев, а вдалеке чёрным пятном виднелся глухой каменный собор. Мы шли, а я думал, что это опять Бог, что Он нарочно хочет задеть меня сильнее, заставить исправиться или что там ещё. Но я больше ничего не чувствовал, мне было всё равно. И что ты сделаешь теперь, с горечью усмехнулся я над Ним.

– Ты торопишься? Может, постоим немного? — предложила Женя, когда мы подошли к дверям.

– Давай, — ответил я машинально.

На улице было свежо. Мы медленно двинулись вдоль здания, не выходя из-под широкого навеса. Под навесом стояли и другие пары, а неподалёку от входа сгрудилась весёлая компания. Тогда мы поднялись по одной из каменных лестниц, находившейся справа от входа, чтобы нам не мешали остальные.

– Необычно, — заметила Женя, когда мы остановились на самом верхнем пролёте, почти под самым козырьком, с которого лилась вода. Было слышно, как дождь стучит по козырьку. Я слушал этот стук, и мне показалось вдруг, что я буду слышать его теперь постоянно, что он будет преследовать меня и не прекратится никогда. Хотелось зажать уши, избавиться от этого назойливого стука...

– Я хотел ещё с тобой поговорить кое о чём, и это серьёзно, — выговорил я решительно, хотя ещё минуту назад ничего такого не хотел.

– Может, не надо сегодня? — спросила она вдруг.

Это поразило меня — она как будто чувствовала моё состояние, но я поспешно закачал головой:

– Нет, надо.

И тогда я начал говорить, и теперь уже не могу вспомнить, что это были за слова. Наверно, что-то ужасно жестокое, потому что мне очень хотелось сделать ей больно, отомстить за весь этот год, за все мои мучения и тревоги. Я говорил, не думая, и только чувствовал, как с каждым словом разрывается связь между нами. Женя смотрела в меня застывшим невидящим взглядом.

Наконец она зажмурилась и едва слышно произнесла:

– Я не понимаю...

– Нам надо перестать общаться, — выдохнул тогда я. — То есть перестать совсем и никогда больше не встречаться.

– Тебе понравилась другая девушка? — спросила она неожиданно, и я почувствовал, как всё содрогнулось у меня внутри от этого странного вопроса. Я удивился, неужели же всё это время она понимала, что я её люблю, но почему же никогда не говорила мне об этом? И что значил этот вопрос теперь...

– Нет, нет, — выговорил я мягче. — Но я знаю, что тебе нужен не я, ты столько раз говорила, что хочешь видеть рядом с собой сильного человека, который не колеблется от любой мелочи... — обида вновь захлестнула меня, а голос сорвался.

Слова внутри будто закончились, и теперь уже само моё молчание говорило сильнее и грубее, чем это делал я несколько минут назад.

Помню, нас окликнули, внизу стояли охранники, кажется, на эту лестницу нельзя было подниматься. Мы медленно пошли вниз, и так странно было, что для этих охранников мы по-прежнему парень и девушка, которых они столько раз видели здесь, у входа, за последний год, и что внешне ещё нет того страшного разлома, который мы оба уже ощущаем.

На последней ступеньке остановились, не зная, что же делать дальше. Ещё минуту я стоял и смотрел на неё, будто ожидая, что она сейчас скажет что-то ещё, но потом вдруг понял, что мне уже нельзя быть здесь и что чем дольше длится это наше молчаливое стояние, тем мучительнее переживёт его она. Я сказал, что пойду, она кивнула, и я двинулся прочь, стараясь скорее скрыться от её взгляда, но время всё равно тянулось так медленно. Поворачивая к метро, я ещё раз взглянул на неё — Женя неподвижно стояла у входа.

Но когда её фигурка уже скрылась за каменным зданием общежития, я вдруг почувствовал такую боль, будто меня исполосовали ножом по всему телу. Я никуда не мог деться от этой боли, задыхался от неё, я чувствовал, что пройдёт час, день, месяц, но боль не ослабеет.

Я ехал обратно в метро, прислонившись головой к стальной стене вагона, и чувствовал, как в такт её дрожанию бьется во мне скопившееся напряжение. Я старался не глядеть вокруг, только в окно, но на поверхности стекла отражались сидевшие напротив люди, и мне постоянно казалось, что они на меня смотрят. Помню, по полу каталась пробка от бутылки газированной воды, то проносясь в конец вагона, то возвращаясь, то, наконец, замирая и нервно подрагивая на одном месте. Так и человек, подумал я вдруг, такой же слабый, в какую сторону качнётся, туда и катится, и ни в чём нельзя быть уверенным, когда говоришь о человеке.

6.

Не знаю, как выразить словами то, что было потом. До сих пор мне казалось, что весь мой рассказ так естественно подведёт меня к этому событию, но теперь понимаю, что это не так. Естественным для меня было бы что угодно, только не то, что произошло...

Я был тогда в страшном унынии. Я не находил себе места, не мог ни о чём думать, ничего не хотел. Я вернулся в родной город, но и знакомые места не помогали мне справиться с моим состоянием. По ночам меня мучили приступы надрывного сострадания к самому себе. Кажется, я бродил по квартире, выходил на балкон, смотрел в темноту, но возможно, всё было и не так. На самом деле я почти ничего не помню — только мрак и отчаяние внутри. Я

понимал, что дело уже было не только в Жене, которую я навсегда потерял, я не мог жить дальше, и не мог понять, что же мне делать. Я пытался молиться, вставал на колени, но чувствовал только отторжение от того нарисованного Бога, который смотрел на меня с тёмной деревянной доски. Я хотел освободиться от мыслей о нём, от его беспрерывного гнёта, но не мог. Я уже так привык сличать свои мысли с его существованием, с тем, что яко бы было правильно и важно.

Я чувствовал тоску по обычной жизни, где всё идёт, как идёт, а не так, как нужно, где царит хаос, но все знают об этом. Где нет лицемерия, и никто ни во что не верит. И мне казалось, эта жизнь — вот она, здесь, нужно только стряхнуть с себя свои детские страхи и предрассудки. Но вместе с тем иногда как волной нападала на меня почти безумная мысль о том, что Бог уже никогда не оставит меня в покое, не даст мне расслабиться и будет мучить меня до конца...

В один из тех дней я пришёл к Сашиному дому, поднялся на девятый этаж и распахнул деревянную раму. Уж не знаю, зачем мне это нужно было, может быть, чтобы испытать, самому посмотреть вниз. Но, перегнувшись через подоконник, я не почувствовал ничего. Вниз, к реке, уходили неровные линии белых крыш, как игрушечные, стояли на дороге машины. Я разозлился, что было так красиво и нисколько не страшно. И даже когда я уже спускался по лестнице и ждал, что вот сейчас вот я должен ощутить хотя бы запоздалый страх, оттого как легко я на самом деле мог бы прыгнуть сейчас вниз, но и этого страха не было.

А потом на другой стороне улицы я увидел девушку, со спины показавшуюся мне похожей на Женю, и бросился вслед за ней. Меня вдруг охватила болезненная радость, а вдруг это на самом деле Женя. Мне отчего-то представлялось, что она приехала в город тайно, но идёт не ко мне, а к кому-то другому, и сейчас я прослежу за ней и уличу, наконец, во всём. Мне хотелось посмотреть, как она станет хитрить и извиваться, когда увидит меня, как станет врать, а я буду молча слушать её и не произнесу ни слова... Бог знает, какие мысли бились тогда у меня в голове!

Мы шли медленно, она впереди, я поодаль, и в этой нашей странной процессии было что-то торжественное и нелепое одновременно. Помню, на шее у девушки был повязан зелёный платок, и она изредка поправляла его рукой. А я впивался взглядом в её фигуру, боясь упустить из виду хоть на секунду.

Но когда она повернула к церкви, мне вдруг стало так противно и горько. Казалось, это всё нарочно подстроено, будто в насмешку надо мной. Девушка остановилась у ворот, а я торопливо прошёл мимо неё за ограду, чтобы не выглядеть глупо.

Церковный двор был пуст. Слева, у входа, лежали стройматериалы, деревянные брусы, кирпичи, в церкви шёл ремонт, а ближайшая стена была вымазана штукатуркой. Где-то справа, за церковью, работали строители, и даже здесь слышны были их голоса. У стены с длинными узкими оконцами стояла огромная цистерна. Бензин они здесь что ли разливают, машинально удивился я.

Я уже не мог теперь повернуть назад, мне надо было дойти до конца, чтобы раз и навсегда убедиться, что всё это только груда камней и ничего больше. Я подошёл к крыльцу, поднялся по грязным ступеням, со следами чьих-то огромных сапог, но не стал приближаться к двери, а нарочно упал на колени, прямо в грязь, будто показывая, вот как я могу, посмотри, если уж

так хочется... Но опять ничего не изменилось, я видел только лестницу, чувствовал, как стали мокрыми штаны в коленях, впитав в себя серую жижу. Тогда я встал, со злостью рванул на себя дверь, но она не открылась. И вот это, кажется, окончательно взбесило меня — мне захотелось изо всех сил ударить в неё, сокрушить всё вокруг. Я уже не понимал, как я мог клюнуть на такую детскую приманку и прийти сюда, я сбежал по лестнице и двинулся к воротам, ожесточённо делая каждый шаг, будто хотел продавить землю рядом с храмом.

Через церковный двор наискосок мимо меня шла та самая девушка в платке.

– Закрыта церковь, — сказал ей громко, чувствуя какое-то особенное удовольствие от грубости своих слов. — Иди, иди!

На секунду увидел её миловидное лицо, карие глаза, совершенно не похожие на Женины. Она замерла и неловко огляделась, будто не понимая, кто это к ней обращается.

– Как же закрыта, вон, служба идёт, — проговорила себе под нос, и тогда я заметил, что она направляется к храму с другой стороны. Там, оказывается, были ещё двери, а те, к которым подходил я, видимо, закрыли из-за ремонта.

Я вошёл внутрь следом за ней, машинально повторяя все её движения. Девушка прошла куда-то вглубь, а я остался стоять у входа, оглядываясь и сминая пальцы в руках. Было темно, передо мной сгрудились несколько маленьких старушек, похожих друг на друга, будто слепленных из одного теста, сверху пел хор, откуда-то издалека доносился голос священника, неразборчиво читающий молитву. Всё это было так знакомо, ничего необычного, та же обстановка, которую я помнил с детства. Может, только какая-то ностальгическая грусть могла бы закрасться мне в сердце, да и той не было. И странным казалось, что когда-то эта обстановка производила на меня такое сильное впечатление, что могла даже влиять на мои мысли. Теперь я всё видел отчётливо, не обманываясь и не придумывая ничего.

Но в то же время с первых же секунд, как только я вошёл, какая-то неясная тревога охватила меня, будто на самом деле что-то было не так. Я пытался прислушаться к себе, но никак не мог объяснить это странное изменение, пока вдруг так отчётливо не осознал, что в этой церкви кроме священника, хора, старушек и меня есть кто-то ещё. Я стоял, ощущая его присутствие в окружающей меня темноте, и с каждым мгновением всё яснее мне становилось, что это Он. А когда я понял это до конца, неожиданный животный страх прошиб меня насквозь, так что я не мог вынести ни секунды и бросился прочь.

Помню, в ужасе стоял на крыльце и пытался отдышаться. Вокруг был тот же мир, я слышал шум проезжающего трамвая, слышал, как где-то шелестят ветви на деревьях, голоса рабочих, доносившихся из-за церкви — мир жил своей обычной жизнью, призрак рассеялся, но я-то знал, что там, внутри, Он по-прежнему есть. Тогда я почувствовал, как мне хочется опять ощутить его присутствие, как мне больно и невозможно стоять сейчас здесь, на крыльце, и как тянет меня обратно...

Я глубоко вдохнул и медленно, боязливо опять вошёл внутрь.

Тихо, тихо дрожал воздух в маленькой церковной зале. Всё было натянуто, напряжено. Я стоял в самом центре перед большой белой колонной и смотрел, как от движения чьих-то рук тонкие тени скользят по ней. Я не понимал точно, где именно находится Он, то ли сзади, то ли сбоку, но чув-

ствовал на себе Его взгляд. Я хотел было перекреститься для Него, встать на колени и поклониться, но так страшно и удивительно было Его присутствие, что я боялся пошевелиться.

А потом я закрыл глаза, и сразу как-то по-иному стало вокруг, будто я больше увидел, будто сама церковь вдруг расширилась. Где-то в глубине рождались гулкие басовые звуки, а потом возносились вверх, а там уже всё звенело, натягиваясь, наполняя пространство пронзительным напряжением. Это была уже не обычная служба, я понял, что все эти люди вокруг — и священник, и хор, и старушки — тоже видят и чувствуют Его, что ради Него они сейчас говорят и поют, не позволяя себе ни ошибиться, ни задержаться ни на секунду, чтобы не повредить ни единому такту этой удивительной службы.

Вдруг я услышал, как одна из старушек попыталась подхватить мелодию вместе с хором, но стала сбиваться, отставать, задыхаться, и тогда защемило сердце от жалости к ней. Ещё несколько раз она пыталась вступить, срывалась, но потом её надрывный голосок всё-таки влился в общий нарастающий хор и остановился в одной точке. Я стоял в щемящем состоянии, дышал спокойно, полной грудью, а тем временем что-то внутри меня постепенно расслаблялось, успокаивалось.

Потом в церкви гасили свет — женщина в белом платке ходила от подсвечника к подсвечнику, и становилось всё темнее и темнее, а вскоре всё погрузилось в мирный полумрак. От одной из затушенных свечей поднималась вверх белая полоска, похожая на шарф, развевающийся на ветру, и долго ещё тянулась, а потом вдруг оторвалась и мгновенно растворилась в густом воздухе.

А когда свет опять включили, такая радость вдруг пролилась в меня. Я чувствовал, что больше нет ни боли, не метаний, что эта радость подхватывает, приподнимает, мне хотелось тоже запеть вместе со всеми, чтобы и мой голос навсегда остался здесь, в памяти этих стен, этих икон, в Его памяти. Я ещё немного постоял, а потом медленно двинулся к выходу. Не знаю почему, но я точно знал, что Бог не только останется в церкви, но и пойдёт со мной...

Пока я был внутри, на улице прошёл дождь. По мощёной дороге текли тоненькие струйки, так что на каждом шагу я слышал, как едва хлюпают мои ботинки. Я двигался осторожно, ощущая, как воздух вокруг наполняется мягким послегрозовым теплом. В тишине коротко чиркнула птица, потом ещё раз, бережно, будто боясь нарушить это всемирное оцепенение. Медленно нарастал шум проезжающей мимо машины, вздрогнул рядом, и долго ещё угасал где-то позади. Я и сам чувствовал какую-то особенную бережность ко всему вокруг. Мне нравилось присматриваться к неожиданным мелочам: к смятому листу бумаги в траве, к осколкам бутылки. И даже в этом мусоре не было ничего плохого — всё было на своём месте в этом огромном мире, всё было освещено и омыто.

Впереди, между высотными домами, виднелся край зыбкого серого купола, слегка окрашенный алым — там умирал длинный летний день. А когда я прошёл ещё немного, огибая дома, то передо мной наконец раскинулась широкая поляна, а за ней краешек леса. На опушке в ряд стояли двухэтажные коттеджи, справа едва виднелась тоненькая струйка автодороги, а над всем этим разливался горячий закат. Огромное небо было расколото надвое, и сквозь трещину в испуганно сбившихся к краям облаках бил яркий свет. Я стоял неподвижно, ощущая, как наполняют меня пронзительный восторг. А когда небо догорело, и только на крышах коттеджей ещё можно было раз-

личить неясные алые полосы, внутри у меня будто что-то переломилось. Господи, подумал я, что же я наделал... Как же я мог так обидеть её, ни в чём не виноватую, как мог причинить ей боль... И за что же это ей, маленькой девочке, было стать жертвой моих метаний... А потом сел на холодную землю и слушал, как тихо стало в мире и как благоговейно шелестит трава, боясь расплескать сбережённые силы до начала нового дня, и было мне и горько, и благодарно за эту свою горечь.

7.

Что же ещё рассказать мне... Всё, что произошло потом, будто бы вылилось из тех минут моей жизни. Закончились мои отчаянные неофитские восторги и страдания, и началось что-то более глубокое и важное, что я не вычерпал до сих пор...

Я мог бы рассказать, как проснулся на следующее утро от смутного волнения, что сейчас очнусь ото сна и потеряю всё, что было вчера. Не открывая глаз, я прислушался и понял, что в сердце у меня тот же мир и та же тишина. Дома никого не было, мама и бабушка уже ушли в сад, как обычно. Но и мне было жалко находится сейчас в квартире, хотелось бежать на улицу, взглянуть на тот мир, который окружал меня, но который я будто ещё никогда не видел. Я вышел из подъезда, и стоял взволнованный, и всё вокруг было пропитано для меня светом и радостью. Я смотрел вокруг и думал, вот мои родные места, здесь прошло моё детство, здесь произошло обновление моей жизни, и как же я рад им...

Я мог бы рассказать, как жил следующие два летних месяца и как по ночам мне всё снился неясный образ, будто бы девушка стоит в ярком солнечном блике, улыбаясь испуганно и немного грустно, и я не знал, то ли это маленькая Саша, то ли покинутая Женя. Я просыпался от пронзительного тревожного чувства, подходил к окну и смотрел на сонный город. Мне казалось, что в этом ясном утреннем мире так много искренних молодых людей, открывающих мир, других, Бога, разлитого в прозрачном воздухе, но в то же время такую невероятную боль причиняющих себе и друг другу. Мне хотелось сказать им что-то простое, но невероятно сильное, чтобы они разом поняли всё, но я не мог найти слов и знал, что они меня не услышат. И тогда меня пронзала вдруг неясная тоска по своему детству, по ярким переживаниям, по той мудрости, которой у меня не было тогда, и возможно нет и сейчас...

Я мог бы ещё рассказать, как за несколько дней до моего возвращения в Москву, гуляя по городу, вдруг встретил длинную похоронную процессию, выходившую из двора на улицу. Было много людей, шедших в монотонной тишине, и я невольно пристроился в конец. Я шёл рядом с ними, ощущая, как больно было этим людям. Я молился за этого человека, за других и чувствовал какое-то странное умиротворение вечности. В этот момент я точно знал, что я только форма, только сосуд, в который по капле собирают влагу, но потом, когда жидкость загустеет, станет твёрдой, сосуд разобьют, и никто не будет жалеть его. Я шёл рядом с этими людьми, вглядывался в гроб, поднятый над головами, и чувствовал, что когда-то вот так же разобьют и меня...

Ясно помню и ещё один день того лета. В конце августа мы с соседями устраивали пикник неподалёку от общежития за железнодорожными путями. Святослав Александрович и я рубили дрова на краю берёзовой рощи, и

оба чувствовали какое-то радостное удовольствие от того, как разламывается сухое дерево. И хотя дров уже было достаточно, продолжали складывать новые и новые полена в груду под ногами. Изредка ещё мы останавливались и, смахивая пот, глядели друг на друга и посмеивались своей усталости.

Вскоре должна была приехать Женя, а Сеня уже пошёл встречать её с электрички. С того дня, как я оставил Женю на пороге её общежития, мы ни разу не позвонили и не написали друг другу, и теперь я боялся нашей новой встречи. Я понимал, что всё уже потеряно для меня и даже не думал о своей любви к ней и наших отношениях, но всё равно было тревожно, как всё пройдёт сегодня.

И вот на тропинке вдалеке показались две маленькие фигурки. Я напряжённо наблюдал, как они приближаются, и наконец, не в силах побороть неожиданный стыд, торопливо зашагал вглубь леса. Скажу, что не видел, как они подходили, лихорадочно думал я, пробираясь сквозь деревья и кусты, стремясь зайти как можно дальше. Выбрался из зарослей на железнодорожные пути, поднялся по насыпи и сел на крупные белые камни, покрытые коричневой копотью, неподалёку от рельсов.

На душе было беспокойно, и таким странным это казалось после двух месяцев умиротворенного состояния. Мне отчаянно не хотелось возвращаться к костру, и, наверно, я непременно ушёл бы, если бы не понимал, что меня хватятся.

Показался вдалеке приближающийся состав. Я поднялся и стоял, пережидая пока он с грохотом пронесётся мимо, обдувая моё лицо кислым и густым потоком. А когда он промчался, я осторожно сделал шаг на рельсы и долго глядел ему вслед. Я подумал, что вся моя жизнь шла к одному только мгновению в церкви, случившемуся два месяца назад, но вот это мгновение осталось в прошлом, и теперь я стою и провожаю его взглядом, как ушедший поезд. Я больше не ощущал Бога рядом, не чувствовал ни недавней свежести, ни лёгкости, один лишь кислый запах мазута. Во мне осталась только память о случившемся, но может, ради этой памяти теперь и стоило жить...

Я поднялся и медленно стал продираться назад, не зная, как же мне вести себя сейчас, что говорить. И тогда мне представилось вдруг, что я ещё совсем не знаю девушку, которая ждёт меня на поляне, что сейчас произойдёт наша первая встреча, будто бы не было до этого ни моего затравленного чувства к ней, ни всех переживаний последнего года.

Наконец послышались неясные звуки и чьи-то голоса. Вроде бы это Сеня кричал что-то про дрова, а Святослав Александрович раскатисто смеялся. В лицо ударила случайная непослушная ветка, и пришлось на секунду остановиться. Я отдышался, машинально хватая пальцами окружающие меня стебли. Потом сделал ещё несколько шагов, и в этот момент мне показалось, что я услышал жалобный и вопросительный голос Жени.

И в этот момент сердце моё дрогнуло...

Женя ДЕКИНА

ГДЕ-ТО МЕЖДУ ДВОЙКОЙ И ЕДИНИЦЕЙ

Цикл рассказов

СЫН ВАНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА

Где-то капало. Он лежал с открытыми глазами и слушал. А завтра — все. Ни потолка, ни капель, ни койки, ничего не будет. И это «ничего» представлялось до такой степени чудовищным, что лучше бы параша, вонючие носки и брезгливые усмешки.

И вспомнить-то, как назло, особо нечего. Не жизнь — а так, нелепость какая-то. Первые теплые лучи весеннего солнца на изрисованной школьной парте; собственное восторженное лицо и пот за ушами — кросс в третьем классе пробежал лучше всех; мама, ласково целующая в лоб; смешная лохматая собака, плывущая навстречу. Любка еще. И не то, чтобы любил ее очень, по-хорошему и понять-то не успел. Но когда обнимал в темноте под вишнями, заедая поцелуи переспелой ягодой, по телу прокатывалась колючая волна, от которой немели ступни. А потом, в тот первый быстрый раз у маленького, зацветшего изумрудной зеленью пруда, после всего уже, долго

Женя ДЕКИНА родилась в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила филологический факультет Томского государственного университета. Работала журналистом, уборщицей, продавцом, барменом, учителем. В Москве с красным дипломом окончила Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «Кинодраматургия», открыла детскую театральную студию «МАГ», работает сценаристом. Печаталась в журнале «Октябрь», на сайте «Российский писатель». Автор книги «Плен» в издательстве «ЭКСМО».

разглядывал листья ряски, которые даже на воде умеют пускать корни. А она лежала рядом, теплая и теперь уже знакомая, обнимала мягкой рукой, и тоже молчала. Деловито ползали муравьи, солидный жук пролетел мимо, и все вокруг казалось потускневшим и необычайно мирным.

Из тюремного вообще лучше не надо. Впрочем, уже после, когда с ним больше никто не говорил. Год на второй. Или на третий. Новенький — лысый мелкий монгол с животом, похожим на примятое тесто — девять ножевых. Монгол прищурил и без того узкие глазки свои, кивнул на висящий на Ванькиной груди крестик:

– Глупая сказка...

– Почему? — спросил Ванька сипло. И удивился собственному голосу, давно забытому за ненадобностью.

– Когда совсем мертвый, любой воскреснуть может, ты живой воскресни. Тогда и я твой понтрет набью... На живот, — добавил монгол и как-то недобро засмеялся.

Больше он с ним не говорил. С ним вообще никто никогда не говорил. Наверное, именно от этого хотелось в петлю. И удивился вдруг такому простому и легкому решению. Решению, которое избавит его от чудовищного завтрашнего «ничего». И не понял, почему раньше не пришло, почему не сделал это тогда, первой же ночью, после того, что все эти старые совершили над ним, или почему не сделал после татуировки, обозначавшей, что он и не человек больше, а так, «ничего».

Надо было сразу, в тот же день как сел. Не дожидаясь вечера даже. Не подумал тогда. А потом поздно было. Когда уже навис над ним тот, огромный и страшный, а по сторонам от него двое помельче с оскалами вместо улыбок, понял, что сейчас начнется. Все, чего боялся, все, о чем слышал многократно — об изнасилованиях, пытках, о том, как лицом о бетонный пол и голову как орех. И сдаваться нельзя, терпеть нужно, до последнего терпеть и не даться живым. Иначе такое потом ждет, что и жить незачем. А так хоть какой-то шанс. И осознал, сколько ему еще перетерпеть, и не избежать никак, расплакался вдруг, по-детски, поскуливая и всхлипывая. И этот, огромный и страшный, скривился так, будто и не человек перед ним, с которым и повоевать интересно, а так, мяса кусок. Живой еще, но зря живой. И ссать на него не стал, и насиловать тоже, плюнул куда-то мимо и отошел. А Ванька рыдал и думал о том, что лучше бы били как человека, а не так вот — будто и нет его.

Почему потом, каждый день стирая им портки и убирая парашу, терпел. Зачем терпел? Как все, прождал пять лет вожделенной воли, мечтал о ней, томился, хотел выйти. Дурак. Куда выйти-то? К мамке? Мамка давно умерла, и бог знает, где ее похоронили. К Любке? Она наверняка давно замужем, родила тройню и терпит побои какого-нибудь горького пьяницы.

А теперь, когда до свободы рукой подать, и завтра, совсем уже через несколько часов, он получит назад свои шнурки, платок, мамкой еще сунутый зачем-то в нагрудный карман, ремень и паспорт с отметиной, стало ясно, что там, на воле иначе не будет. И нет способа избежать. Можно, конечно, и за тысячи километров, и за границу, стравить татуировку, сменить внешность, так, чтобы никто и не догадался, но внутри он навсегда останется этим вот обломком человека, даже и не человека, а животного, затравленного, измученного, без чести и голоса.

Но и тогда не удавился, сам не понял почему. Из любопытства скорее, а совсем не из жажды жить или из трусости. Хотелось посмотреть, как там, на

воле. И когда шел по деревне, среди покосившихся до неузнаваемости заборов и заросших огородов, мечтал, что выбегут все сейчас ему навстречу, станут дразниться и кричать, что вот, мол, идет Ванька Пантелеев, который Семена лопатой порубил, за то, что он Любку его изнасиловал. И если станут кричать и дразниться, или камнями даже кидать, то это будет хорошо. Значит, живой. Значит, есть такой человек — Ванька Пантелеев. Но никто не вышел. А оттого казалось, что они уже узнали. А ведь могли узнать, потому что много кто уже отсидел и вернулся.

А вечером, когда он лежал плашмя в промерзшем доме на мамкиной кровати, лежал и пытался вспомнить, как мама ходила и улыбалась, голос ее, пришла Любка. Другая совсем. Как и ожидал — толстая, испитая, и с ребенком. Села на табуретку у порога и заплакала. И ясно было, что она не по нему плачет, а по тому, как могла целоваться под вишнями, лежать у пруда и обнимать мягкой рукой.

А потом вдруг бросилась, расцеловала, прижала, и стало также хорошо и спокойно, как летом под вишнями. А потом сказала, что это не просто сын. Это его сын — Иван Иванович. Может, и врала. Мало ли с кем нагулять могла за столько лет. А теперь вот одна осталась, и решила... Или вообще, от Семена — насильника. Но Ванька так ясно понял вдруг, что не надо ему этого знать, что тоже заплакал. От одной мысли, что этот вот, тоненький, большеглазый, и вправду похожий на него пацан — сын, все внутри наполнялось горьким, тягучим и теплым. Наполнялось и склеивалось. И Любку целовал бесконечно, и пацана. Из благодарности больше, чем из любви. Значит, есть теперь такой человек — Ванька Пантелеев. И он не пустота, он отец. И это казалось таким непостижимо огромным чудом, что кричать хотелось. Но он вместо этого суетливо растопил печку и побежал в магазин за конфетами. Бежал и думал, что если сейчас кто-то посмеет усомниться — убьет на месте. За сына всех убьет, даже господа бога. Но никто не посмел. Или сомнений не было.

И вот он стоял на перроне одной из мелких железнодорожных станций. Курил и думал о том, как доехать до брата. В столицу. К брату, не приехавшему даже на похороны матери. К брату, который, и его можно понять, совсем не рад зэку, да еще и семейному. Нет, денег на билеты, прислал, конечно. Но кто ж знал, что встретится им на пути детский магазин. А это ж не кто-нибудь, это сын.

И теперь смотрел на свое отражение в стекле вокзального окна и улыбался виновато. Небритый, тусклый какой-то мужичонка, в засаленной фуфайке не по размеру, в драных сандалиях, надетых на толстый шерстяной носок. Но это ничего. Потому что там, внутри, в зале ожидания, сидя спала, вздрагивая от неспокойных снов, толстая испитая женщина в грязном драповом пальто. А на полу мальчик в беленьких кроссовках и новеньком джинсовом костюмчике катал по полу огромный игрушечный самосвал. И чистенький, упитанный мальчик этот, с ярким китайским самосвалом, казалось, был из совсем иной жизни, жизни, в которой не бывает тюрем, лопат и намыленных шнурков.

А здесь, на перроне, было свежо и немного страшно. Накрапывал мелкий дождик, рельсы впереди тонули в туманной темноте. Но страх этот и неизведанная темнота, все было каким-то уютным и необычайно мирным, не похожим на то страшное ничто.

Так, обычное будущее обычного человека.

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Говорили про Лешку всякое. Кто-то считал, что сумасшествие его — это только прикрытие, на самом деле ни за каким золотым корнем он в горы не ходит, а попросту носит через кряж товар для Фархата — первоклассный монгольский план. Другие уверяли, что Лешка и впрямь мог спятить: наследственность у него плохая. Рассказывали, что отец его — тот самый советский скульптор, автор знаменитого на весь Алтай иконостаса.

В пятидесятых попал скульптор в эти края, пообщался с местными, пожил среди шаманов и понял — нет, не будет здесь развитого социализма. Здесь, взяв от щуки землю, шагает по миру Большой Хозяин и творит ровную степь. А брат его, злобный Эрлик, горбатит ее горами и прогибает ущельями. Здесь не туман над озером стелется, а курится над ним трубка мудрости великого Сартакпая, и, если войти в дым ее, — прозреешь. Здесь больше всего боятся прихода синего козла с желтыми рогами. В прошлый приход свой семь дней скакал он вокруг земли и неистово блеял. Семь дней было землетрясение, горели горы, шел с бурею град. А после этого ударили морозы.

И ничем все это из местного человека не вытравить. Церковь здесь была, да разрушилась: не ходил никто. Потом чего только власть советская здесь ни делала, даже голову Сартакпая, что над озером возвышается, взорвать пытались, так жители местные его в Карла Маркса переименовали. И ходят, улыбаются хитро. А не будешь же ты Карла Маркса динамитом.

Тогда и задумал скульптор свое большое дело — выбрал самую высокую скалу, чтобы все видели, и решил выбить на ней профиль Ленина. Веревку купил, каретку специальную из досок сколотил, висит на отвесной скале и по камню режет. А гора ничего — терпит.

А как скульптор обедать пойдет, местные жители каретку срежут, ухнется она в ущелье — и в щепки. Потом и вовсе дерево единственное, за которое каретку цеплял, спилили. Ничего, и к этому приспособился, в скалу крепление ввинтит, веревку привяжет и спит прямо в каретке, и обедает. За несколько лет закончил. Думал, переменится все, если Ленин вместо Сартакпая на них с высоты птичьего полета взирать будет. А они скалу эту иконостасом обозвали и ходят, улыбаются хитро. Скульптор, говорят, от этого с ума сошел, с иконостаса своего вниз и бросился. А Лешка вроде как его сын, потому тоже неудивительно.

Хромой Костян так и вообще завистью все объяснял. Мол, всю жизнь тяготился Лешка своей обыкновенностью. Росли вместе, в одну школу ходили, в тех же девчонок влюблялись, а потом бах, и всё. Виктор — первый в области электротехник, Костян — лучший проходчик шахты пять-шесть, хоть и бывший, а все равно, Саныч детишек учит во Дворце творчества, Рустам конокрадом стал, от милиции прячется. У всех судьба, у всех характер. А Лешка как был Лешкой, так и остался. Думали, это потому, что семьи у него нет; все переженились уже, холодильники покупают, машины стиральные, а он один да один. Женился в итоге на Варьке, поварихе из туберкулезного. Тоже холодильник купили, а машину стиральную родители еще к свадьбе подарили. Потом забеременеть не могли. Гонял ее по врачам, думал, это из-за ее туберкулезки. Побил даже как-то: Колосов Виктору сболтнул, что бабы тоже предохраняться могут, таблетками специальными, — таблетки у нее увидел и даже название не прочитал. Оказалось, витамины. Долго мирились потом.

Пришлось Лешке к Колосову идти. Выяснилось, что это он бесплодный. Думали, Варя сразу уйдет, а она ничего. Из детдома девчонку взяли. Маринку. Поначалу хорошая девчонка была, шустрая. Подросла, а тут — на тебе. Ни шнурки завязать, ни буквы запомнить, ни цифры сложить. Бились-бились с ней — все зря. Слабоумие, оказывается. В детдоме возиться не хотели — им подсунули. А куда ее теперь? Назад не сдашь, привыкли.

Как выросла — всё, туши свет. Ох и попила она им крови! Таскается с кем попало, доверчивая, люди Лешку стыдят. Уж и ругал ее, и бил, и дома запирал — и все равно. Как кошка — только за дверь, сразу и загуляла. Варя не выдержала, повесилась. В бане. А Лешке чего делать? Дальше живет. С работы поперли, из-за Виктора, между прочим, друг называется, благо за дочку пособие солидное.

Ну Костян и пожалел его, насел на Ушура: ты же вроде как шаман, помоги Лехе-то! Мается человек, куда ему жить — не знает. Ушур уперся. Душа, говорит, у него собачья, а хуже собачьей души ничего нет. И не надо ее будить, хуже сделаешь. Пришлось сговориться и Ушура в карты обыграть, только тогда согласился. Ну и все. Отвел Ушур Лешку в горы. За золотым корнем.

Выйдя утром из электрички, Лешка обомлел. Лохматые, заросшие непроходимым лесом горы — сплошной стеной, темная гладь воды, и птица какая-то неведомая кричит тревожно. И травы кругом, и гвоздика махровая грустные цветы свои к земле клонит, володушка сонная в такт ветру качается, зверобой к солнцу тянется, иван-чай строго так по сторонам взирает, ольха шумит, а среди этого всего он, Лешка, по тропинке еле заметной шагает. Будто в сказке. Потом летели они, подпрыгивая, на моторке с одноруким лесником, которому будто бы волки руку отгрызли, пока спал.

И свобода такая, что дух захватывает, и ветер в лицо ледяной, а вокруг неподвижная гладь озера, больше на жидкое бутылочное стекло похожая, чем на воду. И рыбой питались, которую сами же из речки выловили, и грибов в котелке наварили, и ягоды кругом — только успевай кланяться. И в горы карабкались по камням отвесным столько дней, что Лешка со счета сбился; не до дней тут — валун вроде, а как ступишь, каменное крошево из-под ног сыплется, за травинку схватишься, а она сама еле-еле за камень корешком цеплялась, а еще тебя держать. К самому небу вскарабкались. Стоишь по пояс в облаках, ног своих не видишь, а перед тобой молния вдруг — так, что рукой потрогать можно, — будто в изнанку неба залез.

Пришли наконец. Внизу чаша каменная, в ней долина альпийская с крохотным болотцем посередке, не больше Лешкиного огорода, а по берегу — золотой корень растет. Даже если самую малость его съешь, сразу у тебя душа просыпается и все ты про себя понимаешь. И не только про себя — и с Маринкой чего делать теперь, и Варю как самому себе простить, и куда жить, и зачем. Да и вообще. Бросился Лешка вниз и тут же назад выскочил, будто отбросило его силой неведомой. Гнус в долине — тьма-тьмущая мошкары мелкой, ест тебя поедом, под куртку, в штаны, в волосы, в рот, в нос, под веки даже забивается, — никак не пройти, будто рой пчел мелких облепил и жрет.

Лег Ушур в лужу, вывалялся с ног до головы, ни одного чистого места не оставил. Со стороны будто и не человек идет, а грязи кусок. И Лешка за ним. Мошкара к грязи прилипает, копошится на тебе, как черви на трупе, а подсохла грязь — броней схватилась, не пробить.

Хотел Лешка сразу много корня золотого набрать — вдруг еще кому понадобится, но Ушур запретил, говорит, за один раз только один корешок можно. И только себе.

До дома Лешка не дотерпел, как из долины вылез, так сразу корень в рот и сунул. А вкус у корня золотого такой, будто всю воду он изо рта вытягивает — аж до крови вяжет.

Собрался уже Лешка плюнуть, но почувствовал вдруг, как по телу такая сила богатырская разливается, что возьмет он сейчас самый большой валун, да хоть вот этот, выдернет из земли, швырнет со скалы вниз, а потом сам же быстрее валуна к подножию домчится. Будто зверь он дикий, и марала за много километров чует, и медведя. И птиц пение понимает: нет в нем ничего замысловатого, и, о чем травы с ветром шепчутся, ему ясно. И про себя понял, что хороший он. И все, что в мире есть, — оно тоже хорошее, и звери страшные, и орлы, и гнус, и люди даже. Все хорошо, и все как надо устроено.

Вернулся в городишко свой, поработал недельку, и будто рассеялось все. И ветер тот забываться стал, и каменное крошево под ногами, и гладь воды, и хорошесть вся из него вышла. И Маринка опять под каждого встречного подстилается, и Варя снится. Стал Ушура просить назад его отвести. Ушур - уперся, головой качает — говорил же, хуже собачьей души ничего нет, не волк это, который и один может, и не кот, который везде пристроится. Так что терпи теперь, будь человеком, сколько сможешь.

Маялся Лешка, маялся, ночами спать не мог, все во дворе сидел, на небо смотрел, а оно другое тут — низкое, серое какое-то. И звезды ни одной. Ветерок тепленький — баней тянет, картошка в земле сидит как барин, молчит, упитанными листиками своими не шевелит — ленится. И так тошно Лешке стало, хоть вой. Выходит, так и просидишь всю жизнь в картошке за баней, а хочется на один разочек, хоть на самую маленькую секундочку обратно.

Отпуск взял и сам ушел. Долго плутал, с пути сбивался, рюкзак плечи тянет, камни из-под ног в ущелье сыплются, и подстраховать некому. Через неделю только вернулся. Счастливый.

Побыл чуток и снова ушел. А потом снова. И еще. И даже рюкзака уже не брал. Мешок целлофановый за пазуху сунет — и побежал. С поезда на моторку перескочит — и вверх. Как зверь в горы карабкается, ни шума травы не слышит, ни пения птиц, несется, как одержимый. А как стемнеет, в мешок целлофановый запакуется, поспит пару часов — и снова наверх. А обратно еще быстрее. Золотой корень же — сила богатырская.

Потом и вовсе в город возвращаться перестал. По замерзшему озеру пешком долго. Прижился у лесника в зимнике, куда тот раньше собаку запирал. Собака померла, а зимник теплый, войлоком изнутри обит. Живет себе, и пускай живет — есть не просит. Каждый день в долину бегает. Отощал, высох, от грязи постоянной уже на человека не похож. Но ничего, до сих пор - живой. В прошлом году у перевала видели.

МАРИШЕНЬКА

У-у-у шары залил дурак пьяный — ну и что что не пьяный — все равно дурак — тушь в печке сжег длинняющую — чарующий гляд вы этого достойны — ругается еще — сам главно денег подарил день рождение же — купи доченька чего захочешь а сам сжег теперь — орет шары вылупит шаролуп.

Больно. Царапки везде... больно-больно-больно — у медведя боли у волка боли у папки боли а у маришеньки не боли — маришенька... и боря боренька котя любименький мой... заберет маришеньку и тушь купит сказал —

и в школу не пойду тогда — все равно колготки порватые — в порватых нельзя — не пойду.

Сама пусть свой равнобебренный треугольник учит — все равно колготки жалко — сказала же — куст бьется за гаражами мокрицы страшные — противно же — а он загнул и за шею сзади — маришенька потерпи — маришеньке больно — маришенька добрая — терпит — ма-ри-шень-ка.

А помидор маара-шмара вся школа тебя — матерится нельзя — маришенька хорошая — маришенька не матерится — а тупой помидор матерится и врет папке — совсем не вся школа — так, маленько.

Дурак пьяный поверил — шары залил — тушь сжег. физик красивый — еще галстук полосатый блестит — очки снимет — другой совсем — фокус — и переобувается всегда — хороший — а маришенька без сменки — на сменку туфли потеряла — не потеряла — нинка украла и покрасила — носит теперь красные — такие же говорит — не такие же — мои — забрала — за волосы ее дуру — директор ругается — отобрал.

А физик не ругается никогда — пальцы на ногах белые-белые — ногти такие ровные — у папки грязные и волнятся — и у борьки — боренькааа — а у физика как у ребеночка — можно палец потрогаю — а он красный стал — жарко наверно стало в пособке — дверь — бах и не здоровается — жалко что ли палец для маришеньки — время много — мамкина тушь где — все в восторге от тебя — без туши нельзя — нету — тут нету — в шкафу нету тоже папка сжег наверно — без туши нельзя — помада — о

Смотри валерка ага — не для тебя росла — ага — валерка красивый тоже — борьку позови — с нинкой?

???

На речке — на речке — на речке — боренька мой! — с нинкой! — ах ты дрянь — воровка поганая — мой боренька — отдай — руки от него убрала — свои загребущие ручонки — и туфли отдай — нет — нет — нет

Аааааааа — аааааа

Боренька за что — маришенька терпела — добрая — а ты — аааааа

.....

Папка борька меня за гаражами прямо — ты шары не залил? — а чего мокрые тогда? — я не хотела — а он терпи — и теперь с нинкой там — папка — папка не плачь — аааааа — папка любименький мой, не плачь — маришеньку обними — только не дерись — маришенька хорошая

ЦАРЬ

Что-то томило его с самого утра, что-то смутное и болезненное. И как справляться с этим томлением, Фархат не знал. Раньше можно было выговориться Моте, но Мотя умер в прошлом году, а говорить с кем-то другим опасно. Дай слабину — сразу труп. Накинутся как шакалы.

Врагов Фархат нажил много. Но и друзей тоже. Когда в гараж ему гранату кинули, старичок какой-то незнакомый мимо шел, на лету перехватил и в сторону отбросил. Гранату! Руку ему оторвало.

Фархата с Коляном тоже зацепило слегонца — ходили контуженные, в уши друг другу орали. Старичка Фархат озолотил, конечно. Ветеран оказался, всю войну прошел — реакция. Богатыри — не мы. Руку не спасли, но протез ему Фархат аж из Москвы выписал. Пасека у него, оказывается, медом на рынке торгует. Хороший мед, запах такой — будто ветра лесного по-

пробовал. До Фархата, говорит, жизни ему не было, а как Фархат пришел, запретил малый бизнес стричь, так ветеран себе на машину заработал, дочке квартиру купил. Мать-одиночка она у него, в котельной работает.

А на рынок зайдешь — со всех сторон благодарят тебя, подарки суют — кто варенья, кто огурцов соленых, кто рыбку какую покрупнее; орехами кедровыми, вон — весь бардачок забит: Колян сильно любит.

Много добра людям Фархат сделал. Дурь школьникам, например, пихать запретил. Так и сказал — узнаю, на отвал в мешке полиэтиленовом уедешь. Пацаны злятся, конечно, но перечить не решаются. Даже Колхоз на сходке за него голосовал, а ему это нелегко далось: двадцать лет город держал, еще с прошлой амнистии, а тут пацан какой-то вылез ниоткуда. Ничего, Колхозу обижаться не на что, он теперь общак держит, так что с гранатой — это не он, явно.

Мелочь это уличная. Наверняка. Очень уж они комендантским часом недовольны были. Запретил Фархат до десяти вечера на улицах народ прессовать. А кто после десяти шастает, тот сам виноват — или пьяный, или залетный, — их можно. Этим и возмущались. Мол, залетных у нас днем с огнем не сыщешь, а с пьяного взять нечего — он к десяти уже пропил все.

Спокойнее в городке стало, да и помирают теперь меньше — спирт технический Фархат тоже запретил. Хочешь бухлом торговать — гони самогон, нечего народ травить.

И законы его чтутся, и уважают его все, и боятся. А все равно — смотришь по сторонам, и тошно так, что хоть сядь да реви. С чего оно так? Колян говорит, оттого, что Фархат особенный.

Но это Фархат еще с детства знал, в первой же драке понял. Противник ему попался выше и крепче, но у того мамка была дома, варила ему манную кашу на завтрак, гладила рубашку и водила в парикмахерскую. А у Фархата-мамка села за растрату в позапрошлом году. А потому Фархат до колючего кома в горле ненавидел всех этих мальчичков. И противник еще до первого удара прочитал в глазах его такую жгучую, совсем не детскую ненависть, что как-то опешил. Секундной растерянности ему хватило, чтобы уже заранее проиграть. И Фархату того мгновения тоже хватило, чтобы понять, что он особенный. Он злой. Пусть мелкий, пусть страшный, как черт, пусть даже тупой, но зато злой. А это очень дорого стоит.

Злым он тоже стал не сразу, хотя отчим его, Ушур, про которого поговаривали, что он самый настоящий шаман, утверждал, будто душа у Фархата с рождения медвежья. Как это, Фархат толком не знал. Младший брат был уверен, что это из-за любви Фархата к сладкому, мама — что из-за смуглой кожи и невысокого роста — Фархат был сыном лютого татарина-конокрада. А дядя Леша считал, что Ушур имеет в виду медвежью мстительность. Знавал он одного охотника, царствие небесное, случайно застрелившего медвежонка. Так медведица пришла за ним прямо в город, разыскала по запаху и задрала, когда он меньше всего этого ждал. Фархат пробовал спросить и у самого Ушура, но тот только разводил руками. Мол, так вот оно повелось, а почему — никто не знает. Скорее всего, это была просто очередная пьяная выдумка. Ушур часто пил какие-то вонючие настойки на неведомых корнях, а потом лежал на перекопанной земле лицом вниз и бредил про Мать Хищную птицу.

Ушур всегда относился к Фархату с уважением, считался с ним и советовался, хотя своему родному сыну мог отвесить подзатыльник за самую невинную шалость. Да и вообще, в конце-то концов, что мешало Ушуру сдать-

Фархата в детский дом, когда мать его посадили? Он же не сын ему, а так, прихлебатель. Хотя с братом и Ушуром Фархат прожил недолго.

Как-то летом, воруя яблочки у Левушкиной бабки, Фархат почуял что-то странное, поднял голову и обомлел.

По улице шел человек. Этого человека Фархат точно не видел раньше, лица он запоминал сразу и навсегда, но в этом коренастом невысоком мужчине было что-то до боли знакомое. Смуглый до черноты, крепко сбитый кривоногий татарин, густые сдвинутые брови и злой до свирепости взгляд.

И раньше, чем он успел до конца осознать, кто перед ним, Фархат рванул огородами к дому, сметая хлипкие заборы, ломая кусты и сшибая в панике разбегавшихся от него кур.

Ворвавшись в дом, запыхавшийся Фархат прохрипел удивленному Ушуру:

– Беги, хозяин идет.

Потом схватил младшего брата и прыгнул вместе с ним в подпол, захлопнув за собой крышку люка. Перепуганный брат молчал, но Фархат для надежности все равно зажал ему рот рукой.

Только там, сидя на земляном полу, среди прелой свеклы, в полной темноте, прижимая к себе маленького брата, Фархат впервые задумался, почему отреагировал на появление отца именно так. И не смог себе объяснить. Почему-то знал, что несдобровать ни Ушуру, ни сыну его, ни самому Фархату, который позволил матери с кем попало путаться.

Вверху, в доме, распахнулась дверь, и отец, пройдя пару шагов по комнате, остановился. Ушур никуда не ушел, не успел или не захотел оставлять сына. И сейчас они, видимо, стояли и молча смотрели друг на друга — татарин и монгол, зверь и шаман, гость и хозяин, или теперь уже хозяин и гость? Послышалась возня, звон стекла и грохот. А потом сверху, из щели в полу закапало. Брат испуганно встрепенулся:

– Ведро помойное перевернули, да?

Когда Фархат выбрался, отец лежал на полу и смотрел перед собой невидящим взглядом. Из широкой раны на его шее текла кровь и уходила через щели в подпол. Рядом, прямо в луже, сидел Ушур. Он раскачивался из стороны в сторону, плакал и бормотал что-то на своем.

Ушура забрали. Брата отправили в детский дом. Туда Фархат не хотел. - Детдомовские подчинялись общей жесткой иерархии. Им позволялось щипачить на рынке, а зимой сдирать меховые шапки с зазевавшихся прохожих. Содрать с кого-то шапку при его росте — это даже смешно, а щипачить при его приметной внешности — глупо. И Фархат записался в школу для дураков. Там кормили, одевали, да и за опустевшим домом присматривать проще — окна общей спальни как раз на него выходят.

Из одноклассников, дебилов и олигофренов, практически не чувствовавших боли, получилась замечательная армия, и уже к девятому классу Фархат держал улицу. Кроме того, эту самую школу для дураков Фархат окончил с отличием, о чем часто рассказывал, прибавляя, что, к сожалению, в мирное время дуракам медали не положены.

Постепенно и как-то не особенно для этого стараясь, Фархат стал держать еще две соседние улицы, а потом и целый район. Власть ему нравилась. Нравилось, как расступается перед ним очередь в магазине, с какой опаской косятся на него прохожие, как благодушно кивает в его сторону Колхоз на общих сходках.

Так бы и жил, но встретилась ему Катька, его первая и, видимо, последняя любовь. Катька его не боялась. Сначала Фархата это злило. Какая-то -

девка малолетняя считала себя вправе говорить ему все, что вздумается. Ему, самому Фархату! Раньше такое позволяла себе только литераторша из соседней школы, ставившая зачем-то спектакли в городском театре, в который все равно никто не ходил. Но с ней понятно. Такие вроде юродивых, могут и про истину, и про добро, и про нравственный выбор — и никто ничего им не сделает. Даже Фархат.

Но эта пигалица куда? С чего она взяла, что Фархат человек? Сказал же - Ушур — медведь он. Да и для того, чтобы какое-то там внутри себя добро сохранять, его сначала, вообще-то, заиметь надо. Но со временем Фархату - стало нравиться, что она видит в нем это несуществующее добро, воображает себе, что он хороший, а потом он влюбился.

Катька будто почувствовала, что он влюбился, и тут же этим воспользовалась. Фархата всегда восхищало в бабах это тончайшее, паучье чутье на мужскую слабину. Она заставляла Фархата прервать драку, вернуть украденное или разнять дерущихся вопреки всем понятиям, угрожая тем, что, если он ее не послушает, она прямо сейчас, прямо в эту секунду, уведет Коляна за гаражи и там же ему и даст. Фархат знал, что Катька девственница, но почему-то верил, что она способна еще и не на такое. А еще он знал, что ни одна девка, даже самая поганая, по своему желанию под него не ляжет. А уж о любви и говорить нечего. И дело даже не в том, что Фархат уродлив, мало ли уродов на земле, плодятся же как-то. Дело в том, что он зол. И каждая девка, даже самая тертая рыночная халда, встречаясь с ним взглядом, пугается и сдается. Заранее. А это уже не любовь. Это страх. А Катька не боялась. И этому пора было положить конец. Не дело это, чтобы смотрящего на районе какая-то баба под каблук загнала и не дала при этом. Потому в следующий раз, когда Катька пригрозила пойти за гаражи с Коляном, Фархат криво усмехнулся и сипло проговорил непослушным голосом:

– Иди.

За гаражи она, конечно, не пошла. Но, вплотную подойдя к Коляну, поцеловала того прямо в губы. Колян посмотрел на Фархата, ожидая хоть какой-то реакции, но Фархат будто окаменел. «Заимел внутри человека», как он потом для себя это обозначил. И тут же этого внутреннего человека и порешил. Его, как никогда в жизни, подмывало вскочить и оторвать Катьку от - Коляна, но он выдержал. Даже не посмотрел в их сторону, к изумлению замерших вокруг пацанов.

– А я тебя любила, — разочарованно проговорила Катька и пошла к дому.

Вскоре Катька уехала, поступила в вуз и больше не приезжала. По слухам, удачно вышла замуж за кого-то тамошнего. А Фархат остался. Выпив, он принимался рассуждать о том, как рад был, когда у них с Катькой не вышло. Все равно не смогли бы они вместе: перемолотили бы друг друга в труху. Да и с человеком внутри жить не особенно приятно. И длилась эта его вера святая до тех пор, пока Катька однажды ни приехала.

Он сразу ее увидел. С такого расстояния, с которого вообще различить невозможно, человек вдали или просто пятно белое. Да, она была в белом. В шахтовом городишке, где даже постельное белье покупали только темное, где мелкая угольная пыль насмерть въедается в кожу, придавая ей какой-то особенный серый, немного трупный отлив, в белом могла быть только Катька. Тем более мать Катьки, к которой Фархат иногда заходил натаскать воды или нарубить дров, говорила, что скоро Катька навсегда заберет ее отсюда.

У дома стояла крохотная малолитражка, куда тонкий, чистенький фраерок в летних туфлях, сопя от натуги, стаскивал чемоданы. Мама Катьки,

руководившая процессом, в испуге замерла, заметив Фархата, а потом дрогнувшим голосом позвала ее.

Много раз Фархат представлял себе эту встречу. Вот Катя, непременно в белом, стоит у калитки своего старенького домика, а он медленно подъезжает на огромном джипе, из которого доносится бьющая по ушам музыка, весь затянутый в кожу, крутой. Карман оттягивает тяжесть ствола, а барсетка набита купюрами. Катя удивленно смотрит на него и... Что будет дальше, Фархат никогда не думал. Не хотел. Одно было ясно, на шею не кинется. А значит и неважно.

И вот сейчас Фархат стоял перед ее домом в запыленных спортивных штанах, в сетчатой майке-алкоголичке и чувствовал себя невыносимо униженным. И дело было не в отсутствии джипа, музыки и пистолета. Катька, конечно же, знала, кто теперь в городе главный. Знала — стоит Фархату свистнуть, и набежавшие прихвостни мигом вкатают в пыль ее фраерка вместе с его малолитражкой и летними туфлями. Впрочем, Фархату свистеть не нужно было, он сам мог в два счета разделаться с чахлым соперником, который в драку-то, пожалуй, не полез бы.

Фраерок, будто почувствовав это, с опаской посмотрел на Фархата, но, не выдержав его тяжелого взгляда, поспешно вернулся к спасительным чемоданам. Фархат сам не мог себе объяснить, почему вдруг на него накатила волна жгучего стыда за свои резиновые сланцы, за большую черную руку, когда он, здороваясь, встряхнул почти невесомую кисть фраерка, за улицу, на которой они стояли, и угольную пыль, поднимавшуюся над всем этим городом. И когда выбежавшая Катька бросилась ему на шею, он думал только о том, как бы не запачкать собою ее белоснежное платье.

Дальше Фархат помнил смутно. Выпил чаю с медом. Снарядил парней отвезти в областной центр не влезшие в малолитражку чемоданы. Выдал им ключи от своего огромного джипа, за руль которого даже Коляна никогда не пускал. О чем-то посмеялся с фраерком. Расцеловал напоследок Катькину маму. Пообещал присмотреть за домом, хотя его все равно никто никогда не купит. И ее пышные волосы, цеплявшиеся за его щетину, когда она, порывисто его обнимая, просила быть осторожнее, потому что он — меньшее из всех зол, которые могли приключиться с этим городом.

От накативших воспоминаний стало совсем тошно. Раньше можно было свистнуть Мотю, а теперь говорить стало не с кем.

Фархат прошелся по комнате, выпил прямо из горла, тяжело опустился на диван и, со злостью скинув ногой забитую пепельницу со стола, пробормотал:

– Одна грязь кругом...

ПРОСТИТУТКИ ВЫШИВАЮТ КРЕСТИКОМ

Она бредет одна в кромешной тьме. Ступает медленно, осторожно прощупывая путь перед собой, но все равно каждый раз неожиданно проваливается в какую-то ядовитую грязь. Вонючая жижа забивает рот и нос, разъедает кожу, и после нескольких секунд даже дышать становится больно. Софья барахтается, кричит, пытается плыть и наконец выбирается, цепляясь за один и тот же камень. Единственный камень. Вдали шумит река, в прохладных водах которой можно омыть воспаленную кожу. Софья бежит на звук, до реки остается несколько шагов, но тут перед ней неумолимо возни-

кает он. Многоголовое чудовище с телом собаки. Он в три прыжка настигает ее, но не бросается сразу, а медленно надвигается, гипнотизируя пустыми глазницами, ощериваясь сразу всеми своими пастями, наваливается, подминает под себя и нависает, тяжело дыша. «На выдохе не кинется, только на вдохе. Вдох», — каждый раз успевает подумать Софья, прислушиваясь к его тяжелому дыханию. Но чудовище, вместо того чтобы растерзать ее в клочья, лижет ей лицо сразу всеми своими языками. Он ее ждал. Он рад.

И так каждую ночь. По нескольку раз.

А каждое утро Софья пыталась подняться. Казалось бы, чего проще, встань и иди. Но в голове снова и снова, доводя до исступления, вертелась одна и та же мысль, которую ни забыть, ни подумать толком не получается. Софья старалась хоть как-то отвлечься. Например, воображала, что мысль эта совсем не в голове, а, скажем, записана на испорченную пластинку. Игла старого патефона медленно ползет по еле заметной колее, но на этот раз не соскакивает в свою обычную трещину, а, тихо икнув, движется дальше. Но и это помогало только на пару секунд. А потом снова и снова. Проститутки вышивают крестиком. Проститутки вышивают крестиком проститутки вышивают крестиком... До бесконечности.

Софью удивляло, что забыть никак не получается, уж этому она научилась еще в юности.

Первым она забыла фигурное катание. Шуточный футбольный матч со штангистами закончился раздробленной коленной чашечкой. Подающая надежды фигуристка, чемпионка области и, как пророчил тренер, будущая чемпионка страны, теперь хромая. Вместе со спортом ушло, как тогда казалось, единственно верное будущее. Нескончаемый хохот в раздевалках, друзья-спортсмены, сборы во всех частях необъятной родины и теннисист Витька Баронов, с которым начиналось что-то большое и светлое.

Если бы в то лето отца не завалило на шахте, если бы не пришлось выхаживать его, как маленького, и таскать на себе в туалет, Софья, возможно, так и не оправилась бы.

– Папка, больно? — спрашивала она каждый раз, когда он начинал сопеть особенно часто.

– Больно, — отвечал отец тихо.

– И чего делать? — спрашивала Софья, готовясь подать таблетку или поправить сбившиеся подушки.

– Жить. Но сначала забыть придется.

Софья не знала, что именно отец имел в виду. Как можно забыть переломанные руки и ноги или гудящую до тошноты голову? А потому думала, что ее на редкость чуткий отец не только о себе говорит, но и о ней тоже. Отцу она верила. Если говорит — жить, значит надо жить. Если намекнул на институт, значит в институт.

Особых предпочтений в выборе факультета у Софьи не было, легче всего было с литературой, но на филфак она провалилась. И на следующий год провалилась. Как только преподаватель поднял на нее глаза, ей показалось, что он знает и о Витьке Баронове, гулявшем теперь с Наташкой, и о том, сколько ночей подряд она рыдала над рентгеновским снимком коленки и что она все еще не выучила из «Кому на Руси жить хорошо», и видит он ее не будущей студенткой, а уборщицей с опухшими от кипятка руками в цехе - лампового завода, где она весь прошлый год мыла пробирки. Все это сплелось в тугой ком, мешавший говорить, и она, конечно, снова провалилась. И снова. И опять.

Через семь лет не выдержал отец. Когда Софья после смены вернулась домой, в комнате ее вещей не было. Не было коньков, кубков, медалей, грамот, не было даже фотоальбомов, куда она кроме снимков прошлых друзей вклеивала короткие газетные заметки об их победах. А вместо зачитанных до дыр учебников по литературе на столе лежала аккуратная стопка учебников по истории.

– Где всё? — с порога закричала Софья, ворвавшись в кухню и задыхаясь от ярости. — Куда ты всё дел?!

Отец, продолжая помешивать свой любимый суп со звездочками, спокойно объяснил, что вещи ее он выбросил и в этом году она едет поступать в другой город, на другой факультет. Постепенно Софья смирилась, и, даже когда младшая сестра проболталась, что нашла коробку с коньками и медалями на чердаке, Софья смотреть не пошла.

На историческом, куда она поступила сразу, ей нравилось всё. Девочки в общежитии, вьющиеся вокруг нее мальчики, спортклуб, куда ее, несмотря на колено, взяли вести фигурное катание, и даже даты, которые никак не хотели запоминаться. Правда, курсу к третьему Софья с удивлением обнаружила, что истории не существует. То есть истинной истории. Есть версия Карамзина, есть советская версия, версия антисоветская, о которой профессора только шепотом в курилке, и множество других. А кроме того, стираются из человеческой памяти детали, события, люди, вчерашний вождь и дважды герой через пять лет может стать врагом народа, а через десять снова пополнит ряды народных любимцев, а еще через десять его замажут на коллективных снимках и забудут. Не было такого. Не надо нам.

Когда она подошла с этим к научному руководителю, пожилому профессору, про которого поговаривали, что родители его из белых, тот вздохнул:

– Сонечка, милая, если все помнить, это ж с ума сойти! Все равно что-то забывать приходится. И лучше уж плохое забыть. А то как дальше-то?

Софью этот ответ поразил. Если историю целой страны еще при жизни миллиардов очевидцев можно забыть, напечатать новую версию в учебниках, провозгласить с трибун, спеть по радио — и никто не пикнет, то что говорить об истории одного маленького человека? Еще проще — оставил только хорошее, оправдал себя, обелил, пожалел, где можно было да и где нельзя, чего уж там, а остальное — не было такого, не надо нам.

– Было-было-было и прошло... — весело пропел отец, помешивая свой извечный суп со звездочками, и Софья окончательно убедилась, что права.

Отец ее был человеком незаурядным. Его обожали даже бездомные собаки, не говоря уже о людях. Каждое утро он поднимался в пять утра и пел по пути на работу, а после работы, широко улыбаясь, вышагивал по залитой солнцем улице, и навстречу ему сбегались дети, свои и чужие, для которых он в шахтовом магазине раздобыл копеечных карамелек. У женщин в это время обязательно оказывалась работа на улице: полить чего-нибудь, прополоть, половики вытрясти — неважно, лишь бы услышать от него какой-то особенный комплимент. И даже почтальон слезал с велосипеда, чтобы пожать ему руку.

На каникулах Софья просыпалась в пять и слушала из-за стены его тихое пение. А потом, когда отец уходил, долго не могла заснуть, думала. Врачи месяцами собирали по кускам его раздробленные кости. День за днем он лежал неподвижно, изнемогая от боли, чтобы все это заросло, что-то ломали заново, какие-то внутренние органы не желали вставать на место. Год нечеловеческих страданий для того, чтобы просто встать. Встать в пять утра,

запеть и, широко улыбаясь, отправиться обратно в забой, в мрачные тоннели, пропахшие метаном, грозящие каждую секунду обвалиться на голову. Без шансов на спасение.

Когда она спросила об этом отца, он хитро прищурился:

– Какой завал? Не было такого. Мяса на ночь наелась, вот и снится всякое...

Софья рассмеялась, но спрашивать больше не стала. Не было — значит не было. Не надо нам.

И всё. Вспоминать Софья перестала. Совсем. Да и некогда. После института жизнь понеслась на бешеных скоростях. Софья вернулась домой, вышла замуж и стала председателем комсомольской организации города. Работала она завучем по воспитательной работе в вечерней школе. Когда ее принимали на работу, никто и подумать не мог, что она хоть сколько-нибудь здесь продержится. Директор улыбнулась ей устало и проговорила:

– Не надо тебе этого. Иди домой.

И несколько лет спустя, проводив на пенсию этого самого директора, Сонечка говорила то же самое каленой советской училке, рыдавшей после первого проведенного здесь урока. Малолетние проститутки, выуженные с трассы М7«Байкал», наркоманы, отбывающие «условно» малолетние преступники. И Сонечка.

Классу было весело. Изрядно потрепанные жизнью, они чувствовали себя старше, сильнее, да и травить молоденькую учительницу было куда интереснее, чем писать под диктовку. А что ты им сделаешь? Родителям пожалуешься? Так нет у них родителей. Директору детдома стукнуть? Она там сама как угодно изворачивается, лишь бы не разбежались. И прежде чем Софья научилась видеть в них детей, ей пришлось забывать так часто, что, казалось, вся жизнь замерла одним днем, поставленным на бесконечный повтор. Бекетов, осужденный за попытку изнасилования, зажал ее в углу и щупал, пока не удалось хорошенько двинуть ему по причинному месту. Проревелась в туалете и, повторив про себя свою теперь уже вечную мантру: «Как же я вас люблю, паскуды! Как же я вас люблю, твари поганые!», назавтра уже забыла, вернулась в класс как ни в чем не бывало. Сорвалась только через месяц, когда на перемене из сумки украли всю зарплату. Ворвавшись в класс и отшвырнув с прохода Бекетова, громогласно взревела свое обычное:

– Как же я вас люблю, паскуды, как же я вас люблю, твари поганые! — и только потом осознала, что вслух. Деньги вернули. Проверку прошла, стучать не побежала.

И началось страшное. Они ее полюбили. Прониклись и начали рассказывать. После каждого такого рассказа Софье нестерпимо хотелось умереть. Не было в них ни Бога, ни справедливости, ни хоть какого-нибудь светлого отблеска.

Родившая девочка в нетопленом доме, с мертвой от голода цепной собакой, которую и закопать-то некому.

– Я не могу отойти, тут холодно, я сыночка телом грею, если кладу, он синеть начинает.

Ковыряла лопатой промерзшую землю и рыдала так, что дышать не могла. Выбила из собеса машину угля — три дня их донимала. А потом, ставя в журнал привычное «н» по болезни, даже имени этой девочки вспомнить не могла.

Или вот мальчик с перерезанным горлом. Откачали, но голос все равно сиплый, даже и не голос, а хрип, которым он и пытался разговари-

вать. Шарф ему подарила — сама связала, чтобы точно носил, — слишком уж шрам пугающий.

– Смешная вы, Софья Анатольевна. Забудешь тут, как же... Я когда рот раскрываю, весь магазин на меня оборачивается. Да и вообще, человек без памяти не умеет, а чтоб хорошее вспоминать... Так хорошего у нас ничего и не было.

Софью это мучило. У нее самой хорошее было. Были, в конце концов, свои дети, которых она учила забывать с раннего детства. Дочь жила в Москве, работала в театре, и бог знает, что ей пришлось ради этого вынести. А сын, несмотря на несколько провалов подряд, теперь владел довольно крупной автомобильной мастерской.

Но одно дело, когда ты можешь своему ребенку сказать: «Ну и что? Ну и упал. Забудь. Зато ты прошлые пять раз не упал», или «Ну и что, что не получилось. Зато получилось то и вот то». А здесь что? «Зато руки-ноги есть». А если нет? «Зато живой». А оно ему очень надо, живым-то? Нужно было как-то иначе. Дать что-то такое, чего Софья никак дать не могла, потому что не знала что. Какая-то философская дилемма, какой-то извечный вопрос, настолько глобальный, что хотя бы просто вместить его в себя — это как прыгнуть выше головы или как Бога — за бороду.

Суетилась, конечно, по мелочам. Находила работу, одежду, держала за руку, приглашала на чай, водила в кино и театр, приобщала... Но все это так, припарки. Ответ пришел сам. Был ли он послан свыше, или она на все вокруг смотрела в поиске этого ответа, но нашла.

Галочка. Если бы не криво сросшийся нос и шрамы на лице, из нее могла бы получиться настоящая красавица — и рост, и фигурка, и пышные белые волосы, даже немытыми ниспадавшие на плечи мягкими волнами, как у сказочной принцессы. Широко распахнув и без того огромные глаза, Галочка улыбнулась:

– Здра-а-а-асте...

Типичный такой, давно вошедший в привычку, бархатно-кокетливый тон дешевых проституток. Уже в первый вечер Галочка, забравшись с ногами на диванчик в учительской, рассказывала Софье о своей трудной судьбе — папа сел, мама спилась, встретился один, а потом второй. А потом уже и на трассу, потому что... ну все же там работают. Платили Галочке редко, чаще били. Таким, как она, редко платят — отшвырнул ее после всего, как котенка, и забыл. И все равно, всегда много таких у каждой крупной стоянки дальнобойщиков от Калининграда до Владивостока, правда, до двадцати они обычно не доживают. Галочка не жаловалась на жизнь, не сетовала на судьбу, не кляла Бога. Возмущало Галочку только одно — об этом она рассказывала так спокойно и просто, будто Софья была такой же, как она, девчонкой, случайно встреченной на трассе. Грязь.

– Я не знаю, они когда-нибудь моются? Нет, я все понимаю — трасса, машина, негде им, но можно же как-то... Иногда штаны снимет — вонь как в сортире! А у меня бутылочка маленькая такая, с водой, я хочу помыть ему там, а он мне — хлоп по роже. И орет еще — да как ты смеешь, типа, шлюха поганая!

Однажды на перемене Софья заметила, как Галочка ласково поглаживает ее белые пуховые рукавички. Прикасается кончиками пальцев к невесомому пуху и улыбается. Мама Софьи вязала, конечно, исключительно, но дело было не в этом. Просто Галочка, оказывается, всегда мечтала научиться вязать.

– Это же, представляете, надеть нечего, взял и связал. А надоело — распустил и другое связал. И все такое теплое, стоишь на трассе, ветер, а оно греет...

Но бабушка Галочки умерла рано, а у матери слишком тряслись руки, если не выпьет, а когда выпьет, уже не до вязания.

Через пару минут Софья как обезумевшая влетела в учительскую и бросилась к телефону:

– Кружок! Нам нужен кружок!

Удивленные коллеги поняли не сразу, а когда все же поняли, идею не поддержали.

– Ты Эдика тоже вязать отправишь? Или, может быть, фигурки из бумаги складывать? — иронизировала Галина Борисовна.

Она преподавала информатику, а потому ей приходилось постоянно выкупать из ближайшего ломбарда своровавные учениками жесткие диски.

Директор соседнего Дворца творчества, однако, воспринял идею с воодушевлением. Посещаемость кружков неумолимо падала, что грозило директору увольнением, а Дворцу скорым превращением в очередной торговый центр. И целая вечерняя школа могла всех спасти.

Нужно было только решить проблему с Эдиком. Когда он заявлялся на урок пьяным или укуренным, даже выгнать его не получалось. Литераторша была уверена, что он убивал людей, о чем шепотом рассказала в учительской. Когда они изучали пытки, кто-то кивнул на Эдика. Видимо, Колян. Кроме него, никто не посмел бы. И Софья, уже привыкшая ни во что не верить, как-то странно для себя поверила: было в нем что-то совсем животное. Такой мог.

К Эдику Софья никак не могла найти подхода. Ее это не особенно огорчало, удивляло, скорее. Столько лет работы, выпускники, наводнявшие школу после каждой амнистии, ученицы, притаскивавшие показать каждого рожденного ребенка, бесконечные визиты домой — и Эдик. Ну никак. Не смеялся ее шуткам, не отвечал на улыбки, не принимал подарков. Софья даже как-то попыталась рассказать ему про себя. Вспоминать было неприятно, но в крайнем случае приходилось. Ребенку становилось неловко — человек тебе душу открывает, а ты молчишь. Невежливо вроде как. Эдик выслушал, встал и вышел. Молча. А когда Софья попыталась его похвалить на ровном месте, — это всегда срабатывало, — он так злобно ощерился, что Софье стало не по себе. Впрочем, и ничего плохого Софья от него не видела, а если нужно было непременно заставить Эдика угомониться, на помощь приходил Колян.

Придурковатый накачанный Колян был значительно старше. Когда-то он не смог окончить школу для дураков, потому что сел, и был теперь правой рукой местного авторитета Фархата, который и отправил его учиться. Даже договариваться сам пришел. «Надо ему ума маленько вбить, теть Сонь, а то он это... маленько дебил». Именно из-за этой близости к Фархату Эдик и подчинялся Коляну. Так положено, и с этим Эдик не спорил. Да и никто не спорил, чего уж там.

Колян учился с восторгом. Больше всего ему нравилось отвечать у доски — репетировал он так каждодневные отчеты Фархату, который любил вечерком под пивко послушать байки из мировой истории. Зазубривал наизусть описания самых кровавых битв и чеканил бодро и весело про Ватерлоо, Шенграбен, Сталинград. Казалось, смысла не улавливает совсем, но вдруг осекался: «Стопэ, я чего-то не понял. Это сколько там померло, я сказал? -

Херасе. Вот так разборка». И возвращался на место пораженный. Класс ржал. Галочка психовала:

– Да не ржите вы!

Колян опекал Галочку, которая влюбилась в него мгновенно и бесповоротно. Фархат, правда, выбора Коляна не одобрил: «Гнилая, поди. В сауну с нами больше не пойдешь, заразу еще притащишь!»

Коляна это обижало. Он вообще был брезглив, но на Галочку это почему-то не распространялось. Зато от плюгавого Педикулеза он никогда не садился ближе, чем за три парты. Галочка пыталась объяснить ему, что Педикулеза прозвали так совсем не из-за болезни, а потому, что по малолетке его пытался изнасиловать маньяк, но Колян все равно опасался. Педикулез, чувствуя свою особенную власть, иногда подтрунивал над ним. Поднимал руку и, хитро косясь на класс, тянул жалостливо:

– Софья Анатольевна, а можно я поближе сяду? Отсвечивает.

И, не дождавшись ответа, пересаживался поближе к Коляну. Тот сопел, злился, жался к Галочке, но, не выдержав, все же выходил из класса.

Софья надеялась, что шутка быстро наскучит, потому не вмешивалась. Собственно, кроме Педикулеза смешила-то она только Гриба. Но этого оказывалось достаточно. Тощий длинный Гриб, похожий на поганку, пытаясь подавить смех, ложился на парту и мелко трясся, отчего шапка его густых волос елозила по парте. Потом Гриб, громко икнув, разгибался и откидывался назад, уже не сдерживаясь. Он гоготал, присвистывал, хрюкал, повизгивал, гаркал. Не засмеяться в ответ было невозможно. Улыбалась даже Софья, хотя выдержки ей было не занимать. И когда прослезившийся Гриб наконец успокаивался и класс затихал, из коридора вдруг раздавался мощный грудной смех Коляна, что порождало новую вспышку веселья.

Беззлобный Гриб был единственным, кто общался с Никитой Катасоновым. Софья была уверена, что Никита немой, но однажды заметила, как он шепчет Грибу что-то веселое и тот тихонько похохатывает. Никому она об этом говорить не стала: если молчит человек, значит есть у него причины. Да и поважнее нашлись дела.

По просьбе Галочки Колян уговорил всех пойти во Дворец творчества. Ну, как уговорил. Объявил скорее.

– Куда идем-то? — не понимала горластая Ирка, с детства торговавшая на рынке.

– На экскурсию в дубовую рощу! — ответил Эдик, и все засмеялись.

С дубовой рощей действительно вышло нехорошо. Дубовой рощей гордо называлась узкая полоска леса между трассой и железнодорожными путями. Дубов в городишке не было и быть не могло, но один из сосланных сюда во времена войны поволжских немцев прихватил с собой на память желудь. Из него с годами и вырос первый дуб. Так в городке оказались и каштаны, и вязы, и даже карагач. В гороно озаботились как-то введением в краеведение, и дубовая роща была внесена в список обязательных экскурсий для младших классов. С железнодорожных путей барыги тащили все, что можно украсть, со стороны трассы работали проститутки. И не просто стояли на обочине, а прямо работали. В теплое время года дальнобойщики радовались любой возможности выйти из машины. Экскурсия в итоге получилась совсем не детская.

По кружкам распределились довольно быстро. Галочка, вопреки ожиданиям, занялась кружевоплетением, а вязать пошла молодая мама, которой разрешили приносить сына на занятия. Коляна Саныч считал токарем от

бога и всячески поощрял, пока тот не выточил специальный облегченный тесак для Фархата. Из трубы, изогнутый — чтобы провернул, и никогда больше не заживет.

Мальчик со шрамом клеил модели самолетов из лавсана, горластая халда Ирка-дырка вышивала крестиком, а Эдик пел. Да, этот маловменяемый отморозок пел настолько чистым и сильным тенором, что руководительница хора тут же начала готовить его в музыкальное училище. И только вор по прозвищу Вор, ловкий и обаятельный щипач, никак не мог найти себе места. Долго терся среди всех, пробовал все подряд, все у него сразу же получалось, даже вязать и кружева, пока не набрел на детский театр. «Если у моих актеров что-нибудь пропадет...» — возмущалась, переигрывая, актриса местного драмтеатра, но директор ее слушать не стал. Да ничего и не пропало.

Вор и вел выставку. Собственно говоря, он ее и придумал. Написал речь, в которой каждого представил и довольно остроумно рассказал о технологии производства. Пришел Фархат и принес огромный торт. Был мэр, в свое время окончивший эту же вечернюю школу, вручил грамоты. Приезжало телевидение, репортер снял целый фильм, расспрашивал обо всем и после каждого рассказа пил валерьянку в учительской. Премию какую-то всероссийскую за этот фильм получил. Была, правда, и журналистка из местной газеты. Презрительно фыркала, вертела в руках поделки, ухмылялась, но Софью это не огорчало. Женщину эту она знала хорошо, еще с тех времен, когда ее дочь работала в той самой газете. Знала и жалела. Было в ее лице что-то настолько язвительное, что сразу становилось ясно, почему от нее ушел муж, отвернулись родители и почему главный редактор скорее руки лишится, чем хоть сколько-нибудь продвинет ее по карьерной лестнице. Софья здороваться не подошла.

Она была занята детьми. А что с ними происходило! Эдик четырежды пел на бис и охрип. Галочка плакала от гордости, Ирка притихла, а Колян глупо улыбался. Софья бродила среди них растерянная, обнимала, поздравляла и сама будто немного опьянела от их состояния. Торжество. Тотальное торжество. Мальчик со шрамом вспотевшими руками долго упаковывал грамоту в чехол от самолета — чтобы не помять:

– Вот, будет о чем вспомнить. А может, и детям рассказать.

Домой Софья шла медленно. Широко улыбаясь, вышагивала по залитой солнцем улице, и навстречу ей сбегались дети, для которых она с праздника прихватила карамелек. И почтальон слез с велосипеда, чтобы поцеловать ей ручку.

Проснулась Софья от звонка. Директор детдома рыдала в трубку и ничего толком объяснить не могла:

– Ушли... Ушли... Все ушли... до единого...

Торопливо одеваясь, путая рукава и штанины, в холодном поту, Софья все еще надеялась. Может, они от радости ушли. К родителям своим бестолковым — похвастаться, или на работу куда все вместе устроились, бывает же, отделочники целыми бригадами требуются, может, мэр подсуетился...

Но, ворвавшись в школу, Софья сразу поняла, что нет. Это она виновата. Она просчиталась. Она что-то такое сделала, что-то такое чудовищное и непоправимое, что прощения ей не будет. Она еще не знала что, но за годы педагогической карьеры научилась кожей чувствовать чужое настроение. А сейчас на нее молча смотрела вся школа.

Выяснилось, что, вернувшись с выставки, журналистка местной газеты

тут же написала статью с говорящим названием «Проститутки вышивают крестиком». Главного редактора в городе не было, оттого статью опубликовали без изменений. В статье говорилось о том, как малолетние проститутки и наркоманы выпиливают лобзиком и складывают нелепые оригами, а администрация школы во главе с мэром, как в советские времена, делает вид, что все это — воспитательная работа. И преступников этих мало того что хвалят ни за что, так еще и грамотами именными поощряют. Из жалости, конечно, но все равно — отвратительное лицемерие.

Утром, когда номер вышел, его тут же принесли в школу и дали почитать вчерашним героям. Вокруг них толпились. С усмешками и сочувственно, с любопытством и испугом. А те передавали газету друг другу, читали медленно и вдумчиво. И уходили. Со слезами, без слез, бледные и пунцовые от стыда. Прочь. Прочь отсюда. С Галочкой вроде как случилась истерика, и Коля́н вынес ее на руках.

Дальше Софья почти не помнила. Носилась по городу, как обезумевшая, кричала, звала, скупала тираж и рвала газеты прямо у киосков, будто этим можно что-то исправить. Караулила ночью на трассе, обошла все притоны, умоляла Фархата и, кажется, ударила ту самую журналистку. Да, точно ударила. Следователь же приходил.

Журналистка, получив пощечину, объявила себя страдалицей за правду и пошла писать заявление в полицию. Следователь, который до этого принял пятьдесят шесть заявлений от Софьи о пропаже детей из детского дома, заявление журналистки потерял. Четыре раза подряд.

Сорок пять человек вернули в детский дом. Семерых из них привел следователь. Остальных Софья нашла сама. С каждым она проговорила по многу часов, объяснила, переубедила, успокоила. А потом слегла. Одиннадцать детей так и не нашли. Нигде. Как сквозь землю провалились. Не было больше ни Коляна, ни горластой Ирки, ни Галочки, ни мамаши с ребенком, ни Вора, ни Эдика, ни мальчика со шрамом, ни тихой Людочки, ни Гриба с его извечным смехом, ни даже Никиты Катасонова. И еще одного, одиннадцатого, которого Софья никак не могла вспомнить. Он ее и спас.

Тихий мальчик, которого Софья вспомнила, только когда увидела. Робко присел на краешек стула и улыбнулся. Бледный, полупрозрачный, невнятный какой-то пацан.

Софья вдруг заплакала и сама не заметила, как поднялась:

– Десять. Прости мне десять, Господи.

И внутренне содрогнулась при мысли о том, сколько ей еще предстоит забыть.

ГДЕ-ТО МЕЖДУ ДВОЙКОЙ И ЕДИНИЦЕЙ

Оценки Анечку всегда завораживали. Казалось бы, чего уж проще: пятерка — умный, двойка — глупый. Была еще единица, означавшая, что ты мало того, что дурак, так еще и лентяй редкостный. Не попытался даже. А в жизни все оказывалось куда интереснее. К примеру, если Пантелеев домашку не сделал — это два. А если Анечка, то это — «Ничего страшного, завтра принесешь». Или еще сложнее. Вот выучил ты все, прямо до последней буковки выучил, а потом пришел на урок, и молчишь. Просто сидишь и молчишь. И ставят тебе два. А ты-то на самом деле на пятерку знаешь. Выходит, никто тебе оценку правильную поставить не может. Только сам.

Анечку вообще часто мучили большие, неудобные мысли. Что вот, например, живет человек, зубы чистит два раза в день, руки перед едой моет, учится на пятерки, по дому помогает и с теленком, а маму все равно грузовик переехал. И как ни старайся, грузовики, они на каждом углу поджидают, а ты один. И десять тебе только в следующем году.

Иногда, правда, неудобные мысли и помочь могли. Как раз в следующем году Анечка попробовала выпить. Бражку из зубной пасты. И когда ее полоскало до желчи в женском туалете под яростные крики директора детского дома и причитания нянечки, Анечка, чтобы нечаянно не провалиться в пугающую темноту и не захлебнуться, думала о том, какие оценки идут после нуля. Не может же там все одинаково быть, тоже различается, наверное. Правильный ответ она только в пятом классе узнала и поразилась изящной его очевидности — минус. Минус один, минус два. И тоже до бесконечности. Тогда-то Анечка и придумала ставить себе оценки.

За единицу она принимала вечер после похорон матери. Было страшно, одиноко, обидно, и только потом уже больно. Единица, но все-таки плюс. Жить можно. А вот когда ее полоскало — это уже минус один. Так долго точно не протянешь.

Зато наутро после того, несмотря на дикие боли полумертвого тела, нестерпимо хотелось жить. Могло быть и хуже. Минус два, или даже, страшно подумать, минус три. И осознание того, как чудом спаслась, выжила, смогла, выбрасывало ее даже не к единице, а куда-то к тройке.

А через несколько лет, на физике, глядя на раскачивающийся маятник, Анечка вдруг осознала. Вот ведь оно — спасительное решение! Так рядом, так просто! Вот почему Анечка пьет! Попыталась физику объяснить, а он почему-то пожаловался директору.

Директор вызвала к себе и долго говорила про детский алкоголизм, мазохизм, подсознательное стремление к смерти. Часто говорила, а потом устала, отвела и закодировала. Лучше б послушала хоть один раз. Но слушала Анечку только нянечка, да и та не понимала. У нянечки все было просто — верх и низ. Бог и человек. Плюс и минус. И все в мире по божьему разумению устроено, Анечка. Раз красоты господь не дал, значит, и зрение отнял, чтоб не видала, какие другие. Чтоб не завидовала. И место твое — где-то между двойкой и единицей — это благодать божья.

Может, оно и так, но Анечка была не согласна. Не хотела она всю жизнь букашкой уворачиваться из-под сапога всесильного, расположившего ее где-то между двойкой и единицей. И как ни старайся, не сдвинуться тебе с этой мертвой точки, прилип. Терпи и страдай. Но Анечка придумала. Выход — он всегда есть. Если она все равно не может сделать себе лучше, то уж сделать себе хуже ей никто не помешает. Маятник ведь в любую сторону раскачать можно. Без разницы вообще. Выпил, упал, очнулся — и выживай. И после такого, место между двойкой и единицей раем покажется — все равно в плюсе.

А после того, как закодировали, совсем просто стало. Как яду выпить. Даже испугаться не успеешь. И каждый раз, когда приходила в себя после случившегося, изнасилованная каким-нибудь бомжом, или со сломанным в двух местах носом и расколотой скулой, или с отмороженным всем, что по-женски, она снова и снова убеждалась. Чем дальше в минус, тем выше плюс. Избили, скажем, на минус два, значит так радостно будет, что не бьют больше, что это три. Или даже целая четверка. Так что Анечка еще и в выигрыше осталась.

И нянечка плакала, и директор наказывала, а все равно удавалось. Через забор, и милостыней, или воровством, или мужичка какого-нибудь пьяненького прижать за гаражами. Но это только когда совсем припирало. Раз в месяц. Или два. В конце концов, в больнице тихо и кормят хорошо. А в остальное время Анечка росла, училась, помогала нянечке с мелкими и читала запоем Есенина. И даже, к всеобщему изумлению, с успехом прошла на филфак.

Долго еще ходила, загадочно улыбаясь, грела в себе мысль о том, что если очень стараться, можно полбалла себе накинуть. Или даже балл. Филфак — это же явная двойка. Или даже два с половиной.

В воображении сокурсниц девочка из детдома рисовалась несчастной сироткой с огромными влажными глазами, безропотной и благодарной. А на деле Анечка выглядела сутулым тощим мужиком с перебитыми скулами и трижды ломаным носом. Еще и очки с толстыми линзами — зрение минус шесть. Где уж там нежная сиротка. Но Анечка старалась. Как-то даже надела юбку и накрасила губы. Тогда ей в третий раз сломали нос. Теперь уже пьяные ВДВшники, которые, как они сказали, пидаров не выносят. Но и тогда не запила. Позже. Преподавательница, изящная как британская леди, презрительно фыркнула, услышав об Анечкиной страсти: «Милочка, какой вам Есенин, вы же, если можно так выразиться, личность грубой душевной организации. Займитесь-ка лучше лингвистикой».

Для Анечки это было что-то сродни «рылом не вышла», только не подходила она не внешностью, а душой. А значит, конец. Все рухнуло и обломки эти никак не складывались обратно. В человека. С грубой душевной организацией. С местом, где-то между единицей и двойкой.

Впрочем, Анечка знала, что делать. Вырубалась и падала, поднималась, находила, где повторить, и снова падала. По утрам становилось легче. Но теперь ненадолго — ясно почему, год проторчала на чужом месте, между двойкой и тройкой, теперь расплачивайся.

Как-то проснулась утром в чистоте и тепле. Белый накрахмаленный пододеяльник и обои в цветочек. Не больница и не интернат. И уж тем более, не общага. А над ней — смешной мальчик с огромными испуганными глазами. И смех, и грех. Такого и в кино-то не увидишь, разве что в мультике. Да и то. Локоны светлые до плеч, рубашечка, пальчики и скрипка. Подумать только, скрипка! Хоть не арфа, и на том спасибо. Этот юный паренек, совсем не похожий на Есенина, поил сладким чаем, и со смехом рассказывал, как они познакомились. Девушка бросила, напился, тошнило, пошел бродить. Хотел прыгнуть с моста, но река замерзла. И там, на мосту, увидел пьяного мужичка. Бросить не мог — мороз под сорок. Потащил домой, взбодрился, протрезвел. А когда начал раздевать, чтобы уложить, обомлел — женщина. Он все рассказывал и рассказывал. Про то, как были недовольны его родители девушкой, про хвосты в университете, про то, как ушла его белокурая и нежная, и как рыдал, глядя ей вслед. И что жизнь кончена, так молод еще, но кончена. Анечка слушала его и изумлялась, преисполненная какой-то неожиданной жалостью к этому слабому мальчику, у которого и смерть-то где-то в районе тройки. Плюс тройки. А потом и она рассказала, про маму, про побои, холод и голод, про минус пять, когда заперли какие-то и насиловали, и не сбежать было, потому что очки разбиты, про интернат, пьянство, Есенина, которого у нее отобрали. И про грубую душевную организацию предупредила. Проговорили до глубокой ночи, и Анечка осталась. А потом снова осталась. Порывалась уйти, но не могла — казалось, что мальчика не-

пременно надо уберечь, что без нее он пропадет, он же ни в рожу дать, ни убежать не сумеет.

А потом как-то, глядя на то, как мирно он спит на своих белоснежных простынях, в комнатке, где обои в меленький цветочек, как ровно дышит, и как смешно причмокивает во сне, испугалась. Осознала вдруг, что давно живет уже где-то в глубокой четверке. В плюс четверке, в ласковых голубоватых искрах. Перескочила. Задалось. Как-то сразу задалось. Как с филфаком сначала. А значит, скоро такой будет откат, каких еще не было. В минус пять, как минимум. И надолго. Очень надолго. И не водкой не спастись, ни Есениным, ни господом богом.

И ушла. Совсем. Опередила. А утром, оторвав свое промерзшее похмельное тело от земли, ходила по городу и с содроганием наблюдала, как искал, носился как одержимый, плакал даже. Но так и не нашел. Не увидел даже. Где уж ему, когда ее директор детдома, за полчаса находившая беглых преступников, ни разу не поймала. Нет, так и не нашел. Сама вернулась. Дала слабину. Подумала, что пока можно — лучше пожить еще. Так, для общего развития, чтобы было с чем сравнивать, чтобы понимать — ради чего маятник-то качать вообще. А на место тебя всегда вернет. Всегда успеется, можно и не сомневаться.

И на филфак вернулась. Назло всем британским леди. Да и мальчику пример нужен. И его заставила хвосты подтянуть, и на работу устроилась. Пила, конечно. Все страшнее пила. Уже после каждой пятерки уходила — компенсировать-то как-то нужно. И с каждым разом становилось еще страшнее. Значит, не сейчас это закончится. Значит, позже. Но лучше не думать. Повторять себе, как мантру, что не всегда же помирать, пожить тоже придется.

И вот, наконец — все. Плохо стало. Просто так. Само. Прямо на лекции прихватило. До скорой аж. Такая простая и очевидная смерть, такой ясный конец, что смешно даже. Забеременела. Отмороженным нутром своим, в котором, как врачи клялись, и зачать-то нечем совсем, забеременела. Врач вздохнул и выписал направление. Аборт. Не выносить. Даже скинуть сама не сможет — помрет. Точно помрет.

И нянечка приходила, и директор увещевала, и мальчик плакал, умолял, напился даже, а Анечка все не шла. Не могли понять, почему она тянет. Думали, надеется родить. Глупость какая. Ясно же. Не ребенка она ждала, а смерти. И хоть больно было так, что и цифру не определить, зато справедливо. И по божьему разумению устроено, Анечка. Плюс — минус. Пострадала — пожила. Занавес. Накрахмаленный. В цветочек.

А утром, оказалось, что родила. Девочку. Три сорок. И когда взяла на руки сморщенный комочек этот, поняла, что это, кажется, десять. Твердая такая, уверенная десятка. И что больше никогда, никогда в жизни, не будет у нее минуса. Перескочила. Смогла.

Ирина ИВАСЬКОВА

НОРМА ДЖИН

Рассказ

Маленькую Норму Джин забыли очень быстро. Там и помнить-то было нечего: слабые пряди волос на затылке, светлые глаза, худые ножки — моль на палочках — так шутила про внучку бабушка.

Диковинное прозвище Норме Джин досталось по случаю, когда мелкие обстоятельства собрались в горсть и высыпались в одно утро, перемешались, перепачкались и закрутились в коротком, но неожиданно сильном ветре, налетевшем на бледную девочку в белой плиссированной юбке.

Ветер хлопнул белым подолом, поднял вверх тонкую ткань и тут же упорхнул прочь, не заинтересовавшись целомудренным детским бельишком.

– Ну, ё-моё, прям Норма Джин! — зашумел вдруг Валька, до одурения озабоченный половым вопросом подросток из двадцать восьмой.

Совершенно случайно то летнее начало дня собрало под медленно накаляющиеся небесные своды целую кучу народа — кто-то спешил на работу, кто-то возвращался домой, а кто-то предвкушал целый день безделья, безобразия и бесконтрольности.

ИВАСЬКОВА Ирина Викторовна родилась в 1981 году в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», работала юристом около десяти лет. Писать небольшие повести и рассказы начала в 2007 году. В настоящее время занимается созданием статей для различных интернет-сайтов, а также кубанских газет и журналов. Публиковалась в журнале «Север», газете «Кубанский писатель». Живет в Анапе.

Валькина шутка имела успех. Смеялся чернявый Жора, меняющий валюту у Центрального рынка, смеялась его жена, послушно рожающая по ребёнку в год и похожая на многорукого Шиву со свитой мелких густоволосых демонов. Смеялся больной Толик — пожилой мальчик с кожаным блокнотом, исписанным в каждой клеточке полоумными стихами, и толстая Вероника Тихоновна хихикала, крепко держа на поводке свою любимую лысоватую болонку.

Хохотала бухгалтер Тамарка, закатывался её одноногий муж, и даже красавица Коновалова улыбалась, элегантно раскладывая по плечам жёлтые локоны.

Смеялись и Нормины подружки — пёстрая стайка воробушков в одинаковых сандалиях, ну а про мальчишек и говорить нечего, они хоть и не слышали ничего про Норму Джин, но всегда скалятся, особенно когда лето, каникулы, впереди ещё целый день на улице, и вечер ещё далеко, а осень, конечно же, никогда не наступит.

Девочка в белой юбке заплакала и убежала, и смех погас — не потому, что стало стыдно, а потому что больше не над чем было смеяться.

Снова потекли прерванные разговоры, взрослые закивали друг другу в такт, и дети застучали пыльными копытцами, собираясь в нескончаемое путешествие по крышам, гаражам и подвалам.

– Эй! — послышался вдруг голос откуда-то сверху, — эй, я здесь!

Крик легко заметался в колодце двора, отталкиваясь от кирпичной многоэтажки, деревянных бараков и ободранного до костей общежития, а потом замер где-то в пахучих зарослях черемухи.

Люди подняли головы и увидели Норму Джин — она сидела на тонких балконных перильцах, словно в дамском седле, и махала руками. Яркое солнце, набираясь летней силы, слепило глаза, мелкую девочку почти не было видно — восьмой этаж всё-таки.

Все замолчали. Молчал Жора — через пару лет он купит большой красный дом за городом, а жена его родит мальчика, девочку и ещё мальчика. Молчал больной Толик — спустя неделю залетные отморозки изобьют его до полной потери разума, а блокнот со стихами порвут и выбросят. Ничего не говорила Вероника Тихоновна — следующей зимой её старая болонка облысеет до полупрозрачности, а потом тихо скончается на своем клетчатом одеяльце. Не хотелось смеяться и Тамарке с мужем — он не доживет до осени, задохнется в гараже — многовато выпьет и уснёт некстати. Пропала улыбка у Коноваловой — та станет ещё интересней, когда перекрасится в брюнетку. И много чего будет — драки, слёзы, поцелуи, пара свадеб, несколько похорон — хитрые путаницы жизней, такие бессмысленные вблизи и превращающиеся в изящные узоры при взгляде свысока.

Но сейчас двор молчал, был жив и здоров, а маленькая Норма Джин спрыгнула с перил, но не вниз, а обратно, на балкон, и сидела там почти до обеда, ни о чём не думая и разглаживая пальцами упрямую юбочную плиссировку.

Никакого переполоха не случилось — мало ли что там дети натворят, и не такое бывало. Норма Джин и её мама, и остроумная бабушка уедут вскоре в другой район, потом в другой город, а потом совсем исчезнут, как и не было. Зарастут за ними все тропинки, порвутся бумаги, угаснут огни, и снова зацветёт вечная черемуха, лёгкая, как белый шёлк.

ЗВЕЗДА СИРЕНЬ

Рассказ

В бассейне холодно и пахнет хлоркой, едкой и безнадёжной, как долгая зима. Светло-голубая кафельная плитка, лязгающие дрожащими железными дверцами шкафчики и пронзительный свет люминесцентных ламп — царство беспощадной Хлорной Королевы от шумной раздевалки до мокрых резиновых ковриков у воды.

Маша ненавидит бассейны с самого детства. Мучительнее всего ей в первые минуты, когда нужно раздеться, делая лицо равнодушное и бывалое, сложить одежду в шкафчик и пройти в душевую. Но спрятаться не получится и там, ведь лёд кафеля, стали и света, ждущий впереди, никак не отменить.

Посетительницы бассейна плавают основательно, с чувством: разноцветные резиновые шапочки и плотные купальные костюмы размеренно двигаются вдоль пластиковых бусин разделителей дорожек. Маша старается никому не мешать, тихо шевелится у бортика, ждёт, пока пройдет положенный ей час, а потом наблюдает, как женщины рывками поднимаются из воды, перехватывая сильными руками блестящие скобки поручней.

В раздевалке Маша снова испытывает чувство оглушительного стыда, стягивая с себя мокрый купальник и стараясь не поднимать глаз. Обрести взрослое равнодушие к собственной наготе ей никак не удаётся, без одежды она чувствует себя совершенно беспомощной и мягкой, этаким дождевым червяком на асфальте. Впрочем, стесняется только она — остальные пловчихи одеваться не торопятся: шуршат пакетами, расправляют тёплые колготки, что-то подтягивают в бельевых лямках. Тела окружают женщин как самые надежные убежища, бастионы из плоти и крови, крепкие или рыхлые, бледные или загорелые, такие разные, но удивительно похожие своей уверенностью и решительным шагом.

Маша одевается быстро, наскоро сушит волосы феном и спешит выйти на улицу. Толкнув тяжелую дверь, она чувствует, как живущий в бассейне влажный холод хлорки тает в морозном воздухе — до следующей недели, до никогда.

Белая папина «девятка» уже ждёт у остановки. Сегодня он не опоздал, и Маша издалека видит, как его руки стучат по рулю, отбивают ритм неслышной пока мелодии. Открыв дверь, Маша окунается в мешанину странных звуков — папа предпочитает удивляться музыке, а не наслаждаться ею.

– Потише сделай, а? Голова болит. — Про боль Маша соврала, но папа сочувственно улыбается и выкручивает ручку громкости влево.

– Машка, привет! Я устал как чёрт! Ты просто не представляешь, что сегодня было! У меня в машине мужик помер, вот на том месте, где ты как раз сидишь!

– Пап, поехали уже, я есть хочу.

– Да ты погоди! Дай расскажу!

Маша старается не слушать, смотрит на людей — стоят себе, ждут автобуса, думают о чём-то своём. Интересно, почему человек на остановках часто делает такое презрительно-независимое лицо, будто бы он только сегодня вынужден опуститься до общественного транспорта, а обычно добирается до цели как минимум на личном вертолёте?

– Да ты послушай, послушай! Я их на Курчатова подобрал, без вызова, думал, подброшу за сотку, если по пути! Бабка вся в чёрном, и мужик с ней, ну, дед, скорее. Жёлтый весь, как мумия. Сел, двумя руками в бардачок упёрся и гудит. А бабка сзади устроилась и кричит, типа, в больницу вези.

– Гудит? — без любопытства переспрашивает Маша, поняв, что помолчать не получится.

– Ну! Низко так, а громко, даже через музыку слышно! Я ему, типа, ты чего, дед? А он ничего не отвечает, а бабка сзади верещит, что болеет он, больно ему, срочно вези! А он, представь, вот так сидит!

Папа выставляет руки вперёд, иллюстрируя рассказ.

– Держись за руль, пожалуйста, — напоминает Маша.

– Да ты слушай! Ну, я думаю, раз такое дело, повезу в краевую — там недалеко. По газам, на красный, за десять минут добрались. А как машину у ворот заглушил, слышу — он замолчал. И бабка молчит, хотя всю дорогу орала — быстрее, быстрее. Сидим, короче, все, и молчим. Ну, я потом вылез, пошел искать там хоть кого-то, какую-то санитарку нашёл, говорю, у меня там дед гудел, а теперь молчит. Пока разобрались, пока прислали кого-то. Вытащили его, унесли. А бабка мне говорит, типа, молодец, сынок, быстро вёз. Визитку взяла зачем-то и пошла за дедом вслед.

– Ага, всё ясно. Пап, в магазин не забудь, масло кончилось. — Маша зевает и ёжится — замёрзла.

Папа сворачивает к магазину, останавливает машину и выскакивает на улицу, не заглушая двигателя. Маша смотрит, как он бежит, оскальзываясь и махая руками для равновесия, без шапки, в распахнутой куртке.

На прошлой неделе огромная чернокожая женщина принялась рожать в его «девятке», но он знал секретную дорогу через дворы и успел доставить негритянку в роддом. А сегодня вот, мертвеца в больницу подвёз.

Маша с досадой думает, что папа постарел — когда она была маленькой, он не позволял своим историям повторяться. Она откидывается назад, поморщившись от прикосновения влажных волос к затылку, и закрывает глаза. Как жаль, что день ещё не закончен. Сегодня четверг, и папа знает, куда её нужно отвезти.

* * *

Эта новая девятиэтажка, выросшая посреди города совсем недавно, похожа на гигантский блестящий холодильник, утыканный сотнями мелких полуслепых окон, и в каком-то из них — Маша никак не может сообразить, в каком — наверняка маячит Мишкина голова. Он очень ждёт.

Папа смотрит на дом-холодильник, морщится и бормочет что-то еле слышно.

– Что, пап? — переспрашивает Маша, стараясь не смотреть в его лицо.

– Машка, ты там матери скажи, чтоб заканчивала дурью маяться, пусть возвращается. Скажи, что я работу нашёл нормальную, денег всем хватит, и Мишку обязательно отдадим на танцы. Скажи, что я её жду.

– Ладно, пап, я передам.

Там, где теперь живёт Машина мама, всегда пахнет стиральным порошком. И вообще очень чисто — Маша не помнила, чтобы мама раньше была такой усердной хозяйкой. Должно быть, Владимир очень любит порядок и расписание. Вот, например, Маша всегда должна приходить в гости по четвергам. Поначалу, скучая по Мишке, она несколько раз забегала без приглашения, но мама попросила больше так не делать — Владимир нервничает.

Маша аккуратно жмет на кнопку звонка и с большим удовольствием представляет себе, что бы сказал папа, если бы увидел нового маминого мужа. Владимир высокий, стройный и, в общем-то, даже симпатичный, но Маше кажется, что он упакован в невидимую смирительную рубашку. В старых романах таких называли «чопорными», однако папа наверняка придумал бы что-нибудь посмешнее.

Дверь открывает мама с незнакомой улыбкой и странным выражением лица. Маша до сих пор не может понять — маме стыдно? Гадко? Скучно? Пока Маша снимает пальто, мама стоит рядом близко-близко, и Маша хочет сказать ей то, что папа просил, но в коридор влетает Мишка, взъерошенный и счастливый.

– Маша! Ты пришла! Я так тебя ждал! Пошли скорей заниматься!

Следом за Мишкой, шлёпая твёрдыми пластиковыми тапками, идёт Владимир. Он говорит, растягивая слова и приседая на гласных буквах — это вызвало бы в папе ещё больший смех.

– Да, Михаил, сестра пришла. Но это не повод для топота. Сейчас будем ужинать, занятия после. Здравствуй, Мария, проходи.

Маша до сих пор хвалит себя за находчивость — несколько месяцев назад, увидев, что Владимир с трудом выносит её визиты, она предложила бесплатно заниматься с Мишкой математикой. Новый мамин муж чрезвычайно практичен и быстро сравнил ущерб, наносимый одним неприятным вечером в неделю, с расходами на репетиторов. Теперь он почти радушен.

Чаще всего ужин проходит в молчании, прерываемом только одобрительным «М-м!», издаваемым Владимиром при смене блюд. Но сегодня Владимир необыкновенно разговорчив и оглядывает Машу как-то по-новому, оценивающе.

– Мария, — говорит он и сопровождает обычным «М-м!» поставленную перед ним салатницу. — Мы с твоей мамой хотели бы предложить тебе раз и навсегда изменить твою жизнь! Тебе интересно узнать подробности?

Маша видит, как мгновенно краснеет Мишка,но кивает.

– Мы знаем, как тяжело тебе живётся. Учебное заведение некачественное, непрестижное, кем ты там будешь — менеджером, бухгалтером? И вдобавок другие... эээ... семейные обстоятельства. Это путь в никуда, полная бесперспективность, а мы, как твоя семья, не можем такого допустить! Как ты знаешь, к лету мы планируем достроить дом, и хотели бы, чтобы ты переехала туда с нами. Свежий воздух! Ежедневные прогулки! Твоя мама рассказала мне, как ты любишь плавать, и!.. — Владимир наклоняется вперёд и придает голосу немного доверительности, — ...и я попросил включить в архитектурный проект — внимание — бассейн!

Маша молчит и смотрит в тарелку, белую, без сколов и трещин, похожую на чистый лист бумаги с нарисованной на нём отбивной.

– Знаю, это так неожиданно, можешь даже ничего не говорить нам сейчас! — продолжает новый мамин муж. — Такие удивительные жизненные перемены трудно осознать мгновенно! Но у тебя еще почти полгода, чтобы привыкнуть и... э-э-э... закрыть свои обязательства. С твоей учёбой, думаю, мы разберёмся, — Владимир ободряюще улыбается и берёт вилку. — Всё можно решить, а возможности у нас имеются.

Все долго жуют суховатое мясо, а после пьют чай с трескучими вафлями. А когда стол пустеет, сидят в тишине: Владимир одобрительно улыбается сам себе, мама моет посуду, а Мишка с Машей поглядывают в сторону детской.

– Ну вот, теперь можно браться и за математику, да, малыши? — пошутил хозяин дома и встал, давая понять, что время тёплой семейной трапезы истекло, и пора отрабатывать съеденное.

В детской Мишка быстро обнимает Машу и коротко, жарко плачет, уткнувшись в её живот. Раньше она плакала вместе с ним, но теперь не позволяет себе расслабиться и просто гладит его по голове тихонько.

– Маш, Маш, ты поедешь с нами жить в этот дом? — шёпотом спрашивает

Мишка. — Я очень хочу, чтобы ты поехала! Только папа как? Я же тогда не смогу ничего про него знать, и кто будет ему помогать? Звонить ему нельзя, письмо писать нельзя, ему к нам в гости нельзя, и меня к нему не пускают, а я просил маму! Скажи мне, как у него дела? Он кого-нибудь спас на этой неделе?

Маша опускается на колени рядом с Мишкой и рассказывает ему, что в воскресенье папа спас тётю и её ребёнка, а сегодня старенького дедушку, а теперь папа отдыхает, потому что очень устал.

Мишка слушает очень внимательно, и на лице его счастье.

Потом они садятся за письменный стол. Учебник по математике, клетчатые тетради, ручки и карандаши безмятежно греются под настольной лампой, а за окном тем временем рождаются быстрые и тревожные сумерки — такие бывают только в самой середине зимы, когда кажется, что целый мир останавливается и перестаёт жить.

Час проходит быстро, и Владимир уже выразительно покашливает за дверью. Мишка слышит этот кашель и снова обнимает Машу словно бы на прощание, а потом вдруг шепчет ей на ухо:

– А ты же знаешь про звезду Сирень? Знаешь, что она всегда рядом с нами?

Маша вздрагивает и сначала страшно злиться на отца — надо же, успел рассказать, и когда умудрился! А потом злость уходит, и остаётся страшное бессилие: ничего не исправить, ничего. Она дотрагивается до колючей Мишкиной макушки — как же коротко его стали стричь — и шепчет в ответ:

– Да, Мишут, конечно.

* * *

Как ни крути, время умеет быть милосердным. Инструментов у него предостаточно: и жёлтый ночник, и мягкая кисть, и маскировочная сетка. Время жалеет нас, неразумных, и никогда не торопится, хотя мы подгоняем его криками и пинками. И пока мы бьёмся, огрызаемся и плюёмся, время тихо следует за нами, подбирает оброненные в пылу жизни сокровища и уносит их в особую комнату — каждый знает, где она, только мало кто хочет заглядывать туда по доброй воле. Но время уверено, что рано или поздно мы вернёмся и будем рыдать над треснувшими тарелками, выцветшими тряпками и порванными фотографиями.

Вот тут-то нам и понадобится помощь. И время охотно включит свой жёлтый ночник, смахнёт мягкой кистью пыль и пепел, набросит сетку с искусственными цветами и травой. И если зажмуриться и плотно прижать ладони к ушам, можно увидеть и услышать всё, что нужно.

В твоей особой комнате сокровищ немного. В углу валяется знакомая только тебе рухлядь: алюминиевый обруч, ветхие шторки в ситцевый цветок, зелёное кресло с деревянными ножками. Вещи кажутся беспомощными и обнажёнными, но одного лишь душевного усилия достаточно, чтобы они обрели свою давно потерянную значимость и яркость. Нет больше ветхости, нет больше пыли — инструменты времени работают отлично.

Проходи, не бойся. Становись вот здесь, у окна — в нём живет предчувствие рассвета. Темнота, дрожащая от мороза, вот-вот сменится серым утренним шумом, от которого ты просыпалась, тёплая, маленькая, хмурая — почти безмолвный человеческий комочек на ладонях большого города.

Скажи-ка мне, что ты помнишь о тысяча девятьсот восемьдесят шестом? Ты ещё не школьница, но уже не малышка. Тихие детские дела, папины сказки, мелкие игрушки на колючем ковре, жёсткие сапожки и тугая шапка. Странный возраст — младенческая безмятежность уже далеко, и разговоры

родителей нередко прерываются выразительными взглядами и шёпотом — мол, нельзя уже про такое, ребёнок всё понимает. А что тут поймёшь? Совершенно ничего не ясно.

Взрослые ходят большими шагами, смотрят большими лицами, и голоса у них тоже огромные, на всю квартиру. Некоторые взрослые мягкие и удобные — ловко берут на руки, гладят по волосам, спрашивают про куклу, кошку, детский сад. А некоторые пугают, потому что тычут внезапно твёрдыми пальцами в живот, а потом смеются очень громко.

У папы много друзей, они частенько заходят в гости, усаживаются на кухне, спорят и грозят кулаками старенькому чёрно-белому телевизору. Смотреть на них маленьким детям нельзя, и мама всегда уводит тебя в комнату, закрывает дверь и достаёт цветные карандаши. Ты рисуешь голоса — зигзаги и стрелы, а потом лица — на весь лист, красные, с усами.

Папины друзья странные и страшные. Но страшнее всех дядя Игорь — он очень толстый, высокий, носит тёмно-зелёный костюм, а на плечах у него мелкие золотые звёздочки, и ты никак не можешь сосчитать, сколько их там насыпано.

Но папа дядю Игоря любит и твердит, что они дружат с самого детства. Правда, дядю Игоря сложно представить маленьким мальчиком, наверное, папа опять всё выдумал.

Дядя Игорь приходил часто, но потом вдруг пропал, надолго. И вернулся лишь тогда, когда ты уже пошла во второй класс. Он перестал носить свой тёмно-зелёный костюм и уже не казался таким уж страшным, может, потому что ты подросла, а может, потому что сильно похудел, стал говорить очень тихо и дышать со свистом, как сдувающийся воздушный шарик.

Наверное, новый дядя Игорь папе не слишком нравился — встречались они редко, и вместо оглушительного хохота из кухни слышались лишь негромкие разговоры и звон посуды. А потом дядя Игорь и совсем перестал приходить — после того вечера, когда они с папой разругались в пух и прах.

Папа тогда стучал ладонью по столу и кричал, что не потерпит в своём доме мракобесия и кликушества, а дядя Игорь кричал в ответ, что сам, своими собственными глазами видел, что натворила звезда Полынь, и только божьи силы спасут его от смерти и ада. И ещё он кричал, что теперь твёрдо знает, что нужно делать, когда звезда придёт опять, а вот что папа будет делать, если она сию секунду рванёт прямо здесь, это очень интересно было бы посмотреть.

Мама, конечно, закрыла дверь, но это не помогало, и никакие цветные карандаши уже не смогли бы отвлечь тебя от папиного притворного смеха — ха-ха-ха, кричал он, звезда Полынь тебе на погоны!

Дядя Игорь ушёл, папа вернулся в кухню и оставался там один до самого утра, а утром ворвался в комнату и разбудил тебя и маму плачем, похожим на лай. Лицо у папы было белое, глаза белые, и руки он держал так, словно собирался царапаться.

Но ничего страшного не случилось. Папа запнулся об ковёр, упал и перестал плакать. Мама вызвала «скорую», папу забрали, но очень скоро отпустили домой, а дядя Игорь умер через четыре месяца в больнице. Перед смертью он попросил свою жену передать папе картонную папку с грязными веревочными тесёмками. Ничего интересного там не было — ты видела сама. Ничего, кроме газетных вырезок, мутных фотографий и православного календаря за 1991 год.

Твоя особая комната кружится, меняется, темнеет и светлеет. Отлетают в

небытие зелёное кресло и алюминиевый обруч, но время терпеливо подбирает за тобой другие сокровища — предметы, книги, звуки, запахи и дни — не только твои, но и чужие.

После смерти лучшего друга ежевечерние папины сказки изменились. Раньше он рассказывал тебе о космических путешествиях зайцев и кошек, сочинял весенние пчелиные песни или гномьи стихи, а теперь вдруг решил говорить о другом.

На тебя сыпались истории странные и страшные. О дедушке, затоптанном быком. О костях динозавра, найденных за пасекой. О дяде, талантливом архитекторе, убитом у собственного дома — семнадцать ножевых ранений насчитали, а убийц так и не нашли. О заброшенных ракетных шахтах в тайге. О бабушке, красавице полячке, вынесенной военным штормом в дикую Россию, менявшей бриллианты на муку, но так и не купившей себе долгую жизнь. О летающей тарелке, опустившейся на гору, сверкнувшей длинным лучом и улетевшей прочь. О любимой папиной овчарке, защитнице и подруге, отравленной и закопанной под яблоней. О змее, устроившей гнездо в старом деревенском сортире. О медведе, стучащем толстым когтем в замёрзшее окно.

Папа метался между деревенским детством и городской юностью, путался в именах и датах, смертях и рождениях. Пёстрый хоровод его мыслей оседал в твоей голове — не процедить, не перебрать, не найти, в чьей теперь памяти хранится толстый дядька с пупком на боку, плачущий от разлуки с любимой лётчик-космонавт, запертые в погребе голодные дети, пьяный моряк, рубящий топором кухонную дверь. Мог ли быть этому конец? Завершалась ли жизнь со смертью, если кто-то ещё помнил, как курил, пил и говорил вот этот мертвец?

Конечно, истории о прошлом, тем более о чужом, проверить уже не было никакой возможности. Но и в настоящем папу кружило и несло то по мелочи, то по-крупному. Он спасал взобравшихся на многоэтажку самоубийц, покупал голодающим булочки с маком, вынимал из реки котят, ловил за капюшон поскользнувшихся, утешал рыдающих — этакий городской супергерой в треснувших ботинках и кроличьей формовке. А потом рассказывал тебе о своих подвигах — без хвастовства, а так буднично, просто, вроде не так это важно, но было же, было.

Теперь уже и не вспомнить, в какой момент ты начала соображать, что все эти истории не могут быть правдой — их слишком много для одного-единственного папы. Наверное, примерно в то же время, когда поняла, что твоя семья вызывает в других людях недоумение и некоторую брезгливость. Когда увидела контраст между своей жизнью и упорядоченным, ровным существованием твоих одноклассниц. Когда стояла, замёрзшая до дрожи, у играющей серебристо-голубыми бликами ловушки бассейна, и слушала, как девочки смеются над твоим перешитым из маминого купальника костюмом. Когда осознала, что означают заботливо заплетённые косички, чистые туфельки, семейные прогулки, новые платья к каждому празднику, кудрявые щенки, домашнее печенье и плачущие в затейливо раскрашенной бумаге розы для учительницы на первое сентября.

Весь этот чётко осязаемый запах благополучия щекотал твои ноздри, тебе хотелось чихать и кричать во весь голос, как кричал папа после того, как дядя Игорь рассказал ему про звезду Полынь. И тяжкую ненависть вызывала одноклассница, рассказывающая, как её благонадёжный отец вдруг куда-то пропал аж на целый вечер. Ушёл пройтись с другом, а вернулся только

глубокой ночью. И как вся семья дружно обзванивала окрестные рестораны, потом больницы, потом морги, а гуляка пришёл в третьем часу ночи пьяненький — подрался где-то и даже пиджак немножко испачкал. И как они рыдали и обнимались и отзванивались родне по всему городу и стране — нашёлся, нашёлся! И даже в Казахстан звонили старенькой двоюродной тётке.

И плевать бы на новое платье, и даже на блестящие туфельки, если бы хоть кто-то из твоей семьи мог рваться и искать друг друга вот так, через тысячи километров. Папа пропадал частенько, но мама никуда не звонила и ничего не говорила, просто уходила на работу и приходила вечером, пила чай и так по-особенному, коротко и звонко, ставила пустую чашку на стол. А папы не было сутки, или двое, или неделю, а потом он возвращался домой с бородой, и от него пахло дохлой кошкой.

Когда мама забеременела, папа растерялся. Поутих, словно бы задумался, а потом нашёл себе занятие: стал готовиться к достойной встрече нового ребёнка. Рассказал Маше о столетнем аксакале, спустившемся в город прямиком с горных вершин для покупки спичек и мыла, заблудившемся среди одинаковых пятиэтажек и вышедшем к нужному магазину с папиной помощью. Аксакал отблагодарил папу тазиком тёмно-синего винограда и секретным рецептом домашнего вина, взмахнул бородой и побрёл обратно в сторону гор.

Папа долго хлопотал на кухне, давил податливую мякоть, переливал пенящуюся жижу в голубой бидон, колдовал с сахаром и дрожжами. Закончилась вся его возня трёхлитровой банкой мутной жидкости — папа плотно закрутил её металлической крышкой и объявил, что к новому ребёнку готов. Через неделю, глубокой ночью, мама уехала в роддом.

* * *

У младенца бесцветные, бессмысленные глаза — чистый лист, набросок человека. Младенец похож на толстенькую рыбку, он ничем не занят, и даже собой не интересуется. Младенец шевелится, просит молочного тепла, а потом снова затихает, уходит в сон, на сон-то и не похожий.

Комната наполнена странным туманом — только новорождённые умеют создавать этот желтовато-голубой, аккуратный полумрак тишины. Там, за дверью, шумит большой город, но здесь задёрнуты шторы, выключен звук и отменены резкие движения.

Маша никак не могла сообразить, на что стала похожа их небольшая комната, затенённая, приглушённая, освещаемая лишь намёком. А потом поняла — аквариум. Впрочем, подводная тишина продлилась недолго. Тихая рыбка, двигающаяся плавно и неуверенно, спустя два месяца обрела голос, да ещё какой. Младенец краснел всем телом, гневно сжимал кулачки и наполнял криком целый мир, от земли до неба.

Аквариум исчез, как и не было, солнце било в окна, кружились ситцевые и фланелевые флаги пелёнок, а спокойствие возвращалось лишь ночью, на несколько часов. Время словно пропало, всё кругом пропало — ни школы, ни книг, ни праздников, а только стремительная смена освещений и декораций — вот утро, и пахнет кипячёным молоком; вот день, и дребезжат по асфальту пластмассовые колёса; вот вечер, и зажигается круглый ночник.

Свои страшные, удивительные и невозможные истории папа теперь не вспоминал. Рождение сына он отмечал, но как-то без усердия, всего пару дней, а потом вообще забросил и друзей, и весёлые встречи, и бессрочные прогулки. Поговаривал о постоянной работе, охотно возился с младенцем, много читал. Что-то, сломанное смертью дяди Игоря, вернулось к нему, а

что-то ушло — как казалось, навсегда. Звенья дней скреплялись в цепочки недель, и ничего, абсолютно ничего не происходило, отчего жизнь вдруг стала похожа на счастье.

Взрыв раздался в субботу, незадолго до полуночи, разорвав на осколки уютный ночной полумрак.

Маша лежала, зажмурившись, мгновенно изъятая из тёплого убежища сна, в оглушительной после грохота тишине, и слушала, как кричит проснувшийся младенец и хрустит стекло под папиными тапочками.

Зажёгся верхний свет, и Маша открыла глаза. Светлые обои, белёный потолок, паруса пелёнок — всё было покрыто мелкими розовато-сиреневыми брызгами размером с копеечные монетки. Длинные тёмные потёки тянулись от батареи по ковру, сиреневые стрелы наискось украшали занавески.

Забытое папой домашнее вино, два месяца прятавшееся в стеклянной банке, превратило обычную комнату в творение буйного живописца, поклонника сиреневого и всех его оттенков. Сумасшедший художник побрезговал лишь человеческой кожей — ни одного пореза не оказалось, ни у кого.

Папа бродил по комнате с веником в руках, мама кормила младенца, закрывая его личико от яркого света, кажущегося глубокой ночью воспалённым и болезненным, а Маша свернулась клубочком на лишенной постельного белья кушетке.

– Это Игорь, — сказал вдруг папа и выпрямился. — Он же меня предупреждал. Звезда всегда появляется, когда не ждут. К нему вон Полынь приходила, с собой забрала. А к нам... — папа оглядел расписанную брызгами комнату, — а к нам, видать, Сирень наведалась.

И засмеялся тихонько. А мама заплакала. Звезда Сирень смотрела на них с потолка и стен, пахла ягодами и дрожжами, поблескивала стеклянной крошкой.

– Машка, хорошенько запомни! — папа стягивал с верёвки забрызганные пелёнки, бросал их на пол и говорил громко, нараспев. — Нам теперь ничего не страшно! Я всегда подозревал, что жизнь у меня особенная будет, только знака ждал. И вот он — знак-то! Видала, как рвануло? И хоть бы хны! — Он обмотал руку ситцевой, в цветок, пелёнкой, и осторожно доставал осколки из детской кроватки. — Сын вырастет — ему расскажу. Ты, главное, знай, мы все теперь как в броне! Покрепче саркофагов всяких! Ну что ты скукожилась? Замёрзла? На вот одеяло, я его вытряс уже. Да на пол не ступай, не ступай, я укрою.

Под одеялом Маша быстро согрелась и уснула, но даже сквозь сон слышала, как папа всё говорил, говорил, а мама ничего ему не отвечала. На следующий день Маша не пошла в школу, чему, впрочем, она огорчилась мало — в расписании был ненавистный бассейн.

В окружении сиреневых клякс на стенах и потолке они прожили ещё шесть лет. Папа гордился следами локального катаклизма и охотно приглашал к себе друзей: рассказать о взрыве, продемонстрировать его размах и показать себя — живое свидетельство чуда.

Всё стало как прежде. Гости, кухонный хохот, споры. О постоянной работе папа больше не вспоминал, перебивался случайными шабашками, пропадал где-то сначала днями, а потом и неделями. Всё стало как прежде, за исключением новой жизни, включившейся в это пёстрое месиво и ставшей её полноправным участником.

Младенец стал Мишкой — чудом, сердцем, любовью в растянутых синих колготках. Ему доставались самые удивительные папины сказки, похожие

на давние, Машины, но полные такого тёплого света и такой трепетной надежды, что хотелось плакать и петь. Наверное, однажды вместо сказки папа рассказал Мишке историю о звезде Сирени, о защите, что крепче любого бетонного саркофага, о знаках, дающихся лишь избранным и твёрдо обещающих счастье. Скорее всего, Мишка легко поверил папиным словам, ведь он верил даже тем историям, в которых папа помогал пожарным тушить зоопарк и выносил из огня задыхающегося крокодила. Впрочем, это всё было уже неважно, потому что звезда Сирень свои обещания не сдержала.

* * *

Когда Маша возвращается домой, на улице уже совсем темно.

Она жмёт на ледяные кнопки домофона, открывает тяжёлую дверь и поднимается на второй этаж. Подъезд наполнен разнокалиберным шумом: кто-то получает вечернюю порцию телеэфира, кто-то громко выясняет невыясненное, а кто-то издаёт оглушительный запах пригоревшего картофеля. Все попрятались по своим утеплённым норам, однако в подъезде Маша не одна.

Очень старая женщина в тёмном платке смотрит на Машу внимательно и серьёзно, наклонив голову набок и прижав руки к груди. Глаза её, чёрные и блестящие, словно бы маслянистые, отражают в себе скудный свет уставших подъездных лампочек.

– Девочка, Геннадий Сергеич здесь живёт? — спрашивает женщина у Маши, а та соединяет в голове безусловный кавказский акцент, две объёмистые спортивные сумки и пугается до сердцебиения. — А ты дочка, наверное? Чего лицо несчастное? Обидел кто? Отца-то позови, давно жду уже, звоню, не открывают, а я чую, что дома.

По вечерам папа любит слушать музыку в наушниках — так ему легче засыпается, но объяснять это неожиданной гостье Маше не хочется. Она отпирает дверь, проходит в комнату, стягивает с отца наушники и трясёт его за плечо.

– Пап! Папа! Тут к тебе пришли! Проснись!

Он открывает глаза и улыбается Маше так безмятежно, словно за окнами всё еще восемьдесят шестой, и в целой стране тихий полумрак, как в комнате с новорождённым, и скоро придут друзья, и никакие звёзды — ни зелёная, ни сиреневая — никогда не взорвутся.

– Геннадий Сергеич! — зовёт его черноглазая. — Иди сюда, дорогой. — И когда папа выходит в коридор, старуха вдруг падает перед ним на колени и плачет.

Папа смущён, но не удивлён.

– Ну чего ты, мать, ну чего ты, я ж, как мог, быстро ехал. Видать, судьба такая, ничего не попишешь — все там будем в своё время...

– Сынок, ты быстро ехал, быстро! — рыдает старуха, — и успел! Откачали его врачи, не помер! Лежит в больнице, велел тебя найти и благодарить, как могу! Не помер он, не помер, понимаешь?

Папа смеётся и поднимает старуху с колен.

– Не зря, значит, гнал! Ну, мать, крепкий у тебя дед, ещё сто лет проживёт!

Старуха тоже смеётся и долго кашляет, а потом достаёт из сумок брызжущие солнцем жёлтые яблоки, туго обтянутые королевским пурпуром баклажаны, отполированные до блеска помидоры и пучки влажной зелени, пахнущие летним дождём. Всё это ароматное, сочное великолепие, невозможное, невиданное богатство, сама жизнь — переливается в смуглых дрожащих руках, бесстыдно рассыпается по журнальному столику, креслу и ковру, а в комнате отчего-то становится светлее.

Старуха сворачивает опустевшие сумки. Она больше не плачет и ничего не говорит, а просто смотрит на двух людей, в растерянности стоящих рядом с разноцветной россыпью её благодарности. Потом отступает в темноту коридора, и словно растворяется там — чёрная на чёрном. А потом совсем уходит, и никто её не удерживает.

– Папа... — шепчет Маша, — так ты что, мне правду про старика рассказывал?

– Ну, Машка, ты даёшь! — сердится папа. — Ну когда я тебе врал, а? У меня такое правило: детям и женщинам только правду, и ничего, кроме правды.

– Ничего, кроме правды, — как эхо, повторяет его слова Маша, — ничего, кроме правды...

У неё кружится голова. Завтра она проснётся с высокой температурой — мокрые волосы после бассейна не пройдут даром. А пока Маша чувствует себя такой слабой, словно из её тела вдруг исчезло всё твердое, основное, а осталось что-то незначительное вроде холодца или пастилы.

Все папины истории, всегда бывшие призраками и бесплотной ложью, вдруг обрели весомость вероятного существования, а каждое слово из когда-то сказанных оказалось готово пройти дорогу от верю — не верю, яркого камушка в одном из трёх стаканчиков, платка в рукаве фокусника и кролика в его же шляпе, загадки без ответа, кривых зеркал и грязных стёкол до ослепительной, чистейшей истины.

Да и какая разница, была ли правда, если от всей жизни ничего не остаётся, кроме воспоминаний: тёплых сквозняков, вздохов, пыли в солнечных лучах. И закричит рожающая в машине чернокожая женщина, закивает седой головой аксакал, замашет лапой сердитый, замёрзший медведь, закурит позабытый всеми мертвец, улыбнётся юная, ничего ещё не знающая мама, и зажжётся над всеми нами горячая, всепрощающая звезда Сирень.

ТЯЖЁЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ

Коридор в поликлинике узкий и длинный, разбитый открытыми окнами и закрытыми кабинетами на четкие квадраты солнца и темноты. Синие стены, гладкие, крашеные масляной краской — от этих слов у мальчика во рту становится скользко, как после бутерброда с сыром.

Когда болит горло, долго идти по коридору не нужно — доктор с плоскими железными палочками сидит за третьей от входа дверью, а рядом с его кабинетом нарисован заяц на толстой радуге. Половину зайца прикрывает плакат — раньше мальчик просто смотрел на красные буквы и картинку с двумя розовыми ладошками, а теперь складывает буквы в слова — «чистота — залог здоровья». От железных холодных палочек неприятно, но совсем недолго — доктор с грохотом кидает инструменты в миску и отворачивается. Пока он царапает ручкой по рыхлым бумажкам, можно тихонько смотреть на цветные календарики, плотно прижатые к столу тяжелым стеклом. На календариках кудрявые люди — улыбаются так, словно бы у них никогда и ничего не болит.

Если нужно сдать кровь, мальчика ведут дальше — через три светлых и темных квадрата коридор поворачивает налево, а там опять железные палочки, только не плоские, а острые и злые. Мальчик не плачет, когда женщина со стертым лицом тянет его за руку, не плачет, когда на подушечке паль-

ца вырастает блестящая бусинка крови, и не выдерживает только в самом конце — когда стеклянная пробирка уже сыта, и мокрая ватка пахнет холодом.

Узкий коридор скрывает еще много всего неприятного — где-то в нем есть просторная комната, в которой мальчику зашивали разбитую коленку, в каком-то темном кабинете включали загадочный кварц — трубку с желто-зеленым светом и запахом жареной пыли, а совсем рядом с кварцем притаился э-лек-тро-фо-рез — мокрый, странный, с путаницей присосок и проводов.

Но сегодня мальчик прошел мимо доктора с палочками для горла, привычно съежился у поворота к крови, но нет, нет, мама шагала все дальше, и открыла двери кабинета незнакомого и почти полупустого.

За мамой шагал недовольный врач — мальчик знал, что его зовут педиатр — и от этого слова в голове отчего-то становилось музыкально.

– Что за день такой, — бормотал врач, — все ломается... Вот, мамочка, ставьте сюда ребенка.

Мама ничего не ответила, и просто показала мальчику на весы — белую платформу с палкой и расчерченной как линейка перекладиной.

Мальчик прошел по пружинящему под ногами линолеуму и шагнул на жалобно звякнувший железный квадрат. Он не стал смотреть, как доктор суетился с гирьками и дергал перекладину — в четвертый раз это было уже неинтересно.

И мама на этот раз даже не подошла к весам, не заглядывала через плечо, а издали, от самой двери смотрела на мальчика — худенькие руки, острые коленки, торчащие после недавней стрижки уши. Мальчик оглянулся на нее, и ему на секунду показалось, что мама сейчас развернется, выйдет за дверь и рванет по узкому коридору — прямо по светлым и темным квадратам, прочь из больничной прохлады на ровное тепло самого обычного весеннего полудня.

Но мама не убежала, и терпеливо дождалась, пока доктор простучит и продергает намертво застрявшие весы.

– Вот что, мамочка, я вам дам сейчас направление, свозите ребенка на Горького — там спортивная гимнастика, тренажеры — у них и весы новые, не то, что наша рухлядь. Там заодно и массаж получит, ему не помешает, для аппетита — вон какой худющий.

– Не нужно, — сказала мама, — мы как-нибудь в другой раз придем, если что-то будет беспокоить. Паш, иди сюда.

Мальчик шагнул с весов вниз — перекладина сразу оживилась, резко застучала железным клювом — и пробежал по кабинету к маме. Дверь за мамой и мальчиком закрылась, доктор пожал плечами и вернулся к весам — встал на них сам, привычно отрегулировал гирьки — все работало без проблем. Доктор махнул рукой и пошел к себе, не заметив маленькие ямки, впечатанные в линолеум и почти похожие на отпечатки от долго простоявшей на одном месте мебели. Почти — на самом деле эти следы мебельных ножек больше походили на выдавленные прямо в линолеуме стельки — от маленьких пыльных сандалий, например, с потертыми ремешками и твердой подошвой — в самый раз для пятилетнего мальчишки.

***

По утрам двор выбрасывал белые флаги — пока Пашка еще спал, соседки успевали развесить по веревкам хлопочущие полотна простыней и пододеяльников. Мальчик выбегал во двор, еще чувствуя в себе мягкое кухонное тепло — чайное, сметанное, печёное, — и выдыхал в безлюдный двор свое

утро. Взамен получал прохладу шумных листьев, далекую музыку из открытых окон и солнечные брызги на бельевых парусах. Почти не касаясь ногами земли, Пашка бежал к простынному лабиринту, открытому для каждого, кто знает правила игры — войти, раскрутиться на одном месте, пока все в глазах не перемешается — и белый, и розовый, и цветы, и полоски — бледные, выцветшие от постоянной солнечно-ветряной сушки.

А потом все случалось само собой — дальше правил не было. Лабиринт шевелился, сжимался и расширялся, открывал и закрывал, касался и отпрыгивал — бежать надо было очень быстро, и смотреть вверх, чтобы видеть только чистые полотна и свежевыстиранное небо. В игре не было победы, не было и проигравшего — только один игрок и его путь между светом, шумом и запахом.

Соседки на беготню не сердились: Пашку жалели — один у матери, и она у него одна. В сад не ходит, и как в школу пойдет, непонятно — дикий мальчишка, но, правда, тихий, не пакостный. Любит, видать, когда чисто — все крутится у мокрого белья, и ни разу не запачкал. Дурачок вырастет. А может, и нет — всяко в жизни бывает.

Потом Пашку стали жалеть еще больше, когда беда к нему прицепилась, и не болезнь вроде, а странность какая-то. Пашка вдруг стал тяжелый — а был он тощий, маленький, ушастый — а тяжелый стал как куча булыжников. Сначала в квартире паркет потрескался, потом доски в общем коридоре на излом пошли, а потом и утреннюю беготню между простынями пришлось прекратить — Пашка проходил между рядами развешанного белья, и плотная земля мялась, трескалась и пылила под его ногами.

Теперь по утрам Пашка очень аккуратно и медленно спускался во двор — хорошо, что жил на первом этаже, и ступеньки в подъезде были бетонные, не дерево. Скучно ему не было — он садился в траву, любовался запретным теперь лабиринтом, слушал, как дышат и аплодируют бельевые паруса. Тяжести своей Пашка не чувствовал, но если долго сидел на одном месте, ощущал себя магнитом — его мягко, но упорно тянуло вниз, куда-то в глубину, мимо травы, земли и камней. Где-то там был центр планеты — мама говорила, что в нем очень горячо и жидко, примерно как в кастрюле с борщом.

После похода к врачу мама совсем загрустила. Она боялась, что Пашка потяжелеет еще больше, проломит пол и упадет в подвал. Она боялась соседок — кому захочется жить рядом с мальчиком, ломающим паркет как сухое печенье. Она все представляла себе, как состарится и умрет, а Пашка вырастет, тоже состарится и будет медленно ходить по квартире, кроша и продавливая дощечки, вскрывая странный подпаркетный мир, а в нем черную пыль, серые комки, бесцветные стружки столетней давности.

Но соседки не злились — даже странно, обычно поводы для гнева и междуквартирной войны находились легко, а тут никто и слова плохого не сказал. Наоборот даже, мужиков своих попросили пол в Пашкиной квартире укрепить — досками и плиткой.

А Лидия Петровна с третьего этажа, уж на что мегера, и то дала Пашкиной маме телефон и адрес какой-то загородной бабки — гадает, и травами лечит, и ворожит, и даже порчу наводит за дополнительную плату — а вот с детей денег не берет.

Соседки Лидию Петровну сначала не одобрили — жалость жалостью, а вдруг как Пашкина мать решит мужа чужого уворожить? Чтобы круглосуточно вокруг своего пацана укрепления строить? Но потом забылось как-то волнение, что теперь про этих бедолаг думать, своих дел нету что ли.

* * *

В огороде у бабки-гадалки росли пионы — лохматые, сочные. По периметру малина, у крыльца кусты смородины, а подальше, за непонятной травой — морковка и вспыхивающие красными огоньками клубничные грядки.

Мама постучала в окно веранды — небольшие квадраты деревянной рамы, плотно завешанные изнутри занавесками, отозвались звонким, пустым дребезжанием. Пашка осторожно прижал нос к стеклу и увидел дохлую осу, навсегда запутавшуюся лапками в мелких кружевах, и выцветший автобусный билет, торчащий из треснувшей деревяшки.

Гадалка оказалась не бабкой — совсем не старая, румяная, с завитой челкой. Пригласила в дом — и неодобрительно зацокала языком, услышав, как трещат под Пашкиными ногами толстые доски пола. Маму усадила на стул, Пашке велела стоять смирно, а потом достала полотняный мешочек с чем-то мелким, сухо стучащим, потрясла его хорошенько и высыпала прямо на пол камушки, цветные, ровные, как игрушечные.

Пока гадалка хмыкала, чесала подбородок, водила ладонями то над Пашкиной головой, то над камнями, мама смотрела в окно.

– Мальчик у вас тяжелый, — строго сказала гадалка.

– Я знаю, — мама кивнула и затосковала, представив, как долго теперь добираться до города — уже почти вечер, пробки, и завтра на работу, а Пашке опять нужны новые ботинки.

Солнце садилось беззвучно, как всегда, буднично и тревожно окрашивая оранжевым чистенькую гадалкину комнату. Пашка разглядывал кошку, дремавшую в уголке кресла, и удивлялся, почему она пятнистая, а не черная. Все было понятно и скучно, гадалка могла бы высыпать на пол не камешки, а куриные косточки или леденцы, могла бы лить прямиком на белобрысую Пашкину голову мокрую кофейную крупку, мед или желток — ничего бы не изменилось. Маме вдруг перестало быть страшно — ну тяжелый мальчик, подумаешь, зато крепко стоит обеими ногами на земле. Куда хуже было бы, если бы он стал легким, как воздушный шар — с первым же ветерком унесло бы.

Потом гадалка мятым почерком записывала названия трав — тысячелистник, крапива, календула, ромашки чуток, на водяной бане томить, пить перед едой. Можно крапивы добавить, или укропа — от лишней тяжести. Денег не взяла, велела явиться через месяц на проверку и навсегда исчезла из Пашкиной жизни вместе со своими растрепанными пионами, цветными камешками и сочным призывом позднего загородного лета.

* * *

Когда наступила зима, Пашка не стал легче или тяжелее — и мама как-то привыкла к его медленным шагам и аккуратным движениям. Ее дурные предчувствия ушли, осталась только печаль и обида, а мир стал черно-белым, зимним, приглушенным — от утра к утру, от воскресенья к воскресенью, от третьего до семнадцатого.

Зима пришла навсегда — так казалось Пашке, глядевшему по утрам в окно на ровный двор, разом потерявший все свои паруса. После обеда Пашка бродил по заваленным снегом газонам, оставляя за собой глубокие следы — словно странное, никем не виданное животное.

В конце декабря мама вернулась с работы веселая, с билетом на детскую елку в центральный городской театр.

– Там полы очень крепкие, мраморные, я сходила, глянула! И лестница

тоже! — мама обнимала Пашку и улыбалась. — Дед Мороз будет, и сказка про новогодние приключения!

Приключения Пашку не заинтересовали, а вот Деда Мороза он решил хорошенько обдумать. Собственная тяжесть ему почти не мешала, но вот мама очень переживала — он слышал, как она плакала летними ночами, после гадалки, и осенью, после сломавшейся кровати, и только зимой слез не было слышно — наверное, замерзли.

– Мам, а Дед Мороз будет настоящий? — на всякий случай уточнил Пашка, потому что помнил, как в прошлом году, когда он был еще обычный, легкий, увидел на улице сразу двух Дедов Морозов, но без бород и усов, и мама тогда объяснила ему, что это актеры, как в фильмах.

– Конечно, настоящий, — ответила мама и быстро ушла на кухню.

Елка была удивительная — Пашке хотелось просто постоять с ней рядом и хорошенько рассмотреть путаницу блеска, цвета и запаха. Елка была как простынные паруса — дорога к чудесам, доступным только тем, кто знает, как. Пашка не знал, как, поэтому отошел подальше, чтобы ничего не испортить.

Легкие дети в костюмах зверей скользили по гладкому мраморному полу — разбегались и почти летели вперед, натыкаясь друг на друга, теряя хвосты и уши, потея и хохоча. Пашке к ним было нельзя, да и некогда было бегать — Дед Мороз должен был появиться совсем скоро.

Детей становилось все больше — от пестрой толкотни и шума Пашке тоже стало весело и щекотно в животе. Разбежаться и пролететь по скользким мраморным плитам он не решился, оглянулся на маму, а она кивала в такт словам какой-то рыжей тетеньки в очках.

Пора, решил Пашка, и медленно, словно бы рассматривая елку со всех сторон, двинулся к белой двери в конце зала. На ней висела табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен» — по всему выходило, что Дед Мороз должен был появиться именно оттуда.

Никто не увидел, как Пашка открыл запретную дверь и шагнул в полумрак какой-то комнаты с кучей проводов на полу и стенах. В углу валялся стул без ножек, огромный пакет с мишурой и два красных шара вроде тех, что висели на елке.

Дед Мороз сидел на другом стуле, не сломанном — в одной руке серебряная толстая палка, в другой — плотно набитый мешок.

– Эй, мальчик, ты куда? Сюда детям нельзя, — лениво пробасил он, но, поглядев повнимательней на Пашку, как-то смутился, — ты чего, потерялся что ли? Ну-ка, иди сюда.

Пашка подошел к Деду Морозу совсем близко, увидел красные щеки — немудрено, с самого севера столько проехать по холоду, — и седую, почти белую бороду. От Деда Мороза пахло мокрыми ватками, которые прикладывают к пальцу после жадных больничных пробирок, и еще немного котлетами.

– Я попросить хотел, можно? — Пашка вспомнил, что нужно обязательно сказать вежливое слово. — Пожалуйста...

– Подарок хочешь? — спросил Дед. — Ну давай, залезай в мешок, что схватишь, все твое.

– Нет, спасибо, подарок не надо, — Пашка мотнул головой, — я хочу, чтобы мама не огорчалась.

– Ааа, нее, никак не получится, — протянул Дед Мороз, — ты же знаешь, я только детей веселю, а взрослые уже сами с собой разбираются. Пойдем, пора уже — слышишь, зовут?

Из зала действительно слышался неровный хор легких, праздничных детских голосов:

– Дед Мороз! Дед Мороз!

– Пойдем, — повторил Дед Мороз, и кое-как встал со стула — должно быть, очень устал с дороги.

Пашка хотел еще спросить, где его лошади, и умеет ли он заживо замораживать непослушных детей, и отчего в подарках всегда так много невкусных карамелек и только одна шоколадка, но Дед Мороз уже подошел к двери.

– Я выйду сейчас, стих скажу, потом свет погасят, а как заорут — елочка, гори, ты и выбегай, чтоб никто не увидел.

Дед Мороз открыл дверь, махнул серебряной палкой и заголосил своим ленивым басом:

– Здравствуйте, детишки!

Пашка подождал, пока Дед прокричит свои стихи, подождал, пока дети поздороваются с Новым Годом, подождал, пока погасят свет, и все дружно начнут просить елочку — гореть.

Потом он тоже открыл дверь и шагнул в полную разноцветных огоньков темноту.

* * *

По вечерам, когда дом, и двор, и целый город накрывал колпак темноты, мама и Пашка играли в особую игру.

Мама брала ручку и лист бумаги, они садились у стола и придумывали, что сделает Пашка, когда опять станет легким.

Самые первые записанные дела были простыми и незамысловатыми: сходить на каток и в бассейн, прогуляться по деревянному мостику над мелкой городской речушкой, поиграть в мяч, прокатиться на лошади и залезть на дерево.

С каждым вечером список рос — к нему прилагались рисунки, на которых Пашка старательно изображал свою будущую радость. Прыжки и бег обозначались множеством длинных волнистых линий, отчего казалось, что нарисованный мальчик дымится или, может быть, светится.

Когда простые дела были записаны, Пашка принялся фантазировать — просил записать, как он полетит на самолете, совсем один, пилотом, как прыгнет потом с парашютом и приземлится прямиком в океан — а там уже опустится на глубину, познакомится с китом и найдет сокровища.

Мама послушно записывала, а потом ждала, пока Пашка нарисует свою новую мечту. Спокойно ждала, глядя на его руки — самые обыкновенные, в разноцветных пятнышках от фломастеров.

Она думала о том, что какая-то черта уже перейдена, и ждать больше нечего, и нужно брать вот это все, что предложено, прижимать к груди и радоваться — потому что другого нет, и не будет. Она думала о том, что обижаться на жизнь совсем глупо — ну, в самом деле, как можно обижаться на свет, дыхание и тепло. Одиночество уже не пугало — оно казалось смыслом происходящего, обязательным спутником зимы — вместе со всеми ее снегами и стылыми утренними рассветами.

Потом они складывали листики в стопку и убирали в буфет, пили чай с пухлыми пряниками и вареньем, и ложились спать — мама на диване, Пашка на полу — на толстом, древнем матрасе с окаменевшими пружинами.

Зима тем временем текла мимо, просачивалась внутрь, замораживала окна и подъездные двери, делала железо звонким, дерево мертвым, небо хрупким. А потом зима вдруг кончилась — в который раз — раз и навсегда.

* * *

В тот день солнце сошло с ума — еще вчера тихо, скромно дотрагивалось до плотных сугробов, а сегодня беспощадно, жадно и весело принялось пожирать остатки холодов. Снег мгновенно растерял всю свою суровость, и уже к обеду город до самых краев наполнился плещущей капелью.

Мама и Пашка возвращались со своей обычной, медленной и аккуратной прогулки — домой, к пшенной каше и куриному супу. Пройдя вслед за мамой сквозь узкую теневую подворотню, ведущую к дому, Пашка даже зажмурился от восхищения. Еще несколько часов назад двор спал снежным сном, а сейчас весь окунулся в солнечный свет и сверкающие ручьи. Прямиком с крыши к Пашкиным тяжелым ногам лилось расплавленное золото тающей воды — драгоценное, живое, несущее жизнь и весну. Пашка замер, подняв голову, глядя на водяные, наполненные светом искры, и крикнул маме, уже подошедшей к подъезду:

– Мам, я сейчас! Посмотрю и приду!

– Пять минут! Я ставлю чайник! — ответила мама и скрылась в подъездной темноте.

Вокруг Пашки шумела вода — непривычная, легкая, солнечная. Она падала справа и слева, впереди и позади — маленькими городскими водопадами, живущими всего несколько часов и смывающими холод с потускневших за зиму сердец.

Мальчик протянул руку к самому яркому, ослепительному ручью, и, конечно, не услышал, как движется, царапая крышу, полупрозрачная ледяная пластина — вниз, по скользкому, согретому весной скату, к пропадающему на глазах снегу, лужам и еще спящей в глубине газонов траве.

Пашка сделал еще шаг и подставил под плавленое солнце свое бледное лицо, обжегся холодным ручьем, встрепенулся, мокрым воробьём метнулся влево и замер вдруг от скрежета, грохота и звона — ледяная пластина навсегда простилась с насиженной крышей и раскололась на острые неровные звезды у Пашкиных ног.

Под ударом асфальт дрогнул, и Пашка вдруг почувствовал, как исчезает из его середины стальная тяжесть — как будто чьи-то руки выдернули и отшвырнули прочь крепкую палку, на которой он держался весь этот год — плотно прикрепленный к земле вроде коллекционного жука.

От внезапной пустоты внутри Пашка словно бы пропал на секунду, а потом появился обратно — прежний, самый обыкновенный живой мальчик в промокшей вязаной шапке, очень спешащий домой.

Мама тем временем сидела на табуретке в одном сапоге, и не столько слышала, сколько чувствовала, как Пашка летит по бетонным ступенькам, не касаясь перил, как спотыкается и скользит по латаным доскам общего коридора — почти кувырком, почти бесшумно.

А потом он заколотил лёгкими, мелкими кулачками в дверь.

НЕВИДИМКИ

Рассказ

Звёзд с неба Ильин не хватал. Ему вообще ни разу не удалось ухватить чего-нибудь особенного, кроме, разве что, Катцыной. Острая фамилия, носик острый, тонкая какая-то вся, неуловимая. А поди ж ты, Ильину в руки далась.

Он всё переживал, что досталась она ему по ошибке, и утешал себя, рассуждая так: если долго было очень-очень плохо, по закону равновесия когда-то должно случиться что-то замечательное. Верил Ильин во вселенскую справедливость, но всё же пугался внезапной щедрости небес к нему, средней руки человеку, тихо сидящему в кабинете с двумя сослуживицами. Но за Катцыну высшие силы только благодарить. Цветные ноготки, сетчатые колготки, дивное диво, составленное из флакончиков, сумочек, помад, пудры, кисточек, щёточек и коробушек. Если у Ильина оставалась на ночь, то вечером, перед сном, раскладывала свои вещички ровными рядами, похожими на длинный патронташ. Щёлкала застёжками, вжикала замками, а потом замолкала у зеркала, гипнотизируя сама себя внимательным взглядом и растирая колдовские зелья от середины лба к вискам.

Наведя ночной, а после утренний морок, Катцына скручивала боезапас и уезжала — чуть раньше, чем Ильин. Работали они на одном этаже — Катцына в кадрах, а Ильин в бухгалтерии. Роман свой водили тайно, кивали друг другу, встречаясь в коридоре, и расходились в разные стороны, как чужие. Ильину от такой секретности в солнечном сплетении становилось щекотно и сладко, а что творилось внутри у Катцыной, никому не было ведомо.

А когда Ильину дана была отставка, а Катцына стала здороваться с начальником отдела планирования, мир окутала тоска. Вселенская справедливость торжествовала, и ясно было одно — вот это появившееся и ушедшее счастье звездой будет сиять на одной чашке весов, а всё, что осталось, и что будет после, пыльным комком осядет на другой.

Пока вселенная приводила свои дела в порядок, Ильин шёл по улице совсем один. Потеплело. Прохожие расстёгивали куртки и распускали удавки шарфов, отдуваясь и краснея. Ильин тоже распахнулся, подставляя грудь весеннему ветру — пусть выдует всё горькое и лежалое. Но ветер справлялся плохо, Ильин уселся на скамейку и спрятал лицо в ладони, стесняясь чужих взглядов, но не в силах открыть дрожащее, обнажённое, обиженное лицо.

– А за городом сейчас хорошо.

Женский голос — самый обычный, ровный и спокойный, зазвучал у левого плеча Ильина так неожиданно, что он поперхнулся непролитыми слезами и поднял голову.

Девушка сидела рядом, смотрела на него без всякого сочувствия, но с любопытством. Она была удивительно не похожа на Катцыну — ни ярко выкрашенных ногтей, ни разглаженной до блеска чёлки, ни обведённых чёрной дымкою глаз.

– Мне одной как-то скучно по лесу бродить. Может, вы со мной погуляете? — спросила незнакомка.

Сначала Ильин подумал, что это мошенница, мечтающая заманить его в укромное место и ограбить, и даже представил, как выскакивают перед его лицом угрюмые твердолицые крепыши с ножиками в руках. А после полицейские вывесят у дежурной части, на той самой, страшной доске с непойманными преступниками и ненайденными мертвецами нечёткую копию и его фотографии, а Катцына пойдёт мимо и даже не признает. Потом Ильин решил, что прячутся где-то за спиной девушки весёлые операторы, с ног до головы вооружённые камерами и микрофонами, и скоро его покажут по телевизору с вытаращенными от изумления, глупыми глазами. А Катцына увидит и скажет начальнику отдела планирования: «Всегда знала, что он придурошный». И размажет по щекам зеленоватый вечерний крем.

Прищурившись, Ильин огляделся по сторонам. Ни крепышей, ни мик-

рофонов поблизости не было видно. «Ну и пусть!» — подумал он про себя, а вслух сказал:

– Почему бы и нет.

* * *

Неповоротливый, тяжёлый автобус, пыхтя, взбирался в гору. Ильин, смущаясь, смотрел в окно. Ему было стыдно — и от собственного молчания, и от невозможности вымолвить хоть что-нибудь. Его неожиданная спутница тоже ничего не говорила, но никакой неловкости не испытывала и поглядывала на окружающих с каким-то странным, тёплым интересом, словно все находящиеся рядом люди были собраны здесь нарочно, для её развлечения.

Выйдя из автобуса на конечной остановке, Ильин поёжился — за городом было куда прохладнее. Шагая за незнакомкой по узкой тропинке, он смотрел на её скромное клетчатое пальто и вспоминал катцынские шубки — коротенькую, из выкрашенного в сиреневый цвет кролика, и длинную, из нежного белого бобра. Катцына так хотела заполучить третью — что-нибудь из соболя... К соболям уже готовы и замшевые высокие сапожки, и толстые браслеты, и звонкие серьги. И сама Катцына уже давно готова нести переливчатый меховой кокон, небрежно наброшенный на плечи. Но что-то не складывалось в её жизни, и никак не получалось у неё попасть, куда хочется, нарядившись, во что мечтается.

– Меня Аля зовут, — не оборачиваясь, сказала девушка, и Катцына, сверкнув драгоценным холодным огоньком, на время унеслась из мыслей Ильина. — Я раньше частенько тут бывала, — Аля замедлила шаг, поравнялась с Ильиным и взяла его под руку. — У меня был колчан со стрелами и накладные уши.

– Уши? — переспросил Ильин.

– Ну да. Треугольные такие, эльфийские. И зелёный плащ.

Она остановилась, сошла с тропинки на ржавую прошлогоднюю хвою и потянула за собой Ильина. Ещё не отошедшие от недавних холодов сосны тянулись к бледному небу настороженно и безучастно. Ильину стало неуютно, захотелось вернуться в город, к автомобильному шуму и толпе, тонким асфальтовым трещинам и светлым квадратам окон.

У поваленного дерева с тёмной, отсыревшей, мёртвой корой Аля остановилась.

– Далеко не пойдём. Вам и так не по себе. Давайте здесь посидим и обратно. Мне просто поговорить очень хотелось, и в лес. Садитесь. — И она похлопала черной вязаной перчаткой по погибшему стволу.

– Только представьте, — продолжила она, — какая я была потешная ещё лет пять назад! Отправлялась сюда совсем одна, носилась между деревьями так, чтобы плащ непременно развевался. Однажды целую семью напугала. Мама, папа и ребёнок — девочка лет десяти. Идут себе, гуляют, а тут я выпрыгиваю с луком. Взрослые меня обругали, а девочка заплакала и кричит: «Это же эльф! Эльф! Только почему такой некрасивый!». Тут уж мне плакать захотелось.

Ильину захотелось сказать что-нибудь утешительное, но он промолчал. Катцына таких, как Аля, обзывала грызунами и очень смешно передразнивала, дёргая носиком и складывая руки в блестящих кольцах на манер хомячиных лапок.

Как ни мало был одарен красотой Ильин, женское очарование он считал само собой разумеющимся и обязательным условием для счастья. И теперь

сочувственно разглядывал Алино лицо — маленький подбородок, высокий, слишком обнажённый лоб, слабые, мягкие щёки. Даже волосы её были убраны без всяких ухищрений — заколками, похожими на тонкие чёрные палочки. Ильин помнил, что в его детстве девочки звали такие невидимками.

– Как хорошо, что вы сейчас ничего не сказали, — улыбнулась ему Аля. — А то обычно люди сразу жалеть меня принимаются, и ляпают что-нибудь чудовищное, вроде того, что я зато человек хороший. Или причёску сменить советуют, платье купить новое.

Она вздохнула.

– А мне совсем не об этом поговорить с ними хочется. Ну, какое платье, скажите на милость, если столько всего кругом. Вот, например, отчего мне всегда так жалко мальчиков лет девяти-десяти? Они в школу идут или из школы, совсем одни, худенькие, с этими своими огромными рюкзаками, а лица прямо ангельские — бледные, серьёзные, даже испуганные немного. А ещё — видели когда-нибудь, как женщины посуду моют-моют или что-то там по хозяйству хлопочут, а потом улыбнутся легонько, застынут, задумаются, смотрят в одну точку и глаза у них такие становятся странные, словно они сквозь мир смотрят. Или вот — замечали? — если домой вернёшься не вовремя, не вечером, как должна была, а, допустим, в обед, то все вещи — и мебель, и посуда — с недоумением тебя встречают, и такое чувство, словно бы и не домой вернулась, а куда-то в чужое, незнакомое место. Или — знаете? — бывают летом такие дни, когда тучи толстые, серые, как тёплое одеяло, всё небо укутают, а дождя пока нет. А ты шагаешь где-нибудь по аллее, голову поднимешь, а листья на деревьях до того зелёными кажутся — по сравнению с этим серым небом, что даже глазам больно. А ещё такое случается — целый год ходишь мимо человека каждый рабочий день, кроме субботы и воскресенья; и каждый раз, когда его встречаешь в коридоре, или на лестнице, или у лифта, улыбаешься и хочешь поздороваться, а он тебя словно бы не видит, и от этого ты чувствуешь себя так странно, что хочется к зеркалу подбежать и убедиться, что существуешь. И фамилию его услышишь — Ильин, и имя — Андрей, и даже в столовой рядом посидишь, узнаешь, что он кашу любит, а макароны терпеть не может. А потом идёшь с работы, а он сидит на скамейке и чуть не плачет. И, представляете, мне не жалко его стало, а очень любопытно — что же такое произошло, что он может страдать вот так, прямо на улице; если даже я сама всегда дотягиваю до дома — всю дорогу держусь, и только перед подъездом горло перехватывает и давит, а глазам горячо, но слёзы будут, только когда зайду в тёмный коридор и двери за собой закрою. Тут можно и поплакать, и даже свет не включать, чтобы себя саму ненароком не увидеть...

Ильин слушал Алю сначала с недоумением, потом с теплотой, а потом с испугом. Совершенно невыносимой показалась ему эта мысль — оказывается, рядом с ним всё это время жил и дышал кто-то искренний, настоящий. И Алино лицо — такое открытое, не пытающееся казаться, а существующее просто так, без маски, тут же показалось ему знакомым и родным.

Он понял каждое слово, сказанное ею — и про мальчишек, и про яркую зелень в пасмурный день, и про домашние вещи, живущие в отсутствие хозяев своей собственной, загадочной жизнью. И вспомнил, вспомнил её клетчатое пальтишко, мелькающее рядом в толпе, обречённо втягивающейся в длинную свечку многоэтажного офиса по утрам и радостно льющейся на волю вечером.

Вдруг Ильин почувствовал облегчение: вот же, прямо здесь и сейчас судьба предложила ему раз и навсегда избавиться от боли и тоски — стоит только взять за руку этого тёплого мышонка и слушать, слушать, слушать, а потом говорить, говорить, говорить. И тогда мир упростится и сузится — из огромной вселенной, капризничающей с раздачей радости, превратится в чистое, честное место, и не нужно будет больше ничего бояться, потому что бояться будет нечего.

Ильин закрыл глаза, потом открыл их и улыбнулся Але.

– Давай обратно? — спросил он у неё. — В городе и поговорим.

* * *

Подниматься к нему на четвёртый этаж Аля не захотела — сказала, что у неё кружится голова, и хочется побыть на воздухе. Ильин уже придумал, что будет вечером: сначала нагуляться всласть, а потом перекусить где-нибудь или в кино сходить. Времени было навалом — пятница, и завтра никуда не нужно спешить, и можно всё-всё Але рассказать, а она обязательно найдёт, что ответить.

Он поглядывал на неё сверху вниз и размышлял, отчего это она так хмурится — ведь ещё пару часов назад, в автобусе, улыбалась всему вокруг.

Усадив Алю на скамейку у подъезда, он взлетел по лестнице — нужно было оставить дома портфель и сменить пальто на куртку потеплее.

Катцына стояла у двери его квартиры и смотрела с укоризной, храня на лице то самое выражение, что всегда вводило его в трепет: неподвижное, словно замороженное. Она как-то объясняла Ильину, что минимум мимики в будущем гарантирует ей отсутствие морщин, но ему казалось, что она и родилась такой — мучительно, притягательно бесстрастной.

При одном лишь взгляде на нежданную гостью обжигающая надежда затопила Ильина от макушки до пяток. Вернулась! Соскучилась! Поняла, что никак без него! Одна лишь секунда, сверкающая как звёзды той самой, справедливой вселенной, готовой прямо сейчас возвратить Ильину его счастье и не отбирать больше никогда, пронеслась и пропала — от произнесённых Катцыной слов.

– Где ты шаришься, а? Я у тебя помаду забыла. Верни, пожалуйста, и побыстрее, меня ждут.

Катцына и вправду потеряла один патрон из своего боевого запаса — блестящий цилиндрик Ильин нашёл под ванной в прошлое воскресенье и так сильно сжал в кулаке, что пластмасса треснула, а красная, ароматная, густая помадная жижа окрасила его ладонь как кровь.

Он смотрел на Катцыну и вспоминал то упоительное чувство вседозволенности, покорения целого мира — при сближении с ней. Райская птица в цветном оперении, чудо тела, волос и глаз, отточенность, безупречность красоты — ошеломляющая, только что недоступная и вдруг покорная. Говорящая — с ним, спящая — рядом, целующая — его!

– Ну? — холодно спросила Катцына. — Что стоишь, открывай и ищи.

– Я её выбросил, — прошептал Ильин, — слушай, а ты прямо точно решила, что всё?

– Дурак, — отрезала Катцына, — она такая дорогая! Всё, я пошла. Всё.

Ильин открыл дверь и вошёл в душноватый полумрак пустой квартиры. Не снимая ботинок, прошёл на кухню и налил в стакан воды, пил большими глотками, стараясь избавиться от твёрдого, болезненного спазма в глубине

гортани. Кто-то говорил ему недавно о сжимающемся горле... Кто? А... Аля... Не зажигая света, он выглянул в окно.

Катцына, уверенно вгоняя острые каблуки в асфальт, бежала к длинному чёрному автомобилю, отражающему в своём полированном туловище зажёгшиеся фонари. Скамейка у подъезда была пуста.

БУМАЖНЫЙ САКСОФОН

Рассказ

Кто придумал такое название, хозяин кафе уже не помнил. Но соответствовать приходилось: в углу смастерили невысокую эстраду, и на неё каждый вечер выходил музыкант – немолодой саксофонист по фамилии Бубенцов.

В кафе подавали только пиво и нехитрую закуску – кое-какие салаты, сэндвичи и, конечно, соломки, чипсы и сухари, солоно и звонко хрустевшие на зубах. Глуховатое, словно прикрытое бархатом пение саксофона никому не мешало – кружки мягко стучали о деревянные столы, наполняясь и опустошаясь, ровно гудели разговоры, вспыхивал смех.

Играл музыкант недолго – несколько всем знакомых мотивов, несмелая импровизация – кланялся публике и уходил почти незамеченным. Впрочем, хозяин, желающий владеть заведением оригинальным, с претензией, Бубенцова ценил – без ежевечерних концертов кафе превратилось бы в обычную забегаловку, а тут, с музыкой, – вроде как благородно, интеллигентно, свежо.

Никто из посетителей и не подозревал, что щуплый, лысоватый Бубенцов, припыленный полутьмой и сигаретным дымом, был мечтатель и экспериментатор. Признания критиков он давно не искал, фамилия его мало подходила для ярких афиш, но он видел музыку – во всяком случае, ему так казалось – блеском, радужными искрами, россыпью огней. Красота звучания была для Бубенцова почти невыносима – припадая к мундштуку, он закрывал глаза, волновался телом и рвался душой. К несчастью, играл он неважно – чудесное дрожание чувств терялось где-то между ним и саксофоном, оставляя слушателям лишь пустые, высохшие рёбра мелодий.

Отсутствие в себе исполнительского таланта Бубенцов осознал рано и исправить ничего не пытался – внутренний огонь грел его тихо и ровно, достаточно для спокойной уверенности и довольства собой. Но вот публику саксофонист не жалел – не понимающие волшебства звука равнодушно жующие люди вызывали в нём брезгливость, возникающую у абсолютно здорового, счастливого человека при виде увечности, злобы и грязи.

Для излечения звуковой слепоты слушателей Бубенцов мечтал создать достоверные музыкальные иллюстрации – живые, объемные, сверкающие – не просто пошлые прожекторы, фейерверки или лазеры, а полностью вплетённые в полотно мелодии объёмные движения цвета, сияния или, чем чёрт не шутит, аромата, холода и тепла.

Как подойти к реализации замысла с технической стороны, Бубенцов даже не представлял. В его мыслях царила чистота и элегантность давно исполненной мечты, но в реальности бубенцовский саксофон звучал в полном одиночестве, без феерических сопровождений. Измучившись болезненным несовпадением, Бубенцов решил действовать.

Первая конструкция музыкального иллюстратора оказалась простой: ножной насос-лягушка, скреплённый с длинной прозрачной трубкой. Используя в качестве подручного средства пшеничную муку, экспериментируя с активностью нажатий и диаметром трубки, Бубенцов добился своего – иллюстратор заработал так, как надо. Первая опытная модель прибора предполагала создание скромного, но изящного музыкального рисунка: что-то вроде лёгких серебряных облаков или звёздной пыли. Бубенцов посетил лавочку для юных фокусников, купил внушительный пакет мелкой сверкающей пудры и назначил время музыкального триумфа на ближайшую пятницу.

Публика в тот вечер подобралась приятная – ни шумных, слишком молодых компаний, ни одиноких, подозрительного вида мужчин. Совсем близко к эстраде расположилась на удивление приличная пара: блондинка с уставшим лицом и мужчина в тёмно-синем костюме.

На появившегося в полутьме подмостков музыканта никто не смотрел – Бубенцов аккуратно прикрепил конец трубочки к наполненному блёстками насосу и выпрямился, чувствуя, как вьётся под его одеждой прозрачный проводник между музыкой и чудом. Убедившись, что другой конец трубки свободно выходит из рукава пиджака, он вздохнул и прижал к губам мундштук.

На первых нотах саксофонист задрожал, но затем переборол себя и, как обычно, закрыл глаза. Он играл, помогая себе всем телом, думал о райских облаках и солнечных искрах, сожалел о грубости и пошлом сверкании купленных блёсток, но ровно на второй минуте мелодии, как было и задумано, наступил на упругое резиновое тельце насоса.

Серебряная пудра, посверкивая в слабом свете, вылетела из рукава Бубенцова, легко устремилась к столикам и посыпалась вниз, прямиком в пивные кружки, под возмущённые окрики и смех. Мгновенно осознавшему главную ошибку эксперимента Бубенцову это лёгкое падение показалось бесконечным и безнадёжным, как

тон Шепарда

– Кать, слышала про такую штуку как тон Шепарда? – серебряная пудра крепко прилипла к коже, и тёмно-синий костюм, совсем новый, явно нуждался в химической чистке, но мужчина всё равно улыбался.

– Не слышала и слышать не хочу, – ответила женщина, расстёгивая запачканные серебром замшевые сапоги. – Я одного понять не могу, как нас угораздило в эту дыру забрести!

– А мне название понравилось. И подвал. Я в институте когда учился, в таком часто бывал. А тон Шепарда, Катюш, это чудесная такая иллюзия, бесконечная игрушка для мозга. Сейчас планшет включу, покажу тебе.

– Да ты умойся сначала, – она посмотрела на его лицо и засмеялась. – Слушай, Вить, у тебя даже нос в блёстках!

– А что это такое, тон Шепарда? – ломающийся мальчишечий голос, внезапно раздавшийся из гостиной, заставил их вздрогнуть. Прервав растерянное молчание, женщина легонько подтолкнула мужчину к двери.

– Иди, иди, – зашептала она, – сам с тобой заговорил, иди!

– Я знал, что сегодня будет хороший день, – тоже шёпотом ответил он и вошёл в гостиную, стараясь сохранить вид будничный и простой: ну что такого, в самом деле, обычная семья, один спрашивает, другой отвечает.

– Тон Шепарда, как я уже сказал, удивительная иллюзия, – мужчина и

мальчик склонились над экраном планшета, рассматривая изогнутые линии звукового ряда.

– Ты же знаешь, что такое иллюзия? – спросил мужчина.

– Знаю, – сказал мальчик, – иллюзия это когда кажется.

– Правильно. Так вот, когда слушаешь ряд Шепарда, кажется, что звук может понижаться бесконечно. Вот, я включаю.

Комнату наполнило странное, неприятное гудение, похожее на постепенно увеличивающуюся боль. Звук растягивался, становился всё ниже, и слух погружался во что-то вязкое, полугнилое.

Мальчик внимательно смотрел на экран, а потом скривился:

– Выключите, пожалуйста. Зачем оно такое нужно, а?

Мужчина пожал плечами:

– Психолог придумал. Экспериментатор какой-то над человеческим восприятием. Даже не знаю, чего он хотел добиться. Мне тоже не нравится, честно говоря.

В комнате стало тихо.

Оба они почувствовали в тишине, как уходит, растворяется напряжение, до краёв наполнявшее квартиру последние три месяца – с того самого дня, когда мужчина пришёл сюда с чемоданом, а мальчик отказался разговаривать.

Тикали часы. Внизу глухо хлопнула подъездная дверь.

– Мне, знаете, что больше всего не нравится, – неожиданно сказал мальчик, – что эта штука бесконечно вниз падает. Пусть это только кажется. Можно вот так сидеть и слушать, и даже не знать, когда это всё закончится и когда ты наконец-то упадешь.

– Думаешь, так и в жизни бывает, да? – спросил мужчина.

Мальчик кивнул.

– Ну, тут я тебя утешу, – мужчина снова улыбался, – тон Шепарда может не только опускаться, но и подниматься. Звук, конечно, тоже не из приятных, но лучше ведь вверх лететь, а не падать чёрт знает куда, правда?

– Правда. Дядь Вить, у вас краска на носу, – сказал мальчик.

В коридоре беззвучно заплакала женщина, прижав ладони к лицу, мешая слёзы с косметикой и прилипчивым серебром. Эти дурацкие блёстки, так нелепо вылетевшие из рук невзрачного саксофониста, оказались волшебным средством, магической пылью, подарком доброй феи своей бедной, заблудшей, погрязшей в тоске крестнице.

И пусть девочке уже почти тридцать девять, и плещется за спиной горькое море неудачного брака, но она сумела, всё выдержала – и выбралась на сухой, безопасный берег с новым спутником – немного странным, но совершенно необходимым. И всё оказалось так просто – не нужен им был никакой психолог (покажите сыну, как вы его любите), никакие советы опытных, по три раза разведённых подруг (да всыпь ему хорошенько и компьютер отбери), никакие мамины утешения (живи для сына, какая любовь в твоём возрасте). Ничего этого не нужно было, а пригодился только зимний вечер, подвальное кафе и неожиданный саксофон в серебряных блёстках. Мудрёная алхимия времени спасает каждого, и для всех нас в итоге прозвучит

одна и та же песня

в моей голове – одна и та же – злость на других, жалость к себе. Всё было так хорошо, всё было так ровно, всё шло, как было задумано. Вся жизнь была предрешена и заполнена. Я составил правила, определил границы, заранее придумал схемы разговоров и поступков. Мне было легко оттого,

что ничего непредвиденного со мной случиться не могло. Ведь, если подумать, всё можно сделать формулой, достаточно лишь продумать её составляющие, расположить их в нужном порядке и со спокойной уверенностью ждать результатов.

Жаль только, что некоторые элементы моей формулы – безличные Икс и Игрек – вдруг оказались не я. А ведь в самых моих сокровенных мечтах я не раз представлял, как было бы хорошо, если бы все люди в мире стали мной. Никакой непредсказуемости, никаких сюрпризов, никаких проблем. Чистота, порядок, покой. Думаете, странные мечты? Ну нет, не стоит лукавить – я уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни мечтал о мировом господстве. Скажете, нет? А я не поверю.

Одна из самых любимых моих, многократными повторами проверенных схем – дорога от работы до дома – свежевыстроенной многоэтажки в лучшем районе города. Я получал искреннее удовольствие от того, что путь мой представлял собой правильный прямой угол – выходя из офиса, я шел прямо, потом сворачивал направо, снова шёл прямо и заходил в собственный подъезд.

После изгнания из упорядоченного, своими руками выстроенного идеального мира я, вероятно, немного повредился рассудком – и вот уже второй раз, не задумываясь, выходил с работы и шёл знакомым до трещинки асфальтовым полотном до подъездной двери – двери своего бывшего дома.

Первый раз я очнулся от холода домофонных кнопок. Мною придуманная комбинация отчего-то не сработала, пальцы замёрзли, и я пришёл в себя, вспомнив, что здесь уже не живу.

И вот сегодня – дорога без мыслей, открытый настежь подъезд, мимолётное возмущение – опять старуха с пятого этажа не захлопнула дверь, и внезапное возвращение сознания и чувства *себя*.

Проверим, где я. Так, знакомый коврик, резиновый, легко моющийся материал, цена сто пятьдесят три рубля. Телескопический глазок – надёжная вещь, куплен с хорошей скидкой. Аккуратная кнопка звонка – самостоятельно мною установленного. Один лишь вопрос – я позвонил или нет?

Отчего-то я не мог сдвинуться с места. А внутри меня что-то, наоборот, двигалось и поднималось – неужели я собираюсь позорно плакать под дверью? Пустите, пустите меня обратно, там всё сделано под меня и для меня, даже стены обрели форму моего тела, мягкая мебель ждёт только моей тяжести, посуда притихла в кухонном шкафу и хочет только моих прикосновений! Это неправильно, несправедливо! Почему я не могу быть там, а стою здесь, и купленный мной коврик выпачкан какой-то серебристой дрянью?

С отвращением я отступаю назад и осматриваю выпачканные блёстками подошвы. За дверью слышны голоса, в ванной льётся вода, играет музыка. Видимо, я всё-таки не успел нажать на кнопку. Или, может быть, они затаились и не хотят открывать, чужие теперь Икс и Игрек – я думал, что они это я, а они, оказывается, мной не стали. Стоп. Внутри моего бывшего мира должны быть только два голоса – голос Икс и голос Игрек – моя вселенная должна ждать своего хозяина, не меняя ничего: ни капли, ни нитки, ни звука. Но я слышу мужской голос! Незнакомый мужской голос!

В голове моей звенит и рушится, я разворачиваюсь и бегу прочь, испуганный, как никогда.

Я возвращаюсь туда, где ночую теперь: моя старая однокомнатная квартира без мебели и занавесок. В прошлой жизни я предполагал, что выгодно продам её и куплю автомобиль. А теперь я лежу на полу и слушаю эхо соб-

ственного сердца, отражающееся от голых стен. Единственное, что проникает в мою пустоту – тихая и фальшивая колыбельная за стеной. Там, в соседней квартире, живёт толстая молодая женщина с неприятным лицом и тусклым ребенком. Они возятся и издают звуки – в своей тёмной, до омерзения незнакомой жизни, где-то

под ракитовым кустом

живёт волк. Капает дождь, волк мокрый, но всё равно сидит, не уходит. Волк ждёт вечера, когда Ксюша пойдёт спать, повернётся неловко во сне, скомкает одеяло и откроет под волчьи зубы беззащитный бок.

Ксюша знает точно, что волк кусается не до крови, а так, осторожно, но крепко, не вырвешься. Схватит и потащит в лес, под ракитовый куст с мягкими голыми прутиками – в волчьем лесу не бывает весны, только поздняя осень, серенькая, как звериная шкура.

Зачем волку нужен пятилетний ребенок, непонятно. Может быть, ему холодно, может быть, хочется поговорить. О том, что волки иногда едят детей, Ксюша старается не думать – это уже не колыбельная получится, а очень страшная сказка.

Песенку про волка и ракитовый кусток Ксюша не любит, но отчего-то не может сказать об этом маме. Возможно, потому, что мама знает только одну колыбельную: вот эту, осеннюю, мокрую, волчью. А если Ксюша откажется её слушать, и мама совсем перестанет петь на ночь? Об этом тоже думать не хочется. Хочется спать и не бояться, укутаться хорошенько – особенно по бокам – и спать, спать.

Мама замолкает, целует Ксюшу в нос, уходит на кухню и заводит там специальную вечернюю музыку: стук-постук кастрюльками, ложками и чашками, журчание воды в раковине, скрип деревянных шкафчиков, а потом тишина и вздох. Мама думает, что Ксюша уже спит, и вздыхает почти в голос:

– Охохо-хохооо.

Это значит, что посуда вымыта, день закончен и Ксюше уже можно закрыть глаза.

Волк, должно быть, лежит сейчас под мокрой ракитой, и лапы у него подрагивают. Он устал, ведь звери в лесу должны много бегать и скакать. А вот люди бегают редко, особенно взрослые. И Ксюша вспоминает странного дядьку, недавно поселившегося в соседней квартире. Он всегда ходил медленно и ровно, как положено взрослым, а сегодня вдруг промчался мимо по лестнице, прыгая через три ступеньки, и чуть не сбил Ксюшу с ног. Может, этот дядька на самом деле волк? Ксюша ёжится под одеялом, со страхом глядит в темноту и даже подумывает, не позвать ли маму.

Но потом решает, что не нужно, и закрывает глаза.

В крохотном промежутке между сном и явью, полусонном пространстве, открывающемся лишь на мгновение – для осознания и забытия, Ксюша плывёт и движется, а потом становится огромной, размером с комнату, улицу, город. Целую секунду девочка вглядывается в собственный мир – сахарные булочки, рыжий котёнок, стопка ярких книжек, зелёный кафель в ванной, толстые голуби на утоптанном снегу, мокрые варежки, чужие лица, бесконечно высокое небо и жёлтая лампочка у подъезда.

Секунда завершается, и Ксюша спит. Она видит во сне бегущего по лестнице соседа – как там говорится в сказках: зайчик побежал, только пятки засверкали. Но дядька совсем не зайчик – из-под его короткого пальто торчит ободранный волчий хвост, а вместо начищенных ботинок по ступень-

кам топочут серые волчьи лапы. Они и вправду сверкают на бегу – левая лапа волка почему-то выпачкана мелкими серебряными блёстками. Лестница вдруг вытягивается, выпрямляется, уходит вверх, теряет перила и качается из стороны в сторону, но волк не падает, а всё бежит и бежит, и самый ужас в том, что он остаётся на месте.

Ксюша всхлипывает во сне, машет руками, переворачивается и сбрасывает спасительную одеяльную защиту. Её бок в жёлтой пижаме – законная звериная добыча – открыт. За окном темно, улицы пусты, все колыбельные спеты, а утро ещё так далеко – наступает время волчьего бега – у самой кроватки, кругами, бесшумно.

Но девочка уходит из страшного сна, прячется в другую сказку, где нет волков, а есть весёлая красная машина и толстенькие щенки.

Мама тихонько укрывает Ксюшу, и теперь спящая в полной безопасности, далеко-далеко от волка с серебряным следом и мокрого ракитового куста – пристанища сумерек и осенней печали.

Жаль, что мама не видит её снов и не знает её страхов. Огромная вселенная детства дышит рядом, вращаясь и расцветая, безо всякого ведома взрослых. Мамины заботы просты – чистые уши и сытость, и летит мимо обычный вечер обычного дня, который не вспомнят ни завтра, ни через год. А потом, как и тысячи лет до этого, приходит

ночь

не лучшее время для собачьих прогулок. Этот подъезд пёс облюбовал давно – здесь тепло, темно, и двери не закрыты даже в холода. Устроившись у ребристого бока батареи, пёс сворачивается клубком, но вдруг поднимает острый нос и нюхает пыльный воздух.

Кроме привычного: горелого масла, влажности ванных комнат, кошачьей наглости – пёс чувствует что-то тревожное, манящее. Осмелев от удивления, он выходит из-под лестницы и осторожно поднимается за новым запахом на второй этаж.

Три квартиры. От одной пахнет ребёнком – маленькой девочкой, а ещё сладким хлебом, тишиной и сном. Вторая квартира пуста – уже давно, а вот из третьей льётся человеческая злость и тоска – такой аромат псу знаком не понаслышке. У двери пёс видит странные блестящие отметины, словно кто-то выпачкал ботинки чем-то непонятным и вытер их потом о крашеный пол.

Пёс аккуратно обнюхивает находку, потом спускается вниз, медлит мгновение, оглядываясь на тёплую темноту своего убежища, и выходит на улицу.

Невидимые человеческому взгляду истории, путаницы решений, дорог, потерь и обретений расстилаются перед собачьим обонянием яркими цветными узорами. Но пса интересует лишь одна нитка этого полотна, и он бежит, не теряя пути, мимо мусорных баков, гаражей, вдоль освещённой зябнущими фонарями улицы.

Серебряные следы ведут к новому, недавно выстроенному дому: от таких пёс держится подальше – слишком просторно и светло. Здесь не найдёшь мисок с кашей и супом, а вот схлопотать по тощему боку легко. Пёс давно понял, что красиво одетые, вычищенные до волоска люди защищают свои границы куда активнее тех, кто ходит в старых ботинках и ужинает минтаем.

Подъезд опасного дома плотно закрыт, а нужная нить запаха чётко входит внутрь. Но одновременно и выходит из него, становясь всё яснее, и ведёт направо, в лабиринты дворов.

Пёс бежит дальше, и след уже так ярок, что нет никаких сомнений в

верности дороги. Между двумя жилыми домами, сквозь разинутую пасть подворотни, мимо спящей детской площадки, сквера и закрытого на ночь магазина.

Рядом с высоким, вычищенным от снега магазинным крыльцом прячется лестница, ведущая в подвал. Серебро тянется именно туда, но пёс не торопится – кроме серебряного запаха, здесь слишком много разных, неизвестных следов. Из подвала тянет пивом, перчёными сухарями и кислым соусом.

Пёс устал и замёрз, но любопытство заставляет его сделать ещё несколько шагов. Крутые ступени ведут вниз, к обитой деревом двери, а рядом с ней стоит человек, перепачканный серебряной пылью с ног до головы. Псу страшно и трепетно – он запрокидывает морду и коротко воет на равнодушную пустую улицу.

– Ну что, что? – отзывается человек и тоже поднимает голову. – Ты откуда такой? Чего кричишь? Иди-ка сюда, у меня тут есть кой-чего, – и шелестит пакетом.

Забыв обычное недоверие, пёс спускается по ступенькам и охотно принимает из незнакомых рук скользкие куски колбасы.

– Вот и хорошо, – человек смотрит на пса и улыбается, – ты бродяга, да? Со мной пойдёшь? У меня тепло. У меня музыка. Ты саксофон любишь? Как я сегодня сыграл, а! Блестяще!

Он смеётся, встаёт, пошатываясь, вешает на плечо большой футляр, собирает остатки распотрошённых бутербродов в пакет и поднимается по лестнице. Пёс идёт рядом, наблюдая, как сверкают серебряные человеческие следы в синем свете вывески, бросающей на снег расплывающиеся проекции двух слов:

БУМАЖНЫЙ САКСОФОН

Дмитрий ФИЛИППОВ

КАПЛЯ МОЛОКА

Рассказ

Болела голова и ужасно хотелось пить. Эта дикая, сосущая из тебя все соки жажда песком набивалась в рот, и казалось, все счастье мира сосредоточено в одном глотке воды. Шустрик шел, еле передвигая ноги, и почему-то вспоминал своего кота Мавра. Не мать, не дом, не рыжую Анютку с веснушками на озорном курносом носу, а именно кота. Как тот жадно лакает молоко из миски, а потом сыто дрыхнет, развалившись на подоконнике.

Шустрик шел босиком. Ноги саднили и кровоточили. Кто именно снял с него берцы, Шустрик не знал, — был без сознания, но обувь было жалко: хорошие берцы, добротные, «натовские»; босяцкий подгон дембеля — земляка. И пускай на два размера больше (нога у Шустрика маленькая, детская совсем нога), зато им сносу не было. Аккуратно прошиты по всем швам, с кроссовочной подошвой, да и легче деревянных кирзачей раз в десять.

Замешкавшись на повороте, Шустрик наступил на камень, всхлипнул от боли и тут же получил прикладом по затылку.

– Живее, сука! Я твой нюх топтал!..

Филиппов Дмитрий Сергеевич родился в городе Кириши Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Служил в армии на территории Чеченской республики; старший сапёр. Публиковал прозу и критику в журналах «Наш современник», «День и ночь», «Волга», «Знамя», «Нева», в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия». Автор романа «Я — русский» (2015). Лауреат русско-итальянской премии «Радуга» (2015). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живёт в Санкт-Петербурге.

Бить «чех» умел. Позвоночник словно на дыбе растянули. Паренек пошатнулся, засеменил вперед по инерции, но на ногах устоял. Если упасть — будут ногами добивать, это Шустрик уже успел запомнить...

Их накрыли на инженерной разведке. Группу прикрытия сразу положили, в считанные секунды. Шустрик и еще два сапера, Муха и Харя, успели забежать в полуразрушенный дом, но только это не помогло. Чечены не дураки, на то и был у них расчет. Муха забежал в дом первый и сорвал растяжку. Взрывной волной Харю и Шустрика отбросило в сторону, а после этого упала темнота...

Куда его ведут, Шустрик не знал. Да и мыслей никаких не было. Только липкая пустота в голове и жажда. И еще этот черный пушистый кот. Шустрик шел и словно вживую видел, как белые капли свисают с длиннющих усов, как резво двигается розовый язычок, как хлюпает в миске жирное молоко... И окажись этот кот рядом, Шустрик пнул бы его со всей силы: без жалости, без малейших угрызений совести.

Тропинка оборвалась у небольшой поляны. Группа остановилась. Шустрик без предупреждения получил по ногам и завалился набок. Чечены снимали рюкзаки, амуницию. Кто-то весело засмеялся.

— Тебя как зовут, русский? — над пареньком склонился здоровый бородатый мужик, тот самый, что шел сзади и бил его прикладом. Все называли его Юсуп.

— Шу... Шустрик. — Хрипло, надсадно. Он сам не узнал свой голос.

— Погоняло, что ли?

— Ну...

— Зовут-то как?

— Рома.

— К мамке хочешь, Рома?

Шустрик молчал. Вокруг собрались остальные боевики, предвкушая потеху. И что-то неуловимо изменилось в воздухе. Настолько изменилось, что пропал дурацкий кот из мыслей, забылась жажда. И еще стало очень страшно. Чувство неотвратимой опасности проникло под кожу. Зазвенело в ушах. Взгляд паренька заметался, но Юсуп цепко схватил его за подбородок и заставил смотреть в глаза. Улыбался. Упивался страхом.

— Не молчи, свинья! К мамке хочешь, да?

— Хочу!

— Любишь мамку?

— Да!

— А жить хочешь?

— Хочу!

— Сильно хочешь?

— Да!

— Это плохо! Это очень плохо! Потому что жопа тебе сейчас. Я тебе много-много голову резать буду. Вот этим ножом. — Юсуп достал огромный нож, повертел им перед глазами. — Как барану!

Шустрик всхлипнул, дернулся назад, но пальцы крепко держали его за подбородок. И все завертелось перед глазами. И уже не страх — четкое ощущение смерти разрывало все его существо изнутри. Он, Шустрик, восемнадцати лет отроду, не может умереть один. Вместе с ним умрут вот эта земля, это солнце, эти деревья. Вся вселенная умрет вместе с ним. А разве вселенная может умереть по воле какого-то Юсупа? Все человеческое в пареньке отказывалось в это верить. Но чем дольше Шустрик всматривался в голубые глаза чеченца, тем меньше человеческого оставалось в нем самом. Первобытное животное продиралось наружу из глубин мозга, и ему было плевать

на солнце, землю и деревья, плевать на вселенную. В голубых глазах была смерть, и больше ничего на свете не существовало.

Юсуп без замаха ударил его локтем по лицу. Шустрик упал на землю. Вокруг все загикали, заулюлюкали, затопали ногами в зверином исступлении... Чечен наступил пареньку ногой на лицо, завизжал, занес нож...

Спас Шустрика одиночный выстрел. Все разом замолчали, обернулись. Чуть поодаль стоял молодой командир, держал АКМ и что-то жестко выговаривал остальным на своем наречии. Юсуп забыл про пленного, подбежал, стал что-то доказывать, грубо жестикулируя, но командир был непреклонен. Шустрику он сразу понравился: спокойный, уверенный в себе, с сильным взглядом матерого волка. Такого сложно ослушаться. И то ли от расслабленности, то ли от счастья вновь обретенной жизни, паренек обмочился прямо в штаны. А потом беззвучно заплакал.

Вечер наступил стремительно. Как будто солнце устало освещать эту землю и все, что на ней происходит. Боевики занимались кто чем: кто-то спал в тени размашистого куста, кто-то лениво жевал «Сникерс», кто-то чистил оружие. Шустрик лежал на земле и не шевелился, боялся привлечь к себе хоть каплю внимания. Распухли исцарапанные ноги. Уже не мучила жажда: стала сухой и тупой. Болели стянутые за спиной запястья. Вдруг встал командир, что-то гортанно выкрикнул, и все разом засобирались.

Командир подошел к Шустрику, присел, сначала посмотрел на ноги, потом в глаза. Открыл флягу с водой, протянул. Шустрик жадно припал, глотая с каким-то остервенением. И никогда вода не казалась ему такой сладкой.

Юсуп сидел рядом. Молчал. Командир снова сказал ему что-то, но тот не ответил, даже не обернулся. Тогда он обратился к пареньку.

— Мы уйдем сейчас. Ты с Юсупом останешься. Я очень думаю, что ты его злить не будешь. Федералы хорошего человека в плен взяли, очень хорошего. Завтра тебя на него менять будем.

Шустрику связали ноги. За несколько минут отряд собрался и, растянувшись цепочкой, зашагал дальше по лесной тропе. Они остались с Юсупом вдвоем. И где-то вдалеке замаячила возможность жизни.

Шустрик боялся этого чечена. Боялся каким-то подкожным, извечным страхом. И еще было ощущение жуткой несправедливости. Он, Ромка Савин, не мог родиться просто так. Обязательно должно быть что-то, ради чего он появился на свет, прожил свои восемнадцать лет. Это что-то было далеко, в другой, мирной жизни; и так тошно было умирать на этой земле...

Перед уходом в армию устроили отвальную. Столы расставили прямо во дворе. Все деревенские пришли: кто проводить, кто самогона на халяву попить. И курносая Аня тоже пришла. Пила мало и все время задорно смеялась.

А гульба развернулась во всю ширь! Вечно пьяный Витька Сапрыкин приперся в сдвинутом набок берете, все время пил за ВДВ и орал на ухо:

– Главное, не бзди!.. Характер сразу показать надо! Бить начнут — срывай дужку с кровати и молоти всех подряд!.. Но не бзди! А то я тебя сам отмудохаю!

Все постоянно лезли с ним целоваться, завещали служить достойно, но он весь вечер видел одну только Анюту. Та изредка поглядывал на него, улыбалась и о чем-то шепталась с остальными девчонками. И уже от одного этого было хорошо! Все любили Шустрика, и он сам любил всех и каждого, и все такой же далекой казалась армия, как и месяц назад.

Потом пошли гулять на речку. И вроде вечер был совершенно обычный, как и многие вечера до этого. И звезд не было — тучи заволокли все небо. Но ощущение чего-то волшебного мягко обволакивало Шустрика с ног до голо-

вы, и сам он светился от тихого счастья. А самое настоящее чудо произошло, когда Аня подошла к нему, взяла за руку и сказала:

— Пойдем, погуляем?

— Да запросто!

И они свернули в сторону от остальной компании. Шустрик набрался смелости и обнял девушку за талию, а та — вот уж действительно волшебство — не сбросила руку, не оттолкнула.

— Куда мы пришли?

— Это Лисий нос, Анька! Это мое место. Только я про него знаю.

— А зачем оно тебе?

— Вот глупая! Тут такая рыбалка!.. Под вечернюю зорьку придешь, донки поставишь на ночь, а с утра у леща жор начинается... Вот это песня! Только знай — тягай одного за другим!..

Девушка громко засмеялась.

— Чудной ты, Шустрик! Смешной...

Парень насупился.

— Скажешь тоже... Я вообще мужик хозяйственный! И со скотиной могу, и по дому там...

— Мужик... — Девушка засмеялась еще громче.

— Да ну тебя!

— Не обижайся. Постой лучше...

Шустрик остановился, удивленно посмотрел на Аню, а она властно обняла его за шею, прижалась всем телом, каждой складочкой и обожгла страстным не девичьим поцелуем. Хохотала вдалеке деревенская компания, а девушка продолжала целовать Шустрика до тех пор, пока у него не подогнулись ноги от сладости, и молодые не упали в мокрую траву...

Потом они долго сидели на берегу, курили, кидали камушки в воду.

— У тебя это первый раз?

— Да.

— Я так и подумала.

— Разве это плохо?

— Дурачок, — Аня посмотрела ему в глаза, такие детские и смешные, улыбнулась, положила голову на плечо.

— Меня два года не будет.

— Я знаю. А мне еще четыре учиться.

— Ты мне адрес свой городской оставь. Я тебе писать буду.

— Зачем?

— Ну... как это... — Шустрик сбился, покраснел, удивленно захлопал ресницами. — Мы же сейчас...

— А... Ну это да! Конечно, пиши.

— Ты будешь меня ждать?

Аня улыбнулась куда-то в сторону, потом снова посмотрела пареньку в глаза и нежно поцеловала в самый краешек губ.

— Пойдем... Холодно уже.

— Пойдем.

Дома мать убирала столы, приводила двор в порядок.

— Вернулся уже? Я думала, до утра гулять будешь.

Шустрик ничего не ответил, лишь дурацкая улыбка не сходила с губ. Он лег на кровать, забрался под одеяло, сбросил на пол пытавшегося устроиться в ногах кота. С закрытыми глазами прокручивал каждое мгновение вечера, каждый космический изгиб, чувственно — временной поворот, — и млел от

полноты счастья. Вместе с ним он проснулся и с ним же поехал в военкомат.

Аня написала ему два раза. В первом письме прислала свою фотографию, а во втором сообщила, что выходит замуж. Шустрик злился, сходил с ума. Тысячу раз представлял себе, как приедет на дембель, весь в медалях, с золотыми погонами и в берете, придет к ней домой и плюнет в лицо; и гордо уйдет, хлопнув дверью. Именно хлопнув дверью! Со временем стал представлять все реже. Потом совсем забыл. А потом его отправили на войну.

И сейчас он лежал, связанный и беспомощный, и отказывался верить в то, что близость с Анютой — единственное, ради чего он родился на свет. Что ничего больше Богом для него не запланировано.

Ночь была тихая и ослепительно звездная. Природа как будто притаилась, но без злого умысла, а спокойно и умиротворенно. Отступила дневная жара, в воздухе запахло прохладой, а земля, напитавшись за день солнечным теплом, миллионами токов устремила свой жар к небу. И от этого атмосфера наполнилась негой и успокоением. Словно и не было никогда войны.

Юсуп Ахматов лежал без движения, облокотившись спиной на камуфляжного цвета рюкзак, прикрыв глаза. Лежавший недалеко русский парень был ему уже не интересен. Юсуп отдыхал. Его утомил утренний бой. Еще больше утомил длительный дневной переход. Но он не жаловался. Он был мужчина. К тому же, уходить надо было быстро. Русские наверняка отправили на поиски их отряда группу разведки, а это матерые волкодавы, если нападут на след — загонят до смерти. Но Зелимхан Умаров опытный командир, направил их по ложному следу, а сам увел свой отряд в горы, поближе к Шатою.

Юсуп не боялся, что русский сбежит. В свои сорок пять лет он спал чутко, не хуже лесного зверя. Да и не спал он сейчас, несмотря на всю усталость: окунулся в напряженную дремоту, готовый вскочить и сражаться при любом подозрительном шорохе.

К засаде готовились долго, несколько недель. Дозорные внимательно изучали все это время маршрут инженерной разведки, график передвижения, количество людей, бронетехники. Две недели не минировали эту дорогу, чтобы русские расслабились. Сыны Аллаха — они были терпеливы, они вели охоту. Так волк выслеживает добычу, сглатывая подступающую к скулам слюну, чтобы в конечном итоге одним молниеносным броском, одним выверенным движением челюсти вгрызться в горло расслабленной жертве.

Все, как и планировалось, произошло в считанные секунды. Каждый в отряде знал свою огневую точку, знал свою цель. Их минер, старый Рустам Идигов, до войны работавший главным химиком на заводе, грамотно заложил фугас, в нужный момент подорвал головной БТР, и все остальные, как по команде, практически в упор расстреляли саперный расчет и группу прикрытия.

А пленных брать не собирались. Так же быстро и методично добили раненых, забрали оружие и боеприпасы... И тут этот русский. Застонал, заворочался в пыли, как скулящая собака под сапогом хозяина. Ближе всех к нему был командир. И он уже вскинул автомат, собираясь пристрелить падаль, но почему-то передумал. Теперь Юсуп знал, почему, но это его уже совершенно не беспокоило.

Дремота все сильнее дурманила мозг, пеленой обволакивала сознание. И в голове стали возникать совсем другие картинки, из далекого детства... Вот он маленьким мальчиком с оравой таких же ребят бежит купаться на дамбу в Черноречье. Они гурьбой скатываются с пригорка на песчаный пляж, с визгом скидывают одежонку и, утопая в брызгах, выплескивая на весь свет

свою детскую щенячью радость, барахтаются в теплой воде. Чеченцы, русские, даргинцы, ингуши — просто маленькие дети без национальностей. Ныряют друг у друга с плеч, брызгаются, сложив ладони лодочкой; губы не синеют, потому что вода теплая, почти горячая; солнце ласково лижет загорелые спины и лица. А потом так же вместе без сил выползают на берег и валяются на песке. Кто-то взял из дома хлеб и вареные яйца, кто-то курдюк, кто-то бутыль молока. Вся еда сваливается в одну общую кучу и моментально уничтожается. Никаких ссор или споров — все по-честному. И все по-настоящему.

А в один из вечеров вся улица, все дома, что есть в округе, собираются в яблоневом саду. Приносят стулья, скамейки, столы. Еду никто не приносит — у Валида Дагаева день рождения, он сам всех угощает. Мужчины режут барана и готовят шашлык, женщины варят хинкал и собирают на стол. Тетя Марина не удержалась, принесла-таки тазик соленых огурцов, но с дядей Валидом у них давняя дружба, оба выросли в Казахстане, да и огурцы так никто не умеет засаливать, как она.

Потом все садятся за стол. И чего там только нет: жирный шашлык, плов, хинкал, густой лагман, овощи, зелень, фрукты... Столы ломятся от снеди и вина, все веселы и довольны, едят от души, пьют по вере и желанию. Каждый по очереди произносит тост, желая дяде Валиду долгих лет здоровья, счастья дому, успехов на сцене. Такого певца, как он, по всей Чечне еще поискать. А то и по всему Союзу.

Маленький Юсуп сидит за детским столом, рядом все его уличные друзья. Мишка живет в соседнем доме. Его мать вместе с мамой Юсупа работает в одной поликлинике. Арсен с родителями совсем недавно переехал из Осетии, его отца перевели инженером на вновь построенный нефтезавод. Но все это мелочи, все это вскользь и даже как-то понарошку. Родительские дела их совершенно не волнуют. Разве мало у них своих дел? Одному купили велосипед, и уже вся улица рассекает на нем с ночи до зари. Случаются и мелкие ссоры. Долговязый Арсен обидел Лейлу, так Мишка первый подлетел и заехал ему по уху. Никто не встревал. Маленькие мужчины все равно мужчины и дела свои должны решать один на один. Да и не может быть между ними большой вражды. Арсен извинился и был прощен.

А потом дядя Валид начал петь, и сделалось очень грустно и в то же время хорошо. Он пел о высоких горах, о звонких ручьях, о полете орла, и каждая нота, каждое слово впечатывались в душу. Он пел на чеченском, и многие не понимали слов, но слушали очень внимательно. И тут впервые Юсуп увидел, что чеченцы слушают Валида Дагаева... по-другому. Он поглядел на свою мать — неземная тоска по несбыточному высветила ее глаза. Прорезалась в складках лба горечь. И еще не в силах осознать всего своим детским умом, Юсуп кожей почувствовал пропасть между ними, чеченцами, и всеми остальными. Смутное чувство проникло в душу. Дядя Валид продолжал петь о том, как говорят камни, о бессмертных героях прошлого, о тоске по Родине и печальной луне казахских степей, о неустрашимых горцах, и чувство в душе Юсупа вдруг оформилось в жестокий голод по свободе — той, что жила в песнях; той, которую он никогда не знал.

Валид Дагаев оборвал песню внезапно, как и начал. Последний звук как будто замер на острие кинжала и, растворяясь в теплом вечере, растаял. И вместе с ним растаяла свобода, что на мгновение ожила в песнях, оставляя в сердцах дремучую тоску несвершённости.

Раздались возгласы, шквал аплодисментов... Юсуп украдкой посмотрел на

гостей — аплодировали все, кроме чеченцев. А дядя Валид отвернулся, чтобы никто не разглядел в отсветах фонарей подступившие к глазам слезы...

Дремота густела, растекалась слипающимися мыслями, проваливаясь в сон. Ночь была тиха и прозрачна. Не тревожила. Не будила. Юсуп заснул, и ему приснилась Румиса.

Девочка из соседнего дома. Малышами вместе играли в прятки, дружили семьями; в школе учились в одном классе. Самая обыкновенная. Ничего особенного и волнующего. И вдруг настал день, когда Юсуп посмотрел на нее другими глазами. Он помогал отцу чинить двигатель старенького ЗИЛа, а она в это время возвращалась из магазина.

Какие законы могут объяснить нам возникновение любви? Что это за чувство? Запахи? Прикосновения? Взгляды? Или все вместе?.. А может быть не надо и пытаться объяснить любовь?

Румиса шла не так, как раньше, а словно плыла над землей, а волосы ее — они были не просто черными, они светились в лучах солнца, как антрацит. Тяжелые пакеты с продуктами тянули руки вниз, к земле, девушка устало сжимала губы, кисти руки были напряжены, но в целом мире не было краше этих кистей. И, повинуясь внезапному порыву, Юсуп положил на капот гаечный ключ, подошел к Румисе и властным жестом забрал авоськи из ее рук. Девушка сначала не поняла, рассержено взглянула на него из-под тонких черных бровей, но что-то было в его глазах больше, чем правдивое и искреннее, больше, чем настоящее, — просто необъяснимое! И она неспешно отвела взгляд, смущенно улыбнулась и пошла вперед, как бы указывая дорогу к дому. Отец Юсупа улыбнулся. Через месяц сыграли свадьбу. Старики, правда, осуждающе ворчали: не будет молодым счастья, дети из одного тейпа не должны жениться друг на друге. Но советский ЗАГС не слушал шепота гор.

Юсуп впервые ощутил себя по-настоящему счастливым мужчиной, но даже в тот момент он до конца не осознавал всеобъемлющей магии этого чувства. А настоящее счастье пустило корни в его душе лишь тогда, когда родился Шамиль.

Маленький человеческий комочек, с синими, как у отца глазами, и тихой маминой улыбкой. Он не плакал, не кричал, как многие в беспамятном детстве, но внимательно вглядывался в окружающий его огромный мир, впитывал его с материнским молоком и, верно, наслаждался тонкими оттенками вкуса. И что-то бесповоротно изменилось в самом Юсупе. Сдержанность, серьезность — все это было и раньше в молодом чеченце, но после рождения сына вплелось незримыми нитями щемящее чувство ответственности за семью. И вместе с этим — четкое ощущение правильного хода всего его существования. Словно недостающий кирпичик был вложен в стену судьбы — и вся жизнь упорядочилась.

В годовалом возрасте Шамиль простудился и подхватил воспаление легких. И не было в жизни Юсупа часов тревожнее, чем время, проведенное в больнице. В палату к ребенку родителей не пустили. Они сидели на деревянных скамейках, рядом с дверью. Страха не было. Только сосущая боль в сердце и напряженное ожидание в складках лба. Эта боль усиливалась, перемешиваясь с неизвестностью, и когда достигла своего апогея, когда не осталось никаких сил сидеть на месте и ждать, — вдруг прорвалась из сердца молитвой. Юсуп глядел себе под ноги и горячо молился незнакомому до той минуты Аллаху! Сулил несметные богатства и верность, свою жизнь и жизнь жены, заклинал его правдами, неправдами, — всей болью, всем порывом своего сильного существа. Он обещал стать правоверным мусульманином,

по пяти раз в день делать намаз, как это положено, жить по законам Корана и гор... Он на все был готов, отец умирающего ребенка! На все!.. И Аллах услышал его молитвы. Шамиль выздоровел, выжил.

Юсуп и Румиса шли домой. Души их переполняло измученное счастье. Они не знали, что Аллах дал только отсрочку, что через двадцать лет пуля русского снайпера заберет жизнь их сына во время первого штурма Грозного — столицы молодой и свободной республики Ичкерии.

...Пронзительно вскрикнула ночная птица. Юсуп моментально проснулся, жесткая ладонь привычно легла на цевье автомата. Он обернулся на пленного — тот неотрывно глядел на него спокойным, внимательным взглядом.

В какой-то момент Шустрик перестал чувствовать ступни ног и запястья. Веревки уже не врезались в кожу, не стягивали ручейки вен: они словно вросли в тело, становясь его мучительным продолжением. А немота конечностей все набухала, ширилась, перерастала саму себя, обволакивая мерзлым пленом колени и предплечья. Разогнать застывшую кровь можно было движением, но Шустрик боялся даже пошевелиться.

Он знал, что через несколько часов его обменяют на одного из боевиков, с неба свалилось неожиданное спасение, но страх не ушел насовсем: только растворился в крови, стал глуше, тише, напряженнее. Он — страх — словно нашептывал изнутри: не шевелись, любое твое движение будет истолковано как попытка к бегству, тебе надо только продержаться до рассвета.

Внезапно Шустрику вспомнился Брызгун. Один из тех забулдыг, какие есть практически в каждой деревне. Настоящее его имя было дядя Ваня, а прозвище свое он получил за то, что, будучи в подпитии, кричал каждому встречному: «А ну, посторонись, а то обоссу!». Мужики считали его юродивым и не трогали. Бабы крестились, проходя мимо. Он нигде не работал, хозяйства не держал, жил на мизерную пенсию и редкие подаяния. Летом удил рыбу, собирал ягоды и грибы, продавал их в поселке и тут же пропивал вырученные деньги. Детей он не любил. Под пьяную руку мог запустить камнем или поленом. Но именно это щекочущее пятки чувство опасности заставляло всю деревенскую ребятню дразнить его, отбегая при вспышке гнева на безопасное расстояние. Однажды Шустрик столкнулся с ним лоб в лоб. Шустрик удил рыбу на вечерней зорьке, как вдруг прибрежные кусты ивняка зашелестели, расступились, и на вымытый рекой плес вышел Брызгун. В правой руке он держал удочку, а из кармана поношенного пиджака торчала консервная банка с червями. Шустрик окаменел. Еще вчера он издевался над ним, кричал вслед что-то обидное. А сейчас... Бежать было некуда. Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, и чувство гнилого страха сковало паренька по рукам и ногам. Ноги стали ватными и безвольными. Шустрик приоткрыл рот, и подленько задрожала нижняя губа...

Паренек закрыл глаза, пытаясь отогнать залетевшее воспоминание. Но чувство тогда было один в один похоже на переживание, когда Юсуп схватил его мощными пальцами за подбородок и по капле всасывал в свои глаза первобытный страх смерти.

Брызгун тогда лишь довольно осклабился и произнес: «Что, ссышь, когда страшно?». И неторопливо пошел вдоль берега своей дорогой. Но память об этой встрече вспышкой засела в детском мозгу. Шустрик больше никогда не дразнил этого человека. Да ему и оставалось недолго. Холодной зимней ночью Брызгун повесился. Родни у него не было, поэтому на похороны скидывались всем миром. И долго обсуждали на поминках непростую судьбу русского мужика, который сначала жену схоронил, а потом двоих сыновей

из Афгана в «цинке» встретил. Так и сказали тогда, «из Афгана в «цинке» встретил». Про Афган Шустрик слышал и раньше. От этого слова веяло чем-то романтичным и мужественным, настоящим. А слово «цинк» он раньше не слышал, но оно ему сразу не понравилось.

Паренек лежал на остывающей земле, боялся пошевелиться и вслушивался в ночь. Ему и раньше не нравились эти горы, это душное буйство красок, пыльные дороги и ледяные горные реки. Но только сейчас, связанный по рукам и ногам, лежа под каким-то южным кустом (у них в деревне не растут такие), он со всей ясностью осознал, насколько чужая это земля; и насколько зловещая здесь ночь. Сама природа помогала чеченцам в этой войне. И если не было с самого начала ни правых, ни виноватых, то земля, горы, солнце и даже вот эта ночь каким-то материнским стоном утверждали обратное. И утвердили-таки...

Пытаясь хоть как-то справиться с гнетущей тяжестью кавказской ночи, Шустрик вдруг открыто и без боязни посмотрел на задремавшего боевика. Спокойное лицо: тонкие губы, крючковатый нос, густая рыжая борода с проблесками седины. Пленный солдат Рома Савин всматривался в лицо чеченца, словно в изгибах морщин можно было прочесть ответ на мучивший его вопрос: откуда столько ненависти к русскому человеку?.. Что-то визгливо вскрикнуло из глубины ночи (или это закричала сама ночь?), Юсуп резко открыл глаза и два человека встретились взглядами.

Бывают в жизни такие мгновения, что зовутся моментом истины. Словно поворачивают рубильник в душе... Или нет, даже не поворачивают: чья-то невидимая рука ложится на него и вот-вот готова переключить. Неуловимая доля секунды между сомнением и поступком. Кажется, что все окружающее тебя пространство накаляется до предела, обжигает жаром ста тысяч солнц — это не так! Пространство и время остаются неизменными, они не нарушат ради тебя своих законов. Нагревается душа! А человек, не в силах совладать с этим огромным пламенем, выплескивает его через глаза — нет у души иного зеркала, нет иных проводников!

Два человека, не отрываясь, глядели друг на друга, и эта тонкая линия, протянувшаяся между взглядами, в считанные секунды заострилась и разрезала ночь пополам. И лопнула метафизика, ночь оказалась не более чем темным временем суток.

Чеченец проснулся так неожиданно, что Шустрик даже не успел толком испугаться. Он лишь удивленно хлопал глазами и пытался заторможено сообразить: что делать дальше? А Юсуп глядел на русского паренька, вглядывался в его избитое лицо, в пыльный камуфляж, в грязные босые ноги, и вдруг отчетливо понял, что не испытывает к нему никакой ненависти. Он попытался разозлиться на себя самого, но чем дольше вглядывался в эти детские птичьи глаза, тем яснее понимал, что даже злость ушла из души.

Ничего не осталось в мире, кроме тишины и двух пар глаз. А тишина застывала с каждой секундой, пока окончательно не остолбенела, и вдруг, покачнувшись, стала медленно падать на Шустрика. И только затем, чтобы его не раздавило, он заговорил:

– Я даже не думал бежать... Честно! Просто не спал. Да я и встать бы не смог... — начал он неуверенно.

Юсуп молчал, но не изменил позы, не отложил автомат.

– Не убивайте...

– Заткнись, — Юсуп произнес это слово легко, буднично и беззлобно, расслабился и положил оружие на землю.

Этот был лишь незначительный жест, но от него вдруг повеяло надеждой, спокойствием; Шустрик вдруг заулыбался и затараторил:

– У меня дома котяра был, Маврик... Ну, в смысле, он и сейчас есть... Я думаю... Так он мышей ловил. Но ведь какая сука, задушит мышь, и тащит ее деду показать. Никому больше — только деду. А дед у меня старенький совсем, он уже говорить не может и с кровати не встает. Так Маврик прямо на кровать к нему запрыгивает, и мышь там оставляет. Мол, покарауль пока, а я еще схожу. Да не просто оставляет, а припрятать норовит, то под одеяло засунет, то просто под кровать. Один раз, пока дед спал, вообще ему на бороду мышь кинул. Прикол, да? А другой раз чувствуем — воняет у деда в комнате. А дед вообще слабый, еле шевелится, только мычит недовольно, что-то сказать пытается. Ну, думаем, обделался старик. Поднимаем одеяло, а там мышей пять, все дохлые, воняют... Вот смеху было! Маврика потом батя за шкирку — и в сени зашвырнул. А там у него железо всякое, инструмент... Он механиком работает. Ну и халтурит дома... Так вот, думали не выживет котяра... Ничего, отлежался, раны зализал и через пару дней снова бегает. Только мышей деду больше не таскал. Кот хоть и тварь без разума, а где-то соображаловка работает...

Шустрик еще продолжал что-то говорить, улыбаясь и поминутно облизывая пересохшие губы, а у Юсупа что-то застонало под ребрами. Не важно, что именно говорил этот русский — важно как! Просто, открыто и искренне. Словно не злой чечен сидит перед ним, а лучший друг. И эти доверительные интонации в голосе паренька перевернули картину действительности. Отменили войну. Уничтожили ненависть. Воскресили надежду. И породили жалость...

Жалость опасна. Ее нельзя пускать в сердце. Жалость убивает воина и превращает его в слезливую бабу. Это самый опасный враг. Жалость заставляет задумываться над поступками, а на войне нельзя думать. На войне надо убивать. Иначе убьют тебя. Жалость надо выжигать каленым железом, пока она не сожрала тебя самого.

— Заткнись, свинья! А то я тебе кадык вырежу.

Шустрик осекся на полуслове.

— Я просто подумал... Раз меня завтра отпустят...

Юсуп встал, взял автомат, подошел к пленному и, размахнувшись, ударил его прикладом по лицу. Звонко хрустнула челюсть. Из разбитого носа хлынула кровь. А Юсуп, также не торопясь, развернулся и сел на место. Шустрик больше не пытался заговорить. Один удар приклада вернул все на свои места: войну, чужую землю, зловещую ночь. И замазал черной краской надежду, как окна замазывают: свет вроде бы пробивается, а вроде бы и нет. И все равно темно. И все равно страшно.

А жалость не уходила. Юсуп все сделал правильно, он заткнул пленного, сломал ему челюсть... Но жалость к этому русскому по-прежнему ворочалась в душе колючим ежом, только иголки стали длиннее. Сколько было лет Шамилю? Столько же? Чуть постарше?..

Нет, нельзя! Нельзя жалеть... Он вспомнил свой родной поселок Новые Алды, вспомнил мать, попытался представить утро 5 февраля 2000 года... Ту нечеловеческую звериную зачистку, когда русские, озверев от водки и крови, расстреляли семьдесят мирных жителей: женщин, стариков и детей... Просто за то, что они чеченцы. Еще он вспомнил рассказ Малики Лабазановой...

– ...Первый убитый, которого я увидела, был Азуев Айнди, старик восьмидесяти лет, во время обстрелов мы с ним в одном подвале укрывались. В нескольких метрах от него, у калитки, лежала Кока, ты помнишь Коку?.. Ей

тридцати еще не было... Чуть дальше — Аймани, она еще керосином торговала... У Аймани дочь в живых осталась, успела уйти огородами, но это потом только выяснилось. Лежал пятидесятилетний Альви Хаджимурадов. Я возвратилась и сказала Ахмеду, что трупы нужно затащить в дома, иначе кошки и собаки могут соблазниться. «Солдаты приказали не трогать, они могут еще вернуться», — вот что он мне ответил.

В то утро федералы забрали Тасуева Султана. Сам он жил в Черноречье, но после того как разбили его дом, перешел к родным, в Новые Алды. Когда его уводили, солдаты потребовали деньги. Мы собрали, но тем, видимо, этого показалось мало. С деньгами на руках его и увели. Никому не разрешили идти следом. Если бы ты видел, Юсуп, как он орал, как кричал. ...У него глаза красные в тот момент были, с такими жилками...

Мой муж достал еще денег для Тасуевых, он надеялся освободить Султана. С ними и ушел на соседнюю улицу. А я осталась дома. И вот через некоторое время слышу у себя во дворе крики, мат ужасный. Я открываю дверь, вижу: солдаты и с ними — Абулханов Ахмед. На крыльцо вышли и Зина с Хусейном. Один из военных (он был в белом маскхалате) обернулся ко мне, посмотрел, как сейчас помню, стеклянными глазами и спросил, что я тут делаю. Я сказала, что живу здесь. Он подзывает меня, и в этот момент старик (весь такой бледный, губы у него были синие) просит: «Малика, они сейчас деньги потребуют, пойди у кого-нибудь возьми». Я к солдатам: «Ребята, у нас нет денег. Если бы были, мы бы уехали, как все люди».

И тогда они начали стрелять. Кричали при этом, что у них приказ убивать всех. Я побежала к соседям, стучала в ворота — никто не открывал. Только Дениев Алу вышел на стук и принес мне три бумажки по сто рублей. Несу я эти деньги, подхожу к своим воротам и вижу: кошка моя идет, у нее внутренности вывалились. Она идет и остановится, идет и остановится, а потом умирает. У меня ноги так и подкосились, я думала, что всех у нас во дворе убили...

Когда я протянула этому, в белом маскхалате, триста рублей, он только посмеялся. «Разве это деньги? У вас у всех есть деньги и золото, — сказал он. — У тебя зубы тоже золотые». Я от испуга сняла серьги (их мне мама на шестнадцатилетие купила), отдаю их и прошу не убивать. А он кричит, что убивать приказано всех, подзывает солдата и говорит ему: «Заведи в дом и там ее потряси».

Когда я поднималась к себе на крыльцо, Абулханов Ахмед все еще стоял во дворе.

В доме я сразу бросилась в котельную, там за печкой и спряталась. Это было единственное, что я смогла сделать в той ситуации. И тот, который сопровождал меня, вышел назад. Он искал меня. Не найдя, вернулся снова в дом. И тут началась стрельба во дворе. Я бросилась к солдату, стала просить, умолять его, чтобы не убивал. «Тебя не убью, убьют меня», — сказал он. И такой страх меня охватил, что и бомбежки, и обстрелы, — все, что было до этого дня, все я готова была заново пережить, лишь бы он, этот солдат, отвел наведенный на меня автомат... Юсуп, скажи, за что нам все это?

Он стал стрелять: в потолок, в стены, прострелил газовую плиту. И тогда я поняла — он не застрелит меня. Я схватила его за ноги и поблагодарила, что не убил. А он: «Молчи, ты уже мертвая».

Я потом узнала, что первым застрелили старика Абулханова Ахмеда. Сделал это, по-видимому, тот, что был в белом маскхалате. У себя дома погибли Зина и Хусейн. Я слышала, как кричал Хусейн: «Зина, принеси документы». Он был инвалидом и думал, наверное, что пожалеют, когда увидят его документы. Потом я собирала его косточки. У Хусейна был разбит череп, и он

лежал в комнате. Труп Зины находился у порога, на ней было восемь или девять пулевых ранений.

Военные подожгли дом Абулхановых и их сарай. Коровы, овцы — все сгорело в этом пламени. Только после этого они ушли.

А Султана Тасуева освободить не удалось. Он был убит у дома, в котором лежали еще три убитых человека, в том числе и женщина. Мой муж и Тасуев Шамхан наткнулись на них... Эта женщина была русская...

А мать твою на улице убили. Я не видела, люди рассказывали. Она только и успела из дома выйти, даже сказать ничего не успела, сразу очередь по ней дали.

Малика потом долго молчала. Не плакала — высохли все слезы. И напоследок произнесла:

— Убей их, Юсуп! Убивай без жалости. Всех до одного.

Ночь исчезала, уступая место рассвету. Совсем скоро начнется новый день. Юсуп больше не спал. Изредка поглядывал на пленного. Жалость к нему ушла. Насовсем. Словно и не было никогда этого чувства. Только смутные отголоски воспоминания оставила она после себя. Но ненависть так и не вернулась.

Юсуп сидел, оперевшись спиной на походный рюкзак, пальцем левой руки неопределенно поглаживал автомат. Странное чувство плескалось в душе. Он знал, что русский — враг, к врагу не должно быть жалости. И вместе с этим ворочалась смутная догадка о неправильности такого хода вещей. Еще не знание, еще не уверенность, не опыт, лишь червячок сомнения: он проявлял себя в разбитых губах пленного солдата, в сломанной челюсти, в связанных за спиной руках, в детских глазах, наконец... И это сомнение крепло с каждой протянувшейся в вечности минутой.

Жалость ушла. Ненависть не воскресла. Но это уже не имело значения. Юсуп ждал возвращения отряда, как ждет утопающий спасательного круга. К тому же, он знал, что никакого обмена не будет.

Отряд вернулся утром. Боевики весело переговаривались, смеялись, выглядели довольными, сытыми и отдохнувшими. Ночь они провели в теплых постелях, утром ели домашнюю еду. А командир принес то, ради чего и спускался в поселок.

Шустрик, заслышав голоса, зашевелился и с трудом повернулся на бок. Голова раскалывалась, в сломанную челюсть словно напихали гвоздей. Каждое движение приносило нечеловеческие муки. Но надо собраться. Надо еще немного потерпеть. Скоро все закончится. И будет больничка, хорошенькие медсестры, спиртик по вечерам. А потом самолет, родная деревня, мама...

Командир присел, открыл походный мешок, достал новенькую видеокамеру.

Ромка Савин не отличался сообразительностью, но ведь бывают моменты истины. Ведь бывают, черт побери! Одна секунда. Один взгляд. Одно прозрение. А больше ничего и не надо. Больше ничего и быть не может. Не будет дома, не будет мамы, курносой Анюты тоже не будет; исчезнет земля и солнце, умрет вселенная, — Ромка точно знал, что умрет. И что с того? Да, целая вселенная может умереть по воле одного человека. И он, Ромка Савин, тоже умрет. Только думалось об этом уже спокойно. Страх был, а паники не было. Паника не имела смысла. Ничего больше не имело смысла.

Командир, настраивая режим съемки, что-то весело сказал Юсупу, но тот не ответил. Даже не двинулся с места. Тогда командир сказал то же самое, но уже без улыбки, жестко. Юсуп снова промолчал. А потом встал, что-то коротко выкрикнул на чеченском и направился вниз по

тропинке. Командир разозлился, в спину Юсупу понеслась ругань. А потом он плюнул и снова что-то выкрикнул, уже обращаясь к отряду. И все пришло в движение. Чеченцы разом загалдели, размахивая руками, кто-то пронзительно захохотал.

Рому Савина схватили, рывком подняли на ноги и потащили в центр поляны. Командир — уверенный в себе матерый волк — передал кому-то камеру. Достал нож. Склонился над Ромкой.

— Страшно, свинья?

Ромка молчал. Только умоляюще смотрел в глаза. Но жалости не было. Она умерла на этой поляне пару часов назад.

— Прощайся с мамкой!

Суетливый длинный чеченец туда-сюда бегал с видеокамерой, выбирая нужный ракурс. Ромка попытался что-то произнести, но из разбитой челюсти вырвалось только неуверенное мычание. И мир взорвался.

Рука с ножом двигалась быстро и умело. Ромка захрипел, задергался всем телом. Из разорванной раны вырвалась наружу душа, пузырясь и булькая на лету.

Взгляд тускнел, обволакиваясь красной думкой. Было больно, но терпимо. Только пропал воздух, словно его, Ромку Савина, закинули на мгновение в открытый космос. А страха не было. Люди врут, не проносится перед смертью вся жизнь перед глазами. Да и кто вообще это придумал? Кто из живых может доподлинно это знать? Умирал Ромка. Умирала вселенная. И последнее, что он увидел перед смертью, это здорового черного кота. Тот жадно припал к миске, но вдруг замер, резко вскинул сытую морду и посмотрел прямо на Ромку. А взгляд кошачьих глаз словно говорил: это еще не конец, это только самое начало...

С длинных усов свисала капля жирного молока. Потом Ромка умер.

Юсуп свернул с тропинки и присел у размашистого куста. Он слышал довольный визг свих друзей, довольное гиканье взрослых детей, которым показали новую игрушку.

Он не понимал, что с ним происходит. Все было сделано так, как надо, как велят законы гор. Ему не было жалко этого русского солдата. Он мстил за мать, за жену, за сына. Он не испытывал угрызений совести... Но вот что-то безвозвратно сломалось в душе. Еще в тот момент, когда русский довольным голосом начал рассказывал про своего деда, про кота, про мышей, — возникло новое знание. Извечное, честное, настоящее. Да, казнь была нужна, да, он ни о чем не жалел. И вместе с этим отчетливо понимал, что не было правоты в содеянном. И никогда больше не будет. Понимание переполняло его изнутри, рвалось наружу, царапало сердце, проедая себе дорогу на волю.

Юсуп был мужчина. Он никогда не плакал. Не заплакал и сейчас. Но чтобы удержать в горле выплескивающийся ком, он до крови закусил губу и беззвучно завыл. Горлом. Потом упал на траву.

Юсуп выл, царапал землю заскорузлыми пальцами. Угрюмая правда бытия предстала во всей своей наготе. И он не знал, что теперь с ней делать.

По тропинке спускался к ручью молодой командир. Через плечо у него был перекинут молитвенный коврик. Он аккуратно расстелил его на берегу, не торопясь, вымыл руки, соскребая успевшую подсохнуть кровь, омыл ноги, лицо. Потом он преклонил колени и воздел руки к небесам, благодаря Аллаха за удачный день.

Подошло время намаза.

ЯБЛОКИ

Рассказ

В сенях пахло яблоками и ещё чем-то родным, не имеющим точного слова. Полумрак вычертил резиновые сапоги, плетёные корзины, покрытые пылью банки на полках, старый холодильник, груду ватников и старых курток, сваленных в одну кучу. Глеб втянул ноздрями этот знакомый воздух и ощутил лёгкую тревогу: чего-то не хватало. С этой занозой он вошёл в дом.

Тесть сидел за столом и чистил рыбу. На подоконниках дозревала антоновка, и этот яблочно-рыбный дух свёл скулы и наполнил рот голодной слюной.

— Здравствуй, дядь Коль, — сказал Глеб.

Тесть не обернулся, только стряхнул налипшую к ножу чешую.

— Я заночую?

— Ночуй.

Тесть положил нож на край стола. Обернулся.

Мужчины очень внимательно глядели друг на друга, выедая утаённое, не произнесённое вслух. Дёрнула хвостом изодранная рыба, и от этого судорожного движения качнулся мир.

— Чего встал?.. Проходи.

Глеб тяжело, устало разделся, долго путался в намокших шнурках, наконец выпрямился, но не во весь рост, а словно с грузом на покатых плечах. Огляделся. Попробовал узнать дом.

Привычные вещи не опознавали Глеба. Кровать, тумбочка, шкаф, гипсовый бюст Ленина на комоде — всё настороженное, забывшее прикосновение его рук. Пропала фотография, где он с женой и сыном на фоне теплицы, — пустое место на стене. Только защитившийся от пыли квадрат (тридцать на сорок) мозолил глаза.

— Вещи твои на веранде. Нинка сложила перед отъездом.

— Где она?

— В городе.

— Я знаю, где именно?

Старик замялся, но выдавил нехотя:

— У Сажина.

— Ясно. Давно?

— Месяца полтора.

В сенях не хватало коляски, но подумал об этом Глеб отстранённо. Просто мысль. Промелькнула и не оставила следа.

Их комната утратила запах. А чем она пахла раньше? Глеб попытался вспомнить и уже не мог, как будто прошло десять лет. Детские салфетки, подушки из верблюжьей шерсти, волосы Нины, плюшевый медведь, книги на полках — все вместе это пахло уютом. И, конечно, карамельный запах сына... Где всё это?

Мужчина сел на кровать.

Вошёл тесть. Положил на стул постельное бельё.

— Баню затопить?

— Да.

В комнату забежал Марсик — белый облезлый кот с разодранной бровью, — прыгнул на кровать и положил голову Глебу на колени. Мол, я тебя признал, держись.

Горький комок подкатил к горлу. Чтобы его задавить, Глеб начал с силой

гладить кота. Тот понимал, терпел и не вырывался. Только урчал горлом и хлёстко бил хвостом по кровати.

Наконец отпустило. Выдохнул, сбросил кота. Подошёл к окну, взял яблоко с подоконника, взвесил его мягким движением, подкинул, положил на место. За окном, на краю деревни, вмёрзла в пейзаж вековая берёза. На самой её вершине аисты свили гнездо. Глеб смотрел на это гнездо. Аистов не было. А он смотрел и ждал, когда же они прилетят.

Вернулся тесть с улицы, прошаркал на кухню. Через пару минут зашипела сковородка.

Глеб достал из рюкзака застиранный маскхалат, переоделся.

— Иди ужинать, — позвал тесть.

На сковородке дымился жареный лещ. На столе — чёрный хлеб, нарезанный мужскими кусками, солёные огурцы, сало. Бутылка водки. Две пузатые стопки. Тесть с сомнением поглядел на Глеба.

— Чего вырядился?

— Тебя не спросил.

— Ты не хами. С тобой по-русски разговаривают.

— А я что, по-китайски?

— Водку будешь?

Глеб жадно сглотнул.

— Буду.

— Тогда разливай.

Глеб сел на скрипучий стул, свинтил пробку одним резким движением, наполнил стопки до краёв.

— С возвращением, — произнёс тесть. — За то, что живой.

Чокнулись и выпили.

Водка провалилась в пустой желудок и обожгла. Глеб сморщился.

— Закусывай.

Мужчины набросились на еду. Тесть ел со значением, внушительно пережёвывал, аккуратно откладывал мелкие кости на край тарелки. Глеб жевал жадно и суетливо, наполняя желудок горячей рыбой, огурцами, салом — всем подряд.

Налили ещё по одной, выпили.

— Что делать будешь?

— Не знаю. Работу найду.

— У тебя взгляд пустой, тебе в себя прийти надо.

— Приду.

— Конечно, придёшь, куда ты денешься. Жену потерял, сына потерял...

— Заткнись, дядь Коль.

— А то что?

— Кадык вырву, — произнёс Глеб с расстановкой, без злобы, и от этого спокойствия стало страшно.

— Ты в зверя превратился.

Глеб ничего не ответил. Налил ещё по одной.

— За всех... — И, не дожидаясь тестя, лихо опрокинул стопку.

— Не нажрись смотри. С пьяным не буду возиться.

Глеб снова промолчал. Только глаза осветились твёрдым, на крови закалённым светом.

Баня пахнула жаром ста тысяч солнц, но этот жар не тревожил, а успокаивал. Только медный крестик мгновенно накалился и Глеб, матерясь, торопливо сорвал цепочку. Сел на полок, спрятал лицо в ладони, размазывая

выступившие капли пота. Покраснел шрам на правом предплечье. Пуля прошла навылет, рана стянулась быстро, но сейчас, в бане, плечо заныло тягучей болью, как будто в него гвоздь вогнали. Тело было худым, скукоженным. Распаренная кожа вычерчивала красным изгибы рёбер. От жары и странных, сладких мыслей затвердела... плоть, и Глеб вскочил, заходил из стороны в сторону, смахивая со лба капли пота, растирая его по телу. Наконец, не выдержав, он подошёл к баку с холодной водой и нырнул в него головой. Взметнулся вверх, фыркнул. Потом набрал таз, окатил себя, шумно и часто задышал. Успокоился. Сладкие мысли ушли. Вадим, молодой сапёр во взводе, говорил, что передёрнуть не грех, мол, сапёру полезно передёргивать, спокойней будет. Вадима накрыло «градом» под Дебальцевом. Собирали по кускам.

Глеб залил кипятком свежий дубовый веник, ещё раз окатил себя водой и вышел в предбанник. Облако пара поднималось от красного тела к потолку. Глеб достал сигареты и закурил, приоткрыв дверь. Свежий вечерний воздух погладил спину. Потом он парился до изнеможения, с силой хлестал себя веником, оставляя на теле вздувшиеся багряные полосы. Выбивал из себя отчаяние, заполняя пустоты влажным дубовым духом. Это была молитва. За мёртвых и живых, за Нину, за сына, за то, что всё не зря, не зря...

Тесть приготовил ему чистую рубаху.

— Переоденься.

Глеб скинул маскхалат.

— Что это? — тесть указал на мелкие подсохшие нарывы на груди.

— Сигареты тушили.

Помолчали.

— Эх, парень ты, парень...

— До свадьбы заживёт. — Глеб попробовал усмехнуться.

— Долго ты был... у них?

— Пятьдесят два дня.

Тесть покачал головой.

— Дядь Коль... — в голосе Глеба прорезались просящие нотки. — Есть ещё выпить?

Тесть плюнул и пошёл на кухню. Вышел с новой поллитрой.

— Последняя.

Брезгливо бросил стопку на стол.

— Сопьёшься.

— Плевать.

Пил Глеб муторно и тяжело. Тёплая водка не лезла, и он с усилием проталкивал её внутрь, сглатывая сивушное послевкусие, заедая свежим хрустящим луком. Взгляд туманился, зарастал болотной ряской. Лопнули капилляры в глазах, белки покрылись красными трещинками.

Тесть сел в кресло, включил телевизор. На экране хорошие дядьки ловили плохих. Один долгий, затяжной сериал, имитирующий жизнь. Идёт уже много лет. Меняются актёры, режиссёры, сюжет, название, а сериал всё тот же: безвыходная дрянь.

— Интересно? — спросил Глеб.

— Нормально.

— Ну, раз нормально, смотри.

— Я и смотрю.

Водку Глеб не допил. Уронил голову на стол и засвистел слипшимся пьяным свистом. Тесть чертыхнулся, подошёл к столу и обхватил парня сзади. Поднял на ноги одним резким рывком.

— Давай, давай... Свинья...

Потащил в комнату. Глеб пьяно мычал и отмахивался. Уложил на кровать, накрыл одеялом. Несколько минут смотрел на парня, как тот проваливается в долгожданный сон. Потом вышел на улицу позвонить.

— Алло... Нина... Знаю, что поздно. Глеб приехал... Спит... Просто звоню, чтобы знала... Передать что?.. Хорошо, как знаешь... Давай, пока.

Достал сигарету, зло чиркнул спичкой, с наслаждением затянулся.

Дома он выплеснул остатки водки в стакан, выпил тремя большими глотками. Закусил лепестками лука.

В кровати тесть долго ворочался, не мог заснуть. Полная луна прорезалась сквозь занавески, рассекая комод холодным серебряным лучом. С мудрым прищуром смотрел Ленин на этот мир. Тесть выходил покурить, возвращался, снова ложился в кровать. Сна не было. Как не было и покоя в душе.

Среди ночи Глеб заорал. Долгий звериный рёв забил до отказа пространство избы, требовал выхода и рвался в небо. Глеб орал пьяно и страшно, из другого мира, который схватил его за губу и не отпускал, выкручивал.

— Что ты? Что?..

Тесть подбежал, схватил парня за плечи, затряс его, думая разбудить, но Глеб не спал. Глаза его были распахнуты. Он смотрел на тестя, не узнавал его и продолжал орать, ввинчивая в уши грязную муть, боль и что-то ещё, абсолютное и нечеловеческое, засасывающее на дно.

— Да что же это...

Старик зажал ему рот ладонью, но тут же вскрикнул и отдёрнул прокушенную руку. Залепил кулаком по лицу.

Глеб не чувствовал боли, продолжал орать, останавливаясь только для короткого вздоха.

— Что ж ты, парень...

Глеб сжался на кровати, подобрав ноги, как сжимаются младенцы в животе у матери, силясь спрятаться от чего-то ужасного, настигающего. Но скрыться не удавалось, и он продолжал орать охрипшим горлом, не в силах вырваться из сонного морока.

И тогда тесть схватил яблоко с подоконника и запихнул ему в рот. Полетели брызги в разные стороны. Кислый вкус детства попал на язык, и этот момент узнавания вернул равновесие в мир.

Глеб подавился и зарыдал, и тесть схватил его голову и прижал к груди, принимая старческой впадинкой надкушенное яблоко. А тот вцепился в старика своими худыми узловатыми руками и прижался к нему, как ребёнок, размазывая слёзы и сопли, в надежде, что его погладят и защитят.

— Ну, всё, всё, парень, всё...

Морок отступал. Тесть гладил Глеба по вихрастой голове, тот плакал ему в живот, скулил, как побитая собака, и во всём русском мире не было людей роднее.

ТРИ ДНЯ ОСОРГИНА

Повесть

Лине приснилась рука. Даже не сама рука, а ладонь: бледная, холеная, с утонченными длинными пальцами. Пальцев было четыре – заросший обрубок на месте мизинца. Они шевелились в пустом пространстве, перебирали струны невидимой арфы, на короткое мгновение замирали и снова продолжали движение.

Ладонь приближалась, вырастала в размерах, набухала, до отказа накаченная бугристой силой. С кожи слетел вялый лоск, она потемнела, огрубела, тыльная сторона ладони покрылась жирными волосками, под ногтями набилась земля, топорщились заусенцы. Ладонь приближалась, плавно и неумолимо, как может быть только во сне. Странно, но Лина не испытывала страха. Даже возникла озорная мысль: а что если укусить?..

Пальцы коснулись Лининой щеки, и улетучилось любопытство, чувство гадливости родилось в затылке, хлынуло в шею и рассыпалось мурашками по спине. Лина захотела отодвинуться, но отчего-то не смогла пошевелиться. В этот момент рука крепко схватила женщину за волосы и дернула вниз...

Лина проснулась от толчка. Поезд остановился, выдыхая шипучий пар. В дверь купе постучали:

– Гражданка, прибыли.

– Да-да... – голос со сна булькающий, сиплый.

Лина опустила ноги на холодный пол, протерла глаза. Никого. Попутчики вышли ночью в Петрозаводске. За окном вмерзло в пейзаж деревянное здание вокзала, перетянутое от угла до угла белым транспарантом с жирными подтечными буквами: «Даешь физкультуру и спорт первой пятилетке». Лина прикрыла глаза: «Глупость... Господи, какая глупость!».

Вспомнился холодный мартовский вечер четырехлетней давности «В другой жизни... Все это было не со мной, не с нами...».

Арест Лина запомнила во всех деталях, шаг за шагом, по кадру, но эта незыблемость памяти потребовала усилий, всхлипывающего труда. На какое-то время она погрузилась в полуявь-полусон, что-то делала, собирала вещи, продукты, но в то же время это была не она. А она, настоящая Лина, так и осталась стоять у дверей комнаты, когда ее лениво оттолкнули два человека в соломенного цвета шинелях. Память сохранила все, каждый жест, каждое слово, но прошли недели духоты и усталости, прежде чем Лина смогла наполнить содержанием распоротые на лоскуты минуты ареста.

Это время съел чей-то жадный рот, сожрал с чавканьем, давясь секундами, втягивая их в ненасытную утробу. Вся ее жизнь моментально разделилась на «до» и «после». Счастливое «до» уже прошло, убийственное «вы арестованы» очертило его безвозвратность, а «после» не наступило. И это условное безвременье наполнило рот испуганной слюной, заразило руки подленькой дрожью.

Георгий Михайлович, напротив, вел себя очень спокойно. Последние несколько недель в нем стала заметна нервозность, рассеянная угрюмость. Вечерами он подолгу останавливался у окна, молча смотрел на заснеженную столицу. Не дома, не камни, не скамейки, а он сам находился в тисках февраля, и не осталось сил в худых жилистых плечах, чтобы вырваться на свободу. Откуда выбираться? Куда? В один из таких вечеров он обмолвился: «Помнишь, Лина, как играли в теннис в Знаменском?..». Помолчал и добавил: «Вот и Господь сейчас в теннис играет. Россией...». И так он монотонно это сказал, что Лина вдруг испугалась спрашивать, с кем.

Предчувствуя непоправимое, отвезли годовалую Марину к тете Лизе. А вечером 6 марта 1925 года, за несколько часов до ареста, Лина, убирая посуду со стола, обронила нож. Осоргин необыкновенно оживился, заулыбался: «Все, родная, жди гостей!». И они пришли. Два красноармейца – шинели, суконные «богатырки» и командир – кожанка, четыре треугольника в петлице. Солдаты в валенках, командир – в стоптанных, когда-то скрипучих

сапогах, галифе наружу. Три синих ромбовидных полоски на серой гимнастерке. Фуражка с красным околышем и темно-синей тульей с малиновой окантовкой. А лица, лица-то какие! Простые, без злобы, внимательные и утомленные. Словно дела – не дела, работа – не работа, республика – не республика, а мы люди маленькие, приказ, товарищ, должны понимать.

Осоргин вдруг успокоился, с наслаждением закурил. Лина плакала, пыталась объяснить, курлыкала испуганной голубкой, – мир ее рушился на глазах, – а муж спокойно сидел за столом, гладил усы, бородку. Глаза его блестели так, как будто озарение снизошло на Георгия Михайловича, и его худоба, бледность, его невысокий рост только подчеркивали глубину этого озарения.

Внезапно он резко ударил ладонью по столу.

Звякнув, подпрыгнула чашка на блюдце.

«Хватит, Александра Михайловна, товарищи устали, предложите им вина». Лина с надеждой посмотрела на мужа: «Какого вина? У нас нет вина». Он улыбнулся: «Тогда вещи мои собери».

После этой мягкой улыбки окончательно испарилось «до», Лина поняла, что как раньше уже никогда не будет. А въедливое «после» приблизилось на один шаг, мелочно и неумолимо. А главное, это разделение, жившее внутри женщины, потеряло условность и вылезло наружу, в реальное время и пространство.

На столе стояла ваза с яблоками. Осоргин взял сморщенный желтый фрукт, маленьким ножиком начал отрезать по кусочку и закидывать в рот, с какой-то жестокостью прожевывая каждую дольку.

Грубый окрик: «Положи нож!». Еще одна долька. Спокойно. Даже мускул не дернулся. «Сука ты! Контра!». Главный в кожанке раскраснелся, подошел резвым шагом к столу, нависая над маленьким человеком как куча земли, замахнулся кулаком...

Стул отлетел в сторону. Григорий Михайлович Осоргин возвышался над комиссаром; маленький, на голову ниже – возвышался. Разбуженное бешенство кипело в его глазах, выплескивалось наружу, прожигая обшарпанный паркет. Кадровый офицер, гвардии кавалерист, адъютант Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича зашипел зависшему кулаку: «Никогда не смейте мне «тыкать... Никогда! Вам ясно? Вам все понятно?». Комиссар не опустил руку, но право на удар испарилось. И чем дольше он медлил, тем яснее становилось ему самому: не ударит, не сможет. Потому что не маленький арестованный человек стоял перед ним – весь императорский кавалерийский полк возник за спиной Осоргина; да, великий князь во Франции, но Григорий Михайлович возглавлял не живущих. За его спиной теснились павшие в войне с Германией, друзья, соратники, заведенные генералом Безобразовым под немецкие пушки, удобрившие землю Тавриды в братоубийственном двадцатом году, замученные и расстрелянные в подвалах ОГПУ. И ему, еще живому, они вручали незримое знамя полка, простреляннное в боях, обугленное, затертое. Веди, Георгий Михайлович, ты последний остался, веди...

Комиссар разжал кулак, но злоба искала выплеска. И он схватил со стола блюдо с яблоками, и с размаху шваркнул его об пол, и осклабился желтыми зубами. Фарфоровые осколки разлетелись, как раздробленные кости, яблоки на миг зависли в воздухе, а потом ойкнули на пол, разбегаясь по своим углам. «Десять минут на сборы», – красный рот был снова спокоен и собран.

Все дальнейшее приобрело характер отстраненной деловитости, но внеш-

нее и внутреннее в Лине не соприкасались. Одна Лина искала носки, сворачивала свитер, собирала продукты, а другая продолжала стоять и отматывать назад пленку времени. Как будто воспоминания прошлого могли стереть реальность, или хотя бы укоротить. Лишь на одну секунду две Лины соприкоснулись, когда муж – уже одетый, уже собранный – подошел к ней, не обнял, а нежно прикоснулся к ее плечам, поцеловал в щеку, так ласково, так аккуратно и бережно, как к образам прикладываются: «Береги себя».

Уже в коридоре Осоргин оборачивался в бессмысленном порыве вернуться, но его подталкивали в спину... И кто-то выключил звук в этот момент. Лина видела, как муж что-то ей говорит, как шевелятся усы, двигаются губы, но слова не прорывались сквозь абсолютный вакуум беды. Ушные раковины замазали воском; или ее, Лину, окунули с головой в воду: шум жизни на поверхности проходил мимо нее, вне ее, был создан не для нее. Рыбаки! Где вы, рыбаки? Поймайте на пустой крючок, вытащите наружу...

Лина срывается с места, расталкивает красноармейцев, мертвой хваткой обнимает мужа, льнет к нему всей страстью, всей молодостью, приникает к губам без стыда, трепетно, по-бабьи преданно... Сильные руки рвут ее на части, оттаскивают... Комиссар достает наган, бьет рукояткой по голове... Осоргин цепко хватает его за горло, душит, тянется зубами... Выстрел. Второй. Третий...

Лина продолжает стоять на месте. Прожигает спину мужа соловым взглядом. Он все еще оборачивается, он что-то продолжает говорить. Последний шаг. Последний взгляд. О, как часто она будет вспоминать этот момент, теплый взгляд будет ей сниться, всплывать перед глазами напоминанием об утерянном счастье, последним его вещественным доказательством, крайним мигом безвременья.

Захлопнулась дверь. Все.

Лязг дверного замка и был тем самым крючком, на который она попалась. Без удочки. Без рыбаков. Один голый крючок. Сразу же вернулись звуки. Лина вошла в комнату, подошла к столу, присела, стала собирать осколки разбитого блюда, раскиданные яблоки.

Уже наступило «после», первые его секунды. Но ведь душа человека сложнее устроена. Ну как может наступить «после», если в душе еще живет «до», и сосуществовать бок о бок им невозможно!? Лина бессмысленно замерла с кусками фарфора в руках, и в эту секунду хлынуло из души прошлое (годы, встречи, разлуки, счастье, родное Знаменское, братья, няньки, модные шляпки, теннис, чаепития на веранде, парк, велосипедные прогулки, всенощная на Пасху, венчание, улыбка мужа), хлынуло буйным потоком, в котором невозможно плыть – только барахтаться. В глазах Лины вдребезги разбилась стая ворон, и вырвалось из горла звериное, нутряное: «Мама! Ма-а-а-амочка! Маму-у-у-уля-а-а! Ма-а-ама! А-а-а-а-а-а-а-а-а!». Она осела на пол, выпуская из рук осколки, схватила себя за волосы, закачалась, заревела: «Су-у-уки! Су-у-у-уки! Ма-а-а-ама! Ма-а-а-а...».

И вдруг вскочила, рванулась к двери, слетела по лестнице, без обуви выбежала во двор, пробуя мартовский снег фильдеперсовыми чулками, и – под арку, сквозь ночную темень выплеснулась на улицу. От нее шарахнулась запряженная в сани лошадь, шумно задышала горячим паром, скрипнули полозья, грязно выругался извозчик, замахнулся на Лину кнутом, но лошадь уже тянула сани вперед, дальше, дальше...

Куда бежать? Лина метнулась сначала вправо, пробежала несколько шагов, засомневалась, повернула назад, догоняя розвальни.

Она не знала, зачем бежит, и застуженными пятками понимала глупость, бессмысленность и вздорность своего бега, но остановиться уже не хватало решимости. Остановиться – это предать себя, мужа, свой порыв. Остановиться – это смириться с потерей. И Лина бежала, бежала...

Сани протяжно затормозили. С них соскочил всклокоченный, завернутый в тулуп извозчик. Лина мелко засеменила, почти ткнулась ему в грудь.

– Ну, что ты? Что?

– Пустите, мне надо... Мне очень надо!

– Куда тебе надо?

– Туда! – женщина неопределенно махнула рукой.

– Не надо тебе туда.

– Как это может быть?

– А вот может и все.

– Правда? – Лина верила и не верила. Но так хотелось ей, чтобы возник кто-то, кто знает все: что надо и что не надо, что можно, а чего нельзя, как жить дальше и когда все это закончится. Знает и говорит, научает, и чтобы верилось со сладостью, дрожью и слезами, как Господу Богу.

– Правда. Иди домой. Застынешь, дура.

И не дожидаясь ответа, мужик сел в сани, легонько чмокнул, и лошадь рванулась вперед, убегая в морозную ночь. Тишина. Пустая улица. А был ли извозчик? Или лошадь – не лошадь, а только образ лошади? И розвальни с мужиком только образ? А кто тогда она, Лина, и зачем она здесь? И когда закончится этот сон? И что в этом сне отражено, а что выражено?

Тишина. Пустая улица. Можно возвращаться домой, потому что «до» утекло без остатка, а «после» развернулось, утрамбовалось в душе. И уже понятно, что жить дальше – это преодолевать «после» ежечасно, ежесекундно; не для того чтобы воскресить прошлое, а чтобы зачать исход, угадать правильную дорогу в запутанном лабиринте и пройти ее до конца.

Квартира настороженно молчит. Соседи не спят, но вслушиваются, наполняют Линины шаги испуганным смыслом и облегчением. Спит Москва. Спит великий народ, победивший сам себя, свободный от совести, Бога, мироздания. И Лина тоже ложится спать. Нелепое и неотступное замешалось в нугу: завтра на работу, отстукивать на машинке приказы, справки, формуляры. Забрать дочь у тети Лизы. Жить дальше. Искать дорогу. И в этой изменившейся системе координат вселенная уменьшается до размеров яблока, закатившегося под секретер.

Кемь гноилась грязью, серостью, затхлостью. Глиняные улицы размыты, помои выливают прямо из окон двухэтажных деревянных бараков. И словно сеточка вен на теле города – узкие пролежни из досок, поддонов, бревен, веток: вдоль домов, обозначая пародию на тротуар.

Все вокруг кишело людьми. Как муравьи, они сновали на узком пяточке вокзальной площадки, сталкиваясь, пересекаясь, перелезая, обходя друг друга со своими бесчисленными тюками, мешками, сумками, деревянными чемоданами. Вывалились из задних вагонов заключенные, моментально попадая в кольцо оцепления. Солдаты были хмуры, злы, собраны; штыки отливали холодным золотом в лучах октябрьского солнца. Матерным окриком арестантов завалили на колени, пересчитали по головам. Четверых заключенных подняли на ноги и загнали обратно в вагон. Через минуту зэки уже вытягивали из ледяных теплушек трупы товарищей. Не доехали – повезло. За руки и за ноги оттащили к подводе, уложили в ряд. Повозка с трупа-

ми двинулась в сторону Рабочеостровска, указывая дорогу еще живым, дышащим, еще на что-то надеющимся...

Лина нашла извозчика, тот согласился отвезти ее до пересылочного пункта. Кемский перпункт находился в полутора километрах от города на Поповом острове. С материком его соединяла хлипкая дамба. Дорога была гнутой, как выстроенные в ряд подковы, повозка утопала в грязи тракта, всхлипывала, зарываясь в размокший суглинок, скрипела, готовая вот-вот развалиться. Сквозной ветер с моря бил женщину в лицо, размазывая по щекам запахи конского пота, сырости, соли и водорослей. Испортилась погода. Низкие, ядовито-фиолетовые тучи скрыли небо. Чувство густой тоски всосалось в сердце, так что выть захотелось, и Лина зажмурилась, закусила губу.

То, что в этом месте поселились люди, казалось недоразумением, божественным недосмотром. Звери, птицы, гады – пусть, но люди-то здесь причем? И земля, и скалистые валуны, поросшие редким мхом, утверждали нехоженность эти мест с сотворения мира; небо нависало так низко, что, казалось, совсем немного, и снимет с тебя скальп, выскребая кожу влажным серым ножом. Сама природа ополчилась!

Возница лишь раз обернулся за всю дорогу:

– До мужа?

– Да, – ответила Лина.

– Ишь ты кака-а-ая! – Мужчина покачал головой. Взгляд его потеплел.

Заместитель начальника Кемского пересылочного пункта, помощник дежурного коменданта Окунев смотрел на Лину выпуклым болотным взглядом. Таким взглядом обволакивают и подчиняют, после таких взглядов помыться хочется.

– Вот! – Она протянула сложенный вдвое листок бумаги, без улыбок, без приветствий, не отводя глаз. Окунев развернул бумагу, начал читать, периодически поднимал глаза на Лину и снова погружался в чтение, подслепова-то щурясь, кривя утиный, огромных размеров рот. Потом положил бумагу на стол. Снова посмотрел на Лину.

– У меня свидание, мне разрешили... – Лина не выдержала первая. И кровь загустела в венах, превращаясь в перебродивший земляничный сок. Окунев молчал. Внимательным мужским взглядом оценивал фигуру женщины, ее плотные ладные плечи, крепкую грудь; рассматривал откровенно и без стеснения, как будто сейчас он поманит ее пальцем и разложит прямо на письменном столе.

– Да что же это... Там подпись! Первого заместителя... Вашего этого... – должность липла на языке и не хотела обрастать звуком и содержанием.

– Мне знакома подпись Генриха Григорьевича. Я внимательно читаю документы. Все документы! – Окунев сделал ударение на местоимении «все». А голос обычный, человеческий, только немного ленивый, отчего слова не вылетают – вытекают с одолжением. – Ждите в коридоре.

И Лина стала ждать. Она сидела на стуле, мимо нее проходили какие-то люди, в форме и без, несли озабоченные лица, сжимали в руках папки, листы, портфели. И людей-то немного, и коридорчик узенький, а воздух дрожал от напряжения. И еще воздух проникал в легкие, заражал случайностью и виновностью существования. Чтобы не заплакать, Лина старалась задержать дыхание, вспоминала дом, Машеньку и четырехмесячного Мишу. Миша, Мишель, синеокий, как отец, он был зачат на Соловках, во время первого свидания в каюте пришвартованного к острову корабля, где они жили целый месяц... Где тот корабль? Остался? Там ли они поселятся?.. Гос-

поди, сегодня или завтра. Сегодня или завтра она увидит мужа, прижмется к нему, расцелует... Все заныло внутри изголодавшейся женщины. На глаза навернулись слезы. Стало невозможно сидеть на месте, и чтобы не разрыдаться Лина встала, заходила по коридору из стороны в сторону и вдруг, повинуясь случайному порыву, осторожно постучала в дверь кабинета.

– Извините, я только...

Окунев сидел за столом и увлеченно жевал. Перед ним на развернутом газетном листке стояла открытая банка консервов, нарезанный крупными кусками ржаной хлеб, свежий огурец, лепестки лука. По правую руку высилась ополовиненная бутыль с мутным самогоном. Лина осеклась, сбилась, в ту же секунду напрочь забыла все, что хотела сказать, а помощник дежурного коменданта удивленно замер, вилка с куском тушенки остановилась на полпути. На мгновение в глазах чекиста мелькнул глупый испуг, как у человека, пойманного на месте преступления, но вот секундное замешательство прошло и Окунев начал багроветь. Глаза сузились, прорезанные красными жилками, щеки в ярости задрожали. Чекист не заорал – завизжал, как свинья с ножом в боку:

– Я! Сказал! Ждать! В корридо-о-оре!

И уже вдогонку, в закрытую дверь:

– Гнида! Задушу-у-у...

Лину трясло, колотило от страха и гнева. «Господи, ведь это люди! Неужели это люди? У них есть семьи, дети? Не может быть, чтобы дети. Нет, только не дети, детей у них быть не должно. Никогда! Зачем им дети?.. Зачем они – детям? Зачем они вообще появились на свет? За что?..».

Лина просидела в коридоре до позднего вечера. Наконец, Окунев вышел из кабинета, мягким и плавным движением закрыл дверь на ключ и направился к лестнице. Женщина смотрела в пол, не смея поднять глаза, готовая сидеть всю ночь и весь следующий день, и продолжать сидеть столько, сколько потребуется. И вдруг Окунев остановился, обернулся, улыбнулся открыто и дружелюбно.

– Вы еще здесь, Александра Михайловна? Вам разрешено свидание с мужем, Осоргиным Георгием Михайловичем. Четырнадцать дней. Распоряжение товарища Ягоды никто не в силах отменить.

Куда делся тот зверь? Перед ней стоял искренний, добродушный мужчина, который сейчас возвращается домой, к жене и детям. Подбородок Лины задрожал, она закусила нижнюю губу. Усталость, копившаяся в сердце, хлынула к ногам и пояснице, обволакивая тело сахарной ватой.

– Ну-ну, что вы... Не переживайте! На пристани пароход «Глеб Бокий»...

– Да-да, я знаю...

– Конечно, вы знаете, не первый раз... – Окунев заговорщицки подмигнул. – Переночуете на пароходе, а с утра, как говорится, с попутным ветром... Предписание возьмете внизу, у дежурного. Я распоряжусь.

Он протянул ей тот самый листок с той самой подписью, что никто не отменит, и двинулся дальше по коридору, насвистывая под нос веселое, задорное.

Лина спала крепко всю ночь и все утро, она не слышала, как с матом и стоном грузили в трюм парохода заключенных, как заработали винты, и заревела, выплевывая черный дым, единственная труба самого страшного северного парохода.

Октябрь дождил. Природа собиралась в отпуск. Море всхлипывало и волновалось. Лина спала, с каждой секундой приближаясь к Соловецким ост-

ровам, и снилось ей летнее кафе на Остоженке, где она сидит с мужем и детьми, пьет чай и не помнит прошлого.

Соловки – от слова соль. Солона Россия от слез, пролитых на этой земле. Преподобные Зосима, Савватий и Герман, вы первые ступили на этот берег, вдохнули святость в суровый поморский край. Сотни лет здесь спасали душу, молились Богу, а зачали дьявола. С чего началось? Откуда пошло? Может, бесноватый Иван IV заварил кашу, казнив игумена Соловецкого монастыря священномученика Филиппа, в миру Колычева? Алексей Михайлович продолжил, сослав автора «Домостроя». И дальше – как по накатанной: хлыстовцы, старообрядцы, расстриги, скопцы, субботники, нестяжатели, политические... Крепкие стены спрячут всех. Поддержал Стеньку Разина сотник Сашко Васильев? «Посадить его в Головленковскую тюрьму вечно и пребывати ему в некоей келии молчательной во все дни живота и никого к нему не допускать, ниже его не выпускать никуда же, но точно затворену и зоточену быть, в молчании каяться о прелести живота своего и питаему быть хлебом слезным»...

Хлебом слезным. Его с избытком хватало.

Бог отвернулся. И пришел СЛОН. Соловецкий лагерь особого назначения. И стал топтать своими толстыми ногами все и вся, перетирать в порошок души человеческие. Многие-многие лета. Тьмы и тьмы...

Осоргин девятый день сидел в карцере на Секирной горе. *Секрика*. Двухэтажный собор с одним куполом. В кельях устроены казематы. Окна зарешечены, но не прикрыты фанерой. Днем и ночью сквозит студеный ветер. От сырости все стены покрыты зеленой плесенью. От стены до стены укреплены деревянные жерди толщиной в руку, и арестанты тесным рядком на них сидят. Высота жерди такая, что ногами до пола не достаешь. Весь день только и силишься, как бы удержаться. А кто упадет – налетают надзиратели и мордуют до полусмерти. На ночь разрешают лечь на каменном полу, но друг на друга – каждая камера переполнена.

...В конце августа три морских офицера украли лодку и в шторм пошли на материк. Когда побег обнаружился, ни катер, ни гидроплан в погоню отправить не решились. Так и думали, что утопли в море. А беглецы добрались до материка и перешли советско-финскую границу. В сентябре начальство лагеря получило распоряжение из центра на расстрел четырехсот человек, чтобы удалить потенциально опасных и для укрепления общей дисциплины. В начале октября пошли аресты. Схватили и Осоргина с формулировкой «знал о побеге, но не донес». Взяты были также его друг Сиверс – заключенный по лицейскому делу, Лозина-Лозинский – настоятель Университетской церкви в Ленинграде, Покровский – одноногий преподаватель баллистики в Артиллерийской академии, Гатцук, бывший офицер из Киева, и многие-многие другие...

Осоргин не чувствовал ног от холода. Жердь впивалась в тело. Боль простреливала до костей. Состояние полуобморочное. Мелко стучали зубы. Слипались глаза... Нельзя! Провалишься в сон на мгновение – упадешь. Он попытался устроиться поудобнее, но закоченевшее тело не слушалось.

Рядом застонал сосед, Илья Пономарев, редактор местного журнала «Слон». Посадили за вольные стишки в крайнем номере.

– Тише, Илья Кузьмич, тише... – голос Осоргина дрожит, язык еле ворочается.

– Не могу... сссука... ннне могу...

Пономарев сидит четвертую неделю. Дольше месяца на Секирке никто не выдерживал.

– Потерпите... Забьют!

Легкий сквозняк из окна бьет по почкам сильнее кувалды. Осоргин стискивает зубы. Перетерпеть, перемочь, вынести... Все. Стихло. Георгий Михайлович выдохнул. Пар изо рта скис и растаял в сыром воздухе.

Илья Пономарев начинает раскачиваться из стороны в сторону. Качается и нашептывает: «Обещали подарков нам куль Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль... Обещали подарков нам куль Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль...».

– Хватит, себя погубите! – шипит Осоргин.

Камера надрывно молчит.

Пономарев уже не может остановиться. Из глаз его текут слезы. Щеки дрожат. Горло давится от рыданий. Он начинает громче: «Всех, кто наградил нас Соловками, – просим: приезжайте сюда сами!.. Всех, кто наградил нас Ссалавками, – просим: приижжайте сюда сами! – напевает скоморошно, прибауточно. – Обещали подарков нам куль...».

Он спрыгивает на каменный пол.

– Ну что, твари!!! Сожрали Пономарева??? Подавитесь, подавитесь...

Мгновенно открывается железная дверь. Забегают два надзирателя.

Бьют долго. Без перерыва. Сильно. Ногами. В дверях стоит с наганом третий надзиратель. Шевельнешься – пуля в лоб. Слышно, как ломается челюсть. Пономарев сплевывает кровью и тут же получает еще один удар по лицу. Отлетают в сторону два зуба. Нога наступает ему на пальцы, крошит кости. Другой ногой чекист бьет в предплечье сверху вниз – быстро, два раза – и перебивает руку. Отбивают ребра, почки, печень...

Наконец, устают. Отходят, тяжело дыша. Третий, что стоял в дверях, быстрым шагом подходит к Пономареву, внимательно осматривает его. Илья Кузьмич вяло шевелится, хрипит кровью: сломанное ребро прошило легкое. Надзиратель вытягивает руку с наганом, отворачивается. Выстрел раскалывает тесное пространство карцера на жизнь и смерть. Равными долями.

– Сопли у мертвецов сосать заставлю, – рычит чекист.

Шумно втягивает носом воздух... Пахнет страхом.

Надзиратели уходят. Дверь карцера закрывается. Труп Ильи Кузьмича Пономарева будет лежать до вечера, напоминая, что нет ничего дороже жизни.

Осоргин бледен. Руки крепко сжимают деревянную жердь. Из прокушенной губы стекает струйка крови. И вдруг он начинает орать во весь голос. Тысячелетия цивилизации слизаны языком смерти. Первобытный зверь проснулся в человеческой груди и рвется, рвется наружу. Осоргин орет всей грудью, обнажая желтые прокуренные зубы, в глазах тонет дикая ярость, ненависть к себе и к миру. Сокамерники – замерзшие птицы – пугливо втягивают головы в плечи. Дверь больше не открывается.

Пристань была завалена досками, мешками, ящиками разных размеров. Под деревянным навесом, выстроенным вдоль кромки причала, сидели зэки, зло перекуривали под взглядом красноармейца.

– За работу, болезные!

Устало поднялись, стали грузить мешки на телеги. Потом сами же в них впряглись и потащили.

Лина видела из окна каюты как перекинули мостки к трапу парохода, как из трюма потянулись серые люди с чемоданами. Их выводили пятерками,

сажали на землю, звучала команда: «Руки за голову». Нерасторопных учили прикладом. Затем следующая пятерка... Выгружались час. После длинным строем растянулись вдоль трехэтажного здания Управления Соловецких лагерей. Редкой цепью – охрана. Винтовки и штыки. Заместитель начальника административной части – из ссыльных белогвардейцев – тягает из списка по одному. Идет распределение. Вопрос жизни и смерти. Есть Кремль, есть остров Анзер, есть Большая и Малая Муксалма, Заячий остров, Кондостров. Куда попадешь – одному Богу известно. Соловки – они тоже разные.

Наконец, прозвучала команда, хриплый протяжный голос заорал: «Нале-е-ев-аа-а! Ша-ао-ом марш!». Плотным строем заключенные двинулись в гору, к лагерной бане. Только после этого Лине разрешили покинуть каюту.

Перед Управлением лагеря клумба с цветами, на ней выложен мелкими камушками слон, а на попоне его буква «У». Значит, У-СЛОН, Управление Соловецких лагерей Особого Назначения.

Принимал Лину дежурный по лагерю, начальник культурно-воспитательной части Успенский.

– Чем могу?

Лицо неприятное, кожа сухая, шелушащаяся. Фиолетовые круги под глазами, как у кокаиниста, редкие рыжие усы топорщатся, глаза светлые, умные и мутные. Он не то чтобы ощупывал взглядом молодую женщину, но каким-то точным инструментом измерял каждую часть лица, фигуры... Лина вздрогнула. На правой руке чекиста не было мизинца. Вспомнился сон. Запершило в горле и стало нехорошо.

– Я на свидание, – она сглотнула, – к осужденному Осоргину.

Успенский повертел в руках предписание, нахмурился, замялся, словно буквы на листе бумаги показались ему неряшливо рассыпанными.

– Ждите.

Ждать пришлось недолго. Часа два. Успенский выходил из кабинета, снова заходил, потом опять куда-то направлялся в крайнем раздражении. Наконец, он подошел к ней. За его спиной стоял тупорылый, кадыкастый солдат, ковырял прыщик на подбородке.

– Заключенный Осоргин на работах. Вас проводят к дому, – он кивнул на солдата, – там и поселитесь. Муж придет вечером.

Развернулся и зашагал по коридору.

Солдат плотоядно облизнул губы.

– Пойдем, что ли. До дому до хаты. Ба-а-рыня.

Дом стоял в полутора верстах от монастыря. По дороге им встретился странный взлохмаченный человек верхом на козле. Держался со значением, и никто, проходя мимо, не смеялся.

– Володя Дегтярев, – зевнул солдат, – в прошлом объездчик, а ныне заведующий ден-дро-ло-ги-чес-ким питомником. – Красноармеец напрягся, выговаривая умное слово. – Фикусы сажает, пальму всякую. Затребовал себе лошадь, а ему козла дали – нехай покатается.

Пространство испачкал заливистый мужицкий смех.

Дом родился из глубины леса, вынырнул за поворотом. Старый, с почерневшими, рассохшимися от времени бревнами, – созданный во время и к месту для усталого путника. Какой монах его рубил, в какие времена? Полуметровый ряж из гранитных валунов, венцы подогнаны плотно – иголку не втиснуть. Бревна скреплены в оболонь, концы выпирают из стен. Крыша покрыта осиновыми дранками. Наглухо заколочено чердачное окно. Чуть в стороне стянутый тиной пруд.

Солдат засунул руку за пазуху, долго ворочал ею, морща лоб, наконец, вытащил ключ.

– Вот, держи, что ли.

Упорно смотрел, как Лина возится с огромным ржавым замком. Без улыбки, внимательно смотрел, казалось, переживая; глаза его щурились, рот был приоткрыт, и мясистый язык выдавливал изнутри бугор на щетинистой щеке. Вот что-то щелкнуло в замке, дужка отскочила.

– Ишь ты, ба-а-арыня-а!

Солдат цокнул языком, повернулся и зашагал в сторону монастыря.

Изба холодная, пыльная, настороженная. Печь, кровать, стол, две лавки. Под столом неразборчивой грудой свалены тарелки, горшки, вилки, ложки, чугунная сковорода. В углу на месте иконы засаленное пятно: чтобы Бог не подглядывал за новым миром.

Лина поставила чемодан на пол, присела на лавку, прикрыла лицо руками, протирая усталые глаза.

Минуты издевательски застывали. Лина дрожала всем телом и никак не могла унять эту дрожь. Ожидание сводило с ума. Весь монотонный прошедший год сжался в размерах и уместил себя в эти минуты. Нарастала тревога. Так получивший помилование не верит в свою свободу до самого последнего мгновения, пока двери тюрьмы не закроются за его спиной. Испуг распаляет сознание, выдумывает фатальные варианты сюжета.

– Все! – Лина произнесла вслух, для себя самой.

В дровнике оставался запас поленьев – она растопила печь.

В сенях нашла ведро и тряпку, спустилась к пруду, набрала воды.

Руки леденели в студеной воде, Лина ежеминутно подносила ладони к губам, жарко дышала на них, отогревая. Она мыла полы в старой, невесть кем построенной избе, и сопричастность древнему монашескому труду успокаивала, вырывала тревогу из сердца, как занозу. Монотонность работы определила стройный, выверенный ритм, в котором просто и легко было существовать, а наведенный порядок превращал пространство комнаты в собственноручно созданный мир: уютный, защищенный, теплый, почти родной. Не было Соловков – был только вечный и нерушимый мир деревянной избы.

Когда спокойствие и чистота окончательно утвердились в этих стенах, со стороны улицы послышались быстрые шаги, узнаваемые из миллиона. Лина вздрогнула, накрывая на стол, замерла, держа в руках горшок с дымящейся картошкой. Хлопнула дверь в сенях – Лина проглотила взлетевшее к горлу сердце.

Дверь карцера открылась.

– Осоргин, на выход.

Он спрыгнул с жерди на каменный пол, пошатнулся, но устоял. Стылая кровь нехотя побежала по венам.

Каморка дежурного была натоплена, и первые мгновения Георгий Михайлович задрожал, впитывая кожей нахлынувший жар. Жизнь, втоптанная в основание позвоночника, распрямлялась, выбиралась наружу. Заблестели глаза.

– Осужденный Осоргин, статья 58-ая, пункты 6 и 11.

За столом сидел начальник КВЧ Успенский. От него пахло кухней и самогоном.

– Контрик...

Дмитрий Успенский родился сыном священника. После революции он

убил своего отца, и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти. Ему дали легкий срок и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии, быстро освободился, уже вольным чекистом закрепился на островах... За глаза его звали Соловецким Наполеоном.

– А придумай мне лозунг, Осоргин! Такой, чтоб с искринкой. – Успенский по-барски махнул рукой.

– Соловки – рабочим и крестьянам!

Начальник КВЧ осклабился:

– Шутим – это хорошо.

Он встал из-за стола, пьяненькой походкой подошел к Осоргину, дыхнул перегаром:

– Я вот шлепнуть тебя хочу, прямо сейчас, – хлопнул ладонью по кобуре, – а мне нельзя прямо сейчас.

Осоргин отвернулся.

– Что кривишься, падла? К тебе жена приехала.

Георгий Михайлович вздрогнул, быстро посмотрел на Успенского: не врет?

– А давай я к ней пойду? Тебе – пулю в затылок, шмотье вонючее на чердак, а я к бабе твоей под одеяло? Ась?..

Ненависть заполнила тесное пространство кельи – и воздух похолодел. Осоргин взвелся на мгновение, как курок нагана, замер на четверть шага от непоправимого, и тут же расслабился, повел плечами. Широко улыбнулся.

– Много пьешь, гражданин начальник. Глядишь, не сможешь...

– У-у-умный, сука... – Успенский как будто восхищался.

И вдруг резко ударил. Кулаком. В солнечное сплетение. Осоргин задохнулся, отлетел к стене, беспомощно открывая рот. Пропал воздух. Ноги у него подогнулись, стали ватные, словно кости из них вытащили. Но он устоял и на этот раз, чуть осел, но поднялся через боль, опираясь о стену.

– Три дня тебе. – Голос Успенского стал ледяным, официальным. – Не выпроводишь жену – при ней расстреляю. Лично.

Все было не зря, все не напрасно! Этот мир, невыносимый, грязный, бесчеловечный, ублюдочный тюремный мир треснул, и из щели хлынул наружу ослепительный свет. «Жена», – кричали его лучи! «Жена», – вторили теплые кирпичные стены! «Жена», – утверждала сквозь запотевшее окно свинцовая осень. Жена и жизнь слились в одно, роднясь не видимостью шумного «жы», но какой-то глубинной прасемантикой, существующей в языке до начала времен.

И можно терпеть холодные камеры, арестантские роты, голод, расстрелы друзей, зверства уголовников – что угодно – ради одной секунды, когда ожидание резким броском врывается в действительность, подминает ее под себя, дарует плоть и кровь надежде.

Хлесткое, ликующее счастье колотилось в груди Осоргина, и уж конечно никакой Успенский не мог его омрачить.

Не было прошедшего года, не было разлуки. Да и что такое разлука, как не повод заточить карандаши и запастись бумагой. Летели письма из Москвы на Соловки и обратно. «Воронья почта», – шутил Осоргин. Но письма были ценны не событиями их двух таких разных миров, но живым Словом. Оно, это Слово, разрывало пространство, отводило беду, приближало встречу. И никогда Осоргин не ощущал себя таким свободным, как в эти минуты.

– Три дня... Как Христу, гражданин начальник. – Георгий Михайлович тяжело дышал.

– Бога нет, Осоргин.

Сначала шел быстро, потом побежал. Он бежал, не чуя ног, не зная усталости. Осенняя хлябь взрывалась под старыми юфтевыми сапогами. Вечерний воздух похолодел, с неба потянуло колючей моросью, но Осоргин ничего этого не замечал. Жар тропической лихорадки плавился в его груди, слипаясь в магматический сгусток где-то в районе сердца.

Знакомый поворот, старый дом, калитка, дверь; сени пахнут лежалой травой...

И вот он увидел ее, живую, из плоти и крови, смущенную, взволнованную. Как там правильно по сюжету? Замереть на мгновение, кинуться в объятия друг другу, нежно поцеловать?

Жизнь ярче сюжетных вариаций. Гулко стукнулся об пол глиняный горшок, покатилась в разные стороны горячая картошка.

– Сейчас, сейчас...

Сильные нервные руки сминали подол платья в гармошку, губы вгрызались в женскую грудь, и казалось, нежная кожа шипела под эти натиском

– Подожди... Родной мой...

Комичный, на полголовы ниже своей статной жены, Осоргин хрипло дышал, ярился, а Лина мелко всхлипывала, дрожа всем существом.

– Подожди... Кровать...

Уже потом, тяжело дыша, они хохотали, собирая картошку. С жадностью набросились на еду, с трудом прожевывая сквозь смех, сглатывая его вместе с кусками еды.

– Как случилось? Как удалось? Все по порядку рассказывай.

Георгий Михайлович сиял лицом, улыбался в густые, отросшие усы.

– Благодетельница Пешкова помогла, как и в прошлый раз. Я тебе писала, мы переехали к тете Лизе, на 17-ый километр Брянской железной дороги. Я поехала в Москву наугад, и застала Пешкову дома. Екатерина Павловна поила меня чаем, глядела на мой огромный, тяжелый Мишей живот, качала головой. А потом сказала, чтобы я ни о чем не беспокоилась: решит, уладит. И вот. Я здесь, я рядом с тобой.

– Поразительно. Она помогает женам арестантов, а ее бывший муж приезжал тут на несколько дней, пил водочку с чекистами, гладил беспризорников по головке. Весь франтоватый, добродушный, усищи, как у таракана... И какая-то вялая едкость во взгляде. Долька чеснока в конфетной обертке. Одно слово, Горький. Она там – одним; он здесь – другим. Жизнь перевирается, как дешевое либретто. – Осоргин печально усмехнулся, рассеянно погладил бородку.

– Жизнь куда удивительней. Ведь я здесь, Георгий, посмотри на меня. – Лина взяла его голову в свои хрупкие ладони, приблизила лицо к лицу.

– У тебя руки горячие...

– От счастья.

– Как Миша? – перешел Осоргин к главному. – Все рассказывай, не тяни. На кого похож?

– Пока не понять, но, думаю, будет в тебя. Глаза огромные, синие-синие, внимательные. Смотрит на меня и, кажется, все-все об этом мире знает. И даже успокаивает: мол, не волнуйся, мама, все будет хорошо. Кожа у него мягкая, пахнет сдобой и карамелью. Спокойный, почти не плачет, бережет меня.

– Светлый мой мальчик... Ты целуй его, вдвое больше целуй. Как Марина?

Лина отвела взгляд, уронила руки на колени.

– Глупыш пятилетний... Лопочет без остановки. Хочет быть пионером.

– Тьфу! Пакость! – Осоргин поднялся, в раздражении заходил по комнате, нервно закурил.

– Ребенок растет во времени.

– Ребенок растет в семье. Время тут не причем.

– Без отца.

Это напоминание раздвинуло уютный мир деревянной избы, впустило лагерь, комиссаров, революцию. Время обломало свои ногти и действительно стало не причем.

– Кто бы мог подумать! – загорелся Осоргин. – Десять-двенадцать лет назад нам и не снились такие положения. Бледные мальчики, кисейные девочки, туманный трагизм и блоковские незнакомки; адвокаты и врачи – либеральная чума – в своих музейных квартирах обмусоливали судьбы России, а на Восточном фронте солдаты гибли тысячами от снарядов, тифа и голода; и бежали с позиций, и мародерствовали.

В столице томные вздохи, умничание одно... Вот и дождались: быдло хлынуло из подворотен, утопило в крови империю. Променяли Господа не виньеточный декаданс, а пьяный мужик достал топор и разрубил на куски всю их бутафорию. Опомнились, спохватились, взмолились Великому Плотнику: собери разрушенное, почини... Поздно, господа! Отвернулся от России Плотник, некому строить.

Нынешние – мразь, подонки и садисты. Но умные! Им смена нужна не из восторженных сопляков. Им машины нужны, чтоб все винтики были смазаны, чтобы сбоя не предвиделось... Пионэ-э-эры! Дай срок, Лина, эти юные комиссарчики еще проявят себя в полной мере.

– Марина поймет. Она вырастет и все поймет.

– Я знаю. – Осоргин погладил жену по щеке. – Она же *наша* дочь.

– Расскажи о себе, как ты жил этот год?

– Все переменилось, Лина, чудовищно переменилось. Онуфриевскую церковь закрыли весной. Я еще успел на Страстную регентовать спевками и на клиросе, а потом разогнали всех. Сбили крест над куполом. Теперь там склад. А монахов кого арестовали, кого отправили на материк. Эх, не поесть теперь той селедочки, что они ловили. Ей богу, в Москву эту сельдь отвозили, Самому на стол. Думали, пока ловят – не тронут... Ан нет! Никто такую рыбу ловить не умеет. Это же вековой опыт, они течения все знали, время суток, приливы, отливы... Ай, да что там говорить.

С этого года с ума посходили, дикий поток! Везут и везут тысячами, спим в тесноте, как те сельди. Я вот думаю, если так хватают, что же там на воле должно происходить?

– А ничего не происходит. Первая пятилетка происходит. Пионеры происходят. В Москве парады. А слухи страшные ходят, что в Поволжье голод, доходит до людоедства, никто ничего толком не знает, говорить боятся, шепчутся только с оглядкой, перемигиваются... Мерзость! Жить противно, а как вспомню, что ты здесь, сердце готово из горла выпрыгнуть.

– Забываешь, значит... – Осоргин усмехнулся. Горечь прорезалась в складках лба.

Лина посмотрела на него ошарашено.

– Да как у тебя язык повернулся...

– Прости, прости, родная. Я сам не в себе. Будто бес что-то крутит, крутит в моей голове, а что крутит – сам не пойму, только необычайное раздражение иногда накатывает. Я, чтобы отвлечься, прошлое вспоминаю. Чаще

всего – Пасху 1918-го года. Как вез на последней неделе поста тетю Машу из Ферзикова. Распутица тогда стояла необычайная, вода и хлябь, покуда глаз хватает. Ручьи журчат, жаворонки звенят, а день пасмурный, но теплый, насыщенный сыростью. Ехали на санях, но не по дороге, а стороной, выбирая снежные места. И в каждом следе копыт, в каждой полосе, оставляемой полозьями, рождался маленький мутный ручеек.

Ехали мы безнадежно долго, утомили лошадь и, наконец, миновав благополучно на Поливановском поле одно из самых трудных мест, я обнаглел, развеселился, поехал смелее и завез-таки тетю Машу, да так, что чуть не утопил и лошадь, и сани...

Лина слушала внимательно, но больше даже не слушала, а любовалась мужем. Осоргин опять разгорячился, заходил по комнате, размахивая руками.

– ...Пришлось распрягать, вытаскивать, мокнуть чуть не до бровей, словом, было совсем, совсем кулерлокально.

Еще вспоминается, как в Великую Среду я кончил посев овса и, убрав плуг и борону, всецело взялся за камертон. И тут началось то, что я никогда не забуду. Помню службу двенадцати Евангелий в нашей Сергиевской церкви! Помню замечательную манеру служить нашего батюшки! Уже десять лет, как он во время Пасхальной заутрени скончался, а до сих пор, когда слышу целый ряд мест из Евангелия, вспоминаю его взволнованный голос, с такими в душу льющимися проникновенными интонациями. Прикрываю глаза и вижу, как возвышается среди церкви огромное Распятие с фигурами Божьей Матери и Апостола Иоанна по бокам, окаймленное дугой разноцветных лампадок. Пламя свеч колеблется, толпятся мужики, бабы осеняют себя крестным знаменьем... Если бы ты знала, Лина, что происходило тогда в моей душе! Это был целый переворот, какое-то огромное исцеляющее вдохновение... Не удивляйся, что я так говорю, я, кажется, ничего не преувеличиваю, только очень волнительно вспоминать об этом. Я писал о том же дяде Грише, еще когда был в Бутырке... Не знаю, дошло ли письмо.

– И я не знаю. Мы переправили с оказией. Трубецкие сейчас в Париже.

Они помолчали. Георгий Михайлович присел на кровать, притянул к себе жену, положил руку ей на плечо. Без их ведома секунды заполнялись мерным спокойствием, теплом удивительной густоты.

– А что ты вспоминаешь?

– Кафе на Остоженке, где ты сделал мне предложение.

Они улыбнулись друг другу и воспоминаниям.

– С нами сидел твой брат Владимир с женой... Как ее...

– Елена. Из Шереметьевых.

– Да-да, точно. Я краснел, мялся, как пятнадцатилетний мальчик, а Володя ничего не замечал...

– ...И тогда Елена опрокинула на себя чашку с чаем, как бы случайно. Они отошли...

– А я выпалил скороговоркой признание.

– Да, ты очень торопился...

– Ведь они могли вернуться в любой момент!

Лина прижала его ладонь к своим губам.

– Я все это помню, как будто было вчера, но...

– В другой жизни?

– Точно.

– А это и было в другой жизни.

Георгий Михайлович посмотрел в сторону, а потом сменил тему:

– Уголовников стало много. Все в татуировках, разрисованы, как дикари. Да они такие и есть. Но это ничего, мы им пока спуску не даем. В административной части много бывших офицеров. Какие люди, Лина, настоящие кентавры – монумент, кремень, благородство! Не сладить им с нами. – Глаза его блестели.

Да, такого она его любила пуще жизни.

– Иди ко мне... – щеки ее лизнул румянец, пересохли губы. Снова сдавило горло, дрожь пошла по всему телу.

...Только женщины умеют менять тему, и всегда выбирают правильную.

Ночью выпал первый снег. Лина проснулась рано, еще по темноте. Она закуталась в шерстяную шаль, подошла к окну. Изба выстудилась за ночь, по полу гулял сквозняк. Женщина поежилась, плотнее запахнулась в шаль.

Снег золотился в отсветах полной луны. Сразу за дорогой начинался лес: темный, снежный, неприветливый. Ни ветерка. И вся эта застывшая картина убаюкивала невысказанной вслух величественностью, словно люди и природа – отдельно, сами по себе, не пересекаясь. Так это было верно и правильно, что Лина поразилась открытию. Как может человек считать себя венцом природы, когда вот этот лес, этот снег и эта луна живут своей гармоничной жизнью. Жили до человека, будут жить после него. И никто им не нужен во веки вечные. Она обернулась и посмотрела на мужа.

– Ты спишь?

– Проснулся.

– Удивительно. Время пропало. – Лина улыбнулась темноте.

– Остановилось?

– Нет, просто пропало. Как будто ничего не было, кроме этого утра, темноты, тебя и меня. Никогда не было, понимаешь? И ничего другого не будет... Странное ощущение.

Осоргин встал с кровати, подошел к жене, обнял ее за плечи.

– Сейчас я затоплю печь, и время вернется.

– Я не хочу, чтобы оно возвращалось.

– Если оно не вернется – не будет смерти. – Он крепче обнял жену. – Но и жизни не будет. Навсегда останемся в плену.

Когда разгорелись поленья, и первое тепло вместе с запахом кирпича растеклось по комнате, Лина зажмурила глаза, прислушалась к жизни за окном.

– Слышишь? – спросила она мужа. – Капель.

Со стороны леса раздавалось чуть слышное журчание.

– Как на Пасху восемнадцатого года... Скоро развод, мне нельзя опаздывать. Я постараюсь забежать к обеду, а если не получится, то к вечеру.

Георгий Михайлович накинул на плечи свой серый потрепанный китель, сдвинул фуражку на кавалерийский манер, погладил жену по щеке.

Скрип снега от его шагов глох и удалялся с каждой секундой.

«Забыл? – думала Лина. – Ну как он мог забыть?..».

Оставшись одна в тишине дома, нарушаемой только треском поленьев, Лина жарким грудным дыханием обдала оконное стекло. Вывела на запотевшем пятне: «Л+Г».

– Люблю... – прошептала.

И вдруг услышала, как возвращаются скрипучие шаги.

Осоргин открывает дверь и полувыглянув из-за порога, улыбаясь, спрашивает:

– Ты помнишь, какой сегодня день?

Лина прижимает ладони к губам, щурится, чтобы не заплакать.

– Годовщина венчания.

С весны 1929 года непоправимые изменения раскололи соловецкий мир на две половины. Прибывавшие нескончаемой блохастой лавиной уголовники диктовали свои порядки. Так ведь и предсказывали эти изменения. Конечно, они не шли еще ни в какое сравнение с тем, что начнет твориться несколькими годами позже, но и эти весенние дни омрачались надрывностью быта и отношений. Урки примеряли на глаз вялую интеллигентность арестантов, и этот разночинный сюртук был им тесен в плечах и узок в груди, трещал по швам, но пока держался.

В июне того же года на спортплощадке, недалеко от женского барака, уголовники изнасиловали анархистку Марию Линдберг. Фельдшера санчасти, где Георгий Михайлович Осоргин служил делопроизводителем, трясло в истерике: «Это звери, скоты... Они ей земли напихали... Туда...». Старый вор, глава всех урок на Соловках Иван Яковлевич Комиссаров уступил, выдал каэрам насильников. Их забили поленьями до смерти, но Маша Линдберг этого уже не узнала: повесилась в уборной санчасти.

Церковь преподобного Онуфрия Великого, что возвышалась на широкой кладбищенской площади неподалеку от Святого озера, закрыли. Через десять лет ее, простоявшую без малого три столетия, и вовсе снесут.

Казалось, монастырский Кремль помрачнел. Исполинские камни впаяны в крепостные стены красного кирпича. От времени и дождей камни гладкие, влажно-серые, а сами стены насыщенно-бурого цвета: насосались крови.

Ломался заведенный уклад. Бывших офицеров расстреливали, гноили в карцерах, отстраняли от занимаемых в лагере административных должностей. Все большую власть получали уголовники – «социально близкие».

Осоргина летом отправили на остров Анзер, в наказание за то, что он послал Причастие и мантию умирающему Владыке Петру Звереву. Несколько дней он отсидел в карцере, в холодном каменном мешке, но в это время приезжал на Соловки Максим Горький и всех штрафных выпустили. Ненадолго, конечно, ненадолго...

Судьба дрожала, гнулась, как березовый ствол при порыве ветра. А ветер усиливался с каждым днем, буйствовал, хлестал наотмашь. Человеческая жизнь никогда не стоила дорого в этих краях, но с весны 1929 года она дешевела на глазах, помещаясь на огоньке недокуренной папиросы. И Господь с ним, с заключением, важно знать, что твои действия подчинены правам и обязанностям, четким правилам. Но цепочка поступок – следствие разрывалась все чаще, из стен УСЛОНа вырывался наружу трупный запах беспредела. В нагане хватает патронов, а сапоги от крови отмыть недолго. Только самые прозорливые понимали, что это запах нового мира, с опозданием дошедший до соловецких берегов. Он будет крепчать, заполняя легкие, пока не пропитает своим ядом все и вся, пока легкие не привыкнут.

Весной 1928 года последний раз открыто праздновали Пасху. А со следующего года начались притеснения духовенства. Священникам запретили носить свою одежду, насильно обстригали, отбирали книги, облачения, многих отправили на дальние командировки. Но еще боролись люди, еще на что-то надеялись, переходили к тайным, «келейным» богослужениям, на которые уже не могли собирать много народа. Несмотря на строгости и

запреты, удавалось припрятать облачения, богослужебные книги. Нередко церковные службы проводили в лесу: куполом собора было небо, а стенами – березовый лес. И продолжали течь молитвы тоненьким ручейком.

В конце сентября пришло распоряжение из Москвы на расстрел четырехсот заключенных. В составленный лагерным начальством список попал и Георгий Михайлович Осоргин. Несгибаемый веками стержень Соловецкого монастыря треснул и разломился, подпиленный словом на желтой бумаге. Да, слово может убить. Точнее, только слово и может убить: механизмы исполнения условны. Прямоугольный кусок бумаги, выбитые печатной машинкой серые буквы, подпись. Директива свежа, бодра, крепка. Еще не пропитана кровью, но уже в предвкушении густого потока. Сотни судеб умещаются в несколько строк... Кошмарен тот мир, в котором слово не взвешено.

Будь же проклят ты, человеческий язык.

Осоргин вернулся к вечеру, в то неуловимое время суток, когда день уже отживает свое, крайние солнечные лучи вот-вот готовы померкнуть, а сумрак силится сползти на землю с верхушек деревьев.

– Я купила продуктов в лавке. – Лина поцеловала мужа, ткнулась носом в бородатую щеку.

– Там же рубли не принимают! – Осоргин был свеж, напорист, будто и не было за плечами карцера.

– А я обменяла в управлении на эти ваши... со слонятами.

– Надурили?

– Пытались. Ужинать?

– Давай пройдемся...

Они спустились к монастырю и пошли по тропинке вдоль крепостной стены. Навстречу им вышел молодой человек. Лицо его было болезненно-бледным, движения спокойные, плавные той самой плавностью, что бывает у смертельно усталых людей. Поравнявшись у Сторожевой башни, Георгий Михайлович задержал его.

– Познакомься, Лина, это Митя Лихачев. Талантливейший юноша. Представь себе, Митя работает в криминологической части, занимается перевоспитанием беспризорных. Записывает со слов их истории, обычаи, язык, этику. Кто еще на Соловках додумается до такого? Митя, это моя жена, Александра Михайловна, урожденная Голицына.

Молодой человек посмотрел добрым, открытым взглядом.

– Очень приятно.

И уже обращаясь к Осоргину:

– Вы никогда не говорили, что у вас такая красивая жена.

Осоргин весело рассмеялся.

– Ах, Митя, Митенька, только глупец хвастается красотой своей жены. Запомни, женщина ценна не прелестью, но верностью.

– Вам виднее, – ответил юноша.

– Это точно. Попомни, Лина, мои слова, у этого мальчика большое будущее.

– Выбраться бы отсюда.

На несколько секунд в воздухе повисла колючая немота.

– Все в руках Господа, Митя, все в его руках.

– У вас великий муж. – Лихачев вдруг открыто посмотрел на Лину. – Светлой души человек. Если бы не он, я бы давно сгинул на общих работах...

– Погляди на него, салажонок, а сказки рассказывает. Сказки, Митенька, взрослым оставь. – Осоргин снова улыбался. – Топай, сказитель.

Молодой человек откланялся, Осоргины двинулись дальше по тропинке.

– Вот бы все так любили родную речь, как этот мальчик. Глядишь, революции бы не было.

Вечерело стремительно, как всегда по осени в этих краях. После встречи с юношей, Осоргин вдруг стал рассеян и задумчив. Они вышли на дорогу, ведущую на Муксалму. Темень, живущая в глубине леса, наступала тихо и монотонно. Редкие звуки – треск сухой ветки, всхлип птицы, шорох листьев – будили древние лесные силы, дремавшие до поры до времени. Природа колдовала звуками, редкие порывы ветерка доносили напевы волхвов, сплетались в единой пляске великие духи созидания и разрушения; природа протыкала душу сосновой иглой и твердила: все в тебе и все сейчас! И не было на всем белом свете ничего важнее и проще этих слов.

Свернув на тропинку к Иисусовой пустыни, они вышли к озеру, спустились на каменистый берег. Лина присела, зачерпнула горсть воды, замерев на секунду, наблюдая, как влага стекает меж пальцев.

– Холодная.

Обернувшись, вдруг увидела, что муж присел на корточки и обхватил голову руками, крепко сжимая пальцами череп.

– Господи, что с тобой...

Георгий Михайлович вскинул голову и посмотрел на жену виноватым, тоскливым взглядом загнанного коня. Выражение глаз было секундным, почти незаметным в сгустившейся темноте.

– Все в порядке, голова закружилась...

– Скоро совсем стемнеет, пойдем домой.

Это «домой» рассекло воздух, как порванная струна.

Облезлая лишайная кошка пробежала между ними.

Напряжение росло без видимых причин, но с каждой минутой ощущалось все явственнее; муж и жена вязли в нем, как осы в арбузе, трепыхали крыльями и не могли выбраться.

Ужинали молча.

– Скажи, я постарела, да?

– Что? – Осоргин удивленно вскинул брови.

– Я некрасивая? Скажи, что я некрасивая.

– Глупости, Линочка...

– Нет, скажи.

Женщина не плакала, но ее вопросительные интонации били наотмашь сильнее слез.

– Я устала жить все эти годы, дико устала. Я знаю, не ты в этом виноват... Но у меня не получается жить. Все ясно и просто: есть завтрашний день, есть дети, есть ты. А меня почему-то нет: выпала, как монета из кармана... Почему это с нами происходит?

– Я люблю тебя, Лина. – Осоргин смотрел прямо, внимательно.

– Жили ведь, как люди, все делали правильно, любили ребенка, землю, почитали родителей, были верны друг другу, не лгали, не предавали. И вдруг оказалось, что всего этого недостаточно для счастья!

– Счастье не во времени, не в пространстве.

– А в чем?

– Я не знаю наверняка... Может быть в картошке, которую мы вчера собирали с пола? – Георгий Михайлович улыбнулся.

– Ты правда в это веришь?

– Надо во что-то верить.

Лина взяла со стола теплую желтую картофелину, повертела ее в руках, поднесла к лицу, втянула носом крахмальный запах.

– Значит, мы сами съедаем свое счастье?

Откусила, посмотрела на мужа:

– Сытно.

– Ты должна уехать послезавтра.

Все. Произнесено. Нет обратной дороги. Да и не было ее.

Лина отодвинула тарелку с едой, встала из-за стола, нервной походкой подошла к печи, подбросила дров.

– Зачем ты так со мной?

– Просто поверь мне. Я не могу объяснить сейчас.

– Ты же знаешь, я все сделаю, как ты захочешь.

– Потому и прошу.

Глаза ее увлажнились.

– Расскажи мне сказку.

Осоргин подошел к жене, обнял ее, зашептал на ухо:

– Давным-давно, в тридесятом царстве, тридесятом государстве жили-были король с королевой. Была у них дочь принцесса и младенец принц...

Голос мужа убаюкивал, погружал в волшебный мир. Лина всхлипнула и зарыдала.

– Девочка моя... Маленькая...

Следующий день был чистым и светлым. Вчерашний разговор не вспоминался, как будто его и не было. Они гуляли по лесу, возвращались в свой уютный дом, обедали, занимались любовью, снова гуляли, смеялись, разговаривали, вспоминали, планировали, передразнивали друг-друга... Лина в подробностях рассказывала о детях, но Осоргину было мало, он придумывал сотни новых вопросов, уточнял, переспрашивал, просил повторить. Вдруг оказалось, что самое главное сосредоточено в мелочах, и эти мелочи они пытались собрать в единый гербарий.

– Глупо, да? Меня больше всего волнует, в чем я буду одета, когда ты приедешь... Совсем приедешь.

– У тебя есть время обдумать свой наряд.

– Нехорошая шутка.

– Прости...

Но даже оговорки не омрачали последнего дня. И лагерь вдруг перестал быть лагерем. Словно они туристы, приехавшие к святым местам. Даже природа откликнулась: день был солнечным, не по-осеннему теплым. Накатывали легкие волны на каменистый берег, ветер бережно гладил их лица. И это ощущение умиротворенности казалось заслуженным, справедливым.

Прощались просто, буднично, с достоинством.

– Просто скажи мне, что ты вернешься.

– Я вернусь.

Пароход «Глеб Бокий» прогудел единственной трубой и, взрыхляя винтами темную воду, отплыл от соловецкой пристани. С берега еще долго можно было видеть одинокую женскую фигуру на корме.

Расстреливали на краю кладбища. Руководил расстрелом начальник КВЧ Успенский. Весь день заключенных не выпускали из бараков, а уголовники

рыли яму: квадратную, огромную, готовую всех спрятать в своем чреве. К вечеру начали выть собаки.

Приговоренные сидели в Кремлевских карцерах. Больше молчали, переговаривались изредка, односложными фразами. Сиверс спросил:

– Как жена?

– Хорошо. Уехала. – Осоргин смотрел в пол.

– Страшно. Ноги ватные.

– Всем страшно.

– Опростаться боюсь. Меня не будет, а все увидят.

Со стороны спортстанции раздались одиночные выстрелы и собачий визг. Сначала все затихло, но спустя несколько минут снова послышался собачий вой: одинокий, надрывный, лающий.

– Это Блэк, – оживился Гатцук. – Убежал-таки...

– Точно?

– Я свою собаку узнаю.

Минуты застыли. Жизнь продолжалась за стенами, а в самих бараках время остановилось, и это было так правильно, так нужно, что Осоргин проглотил горький ком благодарности законам времени.

– Есть хочу, как черт, – снова подал голос Сиверс.

– Сейчас вас накормят...

– Злой вы, Гатцук.

Дверь карцера распахнулась. Ввалились конвоиры. Зачитали список. И в этот момент сердце Георгия Михайловича затряслось в нервической дрожи. Пересохло во рту. Душа провалилась в пятки, в пол, еще ниже... Кровь потекла по венам в обратную сторону. Стала дергаться правая щека.

Выводили партиями по двадцать человек. В первую партию Осоргин не попал, зато туда попал Гатцук.

– С Богом, православные... – Он улыбался.

Дверь захлопнулась. В бараке повисла тишина такая, что Осоргину казалось: все слышат, как пульсирует его висок, слышат и видят в этом трусость, и осуждают.

– Я не трус, – произнес он громко.

Люди удивленно на него посмотрели.

– Простите...

Когда защелкали пистолетные выстрелы, все сказанное ранее стало пустым, глупым; рот наполнился горькой слюной. Сиверс морщился при каждом неровном залпе, мелко крестился и шептал: «Помилуй Господи рабы твоя... помилуй Господи...».

Во вторую партию попали Сиверс, старик Покровский и Осоргин. И когда выплюнули его фамилию, звуки разорвались в голове динамитной шашкой: сухо, хлестко. А потом вдруг сразу стало легко и спокойно на душе. Даже волнение пропало. И Георгий Михайлович сразу понял, почему улыбался Гатцук, и сам улыбнулся. Спустя несколько мгновений душа вновь заполнилась тягучей тревогой, и Осоргин уже не мог понять, чему он улыбался, и не мог понять этой смены настроений, и все путалось, путалось в голове...

Грязь хлюпала под ногами, мелкий дождь колол лицо больно, настырно. Холодный воздух проник под тоненький китель, побежали мурашки по телу. Ни мыслей не было в голове, ни образов. Только дышалось жадно, во всю грудь.

Старик Покровский неловко ковылял на своей деревянной ноге. Взгляд его был прям, пуст и страшен. Вдруг он дернулся, лицо его перекосила гри-

маса детского страдания, он подогнул ногу, вытащил деревянный костыль и, смешно запрыгав на одной ноге, замахнулся на конвоира. И что удивило Осоргина: в лице его не было злобы, только жалость и ужас. Напоследок завыл утробно:

– Ы-ы-ы-ы-ыллллл...

Первая пуля попала в живот, Покровский согнулся пополам, и тут же сломалась здоровая нога, он упал лицом в грязь, заворочался, но не выпускал костыль, вцепившись в палку безумной хваткой, словно в этом куске дерева осталась вся его жизнь, ее последние мгновения. Вторая пуля разнесла ему пол головы. Старик затих.

Конвоиры ощерились дулами винтовок. На мгновенье все зависли между жизнью и смертью. И тут Осоргин запел.

Хриплые слова молитвы боролись с воздухом, с наступавшей ночью, со смертью. Георгий Михайлович не узнал свой голос, как будто пел другой человек. Но вот его поддержали, второй голос, третий. Люди продолжили движение. Смерть отползла на время, побежденная Словом.

Осоргин пел без веры. Бог пропал из его души, покинул. Просто надо было петь, чтобы что-то последнее сделать в жизни, чтобы запомниться самому себе. Могла быть любая другая песня. Мирская, армейская, гимн «Боже, царя храни». Но вот память подтолкнула к горлу именно эти слова: «Христос воскресе из мертвых...».

Успенский был пьян, шатался, глаза его стекали по лицу кипящей лавой. В одной руке бутыль со спиртом, в другой наган. Два уголовника стояли по краям ямы, держали масляные фонари. Пахло кровью, мочой и калом. Яма еще шевелилась, стонала, хрипела. Заключенных штыками подтолкнули к краю.

– Кругом...

Полная ясность была в голове, а тело не слушалось, дрожало. И Осоргин заскрипел зубами, проклиная себя за слабость. Стоял с полуоткрытым ртом и трясся Сиверс. С губ его свисала слюна. На брюках в области паха разрасталось мокрое пятно. Сиверс всхлипнул.

Картинки прошлого неслись в голове Осоргина беспорядочно, всплывало из глубин памяти самое странное, самое погребенное и ненужное. Скол на ручке теннисной ракетки, воробьи на крыше усадьбы в Знаменском, напряженный лоб великого князя Николая Николаевича, затертые корешки книг в библиотеки Бутырской тюрьмы, дни солнечные, дни морозные, чаепитие на веранде, взмыленная шея коня, старинные костяные шахматы у отца в кабинете, он, Лина и разбросанная по полу избы картошка...

Вдруг все стало понятно и просто.

«Счастье...» – была последняя мысль.

Стреляли по команде. И ровно за мгновение до выстрела, Георгий Михайлович Осоргин круто обернулся. Пуля попала в лицо, голова откинулась назад, хрустнули шейные позвонки, тело завалилось на дно ямы.

...Расстрелы продолжались всю ночь. Всего расстреляли около четырехсот человек. Один раз сменили расстрельную команду: два конвоира убежали в темноту, хохоча в истерике.

Начальник КВЧ лично прыгал в яму, давил еще живые тела и добивал раненых.

Утром Успенский, пьяный от спирта и крови, зашел в административную часть, прошел в умывальник, стал мыть сапоги. Лицо его раскраснелось, он сипло дышал, смывая с сапог густую липкую кровь.

Красные брызги падали на деревянный пол.
Столетиями.
Судьбами.
Сгустками.

Лина стояла на корме парохода, до боли в пальцах сжимала широкие деревянные леера и упрямо смотрела вслед уплывающему острову. Он уменьшался с каждым метром, с каждой взрыхленной волной, с оборотом винта; стягивались в реденькую темно-зеленую сетку верхушки сосен. Расстояние затушевывало святой-каторжный остров жирными мазками до тех пор, пока не осталась на линии горизонта тонкая черная полоса. Лина всматривалась в эту полоску земли, до крайнего мига сжимала взглядом морскую даль лишь для того, чтобы не оборвать связующую нить, не отпускать в прошлое саму себя, навсегда оставшуюся на этом острове. Ей хотелось задержать в настоящем счастливые дни, мужа, ночные разговоры, их близость, их прогулки по острову... Не за леера цеплялась она онемевшими пальцами – за саму себя в меняющемся мире; и плевать было на законы жизни, на принцип неизбежности, на уходящее и приходящее, на горечь разлуки и радость встречи, – первобытная сила любви тянула ее обратно. Да, эти дни останутся в памяти, некуда им деваться, но пока виден остров, пока Лина смотрит вдаль, не уходит в каюту, – она с мужем, рядом и они непобедимы.

Остров пропал, его поглотила необратимость, и свинцовый день зазвучал тоскливым стоном бакланов, плеском тяжелых волн, свистящим шумом винтов; он ударил в глаза плесенью туч, мыльной пеной лопающихся бурунов. Губы женщины скривились, она сплюнула в море подступающий к горлу рев, едкие слезы проели щеку и коснулись губ: как морской водой причастилась. И когда она хотела уже идти в свою каюту, Господь явил чудо.

Разошлись тучи, небо залило золотом, и Лине открылся образ. Картинка желанного и невозможного: они сидят в кафе на Остоженке вчетвером (она, муж, дети), пьют чай, едят пирожные. Георгий протягивает руку и нежно стряхивает крошку с ее верхней губы. А она ловит ртом его пальцы... Так все и было: над холодным Белым морем – их семья, лето, Москва, кафе, счастье! И образ не таял, потому что Лина вдруг ощутила единый закон в увиденном: выше радости и печали, выше жизни – закон творения.

Рука смахивает крошку. Губы ловят тонкие, загорелые пальцы. Улыбаются дети. Ничего не потеряно, все еще впереди. Осталось шесть лет. И они будут сидеть вчетвером в кафе на Остоженке, пить чай, есть пирожные.

Хрупкая, усталая женщина стояла на корме парохода, глядела вдаль. Ветер развевал ее длинные каштановые волосы, трепал подол платья, сушил слезы. А Лина всей душой верила открывшемуся ей чуду. И была непоколебима ее вера.

Роман СЕНЧИН

ВРЕМЯ ВРЫВАТЬСЯ

В одной из рецензий литературного критика Алексея Колобродова есть, на мой взгляд, жестокие, но очень точные слова: «...у молодых писателей не бывает частичного попадания. Либо есть полное, либо нет никакого».

Да, стать настоящим хотя бы для небольшого круга читателей с частичным попаданием невозможно. Но что такое попадание?

Одного текста мало, даже если допустить, что в нем полное попадание. На текст попросту не обратят внимания. Нет, обратят — десяток человек от силы. И даже если они начнут неистово пропагандировать этот текст другим, вряд ли кто клюнет. При нынешней информационной плотности взять и открыть расхваленную горсткой людей книгу неизвестного автора — вариант почти утопический.

Плюс к тексту нужна фигура живого, реального, что-то еще сделавшего человека. Сделавшего даже глупость, но шумную.

Вспомним желтую кофту Маяковского, то ли мифические, то ли вполне реальные русские сапожки с каблучком Есенина... Вспомним и более давних. К примеру, Державина.

Он ведь писал и публиковал оды и до прославившей его «Фелицы». Десять лет публиковал, и не видел никакой реакции. А потом решился напечатать «Фелицу», за которую его вполне могла пока-

---

Сенчин Роман Валерьевич родился 2 декабря 1971 года в городе Кызыл. Учился в Ленинградском строительном техникуме, Кызылском педагогическом институте, окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар А.Е. Рекемчука). Произведения Сенчина переведены и изданы в Германии. Отмечен премиями еженедельника «Литературная Россия» (1997), журнала «Знамя» (2001), премией «Эврика» (2001).

рать и сама Екатерина II, и, что вероятнее, ее окружение, которое в оде было выведено, мягко скажем, нелицеприятно... Но Державин рискнул, и выиграл. И стал не только первым поэтом своего времени, но и государственным мужем.

(Кстати, через несколько лет Гавриил Романович преподнес императрице стихотворение «Властителям и судиям» и чуть было не загремел в Петропавловскую крепость. Хотя и приобрел ярлык якобинца и в конце концов был «уволен от всех должностей»...)

По сути, ни один заметный писатель не приходил в русскую литературу тихонько, скромно, бочком. Чаще всего — врывались. В том числе и в советское время, которое теперь многими воспринимается как десятилетия некой если не тюрьмы, то казармы.

Да это и естественно — врываться. В который раз рискну процитировать высказывание Виссариона Белинского: «Шум, конечно, не всегда одно и то же со славою, но без шуму нет славы».

Последнее относительно шумное вторжение в литературу произвели новые реалисты и их сверстники (не по возрасту, а дебюту) в первой половине нулевых. Шаргунов, Василина Орлова, Денис Гуцко, Дмитрий Новиков, Ирина Мамаева, Захар Прилепин, Аркадий Бабченко, Анна Козлова, Герман Садулаев, Андрей Рубанов, Олег Зоберн, Илья Кочергин, Игорь Савельев, Александр Снегирев, Евгений Алехин, Наталья Ключарёва... Тогда же появилось поколение довольно шумных поэтов, любивших состязаться на слэмах, «Полюсах». Подходящая атмосфера породила и плеяду критиков: Андрея Рудалева, Валерию Пустовую, Юлию Качалкину, Сергея Белякова, Алису Ганиеву (затем перекочевавшую в прозаики), Елену Погорелую... Накатила волна и новых драматургов...

Нельзя сказать, что все эти, да и десятки и десятки не названных мною по именам авторов вытворяли что-то особенное. Но и не входили бочком. Можно сказать, что им повезло со временем — к моменту их первых публикаций возникла потребность в новом и при этом таком новом, которое бы хоть отчасти отражало, осмысляло реальную действительность. У них оказались сторонники и противники среди представителей старших поколений. Разгромные статьи перемежались прославляющими; тиражи книг некоторых тогдашних молодых даже сжигали в издательских дворах или пускали под нож...

В конце нулевых и в десятые новые талантливые авторы, конечно, тоже появлялись, но их появление, как правило, происходит почти незаметно. Совсем мало рецензий, нет жарких обсуждений, споров, дискуссий.

Одно из редких исключений последних лет семи — повесть Арслана Хасавова «Смысл», которая вызвала некоторые волнения среди критиков, другое исключение — дебютная повесть Антона Секисова «Кровь и почва», получившая несколько ярких (как раздраженно отрицательных, так и восторженно хвалебных) откликов, третье — «Очередь» загадочного Михаила Однобибла, который вполне может оказаться каким-нибудь матерым литератором.

Каждый наблюдающий за нашей современной литературой наверняка может привести свои два-три примера более или менее заметного дебюта, но общей картины это вряд ли изменит: молодых ярких писателей у нас крайне мало. Но талантливых, по-настоящему талантливых — много.

В чем дело?.. По-моему, в том, что они приходят поодиночке.

Конечно, можно возразить, что писательство — дело одинокое, сбивать-

ся в стаи нельзя. Но ведь всегда сбивались. И до Пушкина, и при Пушкине, и после Пушкина. Объединялись вокруг какого-нибудь журнала, какой-нибудь политической, эстетической идеи, придумывали направления. Боролись. Футуристы — с символистами, имажинисты — с футуристами. Славянофилы — с западниками, либералы — с почвенниками. И наоборот.

Новые реалисты начала нулевых попытались потеснить постмодернистов, а новых реалистов довольно долго никто не пытался потеснить. Критиковали, убеждали неизвестно кого, что нового реализма не может существовать по определению, что реализм всегда один — обычный. Но даже такую простенькую идею, как «новый реализм», нужно было вытеснить другой, а ее до последнего времени не существовало.

И вот не так давно в журнале «Наш современник» *(2016, №10)* появилась статья Андрея Тимофеева «Новые традиционалисты» как будущее русской литературы». «Наконец-то, — подумал я, — появилось еще что-то».

Статья с поистине манифестальным названием оказалась обстоятельной, аргументированной, но очень спокойной, слишком взвешенной. Она не раздражала, не вызывала на спор... В общем-то, ее если и заметили, то с пониманием (мол, молодым всегда нужно выделиться), а не с желанием ответить.

Как критика я знал Андрея Тимофеева и до этой статьи. Время от времени мне попадались на глаза то бумажные, то электронные номера газеты «Российский писатель», где я встречал рецензии, небольшие статьи на литературные, политические темы Андрея Тимофеева под рубрикой «Дневник читателя». В журнале «Октябрь» *(2015, №12)* я прочел его очень колючую (в отличие от «Новых традиционалистов...») статью «О новой органической критике». И постепенно складывалась картина молодого (по возрасту) литературного критика, недовольного тем, что делали и делают те, кто пришел в литературу за десяток лет до него.

Недовольство справедливое. Но что, а вернее, кого он предлагал взамен, до статьи «Новые традиционалисты...» я толком не видел. В четвертом номере журнала «Новый мир» за 2014 год (кстати, Тимофеев печатается в совершенно разных изданиях, и никого, кажется, это нынче не возмущает, а в начале нулевых тогдашних молодых ругали со всех сторон очень страшно за возмутительную неразборчивость и всеядность) я прочитал рассказ Андрея «Свадьба». Рассказ очень сильный, но, кажется, мало чем (по крайней мере на первый взгляд) отличающийся от нового реализма...

И вот статья, где дано и название тому, что должно потеснить новый реализм, и приведены имена новых традиционалистов — Андрей Антипин, Елена Тулушева, Юрий Лунин, Алена Белоусенко... А следом — книга Андрея Тимофеева «Навстречу». 250 страниц, с четверть которых занимает литературная критика, а остальное — проза.

Запомнилось признание писателя Алексея Варламова в уже давнем интервью журналу «Фома» в том, что он хочет написать православную повесть, в которой бы не было ни слова о Боге, церкви, самом православии, но была бы православная суть... Не знаю, написал ли Варламов такую повесть или нет, но разделяю его желание и понимаю, как это сложно. Особенно людям, выросшим в те времена, когда православие было если и не искоренено из жизни, то глубоко спрятано, забито в угол...

Наверное, действительно православную прозу способны писать сегодня молодые люди, сформировавшиеся в конце 90-х — начале нулевых.

1990-е сейчас воспринимаются у нас в основном как времена беспредела,

бандитских войн, падения моральных и патриотических устоев. Но это было время и возвращения православия. И как раз те, кому сейчас около тридцати или совсем немного за тридцать, впитали это возвращение детьми. Вернее, многие из них. В том числе и те, кого Андрей Тимофеев отнес к новым традиционалистам. И он сам, конечно.

В прозе Тимофеева есть и «церковь», и «Бог», но главное, что она по-настоящему, как-то не в лоб, органично православна. Как православна, при всей ее сложности, практически вся русская литература XIX века.

В сложные ситуации, перед сложным выбором ставит своих героев и Андрей Тимофеев. У него нет громкой радости обретающих веру персонажей, нет слез умиления, нет нравоучительства, которые так часты у православных писателей старших поколений (обретших веру или художественно заявивших о ней в зрелом возрасте). Герои Тимофеева скорее пугаются своего преображения, чем радуются ему. Вот пример из повести, давшей название книге:

«Было темно, передо мной сгрудились несколько маленьких старушек, похожих друг на друга, будто слепленных из одного теста, сверху пел хор, откуда-то издалека доносился голос священника, неразборчиво читающий молитву. Всё это было так знакомо, ничего необычного, та же обстановка, которую я помнил с детства. Может, только какая-то ностальгическая грусть могла бы закрасться мне в сердце, да и той не было. И странным казалось, что когда-то эта обстановка производила на меня такое сильное впечатление, что могла даже влиять на мои мысли. Теперь я всё видел отчётливо, не обманываясь и не придумывая ничего.

Но в то же время с первых же секунд, как только я вошёл, какая-то неясная тревога охватила меня, будто на самом деле что-то было не так. Я пытался прислушаться к себе, но никак не мог объяснить это странное изменение, пока вдруг так отчётливо не осознал, что в этой церкви кроме священника, хора, старушек и меня есть кто-то ещё. Я стоял, ощущая его присутствие в окружающей меня темноте, и с каждым мгновением всё яснее мне становилось, что это Он. А когда я понял это до конца, неожиданный животный страх прошиб меня насквозь, так что я не мог вынести ни секунды и бросился прочь.

Помню, в ужасе стоял на крыльце и пытался отдышаться. Вокруг был тот же мир, я слышал шум проезжающего трамвая, слышал, как где-то шелестят ветви на деревьях, голоса рабочих, доносившихся из-за церкви — мир жил своей обычной жизнью, призрак рассеялся, но я-то знал, что там, внутри, Он по-прежнему есть. Тогда я почувствовал, как мне хочется опять ощутить его присутствие, как мне больно и невозможно стоять сейчас здесь, на крыльце, и как тянет меня обратно...

Я глубоко вдохнул и медленно, боязливо опять вошёл внутрь».

Говоря о том, что проза Андрея Тимофеева православная, я не имею в виду, что его герои, обретя веру, становятся счастливыми, находят смысл жизни, понимают, как надо и как не надо. Нет, у Тимофеева всё сложнее. Вообще, по моему мнению, это один из самых сложных писателей, появившихся в последнее время. Не стилистически, а психологически.

Это относится и к повести «Медь звенящая», главный герой которой, Дубов, ой как не прост, и к рассказу «Свадьба», который в контексте книги приобретает совсем другой смысл, и к другим произведениям.

Необычайно глубок коротенький рассказ «У моря». Сюжет такой: молодожены Оля и Максим проводят медовый месяц в Крыму. По пути из Сева-

стополя в Ялту они оказываются в одной маршрутке с подвыпившими молодыми парнями, которые безобразно матерятся. Максим не выдерживает и «с ненавистью» кричит на парней.

Оля вместо того чтобы мысленно одобрить мужа, «с удивлением смотрела на него, она никогда еще не слышала, чтобы он так кричал, и только сильнее вжалась в кресло». И потом, в Ялте, «Оле стало жутко, оттого, что она находится в каком-то неизвестном городе, за сотни километров от дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоянии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг представилась ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее море».

Да, Тимофеев, да и Антипин, Лунин, Тулушева, Белоусенко пишут очень простым, действительно традиционным языком. Никаких стилистических изысков, нарочитых усложнений, игры с хронологией, реальностью. Но это очень тонкая проза. Вот только найдутся ли те, кто не только оценит эту тонкость (горстка почитателей у каждого из этих авторов есть), но и сможет о ней рассказать интересно и увлекательно. Привлечь так называемого широкого читателя.

В начале книги Андрея Тимофеева помещены несколько довольно подробных отзывов о его прозе Михаила Лобанова, Геннадия Иванова, Александра Сегеня, Алексея Татаринова. Там не только хвалебные слова, а такие мини-разборы. Но это написано старшими, а для глубокого разговора нужны слова сверстников Тимофеева и других традиционалистов.

Они, традиционалисты, в основном люди уже не юные — им за тридцать. Опубликованного немало, есть и книги. Но вот резонанс до обидного слабый. Нужно что-то предпринять. Или им самим (что и сделал своей статьей с манифестальным названием Тимофеев), или тем, кто еще остался в цеху литературных критиков.

Хорошо бы было, если бы книга «Навстречу» разбудила нового критика, как когда-то повесть Сергея Шаргунова разбудила Валерию Пустовую. Пора.

(Впервые опубликовано на «Rara Avis. Открытая критика» 12.05.2017 http://rara-rara.ru/menu-texts/vremya_vryvatsya)

Сергей МОРОЗОВ

СТАДО ВОЛКОВ

«Русский человек — коллективист» — уверяют нас последние полтора столетия. С чего бы литературе стоять в стороне от национальных привычек и традиций? Нехорошо быть индивидуалистом. Надо обязательно вместе, дружно, с пением «Дубинушки». Кучковаться, группироваться, сбиваться в стаи. «Всегда сбивались».

Эта фраза в статье Романа Сенчина «Время врываться» особенно задевает. Стая. Лучше не скажешь. Очень образно. Были инженерами душ, стали стаей. Сопоставишь два определения, и виден вектор движения не только литературы, а всего общества. От личности — к общаку, от созидания — к агрессии (кого порвать, кого «съисть, скушать»). Раньше инструментом писателя были стол, перо и бумага, печатная машинка, теперь крепкие зубы. Время сеять и жать на литературной ниве прошло, теперь надо носиться из одного угла в другой и отбивать последнее у тех, кто еще что-то имеет.

«По сути, ни один заметный писатель не приходил в русскую литературу тихонько, скромно, бочком. Чаще всего врывались».

А Бунин, Куприн, или тот же Паустовский, о котором все дружно вспомнили в день памятной даты, и тут же моментально забыли до следующего юбилея? Они тоже кого-то растолкали?

Опять же, к чему такого рода риторика? «Врывались», «произвели вторжение». Как будто речь идет о набеге, а не о литературном творчестве. Хотя, с другой стороны, может быть так и надо воспринимать нынче писательство — в военных терминах? Тогда, да, справедлив упрек молодому литературному поколению, что они не сбиваются в кучу, что больно уж они тихие.

В тексте Сенчина самое печальное, что он как бы соглашается с тем, что

Сергей Морозов – литературный критик. Регулярно публикуется в газете «Литературная Россия», на портале «Rara-avis». Живёт в Новокузнецке.

это естественно, когда жизнь представляет собой вечную свару, борьбу за территорию. Теперь не книжки пишут, а финансы и литературное пространство осваивают. То одни понаедут, потопчут, пожгут, нагнут, то другие. Это не норма, скорее, картина царящей у нас разрухи и запустения. Вместо гуманного общества с лифтами социальными и литературными, издательскими офисами и редакциями, дикое поле, воспевание романтики одиночного боя, а еще лучше битвы стая на стаю. Была Русь, стала Орда.

В проповеди стайности («возьмемся за руки, друзья») есть нечто сомнительное. Сколько ни было групп в русской литературе, остались в ней для читателей не они, а имена. Маяковский, а не футуристы, Блок, а не символисты. Парадокс, но шесть десятилетий советской литературы (если считать от Первого съезда писателей) — это эпоха литературных имен, индивидуальностей.

Да и дело ли в набеге, шуме и славе? Те писатели были большими (каждый вполне самостоятельная единица, для которой группа — так, ходунки в самом начале пути), голосистыми, талантливыми, яркими. То, что у Сенчина последние качества противопоставлены, говорит о многом. Талант — категория, имеющая отношение к творчеству. А яркость, в данном случае, некий нелитературный компонент — кофта, косоворотка, имидж Леля-пастушка, ананасы в шампанском, пробки от бутылок в люстре ресторана ЦДЛ.

Если так, то все становится по местам. Ясно, какого рода яркости не хватает. Хочется простой движухи. Скандала. Но в бытовом смысле, в духе светской хроники, а не в смысле литературного переворота. Розановской революционной грозы, чтобы можно было потом вспоминать и обсуждать, перетирать языками. Чего-то фальшивого, суррогата преображения. Чтоб была какая-то иллюзия жизни, движения. Хочется новизны без новизны, то есть пестрого мелькания, без содержательных сдвигов. Стадионной поэзии. Шестидесятничества?

В этом смысле «новые традиционалисты», конечно, явление, идеально отвечающее такого рода требованиям. Идут вперед, но затылком и спиной вперед, взгляд строго назад. Новые, но воды не замутят. Опять же, надо бы погромче. Но коль скоро есть спрос на волков (а на людей нет), то за хищников сойдут и распоясавшиеся овцы, тем более, что они и сами не против. Здесь главное, сбиться покрепче, потеснее, чтоб руно за чернотой голов не проглядывало.

Когда стаи нет, ее приходится изобретать. Это и происходит с так называемыми новыми традиционалистами.

Старые группы, те, что раздавали пощечины общественному вкусу сто лет тому назад, выступали за новую эстетику. То есть работали на созидание, перспективу. Потом такие сложности стали не нужны. Лагеря разделились чисто по политическим мотивам, подверстав под них эстетические представления. Одни с трибун «за высокие идеалы советского искусства», другие по углам, против Софьи Власьевны. В перестройку стало еще проще. В красном углу ринга — реалист-заединщик, державник и патриот, в голубом — либерал и модернист, разрушитель традиций. Нынче все это уже слишком утомительно. Конец идеологии (политической и эстетической), достаточно одной коммунальности, групповщины. Долой коллектив, спаянный идейностью, да здравствует стая и стадо! Поэтому нет ничего удивительного в том, что «новые традиционалисты» выступают с широко распространенной ныне программой «за все хорошее, против всего плохого». Принципы — всего лишь декорация, а за ней ничего кроме желания «ворваться». Так, в

конечном счете, было и с «новыми реалистами». Прокричали «ура!», а закончили «взводом». Безыдейно начали, беспринципно кончили.

В своем «манифесте», написанном в духе высокого штиля двухсотлетней давности, изобретатель «нового традиционализма» — Андрей Тимофеев, утверждает, что они будут постигать человека, изучать народное самосознание, выражая все это в соответствующих христианских тонах. Что ж, набор, действительно, традиционный. Сочетание высокого гуманизма, народности и партийности. Все знакомое, всем потрафил — левым, правым, человеколюбцам и националистам. В одной упряжке лебедь, рак и щука. Вся русская литература — от митрополита Иллариона до Василия Белова с Валентином Распутиным готовили пришествие этих самых «новых традиционалистов», а точнее, Андрея Тимофеева.

Почему его? Потому что «новые традиционалисты» — это рецидив «хлестаковщины», только не спонтанной, а во многом вполне осознанной. Ситуация классическая. Должен прибыть «ревизор из Петербурга», что-то молодое, новое. Всегда так было. И вот Тимофеев под себя, будущего литературного генерала и начальника департамента всей российской изящной словесности, в соответствии с ожиданиями публики, изобретает «племя, молодое, незнакомое». Что объединяет перечисляемых им в своем тексте авторов вроде Андрея Антипина, Анастасии Черновой, Натальи Мелехиной, Елены Тулушевой, Дмитрия Филлипова, Евгении Декиной? По существу, ничего. Родство самое абстрактное: безликая проза, полная безвестность для широкой публики и близкий возраст. Но общество ждет. Кто-то же должен «ворваться». Начинает разворачиваться известная гоголевская история молодого человека, принятого за важное лицо. Все по сценарию. Выстраиваются купцы с премиями, разные малые и большие людишки с предложением должностей. Из ничего творится нечто, не перестающее, однако, от похвал, надежд и ожиданий быть никаким, полым, несущественным и несуществующим.

Обществу хватает и этого. Люди готовы обмануться. Наследники назначены, литература жива. А то, что «новый традиционализм» Тимофеева — это откровенная имитация прозы, критики, традиции и даже самого молодого бурления — это неважно. Ведь, как уже было сказано выше, ничего настоящего не надо. Кофту, несите кофту!

Уверен, многие из перечисленных выше сами с изумлением узнали, что они какие-то там традиционалисты. Но человек слаб, жмется к другому. Так теплее. Собьемся в стаю, в стадо, «всегда сбивались» — традиция. Кто его знает, может, всех одолеем. Неважно, что мы ничего не умеем. Нас много, все испугаются. Мифология единства начинает скреплять пучки почище, чем кровь по Петруше Верховенскому. Стая саблезубых овец выходит на тропу, распугивать престарелые волчьи отары. Те пищат от страха и восторга.

Но это все так, картинки, фантазии. В модных волчьих шкурах ходят многие, однако схватить читателя и затащить его в свое художественное логово они не способны. Ни поодиночке, ни всем своим волчьим стадом. Скандалами, пустыми лозунгами, громкими пиар-акциями, «манифестами» ныне никого надолго не привлечешь. Удивите книгами.

(Впервые опубликовано на «Rara Avis. Открытая критика» 19.06.2017 rara-rara.ru/menu-texts/stado_volkov)

Вячеслав ЛЮТЫЙ

ПРИМЕТЫ ПРАВДЫ
Критик о критике

Три статьи – Андрея Тимофеева, Романа Сенчина и Сергея Морозова – написаны, на первый взгляд, об одном: о завтрашнем дне русской литературы и его нынешних предвестниках. Но на деле, перед нами три совершенно разных высказывания, только отчасти взаимно перекликающихся.

Начнем с того, что в тексте Тимофеева есть пристальное вглядывание в уже обнародованные тексты молодых писателей и желание увидеть там потенциал развития. Какого развития? Просторного в психологическом плане; внутренне если не противоречивого, то проблемного; ориентированного на родовое начало, пусть и в неявной степени; отражающего христианское понимание мира и христианское понимание себя. Важно отметить, перед нами не фиксация творческих успехов, но сам процесс «вглядывания» в молодую художественную литературу. Примечательно, что, по замечанию

Вячеслав Дмитриевич Лютый — литературный и театральный критик, публицист, автор ряда статей о постмодернизме и его российской литературной практике, цикла работ о современной русской поэзии. Ответственный секретарь и заведующий отделом культуры и современных проблем журнала «Подъем». Публиковался в журналах «Детская литература», «Подъем», «Сура», «Дон», «Донской временник», «Русское эхо», «Коростель», «Наш современник», «Москва», «Дом Ростовых», альманахах «Теплый стан», «Академия поэзии», а также газетах – «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель». Автор книги статей о современной литературе «Русский песнопевец» (2008). Лауреат премии журнала «Подъем» «РУССКАЯ РЕЧЬ» за 2004 год, премии Общественной Палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

другого критика, обозначенный Тимофеевым корпус прозы не отличается стилистическими изысками, то есть инструментальная оснастка его не бросается в глаза, но, безусловно, присутствует на ином, более глубоком и тонком уровне организации повествования. И это определено задачами, которые очень верно фиксирует критик: погружение в глубины ума и сердца персонажей, художественное исследование состояний внутреннего человека, а не только их обозначение и демонстрация в выразительном ракурсе недалекому и мимолетному читателю. Тут совсем нет рассуждений о творческой судьбе молодых писателей, но постоянно прорывается желание понять координаты завтрашней литературы, число ее измерений и соотношение их с привычной реальностью.

Напротив, Роман Сенчин ведет речь, в первую очередь, о литературно-издательской карьере новой писательской генерации. И остается лишь удивляться вниманию критика к собственной прозе провозвестника «новых традиционалистов» Андрея Тимофеева. Тут важная часть статьи Сенчина, которая определенно показывает, что Тимофеев знает, о чем говорит, делает это убежденно и интонационно является, быть может, самым последовательным сторонником своих воззрений на завтрашний день нашей литературы. Причем, совершенно неизвестен завтрашний день этого критика в пространстве русской прозы. Его книга «Навстречу» носит отчетливо установочный характер. Повести и рассказы, которые составляют ее бо́льшую часть, являясь очень яркими прозаическими произведениями, прежде всего, свидетельствуют об авторе, о свойствах его ума и движениях его души.

Роман Сенчин говорит о шумном вторжении в литературу в первой половине «нулевых» целого ряда новых, демонстративно самостоятельных имен. Однако отшумел ветер того времени, представления русского человека об обществе и государстве, в которых он живет, очень сильно изменились, но сама метрика его душевного пространства, если использовать математическую терминологию, осталась прежней и сегодня. И как раз именно о ней старается говорить в своей статье Андрей Тимофеев. И именно ее не замечает Сенчин, углубляясь в литературу как в инструментальное пространство, но не как в безграничный космос. Можно сказать, что критик противоречит себе, с творческим уважением перелистывая страницы повестей и рассказов Тимофеева, по сути, своего антагониста, одновременно оглядываясь как на значимый пример творческого поведения на шаги вчерашних обладателей модного имени. И такая интеллектуальная честность достойна признательности.

В работе Сергея Морозова вовсе нет внимания к текстам, которые выделяет Тимофеев, да и самого молодого критика-прозаика он саркастически относит к племени будущих литературных начальников, как бы подразумевая, что талант у того, скажем так, «неорганический», то есть искусственный или даже никакой. Хотя Тимофеев был воспитанником семинара прозы М.П. Лобанова в Литературном институте, а Михаил Петрович особое внимание уделял оттиску личности писателя в его произведении. Морозов справедливо упрекает Сенчина в использовании «эффекта стаи» в процессе утверждения в литературной среде. Кстати, об этом синдроме упоминал и Лобанов. Путь успеха – это однозначный путь писателя или поэта модного. Пробы и ошибки, поражения и победы, признание и замалчивание – подобные характеристики хорошо перекли-

каются с судьбами настоящих русских писателей прошедших эпох. И Морозов как будто солидарен с такой историей нашей настоящей литературы. Но вот беда, вся его статья написана сварливым тоном критика, который хочет быть непререкаемым арбитром в творческих спорах, а свои умозаключения не представляет ни в качестве предмета жестокой дискуссии, ни в виде откровенного объекта для битья. Это образец критики авторитарной, беспощадной и не внимательной, но что хуже всего – равнодушной к жизни. Поскольку нет в тексте Сергея Морозова ни жалости к живому сердцу, ни горечи от нескладной судьбы, ни внимания к мучительным творческим поискам – только скрытая жажда успеха, когда критик станет, наконец, назначать и развенчивать литературных кумиров, чувствуя себя самой главной фигурой.

Но критик не может создать неповторимый художественный мир, и потому в жанровой иерархии всегда будет человеком вторым. И это не ущерб, но примета правды, которая соединяет подлинного писателя с его народом.

Елена ТУЛУШЕВА

СОГЛАСИЕ И СПОР
О прозе «молодых традиционалистов»

Каждая эпоха выдвигает свой род литературы: 60-е — поэзия, 70-ые — проза, 90-ые — публицистика. Сейчас время прозы. Причем прозы жесткой, реалистичной, с сильным влиянием нон-фикшн. Целое поколение молодых прозаиков появилось на страницах «Нашего современника» за последние три года. Когда эти авторы стали печататься и в других журналах, появляться в числе финалистов российских и международных премий, участвовать в российских и зарубежных литературных Форумах и конференциях, о них заговорили уже как о единой группе, о явлении. В своей статье критик Андрей Тимофеев назвал эту группу «молодыми традиционалистами», чем дал толчок для бурной полемики, сопоставления с «новыми реалистами» — предыдущим ярким литературным явлением, объединившим Захара Прилепина, Романа Сенчина, Сергея Шаргунова.

Что отличает нас, что делает особенными? Несколько ярких критических статей о «новых традиционалистах» было напечатано за последние годы и на страницах «Нашего современника», и на страницах «Литературной России». Один из лучших современных прозаиков Роман Сенчин в статье «Время врываться», обозначает свой интерес к пришедшему поколению, призывает действовать смелее, заявлять о себе громче.

Возможно, громкости нам не хватает. Той громкости, которой пресыщено акустическое пространство современности. Заяви о себе, привлекай внимание, эпатируй — диктует нам время.

Как психологу, мне всегда интересна личность автора, те внешние переменные, которые произвели именно такую творческую единицу. И, глядя на своих сверстников, слушая их истории во время литературных поездок и за кулисами церемоний вручения премий, у меня складывается вполне полноценная и понятная картинка «писателя нашего времени».

Нынешние тридцатилетние объединены не только стилем, но и своим витиеватым путем к литературе. Это мы в школе хотели быть юристами, экономистами и еще кем-нибудь стандартным и обеспеченным, а в итоге после окончания института отправились искать себя в совсем иных сферах, заканчивая второе высшее, бесконечные курсы, подрабатывая где угодно. Это мы, чуть ли не последнее поколение, готовое писать не за деньги, не конвертируя наши способности в заработок копирайтера.

Мы не пишем о мире с вызовом, не кричим «смотрите же!», не эпатируем. Мы не ищем сюрреалистических форм и экспрессивных методов. Ведь наш творческий мир — это наша реальность, это та действительность, в которой мы формировались. О чем здесь кричать? Наше поколение родилось в середине 80-х, в период перестройки, огромных очередей, бесконечной нехватки чего бы то ни было. Мы пришли в школу с распадом СССР. Увы, процесс инициации, приобщения к чему-то большому, объединявшему страну несколько десятилетий, минул нас. Что увидели мы вокруг в свои первые осознанные годы: напуганные лица родителей, растерянных учителей... Мы попали в тот самый момент пробела (ни старого, ни нового, лишь пустота). В семьях старшие поколения охали и вздыхали о том, как было... Эти истории про пионерские лагеря и походы, студенческие выезды и стройотряды, работу по распределению, путешествия по СССР за копейки. Рассказы о стариках, которые подкидывали детям с пенсии денег, о соседях, которые всегда могли приглядеть за малышами.

И вот мы, дети разгара 90-х, смотрим вокруг и ничего этого не находим... Старшие заняты поиском смыслов, новых решений и идей, или же просто погружаются в пьянство от ужаса и краха надежд. А мы... мы тогда зависли в невесомости. И наш поиск — это пока просто поиск опоры. Мы росли в то время, когда правда и справедливость стали условными понятиями. Перестрелки на улицах городов и вымирание деревни, безнаказанность ограблений и изнасилований. Прав тот, у кого деньги или сила. И нас приучили просто *принимать* реальность, иначе было бы не выжить.

Мы еще не были теми, кого перестройка раздавила, застав в институте, оставила не у дел на брошенном заводе, или теми, кто попал в струю преуспевающих коммерсантов и бандитов. Но мы и не были теми, кто родился уже в период угомонившихся двухтысячных, кто рос в условиях влияния западной культуры, открытый новым знаниям и интересам. Мы не успели застать то самое, созданное десятилетиями, потому и не ощущали 90-ые как развал. Это была просто наша повседневность. Мы не успели узнать и полюбить то, что было до этого. И мы росли вместе с новой страной. Росли, пропитанные хаосом и неуютностью, прорастали из бедности и страха к стабильности и надеждам. То, что пугало наших родителей, было нашей обыденностью. Мы не можем писать о 90-х, как о крахе, ведь мы формировались уже после этого «атомного взрыва».

Молодое поколение прозаиков редко пишет про сами 90-ые. О них много писали старшие (Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин), кого перестройка испытывала на прочность, открывала горизонты или ужасала. Мы же просто фиксировали эту реальность в наших детских еще умах. И эта тенденция безоценочного взгляда, порой может быть кажущегося слишком жестким, прослеживается в наших произведениях. Нам не с чем было сравнить: хорошо или плохо. Это просто было. И вот мы выросли и пишем о том, что видим, что пережили. Пишем, не оценивая, не воспитывая и не осуж-

дая. Жизнь такая, какая есть. И наши герои просто существуют, не смотря на все их недостатки или страдания.

Например, Дмитрий Филиппов не воевал в Чечне, но служил там, уже подчищая следы войны. Дима служил сапером, видя, как его ровесники подрываются уже в мирное время, разгребая последствия того, что натворил кто-то задолго до него. Проза Филиппова многогранна, но героев объединяет удивительная понятность читателю. Несколькими штрихами Дмитрий набрасывает образ, который дорисовывается в голове уже конкретным живым человеком, существующим вне рамок рассказа. И как бы ни страшна была жизненная история вырвавшегося из чеченского плена парня из рассказа Филиппова, об этом написано без кровавых деталей и описаний пыток, без ужаса и страха. Создать ощущение у читателя можно, не описывая факты напрямую, но предоставляя условия и пространство для домысливания у читателя.

Наши тексты не кричат, и не взывают, не изобилуют восклицательными знаками, несмотря на страшные порой описываемые события, не принаряжены они диковинными постмодернистскими петлями или особенными стилистическими изысками. В них есть простота и прозрачность повествования.

Нас спрашивают, зачем новому поколению возвращаться к своим традициям? Такой вопрос свойственен тем, кто рассматривает вопрос эволюции в литературе исключительно линейно: либо мы повторяем, копируем предшественников/наставников, что скучно и неинтересно, либо мы должны представить что-то кардинально новое, кричащее, вызывающее, не имеющее ничего общего с прошлым. Но есть и другой, более вдумчивый, более проработанный подход. Так, например, в представлении Тынянова стилевая преемственность это «не линейная преемственность»; она сложна, диалектична, включает в себя связи и полемику. «Нет продолжения прямой линии, есть отправление, отталкивание от известной точки — борьба». Сам принцип литературного движения Тынянов определяет как «борьбу и смену», борьбу, понятую как согласие и спор одновременно. И «новые традиционалисты» не есть повторение или прямое продолжение классических традиций русской литературы, но отталкивание от нее, согласие с ее принципами и спор с ее задачами.

В этом, на мой взгляд, и есть отличительная черта «молодых традиционалистов». Они пишут, не возводя сцены, куда надо привлечь все взгляды, они размещают своих героев в зрительном зале, и каждый читатель ощущает себя частью этого действа.

Алексей УПШИНСКИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЕРКАЛА
Литература в свете эсхатологии

Не так давно в газете «День литературы» появилась статья Романа Сенчина «Время врываться» о «новом реализме» и «новом традиционализме». О первом много говорили лет десять назад, второй — плод фантазии критика Андрея Тимофеева (статья «Новые традиционалисты как будущее русской литературы», также недавно перепечатанная «Днем литературы»). Недавно об этом самом «новом традиционализме» пространно рассуждала Елена Тулушева в журнале «Наш современник». То есть новый литературный симулякр уже принялся бродить по закоулкам литпроцесса...

Вообще в последнее время нередко можно услышать призывы к возрождению реалистической литературы. Дескать, пора нам припасть к живительным истокам настоящего правдивого слова, вернуться из дебрей постмодернизма домой. Иногда это звучит даже не как призыв, а как констатация того, что уже произошло в литературе. Мне все это видится невозможным. А если что-то подобное и происходит (вернее, кажется, что происходит), то на уровне псевдоисторической реконструкции, не более. Музей лубка, кэролловская черепашка Квази, те самые ватные куклы великих писателей прошлого из «Приглашения на казнь». И дело тут вовсе не в бездарности нынешних писателей, и уж тем более не в их неумении или нежелании писать «реалистично». Конечно же, и не в литературной моде. Драма реализма логически следует из драмы реальности.

УПШИНСКИЙ Алексей Андреевич родился в 1984 г. в подмосковном Щелково, окончил Литературный институт им. Горького, работает в звуковом журнале Всероссийского общества слепых «Диалог» зам. главного редактора. Живет в Ногинске. Публиковался в журнале «Кольцо А».

Простой линейный нарратив, развитие фабулы, социальный заказ, психологический портрет героя, его становление, развитие, конфликт и его разрешение — все это перестало быть реальным. Но реализм в своем точном, а значит, единственно верном значении и предполагает насколько это возможно честное и полное отображение жизни в самом широком смысле. Исходя из этого, в нашу эпоху функции реалистической словесности естественно переходят к творчеству совсем иного рода.

Реальность середины девятнадцатого века отнюдь не тождественна реальности середины века двадцатого. И тут можно было бы сослаться на какие-нибудь «вечные ценности», «незыблемые основы жизни», мол, весна сменяет зиму, как и сто лет назад, и люди влюбляются, ссорятся, мирятся, работают и умирают. Но это будет не более чем спекуляцией «на всем вечном» против «всего преходящего». Соглашусь, что до поры до времени это работало. Но настоящий момент весьма убедительно демонстрирует нам, что незыблемые основы вовсе не так уж незыблемы и вечное в этом мире оказывается не совсем вечным. Даже сама изменчивость не может быть уже возведенной в абсолют. Поэтому всякое возвращение к истокам, «новый реализм», «новый традиционализм» и все вообще попытки двигаться в этом направлении обречены быть скучным сражением странных людей в картонных доспехах и с деревянными мечами в руках. Нечто вроде известных толкинистов, только еще скучнее и нелепее. Потому что толкинисты, по крайней мере, знают, что играют в игру. Литература, которую можно назвать литературой реализма, правдивой и настоящей, на сегодняшний день — это не Варламов или Антипин, даже не Пелевин (хотя последний более соответствует категории правдивого отображения жизни).

Разумеется, это и не постмодернизм, который есть всего лишь усталость и шутовство. К тому же давно устаревший и ставший достоянием любого масс-медиа на самый невзыскательный вкус. Нынешний реализм — это скидочный каталог в «Пятерочке». Которая, как известно, выручает. «Брать от жизни все» уже слишком смехотворно даже для рекламного слогана. «Так просто жить лучше», «Много всего за всего ничего» — уже ближе. Но и это чем дальше, тем больше видится ненужным усложнением этой самой реальности.

Литература сейчас — это не высказывание. Это словесная регистрация ситуации невозможности высказывания. Реализм — это не то, что я говорю, а то, что я хотел бы сказать, но не понимаю, зачем и как это можно сделать.

Бой идет не ради жизни, ради славы на земле. Или под землей. Бой прошел, реализм закончился, реальность осталась. И здесь я готов чувствовать солидарность с людьми в разговорах о том, что купить в магазине, более, нежели стремление участвовать в возрождении «того самого» реализма. Пятерочка выручает в который раз, и поэзия ценников на товары говорит моему сердцу больше, чем литература, тексты в которой становятся устаревшими раньше, чем их начинают сочинять.

Литература, претендующая сегодня на роль и звание «традиционной», по сути является фантомной литературой. В ней есть тоска, но это тоска того, кого нет, по тому, чего у него никогда не было. Это в лучшем случае непродуктивно, и ни словесности, ни реальности служить ни в каком смысле не может. Надеть футболки с изображениями доспехов и разыграть с друзьями на дачном участке битву при Пуатье не зазорно, но евро-

пейскую культуру это не спасет. На зов Роландова рога откликается человек с картонным мечом, при этом он со всех ног спешит совсем в другую сторону. Розенкранц и Гильденстерн мертвы, но и они бесконечно живее литературы фантомов.

«Новый традиционализм» Андрея Тимофеева — это либо оксюморон, ошибка в определении, либо что-то совершенно отличное от предлагаемого нам под этой этикеткой. Если традиция, которой следует данная литература, новая, то мы и должны видеть рецепцию этой новой традиции. Какие традиции мы на данный момент времени можем назвать новыми? Сложно сказать. Здесь нужны совместные усилия непредвзятой социологии, сравнительной культурологии, антропологии, структурной лингвистики, может быть, религиоведения, философии. В любом случае, эти традиции имеют мало общего (или совсем его не имеют) с теми традициями, которым декларативно следует определенная литература.

Любые новые пути не снимают с писателя ответственности за выбор, за добро и зло, за художественный талант или его отсутствие. Любые старые пути не снимают с писателя ответственности за выбор, за добро и зло, за художественный талант или его отсутствие. Нельзя прикрываться «измом», оправдывая плохой текст, потому что он, видите ли, новый. Нельзя прикрываться «измом», оправдывая плохой текст, потому что он, видите ли, старый. Традиционный, реалистичный, правдивый, жизненный. Повторение до почти полной тождественности предыдущих конструкций я делаю намеренно, для большей наглядности высказывания. Замечу заодно, что оправдание новым все-таки добросовестнее, потому что иногда новое не могут оценить по достоинству сразу, зато потомки понимают что к чему. Со старым, традиционным, дела обстоят гораздо хуже. Закрытая система неизбежно деградирует и умирает. Трудно запускать бумажного змея в безвоздушном пространстве. И если у меня и есть серьезные упования на того же Юрия Лунина, то отнюдь не потому, что он пишет в лучших традициях русской реалистической прозы, но на новом материале. К счастью, он этого не делает.

Время героев прошло — это не откровение. Но вместе с ним прошло и время шутов. Постмодернизм канул так же, как и реализм ушедших эпох. Эпоха потребления, на самом деле, тоже канула. Что настает сейчас, я не знаю. По крайней мере, я не знаю названия для этого времени, а придумывать не хочу. Больше нельзя героически уходить или умно отмалчиваться. Отмалчиваться приходится, но ничего особенно умного или героического в этом теперь нет. Кто мог и хотел — те ушли. Остальным остается ожидание, недоумение и — уже лишенная страсти и размаха — покупка вещей в магазинах.

Все, кто вовремя увидел, как обстоят дела с реальностью, и кто сумел это сделать, — те уже с другой стороны. Может быть, ветер иногда приносит нам отзвуки их голосов, их смеха, их музыки. Нам же остается хотя и не обязательно распад, но дурная бесконечность дискретного продолжения. Земледелие в каменной пустыне — заманчивое занятие, но оно слишком красиво и безнадежно для сетевых магазинов и универсальных гипермаркетов, где этимология определения прямо указывает на «универсум». Как будто я говорю о чем-то другом, но это только лишний раз подтверждает мои наблюдения. Невозможность высказывания при необходимости высказыва-

ния. Невозможность эта иного порядка, нежели обыкновенный кризис отдельных авторов или течений в литературе или очередной тупик современной культурной и цивилизационной ситуации.

Человек подходит к зеркалу, но не видит в нем отражения. Он отходит от зеркала, и его самого тоже нет. Что остается? Задача простейшего уровня сложности. Остается зеркало. Кому и что с ним делать? Кто знает, может быть, мы имеем дело с миром, который уже прожит. В нем постоянно происходит новое. В нем постоянно нарастает энтропия. И, возможно, ни одна сторона не победит в этом вечно длящемся Армагеддоне. Динамическое равновесие будет сохраняться бесконечно долго. Но это не означает отсутствие выхода. Выход в чем-то другом. Вообще, «другое» как онтологическая категория в этом тексте имеет первостепенную важность. Смотреть с другой стороны зеркала. Смотреть как бы из зеркала. Смотреть в окно, в небо, на другого как в зеркало, но не видеть в нем себя. Принципиально новые взаимоотношения рефлексии и реальности. Пока наощупь, наугад, но искать пути именно здесь. В новом взгляде на новую реальность. Я по-прежнему говорю о вопросах современной литературы.

Реализм закончился, реальность осталась. И что-то с ней делать нужно. Но что именно и нужно ли вообще? Раньше литература прекрасно справлялась с ответами на такие вопросы. Посмотрим, справиться ли в ближайшем будущем.

Яна САФРОНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИНУВШЕЕ
О прозе Дмитрия Филиппова

Широкая литературная общественность всерьёз заговорила о петербургском прозаике Дмитрии Филиппове, когда его роман «Я — русский» попал в длинный список премии «Национальный бестселлер-2015». Примерно в то же время в «Литературной России» вышла статья Андрея Рудалёва «Третье поколение мужчин», где известный критик поставил роман Филиппова в один ряд с романами «новых реалистов» Сергея Шаргунова и Романа Сенчина. Однако по возрасту и по времени вступления в литературу Филиппова вернее было бы отнести к следующему поколению, так называемых «новых традиционалистов», сегодняшних тридцатилетних, группирующихся вокруг журнала «Наш современник». Впрочем, начиная разговор о Филиппове, мне категорически не хотелось бы причислять его ни к одному из литературных направлений. И не потому, что эти направления условны, просто Филиппов в лучших своих произведениях не стремится к интерпретациям прошлого или к созданию нового героя и отражению бушующей современности, а затрагивает универсальные бытийные вопросы: «Почему люди воюют?», «Кончается ли жизнь со смертью любимого человека?», «Что такое вера в глубинном её понимании?». Пожалуй, именно широкомасштабность,

---

Сафронова Яна Владимировна родилась в 1997 году в Смоленске. Учится на четвёртом курсе Московского государственного института культуры, специальность «Литературное творчество». Критические и публицистические статьи печатались в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Невский альманах» и т.д. Ведёт авторскую рубрику «Заглянуть в лицо» на сайте «Российский писатель». Лауреат премии им. А.Г.иКузьмина журнала «Наш современник», ежегодной премии сайта «Российский писатель». Член Союза писателей России. Живёт в Долгопрудном.

амбициозность целеполагания этого автора позволяют выделить его из ряда ровесников. В случае Филиппова интересен творческий метод, магия тонкого обобщения. Кажется, Филиппов описывает конкретную ситуацию, но к концу текста читатель обнаруживает себя в многослойном художественном мире, в совмещении микро— и макропланов, в центре глобального явления, частью которого является первоначальное событие. Автору не всегда удаётся аккуратно выстраивать свои основательные конструкции, но устремлённость их в высоту заслуживает внимания.

Филиппов родился в городе Кириши Ленинградской области, образование имеет филологическое. Служа в армии как сапёр, он участвовал в послевоенном разминировании территории Чечни. Вот и публиковаться начал на интернет-ресурсе, посвящённом военной тематике «Okopka.ru», затем — в самых разнообразных литературно-художественных изданиях. Публицистика в «Дне литературы», критика и художественные произведения в «Литературной газете», на сайте «Российский писатель», из толстых журналов — «Знамя», «Волга», «Нева», «День и ночь» и т.д.

Лучшее из ранних произведений Филиппова — повесть «Капля молока». Главный герой повести — молодой солдат Рома Савин по кличке Шустрик. С ним мы встречаемся в чеченском плену. Отряд боевиков уходит вперёд, оставляя грозного воина Юсупа конвоировать русского паренька. Звёздная чеченская ночь навевает на Юсупа воспоминания, Рома же в отчаянии перебирает счастливые моменты своего прошлого, понимая, что будущее у него могут скоро отнять. В параллельных ретроспективах Ромы и Юсупа читатель видит: русский и чеченец просто люди, у которых бывшие любови, потери, мир вокруг — одинаковые.

Но Юсуп — человек опытный, проживший большой кусок насыщенной жизни, чеченский боевик. Рома же очень молод, он почти мальчик, и вспомнить перед смертью ему практически нечего: девочка Аня, детское ощущение страха да капля молока на усах домашнего кота. И как бы Юсуп ни сожалел о смерти Ромы, «он не испытывал угрызений совести», и, скорее всего, оставив мальчика позади, чеченец пойдёт дальше — убивать. Несмотря на спорное сопоставление Ромы и Юсупа, Дмитрию Филиппову в этом рассказе всё же удалось, на мой взгляд, главное для прозаика: взобраться по лестнице частного случая к сути явления, выразить в коротком тексте деструктивность войны, общность человеческой природы, загадку натуры. Демонстрируя мастерское владение деталью, из капли молока Филиппов создаёт море воспоминаний, чувств, поводов жить, ведь эта капля, жирная и большая, сама по себе — жизнь.

Со временем тематический диапазон Филиппова расширялся, действие переносилось с поля боя в другие, однако не всегда мирные, места. В повести «Три дня Осоргина» писатель рассказывает нам историю свидания отбывающего срок на Соловках Георгия Осоргина с его женой Линой прямо перед его расстрелом. И эти три последних дня, проведённые вместе, оказываются самыми счастливыми днями их жизни.

В одну из ночей в лагере Лина просыпается, обнаруживает, что время пропало, и говорит об этом мужу. «— Если оно не вернётся — не будет смерти. — Он крепче обнял жену. — Но и жизни не будет. Навсегда останемся в плену». В этой короткой реплике нет эгоизма, для Осоргина жизнь — не первостепенный фактор, он знает, что, если время пойдёт своим чередом, он завтра умрёт, ведь приговор уже вынесен и оглашён. Но Лина, их дети, мир, будущая правда и справедливость — всё это возможно, толь-

ко если время будет идти вперёд несмотря ни на что, даже на его собственную смерть.

Автор выразил в своих героях чудо безусловной веры и рассказал нам об общечеловеческом на примере частного: о любви на пороге смерти и о том, что жизнь на самом деле никогда не кончается: «Разошлись тучи, небо залило золотом, и Лине открылся образ. Картинка желанного и невозможного: они сидят в кафе на Остоженке вчетвером (она, муж, дети), пьют чай, едят пирожные. Георгий протягивает руку и нежно стряхивает крошку с её верхней губы. А она ловит ртом его пальцы... Так всё и было: над холодным Белым морем — их семья, лето, Москва, кафе, счастье Хрупкая, усталая женщина стояла на корме парохода, глядела вдаль. Ветер развевал её длинные каштановые волосы, трепал подол платья, сушил слёзы. А Лина всей душой верила открывшемуся ей чуду. И была непоколебима её вера».

Даже в Соловецком лагере автору важен не ад повседневной жизни, а корни. Вера и Бог, незримо присутствующие в этом месте: «Соловки — от слова соль. Солона Россия от слёз, пролитых на этой земле. Преподобные Зосима, Савватий и Герман, вы первые ступили на этот берег, вдохнули святость в суровый поморский край. Сотни лет здесь спасали душу, молились Богу, а зачали дьявола. Бог отвернулся. И пришёл СЛОН: Соловецкий лагерь особого назначения. И стал топтать своими толстыми ногами всё и вся, перетирать в порошок души человеческие. Многие-многие лета. Тьмы и тьмы...». Говоря о старцах, вспоминая древнюю Русь, автор и стилизует текст соответствующим образом: уделяет внимание топонимическим созвучиям, которые рождают метафору, что присуще традиции древнерусской литературы (например, было характерно для стиля Даниила Заточника: «Ибо, господине, кому Боголюбове, а мне горе лютое; кому Белоозеро, а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро, а мне, на нём живя, плач горький...».

Конечно же, автор, написавший о Соловках, не может обойтись без сравнения с Захаром Прилепиным. Роман Прилепина «Обитель» по сравнению с повестью Филиппова носит ярко выраженный эпический характер. Его цель — захватить как можно больше персонажей, событий, пейзажей, ситуаций. Отсюда внушительный размер текста. Филиппов же, напротив, выходит за рамки темы, порой пренебрегая заданным местом действия. Ему гораздо важнее философская суть человека в контексте целого мира. Выбранная географическая точка для него неважна, она только толчок к развитию в ней событий библейского масштаба. Повествование Филиппова стремится к катарсису, но... он не всегда случается. Происходит это из-за того, что герои во всеобъемлющем нравственном письме порой одноотеночно окрашены, лишены «объёма», противоречия характера, набора индивидуальных черт. Такой излишне прямой подход мешает «вылететь» за пределы заданных реалий, поверить, что читаешь не выдуманную, составленную историю, а настоящую.

После глубоко уважительного к христианской традиции произведения «Три дня Осоргина» особенно странно говорить о следующем, экспериментальном рассказе автора «Сын человеческий». Молодая деревенская девушка Маша потеряла родителей, старик-сосед Осип взял её в жены, «но притронуться по-мужски не смел». Однажды Маша стирала бельё на речке, за этим занятием застаёт её крепкий мужик Гаврила. После короткого диалога происходит молниеносное совокупление. Маша беременна, и Осип, узнав об этом, выгоняет её из дома. За помощью девушка обращается к своей сестре Елизавете, которая тоже носит ребёнка. После родов Елизаветы Осип прощает Машу и возвращает её под свою опеку. Супруги едут на всесоюзную

перепись, но автобус ломается, а Маша начинает рожать. Три пассажира помогают довести девушку до сторожки, и там, в полевых условиях, принимают у неё роды. «Три волхва курят морозной ночью. Смерти больше нет», — подводит итог Филиппов, окончательно убеждая читателя в том, что имена, так точно схожие с евангельскими, совершенно не случайны. Филиппов не из того рода авторов, которые строят свою прозу на эпатаже и бросают громкие вызовы. Но если читатель ознакомится с одним только «Сыном человеческим», у него может сложиться именно такое впечатление: ведь такая бытовая интерпретация непорочного зачатия, которое в тексте представлено нам как акт стихийного совокупления, — повод для большого скандала. Но можно посмотреть на эту вещь с другой точки зрения (что представляется более уместным и, наверно, более соответствующим посылу автора). «Сын человеческий» — название, выбранное не случайно. Он родился в такой же избе, в крови и слизи, вышел из матери, как и все мы. Филиппов намеренно «снижает» образы, не наделяя Машу интеллектом, Гаврилу — высокими чувствами, а Осипа — способностью сохранять рассудок в критической ситуации. Герои этого рассказа максимально приземлены, человечны в примитивном понимании. Для иллюстрации этой идеи автор обращается к неприятным физиологическим деталям: «Машин живот округлился, налился соком, сама она раздобрела, отяжелели руки, опухло лицо, а на лбу высыпали гречишным зерном нарывистые прыщи». Маша — образ деревенский, природный, животный, мотивации её полностью подчинены желаниям тела, биоритмам планеты. Потому в истории, основанной на Евангелии, порой появляются языческие отголоски: «не говорила — заговаривала Маша, зашёптывала, заколдовывала страшный, натянувшийся живот. И этот шёпот пробуждал древние, спящие в природе силы, выманивал их из бани, из чердака, из леса, из полей. И силы, вынырнув из вековой дремоты, слетались к дому и кружили, кружили вокруг...». Из-за совмещения различных религиозных мотивов рассказ напоминает лоскутное одеяло. Появляются новые смыслы, но нельзя сказать с уверенностью, что автор их в текст закладывал...

При всей противоречивости и некоторой невнятности нельзя не отметить мастерство, с которым написан «Сын человеческий». Размашисто, крупными мазками Филиппов рисует перед нами мир напряжённый, сочащийся энергией. «Поужинала хлебом и огурцом и, положив сумку под голову, зарылась в луговую траву, укуталась полынью и растворилась в душистом травяном запахе. Зажглись звёзды над головой, яркие, сочные. Маша глядела в ночное небо, а душа наполнялась покоем и благодатью. Будущего не существовало, а настоящее было внятным и верным. Ночь звучала трескотнёй цикад. Тянула болью распухшая от удара щека. Но всё это было неважным по сравнению с новой жизнью, зреющей у неё в животе. И в этот момент ребёнок пошевелился. Маша замерла, прислушиваясь к самой себе, к ощущениям и вдруг улыбнулась: небу, цикадам, полю. Рыбка в животе проплыла...». Ненавязчиво скользнувшее в конце «рыбка проплыла», на самом деле, — многослойная метафора. Упрощённое понимание: ассоциация с околоплодными водами, развёрнутое — сопоставление женщины с океаном, порождающим и оберегающим морских тварей.

В «Сыне человеческом» всё звучит и двигается, с первых строк энергия природы завораживает, оглушает. Всё стремится к рождению Сына, наполненное и упоённое. И в конце: «Шипит кровь. Маша вновь кричит, а потом начинает смеяться», — и мир взрывается, бушует, чудо рождения настолько

громадно, что кровь начинает шипеть. Пульс текста слышится отчётливо, он весомо бьётся в животе Маши, удары его угадываются и в окружающих её людях, и в неодушевлённом мире. Пожалуй, громче и судорожнее всего звучит он в последней сцене экстремальных родов, которые принимает у Маши водитель Александр Мелихов, мужик «от сохи», который является проводником Сына на пути рождения: «Мелихов бережно принимает ребёнка просамогоненными руками. Время и не застыло, и не замерло — завязло в крике, в свете запылённой лампочки, в молчании мужчин. Прошмыгнула мышь под столом...». Человек принимает человека.

«Сын человеческий» — рассказ-намёк, где читатель, в зависимости от своего уровня, может увидеть либо бытовую историю, либо аллюзию на евангельские события. Следующий же литературный опыт Филиппова, роман «Я — русский», — предельно прямолинеен. Главный герой романа — Андрей Вознесенский, получивший своё имя из-за увлечения матери известным поэтом. Он работает заведующим студенческим отделом, считает себя графоманом, остро переживает происходящие в стране несправедливости, ненавидит мигрантов-кавказцев, прожигает жизнь в алкогольном угаре. Однажды встречает хорошую девушку Ярославу, жизнь его с того дня меняется (однако не до конца — всё-таки не готов он полностью соответствовать требованиям высоконравственной девушки). В их отношениях наступает перелом и сразу же после этого девушку насилует «южный» человек. Девушка больше не хочет видеть Андрея. Молодой человек находит обидчика Ярославы, но не решается на убийство. Андрей уезжает в неизвестном направлении, а автор постскриптум рассказывает нам, что видел Ярославу в маршрутке с ребёнком, который «был русским».

Надо сказать, что Ярославе в романе попросту отказано в любой неоднозначности: наиболее ожидаемым завершением линии этой девушки был бы монастырь, настолько она идеальна и не интегрирована с явью.

В отношении морали всё так же ожидаемо: Ярослава сохранила невинность, которую вручила главному герою. Тем сильнее по эмоциональному воздействию должна выйти драма, случившаяся с Ярославой. Но разорвавшаяся бомба осталась незамеченной. Мотив внезапного горя, которое меняет всё, не вписался органично в конструкцию сюжета. Роман населён героями, на фоне которых Ярослава выглядит особенно «картонно». Например, трагедия отвергнутой обществом и Андреем еврейки Совы трогает куда больше, ведь раскрыта последовательнее и глубже (начиная с рассказов о её детстве и заканчивая потребительским отношением Андрея к уже взрослой Сове). Потому и в полемике Ярославы и Совы вызывает симпатию именно Сова: она естественна, испытывает настоящие чувства, которые не стесняется выражать. Ярослава же — только опускает глаза и ратует за мирное существование.

Вообще образу автора романа «Я — русский» и его героям свойствен максимализм и способность смотреть на происходящее с единственной точки зрения. Угадывающаяся до этого любовь к советской эпохе подтверждается и раскрывается в образах родных Андрея Вознесенского. Отец, офицер, «всё так же ходил на службу, выполняя воинский долг по защите рубежей нашей Родины», уже когда Советский Союз развалился. Но потом отец сдался, больше не захотел защищать страну, которой, по словам Андрея, это было и не нужно. Для Андрея отказ от борьбы за родину до последнего — предательство, которое он не может простить. И автор жестоко осудил офицера за поступок: отец спился, лишился поло-

жительных человеческих качеств, умер как личность. Другое дело — дед и бабка главного героя. Они, сохранив «заветы доброй старины», всё ещё существуют там, в далёких временах. Дед живёт в деревне, почитая главной ценностью землю, а бабка — в советской квартире, где каждый предмет мебели дышит советской же эстетикой. «Все окна были открыты, но запах не выветривался — это был запах великой эпохи, великих побед и великих свершений. А также великих измен, крутых поворотов, поднебесных взлётов и стремительных падений».

Именно бабка и дед приходят на помощь Андрею, когда он ищет деньги для того, чтобы поймать обидчика Ярославы и убить. Несмотря на противоположность своих моральных позиций, старики, каждый по-своему, помогают Андрею. Бабка жертвует неимоверную сумму в сто тысяч рублей из старой пыльной книги. Дед, наперекор своему активному неприятию убийства, отдаёт Андрею ружьё и даже помогает выпиливать обрез, и делает это ужасающе спокойно.

Мечты о светлом прошлом, параллельная реальность, где все были равны и счастливы, «держат» весь роман. Автор мечтает об удивительных странах, о «православном коммунизме», как Томас Мор мечтал об Утопии, а Томмазо Кампанелла — о Городе Солнца: «Ещё не так давно в моей стране жили люди, которые выстаивали очереди за колбасой, вершиной удачливости считали путёвку в Сочи, мечтали об американских джинсах и все как один работали на благо империи». Никакого критического осмысления прошлого не происходит, изредка появляется: «Много было причин краха империи. Как объективных, так и созданных искусственно, но это не отменяет величие попытки». Отсутствие внятного обоснования этих причин делает роман идеологически несостоятельным. А ведь ради идеологии, ради его политизированности, ради идеи автор почти полностью пожертвовал художественной составляющий. Выговориться было настолько необходимо, что даже появились публицистические вставки после каждой главы, пропагандистские и назидательные, крайне мешающие восприятию художественного текста.

Андрей Вознесенский раздираем осознанием того, что его идеальный мир когда-то существовал, и было это не далее, как несколько десятилетий тому назад. Образ главного героя видится составным: интеллигентный молодой парень и инстинктивно агрессивный человек, лишённый возможности обдумывать свои действия. Первый грезит о Союзе, который он едва застал и ассоциирует со вкусовыми «маркерами»: «Мне посчастливилось родиться русским в ещё великой Империи. Моё детство пришлось на эпоху перестройки, и я не могу сказать, что это было совсем уж плохое время. Сначала появилась жевательная резинка «Ну, погоди!». Она была сладкой, вкусной и тянучей, как положено жвачке, но из неё совсем не выдувались пузыри». Но появляется ещё и вторая ипостась личности, не встречавшаяся нам на страницах Филипповской прозы, — чистая агрессия, несдержанность, животное начало, которое просыпается как ответная реакция на любые, даже просто кажущиеся негативными воздействия мира.

Демонстрирует нам свою двойственную природу Андрей в стрессовой ситуации: молодой человек выходит из метро и сталкивается с кем-то плечом. Он поднимает глаза и реагирует мигом: бьёт кавказцев с локтя. Существующая действительность настолько раздражает его, что заводится он с «полтыка», каждую секунду готовый к рывку. Удара ему не прощают, и тогда Андрей убегает. Укрывается он в старинном здании библиотеки, где и встре-

чает Ярославу. Национальная библиотека олицетворяет ушедшее, в котором спешит спрятаться от агрессивного настоящего герой Филиппова, а также светлую часть его натуры, ведь Вознесенский не зря забегает именно в храм книги: одновременно с горячим пристрастием к алкоголю и дракам Андрей, по его собственному признанию, плохой, но всё-таки поэт, а потом и прозаик. И вот Андрей-агрессор «задирает» людей на улице, а Андрей, пишущий стихи и восхищающийся прошлым, от них убегает.

Схожим образом ведёт себя герой и в отношениях с Ярославой. Зная высокие нравственные требования девушки, он всё-таки вступает в серьёзные отношения с ней, априори понимая, что ему нужно будет измениться: как минимум, бросить пить, о чём она говорит ему совершенно конкретно с самого начала. Андрей снова совершает порыв, раззадоривает сердце Ярославы, пробуждает в ней надежды, но, встретившись после длительного перерыва со своими друзьями, бросается в омут с головой. Герой испытывает страх, ведь перемены могут не привести к ожидаемым результатам, и Слава на поверку может не оказаться беспроигрышным вариантом.

Филиппов-романист не может собрать линии, героев, образы, он захлёбывается в собственных мыслях и спешно накидывает на бумагу всё, что приходит на ум. Не выдерживает гнёта структурированного сюжета и уходит в пространные публицистические рассуждения. Да, он действительно торопится сказать, но ведь важно ещё, как сказать. Если убрать из «Я — русского» публицистические вставки и первые ничего не значащие сцены, книга потеряет в объёме ровно наполовину, и перед нами окажется произведение, жанровую принадлежность которого без всяких раздумий можно определить как повесть. Краткий промежуток времени, отсутствие побочных линий, акцентированность на одном событии... Безусловно, до решающего кульминационного момента (встреча с Ярославой, её изнасилование, несостоявшаяся месть) с Андреем что-то происходило, но это никак не влияло на сюжет. Филиппов пытался выразить через своего героя мировоззренческие и социальные идеи, но получилось передать только сугубо личное максималистское отношение к тому или иному вопросу.

В «Я — русском», не стесняясь в выражениях, он констатируют неприятные факты. Из текста можно вычленить три основополагающие темы: вопрос миграции, социальные проблемы в современной России, утопическая любовь к СССР. Но, как это часто бывает в такого рода повествованиях, решения нам так и не предлагают. Андрей Вознесенский на протяжении всего романа декадентствует и упивается окружающем убожеством, в решающий же момент своей жизни, уверенный в том, что находится лицом к лицу с обидчиком Ярославы, он так и не решается на месть. А затем... Андрей уезжает. Автор оставляет нам напоследок только символ, акцентируя внимание на национальности ребёнка Ярославы. Ребёнок русский, и это значит — русский победил в этой войне с самим собой, с проблемами страны, продолжив свой род. Исход туманен и зыбок: всё осталось так же, как было: Андрей убежал в неизвестном направлении, автор, поставив перед читателем массу вопросов, закончил книгу, не ответив ни на один из них. Не приносит удовлетворения и способ постановки вопросов: вразброс, отдельно от обещавшей быть художественной части текста, на повышенной патетической интонации. Создаётся ощущение запоздалых юношеских метаний, которых до этого в прозе Филиппова не наблюдалось.

В повестях и рассказах Филиппова, в отличие от романа, присутствует собранность. Крепкие сюжеты, наблюдательность в деталях, впечатля-

ющее количество повествовательных планов, соответствие стилистики идейному наполнению текста. Филиппов в достаточной мере овладел прозаическим инструментарием, в чём можно убедиться на примере его малой прозы. Безусловно, всё это даёт основание надеяться на то, что автор может ярко проявить себе в жанре романа, который пока ему не покорился.

Мы подошли к концу путешествия, и финальной его точкой станет последний на данный момент рассказ Дмитрия Филиппова — «Яблоки».

В «Яблоках» нам явился автор мощный и опытный. Рассказ не изобилует сюжетными ходами, он совсем незамысловат: Глеб возвращается с линии боевых действий и просит у тестя остановиться переночевать. Дом Глебу уже не родной: жена где-то в городе, чужая и больше в него не влюблённая. Но в этом простом событии кроется огромный эмоциональный заряд, сила и слабость человеческой натуры. Филиппов вновь возвращается к теме, которую мы наблюдали в начале его творческого пути, в рассказе «Капля молока». Избавившись от ситуационной неоднозначности, автор твёрдо заявляет о необходимости единства людей перед устрашающим лицом войны. В «Яблоках» есть всё, что способно сделать текст художественным произведением.

Есть деталь. Вернувшись домой, Глеб видит на подоконнике антоновку, в конце рассказа начинает кричать, будто бы во сне, но глаза его на самом деле открыты: «И тогда тесть схватил яблоко с подоконника и запихнул ему в рот. Полетели брызги в разные стороны. Кислый вкус детства попал на язык, и этот момент узнавания вернул равновесие в мир». Есть здесь также стилистическая точность и взвешенность: «Глаза его были распахнуты. Он смотрел на тестя, не узнавал его и продолжал орать, ввинчивая в уши грязную муть, боль и что-то ещё, абсолютное и нечеловеческое, засасывающее на дно». В рассказе есть и уверенно правдоподобный герой. Глеб не хороший и не плохой, он не тяготеет ни к советскому мировосприятию, ни к современному. Это человек, который может быть органичен в любой эпохе, потому что испытывает отчётливую и универсальную эмоцию, полную оттенков и полутонов: «А тот вцепился в старика своими худыми узловатыми руками и прижался к нему, как ребёнок, размазывая слёзы и сопли, в надежде, что его погладят и защитят».

Очевидно соединение двух элементов, которые нередко были разбросаны по текстам Филиппова отдельно друг от друга: мастерства и духа. Симбиоз привёл к впечатляющему эффекту — читатель ассоциирует себя с героем, кричит в неизбывном одиночестве его голосом, и совсем не важно, откуда вернулся Глеб, почему от него ушла жена. Главное, как вопль оборвался: «Тесть гладил Глеба по вихрастой голове, тот плакал ему в живот, как побитая собака, и во всём русском мире не было людей роднее”. Созвучность всех составляющих друг другу, соответствие лаконичности формы и исчерпывающей полноты содержания, интуитивная гармония текста, из-за которой он обретает свою мелодию, — это лишь примерное описание третьего элемента, который выводит текст на принципиально новый уровень и является логичным выводом из первых двух. «Яблоки» — рассказ, в котором загадочное вещество выкристаллизовалось и отвердело до безусловной прозаической удачи. А определить её очень легко: произведение побуждает к сотворчеству, вызывает желание писать, осмыслять, разбираться, отправиться на поиски своего литературного «философского камня».

СЕРЕБРЯНЫЙ СЛЕД
О прозе Ирины Иваськовой

Когда читаешь прозу Ирины Иваськовой, создаётся впечатление, что пишет её ребёнок-индиго с кристально-чистым детским взглядом, обладающий навыками психологического анализа. Притом сам он как будто не знает об этом, и все внутренние выводы текста помимо его воли рождаются сами собой. На мой взгляд, это очень интересное явление, редкий тип таланта, заслуживающий пристального внимания. Ведь то, что выглядит так легко, наивно и неосознанно, на самом деле наверняка является результатом долгой литературной работы вкупе с богатым жизненным опытом.

Конечно же, автор прозы с «детским лицом» совсем не ребёнок в реальной жизни. Ирина Иваськова родилась в 1981 году в городе Красноярске, закончила Красноярский государственный университет по специальности юриспруденция, работала юристом около десяти лет. Проза появлялась в разнообразных печатных и интернет-изданиях: «День и ночь», «Родная Кубань», «Север», «Кубанский писатель», «МолОко» и т.д. В 2016 году вышел дебютный сборник рассказов «Бумажный саксофон».

Поэт и прозаик Николай Ивеншев видит в героях писательницы нечто психически нездоровое: «Герои Ирины Иваськовой все немного тронутые, с надкушенным сознанием. Но кто говорит, что мы нормальные все. У каждого свой «бзик». И нормальны ли нормальные». В тон ему вторит и Сергей Лёвин, писатель и журналист: «С точки зрения человека нормального, все они ущербны, однако каждый персонаж из галереи тех, кого чаще всего характеризуют «не от мира сего», отмечен благодатным светом, способным озарить всех, кто находится рядом».

Действительно, в рассказах Иваськовой нередко можно встретить людей, явно находящихся за краем здорового сознания. В ранних коротких произведениях, скорее новеллах, чем рассказах, они являются костяком повествования. Их «особинка» дана как самоцель, чаще всего это женщины, бегущие от реальности в несбыточную мечту. В рассказе «На тёмных берегах» Вера собирается замуж за бездонное глубокое море и радостно бросается в него, когда стихия «зовёт». Девушка не тонет только благодаря сильным рукам своего брата, вырвавшего её из лап хищной стихии. В «Снегурочке» семидесятилетняя молодящаяся старуха тает после очередного прыжка через костёр, а в «Белке» Изабелла с собачьей кличкой самозабвенно мечтает о семейном счастье, ассоциируя его со «свадебными» предметами. Там же немощная бабка просиживает остатки своей жизни на загадочном сундуке, в котором, как читатель узнает к концу произведения, и хранится «намечтанное» Белкой платье со всеми прилагающимися атрибутами. Эта группа текстов, в которой присутствует еле уловимый намёк на магическую природу женского сумасшествия, характерна своей одномерностью. Анализа «сдвига» не случается, автор просто констатирует нам факт красивого причудливого безумия. В этом плане Иваськову можно сравнить с лауреатом премии «Дебют» 2001 года Денисом Осокиным, который посвятил целую книгу «Небесные жёны луговых мари» женским странностям. Каждая глава у Осокина названа новым именем, которое рассматривается в двух мирах: нашем и потустороннем. Женщины дики и самобытны в обоих измерениях. Но если у Осокина странность доведена до предела и напрямую связана с языческими мотивами, то у Иваськовой она более психологична, но безыскусно метафорична, что делает её и менее интересной.

Из всех однолинейных рассказов хотелось бы выделить произведение «Тяжёлый человек», где простая и точная обобщённая метафора развивает тему детского физического заболевания. Мальчик неожиданно стал «тяжёлым» в буквальном смысле этого слова: пол под ним крошится, а кровать ломается. В эту тяжесть и связанную с ней неизвестность можно вписать любое название неизлечимого заболевания, любой диагноз с будущим летальным исходом. Паническое состояние матери выписано предельно точно и пронзительно. Неожиданный выход из круговорота врачей, знахарок и страхов выполнен крепко с точки зрения мастерства сюжетного и стилистического: «*Пашка сделал еще шаг и подставил под плавленое солнце свое бледное лицо, обжегся холодным ручьем, встрепенулся, мокрым воробьём метнулся влево и замер вдруг от скрежета, грохота и звона — ледяная пластина навсегда простилась с насиженной крышей и раскололась на острые неровные звезды у Пашкиных ног. Под ударом асфальт дрогнул, и Пашка вдруг почувствовал, как исчезает из его середины стальная тяжесть — как будто чьи-то руки выдернули и отшвырнули прочь крепкую палку, на которой он держался весь этот год — плотно прикрепленный к земле вроде коллекционного жука*».

Яснее и чётче авторская уникальность обозначается в рассказах, написанных в развитии, обращающихся к прошлому и будущему, особенно видна она в психологических связях, когда неординарные характеры даны в отношении друг к другу, во взаиморазвитии. Таковы два самых удачных и «простроенных» произведения Иваськовой, «Звезда Сирень» и «Шурочка». Болезненность распадается в них на блаженную просветлённость и наивность. Юные девушки лишаются необъяснимых желаний и становятся лишь продуктами родительского избегающего безумия.

«Шурочка» — рассказ о девушке Саше, которая живёт со своей болезной тёткой Милой: «*Сумасшествие Милино вышло неопасное — с таким, в общем-то, и к врачам не идут. Несколько смущаясь, тётка сообщила, что стала теперь небесным проводником и будет писать книгу для несчастных, утонувших в незнании землян. Милина религия с трудом поддавалась идентификации: карма в ней мирно соседствовала с Христом, а волны энергии распределялись по планете архангелами — крылатыми, но при этом ещё и многорукими*». Сама Саша, совершенно точно уже не школьница, придурковато инфантильна и эмоционально недоразвита, её любовь к недоступному Аркаше, увлечённому её лучшей подругой Катькой, — это запоздалый восторг маленькой девочки. Когда Саша узнаёт, что Аркаша серьёзно влюблён, она поступает по-детски глупо и непосредственно: выпрашивает поцелуй за расставание.

В антитезе к Саше дана красавица Катька, искренне недовольная своей жизнью с надоедливой матерью, которая занимается распространением косметики: «*Поскольку марафет наводился в полутьме, а волшебная косметика на деле была редкостной гадостью, при ярком свете дня лицо Катькиной матери выглядело устрашающе. Но она не теряла энтузиазма и бегала вприпрыжку по этажам офисных зданий, заглядывая в кабинеты и заманчиво потряхивая образцами товаров, сувенирами и прочей дребеденью*». Катька не принимает материнскую «придурь», изо всех сил противостоит ей, а потому она, обладающая таким защитным механизмом, совершенно «нормальна» в рамках социума. Саша же не может повзрослеть именно из-за своей доброты и сердечности. Безумие тётки для неё не повод для крика, но причина трепетной заботы, в процессе которой Саша калькирует наивный тип мировосприятия «неопасной сумасшедшей».

Обаятелен финал рассказа: марш непонятых и страдающих. Мила реша-

ется на миротворческий митинг и выходит к ближайшему супермаркету проповедовать свои идеи, ответственная Саша стыдливо бредёт рядом. В процессе к ним присоединяется мать Катьки, что совершенно органично: их с Милой расстройства однородны, ведь они обе убегают от реальности в иллюзию. *«...Архангелы жалеют неразумных, потому что нет жестокости в изначальном человеке. Будьте, как свет, жалейте друг друга. Ведь даже архангелы не помогут, если в сердце, кроме зла, ничего не растёт»,* — тихо шепчет Мила на импровизированном марше. И звучит не совсем уж безумно... Так кто же тут в своём уме? Возможно, именно Мила и мать Катьки вернулись в состояние «изначальных» людей, а главная героиня уже приближается к нему. Наверное, авторский вывод именно в этом. Ведь Катька и Аркаша, взявшись за руки, уходят, лишь мимоходом взглянув на манифестацию доброты, которая закончится ожидаемым вмешательством охранников. Они уже не чисты, способны причинить боль подруге, выбрать свои интересы. А вот Саша, взрослая девушка, которая сидит на скамейке с городскими «сумасшедшими» из чувства долга, уже нет. Она на трудном пути к «изначальности».

В схожих сопоставлениях выполнен рассказ «Звезда Сирень», где после смерти своего друга, пророчащего Звезду Полынь, повредился умом отец девушки Маши. Расстановка героев уже нам знакома: Маша остаётся жить с отцом, а её мать, выбравшая «нормальную» жизнь, переезжает к новому мужу Владимиру с младшим братом Маши, Мишей. Рассказывающий удивительные неправдоподобные истории отец оказывается в финале практически героем: он действительно спас мужчину от смерти, когда довёз его до больницы утром описываемого дня, чему Маша сначала совсем не поверила. Просто отцу нужно защитное «яйцо», и им оказывается метафорическая «Звезда Сирень», лопнувшая банка с забродившим вином, со взрывом которой мужчина связывает будущие небывалые чудеса. Маша, как и Саша в предыдущем рассказе, носит на себе отпечаток блаженности отца: она покорна, молчалива, почти свята на фоне своих практичных родственников.

Оба рассказа удачны, настораживает и смущает лишь их очевидное сходство. Если мы прибавим к этому предыдущие опыты Иваськовой, получится однотонная картина. Маша и Саша, юродивое безумие их родных — всё это мы уже видели, просто в меньшей концентрации. История разыграна по новым ролям, разложена по полочкам и уточнена, но она всё та же. Есть ли у Иваськовой диапазон, амплитуда, логическая фаза развития, в которую можно будет сделать следующий прозаический шаг? В этом меня заставляет сомневаться экспериментальное произведение «Бумажный саксофон», которое и является попыткой выйти за рамки сложившегося художественного мира.

Главный герой «Бумажного саксофона» заурядный музыкант Бубенцов решает устроить яркий перформанс за неимением других способностей впечатлить публику: он осыпает зрительный зал серебряными блёстками. Слушатели уносят блёстки на своей коже, подошвах, в волосах. Серебряный след переключает внимание читателя с одного героя на другого, переносит из тёплой комнаты на неуютную улицу, из повествования от первого лица усталого и озлобленного мужчины выводит к авторскому наблюдению за бездомной собакой. Пёструю вереницу героев объединяет только серебряный след и неумелый приём. Герои связаны текстуально, выглядит «переключение» следующим образом: «*И всё оказалось так просто — не нужен им был никакой психолог (покажите сыну, как вы его любите), никакие советы опытных, по три раза разведённых подруг (да всыпь ему хорошенько и компью-*

тер отбери), никакие мамины утешения (живи для сына, какая любовь в твоём возрасте). Ничего этого не нужно было, а пригодился только зимний вечер, подвальное кафе и неожиданный саксофон в серебряных блёстках. Мудрёная алхимия времени спасает каждого, и для всех нас в итоге прозвучит одна и та же песня в моей голове — одна и та же — злость на других, жалость к себе. Всё было так хорошо, всё было так ровно, всё шло, как было задумано. Вся жизнь была предрешена и заполнена». Перетекание ситуаций с помощью словосочетания или даже одного слова — оригинальная прозаическая акромонограмма, на мой взгляд, только путает читателя и добавляет тексту необоснованной претенциозности. Вызывает сомнение и метафорический серебряный след, наследство от феи из детских сказок. Наивность здесь свойственна уже не заражённому безумием родных герою, но самому автору. Примечательно, что люди, представленные нам в «Бумажном саксофоне», лишены ярко выраженных странностей, но вместе с ними из образов ушёл и объём. Конечно, не стоит забывать о неординарном музыкальном художнике Бубенцове, который, тем не менее, является не центральной фигурой рассказа, а отправной точкой для развития событий. Автор попытался показать нам созданий совершенно обыкновенных, с настоящими и понятными проблемами, бытовых обывателей. Но их камерный мир оказался слишком серым на фоне ярких блёсток, места для литературного волшебства там не нашлось.

Стремление к преодолению устоявшегося подхода в данном случае порыв необходимый. Слишком узок художественный коридор прозы Ирины Иваськовой. Самоповторы и намечающаяся ненамеренная абсурдность только подтверждают это. Надеюсь, что Иваськова сумеет вырваться из взявших её в плотное кольцо героев и мотивов. По крайней мере, совершенно точно это говорит об одном: Иваськова создала что-то новое, необычное, потому ей так сложно начать говорить о чём-то другом как-то иначе.

Подчиняющая сила этой с виду наивной прозы завораживает. Если вы подходите к этим текстам жёстким скептиком, то через две страницы автор «омолодит» вас, и вот вы уже искренне сопереживаете и сочувствуете девочкам-птичкам, которые должны выбрать между неподдельной добротой «безумия» и пониманием окружающего социума. Возможно, выход на другие темы и образы заключается именно во взрослении образа автора, в изменении восприятия. А может быть, наоборот, им станет развитие в рамках сложившейся манеры. Остаётся только надеяться на интересный творческий путь. Как сказала сама Ирина Иваськова в предисловии к своей книге: «*Иногда я ощущаю себя огромным и замшелым валуном. Чтобы сдвинуть такую глыбу с места, нужно очень постараться и не обращать внимания на бесконечное ворчание и протесты*». Но правда же, когда камни двигаются, это просто потрясающее событие?..

Валентина ИВАНОВА

ОБОГРЕТЬ УЛИЦУ
О рассказах Андрея Антипина

Все вверх и вверх, по крутой тропинке, с частыми остановками и передыхами в пути. Где-то на полпути возникает ощущение чего-то большого. Кажется, «вот оно», но сердце недоверчиво и откликается тревогой, пытаясь защититься от неизвестности. И все-таки оно захватывает неожиданно. Не успеваешь поверить, что это оно. Забываются горечь и тяжесть от прочитанного, все переплавилось в новое, стало им. Чувство радости захватывает как открывшийся простор с вершины горы – высота и деревья внизу, пестрые точки цветов – и небо. Оно огромное – в полмира. А если повезет, можно увидеть рассвет. Таков рассказ Андрея Антипина «Смола». Последние слова рассказа растворяются в созданном мире, тают в просторе нахлынувших чувств. С ощущением открывшейся близкой дали родного живешь, бережешь его, улыбаешься на улице каждому встречному.

А мысль возвращается к началу, чтобы сцепить воедино солнечную капельку смолы на сером высохшем заборе и человеческую судьбу. «И тогда в старом, сером, щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг «вспыхнет», вдруг «заиграет», вдруг «загорится» морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной лиственничной смолой». Откуда из глубины старого простуженного забора эта капелька, вобравшая в себя солнце? Как она сохранилась там, на ветрах и морозах, Бог знает. Внимательные глаза

ИВАНОВА Валентина Яковлевна — кандидат филологических наук, кандидат культурологии, научный сотрудник Музея В.Г.Распутина (Иркутск), доцент кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета. Живет в Ангарске.

автора направляет зоркое сердце. И вопреки раздающимся со всех сторон прогнозам, обещаниям бурь, ветров, непогоды, думаешь – нет, знаешь, что это не так. Открытие сути человека объединяет прозу Андрея Антипина с русской классикой, и в первую очередь, с близкой по времени и милой родине – с прозой Валентина Распутина.

Андрей Антипин – выпускник филологического факультета Иркутского государственного университета, факультета Валентина Распутина и Александра Вампилова. Живет в глубине Сибири в поселке Казарки на реке Лена. Впервые стал печататься в журнале «Сибирь». Сибирь и питает его творчество, создавая особое пространство слияния человека и природы, которое в городах забыто и воспринимается как атавизм. Отчуждение от мира и родство с природой, с людьми, столкновение этих сторон – центральный нерв прозы Андрея Антипина, энергия его произведений. На стыке противоположностей рождается живительная искра.

Мир писателя держится парадоксами, соединением несоединимого. Парадоксы сочетания слов, фраз, чувств, впечатлений от реального и воображаемого рождают неповторимое впечатление от прозы Андрея Антипина – ее свежесть и выразительность. Это чудодействие слова, которому невозможно научиться, которое спускается свыше как дар. Парадоксы окружающего введены в мысли главного героя уже в первом рассказе писателя «Зачем?..» Добро нечаянно становится злом. «Сейчас я с ужасом осознаю открытый для себя парадокс: не обрати я тогда внимания на первые проявления зла, не возбуди в этом зле необходимости защищаться и порабощать, зло умерло бы само собой, более не распространяясь». Невольная смена позиции праведника на потворника зла – только один из парадоксов рассказа. Прямой и искренний главный герой идет на открытый разговор со своим противником. Отстаивая бережное, благодарное отношение к природе, он оказывается сраженным своим же оружием – ему возвращают заданный им вопрос: «А ты – зачем?». В лобовом столкновении добра и зла, добро отступает безоружным, беспомощным, не способным объяснить словами естественную для себя любовь к миру. И в этом тоже парадокс.

Смеховое, сниженное переплавляется в рассказе «Зачем?..» в трагическое. Человек, который заставляет себя ждать, потому что «дрищет» в кустах от выпитого просроченного пива, предстает страдальцем и умирает от жестоких болей буквально на глазах защитника справедливости. Смеховое усилено «рассказом в рассказе» Массовика Васьки о проделках над дружком Серёгой. Контраст обостряет трагизм происходящего. С человека зла слетает социальная оболочка, обнажается суть его действий – жалость к себе и ненависть к тем, кто остается жить после него. Пронзительное вглядывание в человека, совершившего зло, усилено чувством жалости и признанием чего-то таинственного, не доступного сознанию, в его душе. «Во взгляде его, как мне показалось, мелькнула вдруг человеческая грусть по какому-то, ещё непонятному мне поводу. Я не выдержал этого взгляда и отвернулся...». Мимолетное проявление глубокого чувства в ненавидящем все человеке оставляет след тайны. Крайности объединяются, и психологически объяснимо зло, которое совершает человек, и мудро прощается сделанное. Приближение, приход главного героя к рубщикам леса, шайке организованного зла, крупный план изображения души человека через видимое и слышимое – облик, слово, жест – открывают в этих людях человеческое так, что зло словно отступает, остается за их спиной. Вражда людей растворяется перед зримостью вечного – страдания человека. Возникает чувство общности («мы обступили раздавленный вагончик»), пони-

мания и сострадания друг к другу. Нет плюсов и минусов, все смыкается участием одного в другом, переплавляется высшей, не постижимой умом, силой – единой музыкой бытия, которую слышит юноша в конце рассказа.

Главный герой рассказов «Зачем?..» и «Теплоход «Благовещенск» словно вырос из Сани в рассказе Валентина Распутина «Век живи – век люби». Это он, впитав красоту и величие тайги как откровение, получает тайновидение – способность различать добро и зло – силы жить с добром и творить его. Только такой восприимчивый к добру человек способен слышать «непрекращающуюся музыку жизни». «Все эти звуки были настолько отлажены, настолько едины, что казалось, будто это звучит затаённая где-то в земле музыкальная шкатулка. И было страшно сделать неловкое движение, крикнуть невзначай, прожить жизнь не в унисон этому божественному звучанию...». Человек попадает в высшую синергию – единство земного и Божественного, в их нераздельность и нужность друг другу. Синергия дает способность видеть многомерность зримого мира, парадоксальное стечение несоединимого, сквозь обыденное просвечивает древнее. Небо, которого так много в прозе Валентина Распутина и для которого оно – меритель бытия, где в высоте качается маятник человеческой жизни, кажется, спустилось в сердце главных героев рассказов Андрея Антипина.

«Теплоход «Благовещенск» начинается с колоритной сцены купания деревенских старух. Действие вызвано стремлением женщин вызвать дождь каким-то особым, забытым способом – купанием с иконами в реке. Экспрессивность и стереоскопичность видимого возникает из совмещения разных ракурсов – то наблюдения детей с берега, то ощущений самих старух, переданных в их репликах, то замечаний стариков, то восприятием происходящего главным героем, мальчиком-подростком. Слово автора вмещает в себя многоаспектность наблюдения и одновременно существует как воспоминание о вчерашнем дне. «Тут как тут и ребятня: стоят поодаль, утирая носы, никак не решаются подойти поближе к старым бабам, которые ещё полчаса назад гоняли их от малинника крапивою, а сейчас барахтаются в реке, выставив на обозрение всему свету жёлтые животы и квёлые, словно брусника в ноябре, старушечьи груди». Старухи входят в воду, бормоча детские считалки, и ведут себя как дети. «Они смеются, охают, кряхтят, толкают друг дружку на глубину». Противоположность, полярность возрастов смыкается. В таком неуловимом сплаве старости и детства – выразительность описания, словно жизнь, завершая свой круг, возвращается к началу. Старики срамят для потехи купающихся старух, задирают непристойными советами, вызывая их на такой же ответ, но не отходят, привлеченные к реке необычным зрелищем. Их слова контрастны замыслу обрядового действия, дополняют смеховым сакральное.

Живописность стиля рассказа «Теплоход «Благовещенск» возникает из созерцательного взгляда подростка на мир – тихого, доброго и наблюдательного взгляда взрослеющего человека, воспринимающего мир будто впервые. Остраненность дает свежесть и новизну изображенному, в нем присутствует мудрое не по годам желание не нарушать мир, сохранить его целым. «На таган села красная бабочка, за ней другая... и вот уже вся ольховая жердинка увешена разноцветными прищепками. Внезапно они срываются с насиженного места и разлетаются: это я, дурачась, кинул палку в прогоревший костёр и поднял прямо на бабочек облако золы. Никто, кажется, не заметил этого, но я пожалел о содеянном, и настроение у меня подыспортилось». Мир вокруг главного героя предстает в нетронутости первозданного блаженства, единства всего живущего и осмысленности взаимного существования. Импрес-

сионизм стиля писателя – в мимолетности впечатления, яркости солнечных красок, в ценности и жалости к тающим мгновениям бытия, в одновременном осознании собственного одиночества при расставании с ними.

Цветовая палитра определяется детским принятием мира, радости от соприкосновения с радужной гармонией. «Из-под поднятого вала поскакала большая жёлтая лягушка. Я посадил её в пенопластовую чашку, прикрепил бумажный парус и пустил по ручью. Мой самодельный кораблик скоро заскользил по голубым волнам, ловко увёртываясь от коряг и зелёных, покрытых тиной, камней». Детский кораблик как отзвук впечатления от красивого и недоступного теплохода «Благовещенск» с названием, словно из другого мира. Образ детской и взрослой мечты отражается в самодельном кораблике, формируя художественную многомерность текста. Палитра изображенного выдает в подростке ребенка, рисующего на листе чистыми яркими красками – жёлтой, голубой, зелёной, синей, алой – свой мир. Этот детский рисунок – старый мир новыми красками – автор дарит читателю.

Разговоры, споры о политике, о бедственном положении человека в деревне, о насущном не гасят гармонии окружающего. Они – необходимая часть совершенного, бытия человека с природой, их разумного согласия. Шум, суета, споры соприкасаются с миром природы и умолкают, растворяются в тишине мудрого взаимодействия всего со всем. Действия и слова людей в сознании главного героя получают сакральность высшего смысла – каждый момент проживается, впитывается душой как ценный и неповторимый в творимом узоре человеческой жизни. Естественно звучат последние слова рассказа: «такого дня, как сегодня, больше никогда не будет...». Слова отражают полноту жизни. Миг и вечность в рассказе Андрея Антипина сплавлены общим законом *со*-бытия. Сенокос, метание копен – тяжелая до изнеможения работа в жару – мучительные укусы мошки, купание в реке, ловля щуки становятся священнодействием. Размеренность и осмысленность каждого человеческого движения хранят тайну, полны трепетного отношения к природе, при котором действия человека равны миротворению и миротворчеству. Со вниманием и благодарением, с заботой и любовью жизнь главного героя протекает в точке соединения прошлого и будущего: слово писателя осязаемо передает этот незримый и неуловимый миг перетекания времени. Сплав времени в момент делания человеком природосообразного и необходимого воспринимается как прикосновение к древнему знанию, к истоку самой жизни.

Образ теплохода «Благовещенск» с нарядными, праздными людьми для подростка не только символ иной, лучшей, чем у людей рядом с ним, жизни – он его волнует, манит. Теплоход, как красивый мираж, проплывает мимо, но сон мальчика открывает вслед ему главное. Сон в лодке, на воде, в состоянии между берегами метафоричен. В нем мальчик стоит на носу теплохода рядом с обворожительной женщиной в голубом платье и одновременно смотрит на это с высоты всеведения. Оба состояния дают ощущение трансцендентного. Прощание мальчика с людьми на берегу, которых он не сразу узнает, их слова «Будь счастлив, милый, в той далёкой стране!», помогают осознать границу в своей жизни, фиксируют переход туда, где близкие и родные остаются уже позади, в прошлом. Волнение и щемящая грусть мальчика, его тихие слезы после пробуждения отмечают разрыв с детством. Приходит прозрение – осознание настоящего как переходного. «Я иду впереди всех, но внезапно для самого себя останавливаюсь и смотрю туда, куда скрылось солнце. Темно. В небе лежат крупные звёзды. И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению,

закатилась за горы часть моей жизни». Прощание с детством в сознании главного героя согласовано с небесными ритмами дня и ночи. День жизни, как и прозрение растущего человека, включены в космическую гармонию и осмысленность существования неба, солнца, звёзд.

Рассказ Андрея Антипина «Капли марта» – о нескольких днях жизни пятилетнего мальчика у бабушки, вдали от мамы. Колебания, вибрации мыслей и эмоций на стыке смешного и трагического создают живую ткань с объемным видением реальности, смещением фокусировки взгляда, переменой роли наблюдателя, разностью миропонимания человека со стороны и участника. Центральная оптика – видение мира ребенком, страдающим от того, что оторван от матери, и не понимающим причины своей брошенности. Палитра чувств мальчика, постепенное врастание в чужой для него мир, и, наконец, согласие с ним, связаны со взглядом всеведающего повествователя. Чередование точек зрения обнаруживается, например, переходом от бабушки-«старухи», которую можно слегка лягнуть ногой и получить в ответ крепкий подзатыльник, к называнию бабушки «бабкой» и «бабушкой», и даже «Клавдией Еремеевной» – последнее характеризует уже взгляд повествователя. Перемещение точек видения оттеняет ведущую модальность повествования, восприятие пятилетнего мальчика.

Остраненность, изображение мира глазами ребенка, рождает противоречие с картиной мира взрослого читателя. Возникает балансирование растущего художественного пространства на стыке «взрослый-ребенок». Автор не позволяет читателю до конца вжиться в состояние пятилетнего человека, погрузиться, вернуться в сладостное райское состояние первого знакомства с миром. Фразы взрослых (бабушки, мамы, Тётки, Главного, Китихи) выдергивают читателя из глубины тихих созерцаний, принуждают вынырнуть и глотнуть воздух критического отношения к действительности. Но такова жизнь и впечатлительной, безоружной души ребенка, в которую врывается взрослый мир. Живая подвижность текста Андрея Антипина создана из погружений-выныриваний, из переплетения взгляда из детства и взрослости.

Реальность рождает сказку, и она органична в сознании ребенка. Оставленный в больнице, среди закоулков, лестниц-коридоров, в которых растворилась бабушка, мальчик вовлечен в борьбу добрых и злых сил. Чепчик оказывается Главным в этом незнакомом мире. Веник и Коробочка обижены и ненасытны у корзины с мусором, они готовы съесть мальчика, но «на выручку ему подоспела бабушка». У этих двух персонажей появляется союзник – Коричневые Тапочки. Реальность обращается сказкой при касании с душой ребенка, но для читателя она не перестает быть узнаваемой. Испугавшись напора бабушки, «Веник с Коробочкой, под которой обнаружились Коричневые Тапочки, поскору убрались столоваться у переполненной корзины и бурчать». Сказка продолжается. Появляется невидимый Восьмой по счету Март и уводит всех женщин больницы в магазины, где снег у крыльца усыпан цветочными лепестками. Неосторожный бряк мальчика вызывает злую Тётку, грозящую расправой, пока Главный у «своей дистрофини». И опять спасает бабушка. Знакомство с Китихой и Розовым возвращает сказку в реальность. Мастерство писателя проявляется в этом извлечении сказки из обыденного, словно очищается от скорлупы чудо. Приемом метонимии человеческое смещается на вещь. Предмет крупным планом – персонифицированный – раскрывает психологию человека и отношений между людьми. Но предмет не просто очеловечивается, в рассказе Андрея Антипина, скорее, опредмеченный человек теряет свою человечность. И это уже не сказка.

А если и сказка, то для взрослых. Возникают колебания самого воздуха текста, создающего реально-ирреальную картину.

Повествование Андрея Антипина многоголосо – размышления ребенка разворачиваются как споры с бабушкой, как предъявление детских доказательств в ответ на воображаемые аргументы взрослого, дополненные голосом автора. Слова взрослого в таких спорах не всегда обозначены кавычками – слово «шандарахнулась», например, появится позднее в речи бабушки. «Зачем только бабушка оставила его у двери, посадив на кожаный диван с пуговицами и приказав не уходить, а сама убрела по коридору – и как в раскрытое подполье шандарахнулась... Допустим, ещё дома ему дали шоколадную конфету. Так мальчик не клянчил её! Он бы лучше пошёл искать маму. А конфету бабушка всё равно отдала бы, потому что у неё «деабед» и она может «сковырнуться», если «сглотнёт лишню ложку сахару». Столкновение и одновременное созвучие закавыченных и не закавыченных бабушкиных слов в рассуждениях ребенка, единение слов старого и малого, контраст их ценностей и смыслов создает динамику стиля, колебания-раскачивания мыслей и чувств читателя от одного полюса к другому – смех сквозь слезы и сопереживание беспомощности маленького человека при столкновении с трагикомедией жизни. Присутствие автора в мыслях мальчика отражает колебания позиции самого автора, часто смотрящего на мир глазами своего героя. Иногда, правда, роль повествователя передается бабушке: «одела – только голубые гляделки и видать – и, полусонного, повела за ворота, покатила на ледяном автобусе с кусочком фанерки вместо стекла...». Оценить со стороны, критически посмотреть на одетого внука и словно сказать самой себе «только голубые гляделки видать» могла только бабушка.

Авторский голос полифоничен, он незаметно включает в себя слова всезнающего повествователя, впечатления бабушки, опять повествователя и впечатление самого мальчика, закутанного в одежду, неповоротливого, посаженного у окна автобуса и с досадой видящего только фанерку («фанерка вместо стекла»), а душа-то готова к приключениям. Одно предложение может раскрыть полифонию жизни – наплыв голосов, впечатлений, чувств. Авторское слово вбирает в себя различные стилистически окрашенные эпитеты, сравнения, метафоры, и поднимает читателя то в гору, то спускает под гору – в описаниях, построенных контрастно. «Такая песня велась тяжело, словно несла её бабушка, идя по буеракам, с расстановками, когда «в горку», а «под горку» – с широким вольным роздыхом, с отчаянным жестом руки, которую Клавдия Еремеевна откидывала в сторону, точно занесённое для гребка весло, а потом единым росчерком возносила стремительно от талии, выше головы». В другом предложении существуют рядом сниженное «скреблись» в значении «шли еле-еле, плелись» и тонкое поэтическое описание заснеженных деревьев. «Потом они скреблись по обледенелой лестнице в больницу на горе, меж серебряных от изморози сосен». И в этом весь автор. Глаза писателя не только зоркие и приметливые, они с любовью смотрят на человека и природу, отражая красоту.

Любовь-нелюбовь мальчика к бабушке – другие два полюса, между которыми разворачивается качание чувств главного героя, скрытая пружина сюжета. Мальчик живет то в согласии с бабушкой и любит ее, то она становится «жадной старухой» – «приковыляла, заваливаясь на бок, больше не любимая им старуха» – и мальчик готов насолить ей. Читатель видит мир сквозь оптику противоположных чувств ребенка, и мир окрашивается разными красками. Живопись меняет цвета – перед глазами импрессионистская

палитра, играющая, бликующая, живая, как текущая вода. Вот мальчик смотрит на бабушку любящим взглядом: «после долгого и громкого разговора с мамой она была просветлённая, точно умытая снегом, в радужных брызгах слёз». Мальчик «снова полюбил бабушку». Психологическая органичность текста – в такой эмоциональной пластичности детской души, в ее перемещениях между полюсами любви-нелюбви, определяемых острым чувством брошенности, ощущением себя чужим в чужом доме. Чувство одиночества соединяет ребенка и бабушку, создавая связи-отталкивания в отношениях двух близких людей. Многие эпизоды рассказа останавливают волной скрытой, затаенной тоски, боли одинокого старого человека. «Приедет, уж это ты не беспокойся! – фыркнула Клавдия Еремеевна. – Сразу забудешь баушку, всю её ласку-заботу пустишь по ветру, как корова струю. Форкнешь наперёд всех в город свой – баушке только на твой хвост и смотреть!». Прикрытая иронией, боль старого человека неизмеримо трагичней одиночества ребенка, который все-таки дождался маму. Душевная опустошенность при расставании с внуком воплощена в емкой детали-метафоре – пустой сумке вернувшейся с полдороги в магазин бабушки. «Следом, валяя из стороны в сторону головой, поспешала бабушка с болтавшейся у ноги пустой сумкой...». Два одиночества срифмованы в тексте – человека в начале жизни и в ее конце.

Бабушкиными слезами – каплями марта – начинается рассказ. «Набрав из пузырёчка в рот, бабушка обыкновенно сидела в прихожке, глядела в окно, за которым ронялись с влажной крыши первые сосули и, звенькнув о бельёвую проволоку, разбивались о тротуар». Ими же и заканчивается. «Бабушка укатилась в горницу и тихо плакала за раскрытой дверцей шифоньера, сося слёзы вперемешку с капельками из тёмного пузырька». Капли марта замыкают композиционное кольцо рассказа. Скрытая от другого, боль выдает тихое страдание, характерное, наверное, только для русского человека, пережившего тяжелые годы голода, войны и политических катаклизмов XX века, и идущее от христианства. Этим терпением силен русский характер, как бы мы ни старались забыть об этом. Но капли марта – это не только слезы бабушки и капельки из ее темного пузырька. Амбивалентность образа вбирает в себя и капли на лбу Главного, и «капание» в обвинениях Тётки, и «побежавшие влажные ноздри» мамы при встрече с сыном, и тихие слёзы обиженного мальчика. Эти слезы в какой-то момент заполняют весь видимый для ребенка мир: «и, словно лес после дождя, видя перед собой лишь свои мокрые от слёз ресницы». Капли изображены чаще издалека, реже – крупным планом, отражая состояние маленького человека.

Но капли марта становятся и главным героем рассказа, доверяя мальчику роль повествователя. Ребенок остранен от себя и наблюдает за другой судьбой – за короткой жизнью маленькой капли. Капля очеловечена, и в этом тоже контраст художественного изображения, в котором человек опредмечивается, а неживое очеловечивается. «Долго, переливаясь на вешнем ветру и ярком солнце, висела капля на выступе крыши, как бы размышляя, упасть ли ей теперь, или дождавшись примороза, застыть, а то, полнясь другими каплями, вырасти в длинную сосулю и рассыпаться от удара палки, кинутой смеющимся мальчишкой». Капля, задумалась над выбором одной из предложенных природой судеб, и вся ее жизнь вместилась в пространство «между краем крыши и краюхой тёмно-сизого сугроба...» – фрагмента мира, видимого ребенком из окна. «Ка-ап!» – осязаемая текучесть проживания в мгновении. Рассказ в рассказе как принятая в себя другая жизнь. Но капли марта – это еще и капли сосулек, которые пил мальчик, чтобы простудиться назло маме и ба-

бушке. Опасные для здоровья, в конце рассказа они дарят ему тепло и исцеление. Дарят ощущение счастья от встречи с мамой: «всё куда-то бежали, подпрыгивая на шляпках гвоздей, всё торопились прожечь снега целебные капли марта – последние у ранней весны, самые-самые светлые, проморгавшиеся для счастья и любви в природе, которые теперь не замалчивали ни радость, ни горе, ни день, ни ночь». Они как отражение жизни, ее движения и многоречивой полноты. Их торжество завершает текучую полифонию рассказа.

«Капли марта» в одноименной книге принесли некоторые разочарования. В отдельных фрагментах текста разорваны внутренние связи, нарушена цельность впечатления и возникающего чувства. Разделена, например, описанием песенка бабушки, которую та напевает в роддоме младенцу.

Как у нашего царя –
Топай! Топай!
Родила богатыря
Кверьху жо... (тьфу) попой!

При этом теряется нарастание боли, которую испытывает мальчик при понимании, что песенка раньше наговаривалась бабушкой только ему. Введенные детали дробят чувства. Эти детали могут быть видимы только взрослому, но не ребенку, попадающему в неотразимое действие любимой приговорки, которая берегла его, а теперь утрачена с рождением Розового. Описание распеленанного «топающего» новорожденного вызывает сомнение – сердце матери, сердце бабушки, запреты медперсонала не позволили бы этого. Конкретизация встречи мальчика с мамой и братиком в роддоме избыточна для психологии ребенка. Жалко фразу: «Кто-то цапнул его за руку, вернул в тепло, посадил по-утрешнему на кушетку...», которая потерялась по дороге в издательство. В ней точно и убедительно передано состояние мальчика, ощущающего сквозь слезы действие чьей-то руки – неведомой силы, остановившей и водворившей его на место, с которого начались его злоключения, испытания, тревоги. Разрушается естественная, идущая от природы таланта живая ткань текста – стиль автора с присутствием тайны в недоговоренностях, уместных еще и потому, что раскрывается сознание пятилетнего ребенка, которое выхватывает из окружающего мира только эмоционально значимые фрагменты (Веник, Коробочка, Китиха, Баба С Чёрной Родинкой На Щеке), пугающие или радующие его. Но это сравнение писателя с самим собой возможно уже потому, что существуют два варианта произведения. Сравнение рождает ожидание и интерес к тому, что будет дальше...

Проза Андрея Антипина наполнена добром и верой в человека, которые сцепляют корнями все написанное. Тонкий психологизм души ребенка, подростка, взрослого, сплав смешного и трагического, высокого и низкого, их гармония создают неповторимый стиль автора. Слово писателя диалектично, оно рождается на стыке противоположностей, балансирует между ними, создает внутреннюю динамику текста. Слово так живо и слаженно, что воспринимается как первые солнечные дни в послезимье. К такому слову в дефиците тепла среди холодных лиц и улиц тянется сердце. Пятилетний ребенок мерзнет в городе: «Было холодно, у них в деревне теплее, потому что там все топили печки и обогревали улицы». Простота, непосредственность маленького человека открывают истину. Наверное, кому-то, действительно, нужно топить печки и обогревать улицы, чтобы прохожие могли жить этим теплом до весны – в одном большом городе с названием Россия.

Михаил ТАРКОВСКИЙ

МАТЬ ЕЛЕНА

О новых рассказах Елены Тулушевой

Не бывает настоящего писателя с абстрактным отношением к тому, о чём пишешь, мол, люблю *вообще* жизнь, люблю историю, культуру и всё, что с ними связано. Люби. Только ничего не выйдет, если нет своего кровного куска этой жизни. И даже если такой кусок есть — ничего не получится без личного, страстного и пристрастного к нему отношения. Без ощущения, которое сквозит в каждой строчке и которое ни с чем не спутаешь. Это ощущение можно назвать одним коротким словом: «моё». Моё, потому что у меня уже всё слилось воедино: и жизненное дело, и то как сверкнуло оно в слове, и то, как невыносимо трудно было этого добиться. Потому что верю лишь мурашам, бегущим по хребту. А бегут они, когда думаешь о «своём». Великое счастье найти такое «своё».

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович — поэт, писатель, кинодокументалист, член Союза писателей России, член Общественной палаты Союзного Государства, главный редактор альманаха «Енисей». Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», а так же литературных премий, в частности, премий Ивана Петровича Белкина, премий им. И.С-.Соколова-Микитова, В.Я.Шишкова, Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», первого редактора Литературной газеты Антона Дельвига, международной премии «Югра» в номинации «Проза» «За настоящую сибирскую прозу» и премии В.М.Шукшина. Дважды дипломант славянского форума «Золотой Витязь». Автор книг: «Стихотворения» (М.: Терратек, 1991), «За пять лет до счастья» (М.: Хроникёр, 2001), «Замороженное время» (М.: Андреевский флаг, 2003). В 2009 г. в Новосибирском издательстве «Историческое наследие Сибири» вышел трёхтомник, в состав которого вошли три книги: «Замороженное время», «Енисей, отпусти!» и «Тойота-креста».

У Елены Тулушевой такое «своё» — это работа в центре помощи трудным подросткам. Такое «своё», которое не каждому и по плечу. Действительно, натворит *делов* эта курица Лидка из рассказа «Первенец». Забрюхатела, едва понимая, что делает, причём сама наркоманка, а отец будущего ребёнка, если его отцом можно назвать, с таким набором, что *волоса?* дыбом встают. Бесполезное дело.

А ведь подумать: сколь людей хотят ребёночка, лечатся, мучаются, стараются, а не получается, а тут этой бичихе — пожалуйста. Несправедливость. Или урок? Почему она такая? Кто виноват: среда или характер? Гадать сколько угодно можно, почему живот мудрее мамаши... А ребёночек-то шевелится, интересно, он ножкой сейчас ударил, или ручкой? А она хоть и бичиха, а ей тоже ласковое слово нужно, не безнадёжная она, и может всё выправится? Может непривычное для Лиды ласковое слово, сказанное врачом, сделает дело? «Все у нас получится». «У нас». Надо же. Врачиха сказала «мы». Ничего себе.

Сколько таких, как Лидка! И что с ними делать? Как я могу помочь? Или не могу? Вот! Главное произошло: уже заработали у читателя голова и сердце, потянулась ниточка размышлений. Почему врачиха вдруг по-человечьи обратилась к Лидке? Почему автор решил оправдать её сочувствие тем, что она тоже в беде, что у неё сын наркоман? Чтобы показать, что человек нынче не способен на добро без личной привязки? Что не поможет просто так, по человеческому долгу, по Божьей заповеди? Или это сюжетный ход. Для убедительности. Да. Всколыхнула... Есть над чем подумать.

Или вот этот Олег из рассказа «Близнец». Пивной алкоголик... Да много их... таких. И названия-то всё у Елены Тулушевой — «Первенец», «Близнец» — будто подчёркивают изначальный созидательный замысел, преступно исковерканный человеком. Много их таких по Руси, искорёженных, коверкающих и свою жизнь, и чужую, изломанных и нуждающихся не в нравоучении, а в тёплом слове, в материнской ласке.

Читатель, дотошная порода, спрашивает, что же Тулушева так пишет-то скупо? Где развёрнутые предложения, образные сравнения? Вообще классический литературный язык? Могла бы талантливая писательница продемонстрировать побольше языковых возможностей. Картин каких-то... Как-то «задержаться на кадре».

Задержаться на кадре... Эх ты. А ещё читатель! Ничего-то ты не понял. И забыл, поди, что есть вещи, которые в чёрно-белом изображении намного красноречивей, чем в цветном.

Задержаться на кадре... А ты детей растил? Не спал ночей? Да как до тебя донести, что не может Елена «задержаться». Потому что так пинается ребёночек в Лидкином животе, что кажется тебя саму по сердцу этой ножкой колотят. И потому, что Дашин дед может не дожить, пока ей разрешат в Россию приехать *(рассказ «Домой»)*.

К своим героям Елена Тулушева относится, как мать к ребятишкам в большой семье. Заботливо-сдержанно. В таких семьях не принято афишировать чувства, «рвать страсть в клочья», при этом поглядывая в зеркало: эффектно ли получается.

Авторскому настрою соответствует и художественная манера Елены. Сдержанная, работающая простыми, но действенными средствами — динамично построенными диалогами, точно отобранными деталями.

Буйная метафорика, изысканность описаний были бы неуместны в том суровом, скупом на выражение эмоций, а тем более на многословные описания их, мире, который из рассказа в рассказ воссоздаёт Елена Тулушева.

Оправдано и органичное использование языка городских окраин: нелепо пытаться заставить скинхеда Славу из одноимённого рассказа или ту же Лидку говорить изысканным языком литературной классики.

Не до изысков, когда надо успеть помочь, потом поздно будет.

А вы давайте пишите пейзажи природные и культурные. На Руси всегда кто-то пейзажами любуется, а кто-то непутёвым детям сопли вытирает. И жалеет. И надежду даёт.

Виктор БАРАКОВ

ЖИТЬ БЕЗ ЛЮБВИ — НЕВОЗМОЖНО, НЕМЫСЛИМО...

Лирическая проза Юрия Лунина

Поэзией вначале называлось искусство слова в целом, без разделения на прозу и поэзию. Стихотворная форма, конечно, зримей, чем прозаическая, но и в прозе должен быть внутренний ритм, звучание стиля, иначе язык перестает быть поэтическим. Юрий Лунин, один из самых талантливых и заметных современных прозаиков, говорит об этом так: «Проза тоже должна стремиться к этому, хотя состояние, в котором ты пишешь прозу и стихи, конечно, отличается... Когда ты читаешь хорошее стихотворение, то чувствуешь, что в нем каждая строчка неизбежна. В идеале в прозе тоже должно быть неизбежно каждое предложение, но это не всегда получается. У прозы нет поводыря, как у поэзии в виде ритма, например, но мне нужен компас при работе с текстом, и для меня это язык. Если ты врешь, пишешь что-то непрожитое, наугад, это обязательно приведет к логической, стилистической или другой ошибке. А вообще, у прозы тоже есть потенциал быть поэтичной и музыкальной» [1].

Иногда проза и поэзия сложным и не до конца понятным образом взаимопроникают друг в друга, и тогда рождается довольно редкое явление, которое принято называть лирической прозой. Формальная структура лирической прозы важна, но она — всего лишь мертвое тело. Чтобы оживить

БАРАКОВ Виктор Николаевич — литературовед, писатель, публицист, литературный критик, доктор филологических наук (1998), профессор (2000), член Союза писателей России (с 1999 г.), лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова (за 1998 г.) и Всероссийской православной литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского (за 2007 г.).

его, требуется главное — дух. Если его нет, если цель не идеальна, то ничего не получится. Итак, ключевое слово здесь: идеал.

А.С. Пушкин писал: «Цель поэзии — поэзия... Цель художества есть идеал...». Идеал — это то, чего нет на свете, но что существует в идеальной реальности, онтологический образец, соответствовать которому может лишь преображенная реальность. Поэтому в творчестве особенно актуальной оказывается проблема веры... Размышляя о творчестве, нельзя не прийти к мысли, что оно родственно вере, которая, по слову апостола Павла, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом *(Евр. 11,1)*. Творчество, по своей мистической сути, занято тем же самым и имеет дело с разысканием в идеальной реальности тех вещей, которые оно призвано воплотить» [2].

Вот тут начинается самое сложное, так как мы имеем дело с духовной сферой, которую невозможно «потрогать руками». Обратимся за помощью к Н.В. Гоголю: «В лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости» [3].

Еще в 2008 году Екатерина Босина отметила подобную «духовную трезвость» в прозе Лунина: «И, наконец, Юрий Лунин. Вот его надо читать обязательно. Лунин ставит вопросы. Совершенно не молодежные, не подростковые какие-нибудь, а самые настоящие взрослые, общечеловеческие вопросы» [4].

Возьмём, например, его рассказ «Новая жизнь». В стародавние времена подобный текст отнесли бы к прозе экзистенциализма, для которого характерны смертная тоска, безысходность и проклятия, вознесенные к небесам. У Лунина — прямо противоположное отношение к смерти. Неизбежная смерть у него — это переход к новой жизни и смена поколений как движение к совершенству.

Повесть «Пастораль» написана легко, свободно, смело. «Цепочная» композиция (от одного персонажа сюжетная эстафета переходит к другому) завораживает. Изображенная в повести жизнь и смерть ужасна, тонкая мелодия любви в ней похожа на одиноко играющую флейту, но если ее не слышать, жить было бы еще страшнее. Простая мирная жизнь возможна только лишь в музыке, в поэзии, в мечте. Автор прав: «Жить без любви — это так просто и, в общем, удается каждому. А с другой стороны, это невозможно, немыслимо».

Рассказ «Через кладбище» завораживает музыкой прозы. Лунин рисует картину русской природы широкими мазками, фразы синтаксически построены так, что читатель словно качается на звуковых волнах авторской речи и речи героев. Центральная тема — отношения отца и сына — присутствует и в рассказе «Три века русской поэзии», но там она дана пунктирно, а здесь является главной. Кроме психологической точности в обрисовке взаимоотношений, есть ещё что-то мистическое, слишком личное для автора, но не субъективное, как иногда бывает. Тема эта постепенно становится своей и для читателя. И хотя название рассказа располагает к минорному восприятию, концовка заставляет вспомнить о пушкинской «светлой печали»: «Сын чувствовал, что сейчас отец не думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; сейчас он думает о том,

что у него есть сын, и что это хороший сын. А сын думал об отце и уже не хотел ни о чём важном ему говорить. В его душе ещё жила грусть, но он чувствовал, что эта грусть не кладбищенская, она пройдёт, как проходит дождь».

Рассказ «Под звездами» так же посвящен психологическому поединку, притяжению и отталкиванию теперь уже между родными братьями, и так же стилистически безупречен, если бы не одно «но». Рассказ слишком затянут, перегружен многочисленными подробностями, затормаживающими развитие сюжета. Из-за этого внутренняя гармония прозы разрушается, тускнеет, становится замкнутой. И тоска здесь, увы, не светлая...

В рассказе «Бабочка» показана драма подросткового гипертрофированного самолюбия: ««Господи, почему мир так враждебен ко мне, почему он постоянно издевается надо мной?» — взывал я затем к Богу. Есть у меня особенность: взывать к Нему по всяким пустякам»... У читателя может появиться мысль о мелкотемье, если бы не эти два предложения в конце рассказа: «Природа, согреваемая солнцем, извивалась, рыскала, прыгала, пестрела, текла, росла, качалась на ветру, томилась жарой и радовалась жаре, и ни в одном её детище не было гнева. Я много плакал, бродя среди красоты, которой был недостоин».

Рассказ «В морге» навеян... запахом. Запах испорченной капусты в холодильнике напомнил герою о ночи, проведенной в морге в студенческие годы просто так, из любопытства. Однако и здесь героя поджидает открытие: «Мы остановились под козырьком. Сокурсник предложил сделать по глотку горячительного перед тем как войти внутрь. Мы выпили, закурили, и я заговорил про странную архитектуру здания.

– Знаешь, — сказал я, — мне представляется советский зодчий, которому дали задание спроектировать этот морг. Согласись, от всяких художественных элементов надо было сразу отказаться.

– Почему? — поинтересовался сокурсник.

– Ну, хотя бы потому, что в художественных элементах присутствует стремление к красоте, а в *любой красоте неизбежно присутствует намёк на бессмертие*». (Выделено мной. — *В.Б.*).

Вот о чем, оказывается, это повествование! В нем развивается главный «достоевский» мотив всего творчества Лунина: красота, спасающая мир. Изображение морга, кстати, впечатляющее, чрезвычайно живописное. Даже здесь, в этом необычном тексте, звучит «ликующий гимн жизни», а не смерти.

«Визитной карточкой» Лунина является замечательный рассказ «Три века русской поэзии». Филолог Гурий Судаков пишет: «Рассказ Юрия Лунина «Три века русской поэзии»... поражает глубоким психологизмом в передаче процесса пробуждения поэта в семнадцатилетнем юноше» [5].

Но поражает не только психологизм! Во вступлении к рассказу, состоящем из четырех абзацев, автор сразу раскрывает главную его цель и содержание: «По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, еще не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт от этого — синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может ее разгадать».

В больничной палате парень прочёл антологию «Три века русской поэзии»: Тютчева, Заболоцкого, Фета, Рубцова, Пастернака, Полонского, Державина, Фофанова... «Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, в которую сразу и ворвалось понимание этих стихов».

Речь идет не о физической боли, а о приступах тоски и одиночества: «В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берез, которые призывно дрожали сверкающими листьями за окном палаты».

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез... (Н. Рубцов)

«Слезы счастья» в рассказе схожи со слезами раскаяния на исповеди — очищающими и приближающими к «прекрасному миру», невыразимому, но ощущаемому душой.

Поэзия изменила его взгляд на мир, точнее, мир изменился сам, и столкновение с прагматическим, обыденным (разговор с отцом) убеждает героя: возврат к прежнему состоянию невозможен. «Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде».

Ещё раз вспомним Гоголя: «Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше, по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья, нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими» [6].

Теперь герой способен видеть земной мир как мир Божий: «Мир — это рай. Я в раю», — думает парень, слыша гудение пчел, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц». Предуготовленная к любви душа сразу же, «в золотые секунды», встречает «ту, что приближалась к нему издалека». Это девушка на велосипеде, у которого даже колеса хрустальные — под взглядом героя рассказа все становится поэтическим. И следующая встреча, с «женщиной с рюкзачком» и ее дочкой, девочкой лет пятнадцати, вроде бы оказывается еще одной встречей с красотой: «Девочка улыбается, — видно, что не ему и не о нём, а, наверное, просто от привычки улыбаться, оттого, что нет причин не улыбаться. В такой улыбке тоже кроется красота». И вот тут, в самый воздушный, ангельский миг диссонансом вторгается пошлость: «– Давай, давай, не ломайся, — подбадривает мама. — Одной клубникой нормального мужика в дом не заманишь. Мужчине нужно другое — сама знаешь что». Не верится, что так, сразу, при первом знакомстве, мать этой девочки способна сказать такие, например, слова: «– Вот если приедет в гости, тогда оставлю вас вдвоём — будете целоваться сколько хотите. А сейчас поехали. В женщине должна быть недоговорённость». И тут на пути героя случайно (случайно ли?) встречается молодой священник отец Андрей, благословивший парня потрудиться «во славу Бо-

жию» — собрать стожок в поле. Соработник парня, Матвейка, больше похожий на бомжа, любитель выпить и покурить, оказывается вовлеченным в тот же поэтический круг: «Неожиданно парень чувствует к Матвейке то же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, где ему сегодня приходилось останавливаться: этот человек уже не чужой ему и никогда не будет чужим, он навсегда отпечатался в его сердце и тоже стал его милой родиной. Парень снова ощущает рядом присутствие стихов — каких-то новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, просто о человеке, — но он уже не пытается услышать слова этих стихов. Ему достаточно знать, что стихи есть, что они снова рядом». После работы герой рассказа идет не в гости к «женщине с рюкзачком» и ее дочери, где затаилось липкое и сладкое, — до дрожи, — но гибельное телесное начало, а поворачивает к храму, похожему на «инопланетный космический корабль, в котором всё, что кажется созданным просто так, для красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо более важное, таинственное назначение». И теперь мы знаем, почему юный герой делает такой выбор: *«Без этого смысла невозможны и стихи»*. (Выделено мной. — *В.Б.*).

Всё-таки герой разгадал тайну поэзии! И встреча с соблазном состоялась уже после храма: «– Эх, художник, — говорит мама, взбивая ладонями свои короткие обвисшие от влаги волосы, — на такую ты картину чуть-чуть не успел! Мы сейчас там с Алисой около леса купались... — она перегибается через руль и добавляет шёпотом, как бы по секрету: — Голенькие!..». Герой преодолевает соблазн, спасается почти бегством: «– Художник! — всё-таки слышит он за спиной. — Вы куда?!.. Что с вами, художник?!.. Художник, а вы случайно не голубой?!.. Или художники все голубы-ы-ые?!.». Музыкальное описание последовавшего в конце пути очищающего ливня звучит торжественным аккордом: «Поле вспыхивает белым светом, река на миг становится ртутной и пропадает в черноте, гром ударяет так сильно, что его слышно не столько ушами, сколько грудью, — и дождь принимается за работу сразу, без разгона».

Вторая встреча с Ней, той девушкой на велосипеде, о которой парень думал весь этот бесконечный, длиною в целую жизнь, день, будет иметь продолжение — она оставила ему платок, совсем как в романах золотого века: «Он бережно складывает косынку в несколько раз, кладёт её в карман и уезжает в направлении дома».

День прошел. «Сегодня солнце и дождь, небо и облака, поле и река, храм и бетонная будка, Алиса и её мама, отец Андрей и Матвейка, богомольные старушки и, конечно, она, — всё как будто договорилось выступить перед ним, обыкновенным парнем, единым согласным хором, в котором каждая партия была исполнена великого, хоть и не всегда понятного значения». Он чувствует, что готов лишь к одному: «к бестолковой и великой судьбе поэта».

Главная мысль рассказа заключается в подчеркивании спасительного предназначения настоящей поэзии. Это сверхзадача для всех «служителей муз». Служим мы, конечно, не музам, а Богу, истине и Родине, и если не стремимся к спасению сами и не призываем к спасению других, то какая всем нам от такого творчества польза?.. «Поэзия наша, — утверждает Н.В. Гоголь, — пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значи-

тельному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство». [7].

Если в рассказе «Три века русской поэзии» пошлость — внешняя сила, от которой герой спасается бегством, то в повести «Клетка» от нее так просто не убежишь — в лунинском тексте показана внутренняя драма духовного помрачения. Впервые образ зла, выбравшегося из клетки, появляется в рассказе «Смертное»: «Утром я заключил, что вчера в очередной раз выходил из клетки мой зверь, и все происшедшее произошло лишь потому, что я эту клетку вовремя не запер».

Этот зверь называется в христианстве блудным грехом. И как его ни поэтизируй, как ни оправдывай — он таковым и останется. И в бунинском «Солнечном ударе», и в чеховской «Даме с собачкой». Лунин сознательно создает вариацию на чеховскую тему — есть в его тексте и упоминание классического произведения, и действие лунинского рассказа происходит в Таганроге.

Его герой, как и персонаж в рассказе Чехова, несчастлив в семейной жизни, да и семью создал вынужденно, из-за беременности подруги. В приступе тоски, в пьяном угаре он соединяется со случайной женщиной в поезде, а потом следует за ней, ведомый только лишь влечением, а не чувством.

Лунин специально снижает образ как самого героя, так и его спутницы. Дама в рассказе — некий фантом, реализовавшийся лишь в воображении автора, она не похожа на настоящую, живую женщину, у неё нет эмоций, нет чувств. Если говорить прямо: перед нами пьющая, курящая, развратная особь, в душе которой нет даже намёка на раскаяние, нет той боли, которая есть у главного героя. И это вдвойне печально, потому как именно женщина является источником и хранительницей любви.

Безвременье наше уничтожает многие светлые чувства и порывы, — слишком оно приземлённое и безысходное в своей неотвратимости, но неужели даже любовь в нём невозможна? Неужели мы живём в последние времена, когда, согласно словам Святителя Иоанна Златоуста, *«по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь»*? Один из толкователей Библии, А.П. Лопухин, пишет: «Если в семье водворяется беззаконие или безнравственность, которая есть также беззаконие, то, как это всем известно, между членами семьи прекращается любовь. Это верно и относительно отдельных обществ, государств и народов. По отсутствию взаимной любви между гражданами всегда можно судить, что среди них водворилось беззаконие; по существованию и развитию беззакония можно заключать о прекращении среди граждан взаимной любви» [8].

Курортный роман закончился, герой не ищет нечаянную любовницу, в нём нет любви, есть лишь вина перед близкими. Но это чувство искреннее, в нём залог будущего спасения, и не только литературного. Мы как «Отче наш» должны помнить сакральную фразу, определяющую грань в отношениях между мужчиной и женщиной вне брака: *«Чувства святы, влечение греховно»*.

Итак, лирическая проза Юрия Лунина соответствует следующей формуле: *жизнь — любовь — смерть*. Лунин здесь не оригинален, вся мировая литература подчинена этому триединому вечному сюжету. Он оригина-

лен в исключительно эмоциональной передаче оттенков сумрачной картины и в верности духовному идеалу спасения, — подлинному идеалу красоты.

«У моих рассказов нет ясных сюжетных линий, — объясняет Юрий Лунин, — для меня идеал рассказа — чтобы внешнее событийное всколыхнулось минимально, а во внутреннем плане произошло большое движение».

Верность языковой, человеческой достоверности, стремление к духовной высоте и нравственной цельности — главные творческие принципы Юрия Лунина, которым, надеемся, он будет следовать всегда.

1. Юрий Лунин: Писательство должно прийти само (интервью).

2. Николаева О. Современная культура и православие. — М., 1999.

3. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. О лиризме наших поэтов.

4. Босина Екатерина. Мы кажемся такими // Октябрь. — 2008. — №5.

5. Судаков Гурий. Что впереди у русской литературы? (Вместо предисловия) // Проза: сборник лучших произведений Всероссийского конкурса современной прозы им. В.И. Белова «Всё впереди». — Вологда: ВОУНБ; Полиграф-Периодика, 2017. — С.4.

5. Гоголь Н. В.В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937-1952. Т. 8. Статьи. — 1952. С. 369-409.

6. Там же.

7. Толкования Священного Писания.

Журнал «День литературы» является официальным органом Правления Союза писателей России. И теперь в каждом номере журнала в качестве приложения мы будем публиковать документы Союза писателей России, принятые на секретариате, а также иную важную информацию о деятельности нашего Союза.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ПРАВЛЕНИЯ СП РОССИИ И ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

I. Общие положения

1. Приёмная комиссия Союза писателей России — рабочий орган правления СП России, занимающийся вопросами обновления творческих кадров и формирования литературной смены. Формируется секретариатом и работает непосредственно под его руководством. Возглавляет коллегию председатель правления СП России.

Задача Приёмной комиссии — удостоверить литературную квалификацию литератора и вынести вердикт о приеме или мотивированном отказе в приеме в члены Союза писателей России. Для этого она знакомится с творчеством кандидата, а также со всей документацией его приёмного дела. Отдавая приоритет художественной, нравственной оценке произведений, таланту писателя – то есть критериям качества – коллегия при этом выносит свои решения с учётом и количественных показателей: числа опубликованных работ и объёма произведений, позволяющих судить о профессиональном писательском мастерстве кандидата, его творческой зрелости.

2. Количественный состав Приёмной комиссии – от 25 до 35 человек, представленный в том числе представителями региональных писательских организаций. Приёмная комиссия избирает из своего состава 2-х заместителей председателя, ещё одного из числа рабочих секретарей назначает председатель приёмной коллегии.

3. Кворум заседания Приёмной комиссии для рассмотрения дел составляет не менее 1\2 списочного состава. Проходным баллом для утверждения в членах СП считаются 2\3 голосов (от присутствующих членов комиссии), поданных за кандидата в результате тайного голосования.

Дело литератора, недобравшего на заседании комиссии 1-2 голосов, автоматически переносится на повторное рассмотрение, с передачей произведений другим рецензентам. В случае вторичного недобора 1-2 голосов приёмное дело рассматривается на заседании секретариата СП России.

4. Приёмные дела литераторов, пишущих на национальных языках, направляются в Приёмную комиссиию с обязательными подстрочными переводами части произведений на русский язык.

5. Обжаловать отрицательное решение комиссии в секретариате правления может как писательская организация, так и рекомендатели, предоставив в секретариат апелляцию с мотивировкой своего решения. Рассмотрение апелляции рассматривается в течение двух месяцев со дня ее получения.

6. Заседания приёмной комиссии созываются 5-6 раз в год. Дни заседаний устанавливаются руководством коллегии по согласованию с её членами.

7. Заседания комиссии являются, как правило, закрытыми, с правом присутствия на них членов правления, контрольно-ревизионной комиссии, рекомендующих, руководителей писательских организаций. Повестка заседания комиссии составляется ответственным секретарём комиссии и консультантом приёмной комиссии.

8. Отбор дел для обсуждения на приёмной комиссии производится в порядке очерёдности их поступления и с учётом пропорционального представительства основных литературных жанров, а также с учётом географии.

9. В целях всесторонней объективной оценки творчества литераторов, их произведения рецензируются двумя членами комиссии.

Если в ходе заседания выступления докладчиков и дискуссия не внесли ясности по обсуждаемой кандидатуре для большинства ее членов, председательствующий имеет право не проводить голосование, а отложить дело до нового обсуждения с рассмотрением других членов коллегии.

10. В случае, если член комиссии систематически, без уважительных причин не посещает её заседания, он автоматически выбывает из её состава.

II. Прием в члены Союза писателей России

1. При приёме в Союз писателей России обязательно прохождение общего собрания региональной писательской организации или правления – согласно Уставу организации.

Голосование в региональных писательских организациях открытое. Кандидат считается принятым, если за него проголосовало более половины состава членов, состоящих на учете в региональной писательской организации. В случае, если при наличии кворума общего собрания (1\2 списочного состава) за приём проголосовало 2\3 от присутствующих, но это не является половиной списочного состава организации, приемное дело может быть передано для рассмотрения Приемной комиссией с уведомлением об этом в сопроводительном письме.

2. Доголосование на всех этапах запрещается. Если член СП по уважительной причине не может присутствовать на собрании, он должен письменно уведомить руководство организации о своём мнении по кандидатуре кандидата. Мнение отсутствующего должно быть оглашено собранию перед голосованием.

3. Решения по приёму рассматриваются как документы отчётности и обозначаются следующими протокольными формами: «принять», «отклонить», а также «направить на повторное рассмотрение» или «отложить до новых произведений», и оформляются соответствующими протоколами.

4. Необходимыми условиями приёма в Союз писателей считать:

а) для прозаиков и поэтов – наличие изданных книг. Журнальные публикации крупных поэм, значительных поэтических циклов, художественных критических обзоров, повестей и романов могут быть приравнены к отдельному изданию в случае, если они опубликованы в трех литературно-художественных журналах, соучредителями которых является Союз писателей России.

Словесные тексты для песен и для вокальных музыкально-драматических произведений – оперы, оперетты, оратории, — если не являются самостоятельными художественными произведениями, не дают их авторам права на приём в Союз писателей;

б) для драматургов и кинодраматургов – наличие пьес и имеющих само-

стоятельное литературное значение сценариев, поставленных в профессиональных театрах либо экранизированных и опубликованных в печати;

в) для очеркистов и документалистов — наличие книг (в некоторых случаях не менее трёх крупных публикаций в журналах и коллективных сборниках), которые отвечают требованиям, предъявляемым к художественной публицистике, в которых присутствуют образно-эмоциональные начала, художественно-публицистические обобщения, аналитических подход к исследованию человеческих характеров, жизненных явлений;

г) для критиков и литературоведов – наличие книг и статей, в трех литературно-художественных журналах, соучредителями которых является Союз писателей России, свидетельствующих о самостоятельности литературно-критической позиции автора и серьёзном его вкладе в освещение и разработку проблем литературы;

д) для переводчиков художественной литературы вопрос о приёме в СП решается в каждом случае особо в соответствии с требованиями при приёме по жанрам.

III. Порядок прохождения и рассмотрения приёмных дел

1. Условием приёма заявления от кандидата является его знакомство и согласие с Уставом Союза писателей России, а также с правилами приёма.

Кандидат представляет в региональную писательскую организацию следующие документы и материалы:

а) заявление о приёме;

б) справка (ксерокс) о прописке (2 экз.);

в) автобиография (2 экз.)

г) личный листок по учёту кадров (2 экз.)

д) фотографии размером 3\4 см (4 шт.)

е) опубликованные литературные произведения в 2-х экз. и библиографический список всех напечатанных работ с указанием времени публикации;

ж) отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества вступающего в Союз писателей;

з) рекомендации трёх членов Союза писателей, лично знающих рекомендуемого и его творчество. Рекомендации должны помимо общественной характеристики рекомендуемого содержать краткий, но аргументированный анализ его творчества.

2. В качестве рекомендующих могут выступать писатели со стажем пребывания в Союзе писателей не менее пяти лет.

3. Члены приёмной комиссии от дачи рекомендаций воздерживаются.

4. В случае положительного решения региональной писательской организации в вопросе приема кандидата в члены СП России, руководитель представляет Приёмную комиссию СП России следующие документы:

а) заявление о приёме;

б) автобиография – 1 экз.;

в) личный листок по учёту кадров-1 экз.;

г) три рекомендации членов СП России;

д) выписка из протокола обсуждения приёмного дела в региональной писательской организации;

е) выписка из протокола счётной комиссии;

ж) список опубликованных литературных произведений (с указанием времени и места публикации);

з) опубликованные литературные произведения (книги, журналы) в 2-х экз.;

и) отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества вступающего в Союз писателей России;

к) фотографии размером 3\4 см (2 шт.);

л) справка (ксерокс) о прописке (1 экз.);

м) сопроводительное письмо руководителя писательской организации (с перечнем представленных документов).

IV. Апелляции

1. Порядок прохождения и рассмотрения заявлений на пересмотр отклонённых приёмных дел осуществляется по решению региональной писательской организации.

2. Принятая апелляция (вместе с приёмным делом, выпиской из протокола заседания комиссии) поступает через консультанта (ответственного секретаря) Приёмной комиссии в секретариат в числе конфликтных дел. Ознакомившись с апелляцией и приёмным делом, секретариат на своём рабочем заседании может принять решение о приёме в члены СП России либо вернуть дело в приёмную коллегию для повторного рассмотрения.

3. Литератор, не утверждённый Приёмной коллегией в качестве профессионального писателя, имеет право после выхода новой книги подать повторное заявление в региональную писательскую организацию о приёме в Союз писателей России.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ СОВЕЩАНИЯХ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

1. Всероссийские совещания молодых писателей (Совещания) инициируются и проводятся Союзом писателей России на территории РФ при активном участии Совета молодых литераторов СПР. Совещания получают статус Всероссийских при наличии не менее 50 участников и 10 наставников, при том, что молодые писатели представляют регионы трёх и более Федеральных округов Российской Федерации.

Иные совещания, проводимые региональными отделениями СП России, журналами СП России, ассоциациями, творческими советами и т.п., имеют статус межрегиональных и региональных.

2. Цели и задачи Совещания:

— поиск и продвижение молодых талантливых авторов, достойных стать членами СП России;

— обеспечение связи между поколениями писателей с передачей профессионального опыта на основе совместной критической работы;

— создание единого информационного пространства современной русской литературы;

— выработка совместной методической деятельности наставников.

Совещания проводятся по постоянно действующим секциям «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Литературная критика», «Литература для детей», «Литературные переводы».

3. Соучредителями Совещаний могут выступать государственные учреждения и предприятия, частные компании и лица, разделяющие цели и задачи Совещаний. Соучредители формируют Оргкомитет Совещания.

4. Место проведения, время, условия пребывания участников Совещания определяет Оргкомитет, о чём участники и руководители оповещают-

ся не менее чем за 60 дней. Число секций и групп, как и число участников и руководителей, определяется Правлением СП России по представлению Оргкомитета.

5. Состав руководителей семинаров утверждает председатель Правления СПР.

6. Состав участников утверждает председатель Совета молодых литераторов СП России.

7. Участниками Совещаний являются писатели в возрасте от 16 до 35 лет, граждане РФ и иных стран, получившие рекомендации (направления) от региональных отделений СП России и редакций журналов, учредителями которых является в том числе Союз писателей России.

8. По результатам Совещаний руководителями, при наличии 5 секретарей и членов правления СПР, выносится коллегиальное решение о принятии получивших одобрение молодых писателей в члены СП России. Выписка из протокола рассылается в региональные отделения СП России по месту жительства кандидата — для одобрения правлениями местных отделений СПР и подготовки необходимых для приема в Союз писателей документов. По готовности документов членство принятого на Совещании кандидата утверждается Правлением СП России. В случаях отказа регионального правления в одобрении, решение о принятии в члены СП России рассматривается Правлением СП России с учётом претензий.

По результатам межрегиональных и региональных совещаний руководителями, при наличии 3 секретарей и членов правления, принимается решение рекомендовать наиболее талантливых молодых писателей региональным отделениям в члены СП России через Приёмную комиссию Союза писателей России.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕЩАНИЯХ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

1. Межрегиональные совещания молодых писателей (Совещания) инициируются и проводятся Региональными организациями (отделениями) Союза писателей России на территории РФ. Совещание получает статус Межрегионального при наличии не менее 25 участников и 6 наставников, при том, что молодые писатели представляют регионы пяти и более Субъектов Российской Федерации.

2. Цели и задачи Совещания:

— поиск и продвижение молодых талантливых авторов, достойных стать членами СП России;

— обеспечение связи между поколениями писателей с передачей профессионального опыта на основе совместной критической работы;

— создание единого информационного пространства современной русской литературы;

— выработка совместной методической деятельности наставников.

Совещания проводятся по постоянно действующим секциям «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Литературная критика», «Литература для детей», «Литературные переводы».

3. Соучредителями Совещаний могут выступать государственные учреждения и предприятия, творческие союзы, частные компании и лица, разделяющие цели и задачи Совещаний. Соучредители формируют Оргкомитет Совещания.

4. Место проведения, время, условия пребывания участников Совещания определяет Оргкомитет, о чём участники и руководители оповещаются не менее чем за 30 дней. Число секций и групп, как и число участников и руководителей, определяется Правлением региональной организации (отделения) СП России по представлению Оргкомитета.

5. Участниками Совещаний являются писатели в возрасте от 16 до 35 лет, граждане РФ и иных стран, получившие рекомендации (направления) от региональных отделений СП России и редакций журналов, учредителями которых является в том числе Союз писателей России. Также возможно участие писателей, отобранных по открытом конкурсу.

6. По результатам Совещания руководителями выносится коллегиальное решение о рекомендации не более трёх молодых писателей для участия во Всероссийском совещании молодых писателей СПР. Соответствующая информация доводится до сведения Совета молодых литераторов, который обязуется включить рекомендованных авторов в состав участников одного из Всероссийских совещаний молодых писателей, проходящих в течение года после проведения Совещания.

7. По результатам Совещания руководителями, при наличии 3 секретарей и членов правления СПР, выносится коллегиальное решение о рекомендации получивших одобрение молодых писателей в члены СП России. Выписка из протокола рассылается в Региональные организации (отделения) СП России по месту жительства кандидата для рассмотрения собранием писательской организации. В этом случае выписка из протокола Совещания засчитывается вместо трёх рекомендаций членов СПР, а документы рекомендованных Региональной организацией (отделением) СП России таким образом молодых писателей рассматриваются на ближайшем заседании Приёмной комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

I. Общие положения

1.1. Совет молодых литераторов Союза писателей России (далее – СМЛ) образован общероссийской общественной организацией «Союз писателей России».

1.2. СМЛ действует на основании данного Положения и Устава Союза писателей России.

1.3. Председателя СМЛ назначает Председатель СП России.

1.4. Руководство СМЛ осуществляет Исполнительный комитет СМЛ (далее Исполком).

1.5. Председатель правления Союза писателей России назначает кураторов СМЛ из числа своих заместителей.

1.6. Кураторы СМЛ координирует работу исполкома СМЛ в соответствии с требованиями Председателя правления СП России и секретариата Союза писателей России.

II. Цели и Задачи Совета

2.1. Выявление и продвижение наиболее одаренных молодых писателей (до 35 лет) на территории Российской Федерации, а также их творческое развитие путем организации семинаров, совещаний молодых литераторов, круглых столов, лекций и других мероприятий;

2.2. Налаживание связей между регионами, консолидация молодых литературных сил страны вокруг СМЛ; создание единого информационно-творческого пространства молодой русской литературы;

2.3. Популяризация современной русской литературы среди молодых читателей, создание и поддержание культурно и исторически грамотной среды, необходимой для полноценного общенационального литературного процесса.

III. Структура и управление СМЛ

3.1. Исполком осуществляет общее руководство СМЛ, разрабатывает план мероприятий на будущий период, определяет ответственных за проведение каждого мероприятия, запускает проекты СМЛ и осуществляет контроль над ними.

3.2. Члены Исполкома назначаются Председателем СМЛ и утверждаются секретариатом Союза писателей России.

3.3. Председатель СМЛ имеет право отстранять от работы членов Исполкома.

3.4. Председатель СМЛ имеет право представлять интересы СМЛ в отношениях с любыми организациями и физическими лицами в Российской Федерации.

3.5. Исполком включает в себя несколько отделов, каждый из которых ведёт работу в рамках определённого направления деятельности СМЛ: экспертный отдел, отдел творческого развития, отдел продвижения, организационный отдел, отдел популяризации литературы и отдел национальных литератур.

3.6. При необходимости Исполком может создать новые отделы Исполкома.

3.7. Каждый член Исполкома работает в одном или нескольких отделах Исполкома и отвечает за свою работу перед Исполкомом и Председателем СМЛ.

3.8. Все решения Исполкома принимаются простым большинством голосов его членов.

3.9. Исполком имеет право открывать региональные отделения СМЛ во всех субъектах Российской Федерации и крупных городах.

3.10. Исполком назначает руководителя каждого регионального отделения СМЛ и имеет право досрочно прекратить его полномочия.

3.11 Руководитель регионального отделения СМЛ имеет право представлять интересы регионального отделения СМЛ в отношениях с любыми организациями и физическими лицами в Российской Федерации.

3.12. Руководство региональным отделением осуществляет бюро регионального отделения СМЛ (далее – региональное бюро).

3.13. Члены регионального бюро назначаются Руководителем регионального отделения СМЛ.

3.14. Руководитель регионального отделения СМЛ имеет право отстранять от работы членов регионального бюро.

3.15. Исполком уполномочен разрешать конфликтные ситуации и споры между членами регионального бюро и руководителем регионального отделения СМЛ.

3.16. Региональная организация (отделение) СПР может назначить кураторов регионального отделения СМЛ из числа авторитетных членов Союза писателей России, проживающих в данном регионе, для помощи в работе регионального бюро.

3.17. В обязанности регионального бюро СМЛ входит выявление наиболее талантливых молодых авторов своего региона, своевременное доведение до них информации обо всех важных мероприятиях СПР (конкурсах, семинарах, круглых столах и т.д.), своевременное извещение Исполкома обо всех значимых литературных событиях своего региона, взаимодействие с Региональной организацией (отделением) СПР, осуществление иной деятельности в рамках работы СМЛ в данном регионе.

3.18. Региональные бюро имеют право рекомендовать авторов своего региона для экспертного отдела Исполкома; рекомендовать авторов для участия в совещаниях, фестивалях, семинарах, проходящих под эгидой СПР; выдвигать своих представителей для участия во всех мероприятиях СМЛ.

3.19. Региональные бюро ежегодно отчитываются перед Региональной организацией (отделением) СПР и Исполкомом о своей деятельности.

3.20 Региональная организация (отделение) СПР может обратиться в Исполком с предложением досрочно прекратить полномочия руководителя регионального отделения СМЛ.

3.21 Исполком может обратиться в Региональную организацию (отделение) СПР с предложением ввести руководителя регионального отделения СМЛ в состав Правления Региональной организации (отделения) СПР, в случае, если руководитель регионального отделения СМЛ является членом Союза писателей России.

IV. Коллегии СМЛ. Порядок смены Председателя СМЛ

4.1. Не реже одного раза в год Исполком проводит Коллегии СМЛ, на которых рассматриваются отчеты Председателя, членов Исполкома и Руководителей региональных отделений, обсуждаются текущие проблемы и стратегические вопросы.

4.2. Внеочередная коллегия проводится по требованию не менее 2/3 членов руководителей региональных отделений СМЛ.

4.3. Если отчёт Председателя СМЛ будет признан неудовлетворительным, Коллегия СМЛ вправе обратиться к Председателю СП России с предложением прекратить полномочия председателя СМЛ.

4.4. Все решения Коллегии принимаются простым большинством голосов присутствующих на ней членов Исполкома и Руководителей региональных отделений СМЛ.

4.5. По итогам Коллегии составляется сводный Отчёт СМЛ перед секретариатом Союза писателей России, куда входят наиболее важные положения отчётов Председателя, Исполкома и Руководителей региональных отделений.

4.6. Председатель СП России имеет право отстранять от работы Председателя СМЛ.

4.7. В случае отстранения Председателя СМЛ кандидатура нового Председателя СМЛ выдвигается Исполкомом, обсуждается на секретариате Союза писателей России и назначается Председателем СП России.

V. Прекращение деятельности СМЛ

5.1 СМЛ может прекратить свою деятельность по решению Правления Союза писателей России.

«День литературы»

№ 3 (6), 2018 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 24.10.2018 г. Формат 84х108 $^{1}/_{16}$
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
тел: 8-962-965-51-64, факс: 8(499)246-53-11.
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru,
Email: sales@chpd.ru,
тел. 8(499)2707359